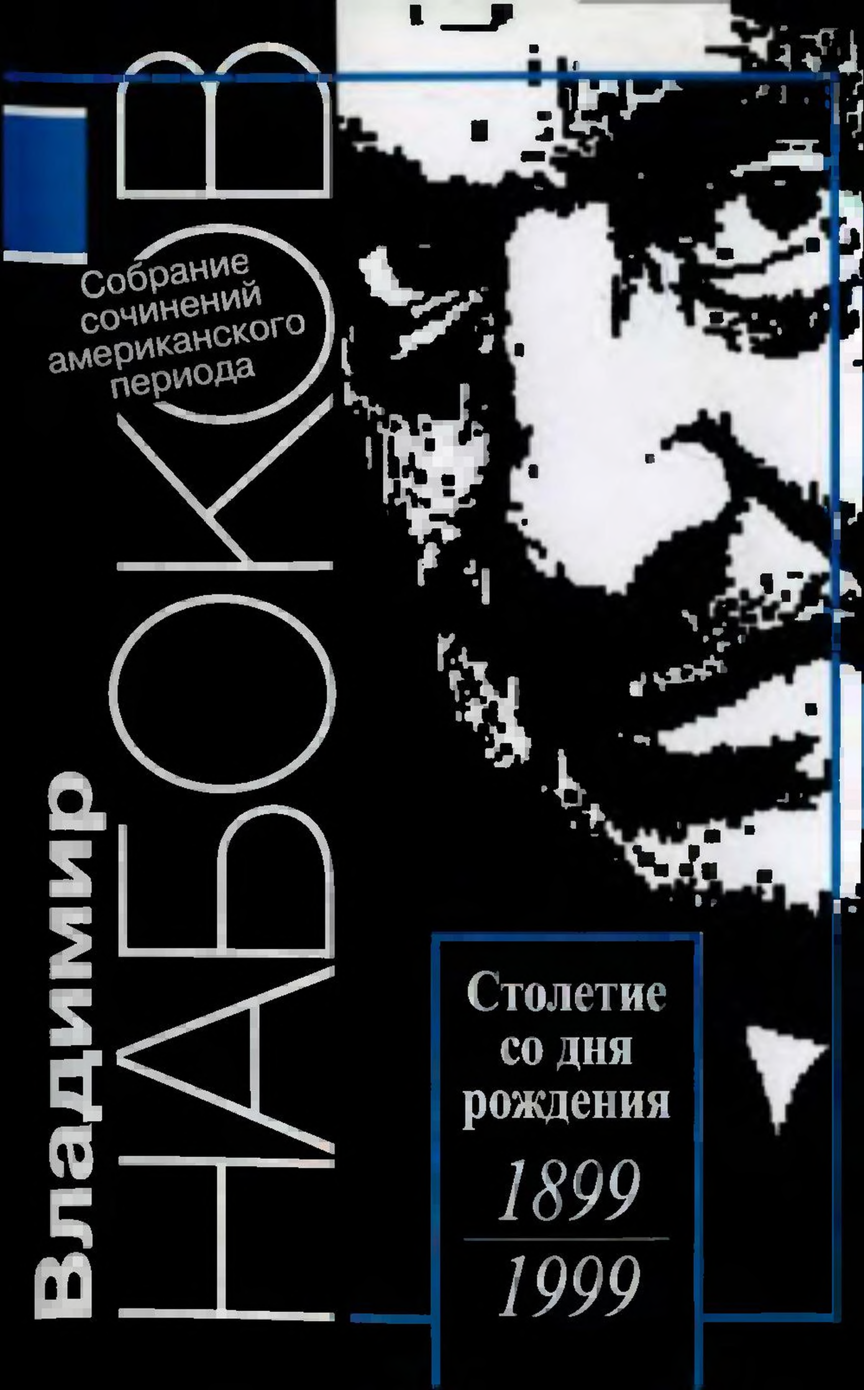

Владимир
НАБОКОВ
Собрание сочинений американского периода
Столетие со дня рождения
1899
1999

EXCLUSIVE
AUTHORIZED
EDITION
▪
THE ESTATE
OF VLADIMIR
NABOKOV

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СИМПОЗИУМ»

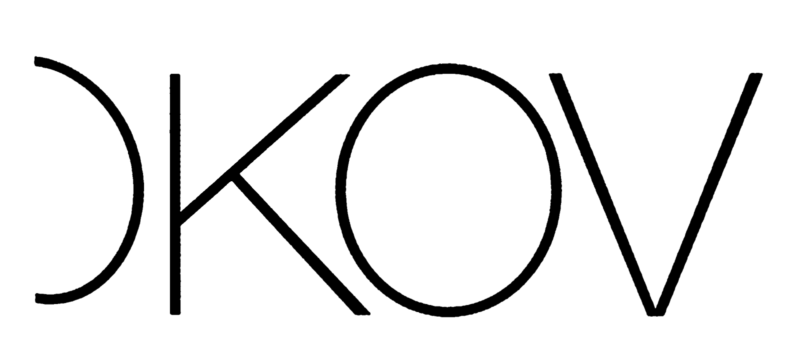
Vladimir
NABC

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ АМЕРИКАНСКОГО ПЕРИОДА В ПЯТИ ТОМАХ

Столетие со дня рождения

1899

1999



В Л А Д И М И Р
Н А Б О К О В

Лолита

Смех в темноте

Санкт-Петербург
«Симпозиум»
2008

ББК 84.7 США
Н 14

Издание осуществлено в рамках соглашения
The Estate of Vladimir Nabokov
и Издательства «Симпозиум»

Составление
С. Б. Ильина и А. К. Кононова

Комментарии
проф. А. М. Люксембурга

Художник
М. Г. Занько

ISBN 978-5-89091-379-1
ISBN 978-5-89091-380-7 (Т. 2)

От составителей

Романы, вошедшие в эту книгу, при всем их несходстве, объединяют особенности, в силу которых они и оказались под одной обложкой, в томе, хронологически принадлежащем одной "Лолите" (1955). Из всех романов В. В. Набокова только "Лолита" и "Смех в темноте" существуют на обоих языках, русском и английском, в авторских версиях. Соотношение этих версий между собой различно.

"Лолиту", свой третий по счету англоязычный роман, Набоков впоследствии сам написал по-русски, внеся в ткань романа множество мелких изменений (что по возможности отражено в комментариях к тому). И хотя на титульном листе значится "перевод автора" — это, скорее, не перевод в привычном понимании, а второй (1967), русский оригинал романа.

Со "Смехом в темноте" все обстояло гораздо сложнее или гораздо проще (распределяйте сами). Набоков, как известно, остался не вполне доволен опубликованным вариантом своего раннего русского романа "Камера обскура" (1933), равно как и обстоятельным переводом его на английский язык, выполненным английским переводчиком (1936). Писатель сам занялся переводом "Камеры обскуры" и столь основательно переписал роман, что результат, получивший впоследствии название "Смех в темноте", уже ни с какими оговорками нельзя считать переводом. Изменилась фабула, количество глав, имена всех персонажей... Строго говоря, "Смех в темноте" (1938), а не "Подлинную жизнь Себастьяна Найта" (1941) следовало бы считать первым англоязычным романом Набокова. Чтобы перевести этот роман на русский язык, потребовался опять-таки не перевод, а специфический синтез переводного и авторского русского текстов.

"Лолита" хорошо известна в России, "Смех в темноте" — практически неизвестен. В странах английского языка оба эти романа принадлежат к числу самых читаемых произведений Владимира Набокова.

tip of the tongue taking

to tap, at three, on the teeth

LOLITA

VLADIMIR NABOKOV

New York

LOLITA

VLADIMIR NABOKOV

A NOVEL

BY THE AUTHOR OF PNIN

father, and two grandfath

ectively. Lolita, light of m

the tip of the

Лолита

Перевод автора

РОМАН

1955 · 1967

Посвящается моей жене

ПРЕДИСЛОВИЕ

"Лолита. Исповедь Светлокожего Вдовца" : таково было двойное название, под которым автор настоящей заметки получил странный текст, возглавляемый ею. Сам "Гумберт Гумберт" умер в тюрьме, от закупорки сердечной аорты, 16-го ноября 1952 г., за несколько дней до начала судебного разбирательства своего дела. Его защитник, мой родственник и добрый друг Клэренс Кларк (в настоящее время адвокат, приписанный к Колумбийскому Окружному Суду), попросил меня проредактировать манускрипт, основываясь на завещании своего клиента, один пункт коего уполномочивал моего почтенного кузена принять по своему усмотрению все меры, относящиеся до подготовки "Лолиты" к печати. На решение г-на Кларка, быть может, повлиял тот факт, что избранный им редактор как раз только что удостоился премии имени Полинга за скромный труд ("Можно ли сочувствовать чувствам?"), в котором подвергались обсуждению некоторые патологические состояния и извращения.

Мое задание оказалось проще, чем мы с ним предполагали. Если не считать исправления явных описок да тщательного изъятия некоторых цепких деталей, которые, несмотря на старания самого "Г. Г.", еще уцелели в тексте, как некие вехи и памятники (указатели мест и людей, которых приличие требовало обойти молчанием, а человеколюбие — пощадить), можно считать, что эти примечательные записки представлены в неприкосновенности. Причудливый псевдоним их автора — его собственное измышление; и само собой разумеется, что эта маска — сквозь которую как будто горят два гипнотических глаза —

должна была остаться на месте согласно желанию ее носителя. Меж тем как "Гейз" всего лишь рифмуется с настоящей фамилией героини, ее первое имя слишком тесно вплетается в сокровеннейшую ткань книги, чтобы его можно было заменить; впрочем (как читатель сам убедится), в этом и нет фактической необходимости. Любопытствующие могут найти сведения об убийстве, совершенном "Г. Г.", в газетах за сентябрь — октябрь 1952 г.; его причины и цель продолжали бы оставаться тайной, если бы настоящие мемуары не попали в световой круг моей настольной лампы.

В угоду старомодным читателям, интересующимся дальнейшей судьбой "живых образцов" за горизонтом "правдивой повести", могу привести некоторые указания, полученные от г-на "Виндмюллера" из "Рамздэля", который пожелал остаться неназванным, дабы "длинная тень прискорбной и грязной истории" не дотянулась до того городка, в котором он имеет честь проживать. Его дочь "Луиза" сейчас студентка-второкурсница. "Мона Даль" учится в университете в Париже. "Рита" недавно вышла замуж за хозяина гостиницы во Флориде. Жена "Ричарда Скиллера" умерла от родов, разрешившись мертвой девочкой, 25-го декабря 1952 г., в далеком северо-западном поселении Серой Звезде. Г-жа Вивиан Дамор-Блок (Дамор — по сцене, Блок — по одному из первых мужей) написала биографию бывшего товарища под каламбурным заглавием "Кумир мой", которая скоро должна выйти в свет; критики, уже ознакомившиеся с манускриптом, говорят, что это лучшая ее вещь. Сторожа кладбищ, так или иначе упомянутых в мемуарах "Г. Г.", не сообщают, встает ли кто из могилы.

Для читателя, рассматривающего *"Лолиту"* просто как роман, ситуации и эмоции, в нем описанные, остались бы раздражительно-неясными, если бы они были обесцвечены при помощи пошлых иносказаний. Правда, во всем произведении нельзя найти ни одного непристойного выражения; скажу больше: здоровяк-филистер, приученный современной условностью принимать безо всякой брезгли-

вости целую россыпь заборных словечек в самом банальном американском или английском романе, будет весьма шокирован отсутствием оных в *"Лолите"*. Если же, ради успокоения этого парадоксального ханжи, редактор попробовал бы разбавить или исключить те сцены, которые при известном повороте ума могут показаться "соблазнительными" (смотри историческое решение, принятое достопочтенным судьей Джоном Вульси, 6-го декабря 1933 г., по поводу другой, значительно более откровенной книги), пришлось бы вообще отказаться от напечатания *"Лолиты"*, ибо именно те сцены, в которых досужий бесстыдник мог бы усмотреть произвольную чувственность, представляют собой на самом деле конструкционно необходимый элемент в развитии трагической повести, неуклонно движущейся к тому, что только и можно назвать моральным апофеозом. Циник скажет, что на то же претендует и профессиональный порнограф; эрудит возразит, что страстная исповедь "Г. Г." сводится к буре в пробирке, что каждый год не меньше 12% взрослых американцев мужского пола, — по скромному подсчету, ежели верить д-ру Биянке Шварцман (заимствую из частного сообщения), — проходит через тот особый опыт, который "Г. Г." описывает с таким отчаянием, и что, пойди наш безумный мемуарист в то роковое лето 1947 года к компетентному психопатологу, никакой беды бы не случилось. Все это так, — но ведь тогда не было бы этой книги.

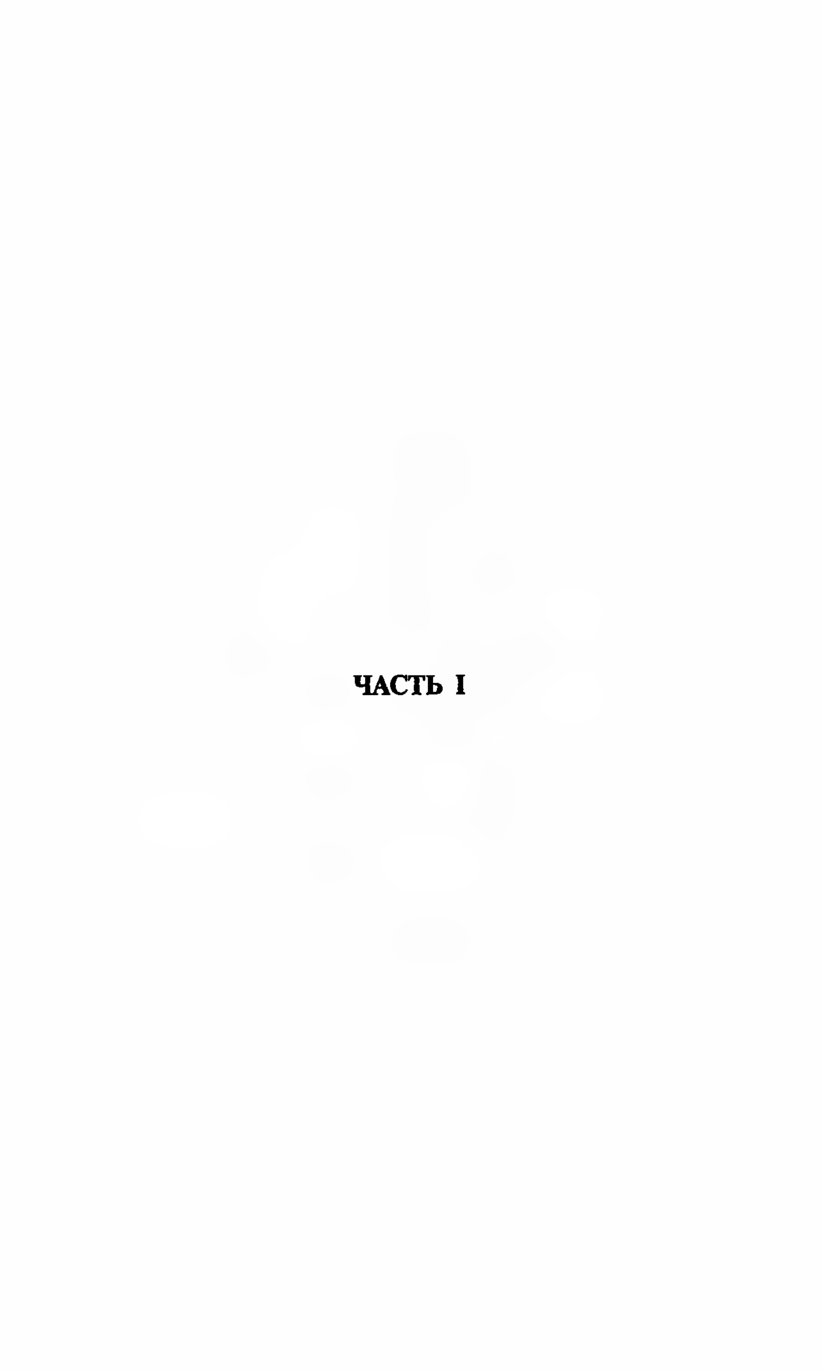
Да простится сему комментатору, если он повторит еще раз то, на чем он уже неоднократно настаивал в своих собственных трудах и лекциях, а именно, что "неприличное" бывает зачастую равнозначаще "необычному". Великое произведение искусства всегда оригинально; оно по самой своей сущности должно потрясать и изумлять, т. е. "шокировать". У меня нет никакого желания прославлять г-на "Г. Г.". Нет сомнения в том, что он отвратителен, что он низок, что он служит ярким примером нравственной проказы, что в нем соединены свирепость и игривость, которые, может быть, и свидетельствуют о глубочайшем страдании, но не придают привлекательности некоторым

его излияниям. Его чудаковатость, конечно, тяжеловата. Многие его случайные отзывы о жителях и природе Америки смешны. Отчаянная честность, которой трепещет его исповедь, отнюдь не освобождает его от ответственности за дьявольскую изощренность. Он ненормален. Он не джентльмен. Но с каким волшебством певучая его скрипка возбуждает в нас нежное сострадание к Лолите, заставляя нас зачитываться книгой, несмотря на испытываемое нами отвращение к автору!

Как описание клинического случая, *"Лолите"*, несомненно, суждено стать одним из классических произведений психиатрической литературы, и можно поручиться, что через десять лет термин "нимфетки" будет в словарях и газетах. Как художественное произведение, *"Лолита"* далеко выходит за пределы покаянной исповеди; но гораздо более важным, чем ее научное значение и художественная ценность, мы должны признать нравственное ее воздействие на серьезного читателя, ибо этот мучительный анализ единичного случая содержит в себе и общую мораль. Беспризорная девочка, занятая собой мать, задыхающийся от похоти маньяк — все они не только красочные персонажи единственной в своем роде повести; они, кроме того, нас предупреждают об опасных уклонах; они указывают на возможные бедствия. *"Лолита"* должна бы заставить нас всех — родителей, социальных работников, педагогов — с вящей бдительностью и проницательностью предаться делу воспитания более здорового поколения в более надежном мире.

Джон Рэй, д-р философии
Видворт, Массачусетс

5 августа 1955 года



ЧАСТЬ I

1

Лолита, свет моей жизни, огонь моих чресел. Грех мой, душа моя. Ло-ли-та: кончик языка совершает путь в три шажка вниз по нёбу, чтобы на третьем толкнуться о зубы. Ло. Ли. Та.

Она была Ло, просто Ло, по утрам, ростом в пять футов (без двух вершков и в одном носке). Она была Лола в длинных штанах. Она была Долли в школе. Она была Долорес на пунктире бланков. Но в моих объятьях она была всегда: Лолита.

А предшественницы-то у нее были? Как же — были... Больше скажу: и Лолиты бы не оказалось никакой, если бы я не полюбил в одно далекое лето одну изначальную девочку. В некотором княжестве у моря (почти как у По).

Когда же это было, а?

Приблизительно за столько же лет до рождения Лолиты, сколько мне было в то лето. Можете всегда положиться на убийцу в отношении затейливости прозы.

Уважаемые присяжные женского и мужеского пола! Экспонат Номер Первый представляет собой то, чему так завидовали Эдгаровы серафимы — худо осведомленные, простодушные, благороднокрылые серафимы... Полюбуйтесь-ка на этот клубок терний.

2

Я родился в 1910-ом году, в Париже. Мой отец отличался мягкостью сердца, легкостью нрава — и целым винегретом из генов: был швейцарский гражданин, полуфранцуз-

полуавстриец, с Дунайской прожилкой. Я сейчас раздам несколько прелестных, глянцевито-голубых открыток.

Ему принадлежала роскошная гостиница на Ривьере. Его отец и оба деда торговали вином, бриллиантами и шелками (распределяйте сами). В тридцать лет он женился на англичанке, дочке альпиниста Джерома Дунна, внучке двух Дорсетских пасторов, экспертов по замысловатым предметам: палеопедологии и Эоловым арфам (распределяйте сами). Обстоятельства и причина смерти моей весьма фотогеничной матери были довольно оригинальные (пикник, молния); мне же было тогда всего три года, и, кроме какого-то теплого тупика в темнейшем прошлом, у меня ничего от нее не осталось в котловинах и впадинах памяти, за которыми — если вы еще в силах выносить мой слог (пишу под надзором) — садится солнце моего младенчества: всем вам, наверное, знакомы эти благоуханные остатки дня, которые повисают вместе с мошкарой над какой-нибудь цветущей изгородью и в которые вдруг попадаешь на прогулке, проходишь сквозь них, у подножья холма, в летних сумерках — глухая теплынь, золотистые мошки.

Старшая сестра матери, Сибилла, бывшая замужем за двоюродным братом моего отца — вскоре, впрочем, бросившим ее, — жила у нас в доме в качестве не то бесплатной гувернантки, не то экономки. Впоследствии я слышал, что она была влюблена в моего отца и что однажды, в дождливый денек, он легкомысленно воспользовался ее чувством — да все позабыл, как только погода прояснилась. Я был чрезвычайно привязан к ней, несмотря на суровость — роковую суровость — некоторых ее правил. Может быть, ей хотелось сделать из меня более добродетельного вдовца, чем отец. У тети Сибиллы были лазоревые, окаймленные розовым глаза и восковой цвет лица. Она писала стихи. Была поэтически суеверна. Говорила, что знает, когда умрет — а именно когда мне исполнится шестнадцать лет — и так оно и случилось. Ее муж, испытанный вояжер от парфюмерной фирмы, проводил большую часть времени в Америке, где в конце концов основал собственное дело и приобрел кое-какое имущество.

Я рос счастливым, здоровым ребенком в ярком мире книжек с картинками, чистого песка, апельсиновых деревьев, дружелюбных собак, морских далей и улыбающихся лиц. Вокруг меня великолепная гостиница "Мирана Палас" вращалась частной вселенной, выбеленным мелом космосом, посреди другого, голубого, громадного, искрившегося снаружи. От кухонного мужика в переднике до короля в летнем костюме все любили, все баловали меня. Пожилые американки, опираясь на трость, клонились надо мной, как Пизанские башни. Разорившиеся русские княгини не могли заплатить моему отцу, но покупали мне дорогие конфеты. Он же, mon cher petit papa, брал меня кататься на лодке и ездить на велосипеде, учил меня плавать, нырять, скользить на водяных лыжах, читал мне Дон-Кихота и "Les Misérables", и я обожал и чтил его, и радовался за него, когда случалось подслушать, как слуги обсуждают его разнообразных любовниц — ласковых красавиц, которые очень много мною занимались, воркуя надо мной и проливая драгоценные слезы над моим вполне веселым безматеринством.

Я учился в английской школе, находившейся в нескольких километрах от дома; там я играл в "ракетс" и "файвс" (ударяя мяч об стену ракеткой или ладонью), получал отличные отметки и прекрасно уживался как с товарищами так и с наставниками. До тринадцати лет (т. е. до встречи с моей маленькой Аннабеллой) было у меня, насколько помнится, только два переживания определенно полового порядка: торжественный благопристойный и исключительно теоретический разговор о некоторых неожиданных явлениях отрочества, происходивший в розовом саду школы с американским мальчиком, сыном знаменитой тогда кинематографической актрисы, которую он редко видал в мире трех измерений; и довольно интересный отклик со стороны моего организма на жемчужно-матовые снимки с бесконечно нежными теневыми выемками в пышном альбоме Пишона "La Beauté Humaine", который я тишком однажды извлек из-под груды мраморных томов Лондонского "Graphic" в гостиничной библиотеке. Позднее отец, со свой-

ственным ему благодушием, дал мне сведения этого рода, которые по его мнению могли мне быть нужны; это было осенью 1923-го года, перед моим поступлением в гимназию в Лионе (где мне предстояло провести три зимы); но именно летом того года отец мой, увы, отсутствовал — разъезжал по Италии вместе с Mme de R. и ее дочкой — так что мне некому было пожаловаться, не с кем посоветоваться.

3

Аннабелла была, как и автор, смешанного происхождения: в ее случае — английского и голландского. В настоящее время я помню ее черты куда менее отчетливо, чем помнил их до того, как встретил Лолиту. У зрительной памяти есть два подхода: при одном — удается искусно воссоздать образ в лаборатории мозга, не закрывая глаз (и тогда Аннабелла представляется мне в общих терминах, как то: "медового оттенка кожа", "тоненькие руки", "подстриженные русые волосы", "длинные ресницы", "большой яркий рот"); при другом же — закрываешь глаза и мгновенно вызываешь на темной внутренней стороне век объективное, оптическое, предельно верное воспроизведение любимых черт: маленький призрак в естественных цветах (и вот так я вижу Лолиту).

Позвольте мне поэтому в описании Аннабеллы ограничиться чинным замечанием, что это была обаятельная девочка на несколько месяцев моложе меня. Ее родители, по фамилии Ли (Leigh), старые друзья моей тетки, были столь же, как тетя Сибилла, щепетильны в отношении приличий. Они нанимали виллу неподалеку от "Мираны". Этого лысого, бурого господина Ли и толстую, напудренную госпожу Ли (рожденную Ванесса ван Несс) я ненавидел люто. Сначала мы с Аннабеллой разговаривали, так сказать, по окружности. Она то и дело поднимала горсть мелкого пляжного песочка и давала ему сыпаться сквозь пальцы. Мозги у нас были настроены в тон умным европейским подросткам того времени и той среды, и я сомневаюсь,

чтобы можно было сыскать какую-либо индивидуальную талантливость в нашем интересе ко множественности населенных миров, теннисным состязаниям, бесконечности, солипсизму и тому подобным вещам. Нежность и уязвимость молодых зверьков возбуждали в обоих нас то же острое страдание. Она мечтала быть сестрой милосердия в какой-нибудь голодающей азиатской стране; я мечтал быть знаменитым шпионом.

Внезапно мы оказались влюбленными друг в дружку — безумно, неуклюже, бесстыдно, мучительно; я бы добавил — безнадежно, ибо наше неистовое стремление ко взаимному обладанию могло бы быть утолено только, если бы каждый из нас в самом деле впитал и усвоил каждую частицу тела и души другого; между тем мы даже не могли найти места, где бы совокупиться, как без труда находят дети трущоб. После одного неудавшегося ночного свидания у нее в саду (о чем в следующей главке) единственное, что нам было разрешено, в смысле встреч, — это лежать в досягаемости взрослых, зрительной, если не слуховой, на той части пляжа, где было всего больше народу. Там, на мягком песке, в нескольких шагах от старших, мы валялись все утро в оцепенелом исступлении любовной муки и пользовались всяким благословенным изъяном в ткани времени и пространства, чтобы притронуться друг к дружке: ее рука, сквозь песок, подползала ко мне, придвигалась все ближе, переставляя узкие загорелые пальцы, а затем ее перламутровое колено отправлялось в то же длинное, осторожное путешествие; иногда случайный вал, сооруженный другими детьми помоложе, служил нам прикрытием для беглого соленого поцелуя; эти несовершенные соприкосновения доводили наши здоровые и неопытные тела до такой степени раздражения, что даже прохлада голубой воды, под которой мы продолжали преследовать свою цель, не могла нас успокоить.

Среди сокровищ, потерянных мной в годы позднейших скитаний, была снятая моей теткой маленькая фотография, запечатлевшая группу сидящих за столиком тротуарного кафэ: Аннабеллу, ее родителей и весьма степенного докто-

ра Купера, хромого старика, который в то лето ухаживал за тетей Сибиллой. Аннабелла вышла не слишком хорошо, так как была схвачена в то мгновение, когда она собралась пригубить свой chocolat glacé, и только по худым голым плечам да пробору можно было узнать ее (поскольку помню снимок) среди солнечной мути, в которую постепенно и невозвратно переходила ее красота; я же, сидевший в профиль, несколько поодаль от других, вышел с какой-то драматической рельефностью: угрюмый густобровый мальчик в темной спортивной рубашке и белых хорошо сшитых шортах, положивший ногу на ногу и глядевший в сторону. Фотография была снята в последний день нашего рокового лета, всего за несколько минут до нашей второй и последней попытки обмануть судьбу. Под каким-то крайне прозрачным предлогом (другого шанса не предвиделось, и уже ничто не имело значения) мы удалились из кафэ на пляж, где нашли наконец уединенное место, и там, в лиловой тени розовых скал, образовавших нечто вроде пещеры, мы наскоро обменялись жадными ласками, единственным свидетелем коих были оброненные кем-то темные очки. Я стоял на коленях и уже готовился овладеть моей душенькой, как внезапно двое бородатых купальщиков — морской дед и его братец — вышли из воды с возгласами непристойного ободрения, а четыре месяца спустя она умерла от тифа на острове Корфу.

4

Снова и снова перелистываю эти жалкие воспоминания и все допытываюсь у самого себя, не оттуда ли, не из блеска ли того далекого лета пошла трещина через всю мою жизнь. Или, может быть, острое мое увлечение этим ребенком было лишь первым признаком врожденного извращения? Когда стараюсь разобраться в былых желаниях, намерениях, действиях, я поддаюсь некоему обратному воображению, питающему аналитическую способность возможностями безграничными, так что всякий представляю-

щийся мне прошлый путь делится без конца на развилины в одуряюще сложной перспективе памяти. Я уверен все же, что волшебным и роковым образом Лолита началась с Аннабеллы.

Знаю и то, что смерть Аннабеллы закрепила неудовлетворенность того бредового лета и сделалась препятствием для всякой другой любви в течение холодных лет моей юности. Духовное и телесное сливалось в нашей любви в такой совершенной мере, какая и не снилась нынешним на все просто смотрящим подросткам с их нехитрыми чувствами и штампованными мозгами. Долго после ее смерти я чувствовал, как ее мысли текут сквозь мои. Задолго до нашей встречи у нас бывали одинаковые сны. Мы сличали вехи. Находили черты странного сходства. В июне одного и того же года (1919-го) к ней в дом и ко мне в дом, в двух несмежных странах, впорхнула чья-то канарейка. О, Лолита, если б ты меня любила *так*!

Я приберег к концу рассказа об Аннабелле описание нашего плачевного первого свидания. Однажды поздно вечером ей удалось обмануть злостную бдительность родителей. В рощице нервных, тонколистых мимоз, позади виллы, мы нашли себе место на развалинах низкой каменной стены. В темноте, сквозь нежные деревца виднелись арабески освещенных окон виллы — которые теперь, слегка подправленные цветными чернилами чувствительной памяти, я сравнил бы с игральными картами (отчасти, может быть, потому, что неприятель играл там в бридж). Она вздрагивала и подергивалась, пока я целовал ее в уголок полураскрытых губ и в горячую мочку уха. Россыпь звезд бледно горела над нами промеж силуэтов удлиненных листьев: эта отзывчивая бездна казалась столь же обнаженной, как была она под своим легким платьицем. На фоне неба со странной ясностью так выделялось ее лицо, точно от него исходило собственное слабое сияние. Ее ноги, ее прелестные оживленные ноги, были не слишком тесно сжаты, и когда моя рука нашла то, чего искала, выражение какой-то русалочьей мечтательности — не то боль, не то наслаждение — появилось на ее детском лице. Сидя чуть

выше меня, она в одинокой своей неге тянулась к моим губам, причем голова ее склонялась сонным, томным движением, которое было почти страдальческим, а ее голые коленки ловили, сжимали мою кисть, и снова слабели. Ее дрожащий рот, кривясь от горечи таинственного зелья, с легким придыханием приближался к моему лицу. Она старалась унять боль любви тем, что резко терла свои сухие губы о мои, но вдруг отклонялась с порывистым взмахом кудрей, а затем опять сумрачно льнула и позволяла мне питаться ее раскрытыми устами, меж тем как я, великодушно готовый ей подарить все — мое сердце, горло, внутренности, — давал ей держать в неловком кулачке скипетр моей страсти.

Помню запах какой-то пудры — которую она, кажется, крала у испанской горничной матери — сладковатый, дешевый, мускусный душок; он сливался с ее собственным бисквитным запахом, и внезапно чаша моих чувств наполнилась до краев; неожиданная суматоха под ближним кустом помешала им перелиться. Мы застыли и с болезненным содроганием в жилах прислушались к шуму, произведенному, вероятно, всего лишь охотившейся кошкой. Но одновременно, увы, со стороны дома раздался голос госпожи Ли, звавший дочь с дико нарастающими перекатами, и доктор Купер тяжело прохромал с веранды в сад. Но эта мимозовая заросль, туман звезд, озноб, огонь, медовая роса и моя мука остались со мной, и эта девочка с наглаженными морем ногами и пламенным языком с той поры преследовала меня неотвязно — покуда наконец двадцать четыре года спустя я не рассеял наваждения, воскресив ее в другой.

5

Дни моей юности, как оглянусь на них, кажутся улетающим от меня бледным вихрем повторных лоскутков, как утренняя мятель употребленных бумажек, видных пассажиру американского экспресса в заднее наблюдательное окно

последнего вагона, за которым они вьются. В моих гигиенических сношениях с женщинами я был практичен, насмешлив и быстр. В мои университетские годы в Лондоне и Париже я удовлетворялся платными цыпками. Мои занятия науками были прилежны и пристальны, но не очень плодотворны. Сначала я думал стать психиатром, как многие неудачники; но я был неудачником особенным; меня охватила диковинная усталость (надо пойти к доктору — такое томление); и я перешел на изучение английской литературы, которым пробавляется не один поэт-пустоцвет, превратясь в профессора с трубочкой, в пиджаке из добротной шерсти. Париж тридцатых годов пришелся мне в пору. Я обсуждал советские фильмы с американскими литераторами. Я сидел с уранистами в кафэ "Des Deux Magots". Я печатал извилистые этюды в малочитаемых журналах. Я сочинял пародии — на Элиота, например:

Пускай фрейляйн фон Кульп, еще держась
За скобку двери, обернется... Нет,
Не двинусь ни за нею, ни за Фреской.
Ни за той чайкой...

Одна из моих работ, озаглавленная "Прустовская тема в письме Китса к Бенджамину Бейли", вызвала одобрительные ухмылки у шести-семи ученых, прочитавших ее. Я пустился писать "Краткую историю английской поэзии" для издателя с большим именем, а затем начал составлять тот учебник французской литературы (со сравнительными примерами из литературы английской) для американских и британских читателей, которому предстояло занимать меня в течение сороковых годов и последний томик которого был почти готов к напечатанию в день моего ареста.

Я нашел службу: преподавал английский язык группе взрослых парижан шестнадцатого округа. Затем в продолжение двух зим был учителем мужской гимназии. Иногда я пользовался знакомствами в среде психиатров и работников по общественному призрению, чтобы с ними посещать разные учреждения, как, например, сиротские приюты и школы для малолетних преступниц, где на бледных,

со слипшимися ресницами отроковиц я мог взирать с той полной безнаказанностью, которая нам даруется в сновидениях.

А теперь хочу изложить следующую мысль. В возрастных пределах между девятью и четырнадцатью годами встречаются девочки, которые для некоторых очарованных странников, вдвое или во много раз старше них, обнаруживают истинную свою сущность — сущность не человеческую, а нимфическую (т. е. демонскую); и этих маленьких избранниц я предлагаю именовать так: нимфетки.

Читатель заметит, что пространственные понятия я заменяю понятиями времени. Более того: мне бы хотелось, чтобы он увидел эти пределы, 9—14, как зримые очертания (зеркалистые отмели, алеющие скалы) очарованного острова, на котором водятся эти мои нимфетки и который окружен широким туманным океаном. Спрашивается: в этих возрастных пределах все ли девочки — нимфетки? Разумеется, нет. Иначе мы, посвященные, мы, одинокие мореходы, мы, нимфолепты, давно бы сошли с ума. Но и красота тоже не служит критерием, между тем как вульгарность (или то хотя бы, что зовется вульгарностью в той или другой среде) не исключает непременно присутствия тех таинственных черт — той сказочно-странной грации, той неуловимой, переменчивой, душеубийственной, вкрадчивой прелести, — которые отличают нимфетку от сверстниц, несравненно более зависящих от пространственного мира единовременных явлений, чем от невесомого острова завороженного времени, где Лолита играет с ей подобными. Внутри тех же возрастных границ число настоящих нимфеток гораздо меньше числа некрасивых или просто “миленьких”, или даже “смазливых”, но вполне заурядных, пухленьких, мешковатых, холоднокожих, человечьих по природе своей девочек, с круглыми животиками, с косичками, таких, которые могут или не могут потом превратиться в красивых, как говорится, женщин (посмотрите-ка на иную гадкую пышечку в черных чулках и белой шляпке, перевоплощающуюся в дивную звезду экрана). Если попросить нормального человека отметить самую хорошенькую

на групповом снимке школьниц или гэрл-скаутов, он не всегда ткнет в нимфетку. Надобно быть художником и сумасшедшим, игралищем бесконечных скорбей, с пузырьком горячего яда в корне тела и сверхсладострастным пламенем, вечно пылающим в чутком хребте (о, как приходится нам ежиться и хорониться!), дабы узнать сразу, по неизъяснимым приметам — по слегка кошачьему очерку скул, по тонкости и шелковистости членов и еще по другим признакам, перечислить которые мне запрещают отчаяние, стыд, слезы нежности — маленького смертоносного демона в толпе обыкновенных детей: она-то, нимфетка, стоит среди них, неузнанная и сама не чующая своей баснословной власти.

И еще: ввиду примата времени в этом колдовском деле, научный работник должен быть готов принять во внимание, что необходима разница в несколько лет (я бы сказал, не менее десяти, но обычно в тридцать или сорок — и до девяноста в немногих известных случаях) между девочкой и мужчиной для того, чтобы тот мог подпасть под чары нимфетки. Тут вопрос приспособления хрусталика, вопрос некоторого расстояния, которое внутренний глаз с приятным волнением превозмогает, и вопрос некоторого контраста, который разум постигает с судорогой порочной услады. "Когда я был ребенком и она ребенком была" (всё Эдгаровый перегар), моя Аннабелла не была для меня нимфеткой: я был ей ровня; задним числом я сам был фавненком на том же очарованном острове времени; но нынче, в сентябре 1952-го года, по истечении двадцати девяти лет, мне думается, что я могу разглядеть в ней исходное роковое наваждение. Мы любили преждевременной любовью, отличавшейся тем неистовством, которое так часто разбивает жизнь зрелых людей. Я был крепкий паренек и выжил; но отрава осталась в ране, и вот я уже мужал в лоне нашей цивилизации, которая позволяет мужчине увлекаться девушкой шестнадцатилетней, но не девочкой двенадцатилетней.

Итак, немудрено, что моя взрослая жизнь в Европе была чудовищно двойственна. Во вне я имел так называемые

нормальные сношения с земнородными женщинами, у которых груди тыквами или грушами, внутри же я был сжигаем в адской печи сосредоточенной похоти, возбуждаемой во мне каждой встречной нимфеткой, к которой я, будучи законоуважающим трусом, не смел подступиться. Громоздкие человечьи самки, которыми мне дозволялось пользоваться, служили лишь паллиативом. Я готов поверить, что ощущения, мною извлекаемые из естественного соития, равнялись более или менее тем, которые испытывают нормальные большие мужчины, общаясь с нормальными большими женщинами в том рутинном ритме, который сотрясает мир; но беда в том, что этим господам не довелось, как довелось мне, познать проблеск несравненно более пронзительного блаженства. Тусклейший из моих к поллюции ведущих снов был в тысячу раз красочнее прелюбодеяний, которые мужественнейший гений или талантливейший импотент могли бы вообразить. Мой мир был расщеплен. Я чуял присутствие не одного, а двух полов, из коих ни тот, ни другой не был моим; оба были женскими для анатома; для меня же, смотревшего сквозь особую призму чувств, “они были столь же различны между собой, как мечта и мачта”. Все это я теперь рационализирую, но в двадцать—двадцать пять лет я не так ясно разбирался в своих страданиях. Тело отлично знало, чего оно жаждет, но мой рассудок отклонял каждую его мольбу. Мной овладевали то страх и стыд, то безрассудный оптимизм. Меня душили общественные запреты. Психоаналисты манили меня псевдоосвобождением от либидобелиберды. То, что единственными объектами любовного трепета были для меня сестры Аннабеллы, ее наперсницы и кордебалет, мне казалось подчас предзнаменованием умопомешательства. Иногда же я говорил себе, что все зависит от точки зрения и что, в сущности, ничего нет дурного в том, что меня до одури волнуют малолетние девочки. Позволю себе напомнить читателю, что в Англии, с тех пор как был принят закон (в 1933-ем году) о Детях и Молодых Особах, термин “гэрл-чайльд” (т. е. девочка) определяется, как “лицо женского пола, имеющее от роду свыше восьми и меньше

четырнадцати лет" (после чего, от четырнадцати до семнадцати, статут определяет это лицо как "молодую особу"). С другой стороны, в Америке, а именно в Массачусетсе, термин "уэйуард чайльд" (непутевое дитя) относится технически к девочке между семью и семнадцатью годами, которая "общается с порочными и безнравственными лицами". Хью Броутон, полемический писатель времен Джемса Первого, доказал, что Рахаб была блудницей в десять лет. Все это крайне интересно, и я допускаю, что вы уже видите, как у меня пенится рот перед припадком — но нет, ничего не пенится, я просто пускаю выщелком разноцветные блошки счастливых мыслей в соответствующую чашечку. Вот еще картинки. Вот Виргилий, который (цитирую старого английского поэта) "нимфетку в тоне пел одном", хотя по всей вероятности предпочитал перитон мальчика. Вот две из еще несозревших дочек короля Ахнатена и его королевы Нефертити, у которых было шесть таких — нильских, бритоголовых, голеньких (ничего, кроме множества рядов бус), с мягкими коричневыми щенячьими брюшками, с длинными эбеновыми глазами, спокойно расположившиеся на подушках и совершенно целые после трех тысяч лет. Вот ряд десятилетних невест, которых принуждают сесть на фасциний — кол из слоновой кости в храмах классического образования. Брак и сожительство с детьми встречаются еще довольно часто в некоторых областях Индии. Так, восьмидесятилетние старики-лепчанцы сочетаются с восьмилетними девочками, и кому какое дело. В конце концов Данте безумно влюбился в свою Беатриче, когда минуло только девять лет ей, такой искрящейся, крашеной, прелестной, в пунцовом платье с дорогими каменьями, а было это в 1274-ом году, во Флоренции, на частном пиру, в веселом мае месяце. Когда же Петрарка безумно влюбился в свою Лаурину, она была белокурой нимфеткой двенадцати лет, бежавшей на ветру, сквозь пыль и цветень, сама как летящий цветок, среди прекрасной равнины, видимой с Воклюзских холмов.

Но давайте будем чопорными и культурными. Гумберт Гумберт усердно старался быть хорошим. Ей-Богу, старался.

Он относился крайне бережно к обыкновенным детям, к их чистоте, открытой обидам, и ни при каких обстоятельствах не посягнул бы на невинность ребенка, если была хотя бы отдаленнейшая возможность скандала. Но как билось у бедняги сердце, когда среди невинной детской толпы он замечал ребенка-демона, "enfant charmante et fourbe" — глаза с поволокой, яркие губы, десять лет каторги, коли покажешь ей, что глядишь на нее. Так шла жизнь. Гумберт был вполне способен иметь сношения с Евой, но Лилит была той, о ком он мечтал. Почкообразная стадия в развитии грудей рано (в 10 7/10 лет) наступает в череде соматических изменений, сопровождающих приближение половой зрелости. А следующий известный нам признак — это первое появление (в 11 2/10 лет) пигментированных волосков. Моя чашечка полным-полна блошек.

Кораблекрушение. Коралловый остров. Я один с озябшей дочкой утонувшего пассажира. Душенька, ведь это только игра! Какие чудесные приключения я, бывало, воображал, сидя на твердой скамье в городском парке и притворяясь погруженным в мреющую книгу. Вокруг мирного эрудита свободно резвились нимфетки, как если бы он был приглядевшейся парковой статуей или частью светотени под старым деревом. Как-то раз совершенная красотка в шотландской юбочке с грохотом поставила тяжеловооруженную ногу подле меня на скамейку, дабы окунуть в меня свои голые руки и затянуть ремень роликового конька — и я растворился в солнечных пятнах, заменяя книжкой фиговый лист, между тем как ее русые локоны падали ей на поцарапанное колено, и древесная тень, которую я с нею делил, пульсировала и таяла на ее икре, сиявшей так близко от моей хамелеоновой щеки. Другой раз рыжеволосая школьница повисла надо мною в вагоне метро, и оранжевый пушок у нее под мышкой был откровением, оставшимся на много недель у меня в крови. Я бы мог пересказать немало такого рода односторонних миниатюрных романов. Окончание некоторых из них бывало приправлено адовым снадобием. Бывало, например, я замечал с балкона ночью, в освещенном окне через улицу, нимфетку, раздевающуюся

перед услужливым зеркалом. В этой обособленности, в этом отдалении видение приобретало невероятно пряную прелесть, которая заставляла меня, балконного зрителя, нестись во весь опор к своему одинокому утолению. Но с бесовской внезапностью нежный узор наготы, уже принявший от меня дар поклонения, превращался в озаренный лампой отвратительно голый локоть мужчины в исподнем белье, читающего газету у отворенного окна в жаркой, влажной, безнадежной летней ночи.

Скакание через веревочку. Скакание на одной ноге по размеченной мелом панели. Незабвенная старуха в черном, которая сидела рядом со мной на парковой скамье, на пыточной скамье моего блаженства (нимфетка подо мной старалась нащупать укатившийся стеклянный шарик), и которая спросила меня — наглая ведьма — не болит ли у меня живот. Ах, оставьте меня в моем зацветающем парке, в моем мшистом саду. Пусть играют они вокруг меня вечно, никогда не взрослея.

6

Кстати: я часто спрашивал себя, что случалось с ними потом, с этими нимфетками. В нашем чугунно-решетчатом мире причин и следствий, не могло ли содрогание, мною выкраденное у них, отразиться на их будущем? Вот, была моей — и никогда не узнает. Хорошо. Но не скажется ли это впоследствии, не напортил ли я ей как-нибудь в ее дальнейшей судьбе тем, что вовлек ее образ в свое тайное сладострастие? О, это было и будет предметом великих и ужасных сомнений!

Я выяснил, однако, во что они превращаются, эти обаятельные, сумасводящие нимфетки, когда подрастают. Помнится, брел я как-то под вечер по оживленной улице, весною, в центре Парижа. Тоненькая девушка небольшого роста прошла мимо меня скорым тропотком на высоких каблучках; мы одновременно оглянулись; она остановилась, и я подошел к ней. Голова ее едва доходила до моей

нагрудной шерсти; личико было круглое, с ямочками, какое часто встречается у молодых француженок. Мне понравились ее длинные ресницы и жемчужно-серый tailleur, облегавший ее юное тело, которое еще хранило (вот это-то и было нимфическим эхом, холодком наслаждения, взмывом в чреслах) что-то детское, примешивавшееся к профессиональному frétillement ее маленького ловкого зада. Я осведомился о ее цене, и она немедленно ответила с музыкальной серебряной точностью (птица — сущая птица!): “Cent”. Я попробовал поторговаться, но она оценила дикое глухое желание у меня в глазах, устремленных с такой высоты на ее круглый лобик и зачаточную шляпу (букетик да бант): “Tant pis”, — произнесла она, перемигнув, и сделала вид, что уходит. Я подумал: ведь всего три года тому назад я мог видеть, как она возвращается домой из школы! Эта картина решила дело. Она повела меня вверх по обычной крутой лестнице с обычным сигналом звонка, уведомляющим господина, не желающего встретить другого господина, что путь свободен или несвободен — унылый путь к гнусной комнатке, состоящей из кровати и биде. Как обычно, она прежде всего потребовала свой petit cadeau, и, как обычно, я спросил ее имя (Monique) и возраст (восемнадцать). Я был отлично знаком с банальными ухватками проституток: ото всех них слышишь это dixhuit — четкое чирикание с ноткой мечтательного обмана, которое они издают, бедняжки, до десяти раз в сутки. Но в данном случае было ясно, что Моника скорее прибавляет, чем убавляет себе годика два. Это я вывел из многих подробностей ее компактного, как бы точеного и до странности неразвитого тела. Поразительно быстро раздевшись, она постояла с минуту у окна, наполовину завернувшись в мутную кисею занавески, слушая с детским удовольствием (что в книге было бы халтурой) шарманщика, игравшего в уже налитом сумерками дворе. Когда я осмотрел ее ручки и обратил ее внимание на грязные ногти, она проговорила, простодушно нахмурясь: “Oui, ce n’est pas bien”, — и пошла было к рукомойнику, но я сказал, что это неважно, совершенно неважно. Со своими подстриженными темными волосами,

светло-серым взором и бледной кожей она была исключительно очаровательна. Бедра у нее были не шире, чем у присевшего на корточки мальчика. Более того, я без колебания могу утверждать (и вот, собственно, почему я так благодарно длю это пребывание с маленькой Моникой в кисейно-серой келье воспоминания), что из тех восьмидесяти или девяноста шлюх, которые в разное время по моей просьбе мною занимались, она была единственной, давшей мне укол истинного наслаждения. “Il était malin, celui, qui a invente ce truc-là”, любезно заметила она и вернулась в одетое состояние с той же высокого стиля быстротой, с которой из него вышла.

Я спросил, не даст ли она мне еще одно, более основательное, свидание в тот же вечер, и она обещала встретить меня около углового кафэ, прибавив, что в течение всей своей маленькой жизни никогда еще никого не надула. Мы возвратились в ту же комнату. Я не мог удержаться, чтобы не сказать ей, какая она хорошенькая, на что она ответила скромно: “Tu es bien gentil de dire ça”, — а потом, заметив то, что я заметил сам в зеркале, отражавшем наш тесный Эдем, а именно: ужасную гримасу нежности, искривившую мне рот, исполнительная Моника (о, она несомненно была в свое время нимфеткой!) захотела узнать, не стереть ли ей, avant qu’on se couche, слой краски с губ на случай, если захочу поцеловать ее. Конечно, захочу. С нею я дал себе волю в большей степени, чем с какой-либо другой молодой гетерой, и в ту ночь мое последнее впечатление от Моники и ее длинных ресниц отзывает чем-то веселым, чего нет в других воспоминаниях, связанных с моей унизительной, убогой и угрюмой половой жизнью. Вид у нее был необыкновенно довольный, когда я дал ей пятьдесят франков сверх уговора, после чего она засеменила в ночную апрельскую морось с тяжелым Гумбертом, валившим следом за ее узкой спиной. Остановившись перед витриной, она произнесла с большим смаком: “Je vais m’acheter des bas!”— и не дай мне Бог когда-либо забыть маленький лопающийся звук детских губ этой парижаночки на слове “bas”, произнесенном ею так сочно, что “а” чуть не превратилось в краткое бойкое “о”.

Следующее наше свидание состоялось на другой день, в два пятнадцать пополудни у меня на квартире, но оно оказалось менее удовлетворительным: за ночь она как бы повзрослела, перешла в старший класс и к тому же была сильно простужена. Заразившись от нее насморком, я отменил четвертую встречу — да, впрочем, и рад был прервать рост чувства, угрожавшего обременить меня душераздирающими грезами и вялым разочарованием. Так пускай же она останется гладкой тонкой Моникой — такой, какою она была в продолжение тех двух-трех минут, когда беспризорная нимфетка просвечивала сквозь деловитую молодую проститутку.

Мое недолгое с нею знакомство навело меня на ряд мыслей, которые верно покажутся довольно очевидными читателю, знающему толк в этих делах. По объявлению в непристойном журнальчике я очутился, в один предприимчивый день, в конторе некоей Mlle Edith, которая начала с того, что предложила мне выбрать себе спутницу жизни из собрания довольно формальных фотографий в довольно засаленном альбоме ("Regardez-moi cette belle brune?" — уже в подвенечном платье). Когда же я оттолкнул альбом и неловко, с усилием, высказал свою преступную мечту, она посмотрела на меня, будто собираясь меня прогнать. Однако, поинтересовавшись, сколько я готов выложить, она соизволила обещать познакомить меня с лицом, которое "могло бы устроить дело". На другой день астматическая женщина, размалеванная, говорливая, пропитанная чесноком, с почти фарсовым провансальским выговором и черными усами над лиловой губой, повела меня в свое собственное, по-видимому, обиталище и там, предварительно наделив звучным лобзанием собранные пучком кончики толстых пальцев, дабы подчеркнуть качество своего лакомого, как розанчик, товара, театрально отпахнула занавеску, за которой обнаружилась половина, служившая по всем признакам спальней большому и нетребовательному семейству; но на сцене сейчас никого не было, кроме чудовищно упитанной, смуглой, отталкивающе некрасивой девушки, лет по крайней мере пятнадцати, с малиновыми лентами в

тяжелых черных косах, которая сидела на стуле и нарочито нянчила лысую куклу. Когда я отрицательно покачал головой и попытался выбраться из ловушки, сводня, учащенно лопоча, начала стягивать грязно-серую фуфайку с бюста молодой великанши, а затем, убедившись в моем решении уйти, потребовала "son argent". Дверь в глубине комнаты отворилась, и двое мужчин, выйдя из кухни, где они обедали, присоединились к спору. Были они какого-то кривого сложения, с голыми шеями, чернявые; один из них был в темных очках. Маленький мальчик и замызганный, колченогий младенец замаячили где-то за ними. С наглой логичностью, присущей кошмарам, разъяренная сводня, указав на мужчину в очках, заявила, что он прежде служил в полиции — так что лучше, мол, раскошелиться. Я подошел к Марии (ибо таково было ее звездное имя), которая к тому времени преспокойно переправила свои грузные ляжки со стула в спальне на табурет за кухонным столом, чтобы там снова приняться за суп, а младенец между тем поднял с полу ему принадлежавшую куклу. В порыве жалости, сообщавшей некий драматизм моему идиотскому жесту, я сунул деньги в ее равнодушную руку. Она сдала мой дар эксcыщику, и мне было разрешено удалиться.

7

Я не знаю, был ли альбом свахи добавочным звеном в ромашковой гирлянде судьбы — но, как бы то ни было, вскоре после этого я решил жениться. Мне пришло в голову, что ровная жизнь, домашний стол, все условности брачного быта, профилактическая однообразность постельной деятельности и — как знать — будущий рост некоторых нравственных ценностей, некоторых чисто духовных эрзацев, могли бы помочь мне — если не отделаться от порочных и опасных позывов, то по крайней мере мирно с ними справляться. Небольшое имущество, доставшееся мне после кончины отца (ничего особенного — "Мирану" он давно продал) в придачу к моей поразительной, хоть и несколько

брутальной, мужской красоте, позволило мне со спокойной уверенностью пуститься на соответствующие поиски. Хорошенько осмотревшись, я остановил свой выбор на дочери польского доктора: добряк лечил меня от сердечных перебоев и припадков головокружения. Иногда мы с ним играли в шахматы; его дочь смотрела на меня из-за мольберта и мной одолженные ей глаза или костяшки рук вставляла в ту кубистическую чепуху, которую тогдашние образованные барышни писали вместо персиков и овечек. Позволю себе повторить тихо, но внушительно: я был, и еще остался, невзирая на свои бедствия, исключительным красавцем, со сдержанными движениями, с мягкими темными волосами и как бы пасмурной, но тем более привлекательной осанкой большого тела. При такой мужественности часто случается, что в удобопоказуемых чертах субъекта отражается что-то хмурое и воспаленное, относящееся до того, что ему приходится скрывать. Так было и со мной. Увы, я отлично знал, что мне стоит только прищелкнуть пальцами, чтобы получить любую взрослую особу, избранную мной; я даже привык оказывать женщинам не слишком много внимания, боясь именно того, что та или другая плюхнется, как налитой соком плод, ко мне на холодное лоно. Если бы я был, что называется, "средним французом", охочим до разряженных дам, я легко бы нашел между обезумелыми красавицами, плескавшими в мою угрюмую скалу, существо значительно более пленительное, чем моя Валерия. Но в этом выборе я руководился соображениями, которые по существу сводились — как я слишком поздно понял — к жалкому компромиссу. И все это только показывает, как ужасно глуп был бедный Гумберт в любовных делах.

8

Хоть я говорил себе, что мне всего лишь нужно сублимированное pot-au-feu и живые ножны, однако то, что мне нравилось в Валерии, это была ее имперсонация маленькой

девочки. Она прикидывалась малюткой не потому, что раскусила мою тайну: таков был просто ее собственный стиль — и я попался. На самом деле этой девочке было по крайней мере под тридцать (никогда я не мог установить ее точный возраст, ибо даже ее паспорт лгал), и она давно уже рассталась со своей девственностью при обстоятельствах, менявшихся по настроению ее памяти. Я же, со своей стороны, был наивен, как только может быть наивен человек с сексуальным изъяном. Она казалась какой-то пушистой и резвой, одевалась à la gamine, щедро показывала гладкие ноги, умела подчеркнуть белизну подъема ступни черным бархатом туфельки, и надувала губки, и переливалась ямочками, и кружилась в тирольской юбке, и встряхивала короткими белокурыми волосами самым что ни на есть трафаретным образом.

После краткого обряда в ратуше я привез ее на новую квартиру и несколько удивил ее тем, что до начала каких-либо нежностей заставил ее переодеться в простую детскую ночную сорочку, которую мне удалось украсть из платяного шкафа в сиротском доме. Брачная ночь выдалась довольно забавная, и моими стараньями дура моя к утру была в истерике. Но действительность скоро взяла верх. Обелокуренный локон выявил свой чернявый корешок; пушок превратился в колючки на бритой голени; подвижный влажный рот, как я его ни набивал любовью, обнаружил свое мизерное сходство с соответствующей частью на заветном портрете ее жабоподобной покойной матушки; и вскоре, вместо бледного уличного подростка, у Гумберта Гумберта оказалась на руках большая, дебелая, коротконогая, грудастая и совершенно безмозглая баба.

Это положение длилось с 1935-го года по 1939-й. Единственным достоинством Валерии была кротость, и как ни странно, от этого было уютно в нашей убогой квартирке: две комнатки, дымный вид в одном окне, кирпичная стена в другом, крохотная кухня, башмачной формы ванна, в которой я чувствовал себя Маратом, даром что не было белошеей девочки, чтобы меня заколоть. Мы провели с женой немало безмятежных вечеров — она, углубившись в

свой “Paris Soir”, я, работая за валким столиком. Мы посещали кино, велодром, боксовые состязания. К ее пресной плоти я обращался лишь изредка, только в минуты крайней нужды, крайнего отчаяния. У бакалейщика по ту сторону улицы была маленькая дочка, тень которой сводила меня с ума; впрочем, с помощью Валерии, я все же находил некоторые законные исходы из моей фантастической беды. Что же касается домашнего стола, то мы без слов отставили pot-au-feu и питались главным образом в узком ресторанчике с одним длинным столом на rue Bonaparte, где общая скатерть была в винных пятнах и преобладал иностранный говор. А в доме рядом антиквар выставил в загроможденной витрине великолепный, цветистый — зеленый, красный, золотой и чернильно-синий — старинный американский эстамп, на котором был паровоз с гигантской трубой, большими причудливыми фонарями и огромным скотосбрасывателем, увлекающий свои фиолетовые вагоны в грозовую степную ночь и примешивающий обильный, черный, искрами поблескивающий дым к косматым ее тучам.

В них что-то блеснуло. Летом 1939-го года умер мой американский дядюшка, оставив мне ежегодный доход в несколько тысяч долларов с условием, что перееду в Соединенные Штаты и займусь делами его фирмы. Эта перспектива пришлась мне чрезвычайно по сердцу. Я чувствовал, что моя жизнь нуждается в встряске. И было еще кое-что: молевые проединки появились в плюше супружеского уюта. Последнее время я замечал, что моя толстая Валерия как-то изменилась — выказывает странное беспокойство, иногда даже нечто вроде раздражения, а это шло вразрез с установленным характером персонажа, которого ей полагалось у меня играть. Когда я ее уведомил, что мы скоро поплывем в Нью-Йорк, она приуныла и задумалась. Была докучная возня с ее документами. У нее оказался дурацкий Нансенский паспорт, и получению визы почему-то никак не способствовало швейцарское гражданство мужа. Я объяснял необходимостью стояния в хвостах в префектуре и всякими другими неприятностями ее вялое и неотзывчивое настроение, на которое никак не действо-

вали мои описания Америки, страны розовых детей и громадных деревьев, где жизнь будет настолько лучше, чем в скучном, сером Париже.

Однажды утром (ее бумаги были уже почти приведены в порядок) мы выходили из какого-то официального здания, как вдруг вижу, что переваливающаяся со мной рядом Валерия начинает энергично и безмолвно трясти своей болоночной головой. Сначала я на это не обращал никакого внимания, но затем спросил, почему ей, собственно, кажется, что там внутри что-то есть? Она ответила (перевожу с ее французского перевода какой-то славянской плоскости): "В моей жизни есть другой человек".

Незачем говорить, что мужу не могут особенно понравиться такие слова. Меня, признаюсь, они ошеломили. Прибить ее тут же на улице — как поступил бы честный мещанин — было нельзя. Годы затаенных страданий меня научили самообладанию сверхчеловеческому. Итак, я поскорее сел с ней в таксомотор, который уже некоторое время пригласительно полз вдоль панели, и в этом сравнительном уединении спокойно предложил ей объяснить свои дикие слова. Меня душило растущее бешенство — о, не потому чтоб я испытывал какие-либо нежные чувства к балаганной фигуре, именуемой мадам Гумберт, но потому что никому, кроме меня, не полагалось разрешать проблемы законных и незаконных совокуплений, а тут Валерия, моя фарсовая супруга, нахально собралась располагать по своему усмотрению и моими удобствами и моею судьбой. Я потребовал, чтоб она мне назвала любовника. Я повторил вопрос; но она не прерывала своей клоунской болтовни, продолжая тараторить о том, как она несчастна со мной и что хочет немедленно со мной разводиться. "Mais qui est-ce?" заорал я наконец, кулаком хватив ее по колену, и она, даже не поморщившись, уставилась на меня, точно ответ был так прост, что объяснений не требовалось. Затем быстро пожала плечом и указала пальцем на мясистый затылок шофера. Тот затормозил у небольшого кафэ и представился. Не могу вспомнить его смехотворную фамилию, но после стольких лет он мне видится еще совсем ясно —

коренастый русак, бывший полковник Белой Армии, пышноусый, остриженный ежиком. (Таких, как он, не одна тысяча занималась этим дурацким промыслом в Париже.) Мы сели за столик, белогвардеец заказал вина, а Валерия, приложив к колену намоченную салфетку, продолжала говорить — в меня, скорее, чем со мной: в сей величественный сосуд она всыпала слова с безудержностью, которой я и не подозревал в ней, причем то и дело разражалась залпом польских или русских фраз в направлении своего невозмутимого любовника. Положение получалось абсурдное, и оно сделалось еще абсурднее, когда таксомоторный полковник, с хозяйской улыбкой остановив Валерию, начал развивать собственные домыслы и замыслы. Выражаясь на отвратительном французском языке, он наметил тот мир любви и труда, в который собирался вступить рука об руку с малюткой женой. Она же теперь занялась своей внешностью, сидючи между ним и мной: подкрашивала выпученные губки, поправляла клевками пальцев (при этом утраивая подбородок) передок блузки и так далее, а он между тем говорил о ней, не только как если бы ее не было с нами, но так, как если бы она была сироткой, которую как раз переводили ради ее же блага от одного мудрого опекуна к другому, мудрейшему; и хотя испытываемый мною беспомощный гнев преувеличивал и коверкал, может быть, все впечатления, я могу поклясться, что полковник преспокойно советовался со мной по поводу таких вещей, как ее диета, регулы, гардероб и книжки, которые она уже читала или должна была бы прочитать. "Мне кажется", говорил он, "ей понравится "Жан Кристоф" — как вы думаете?" О, он был сущий литературовед, этот господин Таксович.

Я положил конец его жужжанию тем, что предложил Валерии уложить свои жалкие пожитки немедленно, на что пошляк полковник галантно заявил, что охотно сам перенесет их в свою машину. Вернувшись к исправлению должности, он повез Гумбертов, мосье и мадам, домой, и во весь путь Валерия говорила, а Гумберт Грозный внутренне обсуждал с Гумбертом Кротким, кого именно убьет Гумберт Гумберт — ее, или ее возлюбленного, или обоих, или

никого. Помнится, я однажды имел в руках пистолет, принадлежавший студенту-однокашнику, в ту пору моей жизни (я, кажется, об этой поре не упомянул, но это неважно), когда я лелеял мысль насладиться его маленькой сестрой (необыкновенно лучистой нимфеткой, с большим черным бантом) и потом застрелиться. Теперь же я спрашивал себя, стоила ли Валечка (как ее называл полковник) того, чтобы быть пристреленной, задушенной или утопленной. У нее были очень чувствительные руки и ноги, и я решил ограничиться тем, что сделаю ей ужасно больно, как только мы останемся наедине.

Но этого не суждено было. Валечка — уже к этому времени проливавшая потоки слез, окрашенные размазанной радугой ее косметики — принялась набивать вещами кое-как сундук, два чемодана, лопавшуюся картонку, — и желание надеть горные сапоги и с разбега пнуть ее в круп было, конечно, неосуществимо, покамест проклятый полковник возился поблизости. Не то, чтобы он вел себя нагло или что-нибудь в этом роде: напротив, он проявлял (как бы на боковой сцене того театра, в который меня залучили) деликатную старосветскую учтивость, причем сопровождал всякое свое движение неправильно произносимыми извинениями (же деманд пардон... эске же пуи...) и с большим тактом отворачивался, пока Валечка сдирала свои розовые штанишки с веревки над ванной; но мерзавец находился, казалось, одновременно всюду, приспособляя состав свой к анатомии квартиры, читая мою газету в моем же кресле, развязывая узлы на веревке, сворачивая себе папиросу, считая чайные ложечки, посещая уборную, помогая своей девке завернуть электрическую сушилку для волос (подарок ее отца) и вынося на улицу ее рухлядь. Я сидел, сложив руки, одним бедром на подоконнике, погибая от скуки и ненависти. Наконец оба они вышли из дрожавшей квартиры — вибрация двери, захлопнутой мною, долго отзывалась у меня в каждом нерве, что было слабой заменой той заслуженной оплеухи наотмашь по скуле, которую она бы получила на экране по всем правилам теперешних кинокартин. Неуклюже играя свою роль, я прошествовал в ван-

ную, дабы проверить, не увезли ли они моего английского одеколона; нет, не увезли; но я заметил с судорогой злобного отвращения, что бывший советник царя, основательно опорожнив мочевой пузырь, не спустил воду. Эта торжественная лужа захожей урины с разлезающимся в ней вымокшим темно-желтым окурком показалась мне высшим оскорблением, и я дико огляделся, ища оружия. На самом деле, вероятно, ничто иное, как русская мещанская вежливость (с примесью пожалуй чего-то азиатского) подвигнуто доброго полковника (Максимовича! — его фамилия вдруг прикатила обратно ко мне), очень чопорного человека, как все русские, на то, чтобы отправить интимную нужду с приличной беззвучностью, не подчеркнув малую площадь чужой квартиры путем низвержения громогласного водопада поверх собственной приглушенной струйки. Но это не пришло мне на ум в ту минуту, когда, мыча от ярости, я рыскал по кухне в поисках чего-нибудь повнушительнее метлы. Вдруг, бросив это, я ринулся из дома с героическим намерением напасть на него, полагаясь на одни кулаки. Несмотря на природную мою силу, я однако вовсе не боксер, меж тем как низкорослый, но широкоплечий Максимович казался вылитым из чугуна. Пустота улицы, где отъезд моей жены не был ничем отпразднован, кроме как в грязи горевшей стразовой пуговицей (оброненной после того, что она хранила ее три никому не нужных года в сломанной шкатулке), вероятно, спасла меня от разбитого в кровь носа. Но все равно: в должный срок я был отомщен. Человек из Пасадены сказал мне как-то, что миссис Максимович, рожденная Зборовская, умерла от родов в 1945-ом году. Она с мужем каким-то образом попала из Франции в Калифорнию; там, в продолжение целого года, за отличный оклад, они служили объектами опыта, производившегося известным американским этнологом. Опыт имел целью установить человеческие (индивидуальные и расовые) реакции на питание одними бананами и финиками при постоянном пребывании на четвереньках. Мой осведомитель, по профессии доктор, клялся мне, что видел своими глазами обоих — тучную Валечку и ее полковника,

к тому времени поседевшего и тоже сильно потолстевшего, — прилежно ползающими по полированным полам, через ряд ярко освещенных помещений (в одном были фрукты, в другом вода, в третьем подстилки и т. д.), в обществе нескольких других наемных четвероногих, набранных из бедствующих и беззащитных слоев. Я тогда же пробовал отыскать в антропологическом журнале результаты этих испытаний, но по-видимому они еще не были опубликованы. Разумеется, этим научным плодам нужно время для полного созревания. Надеюсь, что отчет будет иллюстрирован хорошими фотографиями, когда он появится, хотя не очень вероятно, чтобы тюремные библиотеки получали такого рода ученые труды. Та, которой я принужден ныне пользоваться, служит отличным примером нелепого эклектизма, руководящего выбором книг в учреждениях этого рода. Тут есть Библия, конечно, и есть Диккенс (старое многотомное издание Дилингама, Нью-Йорк, MDCCCLXXXVII); есть и "Детская Энциклопедия" (в которой попадаются довольно милые фотографии солнечноволосых гэрл-скаутов в трусиках), есть и детективный роман Агаты Кристи "Объявлено Убийство"; но, кроме того, есть такие пустячки, как "Бродяга в Италии" Перси Эльфинстона, автора "Снова Венеция", Бостон, 1868, и сравнительно недавний (1946) "Who's Who in the Limelight" — перечень актеров, режиссеров, драматургов и снимки статических сцен. Просматривая вчера последнюю из упомянутых книг, я был награжден одним из тех ослепительных совпадений, которых логик не терпит, а поэт обожает. Переписываю большую часть страницы:

Пим, Роланд. Родился в Лунди, Массачусетс, 1922. Получил сценическое образование в Эльсинорском Театре, Дерби, Нью-Йорк. Дебютировал в "Прорвавшемся Солнце". Среди множества других пьес, в которых он играл, были: "В Соседнем Квартале", "Девушка в Зеленом", "Перетасованные Мужья", "Странный Гриб", "На волоске", "Джон Ловли", "Ты Снилась Мне".

Куильти, Клэр. Американский драматург. Родился в Ошан Сити, Нью-Джерси, 1911. Окончил Колумбийский

Университет. Начал работать по коммерческой линии, но потом обратился к писанию пьес. Автор "Маленькой Нимфы", "Дамы, Любившей Молнию" (в сотрудничестве с Вивиан Дамор-Блок), "Темных Лет", "Странного Гриба", "Любви Отца" и других. Достойны внимания его многочисленные пьесы для детей. "Маленькая Нимфа" (1940) выдержала турне в 14.000 миль и давалась 280 раз в провинции за одну зиму, прежде чем дойти до Нью-Йорка. Любимые развлечения: полугоночные автомобили, фотография, домашние зверьки.

Квайн, Долорес. Родилась в 1882-м году, в Дэйтоне, Огайо. Изучала сценическое искусство в Американской Академии. Дебютировала в Оттаве, в 1900-м году. Дебют в Нью-Йорке состоялся в 1904-м году в "Не разговаривай с Чужими". С тех пор пропала в таких-то пьесах...

Какой беспомощной мукой терзаюсь при одном виде имени моей милой любви, даже тут, при фамилии какой-то гнусной старой комедиантки! Ведь может быть и она стала бы актрисой! Родилась в 1935-м году, выступала (кстати вижу, что в конце предыдущего параграфа у меня описка — но пожалуйста не поправляйте, уважаемый издатель) в "Убитом Драматурге". Квайн-Швайн. Убил ты Куилты. О, Лолита моя, все что могу теперь, — это играть словами.

9

Канитель с разводом заставила меня отложить отплытие, и мрак еще одной Мировой Войны уже окутал земной шар, когда, после скучной зимы в Португалии, где я перенес воспаление легких, я наконец достиг берегов Америки. В Нью-Йорке я охотно принял предлагаемую судьбой легкую службу: она заключалась главным образом в изобретении и редактировании парфюмерных объявлений. Я приветствовал ее поверхностный характер и псевдолитературный налет и занимался ею кое-как, когда вздумается. С другой стороны, новый, военного времени, университет

в Нью-Йорке уговаривал меня дописать мою сравнительную историю французской литературы. Первый том занял у меня года два работы, причем я редкий день трудился меньше пятнадцати часов. Оглядываясь на этот период, я вижу его аккуратно разделенным на просторный свет и узкую тень: свет относится к радостям изысканий в чертогах библиотек; тень — к пытке желаний, к бессоннице — словом, к тому, о чем я уже достаточно поговорил. Знакомый со мною читатель легко себе представит, как усердно, в пыльную жару, я высматривал — увы, всегда издали — нимфеток, играющих в Центральном Парке, и как мне были отвратительны декоративные, дезодоризованные секретарши и конторщицы, которыми один из шутников у нас в деле все старался меня прельстить. Опустим все это. Гибельный упадок душевных сил привел меня в санаторию на полтора года; я вернулся к работе — и вскоре опять занемог.

Выздоровление могла обещать бодрая жизнь на вольном воздухе. Любимый мой врач, очаровательный циник с короткой темной бородкой, познакомил меня со своим братом, который собирался вести экспедицию в приполярные области Канады. Я к ней был прикомандирован в качестве "наблюдателя за психическими реакциями". От времени до времени я делил (не очень, впрочем, успешно) с двумя молодыми ботаниками и старым плотником пухлявые прелести одной из наших специалисток по питанию, докторши Аниты Джонсон — которую вскоре услали на самолете восвояси, о чем вспоминаю с удовольствием. Цель экспедиции не представлялась мне ясно. Судя по многочисленности метеорологов, участвовавших в ней, можно было подумать, что мы прослеживаем к его берлоге (где-то, по-видимому, на Острове Принца Уэльского) блуждающий и шаткий северный магнитный полюс. Одна из групп основала с помощью канадцев метеорологическую станцию на Пьеровой Стрелке в Мельвильском Зунде. Другая, тоже заблуждавшаяся группа собирала планктон. Третья изучала связь между туберкулезом и тундрой. Берт, фильмовой фотограф, очень неуверенный в себе тип, вместе с которым

меня заставляли одно время усиленно заниматься физическим трудом (у него, как и у меня, были психические нелады) уверял, что "большие люди" в нашей экспедиции, настоящие ее руководители, которых мы никогда не видали, имели целью проверить влияние климатического потепления на мех полярной лисы.

Мы жили в разборных избах среди докембрийского гранитного мира. У нас была уйма припасов — комплект "Reader's Digest", мешалка для мороженого, химические клозеты, колпаки из цветной бумаги, чтобы справлять Рождество. Я удивительно хорошо поправился, несмотря на неописуемую пустоту и скуку жизни. Окруженный унылой растительностью Арктики — мелким ивняком, лишайниками, — пронизанный и, как полагаю, прочищенный свистящим ветром, я сидел, бывало, на круглом камне, под совершенно прозрачным небом (сквозь которое, однако, не просвечивало ничего важного) и чувствовал себя до странности отчужденным от своего "я". Упитанные, лоснистые маленькие эскимоски с личиками морских свинок, рыбным запахом и отталкивающей вороньей чернотой прямых волос, возбуждали во мне даже меньше вожделения, чем Джонсон. Нимфетки не водятся в арктических областях.

Я предоставил более знающим людям анализировать дрейфование льдов, друмлины, гремлины, кремлины, и некоторое время пытался записывать то, что я простодушно принимал за "психические реакции" (я заметил, например, что при полночном солнце сновидения бывают ярко окрашены, что подтвердил мой друг фотограф). Кроме того, мне полагалось допрашивать разных своих товарищей о множестве предметов, каковы: ностальгия, боязнь неизвестных зверей, гастрономические и половые мечтания, любимые развлечения, любимые радиопрограммы, изменения в образе мыслей и так далее. Всем это так приелось, что я бросил — и только в конце моей двадцатимесячной "приполярной каторги" (как шутливо выразился один из ботаников) настрочил сплошь выдуманный и очень красочный рапорт; любопытный читатель найдет его напечатанным в "Annals of Adult Psychophysics" за 1945 или 1946 год,

а также в выпуске "Arctic Explorations", посвященном нашей экспедиции — которая, замечу в заключение, не имела в действительности никакого отношения к медным залежам на Острове Виктории и тому подобным пустякам, как мне впоследствии удалось узнать от моего благодушного врача, ибо настоящая цель экспедиции была, как говорится, "секретного" порядка, и посему позволю себе только добавить, что в чем бы цель ни была, она была полностью достигнута.

Читатель узнает с сожалением, что вскоре по моем возвращении в цивилизованный мир мне пришлось снова бороться с помрачением рассудка (если только это жестокое определение применимо к меланхолии и чувству невыносимого томления). Окончательным выздоровлением я обязан открытию, сделанному мной во время лечения в очень дорогой санатории. Я открыл неисчерпаемый источник здоровой потехи в том, чтобы разыгрывать психиатров, хитро поддакивая им, никогда не давая им заметить, что знаешь все их профессиональные штуки, придумывая им в угоду вещие сны в чистоклассическом стиле (которые заставляли их самих, вымогателей снов, видеть сны и по ночам просыпаться с криком), дразня их подложными воспоминаниями о будто бы подсмотренных "исконных сценах" родительского сожительства и не позволяя им даже отдаленно догадываться о действительной беде их пациента. Подкупив сестру, я получил доступ к архивам лечебницы и там нашел, не без смеха, фишки, обзывавшие меня "потенциальным гомосексуалистом" и "абсолютным импотентом". Эта забава мне так нравилась, и действие ее на меня было столь благотворным, что я остался лишний месяц после выздоровления (при чем чудно спал и ел с аппетитом школьницы). А после этого я еще прикинул недельку единственно ради того, чтобы иметь удовольствие потягаться с могучим новым профессором из "перемещенных лиц", или Ди-Пи (от "Дементии Прекокс"), очень знаменитым, который славился тем, что умел заставить больного поверить, что тот был свидетелем собственного зачатия.

10

По выходе из больницы, я решил приискать себе деревушку в Новой Англии, или какой-нибудь сонный городок (ильмы, белая церковь), где бы я мог провести литературное лето, пробавляясь коробом накопившихся у меня заметок и купаясь в ближнем озере. Работа над учебником стала увлекать меня снова, а участие в дядюшкиных посмертных благовониях я к тому времени уже свел к минимуму.

Один из бывших его служащих, отпрыск почтенного рода, предложил мне поселиться на несколько месяцев в пригородном доме своих обедневших родственников по фамилии Мак-Ку, которые желали сдать верхний этаж, где до смерти своей чинно ютилась старая тетка. Он сказал, что у них две дочки, одна совсем маленькая, а другая двенадцати лет, и прекрасный сад невдалеке от прекрасного озера, и я сказал, что все это предвещает совершенно совершенное лето.

Мы обменялись письмами, и я убедил господина Мак-Ку, что не гажу в углах. Ночь в поезде была фантастическая: я старался представить себе со всеми возможными подробностями таинственную нимфетку, которую буду учить по-французски и ласкать по-гумбертски. Никто меня не встретил на игрушечном вокзальчике, где я вышел со своим новым дорогим чемоданом, и никто не отозвался на телефонный звонок. Через некоторое время, однако, в единственную гостиницу зелено-розового Рамздэля явился расстроенный, промокший Мак-Ку с известием, что его дом только что сгорел дотла — быть может, вследствие одновременного пожара, пылавшего у меня всю ночь в жилах. Мак-Ку объяснил, что его жена с дочками уехала на семейном автомобиле искать приюта на какой-то им принадлежавшей мызе, но что подруга жены, госпожа Гейз, прекрасная женщина, 342, Лоун Стрит, готова сдать мне комнату. Старуха, жившая как раз против госпожи Гейз, одолжила Мак-Ку свой лимузин, допотопную махину с прямоугольным верхом, которой управлял веселый негр. Я же подумал про себя, что раз исчезла единственная при-

чина моего приезда именно в Рамздэль, новое устройство, предложенное мне — просто бред. Какое было мне дело до того, что ему придется отстроить заново дом — ведь, наверно же, все было хорошо застраховано. Я чувствовал раздражение, разочарование и скуку, но будучи вежливым европейцем, не мог отказаться от того, чтобы быть отвезенным на Лоун Стрит в этом погребальном лимузине, да я, кроме того, чуял, что в противном случае Мак-Ку придумает какой-нибудь еще более сложный способ распорядиться моей персоной. Я видел, как он засеменил прочь, и как мой шофер покачал головой с легкой усмешкой. Во время пути я все клялся себе, что не останусь в Рамздэле ни при каких обстоятельствах, а вылечу в тот же день в направлении Бермудских или Багамских или Чортовоматерных Островов. Еще недавно по хребту у меня трепетом проходили некоторые сладостные возможности в связи с цветными снимками морских курортов, и по правде сказать, именно Мак-Ку резко отвлек меня от этих планов своим благонамеренным, но как теперь выяснилось, абсолютно несбыточным предложением.

Кстати насчет резких отвлечений в сторону: мы едва не раздавили навязчивую пригородную собаку (из тех, что устраивают засады автомобилям), как только повернули на Лоун Стрит. Показался Гейзовский дом — досчатый, беленый, ужасный, потускневший от старости, скорее серый, чем белый — тот род жилья, в котором знаешь, что найдешь вместо душа клистирную кишку, натягиваемую на ванный кран. Я дал на чай шоферу и понадеялся, что он сразу отъедет, — это позволило бы мне незаметно спетлить обратно к гостинице, чтобы подобрать чемодан; но он попросту причалил к противоположному дому, с веранды которого старая мисс Визави окликала его. Что мне было делать? Я нажал на дверную кнопку.

Чернокожая горничная впустила меня и оставила стоять на половике, покамест мчалась назад на кухню, где что-то горело или, вернее, подгорало.

Прихожую украшали гроздь дверных колокольчиков, белоглазое деревянное чудище мексиканского производ-

ства для туристов, и ван Гог ("Арлезианка") — банальный баловень изысканной части буржуазного класса.

Справа, приотворенная дверь позволяла увидеть уголок гостиной с добавочным мексиканским вздором в стеклянном шкафу и полосатым диваном вдоль стены. Впереди, в глубине прихожей, была лестница, и пока я стоял, вытирая платком лоб (только теперь я отдал себе отчет в том, какая жара была на дворе) и глядя на случайно подвернувшийся предмет — старый серый теннисный мячик, лежавший на дубовом бауле, — донесся с верхней площадки контральтовый голос госпожи Гейз, которая, перегнувшись через перила, мелодично спросила "Это мсье Гумберт?" В придачу оттуда упало немножко папиросного пепла. Затем сама дама (сандалии, темно-красные штаны, желтая шелковая блузка, несколько прямоугольное лицо — в этом порядке) сошла по ступеням лестницы, все еще постукивая указательным пальцем по папиросе.

Я, пожалуй, тут же и опишу госпожу Гейз, чтобы разделаться с ней. Бедной этой даме было лет тридцать пять, у нее был гладкий лоб, выщипанные брови и совсем простые, хотя и довольно привлекательные черты лица того типа, который можно определить как слабый раствор Марлены Дитрих. Похлопывая ладонью по бронзоватому шиньону на затылке, она повела меня в гостиную, где мы поговорили с минуту о сгоревшем доме Мак-Ку и преимуществах жизни в Рамздэле. Ее широко расставленные аквамариновые глаза имели привычку окидывать всего собеседника, прилежно избегая только его собственных глаз. Ее улыбка сводилась к вопросительному вскидыванию одной брови; и пока она говорила, она как бы развертывала кольца своего тела, совершая с дивана судорожные маленькие вылазки в направлении трех пепельниц и камина (в котором лежала коричневая сердцевина яблока); после чего она снова откидывалась, подложив под себя одну ногу. Она явно принадлежала к числу тех женщин, чьи отполированные слова могут отразить дамский кружок чтения или дамский кружок бриджа, но отразить душу не могут; женщин, совершенно лишенных чувства юмора, женщин, в сущно-

сти вполне равнодушных к десяти-двенадцати знакомым им темам салонного разговора, но при этом весьма привередливых в отношении разговорных правил, сквозь солнечный целофан коих ясно проступают затаенные, подавленные и не очень аппетитные вещи. Я вполне понимал, что ежели по какому-либо невероятному стечению обстоятельств оказался бы ее жильцом, она бы методически принялась делать из меня то, что ей представлялось под словом "жилец", и я был бы вовлечен в одну из тех скучных любовных историй, которые мне были так знакомы.

Впрочем, никакой не могло быть речи о том, чтобы мне тут поселиться. Я не думал, что мог бы жить счастливо в доме, где на каждом стуле валяется истрепанный журнальчик и где гнусно смешивается комедия "функциональной" современной мебели с трагедией ветхих качалок и шатких столиков с мертвыми лампами на них. Мадам повела меня наверх и налево, в "мою" комнату. Я осмотрел ее сквозь туман моего отказа от нее, но несмотря на эту туманность, заметил над "моей" постелью репродукцию "Крейцеровой Сонаты" Ренэ Принэ. И эту-то конуру для прислуги она называла "полустудией"! Вон отсюда, немедленно вон, мысленно кричал я себе, притворяясь, что обдумываю пониженную до смешного цену, которую с мечтательной и грозной надеждой хозяйка просила за полный пансион.

Старосветская учтивость заставляла меня, однако, длить пытку. Мы перешли через площадку лестницы на правую сторону дома ("Тут живу я, а тут живет Ло" — вероятно горничная, подумал я), и квартирант-любовник едва мог скрыть содрогание, когда ему, весьма утонченному мужчине, было дано заранее узреть единственную в доме ванную — закут (между площадкой и комнатой уже упомянутой Ло), в котором бесформенные, мокрые вещи нависали над сомнительной ванной, отмеченной вопросительным знаком оставшегося в ней волоска; и тут-то и встретили меня предвиденные мной извивы резиновой змеи и другой, чем-то сродный ей, предмет: мохнато-розовая попонка, жеманно покрывавшая доску клозета.

"Я вижу, впечатление у вас не очень благоприятное", сказала моя дама, уронив на миг руку ко мне на рукав. В ней сочеталась хладнокровная предприимчивость (переизбыток того, что называется, кажется, "спокойной грацией") с какой-то застенчивостью и печалью, из-за чего особая тщательность, с которой она выбирала слова, казалась столь же неестественной, как интонации преподавателя дикции. "Мой дом не очень опрятен, признаюсь", продолжала милая обреченная бедняжка, "но я вас уверяю (глаза ее скользнули по моим губам), вам здесь будет хорошо, очень даже хорошо. Давайте-ка я еще покажу вам столовую и сад" (последнее произнесено было живее, точно она заманчиво взмахнула голосом).

Я неохотно последовал за ней опять в нижний этаж; прошли через прихожую и через кухню, находившуюся на правой стороне дома, на той же стороне, где были столовая и гостиная (между тем как слева от прихожей, под "моей" комнатой ничего не было кроме гаража). На кухне плотная молодая негритянка проговорила, снимая свою большую глянцевито-черную сумку с ручки двери, ведшей на заднее крыльцо: "Я теперь пойду, миссис Гейз". "Хорошо, Луиза", со вздохом ответила та. "Я заплачу вам в пятницу". Мы прошли через небольшое помещение для посуды и хлеба и очутились в столовой, смежной с гостиной, которой мы недавно любовались. Я заметил белый носок на полу. Недовольно крякнув, госпожа Гейз нагнулась за ним на ходу и бросила его в какой-то шкаф. Мы бегло оглядели стол из красного дерева с фруктовой вазой посередке, ничего не содержавшей, кроме одной, еще блестевшей, сливовой косточки. Между тем я нащупал в кармане расписание поездов и незаметно его выудил, чтобы как только будет возможно, ознакомиться с ним. Я все еще шел следом за госпожой Гейз через столовую, когда вдруг в конце ее вспыхнула зелень. "Вот и веранда", пропела моя водительница, и затем, без малейшего предупреждения, голубая морская волна вздулась у меня под сердцем, и с камышового коврика на веранде, из круга солнца, полуголая, на коленях, поворачиваясь на коленях ко мне, моя ривьерская любовь внимательно на меня глянула поверх темных очков.

Это было то же дитя — те же тонкие, медового оттенка плечи, та же шелковистая, гибкая, обнаженная спина, та же русая шапка волос. Черный в белую горошинку платок, повязанный вокруг ее торса, скрывал от моих постаревших горилловых глаз — но не от взора молодой памяти — полуразвитую грудь, которую я так ласкал в тот бессмертный день. И как если бы я был сказочной нянькой маленькой принцессы (потерявшейся, украденной, найденной, одетой в цыганские лохмотья, сквозь которые ее нагота улыбается королю и его гончим), я узнал темно-коричневое родимое пятнышко у нее на боку. Со священным ужасом и упоением (король рыдает от радости, трубы трубят, нянька пьяна) я снова увидел прелестный впалый живот, где мои на юг направлявшиеся губы мимоходом остановились, и эти мальчишеские бедра, на которых я целовал зубчатый отпечаток от пояска трусиков — в тот безумный, бессмертный день у Розовых Скал. Четверть века с тех пор прожитая мной сузилась, образовала трепещущее острие и исчезла.

Необыкновенно трудно мне выразить с требуемой силой этот взрыв, эту дрожь, этот толчок страстного узнавания. В тот солнцем пронизанный миг, за который мой взгляд успел оползти коленопреклоненную девочку (моргавшую поверх строгих темных очков — о, маленький Herr Doktor, которому было суждено вылечить меня ото всех болей), пока я шел мимо нее под личиной зрелости (в образе статного мужественного красавца, героя экрана), пустота моей души успела вобрать все подробности ее яркой прелести и сравнить их с чертами моей умершей невесты. Позже, разумеется, она, эта nova, эта Лолита, *моя* Лолита, должна была полностью затмить свой прототип. Я только стремлюсь подчеркнуть, что откровение на американской веранде было только следствием того "княжества у моря" в моем страдальческом отрочестве. Все, что произошло между этими двумя событиями, сводилось к череде слепых исканий и заблуждений и ложных зачатков радости. Все, что было общего между этими двумя существами, делало их единым для меня.

У меня, впрочем, никаких нет иллюзий. Мои судьи усмотрят в вышесказанном лишь кривлянья сумасшедшего,

попросту любящего le fruit vert. В конце концов, мне это совершенно все равно. Знаю только, что пока Гейзиха и я спускались по ступеням в затаивший дыхание сад, колени у меня были, как отражение колен в зыбкой воде, а губы были как песок.

“Это была моя Ло”, произнесла она, “а вот мои лилии”.

“Да”, сказал я, “да. Они дивные, дивные, дивные”.

11

Экспонат номер два — записная книжечка в черном переплете из искусственной кожи, с тисненым золотым годом (1947) лесенкой в верхнем левом углу. Описываю это аккуратное изделие фирмы Бланк, Бланктон, Массач., как если бы оно вправду лежало передо мной. На самом же деле, оно было уничтожено пять лет тому назад, и то, что мы ныне рассматриваем (благодаря любезности Мнемозины, запечатлевшей его) — только мгновенное воплощение, щуплый выпадыш из гнезда Феникса.

Отчетливость, с которой помню свой дневник, объясняется тем, что писал я его дважды. Сначала я пользовался блокнотом большого формата, на отрывных листах которого я делал карандашные заметки со многими подчистками и поправками; все это с некоторыми сокращениями я переписал мельчайшим и самым бесовским из своих почерков в черную книжечку.

Тридцатое число мая официально объявлено Днем Постным в Нью-Гампшире, но в Каролинах, например, это не так. В 1947 году в этот день из-за поветрия так называемой “желудочной инфлюэнцы” рамздэльская городская управа уже закрыла на лето свои школы. Незадолго до того я въехал в Гейзовский дом, и дневничок, с которым я теперь собираюсь познакомить читателя (вроде того как шпион передает наизусть содержание им проглоченного донесения), покрывает большую часть июня. Мои замечания насчет погоды читатель может проверить в номерах местной газеты за 1947 год.

Четверг. Очень жарко. С удобного наблюдательного пункта (из окна ванной комнаты) увидел как Долорес снимает белье с веревки в яблочно-зеленом свете по ту сторону дома. Вышел, как бы прогуливаясь. Она была в клетчатой рубашке, синих ковбойских панталонах и полотняных тапочках. Каждым своим движением среди круглых солнечных бликов она дотрагивалась до самой тайной и чувствительной струны моей низменной плоти. Немного погодя села около меня на нижнюю ступень заднего крыльца и принялась подбирать мелкие камешки, лежавшие на земле между ее ступнями — острые, острые камешки, — и в придачу к ним крученый осколок молочной бутылки, похожий на губу огрызающегося животного, и кидать ими в валявшуюся поблизости жестянку. Дзинк. Второй раз не можешь, не можешь — что за дикая пытка — не можешь попасть второй раз. Дзинк. Чудесная кожа, и нежная и загорелая, ни малейшего изъяна. Мороженое с сиропом вызывает сыпь: слишком обильное выделение из сальных желез, питающих фолликулы кожи, ведет к раздражению, а последнее открывает путь заразе. Но у нимфеток, хоть они и наедаются до отвала всякой жирной пищей, прыщиков не бывает. Боже, какая пытка — этот атласистый отлив за виском, переходящий в ярко русые волосы! А эта косточка, вздрагивающая сбоку у запыленной лодыжки...

"Дочка мистера Мак-Ку? Дженни Мак-Ку? Ах — ужасная уродина! И подлая. И хромая. Чуть не умерла от полиомиелита".

Дзинк. Блестящая штриховка волосков вдоль руки ниже локтя. Когда она встала, чтобы внести в дом белье, я издали проследил обожающим взглядом выцветшую сзади голубизну ее закаченных штанов. Из середины поляны г-жа Гейз, вооруженная кодаком, преспокойно выросла, как фальшивое дерево факира, и после некоторых светотехнических хлопот — грустный взгляд вверх, довольный взгляд вниз — позволила себе снять сидящего на ступеньке смущенного Humbert le Bel.

Пятница. Видел, как она шла куда-то с Розой, темноволосой подругой. Почему меня так чудовищно волнует дет-

ская — ведь попросту же детская — ее походка? Разберемся в этом. Чуть туповато ставимые носки. Какая-то разболтанность, продленная до конца шага в движении ног пониже колен. Едва намеченное пошаркивание. И все это бесконечно молодо, бесконечно распутно. Гумберта Гумберта, кроме того, глубоко потрясает жаргон малютки и ее резкий высокий голос. Несколько позже слышал, как она палила в Розу грубоватым вздором через забор. Все это отзывалось во мне дребезжащим восходящим ритмом. Пауза. "А теперь мне пора, детка".

Суббота. (Возможно, что в этом месте кое-что автором подправлено.) Знаю, что писать этот дневник — безумие, но мне он доставляет странное пронзительное удовольствие; да и кто же — кроме любящей жены — мог бы расшифровать мой микроскопический почерк? Позвольте же мне объявить со всхлипом, что нынче моя Л. принимала солнечную ванну на открытой веранде, но, увы, мать и какие-то другие дамы все время витали поблизости. Конечно, я мог бы расположиться там в качалке и делать вид, что читаю. Но я решил остаться у себя, опасаясь, как бы ужасная, сумасшедшая, смехотворная и жалкая лихорадка, сотрясавшая меня, не помешала мне придать своему появлению какое-либо подобие беззаботности.

Воскресенье. Зыбь жары все еще с нами; благодатнейшая неделя! На этот раз я занял стратегическое положение, с толстой воскресной газетой и новой трубкой в верандовой качалке, заблаговременно. Увы, она пришла вместе с матерью. Они были в черных купальных костюмах, состоящих из двух частей и таких же новеньких, как моя трубка. Моя душенька, моя голубка на минуту остановилась подле меня — ей хотелось получить страницы юмористического отдела, — и от нее веяло почти тем же что от другой, ривьерской, только интенсивнее, с примесью чего-то шероховатого — то был знойный душок, от которого немедленно пришла в движение моя мужская сила; но она уже выдернула из меня лакомую часть газеты и отступила к своему половичку рядом с тюленеобразной маменькой. Там моя красота улеглась ничком, являя мне, несметным очам,

широко разверстым у меня в зрячей крови, свои приподнятые лопатки, и персиковый пушок вдоль вогнутого позвоночника, и выпуклости обтянутых черным узких ягодиц, и пляжную изнанку отроческих ляжек. Третьеклассница молча наслаждалась зелено-красно-синими сериями рисунков. Более прелестной нимфетки никогда не снилось зелено-красно-синему Приапу. С высохшими губами, сквозь разноцветные слои света глядя на нее, собирая в фокус свое вожделение и чуть покачиваясь под прикрытием газеты, я знал, что если как следует сосредоточусь на этом восприятии, то немедленно достигну высшей точки моего нищенского блаженства. Как хищник предпочитает шевелящуюся добычу застывшей, я хотел, однако, чтобы это убогое торжество совпало с одним из разнообразных движений, которые читавшая девочка изредка делала, почесывая себе хребет и показывая чуть подтушеванную подмышку, но толстая Гейз вдруг все испортила тем, что повернулась ко мне и попросила дать ей закурить, после чего завела никчемный разговор о шарлатанском романе какого-то популярного пройдохи.

Понедельник. Delectatio morosa.

"Я провожу томительные дни
В хандре и грусти..."

Мы (матушка Гейз, Долорес и я) должны были ехать после завтрака на Очковое озеро и там купаться и валяться на песке; но перламутровое утро выродилось в дождливый полдень, и Ло закатила сцену.

Установлено, что средний возраст полового созревания у девочек в Нью-Йорке и Чикаго — тринадцать лет и девять месяцев; индивидуально же этот возраст колеблется между десятью (или меньше) и семнадцатью. Маленькой Вирджинии еще не стукнуло четырнадцать, когда ею овладел Эдгар. Он давал ей уроки алгебры. Воображаю. Провели медовый месяц в Санкт-Петербурге на западном побережье Флориды. "Мосье По-по", как один из учеников Гумберта Гумберта в парижском лицее называл поэта Поэ.

У меня имеются все те черты, которые, по мнению экспертов по сексуальным интересам детей, возбуждают ответный трепет у девочек: чистая линия нижней челюсти, мускулистая кисть руки, глубокий голос, широкие плечи. Кроме того, я, говорят, похож на какого-то не то актера, не то гугнивца с гитарой, которым бредит Ло.

Вторник. Дождик. Никаких озер (одни лужи). Маменька уехала за покупками. Я знал, что Ло где-то близко. В результате скрытых маневров я набрел на нее в спальне матери. Оттягивала перед зеркалом веко, стараясь отделаться от соринки, попавшей в левый глаз. Клетчатое платьице. Хоть я и обожаю этот ее опьяняющий каштановый запах, все же мне кажется, что ей бы следовало кое-когда вымыть волосы. На мгновение мы оба заплавали в теплой зелени зеркала, где отражалась вершина тôполя вместе с нами и небом. Подержал ее грубовато за плечи, затем ласково за виски и повернул ее к свету.

"Оно вот здесь", сказала она, "я чувствую"...

"Швейцарская кокрестьянка кокончиком языка"...

"...Вылизала бы?"

"Имно. Попробать?"

"Конечно, попробуйте".

Нежно я провел трепещущим жалом по ее вращающемуся соленому глазному яблоку.

"Вот здорово", сказала она, мигая, "все ушло".

"Теперь второй глаз".

"Глупый вы человек", начала она, "там ровно —". Но тут она заметила мои собранные в пучок приближающиеся губы и покладисто сказала: "Окэй".

Наклонившись к ее теплому, приподнятому, рыжевато-розовому лицу, сумрачный Гумберт прижал губы к ее бьющемуся веку. Она усмехнулась и, платьем задев меня, быстро вышла из комнаты. Я чувствовал, будто мое сердце бьется всюду одновременно. Никогда в жизни — даже когда я ласкал ту девочку на Ривьере — никогда. —

Ночь. Никогда я не испытывал таких терзаний. Мне бы хотелось описать ее лицо, ее движения — а не могу, потому что, когда она вблизи, моя же страсть к ней ослепляет

меня. Черт побери — я не привык к обществу нимфеток! Если же закрываю глаза, вижу всего лишь застывшую часть ее образа, рекламный диапозитив, проблеск прелестной гладкой кожи с исподу ляжки, когда она, сидя и подняв высоко колено под клетчатой юбочкой, завязывает шнурок башмака. "Долорес Гейз, нэ муонтрэ па вуа жямб" (это говорит ее мать, думающая, что знает по-французски).

Будучи à mes heures поэтом, я посвятил мадригал черным, как сажа, ресницам ее бледно-серых, лишенных всякого выражения глаз, да пяти асимметричным веснушкам на ее вздернутом носике, да белесому пушку на ее коричневых членах; но я разорвал его и не могу его нынче припомнить. Только в банальнейших выражениях (возвращаемся тут к дневнику) удалось бы мне описать черты моей Ло: я мог бы сказать, например, что волосы у нее темнорусые, а губы красные, как облизанный барбарисовый леденец, причем нижняя очаровательно припухлая — ах, быть бы мне пишущей дамой, перед которой она бы позировала голая при голом свете. Но ведь я всего лишь Гумберт Гумберт, долговязый, костистый, с шерстью на груди, с густыми черными бровями и странным акцентом, и целой выгребной ямой, полной гниющих чудовищ, под прикрытием медленной мальчишеской улыбки. Да и она вовсе не похожа на хрупкую девочку из дамского романа. Меня сводит с ума двойственная природа моей нимфетки — всякой, быть может, нимфетки: эта смесь в Лолите нежной мечтательной детскости и какой-то жутковатой вульгарности, свойственной курносой смазливости журнальных картинок и напоминающей мне мутно-розовых несовершеннолетних горничных у нас в Европе (пахнущих крошеной ромашкой и потом), да тех очень молоденьких блудниц, которых переодевают детьми в провинциальных домах терпимости. Но в придачу — в придачу к этому мне чуется неизъяснимая, непорочная нежность, проступающая сквозь мускус и мерзость, сквозь смрад и смерть. Боже мой. Боже мой... И наконец — что всего удивительнее — она, *эта* Лолита, *моя* Лолита, так обособила древнюю мечту автора,

что надо всем и несмотря ни на что существует только — Лолита.

Среда. “Заставьте-ка маму повести нас (нас!) на Очковое озеро завтра”. Вот дословно фраза, которую моя двенадцатилетняя пассия проговорила страстным шепотом, столкнувшись со мной в сенях — я выходил, она вбегала. Отражение послеобеденного солнца дрожало ослепительно-белым алмазом в оправе из бесчисленных радужных игл на круглой спине запаркованного автомобиля. От листвы пышного ильма падали мягко переливающиеся тени на досчатую стену дома. Два тополя зыблились и покачивались. Ухо различало бесформенные звуки далекого уличного движения. Чей-то детский голос звал: “Нанси! Нан-си!”. В доме Лолита поставила свою любимую пластинку “Малютка Кармен”, которую я всегда называл “Карманная Кармен”, от чего она фыркала, притворно глумясь над моим притворным остроумием.

Четверг. Вчера вечером мы сидели на открытой веранде — Гейзиха, Лолита и я. Сгущались теплые сумерки, переходя в полную неги ночь. Старая дурында только что кончила подробно рассказывать мне содержание кинокартины, которую она и Ло видели полгода назад. Очень уже опустившийся боксер наконец знакомится с добрым священником (который сам когда-то, в крепкой своей юности, был боксером и до сих пор мог кулаком свалить грешника). Мы сидели на подушках, положенных на пол; Ло была между мадам и мной (сама втиснулась — звереныш мой). В свою очередь я пустился в уморительный пересказ моих арктических приключений. Муза вымысла протянула мне винтовку, и я выстрелил в белого медведя, который сел и охнул. Между тем я остро ощущал близость Ло, и пока я говорил и жестикулировал в милосердной темноте, я пользовался невидимыми этими жестами, чтобы тронуть то руку ее, то плечо, то куклу-балерину из шерсти и кисеи, которую она тормошила и все сажала ко мне на колени; и наконец, когда я полностью опутал мою жаром пышущую душеньку этой сетью бесплотных ласок, я посмел погладить ее по ноге, по крыжовенным волоскам вдоль голени,

и я смеялся собственным шуткам, и трепетал, и таил трепет, и раза два ощутил беглыми губами тепло ее близких кудрей, тыкаясь к ней со смешными апарте в быстрых скобках и лаская ее игрушку. Она тоже очень много ерзала, так что в конце концов мать ей резко сказала перестать возиться, а ее куклу вдруг швырнула в темноту, и я все похохатывал и обращался к Гейзихе через ноги Ло, причем моя рука ползла вверх по худенькой спине нимфетки, нащупывая ее кожу сквозь ткань мальчишеской рубашки.

Но я знал, что все безнадежно. Меня мутило от вожделения, я страдал от тесноты одежд, и был даже рад, когда спокойный голос матери объявил в темноте: “А теперь мы считаем, что Ло пора идти спать”. “А я считаю, что вы свинюги”, сказала Ло. “Отлично, значит завтра не будет пикника”, сказала Гейзиха. “Мы живем в свободной стране”, сказала Ло. После того что сердитая Ло, испустив так называемое “Бронксовое ура” (толстый звук тошного отвращения), удалилась, я по инерции продолжал пребывать на веранде, между тем как Гейзиха выкуривала десятую за вечер папиросу и жаловалась на Ло.

Ло, видите ли, уже выказывала злостность, когда ей был всего один год и она, бывало, из кровати кидала игрушки через боковую сетку так, чтобы бедной матери этого подлого ребенка приходилось их подбирать! Ныне, в двенадцать лет, это прямо бич Божий, по словам Гейзихи. Единственное о чем Ло мечтает — это дрыгать под джазовую музыку или гарцевать в спортивных шествиях, высоко поднимая колени и жонглируя палочкой. Отметки она получает плохие, но все же оказалась лучше приспособленной к школьному быту на новом месте, чем в Писки (Писки был их родной город в средней части Соединенных Штатов; рамздэльский же дом раньше принадлежал покойной свекрови; в Рамздэль они переехали около двух лет тому назад). “Отчего Ло была несчастна в той первой школе?” “Ах”, сказала вдова, “мне ли не знать. Я, бедная, сама прошла через это в детстве: ужасны эти мальчишки, которые выкручивают тебе руку, нарочно влетают в тебя с кипой книг, дергают за волосы, больно щиплют за грудь, стараются

задрать тебе юбку. Конечно, капризность является сопутствующим обстоятельством нормального развития, но Ло переходит всякие границы. Она хмурая и изворотливая. Ведет себя дерзко и вызывающе. На днях Виола, итальяночка у нее в классе, жаловалась, что Лолита ее кольнула в зад самопишущим пером. Знаете", сказала Гейзиха, "чего бы мне хотелось? Если бы вы, monsieur, случайно еще были здесь осенью, я бы вас попросила помочь ей готовить уроки — мне кажется, вы знаете буквально все — географию, математику, французский". "Все, все", ответил monsieur. "Ага", подхватила Гейзиха, "значит вы еще будете здесь?" Я готов был крикнуть, что я бы остался навеки, если я мог бы надеяться изредка понежить обещанную ученицу. Но я не доверял Гейзихе. Поэтому я только хмыкнул, потянулся, и, не желая долее сопутствовать ее обстоятельности (le mot juste) вскоре ушел к себе в комнату. Но вдовушка, видимо, не считала, что день окончился. Я покоился на своем холодном ложе, прижимая к лицу ладонь с душистой тенью Лолиты, когда услышал, как моя неугомонная хозяйка крадется к двери и сквозь нее шепчет: "только хочу знать, кончили ли вы "Взгляд и Вздох"?" (иллюстрированный журнал, на днях мне одолженный). Из комнаты дочки раздался вопль Ло: журнал был у нее. Чорт возьми — не дом, а прокатная библиотека.

Пятница. Интересно, что сказал бы солидный директор университетского издательства, в котором выходит мой учебник, если бы я в нем привел выражение Ронсара насчет "маленькой аленькой щели" или строчки Реми Бэлло: "тот холмик небольшой, мхом нежным опушенный, с пунцовой посреди чертою проведенной" — и так далее. Боюсь, опять заболею нервным расстройством, если останусь жить в этом доме, под постоянным напором невыносимого соблазна, около моей душеньки — моей и Эдгаровой душеньки — "моей жизни, невесты моей". Посвятила ли ее уже мать-природа в Тайну Менархии? Ощущение раздутости. "Проклятие", как называют это ирландки... Иносказательно: "падение с крыши" или "гостит бабушка". "Госпожа Матка (цитирую из журнала для девочек) начинает строить

толстую мягкую перегородку — пригодится, если внутри ляжет ребеночек". Крохотный сумасшедший в своей обитой войлоком палате для буйных.

Между прочим: если когда-нибудь я совершу всерьез убийство — отметьте это "если" — позыв потребовался бы посильнее чем тот, который я испытал по отношению к Валерии. Тщательно отметьте, что тогда я действовал довольно бестолково. Когда вам захочется — если захочется — жарить меня на электрическом стуле, имейте в виду, пожалуйста, что только припадок помешательства мог наделить меня той примитивной энергией, без которой нельзя превратиться в зверя (возможно, что все это место подправлено по сравнению с дневничком). Иногда я во сне покушаюсь на убийство. Но знаете, что случается? Держу, например, пистолет. Целюсь, например, в спокойного врага, проявляющего безучастный интерес к моим действиям. О да, я исправно нажимаю на собачку, но одна пуля за другой вяло выкатывается на пол из придурковатого дула. В этих моих снах у меня лишь одно желание — скрыть провал от врага, который, однако, медленно начинает сердиться.

Сегодня за обедом старая ехидна, искоса блеснув косым, по-матерински насмешливым взглядом на Ло (я только что кончил описывать в шутливом тоне прелестные усики щеточкой, которые почти решил отпустить), сказала: "Лучше не нужно, иначе у кого-то совсем закружится головка". Ло немедленно отодвинула свою тарелку с вареной рыбой, чуть не опрокинув при этом стакан молока, и метнулась вон из столовой. "Вам было бы не слишком скучно", проговорила Гейзиха, "завтра поехать с нами на озеро купаться, если Ло извинится за свою выходку?"

Некоторое время спустя ко мне в комнату донеслось гулкое дверное бухание и другие звуки, исходившие из каких-то содрогавшихся недр, где у соперниц происходила яростная ссора.

Она не извинилась. Поездка отменена. А ведь могло бы быть забавно.

Суббота. Вот уже несколько дней, как оставляю дверь приоткрытой, когда у себя работаю; но только сегодня

уловка удалась. Со многими ужимками, шлепая и шаркая туфлями (с целью скрыть смущение, что вот посетила меня без зова), Ло вошла и, повертевшись там и сям, стала рассматривать кошмарные завитушки, которыми я измарал лист бумаги. О нет — то не было следствием вдохновенной паузы эссеиста между двумя параграфами; то была гнусная тайнопись (которую понять она не могла) моего рокового вожделения. Ее русые локоны склонились над столом, у которого я сидел, и Хумберт Хриплый обнял ее одной рукой — жалкое подражание кровному родству. Держа лист и продолжая его изучать чуть-чуть близорукими глазами, моя наивная маленькая гостья медленно полуприсела ко мне на колено. Ее прелестный профиль, приоткрытые губы, теплые волосы были в каких-нибудь трех вершках от моего ощеренного резца, и сквозь грубоватую ткань мальчишеской одежды я чувствовал жар ее тела. Вдруг я ясно понял, что могу поцеловать ее в шею или в уголок рта с полной безнаказанностью — понял, что она мне это позволит и даже прикроет при этом глаза по всем правилам Холливуда. Это так же просто, как двойная порция сливочного мороженого с горячим шоколадным соусом. Не могу объяснить моему ученому читателю (брови которого, вероятно, так полезли вверх, что уже доехали до затылка через всю плешь), каким образом я это понял; может быть, звериным чутьем я уловил легчайшую перемену в ритме ее дыхания, ибо теперь она уже не столько разглядывала мою мазню — о моя прозрачная нимфетка! — сколько ждала с тихим любопытством, чтобы произошло именно то, чего до смерти хотелось обаятельному квартиранту. Дитя нашего времени, жадное до киножурналов, знающее толк в снятых крупным планом, млеющих, медлящих кадрах, она, наверное, не нашла бы ничего странного в том, чтобы взрослый друг, статный красавец — Поздно! Весь дом вдруг загудел от голоса говорливой Луизы, докладывающей госпоже Гейз, которая только что вернулась, о каком-то мертвом зверьке, найденном ею и Томсоном (соседским шофером) в подвале — и, конечно, моя Лолиточка не могла пропустить такой интересный случай.

Воскресенье. Она переменчива, она капризна, она угловата, она полна терпкой грации резвого подростка. Она нестерпимо привлекательна с головы до ног (отдаю всю Новую Англию за перо популярной романистки!) — начиная с готового банта и заколок в волосах и кончая небольшим шрамом на нижней части стройной икры (куда ее лягнул роликовым коньком мальчишка в Писки), как раз над уровнем белого шерстяного носка. Она только что отправилась с мамашей к Гамильтонам — празднование дня рождения подруги, что ли. Бумажное платье в клетку с широкой юбкой. Грудки, кажется, уже хорошо оформились. Как ты спешишь, моя прелесть!

Понедельник. Дождливое утро. "Ces matins gris si doux...!"

На мне белая пижама с лиловым узором на спине. Я похож на одного из тех раздутых пауков жемчужного цвета, каких видишь в старых садах. Сидит в центре блестящей паутины и помаленьку дергает ту или другую нить. Моя же сеть простирается по всему дому, а сам я сижу в кресле, как хитрый кудесник, и прислушиваюсь. Где Ло? У себя? Тихонько дергаю шелковинку. Нет, она вышла оттуда; я только что слышал прерывистый треск поворачивающегося туалетного ролика; но закинутое мной слуховое волоконце не проследило шагов из ванной обратно к ней в комнату. Может быть, она все еще чистит зубы (единственное гигиеническое действие, которое Лолита производит с подлинным рвением). Нет. Дверь ванной только что хлопнула; значит, надобно пошарить дальше по дому в поисках дивной добычи. Давай-ка пущу шелковую нить на нижний этаж. Этим путем убеждаюсь, что ее нет на кухне, что она, например, не затворяет с грохотом дверцу рефрижератора, не шипит на ненавистную мать (которая, полагаю, наслаждается третьим с утра воркотливым, сдержанно-веселым разговором по телефону). Что ж, будем дальше нащупывать и уповать. Как луч, проскальзываю в гостиную и устанавливаю, что радио молчит (между тем как мамаша все еще говорит с миссис Чатфильд или миссис Гамильтон, очень приглушенно, улыбаясь, рдея, прикрывая ладонью свободной руки трубку, отрицая и намекая, что не совсем отри-

цает забавные слухи о квартиранте, ах, перестаньте, и все это нашептывая так задушевно, как никогда не делает она, эта отчетливая дама, в обыкновенной беседе). Итак, моей нимфетки просто нет в доме! Упорхнула! Радужная ткань обернулась всего лишь серой от ветхости паутиной, дом пуст, дом мертв. Вдруг — сквозь полуоткрытую дверь нежный смешок Лолиты: "Не говорите маме, но я съела весь ваш бекон". Но когда я выскакиваю на площадку, ее уже нет. Лолита, где ты? Поднос с моим утренним кофе, заботливо приготовленный хозяйкой и ждущий, чтобы я его внес с порога в постель, глядит на меня, беззубо осклабясь. Лола! Лолита!

Вторник. Опять тучи помешали пикнику на — недосягаемом — озере. Или это кознедействует Рок? Вчера я примерял перед зеркалом новую пару купальных трусиков.

Среда. Сегодня Гейзиха, в тайёре, в башмаках на низких каблуках объявила, что едет в город купить подарки для приятельницы подруги, и предложила мне присоединиться, потому что я, мол, так чудно понимаю в материях и духах. "Выберите ваше любимое обольщение", промурлыкала она. Как мог уклониться Гумберт, будучи хозяином парфюмерной фирмы? Она загнала меня в тупик — между передним крыльцом и автомобилем. "Поторопитесь!", крикнула она, когда я стал чересчур старательно складывать свое крупное тело, чтобы влезть в машину (все еще отчаянно придумывая, как бы спастись). Она уже завела мотор и приличными даме словами принялась проклинать пятившийся и поворачивавший грузовик, который только что привез ледащей старухе напротив новенькое кресло на колесах; но тут резкий голосок моей Лолиты раздался из окна гостиной: "Эй, вы! Куда вы? Я тоже еду! Подождите меня!" — "Не слушайте!", взвизгнула Гейзиха (причем нечаянно остановила мотор). Между тем, на беду моей прекрасной автомедонше, Ло уже теребила ручку двери, чтобы взлезть с моей стороны. "Это возмутительно", начала Гейзиха, но Ло уже втиснулась, вся трепеща от удовольствия. "Подвиньте-ка ваш зад", обратилась она ко мне. "Ло!" воскликнула Гейзиха (покосившись на меня в надежде, что прогоню грубиянку).

“Ло-барахло”, сказала Ло (не в первый раз), дернувшись назад, как и я дернулся, оттого что автомобиль ринулся вперед. “Совершенно недопустимо”, сказала Гейзиха, яростно переходя во вторую скорость, “чтобы так хамила девчонка. И была бы так навязчива. Ведь она отлично знает, что лишняя. И при том нуждается в ванне”.

Суставами пальцев моя правая рука прилегала к синим ковбойским штанам девчонки. Она была босая, ногти на ногах хранили следы вишневого лака, и поперек одного из них, на большом пальце, шла полоска пластыря. Боже мой, чего бы я не дал, чтобы тут же, немедленно, прильнуть губами к этим тонкокостным, длиннопалым, обезьяньим ногам! Вдруг ее рука скользнула в мою, и без ведома нашей дуэньи я всю дорогу до магазина держал и гладил, и тискал эту горячую лапку. Крылья носа у нашей марленообразной шоферши блестели, потеряв или спалив свою порцию пудры, и она, не переставая, вела изящный монолог по поводу городского движения, и в профиль улыбалась, и в профиль надувала губы, и в профиль хлопала крашеными ресницами; я же молился — увы, безуспешно, — чтобы мы никогда не доехали.

Мне больше нечего сообщить, кроме того, что, во-первых, собравшись домой, большая Гейзиха велела маленькой сесть сзади, а во-вторых, что она решила оставить выбранные мной духи для мочек своих собственных изящных ушей.

Четверг. Мы расплачиваемся бурей и градом за тропическое начало месяца. В одном из томов “Энциклопедии для Юношества” я нашел карту Соединенных Штатов и листок тонкой бумаги с начатым детской рукой абрисом этой карты; а на обратной стороне, против неоконченных очертаний Флориды, оказалась мимеографическая копия классного списка в Рамздэльской гимназии. Это лирическое произведение я уже знаю наизусть.

Анджель, Грация
Аустин, Флойд
Байрон, Маргарита
Биэль, Джэк
Биэль, Мэри

Бук, Даниил
Вилльямс, Ральф
Виндмюллер, Луиза
Гавель, Мабель
Гамильтон, Роза
Гейз, Долорес
Грац, Розалина
Грин, Луцинда
Гудэйль, Дональд
Дункан, Вальтер
Камель, Алиса
Кармин, Роза
Кауан, Джон
Кауан, Марион
Кларк, Гордон
Мак-Кристал, Вивиан
Мак-Ку, Вирджиния
Мак-Фатум, Обрэй
Миранда, Антоний
Миранда, Виола
Найт, Кеннет
Розато, Эмиль
Скотт, Дональд
Смит, Гэзель
Тальбот, Эдвин
Тальбот, Эдгар
Уэн, Лулл
Фальтер, Тэд
Фантазия, Стелла
Флейшман, Моисей
Фокс, Джордж
Чатфильд, Филлис
Шерва, Олег
Шеридан, Агнеса
Шленкер, Лена

Поэма, сущая поэма! Так странно и сладко было найти эту "Гейз, Долорес" (ее!) в живой беседке имен, под почетным караулом роз, стоящую, как сказочная царевна, между двух фрейлин! Стараюсь проанализировать щекотку вос-

торга, которую я почувствовал в становом хребте при виде того имени среди прочих имен. Что тут волнует меня — до слез (горячих, опаловых, густых слез, проливаемых поэтами и любовниками) — что именно? Нежная анонимность под черным кружевом мантильи ("Долорес")? Отвлеченность перестановки в положении имени и фамилии, чем-то напоминающая пару длинных черных перчаток или маску? Не в этом ли слове "маска" кроется разгадка? Или всегда есть наслаждение в кружевной тайне, в струящейся вуали, сквозь которую глаза, знакомые только тебе, избраннику, мимоходом улыбаются тебе одному? А кроме того, я могу так ясно представить себе остальную часть этого красочного класса вокруг моей дымчато-розовой, долорозовой голубки. Вижу Грацию Анджель и ее спелые прыщики; Джинни Мак-Ку и ее отсталую ногу; Кларка, изнуренного онанизмом; Дункана, зловонного шута; Агнесу с ее изгрызанными ногтями; Виолу с угреватым лицом и упругим бюстом; хорошенькую Розалину; темноволосую Розу; очаровательную Стеллу, которая дает себя трогать чужим мужчинам; Вилльямса, задиру и вора; Флейшмана, которого жалею, как всякого изгоя. А вот среди них — она, потерянная в их толпе, сосущая карандаш, ненавидимая наставницами, съедаемая глазами всех мальчишек, направленными на ее волосы и шею, *моя* Лолита.

Пятница. Мечтаю о какой-нибудь ужасающей катастрофе. О землетрясении. О грандиозном взрыве. Ее мать неопрятно, но мгновенно и окончательно изъята вместе со всеми остальными людьми на много миль вокруг. Лолита подвывает у меня в объятиях. Освобожденный, я обладаю ею среди развалин. Ее удивление. Мои объяснения. Наглядные примеры, сопровождаемые животными звуками. Все это досужие, дурацкие вымыслы! Не будь Гумберт трусом, он бы мог потешиться ею мерзейшим образом (воспользовавшись ее посещениями — вчера, например, когда она снова была у меня, показывала свои рисунки — образцы школьного искусства). Гумберт Смелый мог бы предложить ей взятку без всякого риска. Человек же попроще — и попрактичнее — здраво удовлетворился бы коммерчески-

ми эрзацами, но для этого нужно знать, куда обратиться, а я не знаю. Несмотря на мужественную мою наружность, я ужасно робок. Моя романтическая душа вся трясется от какого-то липкого озноба при одной мысли, что можно нарваться на грязную ужасную историю. Вспоминаются мне похабные морские чудовища, кричавшие *“Mais allez-y, allez-y!”*, Аннабелла, подпрыгивающая на одной ноге, чтобы натянуть трусики; и я, в тошной ярости, пытающийся ее заслонить.

То же число, но позже, гораздо позже. Я зажег свет — хотелось записать сон. Происхождение его мне ясно. За обедом Гейзиха изволила объявить, что поскольку метеорологическое бюро обещает солнце на конец недели, мы поедем на озеро в воскресенье после церкви. Лежа в постели и перед сном распаляя себя мечтами, я обдумывал окончательный план, как бы получше использовать предстоящий пикник. Я вполне отдавал себе отчет в том, что мамаша Гейз ненавидит мою голубку за ее увлечение мной. Я замышлял так провести день на озере, чтобы ублажить и мамашу. Решил, что буду разговаривать только с ней, но в благоприятную минуту скажу, что оставил часики или темные очки вон там в перелеске — и немедленно углублюсь в чащу с моей нимфеткой. Тут явь стушевалась, и поход за очками на Очковом озере превратился в тихую маленькую оргию со странно опытной, веселенькой и покладистой Лолитой, ведущей себя так, как мой разум знал, что она отнюдь не могла бы себя вести в действительности. На заре я проглотил снотворную пилюлю и увидел сон, оказавшийся не столько продолжением, сколько пародией моего мечтания. Я увидел с многозначительной ясностью озеро, которого я никогда еще не посещал: оно было подернуто пеленой изумрудного льда, в котором эскимос с выщербленным оспой лицом тщетно старался киркой сделать прорубь, хотя по щебеночным его берегам цвели импортные олеандры и мимозы. Не сомневаюсь, что доктор Биянка Шварцман вознаградила бы меня целым мешком австрийских шиллингов, ежели бы я прибавил этот либидосон к ее либидосье. К сожалению, остальная его часть была откро-

венно эклектической. Гейзиха и Гейзочка ехали верхом вокруг озера, и я тоже ехал, прилежно подскакивая раскорякой, хотя между ногами вместо лошади был всего лишь упругий воздух — небольшое упущение, плод рассеянности режиссера сна.

Суббота. Сердце у меня все еще колотится. Я все еще извиваюсь и тихонько мычу от вспоминаемой неловкости.

Вид со спины. Полоска золотистой кожи между белой майкой и белыми трусиками. Перегнувшись через подоконник, она обрывает машинально листья с тополя, доходящего до окна, увлеченная стремительной беседой с мальчиком, разносящим газеты (кажется, Кеннет Найт), который стоит внизу, только что пустив свернутый "Рамздэль Джорнал" звучным, точно рассчитанным швырком на ступень нашего крыльца. Я начал к ней подкрадываться "искалеченной караморой", как выражаются пантомимисты. Мои конечности были выгнутыми поверхностями, между которыми — скорее, чем на которых — я медленно подползал, пользуясь каким-то нейтральным средством передвижения: Подбитый паук Гумберт. Мне потребовалось Бог знает сколько времени, чтобы добраться до нее. Я ее видел как бы через суживающийся конец подзорной трубы и к ее тугому задку приближался, как паралитик с бескостными, вывороченными членами, движимый ужасным напряжением воли. Наконец я оказался как раз позади нее; но тут мне явилась несчастная мысль — выказать мнимое озорство — тряхнуть ее за шиворот, что ли, — дабы скрыть свою настоящую игру, и она кратко и визгливо сказала: "Отстаньте!" (что было прегрубо), — и, жутко осклабясь, Гумберт Смиренный отступил, меж тем как дрянная девчонка продолжала верещать, склоняясь над улицей.

Но теперь послушайте, что произошло потом. После завтрака я полулежал в низком садовом кресле, пытаясь читать. Вдруг две ловкие ладошки легли мне на глаза: это она подкралась сзади, как бы повторяя, в порядке балетных сцен, мой утренний маневр. Ее пальцы, старавшиеся загородить солнце, просвечивали кармином, и она судорожно хохотала и дергалась так и сяк, пока я закидывал руку то в

сторону, то назад, не выходя при этом из лежачего положения. Я проезжал рукой по ее быстрым и как бы похохатывающим ногам, и книга соскользнула с меня, как санки, и мистрис Гейз, прогуливаясь, подошла и снисходительно сказала: "А вы просто шлепните ее хорошенько, если она вам мешает в ваших размышлениях. Как я люблю этот сад", продолжала она без восклицательного знака. "А это солнце, разве это не рай (вопросительный знак тоже отсутствует)". И со вздохом притворного блаженства несносная дама опустилась на траву и загляделась на небо, опираясь на распяленные за спиной руки, и вдруг старый серый теннисный мяч прыгнул через нее, и из дома донесся несколько надменный голос Лолиты: "Pardonne, maman. Я не в тебя метила". Разумеется, нет, моя жаркая, шелковистая прелесть!

12

На этом кончались записи в дневнике.

Из них следует, что, несмотря на всю изобретательность дьявола, схема была ежедневно та же: он начинал с того, что соблазнял меня, а затем перечил мне, оставляя меня с тупой болью в самом корне моего состава. Я знал точно, что я хотел сделать и как это сделать, не нарушая чистоты маленькой девочки. В конце концов у меня уже был некоторый опыт за долгие годы обращения с собственной манией. Мне случалось вприглядку обладать испещренными светотенью нимфетками в публичных парках; случалось протискиваться с осмотрительностью гнусного сластолюбца в тот теснейший теплейший конец городского автобуса, где повисала на ремнях орава школьниц. Но теперь, в продолжение почти трех недель, всем моим жалким ухищрениям чинились препятствия. Виновницей этих препон бывала обычно Гейзиха (которая, да отметит читатель, скорее опасалась, как бы Лолита не получила удовольствия от общения со мной, чем того, чтобы я насладился Лолитой). Дикая страсть, которая разрослась во мне к этой

нимфетке — к первой в жизни нимфетке, до которой я, наконец, мог доскрестись неуклюжими, ноющими, робкими когтями — меня бы несомненно загнала опять в санаторию, кабы дьявол не смекнул, что ему надобно мне дать небольшое удовлетворение, ежели он желает, чтобы я ему еще послужил игралищем.

Читатель также заметил и другое: занятный мираж озера. Было бы логично со стороны мистера Мак-Фатума (как хочу наречь моего дьявола) приготовить мне небольшой гостинец на обетованном бережку, в предусмотренном сосняке. На самом-то деле в затее Гейзихи крылся подвох: она не предупредила меня, что Розочка Гамильтон (прехорошенькая смуглянка) тоже поедет на пикник и что нимфетки будут шептаться в сторонке, и играть в сторонке, и веселиться совершенно отдельно от нас — между тем как мистрис Гейз и ее красавец жилец будут чинно беседовать в полураздетом виде вдали от любопытных глаз. Глаза все же подсматривали и языки болтали.

Что за диковинная штука — жизнь! Мы норовим восстановить против себя как раз те силы рока, которые мы хотели бы задобрить. Перед моим приездом моя хозяйка предполагала позвать старую деву, по имени Фален (ее мать когда-то служила у Гейзихи в семье кухаркой), чтобы та поселилась с Лолитой и мной, между тем как сама хозяйка, конторщица по натуре, нашла бы себе службу в большом городе. Она представила себе все устройство очень ясно: въезжает сутулый, в очках, герр Гумберт со своими среднеевропейскими сундуками и принимается обрастать пылью в дебрях дома, заслонившись грудой ветхих книг; никем не любимая неказистая дочка находится под строгим присмотром мисс Фален, которая однажды, в 1944 году, уже имела Ло под своим канючим крылом (Ло вспоминала то лето с дрожью возмущения), а мистрис Гейз служит в элегантной фирме. Но довольно незамысловатое происшествие помешало выполнению плана: мисс Фален сломала себе бедро в Саванне (Джоржия) в самый день моего прибытия в Рамздэль.

13

Воскресный день, после уже описанной субботы, выдался столь же погожий, как предсказывало метеорологическое бюро. Выставив на стул, стоявший за дверью, поднос с остатками моего утреннего завтрака (его полагалось моей доброй квартирохозяйке убрать, когда ей будет удобно), я подкрался к балюстраде площадки в своих потрепанных ночных туфлях (единственное, что есть у меня потрепанного), прислушался и выяснил следующее.

Был опять скандал. Мистрис Гамильтон сообщила по телефону, что у ее дочки "температура". Мистрис Гейз сообщила своей дочке, что, значит, пикник придется отложить. Пылкая маленькая Гейз сообщила большой холодной Гейзихе, что если так, то она не поедет с нею в церковь. Мать сказала: "Отлично" — и уехала одна.

На площадку я вышел сразу после бритья, с мылом в ушах, все еще в белой пижаме с васильковым (не лиловым) узором на спине. Я немедленно стер мыльную пену, надушил волосы на голове и под мышками, надел фиолетовый шелковый халат и, нервно напевая себе под нос, отправился вниз в поисках Лолиты.

Хочу, чтобы мои ученые читатели приняли участие в сцене, которую собираюсь снова разыграть; хочу, чтобы они рассмотрели каждую деталь и сами убедились в том, какой осторожностью, каким целомудрием пропитан весь этот мускатно-сладкий эпизод — если к нему отнестись с "беспристрастной симпатией", как выразился в частной беседе со мной мой адвокат. Итак, начнем. Передо мной — нелегкая задача.

Главное действующее лицо: Гумберт Мурлыка. Время действия: воскресное утро в июне. Место: залитая солнцем гостиная. Реквизит: старая полосатая тахта, иллюстрированные журналы, граммофон, мексиканские безделки (покойный Гарольд Е. Гейз — царствие небесное добряку! — зачал мою душеньку в час сиэсты, в комнате с голубыми стенами, во время свадебного путешествия в Вера Круц, и по всему дому были теперь сувениры, включая Долорес).

На ней было в тот день прелестное ситцевое платьице, которое я уже однажды видел, розовое, в темно-розовую клетку, с короткими рукавами, с широкой юбкой и тесным лифом, и в завершение цветной композиции, она ярко покрасила губы и держала в пригоршне великолепное, банальное, эдемски-румяное яблоко. Только носочки и шлепанцы были невыходные. Ее белая воскресная сумка лежала брошенная подле граммофона.

Сердце у меня забилось барабанным боем, когда она опустилась на диван рядом со мной (юбка воздушно вздулась, опала) и стала играть глянцевитым плодом. Она кидала его вверх, в солнечную пыль, и ловила его, производя плещущий, полированный, полый звук.

Гумберт Гумберт перехватил яблоко.

"Отдайте!", взмолилась она, показывая мрамористую розовость ладоней. Я возвратил "Золотое Семечко". Она его схватила и укусила, и мое сердце было как снег под тонкой алой кожицей, и с обезьяньей проворностью, столь свойственной этой американской нимфетке, она выхватила у меня журнал, который я машинально раскрыл (жаль, что никто не запечатлел на кинопленке любопытный узор, вензелеобразную связь наших одновременных или перекрывающих друг друга движений). Держа в одной руке изуродованный плод, нисколько не служивший ей помехой, Лолита стала быстро и бурно листать журнал, ища картинку, которую хотела показать Гумберту. Наконец нашла. Изображая интерес, я так близко придвинул к ней голову, что ее волосы коснулись моего виска и голая ее рука мимоходом задела мою щеку, когда она запястьем отерла губы. Из-за мреющей мути, сквозь которую я смотрел на изображенный в журнале снимок, я не сразу реагировал на него, и ее коленки нетерпеливо потерлись друг о дружку и стукнулись. Снимок проступил сквозь туман: известный художник-сюрреалист навзничь на пляже, а рядом с ним, тоже навзничь, гипсовый слепок с Венеры Милосской, наполовину скрытый песком. Надпись гласила: Замечательнейшая за Неделю Фотография. Я молниеносно отнял у нее мерзкий журнал. В следующий миг, делая вид, что

пытается им снова овладеть, она вся навалилась на меня. Поймал ее за худенькую кисть. Журнал спрыгнул на пол, как спугнутая курица. Лолита вывернулась, отпрянула и оказалась в углу дивана справа от меня. Затем, совершенно запросто, дерзкий ребенок вытянул ноги через мои колени.

К этому времени я уже был в состоянии возбуждения, граничащего с безумием; но у меня была также и хитрость безумия. По-прежнему сидя на диване, я нашел способ при помощи целой серии осторожнейших движений пригнать мою замаскированную похоть к ее наивным ногам. Было нелегко отвлечь внимание девочки, пока я пристраивался нужным образом. Быстро говоря, отставая от собственного дыхания, нагоняя его, выдумывая внезапную зубную боль, дабы объяснить перерыв в лепете — и неустанно фиксируя внутренним оком маниака свою дальнюю огненную цель, — я украдкой усилил то волшебное трение, которое уничтожало в иллюзорном, если не вещественном, смысле физически неустранимую, но психологически весьма непрочную преграду (ткань пижамы, да полу халата) между тяжестью двух загорелых ног, покоющихся поперек нижней части моего тела, и скрытой опухолью неудобосказуемой страсти. Среди моего лепетания мне случайно попалось нечто механически поддающееся повторению: я стал декламировать, слегка коверкая их, слова из глупой песенки, бывшей в моде в тот год — О Кармен, Карменситочка, вспомни-ка там,... и гитары, и бары, и фары, тратам — автоматический вздор, возобновлением и искажением которого — то есть особыми чарами косноязычия — я околдовывал *мою* Кармен и все время смертельно боялся, что какое-нибудь стихийное бедствие мне вдруг помешает, вдруг удалит с меня золотое бремя, в ощущении которого сосредоточилось все мое существо, и эта боязнь заставляла меня работать на первых порах слишком поспешно, что не согласовалось с размеренностью сознательного наслаждения. Фанфары и фары, тарабары и бары постепенно перенимались ею: ее голосок подхватывал и поправлял перевираемый мною мотив. Она была музыкальна, она была

налита яблочной сладостью. Ее ноги, протянутые через мое живое лоно, слегка ерзали; я гладил их. Так полулежала она, развалясь в правом от меня углу дивана, школьница в коротких белых носочках, пожирающая свой незапамятный плод, поющая сквозь его сок, теряющая туфлю, потирающая пятку в сползающем со щиколки носке о кипу старых журналов, нагроможденных слева от меня на диване — и каждое ее движение, каждый шарк и колыхание помогали мне скрывать и совершенствовать тайное осязательное взаимоотношение — между чудом и чудовищем, между моим рвущимся зверем и красотой этого зыбкого тела в этом девственном ситцевом платьице.

Под беглыми кончиками пальцев я ощущал волоски, легонько ерошившиеся вдоль ее голеней. Я терялся в едком, но здоровом зное, который как летнее марево обвивал Доллиньку Гейз. Ах, пусть останется она так, пусть навеки останется... Но вот, она потянулась, чтобы швырнуть сердцевину истребленного яблока в камин, причем ее молодая тяжесть, ее бесстыдные невинные бедра и круглый задок слегка переместились по отношению к моему напряженному, полному муки, работающему под шумок лону, и внезапно мои чувства подверглись таинственной перемене. Я перешел в некую плоскость бытия, где ничто не имело значения, кроме настоя счастья, вскипающего внутри моего тела. То что началось со сладостного растяжения моих сокровенных корней, стало горячим зудом, который *теперь* достиг состояния совершенной надежности, уверенности и безопасности — состояния не существующего в каких-либо других областях жизни. Установившееся глубокое, жгучее наслаждение уже было на пути к предельной судороге, так что можно было замедлить ход, дабы продлить блаженство. Реальность Лолиты была благополучно отменена. Подразумеваемое солнце пульсировало в подставных тополях. Мы с ней были одни, как в дивном вымысле. Я смотрел на нее розовую, в золотистой пыли, на нее, существующую только за дымкой подвластного мне счастья, не чующую его и чуждую ему, и солнце играло у нее на губах, и губы ее все

еще, видимо, составляли слова о “карманной Кармене”, которые уже не доходили до моего сознания. Теперь все было готово. Нервы наслаждения были обнажены. Корпускулы Крауза вступали в фазу неистовства. Малейшего нажима достаточно было бы, чтобы разразилась райская буря. Я уже не был Гумберт Густопсовый, грустноглазый дог, охвативший сапог, который сейчас отпихнет его. Я был выше смехотворных злоключений, я был вне досягаемости кары. В самодельном моем серале я был мощным, сияющим турком, умышленно, свободно, с ясным сознанием свободы, откладывающим то мгновение, когда он изволит совсем овладеть самой молодой, самой хрупкой из своих рабынь. Повисая над краем этой сладострастной бездны (весьма искусное положение физиологического равновесия, которое можно сравнить с некоторыми техническими приемами в литературе и музыке), я все повторял за Лолитой случайные, нелепые слова — Кармен, карман, кармин, камин, аминь, — как человек, говорящий и смеющийся во сне, а между тем моя счастливая рука кралась вверх по ее солнечной ноге до предела, дозволенного тенью приличия. Накануне она с размаху влетела в громоздкий ларец, стоявший в передней, и теперь я говорил, задыхаясь: “Смотри, смотри, что ты наделала, ах смотри!” — ибо, клянусь, был желтоватый синяк на ее прелестной нимфетовой ляжке, которую моя волосатая лапа массировала и медленно обхватывала, — и так как панталончики у нее были самого зачаточного рода, ничто, казалось, не могло помешать моему мускулистому большому пальцу добраться до горячей впадинки ее паха — как вот, бывает, щекочешь и ласкаешь похохатывающего ребенка — вот так и только так, и в ответ со внезапно визгливой ноткой в голосе она воскликнула: “Ах, это пустяк!” и стала корячиться и извиваться, и запрокинула голову, и прикусила влажно блестевшую нижнюю губу, полуотворотившись от меня, и мои стонущие уста, господа присяжные, почти дотронулись до ее голой шеи, покаместь я раздавливал об ее левую ягодицу последнее содрогание самого длительного восторга, когда-либо испытанного существом человеческим или бесовским.

Тотчас после этого (точно мы до того боролись, а теперь моя хватка разжалась) она скатилась с тахты и вскочила на ноги — вернее, на одну ногу, — для того чтобы схватить трубку оглушительно громкого телефона, который, может быть, уже век звонил, пока у меня был выключен слух. Она стояла и хлопала ресницами, с пылающими щеками, с растрепанными кудрями, и глаза ее скользили по мне, так же как скользили они по мебели, и пока она слушала или говорила (с матерью, приказывающей ей явиться к Чатфильдам, пригласившим обеих к завтраку — причем ни Ло, ни Гум не знали еще, что несносная хлопотунья замышляла), она все постукивала по краю телефонного столика туфлей, которую держала в руке. Слава тебе Боже, девчонка ничего не заметила.

Вынув многоцветный шелковый платок, на котором ее блуждающий взгляд на миг задержался, я стер пот со лба и, купаясь в блаженстве избавления от мук, привел в порядок свои царственные ризы. Она все еще говорила по телефону, торгуясь с матерью (Карменситочка хотела, чтобы та за ней заехала), когда, все громче распевая, я взмахнул по лестнице и стал наполнять ванну бурливым потоком исходившей паром воды.

Тут позволю себе заодно привести слова вышеупомянутой модной песенки или, по крайней мере, то из нее, что мне запомнилось — я, кажется, никогда не знал ее по-настоящему. Так вот:

О Кармен, Карменситочка, вспомни-ка там
Таратам — таратунные струи фонтана,
И гитары, и бары, и фары, тратам,
И твои все измены, гитана!

И там город в огнях, где с тобой я бродил,
И последнюю ссору тарам — таратуя,
И ту пулю, которой тебя я убил,
Кольт, который — траторы — держу я...

(Выхватил, верно, небольшой кольт и всадил пулю крале в лоб.)

14

Я позавтракал в городе — давно не был так голоден. Когда вернулся, дом был еще безлолитен. Я провел день в мечтах, в замыслах, в блаженном усваивании моего утреннего переживания.

Я был горд собой: я выкрал мед оргазма, не совратив малолетней. Ровно никакого урона. Фокусник налил молока, патоки, пенистого шампанского в новую белую сумочку молодой барышни — раз, два, три и сумка осталась неповрежденной. Так, с большой изощренностью, я вознес свою гнусную, жгучую мечту; и все же Лолита уцелела — и сам я уцелел. То существо, которым я столь неистово насладился, было не ею, а моим созданием, другой, воображаемой Лолитой — быть может, более действительной, чем настоящая; перекрывающей и заключающей ее; плывущей между мной и ею; лишенной воли и самознания — и даже всякой собственной жизни.

Девочка ничего не почуяла. Я ничего не сделал ей. И ничто не могло мне помешать повторить действие, которое затронуло ее так же мало, как если бы она была фотографическим изображением, мерцающим на экране, а я — смиренным горбуном, онанирующим в потемках. День медленно протекал, молчаливый и спелый, и высокие, налитые соком деревья, казалось, были посвящены в тайну.

Желание опять притереться к ней начинало еще сильнее, чем прежде, терзать меня. “Пусть она скоро вернется” — молился я про себя, обращаясь к заемному Богу — “и пускай, пока мамаша на кухне, повторится сцена тахты — пожалуйста! — я так мерзко обожаю ее!”

Нет, “мерзко” не то слово. Ликование, которое возбуждало во мне предвкушение повторных утех, было не мерзким, а жалким. Жалким — ибо невзирая на неутолимый жар чувственного позыва, я намерен был, с искреннейшим рвением и предусмотрительностью, оградить чистоту этого двенадцатилетнего ребенка.

А теперь полюбуйтесь вознаграждением, полученным мной за страдания. Лолита не вернулась с матерью —

пошла с Чатфильдами в кино. Обеденный стол оказался накрытым на двоих, с особым изяществом: горели настольные свечи (скажите, пожалуйста). В этой жеманной ауре Гейзиха легонько потрагивала серебро по обеим сторонам тарелки, как бы касаясь клавиш, и улыбалась пустой своей тарелке (соблюдала диету), и спрашивала, нравится ли мне салат (сделанный по рецепту, вычитанному из дамского журнала). Хотела тоже знать, по вкусу ли мне холодная говядина. Говорила, что день провела преприятно. Прекрасный человек — эта Мистрис Чатфильд. Филлида (дочка) едет завтра в летний лагерь для девочек. На три недельки. Решено Лолиту отправить туда же в ближайший четверг. Вместо того, чтобы ждать до июля, как было намечено сначала. Пробудет там дольше Филлиды. До самого начала школьных занятий. Хорошенькая перспектива, бедное мое сердце!

Ах, как это меня потрясло! Ведь это значило, что мою душеньку у меня отнимают как раз, когда я втайне сделал ее своей. Чтобы объяснить мрачное настроение, овладевшее мной, мне пришлось сослаться на ту же зубную боль, которую я уже симулировал утром. Зуб верно был коренной, громадный, с нарывом величиной с компотную вишню.

“У нас тут в городе”, сказала Гейзиха, “есть отличный дантист. А именно наш сосед, доктор Куильти, родственник известного драматурга. Вы думаете, пройдет? Ну, как желаете. Осенью ей будет посажена на передние зубы “цепка”, как говаривала моя мать. Может быть, это обуздает нашу Лолиточку. Боюсь, она вам ужасно мешала все эти дни. И я предвижу два-три довольно бурных денька, до того как она отбудет. Она сперва решительно отказалась ехать, и, признаюсь, я оставила ее у Чатфильдов, оттого, что боюсь с ней оставаться с глазу на глаз, пока она в таком настроении. Кино, может быть, ее умиротворит. Филлида — чудная девчурка, и нет никакой причины Лолите недолюбливать ее. Право, мосье, я всей душой сочувствую вашей зубной боли. Было бы куда разумнее разрешить мне снестись с Айвором Куильти первым делом завтра утром, если

будет еще болеть. И вы знаете, я считаю, что летний лагерь настолько полезнее для девчонки — настолько осмысленнее, как я всегда говорю, чем бить баклуши на пригородном газоне и таскать у мамы губной карандаш, да мешать застенчивому джентльмену заниматься, да еще закатывать сцену по всякому ничтожнейшему поводу".

"А вы совсем уверены", проговорил я наконец (придумав слабое, плачевно слабое возражение), "что она там не будет несчастна?"

"Пускай только попробует быть несчастной. Впрочем, жизнь там вовсе не состоит из сплошного развлечения. Лагерем руководит Шерли Хольмс — слыхали, наверное, — написала книгу, называется "Школьницы у костра". Лагерная жизнь поможет Долорес Гейз развиться во многих смыслах — в смысле здоровья, характера, образования и особенно в смысле сознания ответственности перед другими. Хотите, возьмем эти свечи и перейдем на веранду? Или вы предпочитаете лечь в постельку и принять что-нибудь для облегчения боли?"

Принять что-нибудь для облегчения боли...

15

На другой день они отправились в город покупать нужные для лагерного лета вещи. Всякая обновка действовала на Ло волшебно. За обедом она, казалось, вернулась к своей обычной насмешливой норме. Сразу после обеда она пошла к себе, чтобы погрузиться в книжки-комикс, приобретенные для дождливых дней в "Кувшинке" — или "Ку", как сокращенно называли лагерь: она так основательно пересмотрела их до отъезда, что потом не взяла их с собой.

Я отправился тоже в свое логовище и сел писать письма. Мой план теперь был поехать к морю, а затем, к началу учебного года, возобновить свое пребывание в Гейзовском доме, ибо я уже знал, что не могу жить без этой девочки.

Во вторник они снова ходили за покупками, и мне было поручено подойти к телефону, если начальница лагеря

позвонила бы в их отсутствие. Действительно, она позвонила, и несколько недель спустя у нас с ней был случай вспомнить нашу приятную беседу. В этот вторник Ло обедала у себя в комнате. Повздорив опять с матерью, она с час прорыдала и теперь, как бывало и раньше, не хотела явиться передо мной с заплаканными глазами: при особенно нежном цвете лица, черты у нее после бурных слез расплывались, припухали — и становились болезненно соблазнительными. Ее ошибочное представление о моих эстетических предпочтениях чрезвычайно огорчало меня, ибо я просто обожаю этот оттенок Боттичеллиевой розовости, эту яркую кайму вдоль воспаленных губ, эти мокрые, свалявшиеся ресницы, а кроме того, ее застенчивая причуда меня, конечно, лишала многих возможностей под фальшивым видом утешения...

Однако, дело обстояло не так просто, как я полагал. Когда вечером мадам Гейз и я сидели в темноте на веранде (грубиян-ветер потушил ее алые свечки), она с невеселым смешком сказала: "Признаюсь, я объявила Лолите, что ее любимейший Гумберт полностью одобряет лагерный проект, и вот она решила закатить настоящий скандал под предлогом, что будто мы с вами желаем отделаться от нее. Но настоящая причина в другом: я ей сказала, что завтра мы с ней обменяем на что-нибудь поскромнее некоторые слишком фасонистые ночные вещи, которые она заставила меня ей купить. Моя капризница видит себя звездочкой экрана; я же вижу в ней здорового, крепкого, но удивительно некрасивого подростка. Вот это, я думаю, лежит в корне наших затруднений".

В среду мне удалось на несколько секунд залучить Лолиту: это случилось на площадке лестницы, где, одетая в нательную фуфайку и белые, запачканные сзади в зеленое, трусики, она рылась в сундуке. Я произнес что-то намеренно дружеское и смешное, но она всего лишь презрительно фыркнула, не глядя на меня. Окаянный, умирающий Гумберт неуклюже погладил ее по копчику, и девчонка ударила его, пребольно, одной из сапожных колодок покойного господина Гейза. "Подлый предатель", сказала она, между тем как я побрел вниз по лестнице, потирая

плечо с видом большой обиды. Она не соизволила обедать с Гумочкой и мамочкой: вымыла волосы и легла в постель вместе со своими дурацкими книжонками; а в четверг бесстрастная мать повезла ее в лагерь "Ку".

Как писали авторы почище моего: "Читатель легко может вообразить..." и так далее. Впрочем, я, пожалуй, подтолкну пинком в зад это хваленое воображение. Я знал, что влюбился в Лолиту навеки; но я знал и то, что она не навеки останется Лолитой: 1-го января ей стукнет тринадцать лет. Года через два она перестанет быть нимфеткой и превратится в "молодую девушку", а там в "колледж-гэрл" — т. е. "студентку" — гаже чего трудно что-нибудь придумать. Слово "навеки" относилось только к моей страсти, только к той Лолите, которая незыблемо отражалась в моей крови. Лолиту же, подвздошные косточки которой еще не раздались, Лолиту доступную сегодня моему осязанию и обонянию, моему слуху и зрению, Лолиту резко-голосую и блестяще-русую, с подровненными спереди и волнистыми с боков, а сзади локонами свисающими волосами, Лолиту, у которой шейка была такая горячая и липкая, а лексикончик такой вульгарный — "отвратно", "превкусно", "первый сорт", "типчик", "дрипчик" — *эту* Лолиту, *мою* Лолиту бедный Катулл должен был потерять навеки.

Как же в таком случае мне прожить без нее два месяца — летних, бессонных? Целых два месяца, изъятых из двух оставшихся годиков нимфетства! Может быть — думал я — переодеться мне мрачной, старомодной девицей, нескладной мадемуазель Гумберт, да разбить свою палатку около лагеря "Ку" в надежде, что его рыжие от солнца нимфетки затараторят: "Ах, давайте примем к себе в общежитие эту беженку с глубоким голосом!", — да и потащут к своему костру грустную, робко улыбающуюся Berthe au Grand Pied. Берта разделит койку с Долорес Гейз!

Досужие, сухие сны. Двум месяцам красоты, двум месяцам нежности, предстояло быть навеки промотанным, и я не мог сделать против этого ничего, mais rien.

Одну каплю редкостного меда этот четверг все-таки хранил для меня в своей желудевой чашке. Госпожа Гейз должна была отвезти дочку в лагерь рано утром, и когда

разные звуки, связанные с отъездом, донеслись до меня, я скатился с кровати и высунулся в окно. Внизу под тополями автомобиль уже тарахтел. На тротуаре стояла Луиза, заслонив глаза рукой, словно маленькая путешественница уже удалялась в низкий блеск утреннего солнца. Этот жест оказался преждевременным. "Поторопись!", крикнула Гейзиха, сидевшая за рулем. Моя Лолита, которая уже наполовину влезла в автомобиль и собралась было захлопнуть дверцу, опустить при помощи винтовой ручки оконное стекло, помахать Луизе и тополям (ни ее, ни их Лолите не суждено было снова увидеть), прервала течение судьбы: она взглянула вверх — и бросилась обратно в дом (причем мать неистово орала ей вслед). Мгновение спустя я услышал шаги моей возлюбленной, бежавшей вверх по лестнице. Сердце во мне увеличилось в объеме так мощно, что едва ли не загородило весь мир. Я подтянул пижамные штаны и отпахнул дверь; одновременно добежала до меня Лолита, топая, пыхтя, одетая в свое тончайшее платье, и вот она уже была в моих объятьях, и ее невинные уста таяли под хищным нажимом темных мужских челюстей — о, моя трепещущая прелесть! В следующий миг я услышал ее — живую, неизнасилованную — с грохотом сбегавшую вниз. Течение судьбы возобновилось. Втянулась золотистая голень, автомобильная дверца захлопнулась — приотворилась и захлопнулась попрочнее — и водительница машины, резко орудуя рулем, сопровождая извиваниями резиново-красных губ свою гневную неслышимую речь, умчала мою прелесть; между тем как не замеченная никем, кроме меня, мисс Визави, больная старуха, жившая насупротив, слабо но ритмично махала со своей виноградом обвитой веранды.

16

Впадина моей ладони еще была полна гладкого, как слоновая кость, ощущения вогнутой по-детски спины Лолиты, клавишной скользкости ее кожи под легким платьем, которое моя мнущая рука заставляла ездить вверх и вниз, пока я держал девочку. Я кинулся в ее неубранную комна-

ту, отворил дверь шкапа и окунулся в ворох ее ношенного белья. Особенно запомнилась одна розовая ткань, потертая, дырявая, слегка пахнувшая чем-то едким вдоль шва. В нее-то я запеленал огромное, напряженное сердце Гумберта. Огненный хаос уже поднимался во мне до края — однако мне пришлось все бросить и поспешно оправиться, так как в это мгновение дошел до моего сознания бархатистый голос служанки, тихо звавшей меня с лестницы. У нее было, по ее словам, поручение ко мне, и увенчав мое автоматическое "спасибо" радушным "не за что", добрая Луиза оставила странно-чистое, без марки и без помарки, письмо в моей трясущейся руке.

"Это — признание: я люблю вас" —

— так начиналось письмо, и в продолжение одной искаженной секунды я принял этот истерический почерк за каракули школьницы:

"На днях, в воскресенье, во время службы (кстати хочу пожурить вас, нехорошего, за отказ прийти посмотреть на дивные новые расписные окна в нашей церкви), да, в это воскресенье, так недавно, когда я спросила Господа Бога, что мне делать, мне было сказано поступить так, как поступаю теперь. Другого исхода нет. Я люблю вас с первой минуты, как увидела вас. Я страстная и одинокая женщина, и вы любовь моей жизни.

А теперь, мой дорогой, мой самый дорогой, mon cher, cher Monsieur, вы это прочли; вы теперь знаете. Посему попрошу вас, пожалуйста, *немедленно* уложить вещи и отбыть. Это вам приказывает квартирная хозяйка. Уезжайте! Вон! Départez! Я вернусь к вечеру, если буду делать восемьдесят миль в час туда и обратно — без крушения (впрочем, кому какое дело?) и не хочу вас застать. Пожалуйста, пожалуйста, уезжайте тотчас, *теперь же,* даже не читайте этой смешной записки до конца. Уезжайте. Прощайте.

Положение, mon chéri, чрезвычайно простое. Разумеется, я знаю с абсолютной несомненностью, что я для вас не значу ничего, ровно ничего. О да, вы обожаете болтать со мной (и шутить надо мною, бедной); вы полюбили наш гостеприимный дом, мне нравящиеся книги, мой чудный

сад и даже проказы моей шумной дочки; но я для вас — ничто. Так? Так. Совершенное ничто. *Но,* если, по прочтении моего "признания", вы решили бы, как европеец и сумрачный романтик, что я достаточно привлекательна для того, чтобы вам воспользоваться моим письмом и завязать со мной "интрижку", тогда знайте, это будет преступно — преступнее, чем было бы насилие над похищенным ребенком. Видите ли, любимый, *если бы* вы решили остаться, *если бы я* вас застала тут (чего, конечно, не случится, и потому могу так фантазировать), самый факт вашего оставания мог бы быть истолкован только в одном смысле: что вы для меня хотите стать тем же, чем я хочу стать для вас — спутником жизни — и что вы готовы соединить навсегда свою жизнь с моей и быть отцом моей девочки.

Позвольте мне еще чуточку побредить и побродить мыслью, мой драгоценнейший; ведь я знаю, вы уже разорвали это письмо, и его куски (неразборчиво) в водоворот клозета. Мой драгоценнейший, mon très, très cher какую гору любви я воздвигла для тебя в течение этого магического июня месяца! Знаю, как вы сдержанны, как много в вас "британского". Возможно, что вашу старосветскую замкнутость, ваше чувство приличия, покоробит прямота бедной американочки! Вы, который скрываете ваши сильнейшие порывы, должны почесть меня бесстыдной дурочкой за то, что раскрываю так широко свое несчастное раненое сердце. В былые годы я испытала не мало разочарований. Мистер Гейз был прекрасный человек, надежный и цельный, но, увы, он был на двадцать лет старше меня, так что — но не будем сплетничать о прошлом. Мой дорогой, твое любопытство должно быть полностью удовлетворено, если ты пренебрег моею просьбой и дочитал это письмо до горького конца. Впрочем, это неважно. Уничтожь его — и уезжай. Не забудь оставить ключи у себя на столе. И хоть какой-нибудь адрес, чтобы я могла вернуть двенадцать долларов, заплаченные тобой за остаток месяца. Прощай, дорогой мой. Молись за меня — если ты когда-нибудь молишься".

Ш. Г.

Вышеприведенное — это то, что помню из письма, и помню я это дословно (включая исковерканные французские термины). Письмо было по крайней мере вдвое длиннее. Я выпустил лирическое место — которое я тогда более или менее проскочил — относительно брата Лолиты, умершего двух лет отроду, когда ей было четыре года: высказывалось предположение, что я очень бы его полюбил. Что же еще там было, дайте вспомнить. Да. Допускаю, что слова "в водоворот клозета" (куда письмо в самом деле ушло) — мой собственный прозаический вклад. Она, вероятно, умоляла меня раздуть какой-нибудь специальный огонь для сожжения ее послания.

Отвращение — вот было первое мое чувство в ответ, и к нему присоединилось желание смыться. За этим последовало нечто вроде ощущения спокойной дружеской руки, опустившейся ко мне на плечо и приглашающей меня не спешить. Я послушался. Я вышел из оцепенения и увидел, что все еще нахожусь в комнате Лолиты. Реклама во всю страницу, вырванная ею из глянцевитого журнала, была приколота к стене над постелью, между мордой исполнителя задушевных песенок и длинными ресницами киноактрисы. На этом цветном снимке изображен был темноволосый молодой муж. Во взгляде его ирландских глаз было что-то изможденное. Он "моделировал" халат (такого-то "дома") и держал перед собой за оба конца мостоподобный поднос (другой фирмы) с утренним завтраком на две персоны. Надпись взята была из церковного гимна, сочиненного священником Томасом Мореллем: "Вот идет он, герой-победитель". Следовало, по-видимому, предположить, что основательно побежденная новобрачная (не показанная на снимке) сидела среди подушек двуспальной постели, готовая принять свой конец подноса, но каким образом ее постельный партнер подлезет сам к ней под этот мост без катастрофы, оставалось неясным. Рука Лолиты провела шуточную стрелку по направлению опустошенного молодого супруга и приписала большими буквами: "Г. Г."; действительно, несмотря на небольшую разницу в возрасте, сходство было поразительным. Под этой картинкой была

другая — тоже цветная фотография. На ней известный драматург самозабвенно затягивался папиросой "Дромадер". Он, мол, всегда курил "дромки". Он лишь слегка походил лицом на Г. Г. Ниже была Лолитина девственная постель, усеянная лубочными журнальчиками. Эмаль сошла там и сям с железных штанг изголовья, оставив кругловатые проплешины на белом фоне. Убедившись в том, что Луиза ушла восвояси, я забрался в постель Лолиты и перечел письмо.

17

Господа присяжные! Не могу поклясться, что некоторые действия, относившиеся так сказать — простите за выражение — до синицы в руке, не представлялись и прежде моему рассудку. Рассудок не удержал их в какой-либо логической форме. Но не могу поклясться, повторяю, что я этих представлений не ласкал бывало (если позволите употребить и такое выражение) в тумане мечтаний, в темноте наваждения. Были случаи, не могли не быть случаи (я-то хорошо Гумберта знаю!), когда я как бы вчуже рассматривал возникавшую идею жениться на перезрелой вдовушке — (скажем, на Шарлотте Гейз), а именно на такой, у которой не оставалось бы никакой родни во всем мире, широком, сером — с единственной целью забрать ее маленькую дочь (Ло, Лолу, Лолиту). Я даже готов сказать моим истязателям, что может быть, иной раз я и бросил холодный взгляд оценщика на коралловые губы Шарлотты, на ее бронзоватые волосы и преувеличенное декольте, смутно пытаясь вместить ее в раму правдоподобной грезы. Делаю это признанье под пыткой: может быть пыткой воображаемой — но тем более ужасной. Хотелось бы сделать тут отступление и рассказать вам подробнее о pavor nocturnus который меня отвратительно терзал и терзает по ночам, когда застревает в мозгу случайный термин из безпорядочного чтения моего отрочества — например, peine forte et dure (какой гений застенка придумал это!) —

или страшные, таинственные, вкрадчивые слова "травма", "травматический факт" и "фрамуга". Впрочем, моя повесть достаточно корява и без отступлений.

Уничтожив письмо и вернувшись к себе в комнату, я некоторое время размышлял, ерошил себе волосы, дефилировал в своем фиолетовом халате, стонал сквозь стиснутые зубы — и внезапно... Внезапно, господа присяжные, я почуял, что сквозь самую эту гримасу, искажавшую мне рот, усмешечка из Достоевского брезжит, как далекая и ужасная заря. В новых условиях улучшившейся видимости я стал представлять себе все те ласки, которыми походя мог бы осыпать Лолиту муж ее матери. Мне бы удалось всласть прижаться к ней раза три в день — каждый день. Испарились бы все мои заботы. Я стал бы здоровым человеком.

"Легко и осторожно на коленях
Тебя держать и поцелуй отцовский
На нежной щечке запечатлевать"

— как когда-то сказал английский поэт. О начитанный Гумберт!

Затем, со всевозможными предосторожностями, двигаясь как бы на мысленных цыпочках, я вообразил Шарлотту как подругу жизни. Неужели я не смог бы заставить себя подать ей в постель этот экономно разрезанный на две порции помплимус, этот бессахарный брекфаст?

Гумберт Гумберт, обливаясь пóтом в луче безжалостно белого света и подвергаясь окрикам и пинкам обливающихся пóтом полицейских, готов теперь еще кое-что "показать" (quel mot!), по мере того как он выворачивает наизнанку совесть и выдирает из нее сокровеннейшую подкладку. Я не для того намеревался жениться на бедной Шарлотте, чтобы уничтожить ее каким-нибудь пошлым, гнусным и рискованным способом, как, например, убийство при помощи пяти сулемовых таблеток, растворенных в рюмке предобеденного хереса или чего-либо в этом роде; но в моем гулком и мутном мозгу все же позвякивала мысль, состоявшая в тонком родстве с фармацевтикой. Почему ограничивать себя тем скромно прикрытым на-

слаждением, которое я уже однажды испробовал? Передо мной другие образы любострастия выходили на сцену, покачиваясь и улыбаясь. Я видел себя дающим сильное снотворное средство и матери и дочери одновременно, для того чтобы ласкать вторую всю ночь безвозбранно. Дом полнился храпом Шарлотты, Лолита едва дышала во сне, неподвижная, как будто написанный маслом портрет отроковицы. "Мама, клянусь, что Кении ко мне никогда не притронулся!" "Ты или лжешь, Долорес, или это был ночной оборотень". Впрочем, я постарался бы не обрюхатить малютки.

Так Гумберт Выворотень грезил и волхвовал — и алое солнце желания и решимости (из этих двух и создается живой мир!) поднималось все выше, между тем как на чередующихся балконах чередующиеся сибариты поднимали бокал за прошлые и будущие ночи. Затем, говоря метафорически, я разбил бокал вдребезги и смело представил себе (ибо к тому времени я был пьян от видений и уже недооценивал природной своей кротости), как постепенно я перейду на шантаж — о, совсем легкий, дымчатый шантажик — и заставлю большую Гейзиху позволить мне общаться с маленькой, пригрозив бедной обожающей меня даме, что брошу ее, коли она запретит мне играть с моей законной падчерицей. Словом, перед этакой сенсационной офертой (как выражаются коммерсанты), перед столь широкими и разнообразными перспективами я был податлив, как Адам при предварительном просмотре малоазиатской истории, заснятой в виде миража в известном плодовом саду.

А теперь запишите следующее важное замечание: художественной стороне своей натуры я дал заслонить мою коренную порядочность. Тем большего усилия воли мне потребовалось, чтобы в сих записках настроить их слог на хамский лад того дневника, который я вел еще во дни, когда госпожа Гейз была для меня всего лишь препятствием. Этого дневника уже не существует; но я почел за долг перед искусством сохранить его интонации, какими бы фальшивыми и брутальными они ни казались мне теперь. К счастью, мой рассказ достиг теперь того пункта, где я

могу перестать поносить бедную Шарлотту ради ретроспективной правды.

Желая избавить бедную Шарлотту от двух-трех часов сердечного замирания на извилистой дороге (и предотвратить, быть может, автомобильное столкновение, которое бы разбило нашу неодинаковую мечту), я очень предупредительно, но безуспешно попытался с нею снестись по телефону: позвонил в лагерь "Ку", но оказалось, что она вот уже час как выехала. Попав вместо нее на Лолиту, я сказал — трепеща и упиваясь властью над роком — что женюсь на ее матери. Мне пришлось это повторить, так как что-то мешало ей отнестись с полным вниманием к моим словам. "Вот так здорово", проговорила она со смехом. "Когда свадьба? Погодите секунд очку — тут у меня щенок — щенок занялся моим носком. Алло —". Она добавила, что повидимому развлечений у нее будет уйма... И я понял, повесив трубку, что двух часов в детском лагере было достаточно, чтобы новые впечатления совершенно вытеснили из головы маленькой Лолиты образ неотразимого господина Гумберта. Впрочем, это теперь не имело значения. Получу ее обратно по истечении приличного срока после венчания. "Букет венчальный на могиле едва увянуть бы успел", как выразился бы поэт. Но я не поэт. Я всего лишь очень добросовестный историограф.

Подумавши, я осмотрел содержимое кухонного холодильника и, найдя оное чрезмерно аскетическим, отправился в город и набрал самых пряных и жирных продуктов, какие были. Купил, кроме того, спиртных напитков высокого качества да несколько сортов витаминов. Я почти не сомневался, что с помощью этих возбудительных средств да личных своих ресурсов мне удастся предотвратить некоторый, так сказать, конфуз, который мог бы произойти от недостатка чувства, когда придет время явить могучее и нетерпеливое пламя. Снова и снова изворотливый Гумберт вызывал подобие Шарлотты, каким оно виделось в замочную скважину мужского воображения. Тело у нее было холеное и стройное, с этим никто не спорил, и, пожалуй, я мог подпереться мыслью, что она как бы старшая сестра

Лолиты — если только мне не представлялись чересчур реально ее тяжелые бедра, округлые колени, роскошная грудь, грубоватая розовая кожа шеи ("грубоватая" по сравнению с шелком и медом) и все остальные черты того плачевного и скучного, именуемого: "красивая женщина".

Солнце совершило свой обычный обход дома. День созрел и стал склоняться к вечеру. Я опорожнил полный стакан спиртного. И еще один. И еще. Любимый напиток мой, джинанас — смесь джина и ананасного сока — всегда удваивает мою энергию. Решил подстричь запущенный лужок в нашем саду. Une petite attention. Он был засорен одуванчиками, и чья-то проклятая собака — не выношу собак — загадила каменные плиты, на которых некогда стояли солнечные часы. Почти все одуванчики уже превратились из солнц в луны. Джин и Лолита играли у меня в жилах, и я чуть не упал через складные стулья, которые хотел убрать. Краснополосые зебры! Бывает такая отрыжка, которая звучит овацией — по крайней мере моя так звучала. Ветхий забор позади сада отделял его от соседских отбросов и сирени; но никаких преград не было между передним концом нашего лужка (там, где он отлого спускался вдоль одной стороны дома) и улицей. Поэтому я мог выглядывать (с ухмылкой человека, собирающегося совершить доброе дело) возвращение Шарлотты: этот зуб следовало вырвать сразу. Валко напирая на увлекавшую меня вперед ручную косилку — причем сбритые травинки, подскакивая, и словно чирикая, поблескивали при низком солнце, — я не сводил глаз с видного мне отрезка пригородной улицы. Она загибалась к нам из-под свода огромных тенистых деревьев и затем быстро спускалась все круче и круче мимо кирпичного, виноградом увитого дома старушки Визави и ее пологого луга (значительно более опрятного, чем наш), чтобы наконец скрыться за нашим передним крыльцом, не видным мне с того места, где я радостно порыгивал и трудился. Одуванчики пали. Сочный травяной дух смешивался с ананасным. Две девочки, Марион и Мабель, за чьими прохождениями туда-сюда я, бывало, следил машинальным взглядом (но кто мог заменить мою Лолиту?), прошли по

направлению проспекта (откуда спускалась наша Лоун Стрит): одна шла, толкая велосипед, другая на ходу питалась из бумажного мешочка, и обе говорили во весь голос, с солнечной звонкостью. Симпатичный Томсон, атлетический негр, служивший у старушки насупротив садовником и шофером, широко улыбнувшись мне издали, крикнул, и повторно крикнул, комментируя крик жестом, что я, мол, необычно энергичен нынче. Дурак-пес, принадлежавший соседу нашему, разбогатевшему тряпичнику, бросился догонять синий автомобиль — не Шарлоттин. Та из двух девочек, что была покрасивее (Мабель, кажется), в коротких штанишках, в бюстодержателе с бридочками, которому нечего было держать, и такая ярковолосая (нимфетка, клянусь Паном!), пробежала обратно, уминая в руках пустой бумажный мешочек, и пропала из поля зрения зеленого сего козла, зайдя за фронтон виллы г-на и г-жи Гумберт. Автомобиль семейного типа выскочил из лиственной тени проспекта, продолжая тащить некоторую ее часть с собой, пока этот узор не распался у него на крыше, за край которой держался левой рукой, высунутой из окна, полуголый водитель машины; она промахнула идиотским аллюром, а рядом мчалась собака отставного тряпичника. Последовала нежная пауза — и затем, с некиим трепетом в груди, я узрел возвращение Синего Седана. Он скользнул под гору и исчез за углом дома. Я различил мельком ее спокойный, бледный профиль. Мне подумалось, что покуда она не поднимется на второй этаж, она не будет знать, уехал ли я или нет. Минуту спустя, с выражением большого страдания на лице, она выглянула на меня из окошка Лолитиной комнатки. Я так скоро взбежал по лестнице, что успел достичь комнатки, до того как она вышла из нее.

18

Когда невеста — вдовица, а жених — вдовец; когда она прожила в "нашем славном городке" меньше двух лет, он — не больше месяца; когда мосье ждет не дождется,

чтобы кончилась глупая канитель, а мадам уступает ему со снисходительной улыбкой; тогда свадьба обыкновенно бывает довольно "скромная". Невеста может обойтись и без тиары апельсиновых цветов, держащей на месте короткую фату, и без белой орхидеи, заложенной в молитвенник. Дочка невесты, пожалуй, внесла бы в церемонию бракосочетания Г. и Г. живой малиновый блик; но я чувствовал, как рискованно было бы с моей стороны оказать припертой к стенке Лолите слишком много ласки, и посему я согласился, что не стоит отрывать девочку от ее любимого "Ку".

Моя так называемая "страстная и одинокая" Шарлотта была в повседневной жизни практичной и общительной. Сверх того, я установил, что хотя она не могла сдержать ни порывов сердца в повседневной жизни, ни криков на ложе любви, она была женщина с принципами. Как только она стала более или менее моей любовницей (невзирая на возбудительные средства, ее "нервный, нетерпеливый chéri" — героический chéri, по правде сказать — не избежал некоторых первоначальных затруднений, за которые, впрочем, он вполне ее вознаградил прихотливейшим ассортиментом старосветских нежностей), милая Шарлотта учинила мне допросец насчет моих отношений с Господом Богом. Я мог бы ответить, что в этом смысле я был свободен ото всяких предубеждений; вместо этого я сказал — отдавая дань благостному общему месту — что верю в одухотворенность космоса. Разглядывая ногти, она спросила еще, нет ли у меня в роду некоей посторонней примеси. Я ответил встречным вопросом — захотела ли бы она все-таки за меня выйти, если бы дед матери моего отца оказался, скажем, арабом. Она сказала, что это не имело бы никакого значения; но что если бы ей когда-нибудь стало известно, что я не верю в нашего христианского Бога, она бы покончила с собой. Она объявила это столь торжественно, что у меня прошел мороз по коже. Тогда-то я понял, что она женщина с принципами.

О, она была благовоспитаннейшей мещанкой! Говорила "извините", если случалось легчайшей отрыжке перебить ее плавную речь, произносила в английском envelope (кон-

верт) первый слог в нос на французский манер и, говоря со знакомой дамой, называла меня “мистер Гумберт”. Я подумал, что ей доставит удовольствие, если, входя в местное общество, я приволоку за собой романтическую тень. В день нашей свадьбы появилось маленькое интервью со мной в светской рубрике рамздэльской газеты, с фотографией Шарлотты: одна бровь приподнята, а фамилия с опечаткой: Гейзер. Несмотря на эту беду, реклама согрела фарфоровые створки ее сердца и вызвала издевательское дребезжание моих змеиных гремушек. Тем, что она участвовала в работе церковно-благотворительных кружков, и тем еще, что успела перезнакомиться с наиболее задающимися мамашами Лолитиных товарок, Шарлотта за полтора года изловчилась стать, если не перворазрядным, то во всяком случае приемлемым членом местного общества; но никогда еще не доводилось ей попасть в эту восхитительную газетную рубрику, и попала она туда благодаря мне, г-ну Эдгару Г. Гумберту (этого “Эдгара” я подкинул из чистого ухарства), “писателю и исследователю”. Репортер, брат моего Мак-Ку, записывая это, спросил, что именно я написал. Ответа моего не помню, но вышло у него так: “несколько трудов о Верлене, Рэмбодлере и других поэтах”. В интервью было также отмечено, что мы с Шарлоттой были знакомы уже несколько лет и что я приходился дальним родственником ее первому мужу. Я намекнул, что у меня был с нею роман тринадцать лет тому назад, но в газете этого не появилось. Шарлотте я сказал, что светскую рубрику блестки опечаток только красят.

Будем продолжать сию любопытную повесть. Когда от меня потребовалось пожать плоды моего повышения из жильцов в сожители, испытал ли я лишь горечь и неохоту? Нет. Гумберт не мог не признаться в легком зуде тщеславия, в едва уловимом умилении, даже в некоем узоре изящного раскаяния, шедшем по стали его заговорщического кинжала. Я бы никогда не подумал, что довольно нелепая, хоть и довольно благообразная, г-жа Гейз, с ее слепой верой в мудрость своей религии и своего книжного клуба,

ужимками дикции, жестким, холодным, презрительным отношением к обольстительной, голорукой, пушистенькой двенадцатилетней девочке — может обратиться в такое трогательное, беспомощное существо, как только наложу на нее руки — что случилось на пороге Лолитиной комнатки, в которую она отступала, прерывисто бормоча: "нет, нет, пожалуйста, нет..."

Перемена пошла впрок ее внешности. Ее улыбка, бывшая до тех пор столь искусственной, отныне сделалась сиянием совершенного обожания, — сиянием, полным чего-то мягкого и влажного, в котором я с изумлением различал сходство с обаятельным, бессмысленным, потерянным взглядом Лолиты, упивающейся какой-нибудь новой смесью сиропов в молочном баре или безмолвно любующейся моими дорогими, всегда отлично выглаженными вещами. Я, как зачарованный, наблюдал за лицом Шарлотты, когда она, делясь родительскими треволнениями с другой дамой, делала американскую гримасу женской резигнации (с закатыванием глаз и свисанием одной стороны рта), более детский вариант которой я видел, бывало, на лице у Лолиты. Мы выпивали что-нибудь — виски или джину перед тем как лечь спать, и это помогало мне воображать дочку, пока я ласкал мать. Вот — белый живот, в котором моя нимфетка лежала свернутой рыбкой в 1934-м году. Эти тщательно подкрашенные волосы, такие для меня безжизненные на ощупь и обоняние, приобретали иногда (при свете лампы, в двуспальной постели с четырьмя колонками по углам) оттенок, если не мягкость, Лолитиных локонов. Я все повторял себе, меж тем как орудовал моей только что сфабрикованной, в натуральный рост женой, что в биологическом смысле она собой представляет максимально доступное мне приближение к Лолите; что в Лолитином возрасте, Лотточка была школьницей не менее соблазнительной, чем теперь ее дочка, — и чем будет когда-нибудь дочка самой Лолиты. Я заставил жену извлечь — из-под целой коллекции башмаков (у покойного г-на Гейза была, как оказалось, чуть ли не патологическая страсть к

обуви) — тридцатилетний альбом, дабы я мог посмотреть, как выглядела Лотта ребенком; и несмотря на неправильность освещения и неуклюжесть одежд, мне удалось разобрать первый неясный черновик Лолитиного очерка, ее ног, маслачков, вздернутого носика. Лоттелита! Лолитхен!

Так, через изгороди времени, я запускал порочный взгляд в чужие мутные оконца. И когда путем жалких, жарких, наивно-похотливых ласок, она, эта женщина с царственными сосцами и тяжелыми лядвиями, подготовляла меня к тому, чтобы я мог наконец выполнить свою еженочную обязанность, то я и тут еще пытался напасть на пахучий след нимфетки, несясь с припадочным лаем сквозь подсед дремучего леса.

Просто не могу вам сказать, как кротка, как трогательна была моя бедная супруга! За утренним кофе, в угнетающем уюте кухни, с ее хромовым блеском, большим календарем (подарком кастрюльной фирмы) и хорошеньким уголком для первого завтрака (отделанным под стильный кафетерий, где Шарлотта и Гумберт будто бы ворковали вдвоем в студенческие дни), она сидела в красном капоте, облокотясь на пластиковую поверхность столика, подперев щеку кулаком и уставившись на меня с невыносимой нежностью во взгляде, пока я поглощал ветчину и яичницу. Хотя лицо Гумберта и подергивалось от невралгии, в ее глазах оно соперничало с солнечным светом и лиственными тенями, зыблющимися на белом рефрижераторе. Мою мрачность, мое раздражение она принимала за безмолвие любви. Мой небольшой доход в совокупности с ее еще меньшими средствами производил на нее впечатление блистательного состояния, и это не потому, что получавшейся суммы было теперь достаточно для среднебуржуазных нужд, а потому что даже мои деньги сверкали для нее волшебством моей мужественности, так что она представляла себе наш общий текущий счет в виде одного из тех бульваров на юге в полдень, с плотной тенью вдоль одной стороны и гладким солнцем вдоль другой, и этак до самого конца перспективы, где высятся розовые горы.

Пятидесятидневный срок нашего сожительства Шарлотта успела набить многолетней деятельностью. Бедняжка занялась всякими вещами, от которых ей приходилось прежде отказываться или которые никогда особенно ее не интересовали, как будто (чтобы продлить эту серию прустовских интонаций) тем самым, что я женился на матери любимого мною ребенка, я помог жене вернуть себе в изобилии юность по доверенности. С самозабвением пошлейшей "молодой хозяйки" она принялась "сублимировать домашний очаг". Я наизусть знал каждую щель этого "очага" — знал с тех пор как, сидя у себя за столом, я наносил на мысленную карту Лолитин маршрут через весь дом; я душой давно породнился с ним — с его неказистостью и неубранностью, и теперь прямо чувствовал, как несчастный ежится в ужасном предвкушении ванны из экрю и охры и табачно-рыжей замазки, которую Шарлотта готовила ему. Она, слава Богу, до этого не дошла, но зато потратила огромное количество энергии, мóя шторы, навощивая жалюзи, приобретая новые шторы и новые жалюзи, возвращая их магазину, замещая их другими и так далее, в постоянной смене света и мрака, улыбки и хмурости, сомнения и сожаления. Она возилась с кретоном и коленкором; она меняла масть дивана — священного того дивана, на котором в незабвенное утро во мне лопнул, замедленным темпом, пузырек райского блаженства. Она распределяла мебель и была довольна узнать из трактата о домашнем хозяйстве, что "вполне дозволено разъединить пару диванных комодиков и к ним относящиеся лампы". Следуя за авторшей книги "Твой Дом — это Ты", она возненавидела худосочные маленькие стулья и тонконогие столики. Она верила, что комната с широким размахом оконного стекла и обилием роскошных лакированных плоскостей представляла собой пример комнаты мужского типа, меж тем как женский тип определялся более легкими оконницами и более хрупкой деревянной отделкой. Романы, за чтеньем которых я застал ее при моем въезде, теперь были вытеснены иллюстрированными каталогами и руководствами по устройству дома. Фирме, находившейся в Филадельфии,

Бульвар Рузвельта, дом 4640-й, она заказала для нашей двуспальной постели особенный “штофом обитый пружинистый матрац, модель 312-я”, — хотя старый казался мне достаточно упругим и выносливым для всего того, что ему приходилось выдерживать.

Происхождением она была со среднего Запада, как и ее первый муж, и перенесясь в жеманный Рамздэль, жемчужину одного из восточных штатов, прожила там слишком недолго, чтобы по-настоящему подружиться со всеми приличными людьми. Она слегка знала жовиального дантиста, жившего в чем-то вроде полуразвалившегося деревянного замка позади нашего сада. Она познакомилась на чае в прицерковном клубе со спесивой супругой отставного старьевщика, которому принадлежал страшный белый домище в так называемом “колониальном” стиле на углу проспекта. Время от времени она “наносила визиты” старушке Визави; но матроны познатнее из тех, которых она навещала или встречала на “садовых” приемах, или занимала длинными разговорами по телефону — изысканные дамы, как г-жа Шеридан, г-жа Мак-Кристал, г-жа Найт и прочие, — както редко заходили к моей пренебрегаемой светом Шарлотте. Единственно, с кем у нее сложились истинно-дружеские отношения, лишенные и задних мыслей и практических умыслов, это с четой по фамилии Фарло, которая вернулась из делового путешествия в Чили как раз вовремя, чтобы присутствовать на нашей свадьбе вместе с Чатфильдами, четой Мак-Ку и некоторыми другими (но не с г-жой Старьевщицей или с еще более высокомерной г-жой Тальбот). Джон Фарло был пожилой, спокойный, спокойноатлетический, спокойно-удачливый торговец спортивными товарами, с конторой в Паркингтоне, в сорока милях от нас; это он снабдил меня амуницией для пресловутого Кольта и научил им пользоваться (как-то во время воскресной прогулки в приозерном бору); он также был “отчасти адвокатом” (как сам говорил с улыбкой) и в свое время привел в порядок некоторые Шарлоттины дела. Джоана, его моложавая жена, приходившаяся ему двоюродной сестрой, была долгоногая дама, в очках с раскосой оправой;

у нее были два палевых бульдога, две острых грудки и большой красный рот. Она писала пейзажи и портреты — живо помню, как за рюмкой коктейля мне случилось похвалить сделанный ею портрет маленькой племянницы, Розалины Грац, грациозной, розовой красотки в гэрл-скаутской форме (берет из зеленой шерсти, зеленый вязаный поясок, прелестные кудри до плеч), и Джон вынул изо рта трубку и сказал, как жаль, что Долли (моя Доллита) и Розалина так неприязненно относятся друг к дружке в школе; впрочем, он выразил надежду, и мы все поддакнули, что они лучше сойдутся, когда вернутся, каждая из своего летнего лагеря. Мы поговорили о школе. У нее были свои недостатки и свои достоинства. "Конечно, среди наших торговцев многовато итальянцев, — сказал рассудительный Джон, — но зато мы до сих пор были избавлены от жи — ". Джоана стремительно перебила его: "Как было бы хорошо, если бы наши девочки проводили это лето вместе!" Внезапно я вообразил Лолиту по возвращении из лагеря — посмуглевшую, теплую, сонную, одурманенную — и готов был зарыдать от страсти и нетерпения.

19

Хочу написать еще несколько слов о г-же Гумберт, покуда пишется (скоро предстоит тяжкая катастрофа). Я всегда отдавал себе отчет в том, что в ее характере есть некоторая доля властности, но я никак не думал, что она может оказаться столь дико ревнивой ко всему, что в моей жизни не относилось к ней. У нее разыгралось ярое, ненасытное любопытство к моему прошлому. Она требовала, чтобы я воскресил всех женщин, которых в жизни любил, дабы заставить меня высмеять их, растоптать их и отречься от них, отступнически и до конца, тем самым уничтожив мое прошлое. Она вынудила у меня отчет о моем браке с Валерией, которая, конечно, была чрезвычайно смешна; но сверх того мне пришлось выдумать, или безсовестно разукрасить длинный ряд любовниц, чтобы Шарлотта могла

злорадно на них любоваться. В угоду ей мне пришлось ей представить целый иллюстрированный каталог, снабдив этих дам тонкими отличиями, согласно традиции американских объявлений, которые, используя для своих целей группу школьников, распределяют их по правилам изощренной расовой пропорции, а именно всегда помещают среди белолицых ребят одного — и только одного — но зато совершенного душку — круглоглазого, шоколадного цвета малыша, почти, но не совсем по самой середине первого ряда парт. Представляя ей моих дам, я заставлял их улыбаться и покачиваться, и все они — томная блондинка, темпераментная негритянка, рыжеволосая развратница — были выстроены, как на параде в веселом доме. Чем очевиднее и вульгарнее они у меня получались, тем больше нравился г-же Гумберт мой водевиль.

Никогда в жизни я не делал и не выслушивал такого множества признаний. Искренность и безыскусственность, с которыми она обсуждала то, что называла своей "любовной жизнью", начиная с первых затяжных поцелуев и кончая супружеской вольной борьбой, представляли в моральном смысле резкий контраст моему безпардонному вранью; но в техническом смысле, обе серии были однородны, ибо на обе влиял тот же материал (радиомелодрамы, психоанализ, дешевые романчики), из которого я извлекал своих действующих лиц, а она — свой язык и стиль. Меня немало позабавили некоторые необыкновенные половые причуды, свойственные почтенному Гарольду Гейзу, по словам Шарлотты, которая сочла гогот мой неприличным; вообще же говоря, ее раскрытие души оказалось столь же мало интересно, как было бы вскрытие ее тела. Никогда не видал я более здоровой женщины — несмотря на диетические голодовки.

О моей Лолите она говорила редко — реже, например, чем о том ребенке мужского пола, светловолосом, со смазанными чертами, фотография которого была единственным украшением нашей суровой спальни. Предаваясь безвкусному мечтанию, она изволила предвидеть, что душа

умершего младенца возвратится на землю во образе дитяти, которое она родит в теперешнем своем браке. И хотя я не испытывал особого позыва к тому, чтобы пополнить родословню Гумберта слепком с плода Гарольда (Лолиту, не без сладкого чувства кровосмешения, я привык считать *своим* ребенком), мне пришло в голову, что продолжительные роды, с основательным кесаревым сечением и разными другими осложнениями, в укромном родильном приюте, этак будущей весной, дадут мне возможность побыть наедине с моей Лолитой несколько недель сряду — и закармливать размаянную нимфетку снотворными порошками.

Ах, как она ненавидела дочь! Особенно злостным мне казалось то, что она совершенно зря, но с громадным прилежанием, ответила на дурацкие вопросы в имевшейся у нее книге ("Знай своего ребенка"), изданной в Чикаго. Этот вздор был растянут на несколько лет: мамаше полагалось делать нечто вроде инвентаря по прохождении каждого года в жизни ребенка. В день двенадцатой годовщины рождения Лолиты, 1-го января 1947 года, Шарлотта Гейз, до замужества Беккер, подчеркнула следующие эпитеты, десять из сорока, (в рубрике "характер ребенка"): агрессивный, буйный, вялый, негативистический (подчеркнуто дважды!), недоверчивый, нетерпеливый, привередливый, пронырливый, раздражительный, угрюмый. Она не обратила никакого внимания на остальные тридцать прилагательных, среди которых были такие, как "веселый", "покладистый", "энергичный" и прочее. Это было просто невыносимо! Со свирепостью, которую в иное время я никогда не примечал в мягкой натуре моей любящей жены, она атаковала и обращала в бегство всякие маленькие принадлежности Лолиты, которые забирались в разные углы дома и там замирали, как загипнотизированные зайчики. Моей благоверной не могло и присниться, что однажды, воскресным утром, когда расстройство желудка (случившееся вследствие моих попыток улучшить ее соуса) помешало мне пойти с нею в церковь, я изменил ей с одним из Лолитиных белых носочков. А что за скверное отношение к письмам моего ландыша, моей душки!

"Дорогие Мамочка и Гумочка,

Надеюсь, вы здоровы. Большое спасибо за конфеты. Я (вычеркнуто и написано опять) я потеряла мой новый свитер в лесу. Последнее время погода была свежая. Мне очень тут.

Любящая вас *Долли"*

"Вот ведь безмозглая", сказала г-жа Гумберт, "пропустила слово после "очень". Этот свитер был из чистой шерсти. И я, знаешь, просила бы тебя советоваться со мной, прежде чем посылать ей конфеты".

20

В нескольких милях от Рамздэля было в лесу озеро — так называемое Очковое Озеро (уже упомянутое мной); мы туда ездили ежедневно в течение одной особенно знойной недели в конце июля. Я теперь вынужден описать с довольно скучными подробностями последнее наше совместное купание там, как-то во вторник, в тропическое утро.

Оставив автомобиль в специально отведенном для этого месте, недалеко от шоссе, мы направлялись к озеру по тропинке, проложенной через сосновый лес, когда Шарлотта сказала, что Джоана Фарло, в погоне за редкостными световыми эффектами (Джоана принадлежала к старой школе живописи) в воскресенье видела, как Лесли Томсон купался, "в чем ночь родила" (как сострил Джон), в пять часов утра.

"Вода", сказал я, "должно быть была прехолодная".

"Не в этом суть дела", возразила логичная, хоть и обреченная голубка. "Он, видишь ли, слабоумный. И признаюсь", продолжала она (с той свойственной ей тщательностью фразировки, которая уже начинала сказываться на моем здоровье), "я определенно чувствую, что наша Луиза влюблена в этого кретина".

Чувствовать. "Мы чувствуем, что Долли учится не так хорошо, как могла бы..." и прочее (из старого школьного отзыва).

Гумберты продолжали шествовать, в сандалиях и халатах.

“Знаешь, Гум, у меня есть одна дерзкая мечта”, проговорила лэди Гум, опуская голову — как бы стыдясь этой мечты или ища совета у рыжей земли. “Мне бы так хотелось достать настоящую тренированную служанку вроде той немки, о которой говорили Тальботы; и чтобы жила у нас”.

“Нет места”, ответил я.

“Да что ты!”, сказала она со своей мнимо-загадочной улыбкой, “право, chéri, ты недооцениваешь возможностей гумбертовского дома. Мы бы поместили ее в комнату Ло. Я и так намеревалась сделать комнату для гостей из этой дыры. Это самая холодная и гадкая конура во всем доме”.

“О чем ты собственно говоришь?” спросил я, причем кожа моих маслаков подтянулась (если я потрудился это отметить, то лишь потому, что кожа моей дочки делала то же, когда она то же испытывала: недоумение, отвращение, раздражение).

“Тебя, может быть, останавливают какие-нибудь романтические ассоциации?”, поинтересовалась моя жена — намекая на наш первый поцелуй.

“А ну их”, ответил я, “я просто хочу понять, куда ты поместишь дочь, когда достанешь своего гостя или свою горничную”.

“О!” сказала г-жа Гумберт, мечтая, улыбаясь, продлевая это “О!”, и в то же время приподымая одну бровь и нежно выдыхая воздух. “Боюсь, что маленькая Ло тут совершенно, совершенно ни при чем. Маленькая Ло отправляется после лагеря прямо в пансионат — хороший пансионат со строгой дисциплиной и солидной программой религиозного образования. А затем — Бердслей Колледж. Все это у меня очень точно разработано, можешь не беспокоиться”.

Она добавила, что она, Гумбертша, должна будет перебороть свою обычную леность и написать сестрице старухи Фален, которая преподавала в пансионате Св. Алгебры. Появилось между соснами ослепительное озеро. Я сказал, что забыл в автомобиле темные очки и сейчас догоню ее.

Мне всегда думалось, что ломание рук — жест вымышленный или, может быть, смутный отклик какого-нибудь средневекового ритуала; но когда я теперь углубился в лес, чтобы предаться отчаянию и страшным размышлениям, именно этот жест ("Погляди, Боже, на эти цепи!") лучше всего мог бы выразить без слов мое настроение.

Будь Шарлотта Валерией, я бы знал, как в данном случае действовать — да, "действовать" как раз подходящее слово; в доброе старое время мне достаточно было начать выворачивать толстой Валечке хрупкую кисть (ту, которую она повредила при падении с велосипеда) для того, чтобы она мгновенно изменила свое мнение; но в отношении Шарлотты все это было немыслимо. Хладнокровная американская Шарлотта на меня наводила страх. У меня ничего не вышло из беспечной идеи завладеть ее волей через ее любовь. Я не смел ничего сделать, что могло бы нарушить мой образ, который она создала, чтобы ему поклоняться. Я подлизывался к ней, пока она была грозной дуэньей моей душеньки, и нечто от этого пресмыкания сохранилось и теперь в моем отношении к ней. У меня был только один козырь — то, что она ничего не знала о моем чудовищном увлечении ее девочкой. Ее злило, что я девочке нравился; но моих собственных чувств она угадать не могла. Валерии я бы сказал: "Послушай-ка, толстая дура, c'est moi qui décide, что хорошо для Долорес Гумберт". Шарлотте же я даже не смел сказать (с подобострастным спокойствием): "Извини меня, голубка, но я не согласен с тобой. Дадим девочке еще один шанс. Я готов учить ее дома год или два. Ты однажды сама говорила". Дело в том, что я не мог ничего сказать Шарлотте о девочке без того, чтобы не выдать себя. Ах, вы не можете себе представить (как и я никогда не представлял себе), какие они, эти женщины с принципами! Шарлотта, которая не замечала фальши обиходных условностей, правил поведения, патентованной пищи, книг и людей, на которых она молилась, немедленно различила бы неправильную интонацию, какие бы слова я ни произнес с целью удержать Лолиту около себя. Она была как музыкант, который может быть в жизни ужасным

пошляком, лишенным интуиции и вкуса, но дьявольски-точный слух которого расслышит малейшую ноту в оркестре. Чтобы разбить силу ее воли, мне понадобилось бы разбить ей сердце. Если я разбил бы ей сердце, мой образ в нем разбился бы тоже. Если бы я ей сказал: "Или я делаю с Лолитой, что хочу — и ты помогаешь мне держать дело в тайне, — или же мы тотчас разводимся", — она бы побледнела, словно превратившись в матовое стекло, и неторопливо ответила бы: "Хорошо: чего бы ты теперь ни прибавил, чего бы ни взял обратно — это конец". И так оно и было бы.

Вот, значит, в какую беду я попал. Помню, как я дошел до площадки для парковки и как, накачав из фонтанчика пригоршню ржавой на вкус воды, хлебнул ее так жадно, как если бы она могла мне дать волшебную мудрость, юность, свободу, крохотную наложницу. Потом посидел — в фиолетовом своем халате, болтая ногами, на краю одного из грубо сколоченных пикниковых столов под широкошумными соснами. Поодаль две девочки в трусиках и лифчиках вышли из бликами испещренной будки клозета с пометой: Для Женщин. Жующая резину Мабель (или дублерша Мабели) медлительно, рассеянно полезла верхом на велосипед, а Марион, тряся волосами чтобы отогнать мух, села сзади, с широко расставленными ногами; и, виляя, они медлительно, рассеянно слились со светом и тенью. Лолита! Отец и дочь, исчезающие в тающей этой глухомани. Естественнейшим разрешением задачи было бы: уничтожить г-жу Гумберт. Но как?

Ни один человек не способен сам по себе совершить идеальное преступление; случай, однако, способен на это. Криминалисты помнят, например, знаменитое убийство некоей мадам Лякур в Арле, на юге Франции, в конце прошлого столетия. Неопознанный бородач саженного роста, который, может быть, был с этой дамой в тайной любовной связи, подошел к ней на многолюдной улице, несколько дней после того, что она вышла за полковника Лякура, и трижды вонзил ей кинжал в спину, покамест полковник, бульдожьего типа коротыш, продолжал висеть

на руке у убийцы. По чудесному и прекрасному совпадению как раз в это мгновение, когда преступник стал разжимать челюсти сердитого маленького мужа (между тем как сбегался народ), — какой-то мечтатель-итальянец в доме, ближайшем к месту происшествия, совершенно случайно привел в действие взрывчатый снаряд, с которым возился; и немедленно улица обратилась в адский хаос дыма, падающих кирпичей и спасающихся людей. Взрыв, однако, никому вреда не нанес (если не считать того, что нокаутировал доблестного полковника Лякура); а мстительный любовник кинулся бежать, когда кинулись бежать остальные, после чего прожил долгую и счастливую жизнь.

Посмотрим теперь, что бывает, когда злоумышленник пробует сам устроить идеальное изъятие.

Я спустился к Очковому Озеру. Уголок, где мы и еще несколько "приличных" семейств (Фарло, Чатфильды) облюбовали место для купания, представлял собой небольшой затон; моей Шарлотте он нравился тем, что это было почти как "частный пляж". Публичный же пляж — со всеми удобствами для купающихся (или топящихся, как "Рамздэльский Листок" имел случай выразиться) — находился в левом (т. е. восточном) очке озера и не был виден из нашего затончика. Сосняк, бывший справа от нас, дальше сменялся болотом, после чего, описав полукруг, берег снова одевался бором по другой стороне западного очка.

Я опустился на песок рядом с женой так тихо, что она вздрогнула.

"Пошли в воду?" спросила она.

"Через минуточку. Дай мне продумать одну комбинацию". Я продолжал думать. Прошла минута с лишним. "Ладно. Пошли".

"А я участвовала в этой комбинации?"

"И как еще!"

"То-то же!" сказала Шарлотта, входя в воду. Вода вскоре дошла ей до толстых, покрытых гусиной кожей ляжек; затем, вытянув перед собой сложенные ладони, плотно сжав губы, с неожиданно попростевшим в оправе черного резинового шлема лицом, Шарлотта ринулась вперед с громким плеском.

Мы медленно плыли в озерном сверкании.

На противном берегу, по крайней мере в тысяче шагах от нас (если бы можно было шагать по воде), я различал крошечные силуэты двух человек, усердно работавших на своем куске берега. Я в точности знал, кто они: отставной полицейский польского происхождения и отставной водопроводчик, которому принадлежала большая часть леса на той стороне озера. Я тоже знал, чем они заняты — постройкой, для собственного дурацкого развлечения, деревянной пристани. Доносившийся до нас стук казался до странности значительнее, чем подходило бы их карликовым рукам и инструментам; можно было подумать, что заведующий звуковыми эффектами не сговорился с пупенмейстером, особенно потому что здоровенный треск каждого миниатюрного удара запаздывал по отношению к его зрительному воплощению.

Короткая светло-песчаная полоска "нашего" пляжа — от которого мы теперь несколько удалились, достигнув глубокой воды — бывала пуста в будни. Никого не было кругом, кроме этих двух сосредоточенно работавших фигурок на том берегу, да темно-красного частного самолета, который высоко прожужжал и пропал в синеве неба. Лучшей декорации и придумать нельзя было для быстренького булькающего человекоубийства, и вот тончайшая пуанта: применитель закона и проводчик воды находились как раз достаточно близко, чтобы быть свидетелями несчастного случая, и как раз достаточно далеко, чтобы не разглядеть преступления. Они находились достаточно близко, чтобы услышать, как мечущийся в воде растерянный купальщик отчаянно ревет, призывая на помощь кого-нибудь, кто бы спас его тонущую жену; и они были слишком далеко, чтобы различить (ежели они посмотрели бы до времени), что отнюдь не растерянный купальщик как раз кончает затаптывать жену под воду. Этой стадии я еще не достиг; я только хочу объяснить простоту действия, отчетливость постановки! Так вот, значит, Шарлотта подвигалась вплавь с неуклюжей добросовестностью (была она весьма посредственной ундиной), но и не без некоторого торжественного

наслаждения (ведь ее водяной состоял при ней); и наблюдая все это с самодовлеющей ясностью будущего воспоминания (как, знаете ли, когда смотришь на вещи, стараясь увидеть их такими, какими будешь потом их вспоминать) — лоснящуюся белизну ее мокрого лица, весьма слабо загоревшего, невзирая на все ее старания, и бледные губы, и голый выпуклый лоб, и тесный черный шлем, и полную мокрую шею, — я знал, что мне только нужно слегка отстать, набрать побольше воздуху в легкие, затем схватить ее за щиколотку и стремглав нырнуть под воду с пленным трупом. Говорю "трупом", ибо неожиданность, испуг и неопытность заставили бы бедную ундину разом хлебнуть целое ведро смертоносной озерной воды; я же мог бы выдержать по крайней мере с минуту под водой, не закрывая при этом глаз. Роковое движение мелькнуло передо мной, как хвост падучей звезды, по черноте замышляемого преступления. Так, в безмолвном зловещем балете, танцор держит партнершу за ножку, стрелой уходя в чудно подделанную подводную мглу. Я бы всплыл за глотком воздуха, все еще держа ее под водой, и затем продолжал бы нырять столько раз, сколько оказалось бы нужным, и только когда над ней окончательно опустился бы занавес, я бы позволил себе позвать на помощь. И когда, минут через двадцать, те два человека с другого берега, равномерно увеличиваясь, приблизились бы в гребной лодке с одним свеже-покрашенным боком, бедная г-жа Гумберт, жертва мышечной судороги или сердечного приступа, или и того и другого вместе, уже стояла бы на голове в чернильном иле, саженей на пять под смеющейся гладью Очково-змеиного Озера.

Как просто, не правда ли? А вот подите же, судари мои, мне было абсолютно невозможно заставить себя это совершить!

Она плыла рядом со мной, как доверчивый, неповоротливый тюлень, и вся логика страсти кричала мне в уши: "Не жди!" А я, судари мои, не мог и не мог! Молча, я повернул к берегу, и степенно, добросовестно она повернула тоже, и охрипший от крика дьявол все еще повторял свой совет, и все еще я не мог заставить себя утопить это

несчастное, скользкое, большетелое создание. Крик становился все глуше по мере того, как я осознавал печальную истину, что ни завтра, ни в пятницу, и ни в какой другой день или ночь не удастся мне себя заставить ее убить. О, я мог вообразить, что ужасными шлепками нарушаю симметрию Валечкиных грудей, или что как-нибудь иначе причиняю ей боль, — и так же ясно мог увидеть себя всаживающим пулю в брюхо ее любовника, так чтобы он охнул и сел. Но Шарлотту убить я не мог — особенно когда, в общем, положение не было, может быть, столь безнадежным, как оно казалось на первый вздрог в то ужасное утро. Поймай я ее за сильную отбивающуюся ногу, увидь я ее изумленный взгляд, услышь я ее страшный голос, пройди я все-таки через это испытание, ее призрак преследовал бы меня всю жизнь. Быть может, если бы мы жили в 1447-м году, а не в 1947-м, я обманул бы свою кроткую природу, подсыпав ей классического яду из полого агата на перстне, напоив ее роковым сладким зельем. Но в нашу буржуазную эру, когда все суют нос в чужие дела, это не сошло бы мне так, как сходило в обитых парчой глухих чертогах прошлого. В наши дни убийца должен быть химиком. Нет, нет, я не был ни тем ни другим. Господа присяжные, милостивые государи и столь же милостивые государыни! Большинство обвиняемых в проступках против нравственности, которые тоскливо жаждут хоть каких-нибудь трепетных, сладко-стонущих, физических, но не непременно соитием ограниченных отношений с девочкой-подростком — это все безвредные, никчемные, пассивные, робкие чужаки, лишь одного просящие у общества, а именно: чтобы оно им позволило следовать совершенно в общем невинным, аберративным, как говорится, склонностям и предаваться частным образом маленьким, приятно жгучим и неприятно влажным актам полового извращения без того, чтобы полиция или соседи грубо набрасывались на них. Мы не половые изверги! Мы не насилуем, как это делают бравые солдаты. Мы несчастные, смирные, хорошо воспитанные люди с собачьими глазами, которые достаточно приспособились, чтобы сдерживать свои порывы в присутствии взрослых, но

готовы отдать много, много лет жизни за одну возможность прикоснуться к нимфетке. Подчеркиваю — мы ни в каком смысле не человекоубийцы. Поэты не убивают. О, моя бедная Шарлотта, не смотри на меня с ненавистью из твоего вечного рая посреди вечной алхимической смеси асфальта, резины, металла и камня — но, слава Богу, не воды, не воды!

Все же я был на волосок от беды, говоря совсем объективно. И теперь раскрывается суть моей притчи об идеальном убийстве.

Мы уселись на свои мохнатые полотенца, под жадным до нас солнцем. Она оглянулась кругом, освободила бридочки и легла ничком, дабы дать лучам полакомиться ее спиной. Сказала, что любит меня. Глубоко вздохнула, протянула руку к лежащему рядом халату и нащупала в его кармане пачку папирос. Перешла в сидячее положение, закурила. Изучила свое правое плечо. Наградила меня, открыв дымный рот, основательным поцелуем. Вдруг позади нас из-под кустов покатились по песчаному скату два-три камушка.

"Мерзкие, подглядывающие дети", проговорила Шарлотта, придерживая на груди объемистый черный лифчик и поворачиваясь опять на живот. "Мне придется поговорить об этом с Петром Крестовским".

У выхода тропинки раздался шорох, звук шагов, и появилась Джоана Фарло с мольбертом и другими принадлежностями.

"Ты напугала нас", сказала Шарлотта. Джоана объяснила, что была там над скатом, в тайнике зелени, и оттуда "шпионила за природой" (шпионов обычно расстреливают), стараясь дописать пейзаж — но ничего, мол, не вышло, таланта не хватало (что было совершенно верно).

"А вы, Гумберт, вы когда-нибудь пробовали рисовать?"

Шарлотта, которая немножко ревновала меня к Джоане, спросила, придет ли Джон?

Да, придет. Он собирался завтракать сегодня дома. Привез ее по дороге в Паркингтон и скоро теперь подберет. Какое прекрасное утро! Она всегда чувствовала себя измен-

ницей по отношению к Мелампию и Кавалле, когда оставляла их привязанными дома в такие дивные дни. Села на белый песочек между Шарлоттой и мной. Ее длинные коричневые ноги в трусиках были для меня приблизительно столько же соблазнительными, как ноги гнедой кобылы. Она показывала десны, когда улыбалась.

"Я чуть не включила вас в свое озеро", сказала она. "Между прочим, я заметила кое-что, чего вы недосмотрели. Вы (обращаясь к Гумберту) забыли снять наручные часики, да, сэр, забыли".

"Уотерпруф" (непромокаемые), тихо произнесла Шарлотта, сложив губы по-рыбьи.

Джоана положила мою кисть к себе на колено и полюбовалась Шарлоттиным подарочком; затем положила руку Гумберта обратно на песок, ладонью кверху.

"Ты Бог знает что могла оттуда увидеть", заметила Шарлотта не без кокетства.

Джоана вздохнула. "Раз, вечером", сказала она, "я видела двух детей, мужского и женского пола, которые вот на этом месте, деятельно совокуплялись. Их тени были как гиганты. И я, кажется, говорила вам о Лесли Томсоне, который купается нагишом на заре. Я теперь все жду, что после черного атлета появится жирная котлета, Айвор Куильти (наш дантист), без ничего. Он, между прочим, невероятный оригинал — этот старик. Когда я у него была последний раз, он мне рассказал совершенно неприличную историю про племянника. Оказывается —"

"А вот и я", — раздался голос Джона.

21

Привычка хранить молчание, когда я гневался, или вернее, холодная и как бы чешуйчатая сторона моего гневного молчания наводила, бывало, на Валерию невероятный страх: "Я не знаю, о чем ты думаешь, когда ты такой и это меня сводит с ума", жаловалась она. Я старался наказать Шарлотту молчанием — но она как ни в чем не бывало

продолжала щебетать или брала молчальника за подбородок. Поразительная женщина! Бормоча, что мне приходится как никак писать ученый труд, я забирался в свою бывшую комнату; Шарлотта же все жизнерадостнее наводила красоту на нашу обитель, ворковала в телефон, писала письма. Из моего окна, сквозь глянцевитый перелив тополевой листвы, я мог видеть ее идущую через улицу и с довольным видом опускающую в ящик письмо к сестре мисс Фален.

Неделя сырой, пасмурной погоды, которая последовала за нашим только что описанным посещением молчаливых песков Очкового Озера, была одной из самых мрачных в моей жизни. Затем мелькнули два-три неясных луча надежды — перед окончательной вспышкой солнца.

Я смекнул, что у меня есть хороший мозг, что работает он великолепно и что следует этим воспользоваться. Пусть я не смел вмешиваться в планы жены для Лолиты (становившейся с каждым днем теплее и смуглее под ясным небом безнадежной дали), все же я мог найти какой-то основной способ для утверждения общего своего авторитета, который я бы мог впоследствии применить в частном случае. Однажды вечером Шарлотта сама дала мне подходящий повод.

"У меня для тебя есть сюрприз", сказала она, глядя на меня нежными глазами поверх ложки супа. "Осенью, мы с тобой едем в Англию".

Я не спеша проглотил свою ложку супа, вытер губы розовой бумажкой (О, прохладное, тонкое полотно столового белья в моей "Миране"!) и сказал:

"У меня тоже есть для тебя сюрприз, моя милая. Мы с тобой не едем в Англию".

"Почему? В чем дело?" спросила она, наблюдая — с бóльшим удивлением чем я рассчитывал вызвать своим ответом — за моими руками (я невольно складывал, рвал, мял и опять рвал ни в чем неповинную розовую "салфетку"). Впрочем, моя улыбка несколько ее успокоила.

"Дело обстоит очень просто", сказал я. "Даже при самом гармоничном браке, как, например, наш, не все реше-

ния принимает супруга. Есть вопросы, для решения которых существует муж. Я хорошо могу себе представить волнующее удовольствие, которое тебе, как нормальной американке, должен доставить переезд через океан на том же трансатлантическом пароходе, что лэди Бимбом, кузина короля Англии, Билль Бимбом, король мороженного мяса, или холливудская шлюха. И я не сомневаюсь, что мы с тобой представили бы отличную рекламу для туристической конторы: ты с откровенным преклонением, а я, сдерживая завистливое восхищение, смотрим в Лондоне на дворцовую стражу, на этих малиновых гвардейцев, Бобровых Мясоедов, или как их там еще. У меня же, как раз, аллергия к Европе, включая добрую старую Англию. Как тебе хорошо известно, меня ничто, кроме самых грустных воспоминаний, не связывает со Старым, и весьма гнилым, Светом. Никакие цветные объявления в твоих журналах этого не переменят"...

"Голубчик мой", сказала Шарлотта, "я право же —"

"Нет, погоди. Это — пустяк, частность; я, собственно, говорю в более широком смысле. Когда тебе захотелось, чтобы я проводил целые дни, загорая на озере, вместо того чтобы заниматься своей работой, я охотно подчинился и превратился ради тебя в представителя бронзовой молодежи, вместо того чтобы остаться литературоведом и... ну, скажем, педагогом. Когда ты меня ведешь на бридж к милейшим Фарло, я кротко плетусь за тобой. Нет, пожалуйста, погоди. Когда ты декорируешь свой дом, я не мешаю твоим затеям. Когда ты решаешь — ну, решаешь всякие там вещи, я могу быть против, совершенно против — или скажем, отчасти; но я молчу. Я игнорирую отдельные случаи, но не могу игнорировать общий принцип. Я люблю, чтобы ты мной командовала, но во всякой игре есть свои правила. Нет, я не сержусь. Я вовсе не сержусь. Перестань это делать. Но я представляю собой половину семейного очага и имею собственный, небольшой, но отчетливый голос".

Она перешла между тем на мою сторону стола и, упав на колени, медленно, но настойчиво трясла головой и перебирала холеными ногтями по моим штанам. Сказала, что ей

и в голову не приходило, что могу так думать. Сказала, что я ее божество и властелин. Сказала, что Луиза уже ушла, и мы можем немедленно предаться любви. Сказала, что я должен ее простить, или она умрет.

Этот маленький инцидент значительно меня ободрил. Я спокойно ответил ей, что дело не в прощении, а в перемене поведения; и я решил закрепить выигранное преимущество и проводить впредь много времени в суровом и пасмурном отчуждении, работая над книгой или хотя бы притворяясь, что работаю.

Кровать-кушетка в моей бывшей комнате давно была превращена просто в кушетку, чем, впрочем, всегда оставалась в душе, и Шарлотта предупредила меня в самом начале нашего сожительства, что постепенно комната будет переделана в настоящий писательский кабинет. Дня через два после "британского инцидента", я сидел в новом и очень покойном кресле с большим томом на коленях, когда, постучав в дверь колечком на пальце, вплыла Шарлотта. Как непохожи были ее движения на движения моей Лолиты, когда та, бывало, ко мне заглядывала, в своих милых, грязных, синих штанах, внося с собой из страны нимфеток аромат плодовых садов; угловатая и сказочная, и смутно порочная, с незастегнутыми нижними пуговками на мальчишеской рубашке. Но позвольте мне вам что-то сказать. Под задорностью маленькой Гейз, как и под важностью большой Гейз, робко бежал *тот же* (и на вкус и на слух) ручеек жизни. Знаменитый французский врач как-то говорил моему отцу, что у близких родственников слабейшее бурчание в желудке имеет тот же музыкальный тон.

Итак Шарлотта вплыла. Она чувствовала, что между нами не все благополучно. Накануне, как и за день до того, я сделал вид, что заснул, как только мы легли, а встал до того, как она проснулась. Она ласково спросила, не мешает ли.

"В эту минуту — нет", ответил я, поворачивая открытый на букве "К" том энциклопедии для девочек, так чтобы лучше рассмотреть картинку, напечатанную нижним краем вдоль обреза.

Она подошла к столику — он был из поддельного красного дерева с одним ящиком. Положила на столик руку. Столик был некрасивый, что и говорить, но он ни в чем не был перед ней виноват.

“Я давно хотела тебя спросить”, сказала она (деловито, без всякой игривости), “почему он у тебя заперт? Ты хочешь, чтобы этот столик оставался в кабинете? Он ужасно какой-то гадкий”.

“Оставь его в покое”, процедил я. Я был с гэрл-скаутами в Кальгари.

“Где ключ?”

“Спрятан”.

“Ах, Гумочка...”

“В нем заперты любовные письма”.

Она бросила на меня взгляд раненой газели, который так бесил меня; и затем, не совсем понимая, шучу ли я, и не зная, как поддержать разговор, простояла в продолжение нескольких тихо поворачиваемых страниц (Канада, Кино, Конфета, Костер), глядя скорее на оконное стекло, чем сквозь него, и барабаня по нему острыми, карминовыми, миндалевидными ногтями.

Две минуты спустя (на Кролике или на Купании) она подошла к моему креслу и опустилась, увесистым крупом в шотландской шерсти, на ручку, обдав меня запахом как раз тех духов, которыми пользовалась моя первая жена. “Не желало ли бы ваше сиятельство провести осень вот здесь?” спросила она, указывая мизинцем на приторный осенний пейзаж в одном из восточных штатов. “Почему?” (чеканно и медленно). Она пожала плечом. (Вероятно, Гарольд любил уезжать в отпуск об эту пору. Охотничий сезон. Бабье лето. Условный рефлекс с ее стороны.)

“Мне кажется, я знаю где это”, сказала она, все еще указывая мизинцем. “Помню, там есть гостиница с романтическим названием: “Привал Зачарованных Охотников”. Кормят там божественно. И никто никому не мешает”.

Она потерлась щекой о мой висок. Валечку я от этого отучил в два счета.

“Не хочешь ли ты чего-нибудь особенного к обеду, мой милый. Попозже зайдут Джон и Джоана”.

Я хмыкнул. Она поцеловала меня в нижнюю губу и, весело сказав, что приготовит торт (с тех времен, когда я еще состоял в жильцах, сохранилась легенда, что я без ума от ее тортов), предоставила меня моему безделью.

Аккуратно положив открытую книгу на покинутое ею место (книга попыталась прийти в волнообразное движение, но всунутый карандаш остановил вращение страниц), я проверил, в сохранности ли ключ: он покоился в довольно неуютном месте, а именно под старой, но дорого стоившей безопасной бритвой, которую я употреблял, пока жена не купила мне другую, лучше и дешевле. Спрашивалось: надежно ли ключ спрятан под этой бритвой, в бархатном футляре? Футляр лежал в сундуке, где я держал деловые бумаги. Нельзя ли устроить сохраннее? Удивительно, как трудно что-нибудь спрятать — особенно когда жена только и делает, что переставляет вещи.

22

Насколько помню, прошла ровно неделя с нашего последнего купания, когда полдневная почта принесла ответ от второй мисс Фален. Она писала, что только что вернулась в пансионат Св. Алгебры, с похорон сестры. "Евфимия в сущности никогда не оправилась после поломки бедра". Что же касается дочери г-жи Гумберт, она имела честь сообщить, что для поступления в этом году уже поздно, но что она (здравствующая Фален) почти не сомневается, что может принять ее в школу, если г-н и г-жа Гумберт привезут Долорес в январе. Райская передышка!

На другой день, после завтрака я заехал к "нашему" доктору, симпатичному невежде, чье умелое обхождение с больными и полное доверие к двум-трем патентованным лекарствам успешно маскировали равнодушие к медицине. Тот факт, что Ло должна была вернуться в Рамздэль, дивно озарял пещеру будущего. Я желал привести себя в совершенную готовность ко времени наступления этого события. Собственно, я начал кампанию еще до того, как Шар-

лотта приняла свое жестокое решение. Мне нужна была уверенность, что когда моя прелестная девочка вернется, у меня будет возможность в ту же ночь, и потом ночь за ночью, покуда не отнимет ее у меня Св. Алгебра, усыплять два живых существа так основательно, чтобы никакой звук и никакое прикосновение не могли перебить их сон. В течение июля я производил опыты с разными снотворными средствами, испытывая их на Шарлотте, большой любительнице пилюль. Последняя доза, которую я ей дал (она думала, что это слабый препарат брома для умащения ее нервов) свалила ее на целых четыре часа. Я запускал радио во всю его силу. Направлял ей в лицо ярчайший луч фаллической формы фонарика. Толкал, тер, щипал, тыкал — и ничто не нарушало ритма ее спокойного и мощного дыханья. Однако от такой простой вещи, как поцелуй в ключицу, она проснулась тотчас, свежая и хваткая, как осьминог (я еле спасся). Значит, не годится, подумал я; следует достать нечто еще более надежное. Сначала д-р Байрон как будто не поверил, когда я сказал, что его последнее лекарство не совладало с моей бессонницей. Он посоветовал мне испробовать его еще несколько раз и на минуту отвлек мое внимание, начав показывать мне семейные фотографии: у него была обаятельная девочка Доллиных лет; но я понял, что он старался меня провести, и потребовал, чтобы он мне прописал самое сильное из существующих снотворных. Посоветовал играть в гольф, — но в конце концов согласился дать мне средство, которое "не могло не подействовать"; и, подойдя к шкапчику, болтун достал из него стеклянную трубку с лиловато-синими патрончиками, опоясанными с одного конца темно-фиолетовой полоской. Это было, по его словам, новое средство, только что выпущенное в продажу и предназначавшееся не для неврастеников, которых можно успокоить и глотком воды, если взяться умеючи, а только для великих бессонных художников, которым необходимо умереть на несколько часов, чтобы жить в веках. Я люблю дурачить докторов и, хотя я внутренне ликовал, положил в карман пилюли со скептическим пожатием плеч. Между прочим, мне приходилось быть с ним

начеку. Однажды, совсем по другому случаю, я глупо оговорился — упомянул свою последнюю санаторию, и мне показалось, что он навострил уши. Вовсе не стремясь к тому, чтобы Шарлотте или кому-нибудь другому стал известен этот период моего прошлого, я поспешил объяснить, что мне пришлось предпринять некоторые изыскания в сумасшедших домах для романа. Но Бог с ним; одно несомненно, у пройдохи была премиленькая девчурка. А ведь странно подумать — все они теперь старые, семнадцатилетние...

Я вышел от него в отличнейшем настроении. Одним пальцем управляя жениным автомобилем, я благодушно катил домой. Рамздэль был в общем не лишен прелести. Свиристели цикады; бульвар был только что полит. С шелковистой гладкостью, я свернул вниз по нашей крутой улочке. Каким-то образом все в этот день складывалось так удачно. Так сине и зелено. Я знал, что сверкало солнце, оттого что никелированный ключ стартера отражался в переднем стекле; и я знал, что ровно половина четвертого, оттого что сестра милосердия, ежедневно приходившая массировать старушку Визави, семенила вниз по узкой панели в своих белых чулках и башмаках. Как обычно, истеричный сеттер бывшего старьевщика атаковал автомобиль при спуске, и, как обычно, местная газета лежала на крыльце, куда ее только что швырком доставил Кении.

Накануне я прекратил режим отчуждения, который я сам себе предписал, и сейчас я испустил веселый клик, возвещавший мое прибытие, одновременно отворяя дверь гостиной. Повернутая ко мне каштановым шиньоном над сливочно-белой шеей, в той же желтой блузке и тех же темно-красных штанах, которые были на ней в день нашей первой встречи, Шарлотта сидела в углу за письменным столиком и строчила письмо. Еще не выпустив ручку двери, я повторил свой приветственный возглас. Ее рука перестала писать. С секунду Шарлотта сидела неподвижно; затем она медленно повернулась на стуле, положив локоть на его выгнутую спинку. Ее лицо, искаженное тем, что она

испытывала, не представляло собой приятного зрелища. Упираясь взглядом в мои ноги, она заговорила:

"Гнусная Гейзиха, толстая стерва, старая ведьма, вредная мамаша, старая... старая дура... эта старая дура все теперь знает... Она... она..."

Моя прекрасная обвинительница остановилась, глотая свой яд и слезы. Что именно Гумберт Гумберт сказал — или пытался сказать — не имеет значения. Она продолжала:

"Вы — чудовище. Вы отвратительный, подлый, преступный обманщик. Если вы подойдете ко мне, я закричу в окно. Прочь от меня!"

Тут опять, я думаю, можно пропустить то, что бормотал Г. Г.

"Я уеду сегодня же. Это все ваше. Но только вам не удастся никогда больше увидеть эту негодную девчонку. Убирайтесь из этой комнаты".

Читатель, я подчинился. Я поднялся в мой экс-полукабинет. Руки в боки, я постоял в совершенной неподвижности и полном самообладании, созерцая с порога изнасилованный столик: ящик был выдвинут, из замочной скважины висел, зацепившись бородкой, подошедший наконец ключ, другие разнородные домашние отмычки лежали на столешнице. Я перешел через площадку лестницы в супружескую спальню Гумбертов и хладнокровно перевел мой дневничок из-под ее подушки в свой карман. После чего я отправился вниз, но остановился на полпути: она говорила по телефону, провод которого в этот день был случайно соединен со штепселем в столовой, возле двери, ведущей в гостиную. Хотелось послушать, что она говорит: отменила какой-то заказ и вернулась в гостиную. Я перевел дух и через прихожую прошел на кухню. Там я откупорил бутылку шотландского виски (перед скотчем она никогда не могла устоять). Затем я перешел в столовую и оттуда, через полуоткрытую дверь, поглядел на широкую спину Шарлотты.

"Ты разбиваешь и мою жизнь и свою", сказал я спокойно. "Давай обсудим дело, как двое культурных людей. Это все твоя галлюцинация. Ты, Шарлотта, не в своем уме. Эти

записи, которые ты нашла, всего лишь наброски для романа. Твое имя, и ее, были взяты случайно. Только потому что подвернулись под перо. Ты подумай об этом, а я тебе принесу выпить".

Она не ответила и не обернулась, продолжая бешеным темпом писать, что писала. Очевидно, третье по счету письмо (два уже запечатанных, с наклеенными марками, приготовлены были перед ней на столе). Я вернулся на кухню.

На кухне я достал два стакана (в Св. Алгебру? к Лолите?) и отпер электрический холодильник. Он яростно ревел на меня, пока я извлекал из его сердца лед. Написать всю штуку сызнова. Пускай перечтет. Подробностей она не помнит. Изменить, подделать. Написать отрывок романа и показать ей или оставить лежать на виду? Почему иногда краны так ужасно визжат? Ужасное положение, по правде сказать. Подушечки льда — подушечки для твоего игрушечного полярного медвежонка, Ло! — издавали трескучие, истошные звуки по мере того, как горячая вода из-под крана освобождала их из металлических сот. Я поставил оба стакана рядом, налил в них виски и прибавил в каждый по унции сельтерской воды. Жаль, что наложила запрет на мой любимый джинанас. Холодильник рявкнул и грохнул. Неся стаканы, я прошел в столовую и сквозь дверь гостиной, теперь едва приоткрытую, так что я не мог просунуть локоть, сказал:

"Я приготовил тебе скотч".

Она не отозвалась, сумасшедшая стерва, и я поставил стаканы на буфет рядом с телефоном, который как раз зазвонил.

"Говорит Лесли — Лесли Томсон", сказал Лесли Томсон, тот самый, который любил купаться на заре. "Миссис Гумберт, сэр, попала под автомобиль, и вам бы лучше прийти поскорее".

Я ответил — может быть, не без раздражения — что моя жена цела и невредима, и все еще держа трубку, отпахнул толчком дверь и сказал:

"Вот он тут говорит, Шарлотта, что тебя убили".

Но никакой Шарлотты в гостиной не было.

23

Я выбежал наружу. Другая сторона крутой нашей улочки являла собой необыкновенное зрелище. На покатый газон мисс Визави въехал большой, черный, глянцевитый Пакар, круто свернув туда через панель (на которой холмился оброненный клетчатый плед), и стоял там, поблескивая на солнце, с раскрытыми, как крылья, дверцами и с колесами, глубоко ушедшими в букс. Справа от автомобиля, на аккуратной мураве ската, седоусый старец, весьма прилично одетый (серый двубортный костюм, галстук бабочкой в белую горошинку), лежал навзничь, сдвинув длинные ноги, как восковая фигура ростом с обыкновенного мертвеца. Мне нужно выразить толчок, разряд, молнию мгновенного впечатления чередою слов; их вещественное накопление на странице портит самоё вспышку, острое единство картины: холмик пледа, машина, старик-мумия, старушкина массажистка, бегущая с крахмальным шелестом, держа в руке полупустой стакан, обратно к веранде, где подпертая подушками, пленная, дряхлая мисс Визави, наверное, испускала вопли, недостаточно, впрочем, громкие, чтобы заглушить равномерное гавканье старьевщикова сеттера, переходящего от одной группы людей к другой — то к соседям, уже скопившимся на тротуаре, около клетчатой штуки, то назад к автомобилю (который ему наконец удалось затравить), то к группе, собравшейся на газоне, состоявшей из Лесли Томсона, двух полицейских и коренастого господина в роговых очках. Тут я должен пояснить, что незамедлительное появление дорожной полиции (не прошло и двух минут после несчастия) было следствием того, что патрульщики как раз в это время нацепляли штрафные билеты на автомобили, незаконно запаркованные в переулке, неподалеку от нас; что тип в очках был Фредерик Биэль-младший, водитель Пакара; что его семидесятидевятилетний отец, которого массажистка только что отпаивала на скошенной траве, где он лежал скошенным, так сказать, банкиром, был не в глубоком обмороке, а удобно и методически оправлялся от легкой сердечной

схватки или возможности оной; и наконец, что плед на тротуаре, где жена так часто указывала мне с недовольством на кривые зеленые трещины, скрывал искалеченный труп Шарлотты Гумберт, которую переехал (а затем протащил несколько футов) автомобиль Биэлей в тот миг, когда она бежала через дорогу, чтобы опустить три письма в почтовый ящик, находившийся на углу участка мисс Визави. Эти письма подняла и передала мне хорошенькая девочка в грязном розовом платьице, и я превратил их в клочья, растерзав их в кармане штанов.

Три доктора и чета Фарло вскоре прибыли на место происшествия и стали распоряжаться. Вдовец, человек наделенный исключительным самообладанием, не рыдал и не рвался. Он как будто малость пошатывался, это правда; но он разжимал уста только для того, чтобы сообщать те сведения и давать те разъяснения, которые были безусловно необходимы в связи с опознанием, осмотром и увозом покойницы, темя которой представляло собой кашу из костей, мозга, бронзоватых волос и крови. Солнце было еще ослепительным, когда друзья, добрый Джон и заплаканная Джоана, уложили вдовца в постель у Долли в комнате; сами же, чтобы быть поблизости, устроились в спальне Гумбертов на ночь — которую, не знаю, так ли они добродетельно провели, как того бы требовала торжественность случая.

Не вижу причины останавливаться — в этом очень специальном труде — на предпохоронных формальностях, требовавших от меня внимания, и на самых похоронах, не менее скромных, чем не так давно состоявшаяся свадьба; но несколько эпизодов, относящихся к тем четырем-пяти дням, следует все же отметить.

В первую ночь моего вдовства я был так пьян, что спал столь же крепко, как то дитя, которое, бывало, спало в этой постели. На другое утро я первым делом обследовал клочки писем, оставшиеся у меня в кармане. Они слишком основательно перемешались, чтобы их можно было разделить на три законченных текста. Думаю, что слова "...и ты потрудись найти его, так как я не могу покупать..." были из

письма к Ло. Некоторые обрывки как будто указывали на намерение Шарлотты бежать с Ло в Паркингтон или даже обратно в Писки, дабы коршун не схватил ее драгоценного ягненка. Другие клочки и лоскутья (вот уж не предполагал я, чтобы у меня были такие сильные когти) явно относились к просьбе принять девочку не в пансионат Св. Алгебры, а в другую, тоже закрытую, школу, о которой говорили, что ее воспитательные приемы так суровы, скучны и сухи (хотя в проспекте упоминался крокет под ильмами), что заслужили школе кличку Исправительное Заведение для Благородных Девиц. Третье, наконец, послание было несомненно адресовано мне. Я разобрал такие кусочки фраз, как "...может быть, после года разлуки мы с тобой...", "...о, мой любимый, о, мой...", "...или, может быть, я умру..." Но в общем то, что я наскреб, было не очень содержательно: различные фрагменты этих торопливых посланий были также спутаны у меня в ладонях, как основные их части у бедной Шарлотты в голове.

У Джона в тот день было свидание с клиентом, а Джоане нужно было накормить собак, так что я был временно лишен общества моих друзей. Добряки опасались, как бы я не покончил с собой, оставшись без призора, и за неимением других знакомых, которые могли бы их заменить (мисс Визави слегла, семейство Мак-Ку налаживало постройку нового дома в далеком районе, Чатфильдов только что вызвали в северный штат в связи с бедой, приключившейся с их собственным родственником), ко мне отрядили Луизу и Лесли под предлогом необходимости помочь мне разобрать и убрать множество осиротелых вещей.

В минуту восхитительнейшего вдохновения я показал милым и легковерным Фарло (вместе с которыми я поджидал прихода Лесли на платное свидание с Луизой) любительский снимочек, найденный мной среди Шарлоттиного имущества. Стоя на валуне, она улыбалась сквозь разметанные ветром волосы. Фотография относилась к апрелю 1934-го года, памятная весна! Приехав в тот год в Америку по делам, я имел случай провести несколько месяцев в Писки. Мы познакомились — и между нами завязался

неосторожный роман. Я, увы, был женат, она была невестой Гейза... По моем возвращении в Европу, мы переписывались через общего друга, ныне покойного. Джоана прошептала, что до нее дошли кое-какие слухи — и поглядела еще на снимок и, все еще глядя на него, передала его Джону, и Джон вынул трубку изо рта и тоже поглядел на прелестную, легкомысленную Шарлотту Беккер и вернул фотографию мне. Затем они на несколько часов уехали. В подвале довольная Луиза с воркующим смехом поругивала своего кавалера.

Не успели Фарло отбыть, как навестил меня священнослужитель с сизым подбородком — и я постарался до минимума сократить интервью, поскольку это было выполнимо без того, чтобы не оскорбить его чувств или не возбудить его подозрений. Да, собираюсь посвятить всю жизнь благополучию дитяти. Вот, кстати, тот крестик, который Шарлотта Беккер мне подарила, когда мы оба были молоды. У меня есть кузина, в Нью-Йорке, почтенная старая дева. Мы там с нею найдем хорошую частную школу для Долли. О хитрющий Гумберт!

К сведению Лесли и Луизы, которые, по моему (оказавшемуся правильным) расчету, должны были доложить об этом Джону и Джоане, я великолепно разыграл необыкновенно громкий иногородний монолог по телефону, симулируя разговор с Шерли Хольмс, начальницей лагеря "Ку". Когда вернулись Джон и Джоана, то я без труда провел их сообщением, нарочито-взволнованно и бессвязно пробормотанным, что, мол, Лолита ушла с промежуточной группой на пятидневную экскурсию и с ней невозможно снестись.

"Боже мой", воскликнула Джоана, "что же нам делать?" Джон сказал, что все чрезвычайно просто: он устроит, чтобы тамошняя полиция немедленно разыскала бы экскурсантов — это у них и часа не займет; он, кстати, сам хорошо знает местность и —

"Послушайте", продолжал он, "почему бы мне теперь же не съездить туда на автомобиле, а вы пока переспите с Джоаной" (на самом деле, последней фразы он не добавил,

но Джоана так страстно поддержала его предложение, что это могло подразумеваться).

Я разыграл истерику. Я стал заклинать Джона ничего не предпринимать. Сказал, что не мог бы вынести сейчас постоянное присутствие девочки, плачущей, цепляющейся за меня, — она такая впечатлительная, подобные потрясения могут отразиться на ее будущем, психиатры проанализировали такие случаи... Наступило внезапное молчание.

"Что ж, вам решать", проговорил наконец Джон довольно сухо. "Только, знаете, я все-таки был другом и советником Шарлотты. И вообще хотелось бы знать, что вы, собственно, собираетесь с девочкой делать".

"Джон!", крикнула Джоана. "Она его дочка, а не дочка Гарольда Гейза. Разве тебе не ясно? Бедный Гумберт — настоящий отец Долли!"

"Понимаю", сказал Джон, обратившись ко мне. "Прошу прощения. Понимаю. Вот оно что. Я не сразу смекнул... Это, разумеется, упрощает дело. Что подсказывает вам сердце, то и ладно".

Убитый горем отец объяснил, что отправится за хрупкой дочкой тотчас после похорон, а затем постарается ее развлечь пребыванием в совершенно другой обстановке — катнет с ней, может быть, в Новую Мексику или Калифорнию — если только не покончит собой, конечно.

Настолько художественно изобразил я спокойствие предельного отчаяния, затишье перед безумной вспышкой, что безупречные Фарло увезли меня к себе. У них был недурной для Америки погреб, и это послужило мне на пользу, ибо я боялся бессонницы — и привидения.

Теперь мне следует объяснить настоящую причину, по которой я хотел временно держать Долорес в отдалении. Само собой разумеется, что вначале, когда Шарлотта только что оказалась ликвидированной и я вернулся к себе независимым отцом, и залпом проглотил один за другим оба приготовленных мною стакана виски, и вдогонку им отправил пинту-другую своего джинанаса, и заперся в ванной, спасаясь от соседей и друзей, — у меня было всего лишь одно на уме и в крови, а именно — сознание, что

всего через несколько часов, тепленькая, русая, и вся, вся моя, Лолита в моих объятьях будет проливать слезы, а я стану их осушать поцелуями скорее, чем ее глаза будут ими наполняться. Но покамест я стоял перед зеркалом, весь красный, с расширенными зрачками, Джон Фарло деликатно постучал и спросил, благополучен ли я, — и я тотчас сообразил, что с моей стороны было бы безумием допустить ее возвращение в этот дом, где сновало столько чужих хлопотунов, готовых отнять ее у меня. Да и сама взбалмошная Ло могла ведь — как знать? — вдруг выказать глупое недоверие, неожиданную неприязнь, смутный страх и тому подобное — и прощай навек, в самый миг торжества, волшебная награда!

Кстати, о навязчивых людях: ко мне явился еще один посетитель, любезный Биэль (тот самый, который ликвидировал мою жену). Солидный и серьезный, похожий как-то на помощника палача, своими бульдожьими брылами, черными глазками, очками в тяжелой оправе и вывернутыми ноздрями. Его впустил Джон, который затем оставил нас, прикрыв дверь с величайшим тактом. Гладко начав с того, что у него двойня в одном классе с моей падчерицей, мой карикатурный гость развернул, как свиток, большую диаграмму, на которой им были нанесены все подробности катастрофы. Это был "восторг", как выразилась бы моя падчерица, со множеством внушительных стрелок и пунктирных линий, проведенных разного цвета чернилами. Траекторию г-жи Г. Г. он иллюстрировал серией маленьких силуэтов, вроде символических фигурок, кадровых участниц женского военно-подсобного корпуса, которыми пользуются для наглядности в статистике. Очень ясно и убедительно этот путь приходил в соприкосновение со смело начертанной извилиной, изображавшей два следующих друг за другом поворота, из которых один был совершен биэлевской машиной, чтобы избежать старьевщикова сеттера (не показанного на диаграмме), а второй, в преувеличенном виде повторяющий первый, имел целью предотвратить несчастие. Внушительный черный крестик отмечал место, где аккуратный маленький силуэт наконец лег на

панель. Я поискал, нет ли соответствующего значка на скате, где отлеживался огромный восковой отец моего посетителя, но значка не оказалось. Старец, впрочем, расписался на документе, в качестве свидетеля, под подписями Лесли Томсона, мисс Визави и некоторых других.

Карандаш Фредерика с точностью и легкостью колибри перелетал с одного пункта в другой, по мере того как он демонстрировал свою совершенную неповинность и безрассудную неосторожность моей жены: в ту секунду, когда он объехал собаку, Шарлотта поскользнулась на свежеполитом асфальте и упала вперед, меж тем как ей следовало бы отпрянуть назад (Фред показал, как именно, сильно дернув своим подбитым ватой плечом). Я сказал, что он, конечно, не виноват, и следствие подкрепило мое мнение.

Сильно дыша сквозь напряженные черные ноздри, он удрученно потряс головой, одновременно тряся мою руку; затем, выказывая изысканную светскость и джентльменскую широту, предложил оплатить расходы похоронного бюро. Он ожидал, что я откажусь. С пьяным благодарственным всхлипом я принял его предложение. Не веря своим ушам, он раздельно повторил им сказанное, и я снова его поблагодарил, еще горячее, чем прежде.

В результате этого жутковатого свидания мое душевное онемение нашло на минуту некоторое разрешение. И немудрено! Я воочию увидел маклера судьбы. Я ощупал самую плоть судьбы — и ее бутафорское плечо. Произошла блистательная и чудовищная мутация, и вот что было ее орудием. Среди сложных подробностей узора (спешащая домохозяйка, скользкая мостовая, вздорный пес, крутой спуск, большая машина, болван за рулем) я смутно различал собственный гнусный вклад. Кабы не глупость (или интуитивная гениальность!), по которой я сберег свой дневник, глазная влага, выделенная вследствие мстительного гнева и воспаленного самолюбия, не ослепила бы Шарлотту, когда она бросилась к почтовому ящику. Но даже и так ничего бы, может быть, не случилось, если бы безошибочный рок, синхронизатор-призрак, не смешал бы в своей реторте автомобиль, собаку, солнце, тень, влаж-

ность, слабость, силу, камень. Прощай, Марлена! Рукопожатие судьбы (увесисто воспроизведенное Биэлем при прощании) вывело меня из оцепенения. И тут я зарыдал. Господа и госпожи присяжные, я зарыдал!

24

Ильмы и тополя поворачивались ко внезапно налетевшему ветру зыблющимися спинами и грозовая туча чернела над белой башней рамздэльской церкви, когда я осмотрелся в последний раз перед отъездом. Для неведомых приключений я покидал мертвенно-бледный дом, где нанял комнату всего десять недель тому назад. Уже спущены были жалюзи — недорогие, практичные жалюзи из бамбука. "Верандам и внутренней отделке дома их роскошный материал придает модерный драматический характер", говорил прейскурант. После этого небесная обитель должна показаться довольно-таки голой. Капля дождя упала мне на костяшки руки. Я вернулся в дом за чем-то, пока Джон укладывал мои чемоданы в автомобиль, и тогда случилась курьезная вещь. Не знаю, достаточно ли я подчеркнул в этих невеселых заметках особое, прямо-таки одурманивающее действие, которое интересная внешность автора — псевдокельтическая, привлекательно обезьянья, мужественная, с примесью чего-то мальчишеского — производила на женщин любого возраста и сословия. Разумеется, такие заявления от первого лица могут показаться смешными; но время от времени я вынужден напомнить о моей наружности читателю, как иной профессиональный романист, давший персонажу какую-нибудь ужимку или собаку, видит себя вынужденным предъявить эту собаку или эту ужимку всякий раз, что данный персонаж появляется. В отношении меня этот прием наделен, пожалуй, глубоким смыслом. Сумрачное обаяние моих черт должно оставаться в поле зрения читателя, желающего по-настоящему понять мою повесть. Малолетняя Ло млела от шарма Гумберта, как млела от судорожной музыки; взрослая Лотта любила меня

с властной зрелой страстью, которую ныне жалею и уважаю в большей степени, чем дозволено мне сказать. Тридцатиоднолетняя Джоана Фарло, будучи совершенной неврастеничкой, здорово, по-видимому, влюбилась в меня.

В ее красоте было что-то резкое, индейское. Загар у нее был терракотовый. Ее губы были как большие пунцовые слизни, и когда она разражалась своим характерным лающим смехом, то показывала крупные, тусклые зубы и бескровные десны. Она была очень высокого роста, носила либо сандалии и узкие штаны, либо широкие юбки и балетные туфли; пила скотч в любом количестве; дважды выкинула; сочиняла рассказы о животных для юношества; писала, как известно моему читателю, озерные виды; уже носила в себе зачаток рака, от которого должна была умереть два года спустя. Она казалась мне безнадежно непривлекательной. Судите же о моем испуге, когда за несколько секунд до моего отъезда (мы с ней стояли в прихожей) Джоана взяла меня за виски своими всегда дрожавшими пальцами и со слезами в ярко-синих глазах попыталась, без большого успеха, присосаться к моим губам.

"Поберегите себя", сказала она, "и поцелуйте за меня дочь".

Удар грома прокатился через весь дом, и Джоана добавила:

"Может быть, где-нибудь, когда-нибудь, при менее ужасных обстоятельствах мы еще увидимся". (Джоана! Чем бы ты ни была, где бы ты ни была, в минус-пространстве или в плюс-времени, прости мне все это — включая и эти скобки.)

Минуту спустя я уже обменивался и с ней, и с ним прощальными рукопожатиями, на улице, на крутой улице, и все вертелось, летело перед приближавшимся белым ливнем, и фургон с матрацем из Филадельфии самоуверенно катился вниз к опустевшему дому, и пыль бежала и вилась по той самой тротуарной плите, где Шарлотта, когда для меня приподняли плед, оказалась лежащей комочком, с совершенно нетронутыми глазами, с еще мокрыми черными ресницами, слипшимися, как твои, Лолита!

25

Казалось бы, теперь, когда все препятствия были удалены и передо мной открылась перспектива беспредельного блаженства, я мог мысленно откинуться назад со вздохом сладкого облегчения. Eh bien, pas du tout. Вместо того чтобы нежиться в лучах улыбавшейся судьбы, я был одержим чисто этическими сомнениями и страхами. Например: не найдут ли люди странным, что Лолиту так упорно не допускали к участию ни в радостных, ни в печальных семейных торжествах? Как вы помните, она не присутствовала на нашей свадьбе. Или еще вот что: если принять, что ни в чем неповинную женщину устранила протянувшаяся откуда-то длинная косматая рука совпадения, не могло ли оно в нехристианскую минутку забыть дело своей десницы и шуйцей передать Лолите чью-то несвоевременную записку соболезнования? Правда, отчет о происшествии появился только в рамздэльской газетке; его не было ни в "Паркингтонских Ведомостях", ни в "Клаймаксовом Вестнике": местные смерти лишены федерального интереса, а лагерь "Ку" находился не в нашем штате; но я не мог перестать воображать, что каким-то образом Долли Гейз уже извещена и что в то самое время, когда я за ней еду, неизвестные мне друзья мчат ее в Рамздэль. Еще тревожнее всех этих домыслов и забот было то, что Гумберт Гумберт, новоиспеченный американский гражданин довольно темного европейского происхождения, не предпринял никаких шагов к тому, чтобы стать законным опекуном девочки (двенадцати лет и семи месяцев от роду), оставшейся после его покойной жены. Посмею ли предпринять эти шаги? Я не мог совладать с дрожью, когда случалось мне представить себе наготу свою, теснимую таинственными статутами в беспощадно резком свете свода гражданских законов.

Мой план был чудом первобытного искусства: я решил, что махну в лагерь "Ку", скажу Лолите, что ее мать собираются подвергнуть серьезной операции в несуществующей больнице и затем буду кочевать с моей сонной нимфеткой из одной гостиницы в другую, пока мать будет медленно,

но верно поправляться и наконец умрет. Но по пути в лагерь я почувствовал нарастающее беспокойство. Меня угнетала мысль, что ее может уже не оказаться там или что найду вместо беспечной Лолиты испуганную сиротку, требующую с плачем присутствия каких-то близких друзей семьи. Чету Фарло, слава Богу, она едва знала, но не могло ли быть других, мне неизвестных лиц? В конце концов, я решил устроить тот междугородный разговор, который я недавно так удачно симулировал. Шел сильный дождь, когда я остановился у панели в загаженном ненастием предместии Паркингтона, как раз не доезжая разъезда, одна ветвь которого шла в обход города и вела к шоссе, пересекающему гряду холмов по направлению к Озеру Клаймакс и лагерю "Ку". Выключив мотор, я не меньше минуты просидел в автомобиле, собираясь с духом и глядя на дождь, на залитую панель, на гидрант, представляющий собой безобразную тумбу, покрытую толстым слоем красной и серебряной краски, протянувшую красные культяпки, чтобы их мог отлакировать дождь, который, как стилизованная кровь, стекал по ее геральдическим цепям. Не мудрено, что запрещается автомобилям стоять подле этих страшных маленьких калек. Я пустил опять мотор и подъехал к телефонной будке. Когда наконец последняя из нужных монет со звяком провалилась, позволив другому голосу отозваться на мой, я получил сюрприз.

Шерли Хольмс, начальница лагеря, сообщила мне, что в понедельник (нынче была среда) моя Долли ушла со своей группой на экскурсию в горы и вернется только к ночи. Она предложила мне приехать на следующий день. Спросила, не случилось ли чего? Не входя в подробности, я ответил, что мою жену перевезли в клинику, что ее положение серьезное, что девочке не нужно говорить, что оно серьезное, но что она должна быть готова ехать со мной завтра днем. Наши голоса распростились под взрыв горячего благожелательства, и вследствие какого-то оригинального изъяна в механизме, все мои монеты вывалились обратно из автомата с тем бряцанием, которое сопровождает крупный выигрыш на игральных машинах в Неваде. Это

меня рассмешило, несмотря на досадную необходимость отсрочить счастье. Спрашивается, не было ли это внезапное выделение, это судорожное возвращение денег каким-то образом связано в уме у Мак-Фатума с тем, что я выдумал экскурсию, прежде чем узнать о ней?

Что дальше? Я свернул в торговый район Паркингтона и остаток дня (погода прояснилась, весь город отливал стеклянным блеском) посвятил приобретению прелестных обнов для Ло. Господи, на какие прихотливые покупки толкнула Гумберта свойственная ему в эти дни слабость к клетчатым тканям, ярким ситцам, оборкам, пышным коротким рукавчикам, мягкой плиссировке, платьицам, тесно прилегающим наверху и очень широким внизу!

Полюбил я Лолиту, как Вирджинию — По,
И как Данте — свою Беатриче;
Закружились девчонки, раздувая юбчонки:
Панталончики — верх неприличия!

Ласковые голоса спрашивали меня, что именно я желал бы видеть? Купальные костюмы? Они у нас имеются во всех тонах: розовая греза, матовый аквамарин, лиловая головка, красный тюльпан, черный кан-кан. Как насчет пляжных вещей? А чехлы? Не нужно чехлов. Мы с Ло всегда их терпеть не могли.

Одним из руководств в этом деле послужила мне антропометрическая запись, сделанная ее матерью в день, когда исполнилось Л. 12 лет (читатель помнит, я думаю, книгу “Знай своего ребенка”). У меня было впечатление, что, движимая смутными побуждениями зависти и антипатией, Шарлотта прибавила где лишний дюйм, где лишний фунт; но так как нимфетка, несомненно, подросла за последние семь месяцев, я считал, что в общем могу положиться на эти последние январские измерения: в бедрах — двадцать девять дюймов; объем ляжки (под самым началом ягодицы) — семнадцать; объем икры и окружность шеи — одиннадцать; объем груди — двадцать семь; объем руки выше локтя — восемь; талия — двадцать три; рост — пятьдесят семь; вес — семьдесят восемь американских фунтов;

строение — удлиненное; КУР (коэффициент умственного развития) — сто двадцать один; червовидный отросток — не вырезан (слава Богу).

Помимо этих измерений, я, конечно, видел перед собой Лолиту с близкой к галлюцинации ясностью; и так как у меня не переставало гореть лелеемое место у грудной кости, там, где ее шелковистая макушка раза два дошла до уровня моего сердца, и так как я не расставался с ощущением ее теплой тяжести на моих коленях (вследствие чего я всегда "носил" Лолиту, как женщина "носит" ребенка), я не удивился, когда в дальнейшем выяснилось, что мои вычисления более или менее правильны. К тому же, я недавно изучил каталог летних нарядов, что позволило мне выбирать с видом знатока разные миленькие вещи: спортивную обувь, тапочки, туфельки из мятой лайки для мятых девочек и прочее. Накрашенная продавщица в черном, которая помогала мне удовлетворить все эти острые потребности, превращала родительскую науку и точное описание размера в коммерческий эвфемизм "меньше среднего". Другая, постарше, в белом платье, с театральным гримом, казалась несколько потрясенной моими широкими познаниями в области мод для младшего поколения; думала, может быть, что сожительствую с цирковой карлицей; посему, когда мне показали юбочку с двумя "пикантными" карманчиками спереди, я нарочно поставил наивный мужской вопрос и был вознагражден улыбками и демонстрацией того, как сзади действовала застежка-молния. Мне тоже доставили много удовольствия всякие трусики и плавки, в которых призраки миниатюрных Лолит егозили, плюхались, ездили на задочках по всему прилавку. Мы закончили сделку на двух скромных бумажных пижамах с круглым воротом фасона "ученик мясника". Мясника Гумберта.

Есть что-то мифическое, колдовское в этих больших магазинах, где, если верить объявлениям, конторская девица может одеться на все случаи дня — от утреннего прихода на службу до вечернего выхода с кавалером — и где ее сестренка может полюбоваться шерстяным свитером, меч-

тая о том дне, когда она, надев его в школу, заставит биться сердца отсталых гимназистов. Пластиковые манекены в натуральный рост, изображавшие курносых детей с бежевыми, оливковыми, буро-веснущатыми личиками фавнят, наплывали на меня со всех сторон. Я вдруг заметил, что я единственный покупатель в этом довольно таинственном месте, где я передвигался, как рыба в зеленоватом аквариуме. Я чуял, что странные мысли возникают в уме у томных барышень, сопровождающих меня от прилавка к прилавку, от подводной скалы до заросли морских растений, и отбираемые мною кушачки и браслетики падали, казалось, из русалочьих рук в прозрачную воду. Наконец я купил изящный чемодан, велел сложить в него мои покупки и отправился в ближайшую харчевню, весьма довольный проведенным днем.

Каким-то образом в связи с этим тихим поэтическим миром изысканных товаров мне вспомнился отель с соблазнительным названием: "Привал Зачарованных Охотников", который упомянула Шарлотта незадолго до моего раскрепощения. Из путеводителя я выяснил, что он находится в Брайсланде — уединенном городке в четырех часах езды от Лолитиного лагеря. Я мог бы позвонить, но боясь, что потеряю власть над голосом и разражусь жеманным кваканием на ломаном английском языке, я решил заказать на будущую ночь по телеграфу комнату с двумя постелями. Каким я был неловким, неуверенным, смешным сказочным принцем! Как посмеются надо мной некоторые из моих читателей, узнав о моих затруднениях в составлении телеграммы! Что сказать: Гумберт и дочь? Гумбург с маленькой дочкой? Гомберг и малолетняя девочка? Гомбург и его дитя? Смешная ошибка, в конце концов оказавшаяся в телеграмме — эта буква "г" в конце имени — осталась как бы телепатическим отголоском моих колебаний.

А затем, в бархатном мраке летней ночи, мои мечтания над припасенным мной приворотным зельем. О, скупой Гамбург! Не был ли он сущим "зачарованным охотником" в эти минуты раздумья над своей коробочкой с волшебной амуницией? Мог ли он позволить себе, чтобы рассеять

демонов бессонницы, самому испробовать одну из этих аметистовых капсюль? Их было всего сорок — сорок ночей в обществе хрупкого создания, спящего рядом с моим тугостучащим сердцем... Мог ли я в поисках сна лишить самого себя одной такой ночи? Разумеется, нет! Слишком была драгоценна каждая из этих лилипутовых слив, каждый микроскопический планетарий с его живой россыпью звезд. О, дайте мне хоть разок посентиментальничать! Я так устал быть циником!

26

Меня не отпускает головная боль в тусклом воздухе этой склеподобной темницы, но я не сдамся. Написал уже свыше ста страниц, а ни до чего еще не договорился. Мой календарь начинает путаться. Я поехал за ней этак в середине августа 1947-го года. Нет, кажется, больше не могу. Сердце, голова — словом, все плохо. Лолита, Лолита, Лолита, Лолита, Лолита, Лолита, Лолита, Лолита. Повторяй это имя, наборщик, пока не кончится страница.

27

Все еще в Паркингтоне. С трудом удалось уснуть на часок. Проснулся от бессмысленного и ужасно изнурительного соития с маленьким мохнатым, совершенно мне незнакомым гермафродитом. К тому времени было шесть часов утра, и мне вдруг пришло на ум, что, пожалуй, недурно приехать в лагерь раньше, чем условлено. Мне оставалось еще около ста миль езды, а потом предстояло добираться до Туманных Гор и Брайсланда. Если я сказал, что приеду за Долли в середине дня, то лишь потому, что мое нетерпеливое воображение требовало скорейшего наступления милосердной ночи; но теперь мне стали мерещиться всякие осложнения и я весь трясся от мысли, что за время отсрочки она может вдруг взять да и позвонить в Рамздэль.

Однако, когда в девять тридцать утра я попытался завести мотор, оказалось, что батарея приказала долго жить, и был полдень, когда наконец я покинул Паркингтон.

Я домчался до места своего назначения в половине третьего; оставил автомобиль в сосновой роще, где хулиганского вида рыжий мальчишка в зеленой рубашке занимался в мрачном одиночестве старинной игрой — набрасыванием издалека подков на вбитый в землю кол. Он молча указал мне на штукатурчатый домик, где находилась контора лагеря; мне пришлось, замирая от волнения, выслушивать в продолжение нескольких минут пронырливые соболезнования лагерной начальницы, неряшливой, жизнью потрепанной женщины с ржавого цвета волосами. Она сказала, что Долли уложилась и готова ехать; что девочка знает о болезни матери, но не знает, насколько это серьезно. Не хочет ли г-н Гейз, т. е. г-н Гумберт, познакомиться с лагерными наставниками? Или взглянуть на домики, где помещаются девочки? Каждый из них носит имя одного из зверьков Вальтера Диснея. Или осмотреть Главный дом? А не то послать Чарли немедленно за ней? Девочки как раз кончают украшать столовую для вечеринки (может быть, потом Шерли Хольмс расскажет кому-нибудь: на бедняге просто лица не было).

Хочу на минуту продлить эту сцену со всеми ее мелочами и роковыми подробностями. Карга, выписывающая расписку, скребущая голову, выдвигающая ящик стола, сыплющая сдачу в мою нетерпеливую ладонь, потом аккуратно раскладывающая поверх монет несколько ассигнаций с бодрым возгласом: "и вот еще десять!"; фотографии девчоночек; еще живая цветистая бабочка, надежно приколотая к стенке (отдел природоведения); обрамленный диплом лагерной диэтистки; мои дрожащие руки; отзыв, приготовленный усердной начальницей о поведении Долли Гейз за июль ("весьма удовлетворительно; интересуется плаванием и греблей"); шум деревьев и пение птиц, и мое колотящееся сердце...

Я стоял спиной к открытой двери и вдруг почувствовал прилив крови к голове, услышав за собой ее дыхание и

голос. Она явилась, волоча свой подскакивавший тяжелый чемодан. "Здрасте, здрасте", и смирно стала, глядя на меня лукавыми, радостными глазами и приоткрыв нежные губы, на которых играла чуть глуповатая, но удивительно обаятельная улыбка. Была она худее и выше, и на миг мне почудилось, что лицо у нее подурнело по сравнению с мысленным снимком, который я хранил больше месяца: щеки казались впавшими, и слишком частые веснушки как бы размазывали розовую деревенскую красоту ее черт. Это первое впечатление (узенький человеческий интервал между двумя ударами хищного сердца) ясно предуказывало одно: все, что овдовелому Гумберту следовало сделать, все, что он хотел и собирался сделать, — было дать этой осунувшейся, хоть и окрашенной солнцем сиротке aux yeux battus (и даже эти свинцовые тени под глазами были в веснушках) порядочное образование, здоровое, счастливое детство, чистый дом, милых подружек, среди которых (если Парки соблаговолят несчастного вознаградить) он, может быть, найдет хорошенькую отроковицу, предназначенную исключительно для герра доктора Гумберта. Впрочем, во мгновение ока, как говорят немцы, эта небесно-добродетельная линия поведения была стерта, и я догнал добычу (время движется быстрее наших фантазий!), и она снова была моей Лолитой — и даже была ею больше, чем когда-либо. Я опустил руку на ее теплую русую головку и подхватил ее чемодан. Она состояла вся из роз и меда; на ней было ее самое яркое ситцевое платье с узором из красных яблочек; руки и ноги покрывал густой золотисто-коричневый загар; царапинки на них походили на пунктир из крошечных запекшихся рубинов, а рубчатые отвороты белых шерстяных носков кончались на памятном мне уровне; и то ли из-за детской ее походки, то ли оттого, что я помнил ее всегда на плоских подошвах, но казалось, что ее коричнево-белые полуботинки ей слишком велики и что у них слишком высокие каблуки. Прощай, лагерь "Ку", веселый "Ку-ку", прощай, простой нездоровый стол, прощай, друг Чарли! В жарком автомобиле она уселась рядом со мной, пришлепнула проворную муху на своей прелестной колен-

ке, потом, энергично обрабатывая во рту резиновую жвачку и быстро вертя рукоятку, опустила окно на своей стороне и опять откинулась. Мы неслись сквозь полосатый, пятнистый лес.

"Как мама?", спросила она вежливенько, и я сказал, что доктора не совсем еще установили, в чем дело. Во всяком случае что-то с желудком.

"Что-то жуткое?"

"Нет, с желудком".

Я объяснил, что нам придется оставаться некоторое время поблизости; больница находилась в деревне около веселого городка Лепингвиля, где в начале девятнадцатого века жил знаменитый поэт и где мы пересмотрим все кинопрограммы. Она нашла, что проект — первый сорт и спросила, достигнем ли Лепингвиля до девяти вечера.

"Мы будем в Брайсланде к обеду", ответил я. "А завтра посетим Лепингвиль. Какова была вчерашняя экскурсия? Тебе было очень весело в лагере?"

"У-гу".

"Жаль уезжать?"

"Унг-унг".

"Говори, Ло, а не хрюкай. Расскажи мне что-нибудь".

"Что именно, па-па-ша?" (последнее слово она произнесла очень раздельно и не без иронии).

"Все равно что".

"Можно вас называть на ты и папа?" (при этом прищурилась, глядя на дорогу).

"Можно".

"Вот умора! Когда это вы в маму успели втюриться?"

"Придет день, милая Ло, когда ты поймешь многие чувства и положения, как, например, гармонию и красоту чисто духовных отношений".

"Как же!", произнесла грубая нимфетка.

В диалоге наступила неопределенная пауза, заполненная живописной окрестностью.

"Посмотри-ка, Ло, сколько там коров на том склоне!"

"Мне кажется, меня вырвет, если посмотрю на еще одну корову".

“Знаешь, Ло, я ужасно скучал по тебе”.

“А вот я по тебе не скучала. Мало того — мерзко изменяла, но это ровно ничего не значит, так как ты все равно перестал мной интересоваться. Вы здорово лупите, господин. Гораздо скорее, чем мама”.

Я перешел со слепой скорости в семьдесят миль в час на полуслепую в пятьдесят.

“Почему ты думаешь, что я перестал тобой интересоваться?”

“Ну, во-первых, ты меня еще не поцеловал”.

Внутренне обмирая, внутренне изнывая, я смутно увидел впереди сравнительно широкую обочину и с подскоками и покачиванием съехал на траву. Помни, что это ребенок, помни что это...

Не успел автомобиль остановиться, как Лолита так и вплыла в мои объятия. Не смея, не смея дать себе волю — не смея позволить себе понять, что именно *это* (сладкая влажность, зыбкий огонь) и есть начало той несказанной жизни, которую усилием воли при умелой поддержке судьбы я наконец заставил осуществиться — не смея по-настоящему ее целовать, я прикасался к ее горячим раскрывающимся губам с величайшим благоговением, впивал ее мелкими глотками — о, совершенно безгрешно! Но она, нетерпеливо ерзнув, прижала свой рот к моему так крепко, что я почувствовал ее крупные передние зубы и разделил с ней мятный вкус ее слюны. Я, конечно, знал, что с ее стороны это только невинная игра, шалость подростка. Подражание подделке в фальшивом романе. Всякий душеврачитель, как и всякий растлитель, подтвердит вам, что пределы и правила этих детских игр расплывчаты или, во всяком случае, слишком по-детски субтильны, чтобы их мог уловить взрослый партнер, а потому я ужасно боялся зайти слишком далеко и заставить ее отпрянуть с испуганным отвращением, и так как мне больше всего, и мучительнее всего, хотелось поскорее пронести ее под полой в герметическое уединение “Зачарованных Охотников”, докуда было еще восемьдесят миль, благословенное наитие разомкнуло наше объятие — за четверть секунды до того, как автомобиль дорожной полиции затормозил около нас.

Его краснолицый и густобровый водитель уставился на меня:

"Скажите, вас не обогнал у перекрестка синий седан, той же фирмы, как ваш? Не заметили?"

"Мы не видели", сказала Ло, услужливо-поспешно перегнувшись через меня и положив невинные руки ко мне на колени; "только вы совсем уверены, что он был синий, потому что —"

Патрульщик (за какой нашей тенью гнался он?) наградил красоточку лучшей своей улыбкой и произвел полный поворот.

Мы поехали дальше.

"Экий балда!" воскликнула Ло. "Он должен был *тебя* сцапать".

"Помилуй, почему же — меня?"

"Потому что предельная скорость в этом дурацком штате всего пятьдесят миль в час, а мы — Нет, нет, не замедляй, ты тоже глуп как пуп. Он теперь далеко".

"Нам еще предстоит длинный перегон", сказал я, "и мне хотелось бы быть там до темноты. Так что теперь веди себя как хорошая девочка".

"Скверная, скверная девочка", уютно проговорила Ло. "Малолетняя деликвенточка, несмотря на прямоту и симпатичность. А свет был красный. Я никогда не видала такой езды".

Мы безмолвно прокатили через безмолвный городишко.

"Вот бы мама взбесилась, если бы узнала, что мы с тобой любовники!"

"Господи, Лолита, как можно говорить такие вещи?"

"Но мы действительно любовники, правда?"

"Никак нет. Погода что-то опять портится. Не желаешь ли ты мне рассказать про эти твои маленькие проказы в лагере".

"Ты что-то очень книжно выражаешься, милый папаша".

"А тебя легко ошарашить?"

"Нет. Говори".

"Настойчиво прошу ответить".

"Давай остановимся на тихой боковой дорожке, и я тебе расскажу".

“Ло, я серьезно прошу тебя не дурачиться. Ну?”

“Ну — я принимала деятельное участие в лагерной жизни”.

“Ensuite?”

“Ансуит, меня учили жить групповой жизнью, счастливой и полной жизнью, и при этом развивать собственную гармоничную личность. Словом, быть паинькой”.

“Да, я видел что-то в этом роде в вашей брошюрке”.

“Мы любили петь хоровые песни у большого камина или под паршивым звездным небом, и звучание собственного счастья в каждой из нас сливалось с голосом группы”.

“У тебя чудная память на цитаты, Ло, но я бы тебя попросил воздержаться от бранных словечек”.

“Гэрл-скаутский девиз”, продолжала Лолита восторженно, “ это также и мой девиз. Я наполняю жизнь достойными делами, как, например — нет, лучше без примеров. Мой долг быть полезной. Я друг всех животных мужского пола. Я исполняю их прихоти. Я всегда в хорошем настроении. Вот проехала еще полицейская машина. Я экономна и всегда грешу мыслью, словом и делом”.

“Теперь надеюсь, что это все, моя остроумная детка”.

“Да, все. Впрочем, погоди-ка. Вот еще что: мы пекли пироги на солнечной плите с рефлектором. Как интересно, правда?”

“Конечно, интересно”.

“За это время мы вымыли разбильон тарелок. “Разбильон” — это значит “много — много — много” на сюсюкающем учительском диалекте. Ах да, чуть не забыла главнейшее, как выражается мама. Мы делали рентгеновские снимки. Это считалось страшно забавным”.

“C’est bien tout?”

“C’est. Не считая малюсенькой вещи, о которой не могу рассказать без того, чтобы не покраснеть сплошь”.

“Расскажешь после?”

“Да — если будем сидеть в темноте и можно будет говорить шепотом. Ты что — спишь в комнате по-старому или в одной куче с мамой?”

“У себя по-старому. Твоя мать подвергнется, может быть, очень серьезной операции, Ло”.

“Остановись-ка вот там у молочного бара”, сказала Ло.

Сидя на высоком табурете, с полосой солнца, пересекающей ее голую коричневую руку, Лолита получила башню разнородного мороженого, политого каким-то синтетическим сиропом. Оно было воздвигнуто и подано ей ядреным, прыщавым парнем в засаленном галстучке бабочкой, который глазел на мою хрупкую, легко одетую девочку с плотоядным бесстыдством. Нетерпение добраться до Брайсланда и “Зачарованного Привала” становилось невыносимым. К счастью, она справилась с мороженым в два счета, как всегда.

Я спросил: “Сколько у тебя есть мелочи?”

“Ни одного гроша”, ответила она, грустно поднимая брови и показывая мне пустую внутренность кошелька.

“Это будет исправлено, но все в свое время”, напыщенно проговорил я. “Ну что же — пошли?”

“Слушай, где у них тут уборная?”

“Я туда тебя не пущу. Это наверное грязнющая дыра. Ну, пойдем же”.

Была она, в сущности, послушной девчоночкой, и я не удержался и поцеловал ее в шею, когда мы опять сели в автомобиль.

“Не сметь этого!” сказала она, глядя на меня с непритворным удивлением. “Я не люблю, чтобы меня лизали. Противный развратник!”

Приподняв плечико, она потерлась об него шеей.

“Виноват”, пробормотал я. “Я к тебе очень привязан, вот и все”.

Мы продолжали путь под хмурым небом вверх по извилистой дороге, а потом опять вниз.

“Что же, и я к тебе вроде как бы привязана”, сказала Лолита замедленно-нежным тоном и, вроде как бы вздохнув, вроде как бы подвинулась ближе ко мне.

(О, Лолита моя, мы никогда не доедем!)

Сумерки уже начинали пропитывать прелестный маленький Брайсланд, его архитектуру в ложноколониальном стиле, сувенирные лавки и европейские липы, когда мы поехали по его слабоосвещенным улицам в поисках “Зача-

рованного Привала". Воздух, весь бисерный от ровной мороси, оставался тепл и зелен, и длинная очередь, состоявшая главным образом из детей и стариков, уже образовалась перед кассой кинематографа, струящегося огнистыми самоцветами.

"Ах, этот фильм я очень хочу посмотреть! Пойдем сразу после обеда. Пожалуйста, пойдем!"

"Что же, можно", протянул Гумберт, хотя он-то, хитрый, распаленный чорт, отлично знал, что к девяти часам вечера, когда начнется его собственное представление, она будет спать мертвым сном у него в объятиях.

"Полегче!" вскрикнула Ло, которую бросило вперед, когда проклятый грузовик перед нами, с запульсировавшими карбункулами на заду, остановился у перекрестка.

Я подумал, что, если мы не доедем до гостиницы, — мигом, чудом, на ближайшем углу — я утрачу всякую власть над Гейзовским рыдваном с его беспомощными "дворниками" и сумасбродными тормозами. Увы, прохожие, к которым я обращался за указаниями, либо сами не знали города, либо переспрашивали, морщась: "Зачарованных...?" — точно я был сумасшедший; а не то пускались в такие замысловатые объяснения, с геометрическими жестами, географическими рассуждениями и чисто местными приметами (...затем поверните на юг... не доезжая здания суда...), что я не мог не сбиться с пути в лабиринте их доброжелательного вздора. Лолита, чьи прелестные разноцветные внутренности уже переварили съеденное лакомство, предвкушала плотный обед и начинала егозить. Для меня же, хоть я давно примирился с существованием некой вторичной судьбы (незадачливой секретарши Мак-Фатума, так сказать), лезущей с пустяками и мешающей грандиозным планам великодушного начальника, эти скрежещущие остановки, это передвижение наугад по бульварам Брайсланда были, пожалуй, самым тяжким испытанием, до сих пор выпавшим на мою долю. Впоследствии я не раз смеялся, вспоминая свою неопытность — как я с мальчишеским упрямством хотел найти именно эту гостиницу с прихотливым названием — тогда как вдоль всего нашего пути нео-

новые знаки бесчисленных мотелей предлагали свободные комнаты, готовые принять кого угодно — коммивояжеров, беглых каторжников, импотентов, большие семьи, а также самые блудливые и ненасытные пары. О, мирные автомобилисты, скользящие сквозь черноту летней ночи, какие игры, какие извороты похоти вы могли бы узреть с вашего безупречно гладкого шоссе, если бы эти комфортабельные шалаши, вдруг лишившись всякой пигментации, стали прозрачны, как ларчики из стекла!

Чудо, которого я жаждал, все-таки свершилось. Мужчина и девица, более или менее сопряженные в темноте автомобиля, стоявшего под древесной капелью, сообщили нам, что мы находимся в самом сердце городского парка, но что, стоит только взять влево у следующего светофора, и мы будем у цели. Никакого светофора мы не нашли — парк был черен как грех, которому он служил прикрытием, — но вскоре, подпав под плавные чары хорошо планированного поворота, мы сквозь туман разглядели алмазное мреяние огней, затем — ночной блеск озера, и вот он предстал перед нами, дивно и неотвратимо, под призрачными деревьями, наверху, где кончался обсыпанный гравием въезд — белый чертог "Зачарованных Охотников"!

Сначала показалось, что запаркованные автомобили, устроившиеся рядком, как у корыта свиньи, закрывают подступ; но вдруг, как по волшебству, внушительных размеров открытая машина, отливавшая вишневым лоском под освещенным огнями дождем, пришла в движение, энергично попятилась под управлением широкоплечего господина — и мы благодарно скользнули в образовавшееся пространство. Я тут же попенял на свою поспешность, заметив, что мой предшественник теперь воспользовался чем-то вроде гаражика, под навесом которого было достаточно места и для второго автомобиля; но мое нетерпение не позволило мне последовать его примеру.

"Ну и шик!" заметила моя вульгарная красотка, щурясь на лепной фасад. Она вылезла из автомобиля в шелест моросящего дождя и рывком детской ручки оправила платье, застрявшее между щечками персика — перефразирую

Роберта Браунинга. При свете, обливающем фронтон, шарахались и качались на белых колоннах увеличенные силуэты каштановых листьев. Я отпер багажник. Седой горбатый негр в довольно приблизительной ливрее положил на тачку наши чемоданы и медленно покатил их в холл. Холл был полон старых дам и священников. Лолита опустилась на корточки, чтобы осыпать ласками бледномордого, в синих веснушках, с черными висячими ушами кокер-спаньеля, который на флоре ковра прямо-таки таял под ее ладонью — да и кто бы не таял, о мое бедное сердце...

Я же тем временем прочищал горло и, сквозь толпу, себе путь к отельной конторе. Там лысый, поросячьего вида, старик — все были стары в этой старой гостинице — осмотрел меня, подозрительного брюнета, с учтивой улыбкой, засим неторопливо достал мою (исковерканную) телеграмму, не поборол темных сомнений, обернулся, чтобы взглянуть на стенные часы, и наконец сказал, что "очень извиняется" — держал комнату с двумя постелями до половины седьмого вечера, а теперь она сдана: церковный съезд, видите ли, совпал с выставкой цветов в Брайсланде.

"Мое имя", холодно перебил я, "не Гумберг, и не Гамбургер, а Герберт, т. е., простите, Гумберт, и мне все равно, пусть будет одиночный номер, только прибавьте койку для моей маленькой дочери, ей десять лет, и она очень устала".

Розовый старец добродушно поглядел на Лолиту, которая все еще стояла на корточках, полуоткрыв губы, слушая в профиль, что говорила ей из глубин кретонового кресла хозяйка собаки, древняя старуха, обвитая фиолетовыми вуалями.

Какие бы сомнения ни мучили подлеца, они рассеялись от вида моей арийской розы. Он сказал, что, пожалуй, найдется кое-что, да — номер с двойной постелью. Что же касается кроватки —

"Мистер Ваткинс, как насчет лишней кроватки...?" Кроваткинс, тоже розовый и лысый, с белыми волосками, растущими из ушных и других дыр, подошел и заговорил, а я уже развинчивал вечное перо. Нетерпеливый Гумберт!

“Наши двойные постели — в сущности тройные”, уютно говорил он, укладывая спать отца и дочку. “Помнится, был у нас как-то особенно большой наплыв, и мы положили в одну постель трех дам и вот такую девочку, как вашу. Мне даже кажется, что одна из дам была переодетый мужчина (моя отсебятина). Впрочем, нет ли лишней койки в номере сорок девятом, мистер Швайн?”

“Боюсь, ее дали семейству Свун”, сказал Швайн, первый из двух шутов.

“Мы уж как-нибудь справимся”, сказал я. “Попозже к нам, может быть, присоединится моя жена — но даже так, я думаю, мы справимся”.

К этому времени обе розовых свиньи уже забыли свое гумбергофобство. Медленным и ясным почерком злоумышленника я написал: Доктор Эдгар Г. Гумберт с дочерью, 342, Лоун Стрит, Рамздэль. Ключ (номер 342!) был мне мельком показан (так фокусник показывает монету, которую он собирается спальмировать) и тут же передан Дяде Тому. Лолита, оставив собаку (так и меня она оставит), поднялась с корточек; дождевая капля упала на могилу Шарлотты; спустившаяся с небес миловидная негритянка отворила изнутри дверь лифта, и обреченное дитя вошло в него, а за ней последовали ее покашливающий отец и Том с чемоданами, как распяленный краб.

Пародия на гостиничный коридор. Пародия на тишину и на смерть.

“Смотри, ведь это номер нашего дома”, весело воскликнула Лолита.

Двуспальная кровать, зеркало, двуспальная кровать в зеркале, зеркальная дверь стенного шкафа, такая же дверь в ванную, чернильно-синее окно, отраженная в нем кровать, та же кровать в шкафном зеркале, два кресла, стол со стеклянным верхом, два ночных столика, двуспальная между ними кровать: точнее, большая кровать полированного дерева с бархатистым покрывалом пурпурного цвета и четой ночных ламп под оборчатыми красными абажурами.

Мне очень хотелось положить пятидолларовую бумажку на эту бледно-бурую ладонь, но побоялся, что такая щед-

рость может быть неправильно истолкована, а потому положил четвертак. Прибавил еще один. Он удалился. Щелк. Enfin seuls.

"Как же так — мы будем спать в одной комнате?" сказала Лолита, динамически гримасничая, как делала, бывало, без гнева, без гадливости (хотя явно на границе этих чувств), а именно динамически, когда хотела нагрузить свой вопрос особенно истовой значительностью.

"Я просил у них добавочную койку. Которую, если хочешь, я возьму себе".

"Ты с ума сошел", сказала Лолита.

"Почему же, моя дорогая?"

"Потому, да-ра-гой, что когда да-ра-гая мама узнает, она с тобой разведется, а меня задушит".

Просто — динамически; не принимая всерьез.

"Послушай меня", сказал я садясь; она же стояла в двух шагах от меня и с удовольствием смотрела на свое отражение, приятно удивленная им, наполняя собственным розовым светом удивленное и довольное зеркало шкафной двери. "Послушай меня, Лолита. Давай установим кое-что раз навсегда. В чисто практическом смысле, я — твой отец. Я к тебе очень нежно привязан. В отсутствие твоей матери я отвечаю за твое благополучие. Мы небогаты, и поскольку мы путешествуем, нам придется — нам придется быть много вместе. Когда двое живут в одной комнате, неизбежно получается — как бы это назвать — получается некоторое..."

"Кровосмешение", подсказала Лолита — и вошла в шкаф, вышла из него с молодым золотым гоготком, отворила смежную дверь, и, предусмотрительно заглянув туда своими странными дымчатыми глазами, чтобы не ошибиться опять, удалилась в ванную.

Я растворил окно, сорвал с себя пропитанную пóтом рубашку, переоделся, проверил в кармане пиджака, там ли пилюли, и отпер чемодан.

Она выплыла из ванной. Я попробовал ее обнять — так, невзначай, капля сдержанной нежности перед обедом.

Она сказала: "Предлагаю похерить игру в поцелуи и пойти жрать".

Тут-то я поднес свой сюрприз.

Ах, мечта мечты моей! Она направилась к раскрытому чемодану, как будто подстерегая издали добычу, как будто в замедленном кинематографе, вглядываясь в эту далекую сокровищницу на багажных козлах (что у нее с глазами, подумал я, с этими большими серыми глазами, или мы оба погружены в один и тот же заколдованный туман?). Она подступала к ней, довольно высоко поднимая ноги на довольно высоких каблуках и сгибая очаровательно мальчишеские колени так медленно, в расширившемся пространстве, словно шла под водой или как в тех снах, когда видишь себя невесомым; затем она подняла за рукавчики красивую, очень дорогую, медного шелка, кофточку, все так же медленно, все так же молча, расправив ее перед собой, как если бы была оцепеневшим ловцом, у которого занялось дыхание от вида невероятной птицы, растянутой им за концы пламенистых крыльев. Затем стала вытаскивать (пока я стоял и ждал ее) медленную змею блестящего пояска и попробовала на себе.

Затем она вкралась в ожидавшие ее объятия, сияющая, размякшая, ласкающая меня взглядом нежных, таинственных, порочных, равнодушных, сумеречных глаз — ни дать ни взять банальнейшая шлюшка. Ибо вот кому подражают нимфетки — пока мы стонем и умираем.

“Чем поцелуй пыл блох?” пробормотал я, дыша ей в волосы (власть над словами ушла).

“Если уж хочешь знать”, сказала она, “ты делаешь не так, как надо”.

“Накажи, как”.

“Все в свое время”, ответила виновница моего косноязычия. Seva ascendes, pulsata, brulans, kitzelans, dementissima. Elevator clatterans, pausa, clatterans, populus in corridoro. Hanc nisi mors mihi adimet niemo! Juncea puellula, jo pensavo fondissime, nobserva nihil quidquam; но разумеется, в следующую минуту я мог бы совершить какую-нибудь ужасную оплошность; к счастью, она вернулась к сокровищнице.

Из ванной, где мне пришлось довольно долго переключаться для скромной нужды, я слышал (стоя, попадая мимо, задерживая дыхание) “ахи” и “охи” девочкиного восхищения.

Руки она вымыла только потому, что ей понравилось отельное мыльце-образчик.

"Пора идти, милая; я думаю, ты так же проголодалась как и я".

И вот мы отправились к лифту, дочка — покачивая своей старой белой сумочкой, отец — на шаг впереди (nota bene: никогда не идти позади нее, ведь она не дама). Пока мы стояли (теперь уже рядом), дожидаясь лифта, она закинула голову, безудержно раззевалась и тряхнула кудрями.

"В котором часу вас будили в лагере?"

"В половине" — она подавила новый зевок — "седьмого", дозевнула до конца с содроганием всего тела. "Седьмого", повторила она, и горло у нее снова стало наполняться.

Гостиничный ресторан приветствовал нас запахом жареного жира и стеклянистой улыбкой. Это было обширное и претенциозное помещение с жеманными фресками по стенам, изображающими охотников, зачарованных в разнообразных положениях среди множества неинтересных животных, дриад и деревьев. Несколько рассыпанных по зале старых дам, два священника и широкоплечий господин в клетчатом пиджаке молча кончали обедать. Ресторан закрывался в девять, и каменнолицые подавальщицы в зеленой форме отчаянно спешили — на мое счастье — от нас отделаться.

"Посмотри, как он похож, как невероятно похож на Куильти", вполголоса проговорила Лолита, острым загорелым локтем не то что указывая, но страстно стремясь указать на одинокого господина в спортивном пиджаке, сидящего в дальнем углу залы.

"На кого — на нашего толстого дантиста?"

Лолита задержала во рту только что взятый глоток воды и поставила обратно на стол свой затанцевавший стакан.

"Да глупости", сказала она, поперхнувшись смехом, "я говорю о том писателе, который на папиросных рекламах".

О, слава! О, женщины!

Когда принесли и бухнули на стол сладкое — для барышни огромный клин вишневого торта, а для ее покровителя бомбочку сливочного мороженого (значительную часть которого она, не задумываясь, прибавила к своему

торту), — я вынул из кармана пузырек, содержавший ПАПИНЫ Пилюли. Оглядываясь ныне на бледную немочь этих фресок, на этот странный, чудовищный миг, могу объяснить свое тогдашнее поведение только механическим действием безвоздушного пространства, присущего снам, в котором вращается поврежденный ум; но в тот миг все мне казалось совершенно простым и неизбежным. Я оглядел зал, убедился, что последний из обедавших ушел, откупорил пузырек и с величайшим хладнокровием наклонил его над ладонью. Я не раз прорепетировал перед зеркалом этот жест, которым быстро подносишь пустую горсть ко рту и отправляешь в него несуществующую пилюлю. Как я и ожидал, она набросилась на пузырек с крупными, обольстительно-яркими капсюлями, начиненными дурманом Спящей Красавицы.

"Синенькие!", воскликнула она, "лилово-синенькие. Из чего они сделаны?"

"Из летнего неба", ответил я, "из слив, из смокв, из виноградной крови царей!"

"Нет, серьезно... Пожалуйста!"

"Ах, это просто Фиалкапсюли. Витамин Икс. Делает тебя сильным, как бык-с или штык-с. Хочешь попробовать?"

Лолита протянула руку, энергично кивая.

Я надеялся, что зелье подействует быстро. Оно подействовало молниеносно. Позади был длинный день, утром она каталась на лодке с Варварой (сестра которой заведовала водяным спортом, как моя упоительно-доступная нимфетка начала теперь мне рассказывать промеж полураздавленных небораспирающих зевков, которые все увеличивались в объеме) и еще занималась кой-чем. Кино, смутно мечтавшееся ей, было, конечно, забыто к тому времени, когда мы покинули ресторан. Стоя со мной в лифте, она прислонилась ко мне, полуулыбаясь ("Сказать ли, чем я занималась?"), полусмежая темные веки. "Спать хочется, небось?" спросил Дядя Том, который орудовал лифтом, поднимавшим тихого джентльмена франко-ирландского происхождения и его сонную дочку, а также двух увядших

женщин, экспертов по розам, которые тоже глядели участливо на мою хрупкую, загорелую, пошатывающуюся, розовую, одурманенную душеньку. Мне чуть ли не на руках пришлось внести ее в номер. Она села на край постели, слегка качаясь, и заговорила каким-то воркотливо-тусклым растянутым тоном.

"Если я тебе скажу... если я тебе скажу, ты мне обещаешь (такая сонная! Головка валится, глаза гаснут...), обещаешь не жаловаться на лагерь?"

"После, Лолита. Теперь ложись. Я тебя оставлю одну, чтобы ты легла. Даю тебе десять минут".

"Ах, какая я была гадкая", продолжала она, тряся волосами, снимая с них медленными пальцами черную бархатную ленточку. "Дай-ка я тебе скажу".

"Завтра, Лолита. Ложись, ложись. Ради Бога ложись".

Ключ я сунул в карман и спустился по лестнице.

28

Милостивые госпожи присяжные! Будьте терпеливы со мной! Позвольте мне отнять частичку вашего драгоценного времени! Итак, наступил le grand moment. Я оставил Лолиту, все еще сидящую на краю бездонной постели, дремотно поднимающую ногу, вяло возящуюся со шнурками и при этом показывающую неполную сторону голой ляжки до самого шва штанишек в паху — она всегда со странной рассеянностью или бесстыдством, или со смесью того и другого относилась к подобному оголению. Вот, значит, каков был заветный образ ее, который я запер в комнате, предварительно удостоверившись, что на двери нет задвижки снутри. Ключ с нумерованным привеском из резного дерева тотчас же превратился в увесистое "сезам — отворись", в сказочную отмычку, могущую отпереть блаженное и страшное будущее. Он был мой, он был часть моего горячего, волосистого кулака. Через несколько минут — скажем, двадцать, скажем полчаса (sicher ist sicher, как говаривал мой дядя Густав), я отопру дверь номера 342 и

найду мою нимфетку, мою красу и невесту, в темнице хрустального сна. Присяжные! Если бы мой восторг мог звучать, он бы наполнил эту буржуазную гостиницу оглушительным ревом. И единственное, о чем жалею сегодня, это что я не оставил молча у швейцара ключ 342-ой и не покинул в ту же ночь город, страну, материк, полушарие и весь земной шар.

Позвольте объяснить. Меня не слишком смутили ее покаянные иносказания. Я все еще был твердо намерен придерживаться решения щадить ее чистоту, работая лишь под покровом ночи над совершенно усыпленной наркозом голенькой крошкой. "Сдержанность и благоговение" — вот был мой всегдашний девиз. Я намерен был придерживаться его, даже если бы эту чистоту (между прочим, основательно развенчанную современной наукой) слегка подпортило какое-нибудь ребячье эротическое переживание (по всей вероятности, гомосексуального порядка) в этом ее мерзостном лагере. Конечно, в силу старомодных европейских навыков я, Жан-Жак Гумберт, принял на веру, когда впервые ее увидел, два с половиной месяца тому назад, что она так непорочна, как полагается по шаблону быть "нормальному ребенку" с самой той поры, когда кончился незабвенный античный мир с его увлекательными нравами. В нашу просвещенную эру мы не окружены маленькими рабами, нежными цветочками, которые можно сорвать в предбаннике, как делалось во дни Рима; и мы не следуем примеру величавого Востока в еще более изнеженные времена и не ласкаем спереди и сзади услужливых детей, между бараниной и розовым шербетом. Все дело в том, что старое звено, соединявшее взрослый мир с миром детским, теперь оказалось разъятым новыми обычаями и законами. Хоть я и интересовался одно время психиатрией и общественным призрением, я в сущности почти ничего не знал о детях. Ведь все-таки Лолите было только двенадцать лет, и какие бы я поправки ни делал на среду и эпоху (даже принимая во внимание разнузданность американских детей школьного возраста), мне казалось, что развратные игры между этими резвыми подростками происходят все-таки позже, да

и в другой обстановке. Посему (подбираю опять нить моего рассуждения) моралист во мне обходил вопрос, цепляясь за условные понятия о том, что собой представляют двенадцатилетние девочки. Детский психиатр во мне (шарлатан, как большинство из них, но это сейчас неважно) пережевывал новофрейдистский гуляш и воображал мечтательную и экзальтированную Лолиту в "латентной" фазе девичества. Наконец, сексуалист во мне (огромное и безумное чудовище) ничего бы не имел против наличия некоторой порочности в своей жертве. Но где-то по ту сторону беснующегося счастья совещались растерянные тени — и как я жалею, что им не внял! Человеческие существа, слушайте! Я должен был понять, что Лолита уже оказалась чем-то совершенно отличным от невинной Аннабеллы и что нимфическое зло, дышащее через каждую пору завороженной девочки, которую я готовил для тайного услаждения, сделает тайну несбыточной и услаждение — смертельным. Я должен был знать (по знакам, которые мне подавало что-то внутри Лолиты, — настоящая детская Лолита или некий изможденный ангел за ее спиной), что ничего, кроме терзания и ужаса, не принесет ожидаемое блаженство. О, крылатые господа присяжные!

Она моя, моя, ключ в кулаке, кулак в кармане, она моя! Путем заклинаний и вычислений, которым я посвятил столько бессонниц, я постепенно убрал всю лишнюю муть и, накладывая слой за слоем прозрачные краски, довел их до законченной картины. На этой картине она являлась мне обнаженной — ничего на ней не было, кроме одного носочка да браслета с брелоками; она лежала, раскинувшись, там, где ее свалило мое волшебное снадобье; в одной ручке была еще зажата бархатная ленточка, снятая с волос; ее пранично-коричневое тело, с белым негативом коротенького купального трико, отпечатанным на загаре, показывало мне свои бледные молодые сосцы; в розовом свете лампы шелковисто блестел первый пух на толстеньком холмике. Огромный ключ со смуглым ореховым привеском был у меня в кармане.

Я бродил по различным залам, озаренный снутри, сумрачный снаружи: ведь лицо вожделения всегда сумрачно; вожделение никогда не бывает совершенно уверенным — даже и тогда, когда нежная жертва заперта у тебя в крепости — что какой-нибудь дьявол-конкурент или влиятельный божок не норовит отменить приготовленный для тебя праздник. Выражаясь вседневным языком, надо было выпить, но бара не оказалось в этой старой почтенной гостинице, полной запревших филистеров и стилизованных вещей.

Меня отнесло в мужскую уборную. Покидавший ее посетитель в клерикально-черном костюме, с душой, comme on dit, нараспашку, проверяя гульфик (жест, который венский мудрец объясняет желанием посмотреть, все ли взято), спросил меня, как мне понравилась лекция пастора Пара, и посмотрел с недоумением, когда я (Сигизмунд Второй) сказал, что Пар — парень на ять, после чего я смял в комочек бумажную салфеточку, которой вытирал кончики пальцев — они у меня весьма чувствительные — и, ловко метнув его в приготовленный для этого ресептакль, выплыл в холл. Удобно опершись обоими локтями на край конторки, я спросил у мистера Ваткинса, совершенно ли он уверен, что моя жена не телефонировала; и как насчет койки? Койкинс отвечал, что нет, не звонила (покойница, разумеется, звонить не могла) и что если мы останемся, то койку поставят завтра. Из большого многолюдного помещения с надписью над дверью "Охотничий Зал" доносился гул многих голосов, обсуждавших не то садоводство, не то бессмертие души. Другая комната, под названием "Малиновая", вся облитая светом, со сверкающими столиками и одним длинным столом с морсом и бисквитами, была еще пуста, ежели не считать отессы (увядшей женщины с характерной для отесс стеклянистой улыбкой и Шарлоттиной манерой говорить), которая, вся струясь, подошла ко мне и осведомилась, не господин Браддок ли я, потому что, если так, мисс Борода меня как раз искала. "Вот уж имя для женщины", заметил я и не спеша вышел.

Приливала и отливала моя радужная кровь. Я решил ждать до половины десятого. Вернувшись в холл, я застал там перемену: некоторое число лиц, в цветистом шелку или черном сукне, образовало отдельные небольшие группы, и эльф случая потешил мой взгляд прелестным ребенком Лолитиных лет, в платье Лолитиного фасона, но белом, и с белой ленточкой, придерживавшей ее черные волосы. Она не была особенно хорошенькая, но она была нимфетка, и ее голые, бледно-фарфоровые ноги и лилейная шея образовали на одно незабвенное мгновение чрезвычайно приятную антифонию (если можно выразить музыкальным термином ощущение в спинном мозгу) к моей жажде Лолиты, румяной и загорелой, возбужденной и оскверненной. Бледненькая девочка почувствовала мой взгляд (который был, впрочем, совершенно небрежным и благодушным) и, будучи до смешного застенчивой, ужасно смутилась, закатывая глаза, и прижимая тыл руки к щеке, и одергивая платьице, и наконец повернулась ко мне худыми подвижными лопатками, нарочито разговаривая со своей коровистой мамашей.

Я покинул шумный холл и вышел наружу; некоторое время я стоял на белых ступенях, глядя на карусель белесых ночных мотыльков, вертевшихся вокруг фонаря в набухшей сыростью черноте зыбкой беспокойной ночи, и думал: все, что сделаю, все, что посмею сделать, будет, в сущности, такая малость... Вдруг я почуял в сумраке, невдалеке от меня, чье-то присутствие: кто-то сидел в одном из кресел между колоннами перрона. Я, собственно, не мог его различить в темноте, но его выдал винтовой скрежет открываемой фляжки, за которым последовало скромное булькание, завершившееся звуком мирного завинчивания. Я уже собирался отойти, когда ко мне обратился незнакомый голос:

"Как же ты ее достал?"

"Простите?"

"Говорю: дождь перестал".

"Да, кажется".

"Я где-то видал эту девочку".

"Она моя дочь".

"Врешь — не дочь".

"Простите?"

"Я говорю: роскошная ночь. Где ее мать?"

"Умерла".

"Вот оно что. Жаль. Скажите, почему бы нам не пообедать завтра втроем? К тому времени вся эта сволочь разъедется".

"Я с ней тоже уеду. Спокойной ночи".

"Жаль. Я здорово пьян. Спокойной ночи. Этой вашей девочке нужно много сна. Сон — роза, как говорят в Персии. Хотите папиросу?"

"Спасибо, сейчас не хочу".

Он чиркнул спичкой, но оттого, что он был пьян, или оттого, что пьян был ветер, пламя осветило не его, а какого-то глубокого старца (одного из тех, кто проводит остаток жизни в таких старых гостиницах) и его белую качалку. Никто ничего не сказал, и темнота вернулась на прежнее место. Затем я услышал, как гостиничный старожил раскашлялся и с могильной гулкостью отхаркнулся.

Я покинул веранду. В общем прошло уже полчаса. Напрасно я не попросил у него глотка виски. Напряжение начинало сказываться. Если скрипичная струна может страдать, я страдал, как струна. Однако было бы неприлично показать, что спешу. Пока я пробирался сквозь созвездие людей, застывших в одном из углов холла, ослепительно блеснул магний — и осклабившийся пастор Браддок, две дамы патронессы с приколотыми на груди неизбежными орхидеями, девочка в белом платьице и, по всей вероятности, оскаленные зубы Гумберта Гумберта, протискивающегося боком между зачарованным священником и этой девочкой, казавшейся малолетней невестой, были тут же увековечены, — поскольку бумага и текст маленькой провинциальной газеты могут считаться вековечными. У лифта стояла другая щебечущая кучка. Я опять предпочел лестницу. Номер 342 находился около другой, наружной лестницы для спасения на случай пожара. Можно было еще спастись — но ключ повернулся в замке, и я уже входил в комнату.

29

Дверь освещенной ванной была приоткрыта; кроме того, сквозь жалюзи пробивался скелетообразным узором свет наружных фонарей; эти скрещивающиеся лучи проникали в темноту спальни и позволяли разобраться в следующем положении.

Одетая в одну из своих старых ночных сорочек, моя Лолита лежала на боку, спиной ко мне, посредине двуспальной постели. Ее сквозящее через легкую ткань тело и голые члены образовали короткий зигзаг. Она положила под голову обе подушки — и свою и мою; кудри были растрепаны; полоса бледного света пересекала ее верхние позвонки.

Я сбросил одежду и облачился в пижаму с той фантастической мгновенностью, которую принимаешь на веру, когда в кинематографической сценке пропускается процесс переодевания; и я уже поставил колено на край постели, как вдруг Лолита повернула голову и уставилась на меня сквозь полосатую тень.

Вот этого-то вошедший не ожидал! Вся затея с пилюлькой-люлькой (подловатое дело, entre nous soit dit) имела целью навеять сон, столь крепкий, что его целый полк не мог бы прошибить, а вот, подите же, она вперилась в меня и, с трудом ворочая языком, называла меня Варварой! Мнимая Варвара, одетая в пижаму, чересчур для нее тесную, замерла, повисая над бормочущей девочкой. Медленно, с каким-то безнадежным вздохом, Долли отвернулась, приняв свое первоначальное положение. Минуты две я стоял, напряженный, у края, как тот парижский портной, в начале века, который, сшив себе парашют, стоял, готовясь прыгнуть с Эйфелевой башни. Наконец я взгромоздился на оставленную мне узкую часть постели; осторожно потянул к себе концы и края простынь, сбитых в кучу на юге от моих каменно-холодных пяток; Лолита подняла голову и на меня уставилась.

Как я узнал впоследствии от услужливого фармацевта, лиловая пилюля не принадлежала даже к большому и знат-

ному роду барбиталовых наркотиков: неврастенику, верящему в ее действие, она, пожалуй, помогла бы уснуть, но средство было слишком слабое, чтобы надолго уложить шуструю, хоть и усталую нимфетку. Неважно, был ли рамздэльский доктор шарлатаном или хитрецом. Важно, что я был обманут. Когда Лолита снова открыла глаза, я понял что, даже если снотворное и подействует через час или полтора, безопасность, на которую я рассчитывал, оказалась ложной. Тихо отвернувшись, она уронила голову на подушку — на ту, которой я был несправедливо лишен. Я остался лежать неподвижно на краю бездны, вглядываясь в ее спутанные волосы и в проблески нимфеточной наготы, там, где смутно виднелась половинка ляжки или плеча, и пытаясь определить глубину ее сна по темпу ее дыхания. Прошло некоторое время; ничего не изменилось, и набравшись смелости я решил слегка пододвинуться к этому прелестному, с ума сводящему мерцанию. Но едва я вступил в его теплую окрестность, как ровное дыхание приостановилось, и на меня нашло ужасное подозрение, что маленькая Долорес совершенно проснулась и готова разразиться криками, если к ней прикоснусь любой частью своего жалкого, ноющего тела. Читатель, прошу тебя! Как бы тебя ни злил мягкосердечный, болезненно чувствительный, бесконечно осмотрительный герой моей книги, не пропускай этих весьма важных страниц! Вообрази меня! Меня не будет, если ты меня не вообразишь; попробуй разглядеть во мне лань, дрожащую в чаще моего собственного беззакония; давай даже улыбнемся слегка. Например, — мне негде было преклонить голову (чуть не написал: головку), и к общему моему неудобству прибавилась мерзкая изжога (от жаренного в сале картофеля, который они смеют тут называть "французским"!).

Она опять крепко спала, моя нимфетка; однако я не дерзал пуститься в волшебное путешествие. "La Petite Dormeuse ou l'Amant Ridicule". Завтра накормлю ее теми прежними таблетками, от которых так основательно цепенела ее мать. Где они — в переднем ящичке автомобиля или в большом саквояже? Может быть, подождать часок

и тогда опять попробовать подползти? Наука нимфетолепсии — точная наука. Можно ровно в секунду, если прижаться. На расстоянии в один миллиметр надо считать секунд десять. Подождем.

Нет ничего на свете шумнее американской гостиницы, — причем заметьте, наш отель считался тихим, уютным, старосветским, домашним, с потугами на "изящность быта" и все такое. Дверной стук лифта, раздававшийся в двадцати шагах к северо-востоку от моего черепа, но ощущавшийся мною столь же остро, как если бы эта железная дверца захлопывалась у меня в левом виске, чередовался с лязгом и гулом разнообразных маневров машины и длился далеко за полночь. Время от времени, сразу к востоку от моего левого уха (а лежал я навзничь, не смея повернуть более гнусную свою сторону по направлению дымчатого бедра моей соложницы), коридор наполнялся до краев жизнерадостными, звучными и нелепыми возгласами, оканчивавшимися залпом прощаний. Когда это наконец прекратилось, заработал чей-то клозет к северу от моего мозжечка. Это был мужественный, энергичный, басистый клозет, и им пользовалась большая семья. От его бурчания, стремительных излияний и долгого послесловия — дрожала стена за моим изголовием. Затем, в южном направлении от меня, кого-то стало невероятно рвать — человек душу выкашливал вместе с выпитым виски, и унитаз в его ванной, сразу за нашей, обрушивался сущей Ниагарой. Когда же наконец все водопады остановились и зачарованные охотники уснули, бульвар под окном моей бессонницы, на запад от моего бдения — благоустроенный, величавый, подчеркнуто-неторговый, обсаженный развесистыми деревьями, — выродился в презренный прогон для гигантских грузовиков, грохотавших во мгле сырой и ветреной ночи.

А между тем, меньше чем в шести вершках от меня и моей пылающей жизни находилась дымчатая Лолита! После долгого периода неподвижного бодрствования я снова стал добираться до нее щупальцами, и на этот раз скрип матраца не разбудил ее. Мне удалось пододвинуть мою тяжкую, алчущую плоть так близко, что я почуял на щеке,

словно теплое дыхание, ауру ее обнаженного плеча. Тут она приподнялась, охнула, затараторила с бредовой быстротой что-то о лодках, дернула простыню и впала обратно в свое темное, цветущее, молодое бесчувствие. Она заметалась в этом обильном потоке сна, и одна голая рука, недавно коричневая, теперь лунная, с размаху легла через мое лицо. Был миг, когда я держал пленницу, но она высвободилась из моих едва наметившихся объятий, причем сделала это не сознательно, не резко, не с какой-либо личной неприязнью, а просто — с безотносительно-жалобным бормотанием ребенка, требующего полагающегося ему покоя. И все вернулось в прежнее состояние: Лолита, повернутая изогнутым хребтом к Гумберту; Гумберт, подложивший под голову руку и терзающийся вожделением и изжогой.

Последняя принудила меня пойти в ванную за глотком воды: для меня это лучшее лекарство, не считая, быть может, молока с редисками; и когда я снова вступил в диковинную, бледно-полосатую темницу, где Лолитины старые и новые одежды расположились в различных зачарованных положениях, на разных частях как бы плавучей мебели, моя невозможная дочь подняла голову и отчетливыми тоном объявила, что тоже хочет пить. Теневою рукой она взяла у меня упругий и холодный бумажный стаканчик и, направив на его край длинные свои ресницы, залпом выпила содержимое; после чего младенческим движением, исполненным большей прелести, чем сладострастнейшая ласка, маленькая Лолита вытерла губы о мое плечо. Она откинулась на свою подушку (мою я изъял, пока она пила) и немедленно опять заснула.

Я не посмел предложить ей вторую порцию снотворного, да и не расставался еще с надеждой, что первая в конце концов упрочит ее сон. Я все подступал к ней, готовый к любому огорчению; знал, что лучше ждать, но ждать был не в силах. Моя подушка пахла ее волосами. Я пододвигался к моей мерцающей голубке, останавливаясь и втягиваясь всякий раз, что она, казалось, шевелилась или собиралась шевельнуться. Ветерок из Страны Чудес уже стал влиять на мои мысли; они казались выделенными курсивом, как если

бы поверхность, отражавшая их, зыблилась от этого призрачного дуновения. Временами мое сознание не в ту сторону загибалось, мое ползком перемещавшееся тело попадало в сферу сна и опять из него выползало; а раза два я ловил себя на том, что невольно начинаю издавать меланхоличный храп. Туман нежности обволакивал горы тоски. Иногда мне сдавалось, что зачарованная добыча готова на полпути встретить зачарованного ловца; что ее бедро добровольно подвигается ко мне сквозь сыпучий песок далекого, баснословного побережья; но эта дымка с ямочкой вдруг вздрагивала, и я понимал, что Лолита дальше от меня, чем когда-либо.

Я тут задерживаюсь так долго на содроганиях и подкрадываниях той давно минувшей ночи, потому что намерен доказать, что я никогда не был и никогда не мог быть брутальным мерзавцем. Нежная мечтательная область, по которой я брел, была наследием поэтов, а не притоном разбойников. Кабы я добрался до цели, мой восторг был бы весь нега: он бы свелся к внутреннему сгоранию, влажный жар которого она едва бы ощутила, даже если бы не спала. Однако я еще надеялся, что ее постепенно охватит такое полное оцепенение, что мне удастся насладиться не только одним мерцанием ее наготы. Так, между пробными приближениями и смешением чувств, преображавшим ее то в глазчатое собрание лунных бликов, то в пушистый, цветущий куст, мне снилось, что я не сплю, снилось, что таюсь в засаде.

Настало некоторое затишье перед утром в бессонной жизни гостиницы. Затем, около четырех, коридорный клозет хлынул каскадом и стукнула дверь. В самом начале шестого часа начал доходить в нескольких, так сказать, выпусках звучный монолог, происходивший на каком-то внутреннем дворе или на автомобильной стоянке. Это, собственно был не монолог, ибо говоривший останавливался каждые несколько секунд для того, чтобы выслушать подразумеваемого собеседника, чей голос не достигал меня, вследствие чего никакого настоящего смысла нельзя было извлечь из слышимой половины беседы. Ее буднич-

ные интонации, однако, расчистили путь рассвету, и комната уже наполнилась сиренево-серой мутью, когда несколько трудолюбивых уборных стали действовать одна за другой и гремящий, воющий лифт стал ходить вверх и вниз; несколько минут я уныло дремал, и Шарлотта была русалкой в зеленоватом водоеме, и где-то в коридоре рано вставший пастор кому-то сказал сочным голосом: "с добрым утречком!", — и птицы возились в листве, и вот — Лолита зевнула.

Девственно-холодные госпожи присяжные! Я полагал, что пройдут месяцы, если не годы, прежде чем я посмею открыться маленькой Долорес Гейз; но к шести часам она совсем проснулась, а уже в четверть седьмого стала в прямом смысле моей любовницей. Я сейчас вам скажу что-то очень странное: это она меня совратила.

Услышав ее первый утренний зевок, я изобразил спящего, красивым профилем обращенного к ней. По правде сказать, я совершенно не знал, как быть. Не возмутится ли она, найдя меня рядом, а не на запасной койке? Что она сделает — заберет одежду и запрется в ванной? Потребует, чтобы ее немедленно отвезли в Рамздэль? В больницу к матери? Обратно в лагерь? Но моя Лолиточка была резвой девчонкой, и когда она издала тот сдавленный смешок, который я так любил, я понял, что она до этого созерцала меня играющими глазами. Она скатилась на мою сторону, и ее теплые русые кудри пришлись на мою правую ключицу. Я довольно бездарно имитировал пробуждение. Сперва мы лежали тихо. Я тихо гладил ее по волосам, и мы тихо целовались. Меня привело в какое-то блаженное смущение то, что ее поцелуй отличался несколько комическими утонченностями в смысле трепетания пытливого жала, из чего я заключил, что ее натренировала в раннем возрасте какая-нибудь маленькая лесбиянка. Таким изощрениям никакой Чарли не мог ее научить! Как бы желая посмотреть, насытился ли я и усвоил ли обещанный давеча урок, она слегка откинулась, наблюдая за мной. Щеки у нее разгорелись, пухлая нижняя губа блестела, мой распад был близок.

Вдруг, со вспышкой хулиганского веселья (признак нимфетки!), она приложила рот к моему уху — но рассудок мой долго не мог разбить на слова жаркий гул ее шепота, и она его прерывала смехом, и смахивала кудри с лица, и снова пробовала, и удивительное чувство, что живу в фантастическом, только что созданном, сумасшедшем мире, где все дозволено, медленно охватывало меня по мере того, как я начинал догадываться, что именно мне предлагалось. Я ответил, что не знаю, о какой игре идет речь, — не знаю, во что она с Чарли играла. "Ты хочешь сказать, что ты никогда — ?", начала она, пристально глядя на меня с гримасой отвращения и недоверия. "Ты — значит, никогда — ?", начала она снова. Я воспользовался передышкой, чтобы потыкаться лицом в разные нежные места. "Перестань", гнусаво взвизгнула она, поспешно убирая коричневое плечо из-под моих губ. (Весьма курьезным образом Лолита считала — и продолжала долго считать — все прикосновения, кроме поцелуя в губы да простого полового акта, либо "слюнявой романтикой", либо "патологией".)

"То есть, ты никогда", продолжала она настаивать (теперь стоя на коленях надо мной), "никогда не делал этого, когда был мальчиком?"

"Никогда", ответил я с полной правдивостью.

"Прекрасно", сказала Лолита, "так посмотри, как это делается".

Я, однако, не стану докучать ученому читателю подробным рассказом о Лолитиной самонадеянности. Достаточно будет сказать, что ни следа целомудрия не усмотрел перекошенный наблюдатель в этой хорошенькой, едва сформировавшейся, девочке, которую в конец развратили навыки современных ребят, совместное обучение, жульнические предприятия вроде гэрл-скаутских костров и тому подобное. Для нее чисто механический половой акт был неотъемлемой частью тайного мира подростков, неведомого взрослым. Как поступают взрослые, чтобы иметь детей, это совершенно ее не занимало. Жезлом моей жизни Лолиточка орудовала необыкновенно энергично и деловито, как

если бы это было бесчувственное приспособление, никак со мною не связанное. Ей, конечно, страшно хотелось поразить меня молодецкими ухватками малолетней шпаны, но она была не совсем готова к некоторым расхождениям между детским размером и моим. Только самолюбие не позволяло ей бросить начатое, ибо я, в диком своем положении, прикидывался безнадежным дураком и предоставлял ей самой трудиться — по крайней мере пока еще мог выносить свое невмешательство. Но все это, собственно, не относится к делу; я не интересуюсь половыми вопросами. Всякий может сам представить себе те или иные проявления нашей животной жизни. Другой, великий подвиг манит меня: определить раз навсегда гибельное очарование нимфеток.

30

Я должен ступать осторожно. Я должен говорить шепотом. О, ты, заслуженный репортер по уголовным делам, ты, старый и важный судебный пристав, ты, некогда всеми любимый полицейский, ныне сидящий в одиночном заключении (а ведь сколько лет был украшением перекрестка около школы!), ты, в страхе живущий отставной профессор, у которого отрок служит в чтецах! Нехорошо было бы, правда, ежели по моей вине вы безумно влюбились бы в мою Лолиту! Будь я живописцем и случись так, что директор "Привала Зачарованных Охотников" вдруг, в летний денек, потерял бы рассудок и поручил мне переделать посвоему фрески в ресторане его гостиницы, вот что я бы придумал (описываю лишь фрагменты):

Было бы озеро. Была бы живая беседка в ослепительном цвету. Были бы наблюдения натуралистов: тигр преследует райскую птицу, змея давится, натягиваясь на толстого выхухоля, с которого содрали кожу. Был бы султан с лицом, искаженным нестерпимым страданием (страданием, которому противоречила бы округлость им расточаемых ласок), помогающий маленькой невольнице с прелестными яго-

дицами взобраться по ониксовому столбу. Были бы те яркие пузырьки гонадального разгара, которые путешествуют вверх за опаловыми стенками музыкальных автоматов. Были бы всякие лагерные развлечения для промежуточной группы. Какао, Катание, Качели, Коленки и Кудри на солнечном берегу озера. Были бы тополя, яблоки, воскресное утро в пригородном доме. Был бы огненный самоцвет, растворяющийся в кольцеобразной зыби, одно последнее содрогание, один последний мазок краски, язвящая краснота, зудящая розовость, вздох, отворачивающееся дитя.

31

Я пишу все это отнюдь не для того, чтобы прошлое пережить снова, среди нынешнего моего беспросветного отчаяния, а для того, чтобы отделить адское от райского в странном, страшном, безумном мире нимфолепсии. Чудовищное и чудесное сливались в какой-то точке; эту-то границу мне хочется закрепить, но чувствую, что мне это совершенно не удается. Почему?

Согласно римскому праву, лицо женского пола может вступить в брак в двенадцать лет; позже этот закон был одобрен церковью и до сих пор сохраняется, без особой огласки, в некоторых штатах Америки. Пятнадцатилетний же возраст допускается законом везде. Нет ровно ничего дурного (твердят в унисон оба полушария) в том, что сорокалетний изверг, благословленный служителем культа и разбухший от алкоголя, сбрасывает с себя насквозь мокрую от пота праздничную ветошь и въезжает по рукоять в юную жену. "В таких стимулирующих климатических условиях умеренного пояса (говорится в старом журнале из тюремной библиотеки), как те, что находим в Сент-Луи, Чикаго и Цинциннати, девушка достигает половой зрелости в конце двенадцатого года жизни". Долорес Гейз родилась менее, чем в трехстах милях от стимулирующего Цинциннати. Я только следую за природой. Я верный пес природы.

Откуда же этот черный ужас, с которым я не в силах справиться? Лишил ли я ее девственности? Милостивые государыни, чуткие госпожи присяжные: я даже не был ее первым любовником!

32

Она рассказала мне, как ее совратили. Мы поедали в постели пресно-мучнистые бананы, подбитые персики да весьма вкусные картофельные чипсы, и die Kleine мне все рассказала. Ее многословную, но сбивчивую повесть сопровождала не одна забавная moue. Как я, кажется, уже отметил, мне особенно памятна одна такая ужимочка, основанная на подразумеваемом звуке "Ы", с искривлением шлепогубого рта и закаченными глазами, выражающими шаблонную смесь комического отвращения, покорности и терпимого отношения к заблуждениям молодости.

Ее поразительный рассказ начался со вступительного упоминания о подруге, которая с ней делила палатку, в предшествующее лето, в другом лагере, "очень шикарном", как она выразилась. Эта сожительница ("настоящая беспризорница", "полусвихнувшаяся" девчонка, но "молодчина") научила ее разным манипуляциям. Сперва лояльная Лолита отказалась назвать ее.

"Это была, может быть, Грация Анджел?", спросил я.

Она отрицательно покачала головой. "Нет, совсем другая. Ее отец — большая шишка. Он —"

"Так, может быть — Роза Кармин".

"Конечно, нет. Ее отец —"

"Не Агнеса Шеридан, случайно?"

Она переглотнула и покачала головой, — а потом как спохватится!

"Слушай, откуда ты знаешь всех этих девчонок?"

Я объяснил.

"Словом, это другая", сказала она. "У нас много паскудниц в гимназии, но такой не сыщешь. Если уж хочешь все знать, ее зовут Елизабет Тальбот. Ее братья учатся у нас,

а она перешла в дорогую частную школу; ее отец — директор чего-то".

Я вспомнил, с забавным уколом в сердце, как бедная Шарлотта, когда бывала в гостях, всегда норовила впустить в разговор всякие фасонистые штучки вроде: "Это было, когда моя дочь совершала экскурсию с маленькой Тальбот..."

Я спросил, узнали ли матери об этих сапфических развлечениях.

"Ах, что ты", выдохнула Лолита, как бы вся осев и прижав мнимо-трепещущую руку к белой грудке, чтобы изобразить испуг и облегчение.

Меня, однако, больше занимали гетеросексуальные шалости. Она поступила в гимназию одиннадцати лет после того, что переехала с матерью в Рамздэль со "среднего Запада". Что же именно делали эти ее "паскудные" одноклассники и одноклассницы?

"Известно что... Близнецы, Антоний и Виола Миранда, не даром спали всю жизнь в одной постели, а Дональд Скотт, самый большой балда в школе, занимался этим с Гэзель Смит в дядюшкином гараже, а спортсмен Кеннет Найт выставлял свое имущество напоказ при всяком удобном и неудобном случае, а —"

"Перелетим-ка в лагерь Ку", сказал спортсмен Гумберт, "но сперва — перерыв". И после перерыва я узнал все подробности.

У Варвары Бэрк, крепкого сложения, блондинки, на два года старше моей душеньки и, безусловно, лучшей пловчихи в лагере, была какая-то особенная байдарка, которую она делила с Лолитой "потому что я единственная из всех других девочек могла доплыть до Ивового Острова" (какое-нибудь, полагаю, спортивное испытание). В продолжение всего июля месяца, каждое утро — заметь, читатель, каждое проклятое утро — Варваре и Лолите помогал нести байдарку из Оникса в Эрике (два небольших озера в лесу) тринадцатилетний Чарли Хольмс, сынок начальницы лагеря и единственный представитель мужского пола на две-три

мили кругом (если не считать дряхлого, кроткого, глухого работника, да соседа фермера, который иногда посещал лагерь на старом форде, чтобы сбыть яйца, как это делают фермеры); каждое утро — о, мой читатель! — эти трое ребят, срезая путь, шли наискосок через прекрасную невинную чащу, наполненную до краев всеми эмблемами молодости, росой, грибами, черникой, пением птиц, и в определенном месте, среди пышной чащобы, Лолита оставалась стоять на страже, пока Варвара и мальчик совокуплялись за кустом.

Сначала моя Лолита отказывалась "пробовать"; однако любопытство и чувство товарищества взяли верх, и вскоре она и Варвара отдавались по очереди молчаливому, грубому и совершенно неутомимому Чарли, который, как кавалер, был едва ли привлекательнее сырой морковки, но зато мог щегольнуть замечательной коллекцией прозрачных чехольчиков, которые он вылавливал из третьего озера, превосходившего другие размером и посещаемостью и называвшегося Озеро Клаймакс по имени соседнего фабричного города, столь бурно разросшегося за последнее время. Хотя, признавая, что это было "в общем ничего, забавно" и "хорошо против прыщиков на лице", Лолита, я рад сказать, относилась к мозгам и манерам Чарли с величайшим презрением. Добавлю от себя, что этот блудливый мерзавчик не разбудил, а пожалуй, наоборот, оглушил в ней женщину, несмотря на "забавность".

Было уже около десяти утра. Угомонилась страсть, и ужасное сознание беды опустилось на меня, как пепел, что поощрялось будничной реальностью тусклого, невралгического дня, от которого ныло в висках. Коричневая, голенькая, худенькая Лолита, обращенная узкими белыми ягодицами ко мне, а лицом к дверному зеркалу, стояла, упершись руками в бока и широко раставив ноги (в новых ночных туфлях, отороченных кошачьим мехом), и сквозь свесившийся локон морщила нос перед хмурым стеклом. Из коридора доносились гулюкающие голоса чернокожих уборщиц, и немного погодя была сделана вкрадчивая по-

пытка, прерванная моим громовым окриком, отворить дверь в наш номер. Я велел Лолите отправиться в ванную и хорошенько намылиться под душем, в котором она весьма нуждалась. Постель была в невероятном беспорядке, и вся в картофельных чипсах. Девочка примерила костюмчик из синей шерсти, потом другой, состоявший из блузки без рукавов и воздушной, клетчатой юбочки, но первый показался ей тесен, а второй — велик; когда же я стал просить ее поторопиться (положение начинало меня тревожить), она злобно швырнула мои милые подарки в угол и надела вчерашнее платье. Наконец, она была готова; я снабдил ее напоследок чудной сумочкой из поддельной телячьей кожи (всунув целую горсточку центов и два совсем новеньких гривенника) и сказал ей купить себе какой-нибудь журнальчик в холле.

"Буду внизу через минутку", добавил я, "и на твоем месте, голубка, я бы не говорил с чужими".

Кроме моих бедных маленьких даров, укладывать было почти нечего; но мне пришлось посвятить некоторое время (что было рискованно — мало ли чего она могла натворить внизу) приведению постели в несколько более приличный вид, говорящий скорее о покинутом гнездышке нервного отца и его озорницы-дочки, чем о разгуле бывшего каторжника с двумя толстыми старыми шлюхами. Затем я оделся и распорядился, чтобы коридорный пришел за багажом.

Все было хорошо. Там, в холле, сидела она, глубоко ушедшая в кроваво-красное кожаное кресло, глубоко погруженная в лубочный кинематографический журнал. Сидевший напротив господин моих лет в твидовом пиджаке (жанр гостиницы преобразился за ночь в сомнительное подражание британскому усадебному быту) глядел, не отрываясь, через вчерашнюю газету и потухшую сигару на мою девочку. Она была в своих почти форменных белых носочках и пегих башмаках и в столь знакомом мне платьице из яркого ситца с квадратным вырезом; в желтоватом блеске лампы был заметнее золотистый пушок вдоль загорелых рук и икр. Одна нога была закинута через другую,

высоко и легкомысленно; ее бледные глаза скользили по строкам, то и дело перемигивая. Жена Билля преклонялась перед ним задолго до первой встречи; втайне любовалась этим знаменитым молодым киноартистом, когда он, бывало, ел мороженое у стойки в аптекарском магазине Шваба. Ничего не могло быть более детского, чем ее курносое веснущатое личико, или лиловый подтек на голой шее, к которой недавно присосался сказочный вурдалак, или невольное движение кончика языка, исследующего налет розовой сыпи вокруг припухших губ; ничего не могло быть безгрешнее, чем читать о Джиль, деятельной старлетке, которая сама шьет свой гардероб и штудирует "серьезную литературу"; ничего не могло быть невиннее, чем пробор в блестящих русых кудрях и шелковистый отлив на виске; ничего не могло быть наивнее... Но что за тошную зависть испытал бы вон тот мордастый развратник, кто бы он ни был (а смахивал он, между прочим, на моего швейцарского дядю Густава, тоже очень любившего le découvert), если бы он знал, что каждый мой нерв все еще как кольцом охвачен и как елеем смазан ощущением ее тела — тела бессмертного демона во образе маленькой девочки.

Был ли мистер Швайн абсолютно уверен, что моя жена не звонила? Да — уверен. Если она еще позвонит, не будет ли он так добр передать ей, что мы поехали дальше, направляясь к местожительству тети Клэр? О, разумеется, передаст. Я заплатил по счету и, вернувшись к Лолите, заставил ее вылезти из кресла. Она продолжала читать свой журнал все время, пока мы шли к автомобилю. Все еще читая, она была отвезена в загородную кофейню. Съела она там порядочный брекфаст, я не мог пожаловаться; даже отложила журнал, чтобы есть; но она, такая всегда веселая, была до странности скучная. Я знал, что Лолиточка может быть здорово неприятной, а потому старался держать себя в руках и с храброй улыбкой ожидал бури. Я не принял ванны, не побрился, и у меня не подействовал желудок. Шалили нервы. Мне не нравилось, как моя маленькая любовница пожимала плечиками и раздувала ноздри, когда

я старался занять ее безобидной болтовней. Я мягко спросил, например, знала ли что-нибудь о забавах в лесу Филлис Чатфильд, которая покинула лагерь несколько раньше, чтобы поехать к родителям в Мэн? "Послушай", сказала Лолита, сделав плачущую гримасу, "Давай найдем другую тему для разговора". Затем я попробовал — безуспешно, как я ни причмокивал — заинтересовать ее дорожной картой. Позволю себе напомнить терпеливому читателю (чей кроткий нрав Лолите следовало бы перенять!), что целью нашего путешествия был веселый городок Лепингвиль, находившийся где-то поблизости гипотетического госпиталя. План был вполне произвольным (как, увы, произвольной оказалась в дальнейшем не одна намеченная цель путешествия), и у меня дрожали поджилки, когда я спрашивал себя, как сделать, чтобы все предприятие оставалось правдоподобным, и какой придумать другой правдоподобный маршрут после того, что мы пересмотрим все кинодрамы в Лепингвиле. Другими словами, Гумберту становилось все больше и больше не по себе. Оно было очень своеобразное, это ощущение: томительная, мерзкая стесненность — словно я сидел рядом с маленькой тенью кого-то, убитого мной.

При движении, которое сделала Лолита, чтобы влезть опять в автомобиль, по ее лицу мелькнуло выражение боли. Оно мелькнуло опять, более многозначительно, когда она уселась подле меня. Не сомневаюсь, что второй раз это было сделано специально ради меня. По глупости я спросил, в чем дело. "Ничего, скотина", ответила она. Я не понял и переспросил. Она промолчала. "Вы покидаете Брайсланд", провозгласил плакат над дорогой. Словоохотливая же Лолита молчала. Холодные пауки ползали у меня по спине. Сирота. Одинокое, брошенное на произвол судьбы дитя, с которым крепко-сложенный, дурно-пахнущий мужчина энергично совершил половой акт три раза за одно это утро. Может быть, воплощение долголетней мечты и превысило все ожидания; но, вернее, оно взяло дальше цели — и перенеслось в страшный сон. Я поступил неосто-

рожно, глупо и подло. И уж если во всем признаваться, скажу: где-то на дне темного омута я чувствовал вновь клокотание похоти — так чудовищно было влечение, возбуждаемое во мне этой несчастной нимфеткой! К терзаниям совести примешивалась мучительная мысль, что ее скверное настроение, пожалуй, помешает мне опять овладеть ею, как только найду тихую, деревенскую дорогу, где мы могли бы остановиться на минутку. Словом, бедный Гумберт был в ужасном состоянии, и пока с бессмысленной неуклонностью автомобиль приближался к Лепингвилю, водитель его тщетно старался придумать какую-нибудь прибаутку, под игривым прикрытием которой он посмел бы обратиться к своей спутнице. Впрочем, она первая прервала молчание:

"Ах", воскликнула она, — "раздавленная белочка! Как это жалко..."

"Да, не правда ли", поспешил поддержать разговор подобострастный, полный надежды Гум.

"Остановись-ка у следующей бензинной станции", продолжала Лолита. "Мне нужно в уборную".

"Мы остановимся, где хочешь", сказал я. И затем, когда красивая, уединенная, величавая роща (дубы, подумал я — о ту пору я совершенно не разбирался в американских деревьях) принялась отзываться зеленым эхом на гладкий бег машины, и вдруг сбоку, песчаная, окаймленная папоротником тропа оглянулась на нас, прежде чем вильнуть в чащу, я предложил, что мы —

"Продолжай ехать!" визгливо перебила Лолита.

"Слушаюсь. Нечего сердиться". (Куш, бедный зверь, куш!)

Я искоса взглянул на нее. Слава Богу, малютка улыбалась!

"Кретин!" проговорила она, сладко улыбаясь мне, "Гадина! Я была свеженькой маргариткой, и смотри, что ты сделал со мной. Я, собственно, должна была бы вызвать полицию и сказать им, что ты меня изнасиловал. Ах ты, грязный, грязный старик!"

Она не шутила. В голосе у нее звенела зловещая истерическая нотка. Немного погодя, она стала жаловаться, втягивая с шипением воздух, что у нее "там внутри все болит", что она не может сидеть, что я разворотил в ней что-то. Пот катился у меня по шее, и мы чуть не переехали маленькое животное — не белку, — перебегавшее шоссе с поднятым трубой хвостом, и опять моя злая спутница обозвала меня негодяем. Когда мы остановились у бензинного пункта, она выкарабкалась без единого слова и долго отсутствовала. Медленно, ласково, пожилой друг со сломанным носом обтер мне переднее стекло — они это делают поразному в каждом месте, употребляя целую гамму приспособлений, от замшевой тряпки до намыленной щетки: этот орудовал розовой губкой.

Наконец она появилась: "Слушай", — сказала она тем нейтральным тоном, от которого мне делалось так больно: "Дай мне несколько пятаков и гривенников. Я хочу позвонить маме в больницу. Как номер?"

"Садись в автомобиль", ответил я. "Ты не можешь звонить по этому номеру".

"Почему?"

"Влезай — и захлопни дверь".

Она влезла и захлопнула дверь. Старик-гаражист улыбнулся ей лучезарно. Мы вымахнули на дорогу.

"Почему я не могу позвонить маме, если хочу?"

"Потому", сказал я, "что твоя мать умерла".

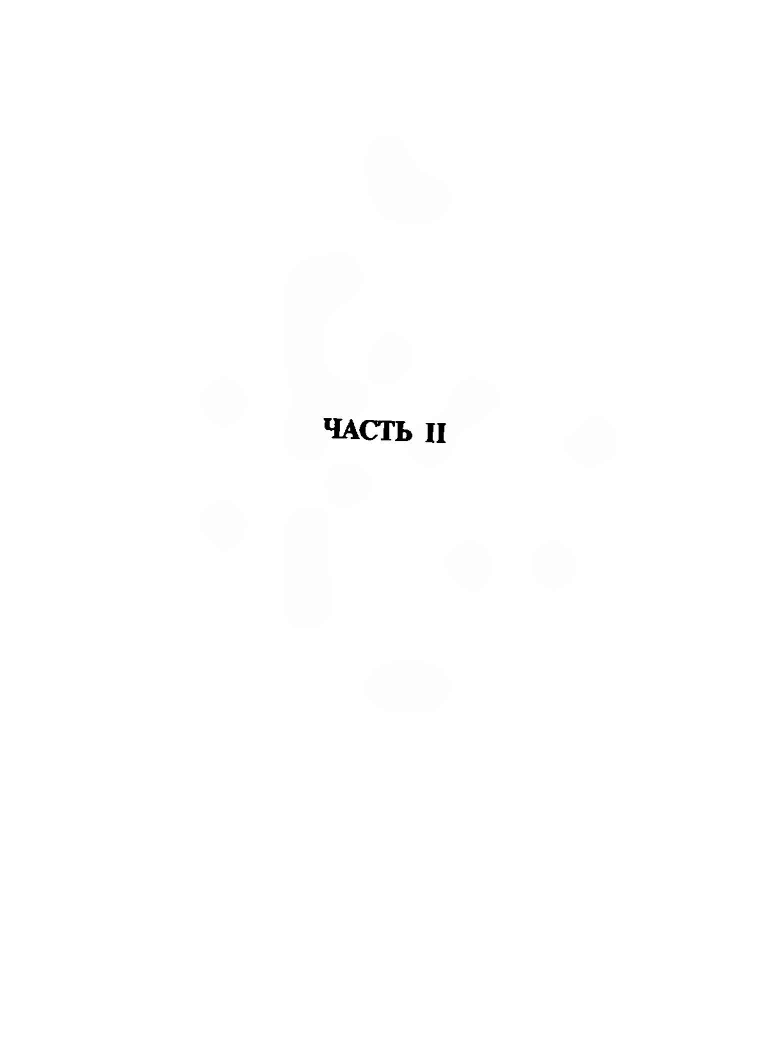
33

В веселом Лепингвиле я купил ей четыре книжки комиксов, коробку конфет, коробку гигиенических подушечек, две бутылки кока-колы, маникюрный набор, дорожные часы со светящимся циферблатом, колечко с настоящим топазом, теннисную ракету, роликовые коньки, приделанные к высоким белым сапожкам, бинокль, портативную радиолку, жевательной резины, прозрачный плас-

тиковый макинтош, темные очки, много еще носильных вещей — модных свитеров, штанишек, всяких летних платьев...

В тамошней гостинице у нас были отдельные комнаты, но посреди ночи она, рыдая, перешла ко мне и мы тихонько с ней помирились. Ей, понимаете ли, совершенно было не к кому больше пойти.

Конец Первой Части



ЧАСТЬ II

1

Тогда-то, в августе 1947-го года, начались наши долгие странствия по Соединенным Штатам. Всем возможным привалам я очень скоро стал предпочитать так называемые "моторкорты", иначе "мотели" — чистые, ладные, укромные прибежища, состоящие из отдельных домиков или соединенных под одной крышей номеров, идеально подходящие для спанья, пререканий, примирений и ненасытной беззаконной любви. Сначала, из страха возбудить подозрения, я охотно платил за обе половины двойного номера, из которых каждая содержала двуспальную кровать. Недоумеваю, для какого это квартета предзначалось вообще такое устройство, ибо только очень фарисейская пародия уединения достигалась тем, что не доходящая до потолка перегородка разделяла комнату на два сообщающихся любовных уголка. Постепенно, однако, я осмелел, подбодренный странными возможностями, вытекающими из этой добросовестной совместности (можно было представить себе, например, две молодых четы, весело обменивающихся сожителями, или ребенка, притворяющегося спящим, с целью подслушать те же звуковые эффекты, какими сопровождалось его собственное зачатие), и я уже преспокойно брал однокомнатную кабинку с кроватью и койкой или двумя постелями, райскую келью с желтыми шторами, спущенными до конца, дабы создать утреннюю иллюзию солнца и Венеции, когда на самом деле за окном были Пенсильвания и дождь.

Мы узнали — nous connûmes, если воспользоваться флоберовской интонацией — коттеджи, под громадными шатобриановскими деревьями, каменные, кирпичные, саманные, штукатурные, расположенные на том, что путе-

водитель, издаваемый американской автомобильной ассоциацией, называл "тенистыми", "просторными", "планированными" участками. Были домики избяного типа, из узловатой сосны, балки которых своим золотисто-коричневым глянцем напоминали Лолите кожу жареной курицы. Мы научились презирать простые кабинки из беленых досок, пропитанные слабым запахом нечистот или какой-либо другой мрачно-стыдливой вонью и не могшие похвастать ничем (кроме "удобных постелей"), неулыбающаяся хозяйка которых всегда была готова к тому, что ее дар ("...ну, я могу вам дать...") будет отвергнут.

Nous connûmes — (эта игра чертовски забавна!) их претендующие на заманчивость примелькавшиеся названия — все эти "Закаты", "Перекаты", "Чудодворы", "Красноборы", "Красногоры", "Просторы", "Зеленые Десятины", "Мотели-Мотыльки"... Иногда реклама прибегала к особой приманке, например: приглашаем детей, обожаем кошечек (*ты* приглашаешься, *тебя* обожают!). Ванные в этих кабинках бывали чаще всего представлены кафельными душами, снабженными бесконечным разнообразием прыщущих струй, с одной общей, определенно не Лаодикийской склонностью: они норовили при употреблении вдруг обдать либо зверским кипятком, либо оглушительным холодом в зависимости от того, какой кран, холодный или горячий, повернул в эту минуту купальщик в соседнем помещении, тем самым лишавший тебя необходимого элемента смеси, тщательно составленной тобою. На стенках в некоторых мотельных ванных были инструкции, наклеенные над унитазом (на заднем баке которого были негигиенично навалены чистые ванные полотенца), призывающие клиентов не бросать в него мусора, жестянок из-под пива, картонных сосудов из-под молока, выкидышей и прочее; в иных мотелях были особые объявления под стеклом, как например: "Местные Развлечения: Верховая Езда. На главной улице можно часто видеть верховых, возвращающихся с романтической прогулки при лунном свете..."; "...и будящих тебя в три часа утра", глумливо замечала неромантическая Лолита.

Nous connûmes разнородных мотельщиков — исправившегося преступника или неудачника-дельца, среди директоров, а среди директрис — полублагородную даму или бывшую бандершу. И порою, в чудовищно жаркой и влажной ночи, кричали поезда, с душераздирательной и зловещей протяжностью, сливая мощь и надрыв в одном отчаянном вопле.

Мы избегали так называемых "ночлегов для туристов" (приходившихся сродни похоронным салонам), т.е. сдаваемых в частных домах, и в сугубо мещанском вкусе, без отдельной ванной, с претенциозными туалетными столиками в угнетающе бело-розовых спаленках, украшенных снимками хозяйских детей во всех стадиях развития. Изредка я уступал уговорам Лолиты, любившей "шик" и брал номер в "настоящей" гостинице. Она выбирала в путеводителе (пока я ласкал ее в темном автомобиле, запаркованном среди тишины таинственной, томно-сумеречной, боковой дороги) какой-нибудь восторженно рекомендованный приозерный "отель-замок", обещавший множество чудес — несколько, пожалуй, преувеличенных светом электрического фонарика, которым она ездила по странице — как-то: конгениальное общество, еда в любое время, ночные пикники — и многое другое, что у меня в уме вызывало только мерзкие представления о зловонных гимназистах в майках и о чьей-то красной от костра щеке, льнувшей к ее щеке, пока бедный профессор Гумберт, обнимая только собственные костистые колени, прохлаждал геморрой на сыром газоне. Ее также соблазняли те в колониальном стиле "инны", которые, кроме "элегантной атмосферы" и цельных окон, обещали "неограниченное количество упоительнейшей снеди". Заветные воспоминания о нарядном отцовском отеле иногда побуждали меня искать чего-нибудь подобного в диковинной стране, по которой мы путешествовали. Действительность меня скоро расхолодила; но Лолиточка все продолжала нестись по следу пряных пищевых реклам, меж тем как я извлекал не одно только финансовое удовлетворение из таких придорожных вывесок, как: "Гостиница "Лесная Греза"! Дети моложе четырнадцати лет даром!" С другой же стороны, меня бросает в дрожь

при одном воспоминании о том будто бы “высшего ранга” курорте в среднезападном штате, где гостиница объявляла, что допускает “налеты на холодильник” для подкрепления посреди ночи, и где расистского пошиба дирекция, озадаченная моим акцентом, хотела непременно знать девичье имя и покойной моей жены и покойной моей матери. Там у меня взяли за два дня двести двадцать четыре доллара! А помнишь ли, помнишь, Миранда (как говорится в известной элегии) тот другой “ультрашикарный” вертеп с бесплатным утренним кофе и проточной ледяной водой для питья, где не принимали детей моложе шестнадцати лет (никаких Лолит, разумеется)?

Немедленно по прибытии в один из более простеньких мотелей (обычных наших стоянок), она запускала жужжащий пропеллер электрического вентилятора или заставляла меня вложить четвертак в комнатную радиолу, или же принималась читать проспекты — и подвывающим тоном спрашивать, почему ей нельзя поехать верхом по объявленной в них горной дорожке или поплавать в местном бассейне с теплой минеральной водой. Чаще же всего, слоняясь, скучая по усвоенной ею манере, Лолита разваливалась, невыносимо желанная, в пурпурном пружинистом кресле или в саду на зеленом шезлонге, или палубной штуке из полосатой парусины, с такой же подставкой для ног и балдахином, или в качалке, или на любой садовой мебели под большим зонтом на террасе, и у меня уходили часы на улещивания, угрозы и обещания, покамест я мог уговорить ее мне предоставить на несколько секунд свои пропитанные солнцем молодые прелести в надежном укрытии пятидолларового номера перед тем, как дать ей предпринять все то, что предпочитала она моему жалкому блаженству.

Сочетая в себе прямодушие и лукавость, грацию и вульгарность, серую хмурь и розовую прыть, Лолита, когда хотела, могла быть необыкновенно изводящей девчонкой. Я, признаться, не совсем был готов к ее припадкам безалаберной хандры или того нарочитого нытья, когда, вся расслабленная, расхристанная, с мутными глазами, она предавалась бессмысленному и беспредметному кривлянию, видя в этом какое-то самоутверждение в мальчишеском,

цинично-озорном духе. Ее внутренний облик мне представлялся до противного шаблонным: сладкая, знойная какофония джаза, фольклорные кадрили, мороженое под шоколадно-тянучковым соусом, кинокомедии с песенками, киножурнальчики и так далее — вот очевидные пункты в ее списке любимых вещей. Один Бог знает, сколько пятаков скормил я роскошно освещенным изнутри музыкальным автоматам в каждом посещаемом нами ресторанчике! У меня в ушах все еще звучат гнусавые голоса всех этих невидимых исполнителей посвященных ей серенад, всех этих Самми, и Джо, и Эдди, и Тони, и Пэгги, и Гай, и Рекс, с их модными романсиками, столь же на слух неразличимыми, как неразличимы были на мой вкус разноименные сорта поглощаемых ею сладостей. С какой-то райской простодушностью она верила всем объявлениям и советам, появлявшимся в читаемых ею "Мире Экрана" и "Мираже Кинолюбви": "Наш СУПР сушит прыщики" или "Вы, девушки, которые не заправляете концов рубашки в штаны, подумайте дважды, так как Джиль говорит, что та мода кончена!" Если вывеска придорожной лавки гласила: "Купите у нас подарки!" — мы просто должны были там побывать, должны были там накупить всяких дурацких индейских изделий, кукол, медных безделушек, кактусовых леденцов. Фраза "Сувениры и Новинки" прямо околдовывала ее своим хореическим ритмом. Если какой-нибудь кафетерий объявлял "Ледяные Напитки", она механически реагировала на приглашение, даром что все напитки везде были ледяные. Это к ней обращались рекламы, это она была идеальным потребителем, субъектом и объектом каждого подлого плаката. Она пыталась — безуспешно — обедать только там, где святой дух некоего Дункана Гайнса, автора гастрономического гида, сошел на фасонисто разрисованные бумажные салфеточки и на салаты, увенчанные творогом.

В те дни ни я, ни она еще не додумались до системы денежных взяток, которым немного позже суждено было так пагубно отразиться на моих нервах и на ее нравственности. Я полагался на другие приемы для того, чтобы держать мою малолетнюю наложницу в покорном состоянии и

сносном настроении. За несколько лет до того она провела дождливое лето под тусклым оком мисс Фален, в Вермонте, в полуразрушенном деревенском доме, некогда принадлежавшем корявому, как дуб, Джонатану Гейзу, родоначальнику семьи. Дом все еще стоял среди густо поросшего канадским златотысячником поля, на опушке дремучего леса, в конце вечно размытой дороги, в двадцати милях от ближайшего сельца. Лолиточка хорошо запомнила это облезлое строение, одиночество, старое пастбище, превратившееся в болото, постоянный ветер, все это разбухшее от сырости захолустье; и отвращение свое она выражала особой гримасой в ходу у американских детей, при которой растягивается рот и утолщается полувысунутый язык. И вот там-то она будет со мной жить, угрожал я ей, в многомесячном и, может быть, многолетнем, заточении, учась у меня французскому и латыни, ежели не изменится ее "теперешняя позиция". О Шарлотта, я начинал тебя понимать!

Простоватая моя девочка орала: "нет!" — и в безумном страхе хватала мою рулевую руку всякий раз, что я поворачивал автомобиль посредине шоссе, как бы намереваясь тут же ее умчать в ту темную и безвыходную глушь. Чем дальше, однако, мы отъезжали на запад, тем отвлеченнее становилась угроза, и мне пришлось обратиться к новым методам убеждения.

С глубочайшим стоном стыда вспоминаю один из них, а именно вызывавшийся мной призрак исправительного заведения. У меня достало ума, с самого начала нашего сожительства, учесть, что мне необходимо заручиться ее полным содействием для того, чтобы держать наши отношения в тайне; что это содействие должно стать для нее как бы второй природой, невзирая ни на какое озлобление против меня и ни на какие другие находимые ею утехи.

"Поди-ка сюда и поцелуй папашу", говорил я бывало. "Выйди из этого вздорного настроения! В свое время, когда я еще был для тебя идеалом мужчины (читатель заметит, как я силился подделаться под Лолитин язык), ты обмирала, слушая пластинки первейшего специалиста по вздрогу-и-всхлипу, боготворимого твоими соотроковицами (Лоли-

та: “моими что? Говори по-человечески”). Этот идол твоих товарок тебе казался похожим на таинственного Гумберта. Но теперь я попросту старый папаша — сказочный отец, оберегающий сказочную дочь”.

“Ma chère Dolores! Я хочу тебя защитить, милая, от всех ужасов, которые случаются с маленькими девочками в угольных складах и глухих переулках, а также, comme vous le savez trop bien, ma gentille, в лесах, полных синих ягодок в синейшее время года. Что бы ни произошло, я останусь твоим опекуном и, если ты будешь вести себя хорошо, надеюсь, что в близком будущем суд узаконит мое опекунство. Забудем, однако, Долорес Гейз, так называемую судебную терминологию — терминологию, находящую рациональным определение: “развратное и любострастное сожительство”. Я вовсе не преступный сексуальный психопат, позволяющий себе непристойные вольности с ребенком. *Растлением* занимался Чарли Хольмс; я же занимаюсь *растением,* детским растением, требующим особого ухода: обрати внимание на тонкое различие между обоими терминами. Я твой папочка, Ло. Смотри, у меня тут есть ученая книжка о девочках. Смотри, моя крошка, что в ней говорится. Цитирую: “нормальная девочка” — нормальная, заметь — “нормальная девочка обычно прилагает все усилия к тому, чтобы понравиться отцу. Она в нем чувствует предтечу желанного, неуловимого мужчины” (“неуловимого” — хорошо сказано, клянусь тенью Полония!). Мудрая мать (а твоя бедная мать стала бы мудрой, если бы осталась в живых) поощряет общение между отцом и дочерью, ибо понимает (прости пошлый слог), что девочка выводит свою мечту об ухаживании и замужестве из общения с отцом. Но что именно хочет сказать эта бодрая книжка словом “общение”, какое такое “общение” рекомендует она? Опять цитирую: “Среди сицилийцев половые сношения между отцом и дочерью принимаются, как нечто естественное, и на девочку, участвующую в этих сношениях, не глядит с порицанием социальный строй, к которому она принадлежит”. Я высоко уважаю сицилийцев, — это великолепные атлеты, великолепные музыканты, великолепные, честнейшие люди, Лолита, и великолепные любовни-

ки. Но обойдемся без отступлений. Еще на днях мы с тобой читали в газете какую-то белиберду о каком-то нарушителе нравственности, который признался, что преступил закон, проведенный Манном, и перевез прехорошенькую девятилетнюю девочку из штата в штат с безнравственной целью — не знаю, что он под этим подразумевал. Долорес, душка моя! Тебе не девять, а скоро тринадцать, и я бы не советовал тебе видеть в себе маленькую белую рабыню, а, кроме того, я не могу одобрить этот самый Mann Act, хотя бы потому, что он поддается скверному каламбуру, если принять имя почтенного члена конгресса за эпитет "мужской": так мстят боги семантики мещанам с туго застегнутыми гульфиками. Я твой отец, и я говорю человеческим языком, и я люблю тебя."

"И наконец, давай посмотрим, что получится, если ты, малолеточка, обвиненная в совращении взрослого под кровом добропорядочной гостиницы, обратилась бы в полицию с жалобой на то, что я тебя умыкнул и изнасиловал. Предположим, что тебе поверят. Малолетняя, позволившая совершеннолетнему познать ее телесно, подвергает свою жертву обвинению в "формальном изнасиловании" или в "содомском грехе второй степени", в зависимости от метода; и максимальная за это кара — десять лет заключения. Итак, я сажусь в тюрьму. Хорошо-с. Сажусь в тюрьму до 1957 года. Но что тогда происходит с тобой, моя сиротка? О, разумеется, твое положение лучше моего. Ты попадаешь под опеку Департамента Общественного Призрения — что, конечно, звучит довольно уныло. Отличная суровая надзирательница, вроде мисс Фален, но менее уступчивая и непьющая, заберет твой губной карандашик и наряды. Никаких больше гулянок! Не знаю, слыхала ли ты про законы, относящиеся к зависимым, заброшенным, неисправимым и преступным детям? Пока я буду томиться за решеткой, тебе, счастливому, заброшенному и так далее ребенку, предложен будет выбор между несколькими обиталищами, в общем довольно между собой схожими; дисциплинарную школу, исправительное заведение, приют для беспризорных подростков или одно из тех превосходных убежищ для несовершеннолетних правонарушителей, где девочки вяжут

всякие вещи и распевают гимны, и получают оладьи на прогорклом сале по воскресеньям. Туда-то ты попадешь, Лолита: *моя* Лолита, *эта* Лолита, покинет своего Катулла, чтобы жить там с другими свихнувшимися детьми. Попросту говоря, если нас с тобой поймают, тебя проанализируют и заинтернируют, котенок мой, c'est tout. Ты будешь жить, *моя* Лолита будет жить (поди сюда, мой коричневый розан) с тридцатью девятью другими дурочками в грязном дортуаре (нет, пожалуйста, позволь мне...), под надзором уродливых ведьм. Вот положение, вот выбор. Не находишь ли ты, что, при данных обстоятельствах, Долорес Гейз должна оставаться верной своему старому папану?"

Вдалбливая все это, я успешно терроризировал Лолиточку, которая, невзирая на некоторую нахальную живость ухваток и внезапные проявления остроумия, была далеко не столь блестящей девчонкой, как можно было заключить по ее "умственному коэффициенту", выработанному ее наставниками. Но если мне удалось установить, как основу то, что и тайну и вину мы должны с ней делить, мне гораздо труднее было поддерживать в ней хорошее настроение. Ежеутренней моей задачей в течение целого года странствий было изобретение какой-нибудь предстоявшей ей приманки — определенной цели во времени и пространстве — которую она могла бы предвкушать, дабы дожить до ночи. Иначе, костяк ее дня, лишенный формирующего и поддерживающего назначения, оседал и разваливался. Поставленная цель могла быть чем угодно — маяком в Виргинии, пещерой в Арканзасе, переделанной в кафэ, коллекцией револьверов и скрипок где-нибудь в Оклахоме, точным воспроизведением Лурдского Грота в Луизиане, или убогими фотографиями времен процветания рудокопного дела, собранными в Колорадском музее — все равно чем, но эта цель должна была стоять перед нами, как неподвижная звезда, даже если я и знал наперед, что когда мы доберемся до нее, Лолита притворится, что ее сейчас вырвет от отвращения.

Пустив в ход географию Соединенных Штатов, я часами старался создать в угоду ей впечатление, что мы живем

“полной жизнью”, что катимся по направлению к некоему необыкновенному удовольствию. Никогда не видал я таких гладких, покладистых дорог, как те, что теперь лучами расходились впереди нас по лоскутному одеялу сорока восьми штатов. Мы алчно поглощали эти бесконечные шоссе; в упоенном молчании мы скользили по их черному, бальному лоску. Лолита не только была равнодушна к природе, но возмущенно сопротивлялась моим попыткам обратить ее внимание на ту или другую прелестную подробность ландшафта, ценить который я сам научился только после продолжительного общения с красотой, всегда присутствовавшей, всегда дышавшей по обе стороны нашего недостойного пути. Благодаря забавному сочетанию художественных представлений, виды северо-американской низменности казались мне сначала похожими в общих чертах на нечто из прошлого, узнаваемое мной с улыбкой удивления, а именно на те раскрашенные клеенки, некогда ввозившиеся из Америки, которые вешались над умывальниками в среднеевропейских детских и по вечерам чаровали сонного ребенка зелеными деревенскими видами, запечатленными на них — матово-кудрявой рощей, амбаром, стадом, ручьем, мутной белизной каких-то неясно цветущих плодовых садов и, пожалуй, еще изгородью, сложенной из камней, или гуашевыми холмами. Постепенно, однако, встречаемые теперь прообразы этих элементарных аркадий становились все страннее на глаз по мере укрепления моего нового знакомства с ними. За обработанной равниной, за игрушечными кровлями медлила поволока никому ненужной красоты там, где садилось солнце в платиновом мареве, и теплый оттенок, напоминавший очищенный персик, расходился по верхнему краю плоского сизого облака, сливающегося с далекой романтической дымкой. Иногда рисовалась на горизонте череда широко расставленных деревьев, или знойный безветренный полдень мрел над засаженной клевером пустыней, и облака Клода Лоррэна были вписаны в отдаленнейшую, туманнейшую лазурь, причем одна только их кучевая часть ясно вылеплялась на неопределенном и как бы обморочном

фоне. А не то нависал вдали суровый небосвод кисти Эль Греко, чреватый чернильными ливнями, и виднелся мельком фермер с затылком мумии, а за ним тянулись полоски ртутью блестевшей воды между полосками резко-зеленой кукурузы, и все это сочетание раскрывалось веером — где-то в Канзасе.

Там и сям, в просторе равнин, исполинские деревья подступали к нам, чтобы сбиться в подобострастные купы при шоссе и снабдить обрывками гуманитарной тени пикниковые столы, которые стояли на бурой почве, испещренной солнечными бликами, сплющенными картонными чашками, древесными крылатками и выброшенными палочками от мороженного. Моя небрезгливая Лолита охотно пользовалась придорожными уборными — ее пленяли их надписи: “Парни” — “Девки”, “Иван да Марья” “Он” и “Она”, и даже “Адам” и “Ева”; и, пока она там пребывала, я терялся в поэтическом сне, созерцая добросовестную красочность бензиновых приспособлений, выделявшуюся на чудной зелени дубов, или какой-нибудь дальний холм, который выкарабкивался, покрытый рубцами, но все еще неприрученный, из дебрей агрикультуры, старавшихся им завладеть.

По ночам высокие грузовики, усыпанные разноцветными огнями, как страшные и гигантские рождественские елки, поднимались из мрака и громыхали мимо нашего запоздалого седанчика. И снова, на другой день над нами таяла выцветшая от жары лазурь малонаселенного неба, и Лолита требовала прохладительного напитка; ее щеки энергично вдавались внутрь, над соломинкой, и когда мы возвращались в машину, температура там была адская; перед нами дорога переливчато блестела; далеко впереди встречный автомобиль менял, как мираж, очерк в посверке, отражающем его, и как будто повисал на мгновение, по-старинному квадратный и лобастый, в мерцании зноя. И по мере того, как мы продвигались все дальше на запад, появлялись в степи пучки полыни, “сейджбраш” (как назвал ее гаражист) и мы видели загадочные очертания столообразных холмов, за которыми следовали красные курга-

ны в кляксах можжевельника, и затем настоящая горная гряда, бланжевого оттенка, переходящего в голубой, а из голубого в неизъяснимый, и вот пустыня встретила нас ровным и мощным ветром, да летящим песком, да серым терновником, да гнусными клочками бумаги, имитирующими бледные цветы среди шипов на мучимых ветром блеклых стеблях вдоль всего шоссе, посреди которого иногда стояли простодушные коровы, оцепеневшие в странном положении (хвост налево, белые ресницы направо), противоречившем всем человеческим правилам дорожного движения.

Мой адвокат советует мне дать отчетливое и прямолинейное описание нашего маршрута, и теперь я, кажется, достиг точки, где не могу избежать сей докуки. Грубо говоря, в течение того сумасшедшего года (с августа 1947-го до августа 1948-го года) наш путь начался с разных извилин и завитков в Новой Англии; затем зазмеился в южном направлении, так и сяк, к океану и от океана; глубоко окунулся в ce qu'on appelle "Dixieland"; не дошел до Флориды (оттого что там были в это время Джон и Джоана Фарло); повернул на запад; зигзагами прошел через хлопковые и кукурузные зоны (боюсь, милый Клэренс, что выходит не так уж ясно, но я ничего не записывал, и теперь для проверки памяти у меня остался в распоряжении только до ужаса изуродованный путеводитель в трех томиках — сущий символ моего истерзанного прошлого); пересек по двум разным перевалам Скалистые Горы; закрутился по южным пустыням, где мы зимовали; докатился до Тихого Океана; поворотил на север сквозь бледный сиреневый пух калифорнийского мирта, цветущего по лесным обочинам; почти дошел до канадской границы; и затем потянулся опять на восток, через солончаки, иссеченные яругами, через равнины в хлебах, назад к грандиозно развитому земледелию (где мы сделали крюк, чтобы миновать, несмотря на визгливые возражения Лолиточки, родной город Лолиточки, в кукурузно-угольно-свиноводческом районе); и, наконец, вернулся под крыло Востока, пунктирчиком кончившись в университетском городке Бердслей.

2

Просматривая следующие страницы, читатель должен считаться не только с общим маршрутом, намеченным выше, с его многочисленными побочными заездами, туристическими тупиками, вторичными кругами и прихотливыми отклонениями, но также с тем фактом, что, далеко не будучи беспечной partie de plaisir, наше путешествие представляло собой крутое, тугое, телеологическое изветвление, чья единственная raison d'être (эти французские клише показательны) сводилась к тому, чтобы держать мою спутницу в приличном расположении духа от поцелуя до поцелуя.

Перелистываю мой потрепанный путеводитель и смутно вижу опять тот парк Магнолий в южном штате, обошедшийся мне в четыре доллара, который, судя по объявлению, следовало посетить по трем причинам: раз — потому что Джон Галсворти (посредственный, давно окаменевший писатель) провозгласил этот парк прекраснейшим в мире; два — потому что Бэдекер в 1900-ом году его отметил звездочкой; и три — потому что... о читатель, о мой читатель, угадай!.. потому что дети (и не была ли моя Лолита, чорт подери, дитятей?) "пройдут, полные благоговения, с сияющими от умиления глазами, через это предвкушение Рая, впивая красоту, могущую наложить отпечаток на всю их жизнь". "Не на мою", мрачно заметила Лолита и уселась на скамейку с воскресным приложением двух газет на своих хорошеньких коленках.

Мы вновь и вновь прошли через всю гамму американских придорожных ресторанов, от простецкого "Ешь!" с его оленьей головой (помню темный след длинной слезы у внутреннего угла стеклянного глаза), будто бы "юмористическими" цветными открытками с задницами, немецкого "курортного" типа, бумажками оплаченных счетов, посаженными на кол, леденцами в виде лилипутовых спасательных кругов, черными очками на продажу, рекламно-небесными видениями разных родов мороженного по стенам, половиной шоколадного торта под стеклом и несколькими отвратительно опытными мухами, извилисто и быстро пол-

зущими по липкой сахарной сыпалке на мерзком прилавке; и до самого верхнего разряда, до дорогого кабарэ с притушенным светом, уморительно жалким столовым бельем, нелепыми официантами (бывшими каторжниками или подрабатывающими студентами), гнедой спиной киноактрисы, соболиными бровями ее хахаля, да оркестром, состоящим из стиляг с саксофонами.

Нами были осмотрены многие достопримечательности (слоновое слово!): величайший в мире сталагмит, находящийся в знаменитой пещере, где три юговосточных штата празднуют географическую встречу (плата за осмотр в зависимости от возраста: с мужчин — один доллар; с едва опушившихся девочек — шестьдесят центов); гранитный обелиск в память баталии под Блю-Ликс, с древними костями и индейскими горшками в музее по соседству (гривенник с Лолиточки — очень недорого); вполне современная изба, смело подделывающаяся под былую избу, где родился Линкольн; скала с металлической доской в память автора стихотворения "Деревья" (мы заехали тут в Тополевый Дол, Северная Каролина, куда ведет дорога, которую мой добрый, терпимый, обычно столь сдержанный гид, гневно называет "весьма узкой и запущенной", под чем я, хоть и не будучи поклонником поэта Кильмера, готов подписаться). С борта нанятой моторной лодки, которой управлял пожилой, но все еще отталкивающе красивый русский белогвардеец и даже, говорили, барон (у моей дурочки сразу вспотели ладошки), знавший в бытность свою в Калифорнии любезного Максимовича и его Валерию, нам было дано разглядеть недоступную Колонию Миллионеров на острове в некотором расстоянии от берега штата Георгии. Далее, мы осмотрели: собрание европейских отельных открыток в миссисипийском музее, посвященном коллекционерским причудам, где с горячим приливом гордости я выискал цветную фотографию отцовской "Мираны", ее полосатые маркизы, ее флаг, развевающийся над ретушированными пальмами. "Ну и что?" рассеянно отозвалась Лолита, а сама искоса поглядывала на бронзово-загорелого хозяина дорогой машины, последовавшего за нами в этот "музей причуд". Реликвии хлопковой эры. Лес в Арканзасе,

и на ее смуглом плече розово-лиловое вздутье (работа комара или мухи), которое я сжал между длинными ногтями первых пальцев, чтобы выдавить из него чудный прозрачный яд, а потом долго высасывал, пока не насытился вдоволь ее пряной кровью. Улица Бурбона (в городе Новый Орлеан), где тротуары, по словам путеводителя, могут (интересная возможность) служить подмостком для негритят, которые нет-нет (интересный слог) да и спляшут чечотку за несколько пенни (вот весело!), между тем как его многочисленные маленькие интимные ночные кабачки битком набиты посетителями (ишь, шалуны!). Образцы пограничного фольклора. Усадьбы времен до гражданской войны с железными балконами и ручной работы лестницами — теми лестницами, по которым в роскошном цветном кино актрисочка с солнцем обласканными плечами сбегает, подобрав обеими ручками — преграциозно — перёд юбки с воланами (а на верхней площадке преданная, непременно чернокожая, служанка качает головой). Меннингерский Институт, психиатрическая клиника (посещенная чисто из лихости). Участок глинистой почвы в изумительном узоре эрозии, а вокруг цветы юкки, такие чистые, восковые, но отвратительно кишащие какой-то белой молью. Индепенденс, Миссури, где начинался в старину Орегонский Путь; и Абилин, Канзас, где происходят состязания ковбоев под эгидой какого-то "Дикого Билля". Отдаленные горы. Близкие горы. Еще горы: синеватые красавицы, недосягаемые или вечно превращающиеся, одна за другой, в обитаемые холмы; горы восточных штатов — неудачницы, в рассуждении Альп, недоростки; западные колоссы, пронзающие сердце и небо: их серые в снеговых жилах, непреклонные вершины, внезапно появляющиеся при повороте шоссе; заросшие лесом громады, под темной черепицей аккуратно заходящих одна за другую елок, местами прерванной дымчато-бледным осинником; горные формации розовой и лиловой окраски; фараонические, фаллические, "чересчур допотопные" (по выражению блазированной Ло); сопки из черной лавы; апрельские горы с шерсткой по хребту, вроде как у слоненка; горы сентябрьские, сидящие сидьмя, с тяжелыми египетскими членами, сложенными под опада-

ниями изношенного желтого бархата; белесые выцветшие горы в зеленых круглых пятнах дубов; одна последняя ярко-рыжая гора с пышным синим ковром люцерны у подножия.

Еще и еще достопримечательности. Малое Айсберговое Озеро, где-то в Колорадо: сугробы вдоль асфальта, подушечки крохотных альпийских цветочков и снежный склон, по которому Ло, в красной кепке с козырьком, пыталась съехать и распищалась, и попала под обстрел каких-то мальчишек, запустивших в нее снежками, и отвечала той же серебряной монетой. Скелеты обгорелых осин, группы остроконечных синих соцветий. Разные аттракционы живописной дороги в горах, сотни живописных дорог в горах, тысячи Медвежьих Затонов, Шипучих Источников, Крашеных Каньонов. Техас: засухой пораженная равнина. Зал Хрусталей в длиннейшей в мире пещере, вход для детей моложе двенадцати лет свободен (за Лолиту уже плати!). Коллекция домодельных статуэток, оставленная городу местной скульпторшей: закрыто по понедельникам — ужаснейший понедельник, пыль, ветер, сушь. Парк Непорочного Зачатья, в городке на мексиканской границе, через которую я не смел переехать. Там и в других садах, множество сумеречных существ вроде серых колибри, пытающих как бы хоботком венчики неясных цветов. Шекспир, вымерший город в Новой Мексике, где семьдесят лет тому назад бандит "Русский Билль" был повешен со всякими красочными подробностями. Рыборазводная станция. Соты жилищ в отвесной скале. Мумия девочки (индейской современницы флорентийской Беатрисочки). Адский Каньон — двадцатый по счету. Наше пятидесятое преддверие какого-то парадиза, по словам путеводителя, обложка которого к этому времени пропала. Сиеста под елками. Клещ у меня в паху. Всегда те же трое стариков, в шляпах и подтяжках, прохлаждающихся летним вечерком на скамье у городского фонтана. Туманно-голубая бездна за перилами на горном перевале и спины семьи, наслаждающейся видом (меж тем как Лолита — горячо, радостно, дико, напряженно, с надеждой, без всякой надежды — шептала: "Смотри, это Мак-Кристал с семьей, пожалуйста, я прошу

тебя поговорим с ними — поговорим с ними, читатель! — пожалуйста, я сделаю все, что ты хочешь, ах, пожалуйста...). Индейские ритуальные танцы, чисто коммерческого сорта. ART, не "искусство" по английски, а "Американская Рефрижераторская Транзитная" фирма. Очевидная Аризона, индейские поселения, туземные иероглифы, след динозавра в песчаном ущелье — отпечатанный там тридцать миллионов лет тому назад, когда я был ребенком. Худощавый, саженного роста, бледный юнец с подвижным кадыком, пожирающий глазами Лолиту и ее оранжево-коричневый животик между лифчиком и трусиками (который я поцеловал пять минут спустя, мой бедный друг). Зима в пустыне, весна в предгорье, цветущий миндаль. Рино — скучнейший город в Неваде, с ночной жизнью "космополитной и хорошо развитой" (гид). Винный завод в Калифорнии, с церковью, построенной в виде бочки. Долина Смерти. Замок Скотти. Сомнительные произведения искусства, собиравшиеся неким Роджерсом в течение многих лет. Уродливые виллы красивых киноактрис. След ноги английского писателя Р. Л. Стивенсона на потухшем вулкане. Миссия Долорес: славное заглавие для романа. Фестоны, вырезанные в песчанике океанским прибоем. Человек, бьющийся в бурном эпилептическом припадке на голой земле, в штатном парке Русской Теснины. Синее, синее Кратерное Озеро. Рыборазводная станция в штате Идаго и тамошняя каторжная тюрьма. Угрюмый Еллостон Парк и его цветные горячие источники, малютки-гейзеры, булькающие радужные грязи (символы моей страсти). Стадо антилоп в заповеднике. Наша сотая пещера — со взрослых доллар, с Лолиты полтинник. Замок, построенный французским маркизом в Северной Дакоте. Дворец Кукурузы в Южной Дакоте; и гигантские головы президентов, вырубленные в граните реющей вершины. Придорожные плакаты с рекламными стишками бритвенного крема: "Наши строки прочла бородатая Ната, и теперь она стала женою магната". Зоологический парк в Индиане с большой компанией обезьян, обитающей на бетонной реконструкции флагманской каравеллы Христофора Колумба. Миллиарды дохлых, рыбой пахнущих эфемерид на стекле каждого

ресторанного окна вдоль песчаного, скучного озерного берега. Жирные чайки на больших камнях — увиденные с парома “Сити оф Шебойган”, чей бурый, мохнатый дым склонялся дугой над зеленой тенью, отбрасываемой им же на голубую поверхность озера. Вонючий мотель с нагнетательной трубой вентилятора, проходившей под городской канализацией. Дом Линкольна, в большей своей части фальсификация, с настольными книгами и мебелью соответствующего периода, набожно принимаемыми за его личное имущество рядовыми посетителями.

Между нами происходили скандалы, большие и маленькие. Самые крупные произошли в следующих местах: Ажурные Коттеджи, Виргиния; Парковый Проспект, Литль Рок, возле школы; Мильнеровский Перевал, на высоте 10.759 футов, в Колорадо; угол Седьмой Улицы и Центрального Проспекта, в городе Феникс; Третья Улица в Лос Ангелосе (из-за того, что билеты на посещение какой-то киносъемки оказались распроданными); мотель “Тополевая Тень”, Юта, где шесть молодых деревец были ростом не выше Лолиты и где она, à propos de rien, спросила меня, сколько еще времени я собираюсь останавливаться с нею в душных домиках, занимаясь гадостями и никогда не живя как нормальные люди. Северный Проспект в Бэрксе, Орегон, угол Западной Вашингтонской улицы, против гастрономического магазина; какой-то городишко в Солнечной Долине, Идаго, перед кирпичной гостиницей с приятно перемежающимися бледно-розовыми и румяными кирпичами и с тополем напротив, чья струистая тень играла по памятной доске местного Списка Падших. Полынная пустошь между Пайндэлем и Фарсоном. Где-то в Небраске, Главная улица (близ Первого Национального Банка, основанного в 1889 году), с каким-то железнодорожным переездом в пролете улицы, а за ним — белыми органными трубами силоса. И Мак-Евенская улица, угол Уитонского проспекта, в мичиганском городе, носящем его, *его* имя.

Нам стал знаком странный человеческий придорожник, “Гитчгайкер”, Homo pollex ученых, ждущий, чтобы его подобрала попутная машина, и его многие подвиды и раз-

новидности: скромный солдатик, одетый с иголочки, спокойно стоящий, спокойно сознающий прогонную выгоду защитного цвета формы; школьник, желающий проехать два квартала; убийца, желающий проехать две тысячи миль; таинственный, нервный, пожилой господин, с новеньким чемоданом и подстриженными усиками; тройка оптимистических мексиканцев; студент, выставляющий на показ следы каникульной черной работы столь же гордо, как имя знаменитого университета, вытканное спереди на его фуфайке; безнадежная дама в непоправимо испортившемся автомобиле; бескровные, чеканно очерченные лица, глянцевитые волосы и бегающие глаза молодых негодяев в крикливых одеждах, энергично, чуть ли не приапически выставляющих напряженный большой палец, чтобы соблазнить одинокую женщину или сумрачного коммивояжера, страдающего прихотливым извращением.

"Ах, подберем непременно!" часто умоляла Лолита, потирая друг о дружку, ей одной свойственным движением, голые коленки, когда какой-нибудь особенно отталкивающий экземпляр Homo pollex, мужчина моих лет и столь же широкий в плечах, с face à claques безработного актера, шел, оборотясь к нам и пятясь, прямо перед нашим автомобилем.

О, мне приходилось очень зорко присматривать за Лолитой, маленькой млеющей Лолитой! Благодаря, может быть, ежедневной любовной зарядке, она излучала, несмотря на очень детскую наружность, неизъяснимо-томное свечение, приводившее гаражистов, отельных рассыльных, туристов, хамов в роскошных машинах, терракоттовых идиотов у синькой крашеных бассейнов в состояние припадочной похотливости, которая бы льстила моему самолюбию, если бы не обостряла так мою ревность; ибо маленькая Лолита отдавала себе полный отчет в этом своем жарком свечении, и я не раз ловил ее, coulant un regard по направлению того или другого любезника, какого-нибудь, например, молодого подливателя автомобильного масла, с мускулистой золотисто-коричневой обнаженной по локоть рукой в браслетке часов, и не успевал я отойти (чтобы

купить этой же Лолите сладкую сосульку), как уже она и красавец механик самозабвенно обменивались прибаутками, словно пели любовный дуэт.

Когда, во время наших более длительных привалов, я оставался, бывало, в постели, отдыхая после особенно пламенной утренней деятельности, и по доброте душевной (насытившийся, снисходительный Гум!) разрешал ей выйти в сад полюбоваться на розы или даже перейти через улицу и посетить детскую библиотеку в обществе мотельной соседки, некрасивой маленькой Мэри, и восьмилетнего ее братишки, Лолита возвращалась с часовым опозданием: босоногая Мэри плелась далеко позади, а вместо братишки было двое верзил-старшеклассников, золотоволосых гнусов, состоявших из мускулов и гонореи. Читатель может легко представить себе, что я отвечал баловнице, когда она — довольно неуверенно, надобно признать — спрашивала меня, может ли она пойти с представленными мне Карлом и Фредом на роликовый каток.

Помню, как в другом месте, в первый раз, в пыльный, ветряный день, я действительно позволил ей покататься на роликах. Она имела жестокость заметить мне, что ей не будет никакого удовольствия, если я тоже пойду, так как в выбранный ею час ринг специально предназначается для молодежи. После долгого спора мы выработали компромисс: я остался сидеть в автомобиле, остановившись среди других (пустых) машин, поставленных носом к роликовому катку на вольном воздухе; я мог видеть, как под его парусиновым шатром около пятидесяти подростков, многие парами, бесконечно катились по кругу под автоматическую музыку, и ветер серебрил деревья. Моя Долли была в синих ковбойских штанах и белых сапожках, как большинство девочек на катке. Я считал обороты ровно гремящей толпы — и вдруг хватился ее. Когда она опять проехала, то была в сопровождении трех фертов, разговор которых я подслушал несколько минут тому назад: стоя вне ринга, они обсуждали катавшихся девочек — и измывались над прелестной, долголягой красоточкой, явившейся в красных трусиках вместо длинных штанов.

Автомобилиста при въезде в Аризону и Калифорнию спрашивают, не ввозит ли он фруктов или растительных продуктов, и на этих пунктах, бывало, инспектор так пристально всматривался в нас, что бедное мое сердце давало перебой. "А меду не везете?" интересовался он, и моя медовая дурочка покатывалась со смеху. До сих пор вибрирует у меня вдоль оптического нерва образ Лолиты, едущей верхом, — звено в цепи платного тура по вьючным тропам: она тряслась шагом, за дряхлой наездницей и перед красношеим хлыщем-ранчором, а позади него ехал я и глядел на его жирный торс в цветистой рубашке еще более злобно, чем глядит автомобилист на медленный грузовик, поднимающийся перед ним по горной дороге. А не то, в лыжном курорте, я видел ее, уплывавшую от меня, небесную, отрешенную, на эфирном подъемном стуле, все выше и выше, по направлению к сверкающей вершине, где дожидались ее смеющиеся, голые по пояс атлеты.

В каком бы городе мы ни останавливались, я первым делом осведомлялся, с присущей европейцу учтивостью, о местонахождении публичных бассейнов для плавания, музеев, местных школ, о числе детей в ближайшей школе и так далее; и в час отбытия школьного автобуса, улыбаясь и слегка подергиваясь (я обнаружил этот нервный свой тик оттого, что жестокая Лолита первая передразнила его), я останавливался в стратегическом пункте, с моей беглой гимназисткой, сидевшей рядом со мной в машине, и наблюдал за тем, как девочки выходят из школы — картина всегда прелестная. Эти остановки стали вскоре надоедать моей нетерпеливой Лолите, и лишенная, как это случается с детьми, всякого сочувствия к маленьким чужим прихотям, она грубой бранью осыпала меня за требование, чтобы она меня ласкала, пока синеглазые брюнеточки в синих трусиках, рыженькие в зеленых курточках без рукавов, и мальчишеского вида дымчатые блондиночки в полинявших бумажных штанах проходили мимо в сиянии солнца.

Делая некоторую уступку и ее капризам, я широко поддерживал всюду и всегда совместное ее купание с другими девочками. Она обожала сверкающие бассейны и была

очень ловкой ныряльщицей. Я же, в комфортабельном халате, садился в пеструю четырехчасовую тень после собственного скромного погружения в воду, и вот блаженствовал, с фиктивной книгой, или мешочком конфет, или с тем и с другим, или ни с чем, кроме тайно горящих желез, глядя, как она резвится, в резиновом чепчике, вся бисерная от влаги, ровно загорелая, радостная, как на каникульной рекламе, в своих тесных атласных плавках и сборчатом лифчике. Двенадцатилетняя зазноба! Как самодовольно дивился я тому, что она — моя, моя, моя, как нежно я пересматривал наш недавний полдневный сеанс под стоны диких голубей и планировал следующий, предвечерний, и я щурился в стрельчатых лучах и сравнивал мою Лолиту с другими нимфетками, которых скуповатый случай собирал вокруг нее для моего антологического услаждения и разбора; и нынче, положа руку на больное сердце, я, право, не скажу, чтобы кто-нибудь из них возбудил во мне более острое влечение, чем она, или если и возбудил, так только в двух-трех исключительных случаях, при особом свете, при особой смеси ароматов в воздухе — однажды (случай безнадежный) бледная испанская девочка, дочка аристократа с тяжелой челюстью, а другой раз — mais je divague.

Разумеется, мне приходилось быть всегда начеку, ибо я, проницательный ревнивец, отчетливо понимал всю опасность этих ослепительных игр. Стоило мне отвернуться — отойти, например, несколько шагов, чтобы посмотреть, кончили ли убирать нашу хижину — как уже, по возвращении, я заставал внезапную перемену: Лолиточка, les yeux perdus, окуная и полоща длиннопалые ножки в воде, сидела развалясь на каменном краю бассейна, меж тем как с каждой стороны от нее полулежал un brun adolescent, которого русая ее красота и ртуть в младенческих складочках живота несомненно — думал я, о Бодлер! — заставят se tordre в повторных снах в течение многих ночей...

Я попробовал научить ее играть в теннис, дабы иметь с нею больше общих забав; но хотя я в свое время отлично играл, учителем я оказался прескверным; поэтому, в Калифорнии, я настоял, чтобы она взяла некоторое число дорогих уроков у знаменитого бывшего чемпиона, долговязого,

морщинистого старика с целым гаремом мячиковых мальчиков. Вне площадки он казался ужасной развалиной, но иногда во время урока, когда для продления обмена, он позволял себе удар, чистый, как кактусовый цветок, и со струнным звоном возвращал мяч ученице, эта божественная смесь нежной точности и державной мощи напоминала мне, что тридцать лет тому назад, в Канн, я видел, как именно он в пух разбил великого Гобера! До того, как она стала заниматься с ним, я думал, что она никогда не научится играть. На какой-нибудь отельной площадке я, бывало, тренировал мою бездарную девочку, — и передо мной возникали те далекие дни, когда при сильном горячем ветре, в вихре пыли, в тумане странной усталости, я давал мяч за мячом веселой, невинной, изящной Аннабелле (блеск браслетки, плисированная юбочка, черная бархатка вокруг лба). Каждое мое слово, каждый настойчивый совет только усугубляли угрюмую злобу Лолиты. Странно сказать, нашим упражнениям она предпочитала — по крайней мере, до приезда в Калифорнию — бесформенный перешлеп (и бесконечные поиски мячей) с тоненькой, слабенькой, но удивительно хорошенькой — в стиле ange gauche — сверстницей. В качестве зрителя, всегда готового оказать помощь, я подходил к этой чужой девочке и вдыхал ее легкий мускусный запах, пока трогал ее голую руку и держал ее за кисть с выдающейся косточкой или перемещал туда-сюда напором ладони ее прохладную ногу, чтобы добиться лучшей постановки для удара слева. Тем временем Ло, нагнувшись вперед, с солнечно-русыми волосами, падающими через лицо, вбивала ракету, как трость калеки, в землю и испускала страшный крик отвращения, вызванного моим вмешательством. Я оставлял их в покое и, сидя в стороне, с шелковым шарфом вокруг шеи, продолжал на них смотреть и сравнивать их телодвижения. Было это в южной Аризоне, кажется, где зимние дни с ленцой, с теплым исподом. Неуклюжая Лолиточка промахивалась и ругалась или попадала примитивной подачей в сетку и в отчаянии поднимала к небу ракету, показывая влажный, блестящий молодой пух под мышкой, между тем как ее еще более нелепая и не менее прелестная партнерша прилежно

кидалась на каждый мяч и все всегда мазала; но обе они развлекались необычайно и ясными, звенящими голосами, не переставая, вели точный счет в этой своей бессмысленной игре.

Помню, я как-то предложил достать им холодных напитков: поднялся по гравием посыпанной тропинке и вернулся, неся два высоких стакана ананасного сока, с газированной водой и янтарным льдом. Вдруг я почувствовал пустоту в груди и остановился: девочек не было на площадке. Я наклонился, чтобы поставить стаканы на скамью — и почему-то с какой-то ледяной ясностью увидел лицо только что убитой Шарлотты. Я огляделся, и мне показалось, что мелькнула фигура Лолиты в белых трусиках, удалявшаяся сквозь пятнистую тень по садовой дорожке в сопровождении высокого мужчины, который нес две ракеты. Я ринулся за ними, но когда я стал пробиваться с треском через кустарник, то увидел, в вариантном поле зрения (как если бы линия жизни то и дело раздваивалась), мою Лолиту в длинных штанах и ее подругу в трусиках, шагающих взад и вперед по плевелистой полянке и хлещущих ракетами по кустам в беспорядочных поисках последнего потерянного мяча.

Перебирать эти светлые мелочи побуждает меня главным образом желание доказать моим судьям, что я прямо из сил выбивался, чтобы доставить моей Лолите всевозможные удовольствия. Как восхитительно было видеть ее, ребенка, показывающей другому ребенку одно из немногих своих достижений, например, особый способ прыгать со скакалкой! Меньшая нимфетка, прозрачно-бледная красотка с незагорелыми лопатками, держа правой рукой кисть левой за спиной, смотрела во все глаза — как смотрело и павлиное солнце, лежавшее на гравии под цветущими деревьями, посреди моего многоочитого рая — смотрела, как моя веснущатая и вульгарная егоза подпрыгивала, повторяя движения стольких других играющих девочек, видом которых я так упивался на испещренных солнцем, обильно политых, свеже пахнувших тротуарах и парапетах древней Европы. Немного погодя, она возвращала скакалку своей маленькой испанской подруге и в свою очередь смотрела,

наблюдая за повторением урока, иногда отводя волосы со лба, или складывая на груди руки и наступая носком одной ноги на подъем другой, или легко опустив руки на свои еще мальчишеские бедра, и я шел проверить, кончили ли наконец проклятые мотельные горничные убирать наш коттедж; убедившись в этом, я на прощание ласково кивал застенчивой, черноволосой девочке — пажу моей принцессы — и, отеческим жестом глубоко запустив пальцы под кудри Лолиточки, а затем нежно, но крепко обхватив ее за шею, вел мою артачившуюся детку в наш укромный домик для быстрого сопряжения перед обедом.

"Чья это кошка так расцарапала вас, бедного?" восклицала спелая, мясистая, красивая женщина — отталкивающего для меня типа, из тех, которым я всегда особенно нравился, — обращаясь ко мне за табль-д'отом в "большом доме" во время обеда, после которого должны были начаться обещанные Лолите танцы. Вот почему я старался держаться подальше от людей, между тем как Лолита, напротив, делала все возможное, чтобы вовлечь в свою орбиту наибольшее число потенциальных свидетелей.

Она, образно говоря, виляла хвостиком — и даже всем своим маленьким задом, как это делают сучки — когда, бывало, к нам подсыпался осклабившийся незнакомец и заводил бодрый разговор, исходя из сравнения географических данных на номерных знаках наших машин: "Далеко же вы заехали!" Любознательные родители, желая выкачать из Лолиты что-нибудь обо мне, предлагали ей пойти с их детьми в кино, но я всегда за нее отказывался. Мы с ней несколько раз едва не попались. Каскады клозетов преследовали меня, конечно, во всех наших караван-сараях; но я никогда не представлял себе, до чего тонки эти вафельные перегородки в мотелях "соединенного" типа, покуда, както вечером, после слишком громких с моей стороны стонов наслаждения, мужское покашливание за стеной заполнило паузу столь же отчетливо, как если бы я сам прочистил горло; а на другое утро, пока я пил утреннее кофе в молочном баре (Лолита всегда спала поздно и любила, чтобы я ей приносил кувшинчик горячего кофе в постель), мой давешний сосед, пожилой дурак в безрамных очках на длинном

добродетельном носу и с профессиональносоюзным значком в петлице, изловчился преспокойно втянуть меня в беседу, в течение которой поинтересовался, не встает ли моя "супружница" столь же неохотно, как и его, когда не находится дома на ферме; и если бы не душило меня сознание чудовищной опасности, я бы извлек много удовольствия из странного, удивленного выражения, появившегося на его тонкогубом обветренном лице, когда я лаконично ответил, сползая с высокого табурета, что "я, слава Богу, вдов".

Как сладостно было приносить ей это кофе — и не давать его ей, покуда она не исполнит своей утренней обязанности! Каким я был вдумчивым другом, каким страстным отцом, каким внимательным педиатром, обслуживавшим все телесные нужды моей полубрюнеточки! Упрекаю природу только в одном — в том, что я не мог, как хотелось бы, вывернуть мою Лолиту наизнанку и приложить жадные губы к молодой маточке, неизвестному сердцу, перламутровой печени, морскому винограду легких, чете миловидных почек! В особенно тропические дни, в липкой духоте коттеджа, мне нравилось прохладное ощущение кожаного сиденья кресла под моей массивной наготой. Я держал ее у себя на коленях. Она сидела, как обыкновеннейший ребенок, ковыряя в носу, вся поглощенная легким чтением в приложении к газете, столь же равнодушная к проявлению моего блаженства, как если бы это был случайный предмет, на который она села — башмак, например, или кукла, или рукоятка ракеты — и который она не вынимала из-под себя просто по лени. Глазами она прослеживала приключения своих любимых персонажей на страничке юмора (среди них была хорошо нарисованная неряха-девчонка в белых носочках, скуластенькая и угловатая, которой я сам не прочь был бы насладиться). Любила изучать подробности на фотографиях фатальных автомобильных столкновений. Никогда не сомневалась в реальности места, времени и обстоятельств, будто бы относившихся к рекламным снимкам голоногих красавиц. И до странности увлекалась портретами провинциальных невест, некоторые из которых

были в полном венчальном облачении, с букетами в руках и очками на носу.

На нее садилась муха и прогуливалась в окрестностях ее пупочка или принималась исследовать нежные, бледные венчики сосцов. Она пыталась поймать ее в кулак (Шарлоттин способ) и затем обращалась к отделу "Посмотрим, насколько вы сообразительны".

"Посмотрим, насколько вы сообразительны. Думаете ли вы, что было бы меньше преступлений против нравственности, если бы девочки придерживались некоторых правил. Не играли бы поблизости общественных уборных. Не принимали бы ни сластей от чужих, ни предложения "прокатиться". Записывали бы номер автомобиля, подобравшего их..."

"...и фабричную марку сластей", подсказал я.

Она продолжала, отодвигая щеку от моей наступавшей щеки (и это был, заметь, еще легкий день, о мой читатель!) —

"Если нет у тебя карандаша, но ты уже умеешь читать —"

"Мы", вставил я шутливо, "*средневековые* мореходы, положили в эту бутылку..."

"Если", повторила она, "у тебя нет карандаша, но если ты уже умеешь читать и писать — вот что он хочет сказать, понимаешь теперь, балда? — то попробуй нацарапать номер на земле при дороге..."

..."своими коготками, Лолита".

3

Она вошла в мою страну, в лиловую и черную Гумбрию, с неосторожным любопытством; она оглядела ее с пренебрежительно-неприязненной усмешкой; и теперь мне казалось, что она была готова отвергнуть ее с самым обыкновенным отвращением. Никогда не вибрировала она под моими перстами, и визгливый окрик ("что ты, собственно говоря, делаешь?") был мне единственной наградой за все старания ее растормошить. Чудесному миру, предлагаемому ей, моя дурочка предпочитала пошлейший фильм, при-

торнейший сироп. Подумать только, что выбирая между сосиской и Гумбертом — она неизменно и беспощадно брала в рот первое. Не помню, упомянул ли я название бара, где я завтракал, в предыдущей главке? Он назывался так: "Ледяная Королева". Улыбаясь не без грусти, я сказал Лолите: "А ты — моя ледяная принцесса". Она не поняла этой жалкой шуточки.

О, не хмурься, читатель! Я вовсе не стремлюсь создать впечатление, что мне не давалось счастье. Милый читатель должен понять, что странник, обладающий нимфеткой, очарованный и порабощенный ею, находится как бы за пределом счастья! Ибо нет на земле второго такого блаженства, как блаженство нежить нимфетку. Оно "вне конкурса", это блаженство, оно принадлежит к другому классу, к другому порядку чувств. Да, мы ссорились, да, она бывала прегадкой, да, она чинила мне всякие препятствия, но невзирая на ее гримасы, невзирая на грубость жизни, опасность, ужасную безнадежность, я все-таки жил на самой глубине избранного мной рая — рая, небеса которого рдели как адское пламя, — но все-таки, рая.

Иной опытный психиатр, который сейчас изучает мой труд — и которого д-р Гумберт успел погрузить, надеюсь, в состояние кроличьего гипноза — несомненно очень хотел бы, чтобы рассказчик повез свою Лолиту на берег моря и там бы нашел по крайней мере "гратификацию" давнего позыва, а именно избавление от "подсознательного" наваждения незавершенного детского романа с изначальной маленькой мисс Ли.

Что ж, товарищ доктор, позвольте вам сказать, что я действительно искал пляжа, хотя должен вдобавок признаться, что к тому времени, как мы добрались до этого миража серой воды, моя спутница уже подарила мне столько услад, что мечта о "Приморском Королевстве", о "Сублимированной Ривьере" и тому подобном давно перестала быть глубинным порывом и свелась к рассудочной погоне за чисто теоретическим переживанием. Эдгаровы ангелы это знали — и устроили дело соответствующим образом. Посещение вполне убедительного лукоморья на Атлантической стороне оказалось вконец испорченным

скверной погодой: тяжелое, промозглое небо, илистые волны, присутствие необъятного, хоть и вполне заурядного тумана — что могло дальше отстоять от четких чар, от лазоревой обстановки и румяных обстоятельств моего средиземноморского приключения? Два-три полутропических пляжа на Мексиканском Заливе были достаточно солнечны, но усыпаны ядовитыми, звездистыми или студенистыми тварями, и обдуваемы ураганным ветром. Наконец, на калифорнийском побережьи, против призрака Тихого Океана, я нашел особый род уединения в пещере, до которой доносились, с отрезка пляжа за гнилыми деревьями, вопли нескольких девочек-скаутов, купавшихся впервые при сильном прибое; но туман нависал как мокрое одеяло, песок был неприятно зернистый и клейкий, и Лолита вся покрылась гусиной кожей и зернами песка, и (единственный раз в жизни!) я имел к ней не больше влечения, чем к ламантину. Однако мои ученые читатели, может быть, воспрянут духом, когда я объясню им, что, даже ежели бы мы набрели где-нибудь на отзывчивый к нам морской бережок, было бы поздно, ибо мое настоящее "освобождение" пришло гораздо раньше: в тот миг, именно, когда Аннабелла Гейз, она же Долорес Ли, она же Лолита, явилась мне, смугло-золотая, на коленях, со взглядом, направленным вверх, на той убогой веранде, в фиктивной, нечестной, но отменно удачной приморской комбинации (хотя ничего не было по соседству, кроме второсортного озера).

На этом закончу перечень особых ощущений, зависевших, если не происходивших, от постулатов современной психиатрии. Посему я отказался и заставил Лолиту отказаться от пляжей, которые только наводили уныние, если были пустынны, или слишком были населены, если их обливало солнце. С другой же стороны, меня еще преследовали воспоминания о моих безнадежных скитаниях в городских парках Европы, а потому я не переставал интересоваться возможностью любовных игр под открытым небом и искать подходящих мест на том "лоне природы", где я некогда претерпел столько постыдных лишений. Судьба и тут мне перечила. Разочарования, которые я теперь хочу зарегистрировать (тихонько отклоняя мою по-

весть в сторону тех беспрестанных рисков и страхов, которые сопровождали мое счастье), никак не должны бросать тень на американскую глушь — лирическую, эпическую, трагическую, но никогда не похожую на Аркадию. Она прекрасна, душераздирающе прекрасна, эта глушь, и ей свойственна какая-то большеглазая, никем не воспетая, невинная покорность, которой уже нет у лаковых, крашеных, игрушечных швейцарских деревень и вдоволь прославленных Альп. Бесчисленные любовники лежали в обнимку, целуясь, на ровном газоне горных склонов Старого Света, на пружинистом, как дорогой матрац, мху, около удобного для пользования, гигиенического ручейка, на грубых скамьях под украшенными вензелями дубами и в столь многих лачугах под сенью столь многих буковых лесов. Но в американской глуши любитель вольного воздуха не найдет таких удобных возможностей предаться самому древнему из преступлений и забав. Ядовитые растения ожгут ягодицы его возлюбленной, безыменные насекомые в зад ужалят его; острые частицы лесного ковра уколют его в коленища, насекомые ужалят ее в коленки; и всюду кругом будет стоять непрерывный шорох потенциальных змей — что говорю, полувымерших драконов! — между тем как похожие на крохотных крабов семена хищных цветов прилепляются, в виде мерзкой изумрудной корки, равно и к черному носку на подвязке, и к белому неподтянутому носочку.

Немножко преувеличиваю. Как-то в летний полдень, чуть ниже границы распространения леса, где небесного оттенка соцветия (я бы их назвал шпорником) толпились вдоль журчащего горного потока, мы наконец нашли, Лолита и я, уединенное романтическое место, приблизительно в ста футах над перевалом, где мы оставили автомобиль. Склон казался неисхоженным. Последняя запыхавшаяся сосна остановилась для заслуженной передышки на скале, до которой долезла. Сурок свистнул, увидя нас, и исчез. Я разложил плед для Лолиты. Под ним тихо потрескивала травяная сушь. Киприда пришла и ушла. Зазубренная скала, венчавшая верхний скат, и заросль кустарника ниже нашего ложа как будто должны были нас защитить и от

солнца и от человека. Увы, я не учел присутствия слабо отмеченной боковой тропинки, подловато вилявшей между кустами и камнями неподалеку от нас. Вот тогда-то мы едва не попались; немудрено, что этот случай навсегда излечил меня от тоски по буколике.

Помнится, операция была кончена, совсем кончена, и она всхлипывала у меня в объятиях — благотворная буря рыданий после одного из тех припадков капризного уныния, которые так участились за этот в общем восхитительный год. Я только что взял обратно какое-то глупое обещание, которое она вынудила у меня, пользуясь слепым нетерпением мужской страсти, и вот она теперь раскинулась на пледе, обливаясь слезами и щипля мою ласковую руку, а я радостно смеялся, и отвратный, неописуемый, невыносимый и — как я подозреваю — вечный ужас, который я *ныне* познал, был *тогда* лишь черной точечкой в сиянии моего счастья; и вот так мы лежали, когда я испытал одну из тех встрясок, которые в конце концов выбили мое бедное сердце из колеи, ибо я вдруг встретился с темными, немигающими глазами двух странных и прекрасных детей, фавненка и нимфетки — близнецов, судя по их совершенно одинаковым плоским черным волосам и бескровным личикам. Они припали к земле, уставившись на нас, и синева их одинаковых костюмчиков сливалась с синевой горных цветов. Отчаянным движением я подхватил плед, чтобы им прикрыться, — и одновременно нечто, похожее на пушбол в белых горошинках, начало поворачиваться в кустах около нас, превращаясь постепенно в разгибавшуюся спину толстой стриженой брюнетки, которая машинально прибавила еще одну дикую лилию к своему букету, оглядываясь на нас через головы своих очаровательных, из синего камня вырезанных детей.

Ныне, когда у меня на совести совсем другая беда, я знаю, что я смелый человек, но в те дни мне это было невдомек, и я помню, что удивился собственному хладнокровию. Прошептав одно из тех сдержанных приказаний, которые, несмотря на ужас положения, даешь растерянно-скорчившемуся животному — (какой безумной надеждой или ненавистью трепещут бока молодого зверя, какие чер-

ные звезды разрываются в сердце у дрессировщика!), я заставил Лолиту встать, и мы важно удалились, а потом с неприличной поспешностью сползли к дороге, где остался автомобиль.

За ним стояла щегольская машина семейного образца, и красивый ассириец с сине-черной бородкой, un monsieur très bien, в шелковой рубашке и багровых штанах, по всей видимости муж ботанизировавшей толстухи, с серьезной миной снимал фотографию надписи, сообщавшей высоту перевала. Она значительно превышала 10.000 футов, и я задыхался. С хрустом песка и с заносом мы тронулись, причем Лолита все еще доодевалась, беспорядочно возясь и ругая меня такими словами, какие, по-моему, девочкам не полагается знать, а подавно употреблять.

Случались и другие неприятности. Раз в кино, например. В то время Лолита еще питала к нему истинную страсть (которая сократилась потом до вялой снисходительности, когда она опять стала ходить в гимназию). Мы просмотрели за один год, с неразборчивым упоением, около ста пятидесяти или даже двухсот программ, причем иногда нам приходилось видеть ту же хронику по несколько раз, оттого что различные главные картины сопровождались одним и тем же выпуском киножурнала, тянувшимся за нами из городка в городок. Больше всего она любила следующие сорта фильмов, в таком порядке: музыкально-комедийные, гангстерские, ковбойские. Во-первых, настоящим певцам и танцорам, участвующим в них, приписывались не настоящие сценические карьеры в какой-то — в сущности "гореупорной" — сфере существования, из которой смерть и правда были изгнаны, и в которых седовласый, умиленный, в техническом смысле бессмертный отец, сначала неодобрительно относившийся к артистической карьере сумасбродной дочери, неизменно кончал тем, что горячо аплодировал ей на премьере в дивном театре. Мир гангстеров был особенный: там героические репортеры подвергались страшным пыткам, телефонные счета доходили до миллиардов долларов и, в мужественной атмосфере неумелой стрельбы, злодеи преследовались через сточные трубы и пакгаузы патологически-бесстрашными полицей-

скими (мне было суждено доставить им меньше хлопот). Были, наконец, фильмы "дикого запада" — терракотовый пейзаж, краснолицые, голубоглазые ковбои, чопорная, но прехорошенькая учительница, только что прибывшая в Гремучее Ущелье, конь, вставший на дыбы, стихийная паника скота, ствол револьвера, пробивающий со звоном оконное стекло, невероятная кулачная драка, — во время которой грохается гора пыльной старомодной мебели, столы употребляются, как оружие, сальто спасает героя, рука злодея, прижатая героем к земле, все еще старается нащупать оброненный охотничий нож, дерущиеся крякают, отчетливо трахает кулак по подбородку, нога ударяет в брюхо, герой, нырнув, наваливается на злодея; и тотчас после того, как человек перенес такое количество мук, что от них бы слег сам Геракл (мне ли не знать этого ныне!), ничего не видать, кроме довольно привлекательного кровоподтека на бронзовой скуле разогревшегося героя, который обнимает красавицу-невесту на дальней границе цивилизации. Мне вспоминается дневное представление в маленьком затхлом кинематографе, битком набитом детьми и пропитанном горячим душком кинолакомства — жареных кукурузных зерен. Всходила желтая луна над мурлыкающим гитаристом в нашейном платке; он поставил ногу на сосновое бревно и пощипывал струны, и я — совершенно невинно — закинул руку за плечо Лолиты и щекой приблизился к ее виску, как вдруг — две ведьмы за нами стали бормотать престранные вещи — не знаю, правильно ли я понял, но то, что я наполовину расслышал, заставило меня снять с нее мою ласковую руку, и, конечно, остальная часть фильма прошла для меня в тумане.*

Тут мне приходится сделать странное признание. Вы будете смеяться — но если сказать всю правду, мне как-то никогда не удалось в точности выяснить юридическую сторону положения. Не знаю его до сих пор. О, разумеется, кое-какие случайные сведения до меня дошли. Алабама запрещает опекуну менять местожительство подопечного ребенка без разрешения суда; Миннесота, которой низко

---

* См. стр. 670.

кланяюсь, предусматривает, что если родственник принимает на себя защиту и опеку дитяти, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, авторитет суда не пускается в ход. Вопрос: может ли отчим обаятельной до спазмы в груди, едва опушившейся душеньки, отчим всего с одномесячным стажем, неврастеник-вдовец с небольшим, но самостоятельным доходом в настоящем, и с парапетами Европы, разводом и сидением в нескольких сумасшедших домах в прошлом, может ли он считаться родственником и, следственно, естественным опекуном? И если нет, должен ли я, смею ли я, оставаясь в пределах разумного, уведомить какой-нибудь отдел Общественного Призрения и подать прошение (как это собственно подают прошение?) и допустить, чтобы представитель суда расследовал быт кроткого, но скользкого Гумберта и опасной Долорес Гейз? Из многочисленных книг о браке, растлении и удочерении, в которые я, таясь, заглядывал в публичных библиотеках больших и малых городов, я ничего не вычитал, кроме темных намеков на то, что государство — верховный опекун девочек в нежнейшем возрасте. Пильвен и Запель, если правильно я запомнил их имена, авторы внушительного труда о брачных законах, совершенно игнорировали отчимов с сиротками, оставшимися у них на руках и коленях. Лучший мой друг, выпушенная ведомством социального обеспечения монография (Чикаго, 1936 г.), которую ни в чем не повинная старая дева выкопала для меня с большим трудом из пыльных глубин библиотечного склада, утверждала следующее: “Не существует такого правила, чтобы всякий несовершеннолетний должен был иметь опекуна; роль суда пассивная, и он только тогда приходит в действие, когда положение ребенка явно становится угрожающим”. Я пришел к заключению, что человек назначается опекуном только после того, что он выразит торжественное и формальное желание сделаться оным; но целые месяцы могут пройти, пока его вызовут на слушание его дела и позволят ему отрастить пару сизых крыл, приличных его чину, а между тем прекрасное демонское дитя законом предоставляется самому себе, что в сущности и относится к Долорес Гейз. Затем слушается дело. Два-три вопроса со стороны

судьи, два-три успокоительных ответа со стороны адвоката, улыбки, кивок, моросящий дождик на дворе, — и утверждение в должности сделано. И все-таки я не дерзал. Не соваться, быть мышью, лежать, свернувшись в норе! Суд начинал развивать судорожную деятельность только тогда, когда впутывался денежный вопрос: два корыстных опекуна, обокраденная сирота, третий — еще более зубастый — участник... Но в данном случае все было в совершенном порядке, давно сделан был инвентарь, и небольшое материнское наследство ждало в полной неприкосновенности совершеннолетия Долорес Гейз. Благоразумнейшим курсом, казалось, было воздержание от подачи прошения. Да, но не вмешается ли какая-нибудь организация, вроде Человеколюбивого Общества, если буду держаться *слишком* тихо?

Дружески настроенный Фарло, который был чем-то вроде судебного ходатая и мог бы, вероятно, дать солидный совет, слишком был занят раковым заболеванием жены, чтобы сделать больше того, что обещал, а именно — продолжать заботиться о тощем имуществе Шарлотты, покуда я не оправлюсь, весьма постепенно, от потрясения, произведенного на меня ее смертью. Я твердо внушил ему, что Долорес — моя незаконная дочь, и поэтому не мог ожидать, чтобы он вчуже интересовался положением. Как читатель успел, вероятно, смекнуть, делец я никудышный; но, конечно, ни лень, ни незнание не должны бы были помешать мне искать профессиональной подмоги на стороне. Останавливало меня ужасное чувство, что, коли стану приставать к судьбе и стараться обосновать и осмыслить ее баснословный подарок, этот подарок будет вдруг отнят у меня, как тот чертог на вершине горы в восточной сказке, который исчезал, лишь только тот или иной покупатель спрашивал сторожа, отчего это издали так ясно виднеется полоска закатного неба между черной скалой и фундаментом.

Я подумал, что в Бердслее (где находится Бердслейский Женский Университет) я наверное отыщу те справочники, с которыми мне еще не удалось ознакомиться, как например, трактат Вернера "Об американском законе опекунства" или некоторые брошюры, издаваемые Детским Бюро. Я решил, кроме того, что для Лолиты все будет лучше, чем

деморализирующее безделье, в котором она пребывала. Мне удавалось заставить ее оказать мне столько сладких услуг — их перечень привел бы в величайшее изумление педагога-теоретика; но ни угрозами, ни мольбами я не мог убедить ее прочитать что-либо иное, чем так называемые "книги комиксов" или рассказы в журнальчиках для американского прекрасного пола. Любая литература рангом чуть выше отзывалась для нее гимназией, и хотя она была не прочь когда-нибудь попробовать Сказки Шехерезады или "Маленькие Женщины", она категорически отказывалась тратить "каникулы" на такие серьезные, ученые книги.

Мне теперь думается, что было большой ошибкой вернуться на восток и отдать ее в частную гимназию в Бердслее, вместо того чтобы каким-нибудь образом перебраться через мексиканскую границу, благо было так близко, и притаиться годика на два в субтропическом парадизе, после чего я мог бы преспокойно жениться на маленькой моей креолке; ибо, признаюсь, смотря по состоянию моих гланд и ганглий, я переходил в течение того же дня от одного полюса сумасшествия к другому — от мысли, что около 1950-го года мне придется тем или иным способом отделаться от трудного подростка, чье волшебное нимфетство к тому времени испарится, — к мысли, что при некотором прилежании и везении мне, может быть, удастся в недалеком будущем заставить ее произвести изящнейшую нимфетку с моей кровью в жилах, Лолиту Вторую, которой было бы восемь или девять лет в 1960-ом году, когда я еще был бы dans la force de l'âge; больше скажу — у подзорной трубы моего ума или безумия, хватало силы различить в отдалении лет un vieillard encore vert (или это зелененькое — просто гниль?), странноватого, нежного, слюнявого д-ра Гумберта, упражняющегося на бесконечно прелестной Лолите Третьей в "искусстве быть дедом", воспетом Виктором Гюго.

В дни этого нашего дикого странствования, не сомневаюсь, что как отец Лолиты Первой я был до смешного неудовлетворительным. Впрочем, я очень старался. Я читал и

перечитывал книжку с ненамеренно библейским заглавием "Познай свою дочь", достав ее в том же магазине, где я купил Лолите, в ее тринадцатый день рождения, роскошное, как говорится в коммерции, издание, с "красивыми" иллюстрациями, "Русалочки" Андерсена. Но даже в лучшие наши мгновения, когда мы читали в дождливый денек (причем Лолитин взгляд все перелетал от окна к ее наручным часикам и опять к окну), или хорошо и сытно обедали в битком набитом "дайнере" (оседлом подобии вагона-ресторана), или играли в дурачки, или ходили по магазинам, или безмолвно глазели с другими автомобилистами и их детьми на разбившуюся, кровью обрызганную машину и на женский башмачок в канаве (слышу, как Лолита говорит, когда опять трогаемся в путь: "Вот это был точно тот тип спортивных туфель, который я вчера так тщетно описывала кретину-прикащику!") — во все эти случайные мгновения я себе казался столь же неправдоподобным отцом, как она — дочерью. Может быть, думал я, эта на бегство похожая перемена мест так пагубно влияет на нашу способность мимикрии? Может быть, постоянное местожительство и рутина школьной жизни внесут некоторое улучшение?

В выборе Бердслея я руководился не только тем, что там была сравнительно приличного тона женская гимназия, но и тем, что там находился известный женский университет. Мне хотелось быть casé, хотелось прикрепиться к какой-нибудь пестрой поверхности, с которой бы незаметно слились мои арестантские полоски. Вот мне и вспомнился хорошо знакомый мне профессор французской литературы в Бердслейском университете: добряк употреблял в классах мной составленные учебники и даже пригласил меня однажды приехать прочесть лекцию. Лекторство в женском университете никак не могло меня соблазнить, конечно, ибо я (как было уже раз отмечено на страницах сей исповеди) мало знаю внешностей гаже, чем тяжелые отвислые зады, толстые икры и прыщавые лбы большинства студенток (может быть, я в них вижу гробницы из огрубевшей женской плоти, в которых заживо похоронены мои нимфетки!); но я тосковал по ярлыку, жизненному фону,

личине, и как вскоре расскажу, существовала еще особая и довольно причудливая причина, почему общество милого Гастона Годэна могло бы мне послужить исключительно верной защитой.

Был, наконец, вопрос денег. Мой доход не выдерживал трат, причиняемых нашей увеселительной поездкой. Я, правда, старался выбирать хижины подешевле; но то и дело бюджет наш трещал от стоянок в шумных отелях-люкс или претенциозных "дудках" (псевдоранчо для фатов). Потрясающие суммы уходили также на осмотр достопримечательностей и на Лолитин гардероб, да и старый Гейзовский рыдван, хотя был жилистой и весьма преданной машиной, постоянно нуждался в более или менее дорогом ремонте. В одной из книжечек маршрутных карт блокнотного типа, случайно уцелевшей среди бумаг, которыми власти милостиво разрешили мне пользоваться для этих записок, я нашел кое-какие набросанные мною выкладки, из которых следует, что за экстравагантный 1947—48 год, от одного августа до другого, кров и стол стоили нам около 5.500 долларов, а бензин, масло и починки — 1.234; почти столько же ушло на разные дополнительные расходы, так что за сто пятьдесят дней действительной езды (мы покрыли около 27.000 миль!), да приблизительно двести дней промежуточных стоянок, скромный рантье Гумберт потратил 8.000 долларов или, скажем, даже 10.000, ибо я по непрактичности своей забыл, верно, немало статей.

И вот мы двинулись опять на восток: я, скорее опустошенный, чем окрыленный торжеством страсти, она, пышущая здоровьем, с расстоянием между подвздошными косточками все еще не больше, чем у мальчика, хотя рост у нее увеличился на два вершка, а вес на восемь американских фунтов. Мы побывали всюду. Мы, в общем, ничего не видали. И сегодня я ловлю себя на мысли, что наше длинное путешествие всего лишь осквернило извилистой полосой слизи прекрасную, доверчивую, мечтательную, огромную страну, которая задним числом свелась к коллекции потрепанных карт, разваливающихся путеводителей, старых шин и к ее всхлипыванию ночью — каждой, каждой ночью, — как только я притворялся, что сплю.

4

Когда сквозь гирлянды теней и света мы подкатили к номеру 14 по улице Тэера, нас встретил серьезный маленький мальчик с ключами и запиской от Гастона, снявшего для нас этот дом. Моя Лолита, не удостоив ни единым взглядом свою новую обитель, слепо включила радио, к которому инстинкт тотчас привел ее, и повалилась на диван в гостиной с пачкой старых иллюстрированных журналов, которую с той же незрячей точностью она раздобыла, запустив руку в нижнюю анатомию диванного столика.

Мне в сущности все равно было, где жить, при условии, чтобы можно было где-нибудь запереть Лолиту; но, вероятно, в течение переписки с неопределенно выражавшимся Гастоном я неопределенно вообразил кирпичную, плющом обвитую виллу. На самом же деле новое наше жилище походило удручающим образом на Гейзовский дом (до которого было всего лишь четыреста миль): такая же скучная постройка из серых досок с гонтовой крышей и тускло-зелеными маркизами; и комнаты, хоть были меньше и обставлены в более строго плюшево-тарелочном стиле, представляли сходное расположение. Мой кабинет, однако, оказался неожиданно просторным помещением, выложенным с пола до потолка этак двумя тысячами книг по химии — наука, которую преподавал в Бердслейском университете мой уехавший на год домохозяин.

Я понадеялся было, что Бердслейская женская гимназия, дорогая школа для приходящих учениц, с полдневным завтраком и эффектным гимнастическим залом, не только пестует все эти молодые тела, но также дает некоторую основную пищу молодым умам. Гастон Годэн, который редко бывал прав в своих суждениях об американском быте, предупредил меня, что школа, должно быть, одна из тех, где, по его выражению (как иностранца его тянуло к таким фразам), "учат правилам не столько грамматическим, сколько ароматическим". Боюсь, что даже этого она не достигала.

При первом моем свидании с начальницей, мисс Пратт, она выразила одобрение по поводу "милых голубых глазок"

моей дочки (это у Лолиты-то голубые глазки!) и моей дружбы с "нашим гениальным французом" (это Гастон-то — гений!), а затем, передав Долли некоей мисс Корморант, она наморщила лоб, как бы собираясь с мыслями и после паузы начала так:

"Мы не особенно стремимся, мистер Гумбард, к тому, чтобы наши ученицы становились книжными червями или умели отбарабанить названия всех европейских столиц — которых все равно никто не знает, — или там знали бы наизусть годы забытых сражений. Что нас действительно интересует, это — приспосабливание ребенка к жизни группы. Вот почему мы придаем такое значение танцам, дебатам, любительским спектаклям и встречам с мальчиками. Перед нами встают некоторые факты. Ваша прелестная Долли скоро вступит в возрастную группу, где такие термины, как "кавалеры", "выходить с кавалером", "выходное платье" и тому подобное, будут так же важны для нее, как для вас, скажем, "коммерческие дела", "коммерческие связи", "коммерческий успех", а для меня (тут она фальшиво улыбнулась) — благополучие моих учениц. Доротея Гумбард уже вовлечена в целую систему социальной жизни, которая состоит — нравится ли это нам или нет — из сосисочных киосков, молочных баров, солодовых и коковых напитков, кинокартин, танцулек, ночных пикников на пляже и даже парикмахерских вечеринок, на которых девочки друг дружку причесывают! Разумеется, Бердслейская гимназия относится отрицательно к некоторым из этих интересов, а иные из них мы отводим на другие, более конструктивные рельсы. Мы всегда стараемся повернуться спиной к туману, а лицом — прямо к солнцу! Короче говоря, хотя мы и пользуемся некоторыми методами формального образования, нас больше занимает коммуникация, чем композиция, т. е. как бы мы ни уважали Шекспира и других, мы хотим, чтобы наши девочки свободно *сообщались* с живым миром вокруг них вместо того, чтобы углубляться в заплесневелые фолианты. Правда, мы все еще продвигаемся ощупью, но делаем мы это рационально, как гинеколог, прощупывающий опухоль. Мы на все смотрим, доктор Гумбург, с органической и организационной точки

зрения. Мы отделались от целой массы никчемных предметов, которые по традиции некогда предлагались девицам на изучение, не оставляя времени для практических сведений и прикладных искусств, и всех тех сведений, которые им понадобятся, когда они станут устраивать свою жизнь и — как циник мог бы добавить — жизнь мужа. Мистер Гумберсон, позвольте мне это выразить так: знать точное положение планеты несомненно важно, но знать, где наиболее целесообразное место на кухне для холодильника, может быть, еще важнее для будущей молодой хозяйки. Вы говорите, что все что вы хотите, чтобы девочка получила от школы, это — хорошее образование. Но как вы понимаете понятие — "образование"? В прежние дни это было преимущественно словесным явлением; иначе говоря, вы могли бы заставить ребенка зазубрить хорошую энциклопедию, и он знал бы, пожалуй, больше, чем школа может дать. Доктор Гуммер, отдаете ли вы себе отчет в том, что для современного подростка какой-нибудь средневековый поход представляет меньше жизненной ценности, чем поход (она чуть не подмигнула) в кафетерию с молодым человеком? Это я повторяю шутку, которую на днях позволила себе наша психоаналитичка. Мы живем не только в мире идей, но в мире вещей. Слова без практического опыта не имеют смысла. Что, собственно говоря, может значить для Доротеи Гуммерсон какая-нибудь Греция или Ближний Восток с их гаремами и рабынями?"

Эта программа меня сперва несколько смутила; но я посоветовался с двумя умными дамами, в прошлом связанными с школой, и они уверили меня, что девочки там много и основательно читают и что весь этот вздор насчет "коммуникации" — просто рекламная шумиха, имеющая целью придать старомодной Бердслейской гимназии полезный в финансовом смысле "модерный" оттенок, хотя на самом деле она осталась столь же чопорной, как чепец.

Другое, что мне понравилось в этой именно школе, рассмешит, пожалуй, некоторых моих читателей; но для меня оно представлялось очень важным, ибо уже так я устроен. Дело в том, что через улицу, как раз против нашего дома, я заметил брешь между зданиями — сорную пус-

тошь с ярко-окрашенными кустами, кучу кирпичей, несколько в беспорядке лежащих досок и лилово-палевую пену убогих осенних цветов; через эту брешь можно было разглядеть в мреющей дали отрезок Школьной улицы, идущей параллельно нашей, Тэеровской, а за этим отрезком — школьную площадку для игр. Помимо психологического утешения от смежности Доллиного дня с моим, доставляемого мне этой комбинацией, я сразу предугадал удовольствие, которое получу, рассматривая с постели в моем кабинете, при помощи мощного бинокля, статистически неизбежный процент нимфеток среди девочек, играющих вокруг Долли во время большой перемены. К сожалению, в первый же школьный день явились рабочие и построили забор поперек пустоши, после чего очень скоро за забором выросло сооружение из желтого дерева, которое наглухо закрыло мою волшебную брешь. Когда же они нагромоздили достаточно материала, чтобы мне напортить, эти абсурдные строители прервали работу и никогда не появились опять.

5

На Тэеровской улице — одной из лучших неторговых улиц, под зелеными, рыжими, золотыми древесными шатрами маститого университетского городка — неизбежно было, чтобы завелись личности, встречающие вас учтивым лаем метеорологических приветствий. Я гордился точной температурой моих отношений с ними: ни малейшей грубости, но полная отчужденность. Мой сосед на запад от меня, который мог быть дельцом или профессором, или тем и другим, заговаривал со мной, бывало, пока он брил газон или поливал автомобиль, или, несколько позднее, размораживал проезд к крыльцу (наплевать, если все эти глаголы не подходят), но мое отрывистое буркание, будучи лишь в такой мере членораздельным, что звучало как трафаретное согласие или вопросительное заполнение паузы, мешало какому-либо развитию фамильярных отношений. Из двух домов по сторонам недолговечной пустоши напро-

тив нас один был заколочен, а в другом жили две профессорши английской словесности, твидовая, коротко-волосая мисс Лестер и блекло-женственная мисс Фабиан: их единственной темой во время наших кратких тротуарных бесед были (я благословлял их такт!) юная прелесть моей дочери и "наивный шарм" Гастона Годэна. Соседка моя с восточной стороны была значительно опаснее всех. Эта банальная проныра вышла прямо из фарса. Ее покойный брат был когда-то "причастен к университету" — в качестве старшего сторожа. Помню, как она раз остановила Долли на улице, пока я стоял у окна в гостиной, лихорадочно ожидая возвращения из школы моей голубки. Омерзительная старая дева, пытаясь скрыть болезненное любопытство под маской приторного доброхотства, опиралась на свой тощий, как трость, зонтик (крупа только что прекратилась, бочком выскользнуло холодное, мокрое солнце), а Долли, в расстегнутом, несмотря на гнилую стужу, коричневом пальто, стояла, прижимая к животу двухэтажную постройку из нескольких книг на бюваре (так у них было в моде носить учебники); ее розовые колени виднелись между краем юбки и неуклюжими голенищами длинных резиновых сапог, и придурковатая, растерянная улыбочка то появлялась, то потухала на ее курносом лице, которое — может быть вследствие бледного зимнего света — казалось почти некрасивым, вроде как у простенькой немецкой Mägdelein; и вот так она стояла и старалась справиться с вопросами мисс Восток: "А где твоя мама, милая? А чем занимается твой бедный отец? А где вы жили раньше?" Другой раз эта гнусная тварь ко мне подошла на углу с приветственным подвыванием, — но мне удалось избежать разговора; а несколько дней спустя от нее пришла записка в конверте с темно-синим ободком: тонко мешая патоку с ядом, она предлагала Долли прийти к ней как-нибудь в воскресенье "свернуться в кресле и перебрать кипу чудных книг, которые покойная мать подарила мне в детстве, вместо того чтобы включать радио на полную громкость каждую ночь до Бог знает какого часа".

Большую осторожность я также должен был соблюдать с госпожой Гулиган, уборщицей и прескверной кухаркой,

которую я унаследовал вместе с пылесосом от предыдущих жильцов. Долли получала дневной завтрак в школе, так что тут затруднений не было; брекфаст же, весьма обильный, я научился готовить для нее сам, а вечером подогревал обед, который Гулиганша стряпала перед уходом. У этой доброжелательной и безвредной женщины был, слава Богу, довольно мутный глаз, не замечавший подробностей; я делал постели и в этом стал большим экспертом, но все же никогда не мог отвязаться от чувства, что где-нибудь остался роковой след; а в редких случаях, когда присутствие Гулиганши совпадало с Лолитиным, я все опасался, что моя простодушная девочка подпадет под уютные чары отзывчивой бабы и что-нибудь выболтает на кухне. Мне часто мнилось, что мы живем в освещенном насквозь стеклянном доме и что ежеминутно тонкогубое пергаментное лицо соседки может заглянуть сквозь случайно не завешенное окно, чтобы даром посмотреть вещи, за один взгляд на которые самый пресытившийся voyeur заплатил бы небольшое состояние.

6

Два слова о Гастоне Годэне. Его общество было для меня приятно — или, по крайней мере, не тягостно — из-за флюидов совершенной безопасности, которые, идя от его широкой фигуры, обвевали со всех сторон мою тайну. Это не значит, что он о ней догадывался: у меня не было особых причин открыться ему, а он был слишком эгоцентричен и рассеян, чтобы подметить или почуять что-либо, могущее повести к откровенному вопросу с его стороны и столь же откровенному ответу с моей. Он хорошо отзывался обо мне в разговорах с другими бердслейцами, он был моим добрым глашатаем. Если бы он узнал mes goûts и статус Лолиты, это его бы заинтересовало только, поскольку оно могло бы бросить некоторый свет на простоту моего отношения к нему самому, отношения, лишенного как учтивой натянутости, так и всякого намека на распущенность; ибо, невзирая на его бесцветный ум и туманную

память, он может быть, сознавал, что о нем мне известно больше, чем бюргерам Бердслея. Это был пухлявый, рыхлый, меланхолический холостяк, суживавшийся кверху, где он заканчивался парой узких плеч неодинаковой вышины и грушевидной головой с гладким зачесом на одной стороне и лишь остатками черных плоских волос на другой. Нижняя же часть его тела была огромная, и он передвигался на феноменально толстых ногах забавной походкой осторожного слона. Он всегда носил черное — даже черный галстух; он редко принимал ванну; его английская речь была сплошным бурлеском. Однако все его считали сверхобаятельным, обаятельно-оригинальным человеком! Соседи нянчились с ним; он знал по имени всех маленьких мальчиков в своем квартале (жил за несколько улочек от меня) и нанимал их чистить тротуар перед его домом, сжигать опавшие листья в заднем дворе, носить дрова к нему в сарайчик и даже исполнять некоторые простые обязанности в доме; он их кормил французскими шоколадными конфетами с “настоящим” ликером внутри, в уединенном серальчике, который он себе завел в подвале, развесив всякие занятные кинжалы и пистолеты по заплесневелым, но украшенным коврами стенам промеж закамуфлированных водопроводных труб. На чердаке у него было “ателье”: наш милый шарлатан немножко занимался живописью. Он покрыл косую стенку мансарды большими фотографиями задумчивого Андрэ Жида, Чайковского, Нормана Дугласа, двух других известных английских писателей, Нижинского (многолягого и всего обвитого фиговыми листьями), Гарольда Эксэкса (мечтательно-левого профессора в средне-западном колледже) и Марселя Пруста. Все эти бедняки были готовы, казалось, вот-вот соскользнуть со своей наклонной плоскости. Кроме того, у него был альбом с моментальными снимками всех маленьких Джимов и Джеков околодка, и когда я, бывало, перелистывая его, говорил что-нибудь любезное, Гастон надувал свои и так толстые губы и цедил с сентиментальной ужимкой: “Oui, ils sont gentils”. Его карие глаза блуждали при этом по разнообразным более или менее художественным безделушкам в мастерской, вмещавшей и собственные его жалкие полотна

(примитивно-условно написанные глаза, срезанные гитары, синие сосцы, геометрические узоры — словом, все "современное"), и, неопределенно жестикулируя по направлению какого-нибудь предмета, расписной деревянной салатницы или вазы в прожилках, он говорил: "Prenez donc une de ces poires. La bonne dame d'en face m'en offre plus que je n'en peux savourer". Или: "Mississe Taille Lore vient de me donner ces dahlias, belles fleurs que j'exècre" — (все это — сумрачно, грустно, с налетом мировой тоски...)

По очевидным причинам я предпочитал его жилищу мое, когда мы с ним встречались, чтобы играть в шахматы два или три раза в неделю. Смахивая на старого подбитого идола, он сидел, положив на колени пухлые руки, и так смотрел на доску, как будто это был труп. Минут десять он, посапывая, думал — и затем делал проигрышный ход. А не то симпатяга, после еще более длительного раздумья, произносил: "Au roi!" с замедленным гавканием старого пса, кончавшимся звуком какого-то полоскания, от чего его брыла тряслись, как студень; и затем он поднимал треугольные брови с глубоким вздохом, ибо я ему указывал, что он стоит сам под шахом.

Порой, с того места, где мы сидели в холодном моем кабинете, я мог слышать, как босоногая Лолита упражняется в балетной технике на голом полу гостиной, под нами; но у Гастона способности восприятия приятно тупели от игры, и до его сознания не доходили эти босые ритмы — и-раз, и-два, и-раз, и-два, вес тела смещается на выпрямленную правую ногу, нога вверх и в сторону, и-раз, и-два — и только, когда она начинала прыгать, раскидывая ноги на вершине скачка или сгибая одну ногу и вытягивая другую, и летя, и падая на носки, — только тогда мой пасмурный, землисто-бледный, величавый противник принимался тереть голову или щеку, словно путая эти отдаленные стуки с ужасными ударами, наносимыми ему тараном моего грозного ферзя.

Порой же Лола моя слоняющейся походкой вплывала к нам, пока мы размышляли над доской, — и для меня было всегда большим удовольствием видеть, как Гастон, не от-

рывая слонового глазка от своих фигур, церемонно вставал, чтобы пожать ей руку, и тотчас отпускал ее вялые пальчики, и потом, так и не взглянув на нее ни разу, опускался опять, чтобы свалиться в ловушку, которую я ему приготовил. Однажды, около Рождества, после того что я его не видел недели две, он спросил меня: "Et toutes vos fillettes, elles vont bien?"— откуда мне стало ясно, что он умножил мою единственную Лолиту на число костюмных категорий, мельком замеченных его потупленным мрачным взглядом в течение целого ряда ее появлений, то в узких синих штанах, то в юбке, то в трусиках, то в стеганом халатике, то в пижаме.

Весьма нехотя я так долго вожусь с бедным Гастоном (грустно подумать, что через год, во время поездки в Европу, из которой он не вернулся, он оказался замешан dans une sale histoire — в Неаполе, как на зло!). Я бы и вовсе не упомянул его, если бы его существование в Бердслее не представляло такого странного контраста моему собственному случаю. Он необходим мне теперь для зашиты. Вот, значит, перед вами он, человек совершенно бездарный; посредственный преподаватель; плохой ученый; кислый, толстый, грязный; закоренелый мужеложник, глубоко презирающий американский быт; победоносно кичащийся своим незнанием английского языка; процветающий в чопорной Новой Англии; балуемый пожилыми людьми и ласкаемый мальчишками — о, да, наслаждающийся жизнью и дурачащий всех; и вот, значит, я.

7

Мне предстоит теперь справиться с неприятной задачей: отметить определенное изменение к худшему в нравственном облике Лолиты. Если, с одной стороны, ее участие в любовном восторге, возбуждаемом ею, было всегда незначительным, то с другой, и чистая корысть сперва не побуждала ее к поблажкам. Но я был слаб, я был неосмотрителен, моя гимназистка-нимфетка держала меня в волшебном

плену. По мере того, как все человеческое в ней приходило в упадок, моя страсть, моя нежность, мои терзания только росли; и этим она начала пользоваться.

Ее недельное жалование, выплачиваемое ей при условии, что она будет исполнять трижды в сутки основные свои обязанности, было, в начале Бердслейской эры, двадцать один цент (к концу этой эры оно дошло до доллара и пяти центов, что уже составляло не один цент, а целых пять за сеанс). Это было более чем щедрой оплатой, если принять во внимание, что девочка постоянно получала от меня всякие мелкие подарки; не было случая, чтобы я не позволил ей попробовать какое-нибудь интересное сладкое или посмотреть новый фильм, — хотя, разумеется, я считал себя вправе нежно потребовать от нее добавочного поцелуя или даже целого ассортимента сверхурочных ласок, когда знал, что она особенно облюбовала то или иное из удовольствий, свойственных ее возрасту. С ней бывало, однако, не легко. Уж больно апатично зарабатывала она свои три копейки (а потом три пятака) в день, а в иных случаях умела жестоко торговаться, когда было в ее власти отказать мне в некоторых особого рода разрушающих жизнь, странных, медлительных, райских отравах, без которых я не мог прожить больше нескольких дней сряду и которые, ввиду коренной сущности несказанной истомы, я не мог добыть силой. Хорошо учитывая магию и могущество своего мягкого рта, она ухитрилась — за один учебный год! — увеличить премию за эту определенную услугу до трех и даже четырех долларов! О читатель! Не смейся, воображая меня на дыбе крайнего наслаждения, звонко выделяющим гривенники, четвертаки и даже крупные серебрянные доллары, как некая изрыгающая богатство, судорожно-звякающая и совершенно обезумевшая машина; а меж тем, склоненная над эпилептиком, равнодушная виновница его неистового припадка крепко сжимала горсть монет в кулачке, — который я потом все равно разжимал сильными ногтями, если, однако, она не успевала удрать и где-нибудь спрятать награбленное. И совершенно так же, как чуть ли не каждый второй день я медленно объезжал школьный

район и вылезал из автомобиля, чтобы, едва передвигая ноги, заглядывать в молочные бары и всматриваться в туманные пролеты аллей, прислушиваясь к удаляющемуся девичьему смеху между ударами сердца и шелестом листопада, совершенно так же, я, бывало, обыскивал ее комнату, просматривая изорванные бумажки в красивой мусорной корзине с нарисованными розами, и глядел под подушку девственной постели, 'которую я сам только что сделал. Раз я нашел восемь долларовых билетов в одной из ее книг (с подходящим заглавием "Остров Сокровищ"), а другой раз дырка в стене за репродукцией Уистлеровой "Матери", оказалась набитой деньгами — я насчитал двадцать четыре доллара и мелочь — скажем, всего двадцать шесть долларов, — которые я преспокойно убрал к себе, ничего ей не сказав, после чего она обвинила, нагло на меня глядя, в "подлом воровстве" честнейшую госпожу Гулиган. Впоследствии она подтвердила величину своего интеллектуального коэффициента тем, что нашла более верное хранилище, которого я так никогда и не отыскал; но к этому времени я произвел экономическую революцию, заставив ее постепенно зарабатывать трудным и рвотным для нее способом право участвовать в театральной программе школы; потому что я больше всего боялся не того, что она меня разорит, а того, что она наберет достаточно денег, чтобы убежать. Мне думается, что эта бедная девочка со злыми глазами считала, что с какими-нибудь пятидесятью долларами в сумке ей удастся каким-нибудь образом добраться до Бродвея или Холливуда — или до мерзкой кухни придорожного ресторана (Нужна Подавальщица) в мрачнейшем степном штате, где дует ветер и мигают звезды над амбарами, фарами, барами, парами и все вокруг — мразь, гниль, смерть.

8

Я приложил все старания, господин судья, чтобы разрешить проблему "кавалеров". Вы не поверите, но каюсь, я даже почитывал местную газету, "Бердслейскую Звезду",

где была рубрика "Для Юношества", чтобы выяснить, как мне себя вести!

"Совет отцам. Не отпугивайте молодых друзей вашей дочери. Допустим, что вам трудновато осознать, что теперь мальчики находят ее привлекательной. Для вас она все еще маленькая девочка. Для мальчиков же она прелестна и забавна, красива и весела. Им она нравится. Сегодня вы делаете крупные сделки в вашем директорском кабинете, но вчера вы были попросту гимназист Джим, носивший учебники Дженни. Вспомните-ка! Разве вам не хочется, чтобы ваша дочь теперь в свою очередь находила счастье в восхищении нравящихся ей мальчиков? Неужели вы не хотите, чтобы они вместе предавались здоровым забавам?"

Здоровые забавы? Боже мой!

"Почему бы вам не смотреть на этого Тома и Джона, как на гостей у себя в доме? Почему не затеять беседу с ними? Заставить их разговориться, рассмешить их, дать им чувствовать себя свободно?"

Входи-ка, Том, в мой публичный дом!

"Если она нарушает правила, не устраивайте ей скандала в присутствии ее "сообщника". Пусть она испытает тяжесть вашего неудовольствия наедине с вами, и пусть перестанут ее кавалеры считать, что она дочь старого людоеда".

Первым делом, старый людоед составил два списка — один "абсолютно запрещенного", другой — "неохотно дозволенного". Абсолютно запрещены были выезды с кавалерами — вдвоем, или с другой парочкой, или с двумя парочками (следующий шаг вел, конечно, к массовой оргии). Ей дозволялось зайти в молочный бар с подругами и там поболтать да похихикать с какими-нибудь случайными молодыми людьми, пока я ждал в автомобиле на некотором расстоянии. Сказал ей, что если ее группу пригласит социально приемлемая группа из мужской частной гимназии (той, которая называлась Бутлеровская Академия для Мальчиков) на ежегодный бал (под надзором учителей и их жен), я готов рассмотреть вопрос, может ли она облачиться в первое бальное платье (воздушное, розовое — в котором тонкорукая тринадцатилетняя или четырнадцатилетняя де-

вочка выглядит как фламинго). Кроме того, я обещал, что устрою вечеринку у нас в доме, на которую ей можно будет пригласить наиболее хорошеньких из подруг и наиболее приличных из гимназистов, с которыми она к тому времени познакомится на бутлеровском балу. Но я заверил ее, что пока господствует мой режим, ей никогда, никогда не будет позволено пойти с распаленным мальчишкой в кинематограф или обниматься с ним в автомобиле, или встречаться с кавалерами на вечеринках у подруг, или вести вне предела слышимости долгие телефонные разговоры с молодым человеком, даже если она собирается "только обсуждать его отношения с одной моей подругой".

От этих запретов и ограничений Лолита приходила в ярость, ругала меня паршивым жуликом и еще худшими словесами, — и я в конце концов потерял бы терпение, если бы не понял вдруг, к сладчайшему моему облегчению, что злило ее, собственно, не то, что я лишаю ее того или другого удовольствия, а лишаю — общих прав. Я, видите ли, покушался на условную программу жизни, на общепринятые развлечения, на "вещи, которые полагается делать", на отроческую рутину; ибо ничего нет консервативнее ребенка, особливо девочки, будь она самой что ни на есть баснословной, русой, розовато-рыжей нимфеткой в золотой дымке октябрьского вертограда.

Не истолкуйте моих слов превратно. Я не могу поклясться, что в течение той зимы (1948—1949 г.) Лолите не удалось войти мимоходом в непристойное соприкосновение с мальчишками. Как бы пристально я ни следил за ее досугами, постоянно случались, конечно, необъяснимые утечки времени, которые она задним числом пыталась заткнуть путем чересчур уж замысловатых объяснений; и, конечно, моя ревность то и дело зацеплялась подломанным когтем за тончайшую ткань нимфеточного вероломства; но я очень явственно чувствовал, — и ныне могу поручиться за правильность этого чувства, — что не стоило серьезно опасаться. Я так чувствовал не потому, что ни разу не подвернулся мне какой-нибудь осязаемый твердый молодой кадык (который я бы раздавил голыми руками) среди бессловесных мужского пола статистов, мелькавших где-то на

заднем плане, но и потому, что мне становилось "более чем очевидно" (любимое выражение моей тети Сибиллы), что все варианты старшеклассников — от потеющего болвана, которого приводит в трепет возможность держать ручку соседки в темном кино, до самодовольного насильника с чирьями и усиленным до гоночной мощности автомобилем — одинаково претили моей искушенной маленькой любовнице. "Меня тошнит от мальчиков и скандальчиков", намарала она в учебнике, и под этим, рукою Моны (Мона должна теперь появиться с минуты на минуту): "А как насчет Риггера?" (ему тоже пора появиться).

Посему так безлики у меня в памяти те ребята, которых мне доводилось видеть в ее обществе. Существовал, например, Красный Свитер, который в один прекрасный день — в первый день, когда выпал снег — проводил ее до дому. Из окна гостиной я наблюдал за тем, как они напоследок разговаривали у нашего крыльца. На ней было первое ее пальто с меховым воротничком; коричневая шапочка венчала любимую мою прическу — ровная челка спереди, завитушки с боков и природные локоны сзади — и ее потемневшие от сырости мокасины и белые носки казались еще более неаккуратными, чем всегда. Она, как обычно, прижимала к груди свои книжки, говоря или слушая собеседника, а ножки ее все время жестикулировали: она то наступала левой на подъем правой, то отодвигала пятку назад или же скрещивала лодыжки, покачивалась слегка, начерно намечала несколько шажков, — и начинала всю серию снова. Существовал Ветронепроницаемый, который как-то в воскресенье разговаривал с нею перед рестораном, между тем как его мать и сестра пробовали меня утащить ради досужей болтовни; я волочил ноги и оглядывался на свою единственную любовь. В ней уже развилась не одна традиционная ужимка, как, например, вежливый способ молодой барышни показать, что она буквально "скорчилась" от смеха: наклонив голову и все еще имитируя беспомощный хохот, она отступила на несколько шагов (уже чуя мой зов) и затем повернулась и двинулась по направлению ко мне, с потухающей улыбкой. Я гораздо больше любил (может быть, потому что это напоминало мне ее первую незабвен-

ную исповедь) — ее манеру вздыхать ("ах, Боже мой!") с шутливо-мечтательной покорностью судьбе, или произносить длинное "Ах, нет!" низким рычащим голоском, когда удар судьбы уже грянул. Но больше всего мне нравилось смотреть на нее — раз мы уже заговорили о жестах и юности, — когда она, бывало, колесила взад и вперед по Тэеровской улице на своем новом велосипеде, тоже казавшемся прелестным и юным. Она поднималась на педалях, чтобы работать ими побойчее, потом опускалась в томной позе, пока скорость изнашивалась. Остановившись у почтового ящичка, относившегося к нам, она (все еще сидя верхом) быстро листала журнал, извлеченный оттуда, совала его обратно, прижимала кончик языка к уголку верхней губы, отталкивалась ногой и опять неслась сквозь бледные узоры тени и света.

В общем, она как будто лучше приспособилась к своему окружению, чем я в свое время представлял себе, созерцая свою избалованную девочку-рабыню и те броские, как запястья, особенности поведения, которыми она наивно щеголяла зимой в Калифорнии. Хотя я никогда не мог свыкнуться с той постоянной тревогой, в которой бьются нежные сердца великих грешников, я считал, что в смысле защитной окраски я ничего убедительнее не мог придумать. Лежа у окна на своей узкой кабинетной койке после краткой сессии обожания и отчаяния в холодной спальне у Лолиты и припоминая события завершившегося дня, я следил за собственным обликом, который крался, а не просто проходил, перед воспаленным оком моего воображения. Я следил, как д-р Гумберт, "красивый брюнет" бульварных романов, с примесью, может быть, кельтской крови в жилах, принадлежащий, вероятно, к консервативной, если не консервативнейшей, церкви, выходит проводить дочь в школу. Я наблюдал, как он приветствует медленной улыбкой и приятным движением бровей (черных и густых, как у мужчин на рекламах) добрую госпожу Гулиган, от которой несло чумным смрадом и которая, я знал, направится, при первом удобном случае, к хозяйской бутылке джина. Глазами западного соседа, бывшего палача или автора религиозных брошюр — кому какое дело? — я

видел в откровенное окно его кабинета нашего героя (как его бишь? кажется, француз или швейцарец), размышляющего перед пишущей машинкой (довольно изможденный профиль, почти гитлеровская прядь на бледном лбу). По праздникам можно было видеть профессора Г. Г. в хорошо сшитом пальто и коричневых перчатках, шествующего к Вальтону (кафэ, известное своими фарфоровыми, в фиолетовых бантах, кроликами и коробками шоколада, среди которых сидишь и ждешь, чтобы освободился столик — столик для двоих, еще загаженный объедками предыдущей четы). Мы теперь видим его в будний день, около часу дня, важно приветствующего стоокую восточную соседку; осторожно маневрируя, он выводит автомобиль из гаража мимо проклятых можжевеловых кустов и съезжает на скользкую дорогу. Подняв холодный взгляд от книги, смотрю на стенные часы в перегретой университетской библиотеке, среди глыбоподобных молодых женщин, застигнутых и превращенных в камень переизбытком человеческого знания. Шагаю по газону колледжа вместе со служителем культа Риггером (он же преподает Закон Божий в женской гимназии): "Мне кто-то сказал, что ее мать была знаменитой актрисой, погибшей при крушении самолета. Это не так? Значит, я плохо понял. Неужели? Вот оно что. Очень грустно". (Изволишь, милочка, сублимировать маму?) Медленно толкаю металлическую колясочку с накопляющимися продуктами через лабиринт супермаркета, позади профессора В., такого же медленно двигающегося, безобидного вдовца, с глазами козла. Расчищаю лопатой оснеженный въезд: пиджак скинут, роскошный черно-белый шарф обмотан вокруг шеи. Следом иду, без видимых признаков плотоядного нетерпения (даже заставляю себя вытереть ноги о мат) за дочкой-гимназисткой, входящей в дом. Сопровождаю Долли к дантисту... хорошенькая ассистентка, сияющая на нее... старые журналы... ne montrez pas vos zhambes, как говорила покойница. За обедом с Долли в городском ресторане: мы заметили, что мистер Эдгар Г. Гумберт ел свой бифштекс европейским способом — не покладая ножа. Приятели (почти двойники) наслаждаются концертом: два мраморноликих, умиротворенных француза сидящих ряд-

ком — мосье Гумберт с музыкальной дочуркой и мосье Годэн с не менее одаренным сыночком профессора В. (который проводит гигиенический вечер в городе Провиденс, славном борделями). Отпираю гараж: квадрат света поглощает машину и гаснет. В красочной пижаме спускаю рывками штору в Доллиной спальне. В субботу утром, никем не видимый, торжественно взвешиваю голенькую, зимой отбеленную девочку на весах в ванной комнате. Его видели и слышали в воскресенье утром (а мы-то думали, что он ходит в церковь!): он кричал дочке: "Вернись не слишком поздно!" — она шла играть в теннис. Он впускает в дом до странности наблюдательную ее подругу: "Впервые вижу, сэр, мужчину в шелковой домашней куртке — кроме, конечно, как в кинодрамах".

9

Я с удовольствием думал, что познакомлюсь с Лолитиными подругами, но в общем они не оправдали ожидания. Перечислю Опаль Икс, Линду Голль, Авис Чапман, Еву Розен и Мону Даль — (все эти фамилии, за исключением одной, — лишь приближения к настоящим). Опаль, застенчивое, мешковатое, прыщавое создание в очках, души не чаяла в Долли, которая цукала ее. С Линдой Голль, лучшей теннисисткой в школе, Долли играла сингли не меньше двух раз в неделю: у меня есть подозрение, что Линда была настоящей нимфеткой, но почему-то она у нас не бывала (может быть, ей не позволялось бывать); она мне запомнилась только как вспышка самородного солнца на прямоугольнике крытого корта. Из других ни одна не могла претендовать на нимфетство, кроме Евы Розен. Авис представляла собой жирную, коренастую девочку с волосатыми ногами; Мона же, хоть и блистала какой-то грубоватой, чувственной красотой (причем ей было всего на год больше, чем моей стареющей любовнице), явно перестала давно быть нимфеткой, если когда-либо и была таковой. С другой стороны, Ева Розен, маленькое "перемещенное лицо" из Франции, служила примером того, что и не от-

личающаяся исключительной красотой девочка может иногда обнаружить, для проницательного любителя, некоторые основные элементы нимфеточной прелести — идеально-тоненькую, едва развившуюся фигуру, странно-задерживающийся взгляд, приподнятые скуловые кости. Ее блестящие медные волосы напоминали если не окраской, то шелковистым глянцем, волосы Лолиты. Черты ее нежного, молочно-бледного лица с розовыми губами и белесыми ресницами лишены были той лисьей заостренности, которая свойственна великому внерасовому клану рыжеволосых; к тому же, она не носила зеленого — этого мундира их клана; я вижу ее всегда в черном или темно-вишневом — в очень элегантном черном пуловере, например, и в черных башмачках на высоких каблуках; ногти она мазала гранатово-красным лаком и (к большому Лолитиному отвращению) любила говорить по-французски: интонации у Евы все еще оставались дивно-чистыми, но для школьных и спортивных терминов она обращалась к разговорному американскому языку, и тогда легкий бруклинский акцент примешивался к ее речи, что забавляло меня в этой парижаночке, ходившей в новоанглийскую школу со псевдобританскими притязаниями. К сожалению, Лолита, которая сперва с уважением говорила, что "дядя этой французской девчонки — миллионер", скоро прекратила, из каких-то "светских" соображений дружбу с Евой, так и не дав мне времени насладиться — о, совсем скромно — ее душистыми появлениями в нашем гостеприимном доме. Милый читатель знает, какое значение я всегда придавал присутствию целой стайки девочек-пажей, утешительно-призовых нимфеток, вокруг моей Лолиты. Одно время я приглядывался к Моне Даль, которая часто посещала нас, особенно в весенний семестр, когда Лолита и она так увлеклись сценическим искусством. Я, случалось, спрашивал себя, какие тайны возмутительно ненадежная Долорес Гейз сообщила Моне; ведь мне Лолочка успела выболтать — сдавшись однажды на мою срочную и хорошо оплачиваемую мольбу — совершенно неслыханные подробности относительно романа, затеянного Моной на атлантическом

курорте с каким-то моряком. Характерно, что Лолита избрала себе в наперсницы изящную, холодную, опытную, блудливую Мону, которую я слышал раз (ослышался, по клятвенному заверению Лолиты) беспечно говорящей в прихожей (Лолита только что заметила про свой свитер, что он из "девственной", мол, шерсти): "Вот и все, что есть у тебя в смысле девственности, милашка моя". Голос у Моны отличался курьезной хрипотцой; она завивала у хорошего парикмахера свои тускло-черные волосы и носила большие серьги; у нее были янтарно-карие, слегка навыкате, глаза и сочные губы. Лолита рассказывала, что учительницы журили Мону за то, что она навешивает на себя так много стразовых украшений. У нее дрожали руки. Над ней тяготел умственный коэффициент в сто пятьдесят пунктов. Упомяну еще громадное шоколадно-бурое родимое пятно, находившееся у нее на уже вполне женской спине, которую я осмотрел в тот вечер, когда Лолита и она нарядились в очень открытые, пастельных оттенков, платья для бала в Бутлеровской школе.

Забегаю немного вперед, но поневоле память перебегает по всей клавиатуре, когда думаю об этом учебном годе в Бердслее. В ответ на мои расспросы о том, с какими Лолита водилась мальчиками, мадемуазель Даль выказала изящную уклончивость. Разговор происходил в тот день, когда Лолита, отправившись играть в теннис в тот весьма "светский" спортивный клуб, к которому Линда принадлежала, звонила оттуда по телефону, что она, может быть, опоздает на целый час, так что не могу ли я, пожалуйста, занять Мону, когда та придет репетировать с ней сцену из "Укрощения Строптивой". И вот красивая Мона, пуская в ход все свои модуляции, все чары обхождения и голоса, и глядя мне в глаза с какой-то (или я ошибался?) легкой искрой хрустальной иронии, ответила мне так:

"По правде сказать, сэр, Долли вообще не думает о желторотых мальцах. По правде сказать, мы с ней соперницы. И она и я безумно влюблены в преосвященного Риггера" (ходячая шутка — я уже упоминал об этом угрюмом громадном мужлане с лошадиной челюстью; он меня довел

чуть ли не до смертоубийства своими впечатлениями от поездки в Швейцарию, которыми донимал меня на каком-то чаепитии для родителей, не помню точно когда).

"А как прошел бал?" "Ах, буйственно!" "Виноват?" "Не бал, а восторг. Словом, потрясающий бал". "Долли много танцевала?" "О, не так уже страшно много — ей скоро надоело". "А что думает Мона (томная Мона) о самой Долли?" "В каком отношении, сэр?" "Считает ли она, что Долли преуспевает в школе?" "Что ж, девчонка она — ух, какая!" "А как насчет общего поведения?" "Девчонка, как следует". "Да, но все-таки...?" "Прелесть девчонка!" — и сделав это заключение, Мона отрывисто вздохнула, взяла со столика случайно подвернувшуюся книгу и, совершенно изменив выражение лица, притворно нахмурив брови, осведомилась: "Расскажите мне про Бальзака, сэр. Правда ли, что он так замечателен?" Она придвинулась так близко к моему креслу, что я учуял сквозь косметическую муть духов и кремов взрослый, неинтересный запах ее собственной кожи. Неожиданно, странная мысль поразила меня: а что если моя Лолитка занялась сводничеством? Коли так, она выбрала неудачную кандидатку себе в заместительницы. Избегая хладнокровный взгляд Моны, я с минуту поговорил о французской литературе. Наконец явилась Долли — и посмотрела на нас, прищурив дымчатые глаза. Я предоставил подружек самим себе. На повороте лестницы было створчатое, никогда не отворяемое, паутиной заросшее оконце, в переплете которого один квадратик был из рубинового стекла, и эта кровоточащая рана среди других бесцветных клеток, а также ее несимметричное расположение (ход коня, бе восемь — це шесть) всегда меня глухо тревожили.

10

Иногда... Ну-ка пожалуйста, сколько именно раз, товарищ? Можете ли вы припомнить четыре, пять или больше таких случаев? Или же ни одно человеческое сердце не вынесло бы свыше двух-трех раз? Иногда (ничего не могу

сказать в ответ на вопрос ваш), в то время, как Лолита расхлябанно готовила заданный урок, соея карандаш, развалясь поперек кресла и положив ноги через его ручку, я сбрасывал с себя все цепи педагогической сдержанности, отметал все наши ссоры, забывал все свое мужское самолюбие — и буквально на четвереньках подползал к твоему креслу, моя Лолита! Она тогда смотрела на меня взглядом, похожим на серый мохнатый вопросительный знак (говорящий с недоверием, с раздражением: "Как — уже опять?"); ибо ты ни разу не соизволила понять, что я способен, без каких-либо определенных намерений, нестерпимо хотеть уткнуться лицом в твою шотландскую юбочку, моя любимая! Боже мой — хрупкость твоих голых рук и ног, Боже мой, как тянуло меня сложить, обнять все четыре этих прозрачных, прелестных конечности, вроде как ноги сложенного жеребенка, и взять твою голову в мои недостойные руки, и подтянуть кверху кожу висков с обеих сторон, и поцеловать твои окитайченные глаза, и — "Ах, отстань от меня, старый павиан!", говорила ты. "Христа ради, прошу тебя, отстать от меня наконец!" И я вставал с пола, а ты смотрела, нарочитым дерганьем лица подражая моему нервному тику. Но ничего, это не имеет значения, я всего лишь животное, ничего, будем продолжать эту жалкую повесть.

11

Как-то в понедельник, в одно декабрьское, кажется, утро, позвонила мисс Пратт и попросила меня приехать поговорить кое о чем. Я знал, что отметки Долли за последний месяц были неважные; но вместо того, чтобы удовлетвориться каким-нибудь правдоподобным объяснением вызова, я вообразил Бог знает какие ужасы и должен был подкрепить себя пинтой джинанаса, прежде чем решиться поехать в школу. Медленно, с таким чувством, будто весь состою из гортани и сердца, я взошел на плаху.

Мисс Пратт, огромная, неряшливого вида женщина с седыми волосами, широким, плоским носом и маленькими

глазками за стеклами роговых очков, попросила меня сесть, указав на плюгавый и унизительный пуф, меж тем как она сама присела с тяжеловатой лихостью на ручку дубового кресла. Несколько секунд она молчала, вперив в меня взгляд, улыбающийся и любопытный. Мне вспомнилось, что она так глядела и в первое наше свидание, но тогда я мог позволить себе сурово нахмуриться в ответ. Наконец ее глаза соскользнули с меня. Она впала в задумчивость — вероятно, напускную. Как бы решившись на что-то, она стала обеими толстопалыми руками тереть, складкой об складку, свою темно-серую фланелевую юбку у колена, счищая что-то — меловой след, что ли. Затем она сказала — все еще потирая юбку и не поднимая глаз:

"Позвольте мне спросить вас без обиняков, мистер Гейз. Вы ведь старомодный, европейский отец, не правда ли?"

"Да нет", сказал я. "Консервативный, может быть, но не то, что подразумевается под старомодным".

Она перевела дух, насупилась, а затем, приподняв большие, пухлые руки, хлопнула в ладоши, выражая намерение обратиться к сути дела, и снова уставилась на меня блестящими глазками.

"Долли Гейз", сказала она, "очаровательная девчурка, но начальная пора полового созревания ей, по-видимому, причиняет кое-какие затруднения".

Я слегка поклонился. Что я мог сделать другого?

"Она все еще маячит", сказала мисс Пратт, представляя это маячение соответствующим движением корицей усеянных рук, "между двумя зонами, анальной и генитальной. В основе она, конечно, очаровательная —"

Я переспросил: "Простите, между *какими* зонами?"

"Вот это заговорил в вас старомодный европеец!" возгласила Праттша, слегка ударив по моим наручным часам и внезапно выставив фальшивые зубы. "Я только хотела сказать, что биологическая тяга и тяга психологическая — хотите папиросу? — не совсем сливаются в вашей Долли, не образуют, так сказать, нечто закругленное". Ее руки на миг обхватили невидимый арбуз.

"Она привлекательна, умна, но небрежна — (тяжело дыша, не покидая насеста, моя собеседница сделала паузу,

чтобы взглянуть на отзыв об успехах очаровательной девчурки, лежавший справа от нее на письменном столе). Ее отметки становятся все хуже и хуже. Вот я себя и спрашиваю, мистер Гейз", — снова это мнимое раздумие.

"Что ж", продолжала она бодро, "а я вот папиросы курю и, как наш незабвенный доктор Пирс говаривал, не горжусь этим, но *черезвычаянно* это люблю!" Она закурила, и дым, который она выпустила из ноздрей, напомнил мне пару кабаньих клыков.

"Давайте-ка я вам представлю несколько деталей, это не займет много времени. Где это у меня?" (она стала перебирать свои бумаги). "Да. Она держится вызывающе с мисс Редкок и невозможно груба с мисс Корморант. А вот доклад одной из наших специальных научных работниц: с удовольствием участвует в хоровом пении класса, хотя ее мысли немного как будто блуждают. При этом закидывает ногу на ногу и помахивает левой в такт. В рубрике обычных словечек: лексикон из двухсот сорока двух слов обыкновеннейшего слэнга подростков с придачей некоторого числа многосложных слов явно европейского происхождения. Много вздыхает в классе. Где это...? Да. Вот тут за последнюю неделю в ноябре. Много вздыхает... Энергично жует резину. Ногтей не кусает, а жаль — это лучше бы соответствовало общей картине — с научной точки зрения, конечно. Менструация, по словам субъекта, вполне установившаяся. Не принадлежит в данное время ни к какой церковной организации. Кстати, мистер Гейз, ее мать была — ? Ах, вот оно что. А вы сами — ? Да, конечно, это никого не касается — кроме, может быть, Господа Бога. Нам еще кое-что хотелось выяснить... У нее, по-видимому, нет никаких домашних обязанностей? Ага, так, так. Вы, мистер Гейз, видно хотите, чтобы ваша Долли росла принцессой. Ну, что у нас еще тут имеется? Берет в руки книги и откладывает их весьма грациозно. Голос приятный. Довольно часто хихикает. Немного мечтательна. Имеет какие-то свои тайные шуточки, читает обратно, например, фамилии некоторых учительниц. Волосы темнорусые и светлорусые вперемежку, с блеском — ну, я думаю (Праттша заржала), — это вы сами знаете. Нос незаложен, ступни

с высоким подъемом, глаза — погодите, у меня тут был более недавний отчет. Да! Вот он. Мисс Гольд говорит, что отметки за теннисный стиль Долли поднялись от "отлично" до "великолепно" — они даже лучше, чем у нашей чемпионки Линды Голль, но у Долли плохая концентрация, что отражается на счете. Мисс Корморант не может решить, имеет ли Долли исключительную власть над своими эмоциями или же сама всецело находится под их властью. Мисс Зелва докладывает, что ей, т. е. Долли, не удается словесно оформить свои переживания, а Мисс Дутен считает, что Доллины органические функции выше всех похвал. Мисс Молар думает, что Долли близорука и должна бы пойти к хорошему офтальмологу, между тем как мисс Редкок, напротив, утверждает, что девочка симулирует переутомление глаз для того, чтобы оправдать учебные недочеты. И наконец, мистер Гейз, есть нечто основное, беспокоящее наших исследователей. Хочу вас спросить откровенно. Хочу знать, если ваша бедняжка-жена, или вы сами, или кто-либо другой в семье, — я правильно понимаю, что у нее есть в Калифорнии несколько теток и дедушка с материнской стороны? — ах, все померли — извините в таком случае — но как бы то ни было, нас тревожит вопрос, объяснил ли ей какой-нибудь член семьи, как собственно происходит размножение у млекопитающих? У нас у всех впечатление, что в пятнадцать лет Долли, болезненным образом отстав от сверстниц, не интересуется половыми вопросами, или точнее, подавляет в себе всякий интерес к ним, чтобы этим оградить свое невежество и чувство собственного достоинства. Хорошо, я ошиблась — не пятнадцать, а почти четырнадцать. Видите ли, мистер Гейз, наша школа не верит, что нужно детишек питать рассказами о пчелках и тычинках, об аистах и птичках-неразлучках, но мы весьма твердо верим, что надобно учениц подготовить ко взаимно-удовлетворительному брачному сожительству и к благополучному материнству. Мы чувствуем, что Долли могла бы преуспевать, если бы она больше старалась. Доклад мисс Корморант в этом отношении знаменателен. У Долли есть склонность, мягко говоря,

нахальничать. Но все мы чувствуем, что, во-первых, вам нужно попросить вашего домашнего доктора объяснить ей элементарные основы половой жизни, а во-вторых, вы должны ей позволить наслаждаться обществом братьев ее товарок, — либо в Клубе Молодежи, либо в Организации преосвященного Риггера, либо, наконец, в прекрасной домашней обстановке наших школьных родителей".

"Она может встречаться с мальчиками в собственной прекрасной домашней обстановке", проговорил я.

"Мы очень надеемся, что так будет", сказала Праттша с воодушевлением. "Когда мы стали расспрашивать ее о ее затруднениях, Долли отказалась обсуждать домашнее положение, но мы поговорили с некоторыми из ее подруг и — слушайте — мы, например, настаиваем на том, чтобы вы взяли обратно вето, которое вы наложили на ее участие в наших спектаклях. Вы просто обязаны разрешить ей играть в "Зачарованных Охотниках". При первом распределении ролей, она оказалась восхитительной маленькой нимфой. Весной же автор проведет несколько дней в Бердслейском Университете и, может быть, согласится присутствовать на двух-трех репетициях в нашей новой аудитории. Я хочу сказать, что вот в таких вещах и состоит счастье — быть молодой, хорошенькой, полной жизни. Вы должны понять —"

"Я всегда казался самому себе", вставил я, "очень понятливым отцом".

"Ах, не сомневаюсь! Но мисс Зелва и мисс Дутен думают, — и я склонна согласиться с ними, — что вашу Долли преследуют сексуальные мысли, для которых она не находит выхода, а потому не перестает дразнить и мучить других девочек — и даже кое-кого из наших учительниц помоложе, и бессмысленно выворачивать задом наперед их имена, — потому что у них-то бывают невинные встречи с кавалерами".

Пожал плечами. Потрепанный эмигрант.

"Давайте-ка, приложим ум сообща, мистер Гейз. Что же с ней такое, с этой девочкой?"

"Она мне представляется совсем нормальной и счастливой", ответил я (может быть, катастрофа наконец прибли-

зилась? Может быть, они уличили меня? Может быть, обратились к гипнотизеру?)

“Что тревожит меня”, сказала мисс Пратт, посмотрев на часы и начав обсуждать весь вопрос сызнова, “это то, что и наставницы, и товарки находят Долли враждебно настроенной, неудовлетворенной, замкнутой, — и все мы недоумеваем, почему это вы так против всех нормальных развлечений, свойственных нормальным детям?”

“Включая любовные прелиминарии?”, спросил я развязно, отчаянно — так огрызается припертая к стене старая крыса.

“Что ж, я, разумеется, приветствую такую передовую терминологию”, сказала Праттша с ухмылкой. “Но не в этом дело. Поскольку существует у нас в Бердслейской гимназии надзор, наши спектакли, танцы и другие естественные увеселения не могут считаться в прямом смысле любовными прелиминариями, хотя, конечно, девочки встречаются с мальчиками, если к этому сводится ваше возражение”.

“Ладно”, сказал я — и мой пуф испустил усталый вздох. “Ваша взяла. Она может участвовать в пьесе. Но если часть ролей, мужская, то ставлю условие: мужская часть поручается девочкам.”

“Меня всегда поражает”, сказала мисс Пратт, “как изумительно некоторые иностранцы — или, во всяком случае, натурализованные американцы — пользуются нашим богатым языком. Я уверена, что мисс Гольд — она у нас руководит драматической группой — весьма и весьма обрадуется. Между прочим, она, по-моему, одна из немногих учительниц, которые как будто относятся хорошо — т. е. я хочу сказать, которые как будто умеют подойти к трудной Долли. Ну вот, на этом мы покончили с общими вопросами; теперь остается небольшая частность. Мистер Гейз, ваша Долли опять напроказила”.

Мисс Пратт сделала паузу, а затем провела тылом указательного пальца под ноздрями влево и вправо с такой силой, что ее нос пустился в воинственную пляску.

“Я человек прямодушный”, сказала она, “но в жизни есть некоторые условности, и мне трудно — Хорошо,

давайте, я объясню так: есть, например, господа Уокер, живущие в старинном доме, который мы тут называем Герцогским Замком — вы, конечно, знаете этот громадный серый дом на вершине холма — они посылают двух своих дочек в нашу школу, и у нас есть также племянница президента университета, доктора Мура, исключительно благовоспитанная барышня — не говоря о целом ряде других знатных детей. И вот, принимая во внимание эти обстоятельства, мы несколько ошарашены, когда Долли, которая выглядит такой приличной девочкой, употребляет слова, которые вам, иностранцу, вероятно, просто неизвестны или непонятны. Может быть, было бы лучше — может быть, позвать сюда Долли и, не откладывая, тут же все обсудить? Не хотите? Видите ли — Ах, уж давайте без обиняков. Долли написала непристойный термин, который, по словам нашей докторши Кутлер, значит писсуар на низкопробном мексиканском жаргоне, — написала его своим губным карандашом на одной из брошюр по здравоохранению, их раздала девочкам мисс Редкок, которая выходит замуж в июне, и мы решили, что Долли останется после классов — этак полчасика. Но если вы желаете —"

"Нет", сказал я, "не хочу нарушать ваших правил. Я с ней поговорю наедине. Я это выясню".

"Да, сделайте это", сказала мисс Пратт, вставая со своего места на ручке кресла. "А мы с вами можем опять поговорить в скором времени, и если улучшения не будет, попросим нашу докторшу проанализировать девочку".

Может быть, жениться на Праттше и задушить ее?

"А кроме того, пускай ваш домашний врач осмотрит ее физически — простая, рутинная проверка. Я посадила ее в Класс-Квас, последний в конце коридора".

Объясню, что Бердслейская гимназия подражала знаменитой школе для девочек в Англии тем, что надавала разных, будто бы "традиционных", названий классным комнатам, как, например: Класс-Раз, Класс-Два-с, Класс-Алмаз и прочее. "Квас" оказался дурно-пахнущим, с коричневой репродукцией "Годов Невинности" Рейнольдса над черной доской и с несколькими рядами корявых парт. За одной из них Лолита была погружена в главу о Диалоге в "Драмати-

ческой Технике" Бэкера, и все было очень тихо, а спереди от нее сидела другая девочка, с очень голой, фарфорово-белой шеей и чудными бледно-золотыми волосами, и тоже читала, забыв решительно все на свете, причем бесконечно оборачивала мягкий локон вокруг пальца, и я сел рядом с Долли прямо позади этой шеи и этого локона, и расстегнул пальто, и за шестьдесят пять центов плюс разрешение участвовать в школьном спектакле добился того, чтобы Долли одолжила мне, под прикрытием парты, свою мелом и чернилами испачканную, с красными костяшками руку. Ах, это, несомненно, было глупо и неосторожно с моей стороны, но после недавних терзаний в кабинете начальницы, я просто был вынужден воспользоваться комбинацией, которая, я знал, никогда не повторится.

12

Около Рождества она сильно простудилась, и ее осмотрела одна из подруг Биянки Лестер, докторша Ильза Тристрамсон — (здравствуйте, Ильза, вы были очень милы, не выказали излишнего любопытства и трогали мою голубку так нежно). Докторша установила бронхит, потрепала Лолиту по голой спине (где пушок вдоль хребта дыбом стоял от жара) и уложила ее в постель на недельку или дольше. Сначала у нее была высокая температура, и я не мог отказаться от зноя нежданных наслаждений (Venus febriculosa!) но, по правде сказать, очень вялая девочка постанывала, и кашляла, и тряслась от озноба в моих настойчивых объятиях. А как только она поправилась, я устроил для нее Вечеринку с Мальчиками.

Пожалуй, я слишком много выпил, готовясь к тяжелому испытанию. Пожалуй, я поставил себя в дурацкое положение. Девочки украсили и заштепселили елочку (немецкий рождественский обычай, только раньше были свечки, а теперь — цветные лампочки). Выбирали пластинки и кормили ими граммофон моего домохозяина. Долли была в нарядном сером платье с облегающим лифом и юбкой клёш. Мурлыча мотив, я ушел к себе наверх, но затем

каждые десять или двадцать минут спускался, как болван, на несколько секунд под предлогом, что забыл трубку на камине или пришел посмотреть, где оставил газету; и с каждым разом мне становилось труднее и труднее проделывать эти простые действия, и я поневоле вспоминал те ужасно далекие дни, в Рамздэле, когда я, бывало, так мучительно готовился к тому, чтобы небрежно войти в комнату, где граммофон пел “Маленькую Кармен”.

Вечеринка не совсем удалась. Из трех приглашенных девочек одна не пришла вовсе, а один из кавалеров привел своего двоюродного брата Роя, так что оказалось два лишних мальчика. Оба кузена знали все танцы, но другие двое почти совсем не умели танцевать, вследствие чего большая часть вечера ушла на то, чтобы поставить вверх дном кухню, а затем на ведение трескучих споров насчет того, в какую сыграть карточную игру, и некоторое время спустя две девочки и четыре мальчика очутились сидящими на полу в гостиной, где отворили все окна и играли в какую-то словесную игру, правила которой Опаль никак не могла понять, меж тем как Мона и Рой, долговязый благообразный юноша, пили имбирный лимонад на кухне, сидя на столе и болтая ногами, и горячо обсуждая Предопределение и Закон Статистической Вероятности. Когда они все ушли, Лолита издала звук вроде “ых!”, прикрыла глаза и упала в кресло, звездообразно раскинув руки и ноги, этим подчеркивая свое отвращение и изможденис, и стала божиться, что такой мерзкой шайки мальчишек она никогда в жизни не видела. Я купил ей новую теннисную ракету за эту фразу.

Январь выдался сырой и мягкий, а февраль ввел в заблуждение кусты форситии, покрывшиеся вдруг золотыми цветами. Старожилы не могли запомнить такой погоды! Посыпались и другие подарки. На ее четырнадцатое рождение, в первый день 1949-го года, я подарил ей велосипед — ту очаровательную механическую газель, которую я уже однажды упоминал, и к этому прибавил Историю Современной Американской Живописи; мне почему-то доставляло дивное удовольствие обращение ее с велосипедом, то есть ее подход к нему, движение бедрышка при влезании

на него и тому подобное; но мои попытки облагородить ее художественный вкус окончились неудачей: она хотела знать, надо ли считать фермера, дремлющего после полдника на сене (кисти Дориды Ли), отцом нарочито сладострастной дивчины на переднем плане, и не могла понять, почему я утверждаю, что Грант Вуд и Питер Гурд талантливы, а Реджинальд Марш и Фредерик Уо бездарны.

13

К тому времени, когда весна подкрасила улицу Тэера желтыми, зелеными и розовыми мазками, Лолита уже бесповоротно влюбилась в театр. Мисс Пратт, которую я однажды в воскресенье заметил завтракающей с какими-то дамами у Вальтона, поймала издалека мой взгляд и — пока Лолита не смотрела — сердечно и сдержанно наградила меня беззвучными аплодисментами. Я не терплю театра, вижу в нем, в исторической перспективе, примитивную и подгнившую форму искусства, которая отзывает обрядами каменного века и всякой коммунальной чепухой, несмотря на индивидуальные инъекции гения, как, скажем, поэзия Шекспира или Бен Джонсона, которую, запершись у себя и не нуждаясь в актерах, читатель автоматически извлекает из драматургии. Будучи в то время слишком занят собственными литературными трудами, я не нашел возможным ознакомиться с полным текстом “Зачарованных Охотников” — той пьесы, в которой Долорес Гейз получила роль дочки фермера, вообразившей себя не то лесной волшебницей, не то Дианой: эта дриада, каким-то образом достав учебник гипноза, погружает заблудившихся охотников в различные забавные трансы, но в конце концов подпадает сама под обаяние бродяги-поэта (Мона Даль). Вот в сущности все, что я вычитал из смятых обрывков неряшливо настуканного текста, которые Лолита рассыпала по всему дому. Мне было и приятно и грустно, что заглавие пьесы случайно совпадает с названием незабвенной гостиницы, но я устало сказал себе, что незачем об этом напоминать моей собственной чаровнице, боясь, что бесстыд-

ный упрек в сентиментальности мне причинит еще больше страдания, чем ее пренебрежительная забывчивость. Мне показалось, что пьеса — один из многих анонимных пересказов какой-то банальной легенды. С тем же успехом, конечно, я мог бы подумать, что, в погоне за привлекательным названием, основатель гостиницы подвергся, непосредственно и исключительно, влиянию случайной фантазии им нанятого второстепенного стенописца и что впоследствии вывеска отеля подсказала заглавие пьесы. Но я со своим доверчивым, простым и благожелательным умом нечаянно повернул все это в другую сторону и машинально предположил, что фрески, вывеска и заглавие произошли из общего источника, из местного что ли предания, которое я, будучи чужд новоанглийскому фольклору, мог и не знать. Вследствие этого у меня сложилось впечатление (все такое же случайное и лишенное всякого значения), что проклятая пьеса принадлежит к типу прихотливых пустяков для детской аудитории, приспособленных и переделанных тысячу раз, как, например, “Гензель и Гретель” такого-то, или “Спящая Красавица” такой-то, или “Новое платье короля” неких Мориса Вермонта и Марионы Румпельмейер (все это можно найти в любом таком сборнике, как “Школьная Сцена” или “Сыграем Пьесу!”). Другими словами, я не знал, — а если бы знал, то было бы мне в те дни наплевать, — что на самом деле пьеса “Зачарованные Охотники” — недавно написанное и в техническом смысле самобытное произведение, в первый раз поставленное всего месяца три-четыре тому назад в фасонистой нью-йоркской студии. Насколько я мог судить по роли моей прелестницы, вещица была удручающе вычурная, с отзвуками из Ленормана и Метерлинка и всяческих бесцветных английских мечтателей. Охотники в пьесе были, как полагается в Америке, одеты все одинаково, в одинаковых красных кепках, и только отличались качеством вооружения. Один был банкир, другой водопроводчик, третий полицейский, четвертый гробовщик, пятый страховщик, а шестой — беглый каторжник (драматические эффекты тут самоочевидны); все они внутренне переменились, попав в Доллин Дол, и уже помнили настоящую свою жизнь только как какую-то

грезу или дурной сон, от которого их разбудила маленькая моя Диана; но седьмой охотник (не в красной, а в зеленой кепке — экий разиня!) был Молодой Поэт, и он стал настаивать, к великой досаде Дианиты, что и она и другие участники дивертисмента (танцующие нимфы, эльфы, лешие) — всё лишь его, поэтово, сотворение. Насколько я понял, кончалось тем, что, возмущенная его самоуверенностью, босая Долорес приводила своего поэта, т. е. Мону, одетую в клетчатые штаны со штрипками, на отцовскую ферму за глухоманью, чтобы доказать хвастуну, что она-то сама — вовсе не его вымысел, а деревенская, твердостоящая на черноземе девушка; и поцелуй под занавес закреплял глубокую идею пьесы, поучающей нас, что мечта и действительность сливаются в любви. Благоразумие советовало мне обойтись без критики в разговорах с Лолитой: она так хорошо увлекалась "проблемами выразительности", так прелестно складывала вместе свои узкие флорентийские ладони, хлопая ресницами и заклиная меня не присутствовать на репетициях в школе, как это делали некоторые довольно смешные родители! Ей хотелось, говорила она, ослепить меня совершенно гладким первым представлением, а кроме того я, видите ли, как-то всегда вмешиваюсь не в свое дело, не то говорю и стесняю ее в присутствии ее знакомых.

Среди репетиций случилась одна совсем особенная... о сердце, сердце!... был в мае один особенный день, полный радостной суеты — но все это как-то прошло мимо, вне моего кругозора, не задержавшись у меня в памяти, и когда уже после, к вечеру, я опять увидел Лолиту (она сидела на велосипеде, балансируя, прижав руку к влажной коре молодой березы на краю нашего лужка), меня так поразила сияющая нежность ее улыбки, что я на миг поздравил себя с окончанием всех моих печалей. "Скажи", спросила она, "ты, может быть, помнишь, как назывался отель — ах, ты знаешь какой отель (нос у нее сморщился), ну, скажи — ты знаешь, — там, где были эти белые колонны и мраморный лебедь в холле? Ну, как это ты не знаешь (она шумно выдохнула) — тот отель, где ты меня изнасиловал? Хорошо, не в том дело, к чорту. Я просто хочу спросить, не назы-

вался ли он (почти шепотом) — "Зачарованные Охотники"? Ах, да (мечтательно), в самом деле?" И вдруг, с маленьким взвизгом влюбленного, вешнего смеха, она шлепнула ладонью по глянцевитому стволу и понеслась в гору, до конца улицы, и затем покатила назад, в позе совершенного покоя, держа ступни, одну выше, другую ниже, на неподвижных педалях и забыв одну руку на колене, не прикрытом ситцевой юбкой.

14

Так как говорилось, что музыка связана с увлечением балетом и сценой, я позволил Лолите брать уроки рояля с мисс Ламперер (как мы, знатоки Флобера, можем ее для удобства назвать), к белому с голубыми ставнями домику которой, в двух милях от Бердслея, Лолита катила два раза в неделю. Как-то, в пятницу вечером, в последних числах мая (и около недели после той особенной репетиции, на которую, как и на прочие, я не был допущен), зазвонил телефон в кабинете, где я кончал подчищать королевский фланг Гастона, и голос мисс Ламперер спросил, приедет ли моя Эмма — то бишь Лолита — в следующий вторник: она пропустила два урока подряд — в прошлый вторник и нынче. Я сказал: "да, конечно приедет" — и продолжал игру. Как легко поверит читатель, мои способности теперь пошатнулись и через два-три хода я вдруг заметил, сквозь муть внешахматного страдания, что Гастон — ход был его — может завладеть моим ферзем; он это заметил тоже, но опасаясь западни со стороны заковыристого противника, долго не решался, и отдувался, и сопел, и тряс брылами, и даже взглядывал на меня украдкой, неуверенно пододвигая и опять вбирая пухлые, собранные в пучок пальцы, — безумно хотел взять эту сочную штуку, а не смел — и внезапно схватил ее (не научил ли его этот случай той опасной смелости, которую он потом стал выказывать в другой области?), и я провел скучнейший час, пока добился ничьей. Он допил свой коньяк и, немного погодя, ушел вразвалку, вполне довольный результатом (mon pauvre ami, je ne vous

ai jamais revu et quoiqu'il y ait bien peu de chance que vous voyiez mon livre, permettez-moi de vous dire que je vous serre la main bien cordialement, et que toutes mes fillettes vous saluent). Я нашел Долорес Гейз за кухонным столом, уплетающей клин торта и не отрывающей глаз от листка с ролью. Она подняла их навстречу моему взгляду, — в них была какая-то небесная пустота. Когда я заявил ей о своем открытии, она осталась до странности безмятежной и только сказала d'un petit air faussement contrit, что она, конечно, очень скверная девочка, но было просто невозможно противиться соблазну, и вот она потратила эти часы музыки — о читатель, о мой читатель! — на то, чтобы разучивать с Моной в городском парке волшебно-лесные сцены пьесы. Я сказал: "Превосходно", и прошагал к телефону. Мать Моны ответила: "да, она дома" и, с материнским нейтральным вежливо-довольным смешком удалилась, крича уже за сценой: "Тебя просит Рой", и в следующую минуту подшелестнула Мона и тотчас же, низким, монотонным, но не лишенным ласковости голосом, принялась отчитывать Роя за какую-то им сделанную или сказанную пакость, и я перебил ее, и вот уже Мона, спокойно переключившись, говорила своим смиреннейшим, наисексуальнейшим контральто: "да, сэр", "разумеется, сэр", "я одна виновата, сэр, в этой несчастной истории" (какая плавность! какая светскость!), "право, я очень сожалею" — и так далее и тому подобное, как выражаются эти шлюшки.

Я опять спустился на первый этаж, откашливаясь и держась за сердце. Лолита сидела теперь в гостиной, в своем любимом кожаном кресле. Она сидела развалясь, выкусывая заусеницу, следя за мной глумливым взглядом бессердечных, дымчатых глаз и не переставая качать табурет, на который поставила пятку вытянутой, в одном носке, ноги, — и с приступом тошной боли я увидел ясно, как она переменилась с тех пор, как я познакомился с ней два года тому назад. Или перемена случилась за последние две недели? Где была моя нежность к ней? Разрушенный миф! Она находилась прямо в фокусе моего накаленного добела гнева. Мгла вожделения рассеялась, ничего не оставив,

кроме этой страшной светозарности. О да, она переменилась! Кожа лица ничем не отличалась теперь от кожи любой вульгарной неряхи-гимназистки, которая делит с другими косметическую мазь, накладывая ее грязными пальцами на немытое лицо, и которой все равно, чей грязный пиджачный рукав, чья прыщами покрытая щека касаются ее лица. А меж тем в прежние дни ее лицо было подернуто таким нежным пушком, так сверкало росою слез, когда бывало играючи, я катал ее растрепанную голову у себя на животе! Грубоватая краснота заменила теперь свечение невинности. Весенний насморк с местным названием "кроличьей простуды" окрасил в огненнорозовый цвет края ее презрительных ноздрей. Объятый неким ужасом, я опустил взор, и он машинально скользнул по исподней стороне ее опроставшейся, из-под юбчонки напряженно вытянутой ляжки — ах, какими отполированными и мускулистыми стали теперь ее молодые ноги! Ее широко расставленные, серые как матовое стекло глаза, с лопнувшей на белке красной жилкой, смотрели на меня в упор, и мне казалось, я различаю в ее взгляде тайную мысль, что, может быть, Мона права, и ей, сиротке Долорес, удалось бы меня выдать полиции без того, чтобы самой понести кару. Как я ошибся! Каким безумцем я себя показал! Все в ней было равно непроницаемо — мощь ее стройных ног, запачканная подошва ее белого носка, толстый свитер, которого она не сняла, несмотря на духоту в комнате, ее новый луковый запашок и особенно — тупик ее лица с его странным румянцем и недавно крашенными губами. Эта краска оставила след на ее передних зубах, и меня пронзило одно воспоминание — о, не образ воскресшей Моники, а образ другой, очень молодой проституточки в борделе, много лет тому назад, которую кто-то успел перехватить, пока я решал, искупает ли ее единственная прелесть — юность — ужасную возможность заразиться Бог знает чем, и у которой были точно такие же горящие маслаки, и умершая мама, и крупные передние зубы, и обрывок тускло красной ленточки в простонародно-русых волосах.

"Ну что же, говори уж", сказала Лолита. "Подтверждение приемлемо?"

"О да", сказал я. "Абсолютно приемлемо. Да. И я не сомневаюсь ни секунды, что вы это вместе придумали. Больше скажу — я не сомневаюсь, что ты ей сообщила все, что касается нас".

"Вот как?"

Я совладел с одышкой и сказал: "Долорес, все это должно прекратиться немедленно. Я готов выхватить тебя из Бердслея и запереть ты знаешь где, или это должно прекратиться. Я готов увезти тебя через несколько минут — с одним чемоданом; но это должно прекратиться, а не то случится непоправимое".

"Непоправимое? Скажите пожалуйста!"

Я отпихнул табурет, который она все раскачивала пяткой, и нога ее глухо ударилась об пол.

"Эй", крикнула она, "легче на поворотах!"

"Прежде всего, марш наверх!" крикнул я в свою очередь и одновременно схватил и вытащил ее из кресла. С этой минуты я перестал сдерживать голос, и мы продолжали орать друг на дружку, причем она говорила непечатные вещи. Она кричала, что люто ненавидит меня. Она делала мне чудовищные гримасы, надувая щеки и производя дьявольский лопающийся звук. Она сказала, что я несколько раз пытался растлить ее в бытность мою жильцом у ее матери. Она выразила уверенность, что я зарезал ее мать. Она заявила, что она отдастся первому мальчишке, который этого захочет, и что я ничего не могу против этого. Я велел ей подняться к себе и показать мне все те места, где она припрятывает деньги. Это была отвратительная, нестерпимо-громкая сцена. Я держал ее за костлявенькую кисть, и она вертела ею так и сяк, под шумок стараясь найти слабое место, дабы вырваться в благоприятный миг, но я держал ее совсем крепко и даже причинял ей сильную боль, за которую, надеюсь, сгниет сердце у меня в груди, и раза два она дернулась так яростно, что я испугался, не треснула ли у нее кисть, и все время она пристально смотрела на меня этими своими незабвенными глазами, в которых ледяной гнев боролся с горячей слезой, и наши голоса затопляли звонивший наверху телефон, и в этот самый миг, как я осознал этот звон, она высвободилась и была такова.

С персонажами в кинофильмах я, по-видимому, разделяю зависимость от всесильной machina telephonica и ее внезапных вторжений в людские дела. На этот раз оказалось, что звонит разозленная соседка. Восточное окно гостиной оставалось широко открытым, — хотя штора по милости судьбы была опущена; и за этим окном сырая черная ночь кислой новоанглийской весны, затаив дыхание, подслушивала нашу ссору. Мне всегда думалось, что тип внутренне похабной старой девы, внешне похожей на соленую пикшу, — чисто литературный продукт скрещивания родством связанных лиц в современном американском романе; но теперь я убежден, что щепетильная и блудливая мисс Восток — или по-настоящему (вскроем это инкогнито) мисс Финтон Лебон — должно быть по крайней мере на три четверти высунулась из окна своей спальни, стараясь уловить суть нашей ссоры.

"Какой кавардак... какой галдеж...", квакала телефонная трубка. "Мы не живем тут в эмигрантском квартале. Этого нельзя никак —"

Я извинился за шум, поднятый дочерними гостями ("Знаете — молодежь...") и на пол-кваке повесил трубку.

Внизу хлопнула дверь. Лолита? Убежала из дому?

В лестничное оконце я увидел, как стремительный маленький призрак скользнул между садовыми кустами; серебристая точка в темноте — ступица велосипедного колеса — дрогнула, двинулась и исчезла.

Так случилось, что автомобиль проводил ночь в ремонтной мастерской на другом конце города. Мне приходилось пешком преследовать крылатую беглянку. Даже теперь, когда ухнуло в вечность больше трех лет с той поры, я не в силах вообразить эту улицу, эту весеннюю ночь без панического содрогания. Перед освещенным крыльцом их дома мисс Лестер прогуливала старую, разбухшую таксу мисс Фабиан. Как изверг в стивенсоновской сказке, я был готов всех раздавить на своем пути. Надо попеременно: три шага идти медленно, три — бежать. Тепловатый дождь забарабанил по листьям каштанов. На следующем углу, прижав Лолиту к чугунным перилам, смазанный темнотой юноша

тискал и целовал ее — нет не ее, ошибка. С неизрасходованным зудом в когтях, я полетел дальше.

В полумиле от нашего четырнадцатого номера Тэеровская улица спутывается с частным переулком и поперечным бульваром; бульвар ведет к торговой части города; у первого же молочного бара я увидел — с какой мелодией облегчения! — Лолитин хорошенький велосипед, ожидавший ее. Я толкнул, вместо того чтобы потянуть, дверь, потянул, толкнул опять, потянул и вошел. Гляди в оба! В десяти шагах от меня, сквозь стеклянную стенку телефонной будки (бог мембраны был все еще с нами), Лолита, держа трубку в горсточке и конфиденциально сгорбившись над ней, взглянула на меня прищуренными глазами и отвернулась со своим кладом, после чего торопливо повесила трубку и вышла из будки с пребойким видом.

“Пробовала тебе позвонить домой”, беспечно сказала она. “Принято большое решение. Но сперва угости-ка меня кока-колой, папочка”.

Сидя у бара, она внимательно следила за тем, как вялая, бледная девушка-сифонщица накладывала лед в высокий бокал, напускала коричневую жидкость, прибавляла вишневого сиропу — и мое сердце разрывалось от любви и тоски. Эта детская кисть! Моя прелестная девочка..., У вас прелестная девочка, мистер Гумберт. Мы с Биянкой всегда восхищаемся ею, когда она проходит мимо. Мистер Пим (проходящий мимо в известной трагикомедии) смотрел, как Пиппа (проходящая мимо у Браунинга) всасывает свою нестерпимую смесь.

J'ai toujours admiré l'œuvre ormonde du sublime Dublinois. И тем временем дождь превратился в бурный и сладостный ливень.

“Вот что”, сказала она, тихо подвигаясь на своем велосипеде подле меня, одной ногой скребя по темно-блестящей панели. “Вот что я решила. Хочу переменить школу. Я ненавижу ее. Я ненавижу эту пьесу. Честное слово! Уехать и никогда не вернуться. Найдем другую школу. Мы уедем завтра же. Мы опять проделаем длинную поездку. Только на этот раз мы поедем, куда *я* хочу, хорошо?”

Я кивнул. Моя Лолита.

“Маршрут выбираю я? C’est entendu?”, спрашивала она, повиливая рядом со мной. Пользовалась французским языком только, когда бывала очень послушной девчоночкой.

“Ладно. Entendu. А сейчас гоп-гоп-гоп, Ленора, а то промокнешь” (буря рыданий распирала мне грудь).

Она оскалила зубы и с обольстительной ухваткой школьницы наклонилась вперед, и умчалась. Птица моя!

Холеная рука мисс Лестер держала дверь крыльца приотворенной для переваливавшейся старой собаки qui prenait son temps.

Лолита ждала меня у призрачной березы.

“Я промокла насквозь”, заявила она громким голосом. “А ты — доволен? К чорту пьесу! Понимаешь?”

Где-то наверху лапа невидимой ведьмы с грохотом закрыла окно.

Мы вошли к себе в дом; передняя сияла приветственными огнями; Лолита стащила свитер, тряхнула бисером усыпанными волосами и, приподняв колено, протянула ко мне оголенные руки.

“Понеси меня наверх, пожалуйста. Я что-то в романтическом настроении”.

Физиологам, кстати, может быть небезынтересно узнать, что у меня есть способность — весьма, думается мне, необыкновенная — лить потоки слез во все продолжение другой бури.

15

Тормоза подтянули, трубы вычистили, клапаны отшлифовали, и кое-какие другие починки и поправки оплатил не ахти как много смыслящий в механике господин Гумберт, после чего автомобиль покойной госпожи Гумберт оказался в достаточно приличном виде, чтобы предпринять новое путешествие.

Мы обещали Бердслейской гимназии, доброй, старой Бердслейской гимназии, что вернемся, как только кончится мой холливудский ангажемент (изобретательный Гумберт намекнул, что его приглашают консультантом на

съемку фильма, изображавшего "экзистенциализм" — который в 1949 году считался еще ходким товаром.) На самом же деле я замышлял тихонько переплюхнуться через границу в Мексику — я осмелел с прошлого года — и там решить, что мне делать дальше с моей маленькой наложницей, рост которой теперь равнялся шестидесяти дюймам, а вес — девяносту английских фунтов. Мы выкопали наши туристические книжки и дорожные карты. С огромным смаком она начертила маршрут. Спрашивалось, не вследствие ли тех сценических ирреальных занятий она переросла свое детское напускное пресыщение и теперь с обстоятельным вниманием стремилась исследовать роскошную действительность? Я испытывал странную легкость, свойственную сновидениям, в то бледное, но теплое воскресное утро, когда мы покинули казавшийся озадаченным кров профессора Хима и покатили по главной улице города, направляясь к четырехленточному шоссе. Летнее, белое в черную полоску платье моей возлюбленной, ухарская голубая шапочка, белые носки и коричневые мокасины не совсем гармонировали с большим, красивым камнем — граненым аквамарином — на серебряной цепочке, украшавшим ее шею: подарок ей от меня — и от весеннего ливня. Когда мы поравнялись с "Новой Гостиницей", она вдруг усмехнулась. "В чем дело?" спросил я. "Дам тебе грош, коль не соврешь", — и она немедленно протянула ко мне ладошку, но в этот миг мне пришлось довольно резко затормозить перед красным светофором. Только мы застопорили, подъехала слева и плавно остановилась другая машина, и худая чрезвычайно спортивного вида молодая женщина (где я видел ее?) с ярким цветом лица и блестящими медно-красными кудрями до плеч приветствовала Лолиту звонким восклицанием, а затем, обратившись ко мне, необыкновенно жарко, "жанна-дарково" (ага, вспомнил!), крикнула: "Как вам не совестно отрывать Долли от спектакля, вы бы послушали, как автор расхваливал ее на репетиции —" "Зеленый свет, болван", проговорила Лолита вполголоса, и одновременно, красочно жестикулируя на прощанье многобраслетной рукой, Жанна д'Арк (мы видели ее в этой роли на представлении в городском театре)

энергично перегнала нас и одним махом повернула на Университетский Проспект.

“Кто именно — Вермонт или Румпельмейер?”

“Нет, это Эдуза Гольд — наша режиссерша”.

“Я говорю не о ней. Кто именно сварганил пьесу о твоих Зачарованных Охотниках?”

“А, вот ты о чем. Кто именно? Да какая-то старуха, Клэр что-то такое, кажется. Их была целая куча там”.

“И она, значит, похвалила тебя?”

“Не только похвалила — даже лобызнула в лобик — в мой чистый лобик”, и цыпка моя испустила тот новый маленький взвизг смеха, которым — может быть, в связи с другими театральными навыками — она с недавних пор любила щеголять.

“Ты пресмешное создание, Лолита”, сказал я (передаю мою речь приблизительно). “Само собой разумеется, что меня страшно радует твой отказ от дурацкого спектакля. Но только странно, что ты его бросила всего за неделю до его естественного разрешения. Ах, Лолита, смотри, не сдавайся так легко! Помнится мне, ты отказалась от Рамздэля ради летнего лагеря, а от лагеря ради увеселительной поездки, — и я мог бы привести еще несколько резких перемен в твоем настроении. Ты у меня смотри. Есть вещи, от которых никогда не следует отказываться. Будь упорнее. Будь немножко нежнее со мной, Лолита. Кроме того, ты слишком много ешь. Объем твоей ляжки не должен, знаешь, превосходить семнадцати с половиной дюймов. Чуточку набавишь, — и все кончено между нами (я, конечно, шутил). Мы теперь пускаемся в длинное, счастливое путешествие. Я помню —”

16

Я помню, что ребенком, в Европе, я грезил над картой Северной Америки, на которой “палач”, т. е. средняя часть “Аппалачских гор”, крупным шрифтом растянулся от Алабамы до Мэна, так что вся обхватываемая область (включая Пенсильванию и Нью-Йорк) являлась моему воображению

как исполинская Швейцария или даже Тибет, сплошь горы, чередование дивных алмазных пиков, огромные хвойные деревья, le montagnard émigré в великолепной своей медвежьей дохе, и Felis tigris Goldsmithi, и краснокожие индейцы под катальпами. Как ужасно, что все это свелось к мизерному пригородному палисаднику и дымящейся железной корзине для сжигания мусора... Прощай, Аппалачие! Покинув его, мы пересекли Огайо, три штата, начинающихся на "И", и Небраску — ах, это первое дуновение Запада! Мы уехали не спеша, так как у нас была целая неделя, чтобы достичь Уэйс, городок в Скалистых Горах, где ей страстно хотелось посмотреть на Обрядовые Пляски индейцев в день ежегодного открытия Магической Пещеры, и почти три недели, чтобы добраться до Эльфинстона, жемчужины одного из западных штатов, где ей мечталось взобраться на Красный Утес, с которого одна немолодая звезда экрана не так давно бросилась и убилась на смерть после пьяного скандала со своим сутенером.

Снова нас приветствовали осмотрительные мотели такими обращениями, прибитыми в простенках, как например:

"Мы хотим, чтобы вы себя чувствовали у нас как дома. Перед вашим прибытием был сделан полный (подчеркнуто) инвентарь. Номер вашего автомобиля у нас записан. Пользуйтесь горячей водой в меру. Мы сохраняем за собой право выселить без предуведомления всякое нежелательное лицо. Не кладите никакого (подчеркнуто) ненужного материала в унитаз. Благодарствуйте. Приезжайте опять. Дирекция. Постскриптум: Мы считаем наших клиентов Лучшими Людьми на Свете".

В этих страшных местах две постели стоили нам десять долларов в ночь. Мухи становились в очередь на наружной стороне двери и успешно пробирались внутрь, как только дверь открывалась. Прах наших предшественников дотлевал в пепельницах, женский волос лежал на подушке, в соседнем номере кто-то во всеуслышание вешал пиджак в гулкий стенной шкап, вешалки были хитроумно прикручены к перекладине проволокой для предотвращения кражи, и — последнее оскорбление — картины над четой кроватей были идентичными близнецами. Я заметил, между прочим,

перемену в коммерческой моде. Намечалась тенденция у коттеджей соединяться и образовывать постепенно цельный караван-сарай, а там нарастал и второй этажик, между тем как внизу выдалбливался холл, и ваш автомобиль уже не стоял у двери вашего номера, а отправлялся в коммунальный гараж, и мотель преспокойно возвращался к образу и подобию доброго старого отеля третьего разряда.

Теперь хочу убедительно попросить читателя не издеваться надо мной и над помутнением моего разума. И ему и мне очень легко задним числом расшифровать сбывшуюся судьбу; но пока она складывается, никакая судьба, поверьте мне, не схожа с теми честными детективными романчиками, при чтении коих требуется всего лишь не пропустить тот или иной путеводный намек. В юности мне даже попался французский рассказ этого рода, в котором наводящие мелочи были напечатаны курсивом; но не так действует Мак-Фатум — даже если и распознаёшь с испугом некоторые темные намеки и знаки.

Например: я не мог бы поклясться, что в одном случае, незадолго до среднезападной части нашей поездки или в самом начале этого этапа, ей не удалось сообщить кое-что неизвестному человеку или неизвестным людям, или же как-то снестись с ним или с ними. Мы только что остановились у бензиновой станции под знаком Пегаса, и выскользнув из машины она исчезла где-то за гаражем, благо поднятый капот, под который я заглянул, следя за манипуляциями механика, скрыл ее на мгновение от моего взгляда. Не видя ее, но будучи в покладистом настроении, я только покачал доброй головой, хотя, строго говоря, посещение публичных уборных запрещалось совершенно, ибо я инстинктивно чувствовал, что уборные — как и телефоны — представляли собой по непроницаемой для меня причине те острые пункты, за которые ткань моей судьбы имела склонность зацепляться. У каждого есть такие роковые предметы или явления, — в одном случае повторяющийся ландшафт, в другом — цифры, которые боги тщательно подбирают для того, чтобы навлечь значительные для нас события: тут Джон всегда споткнется; там всегда разобьется сердце Дженни.

Итак, машину мою обслужили, и я отъехал от бензоколонок, чтобы дать место развозному грузовичку — и тут растущий объем ее отсутствия начал томить меня в серой пустоте ветреного дня. Не в первый раз и не в последний глядел я с таким тусклым беспокойством на неподвижные мелочи, которые как будто дивятся (вроде деревенских зевак), что попали в поле зрения замешкавшегося путешественника: это темно-зеленое ведро для отбросов, эти густо-черные с белым боком шины на продажу, эти желтые жестянки с машинным маслом, этот румяный холодильник с разнообразными напитками, эти четыре, пять... семь пустых бутылок в деревянных клетках ящика, видом своим напоминавшего не совсем заполненную крестословицу, это насекомое, терпеливо поднимающееся по внутренней стороне окна в ремонтной конторе... Радиомузыка доносилась из ее открытой двери, и оттого что ритм не был синхронизирован с колыханием и другими движениями ветром оживленной растительности, — получалось впечатление старого видового фильма, который живет собственной жизнью, меж тем как пианино или скрипка следует музыкальной линии, находящейся вне сферы вздрагивающего цветка или качающейся ветки. Отзвук последних рыданий Шарлотты нелепым образом пронзил меня, когда, в платье, зыблющемся не в лад с музыкой, Лолита выбежала с совершенно неожиданной стороны. Оказалось, что клозет был занят и она перешла через поперечную улицу к следующему гаражу — под знаком Раковины. Там надпись гласила: “Мы гордимся нашими туалетными комнатами, столь же чистыми, как у вас дома. Открытки с уже наклеенными марками приготовлены для ваших комментариев”. Но уборная была без открыток, без мыла, без чего бы то ни было. Без комментариев.

В тот день или на следующий, после довольно скучного пути мимо участков сплошь засеянной земли, мы докатились до очаровательного городка Касбим и при въезде в него остановились на ночь в мотеле “Каштановый Двор”: приятные домики, сочный газон, каштаны, яблони, старые качели — и великолепный закат, на который усталое дитя даже не посмотрело. Ей хотелось проехать через Касбим,

потому что он был всего в тридцати милях к северу от ее родного города, но на другое утро она как будто потеряла всякий интерес к тому, чтобы взглянуть на тротуар, где играла в классы пять лет тому назад. По очевидным причинам я побаивался этой побочной поездки, хотя мы и согласились с ней не обращать на себя внимание — не выходить из машины и не посещать старых ее друзей. Поэтому меня порадовало, что она отставила свой проект, но мое облегчение нарушала мысль, что если бы она чувствовала, что я в прежнем, прошлогоднем ужасе от ностальгических возможностей Письки, то так легко она бы от него не отказалась. Когда я упомянул об этом со вздохом, она вздохнула тоже и жалобно сказала, что "кисло" себя чувствует — а потому предложила, что останется в постели с кучей иллюстрированных журналов, а что после ленча, если ей станет лучше, поедем дальше, уже прямо на запад. Должен сказать, что она была очень нежна и томна и что ей "безумно хотелось" свежих фруктов, так что я решил отправиться в центр Касбима за какой-нибудь вкусной пикниковой снедью. Наш крохотный коттедж стоял на лесистой вершине холма: из окошка виднелась дорога, извивами спускавшаяся вниз и затем тянувшаяся прямой, как пробор, чертой между двумя рядами каштанов к прелестному городку, который казался удивительно отчетливым и игрушечным в чистой утренней дали; можно было разглядеть эльфоподобную девочку на стрекозоподобном велосипеде и рядом непропорционально крупную собаку — все это так ясно-ясно, вроде тех паломников и мулов, которых видишь поднимающимися по извилистым, бледным как воск, дорогам на старых картинах с синеватыми холмами и маленькими красными людьми. У меня европейский позыв к пешему передвижению, когда можно обойтись без автомобиля, и посему я не торопясь стал спускаться по дороге и через некоторое время встретил обещанную велосипедистку — оказавшуюся, впрочем, некрасивой, пухлявой девочкой с косичками — в сопровождении величественного сенбернара с глазницами, как громадные бархатные фиалки. В Касбиме очень старый парикмахер очень плохо постриг меня: он все болтал о каком-то своем сыне-бейсболисте и при

каждой губной согласной плевал мне в шею. Время от времени он вытирал очки об мое покрывало или прерывал работу дряхло-стрекотавших ножниц, чтобы демонстрировать пожелтевшие газетные вырезки; я обращал на это так мало внимания, что меня просто потрясло, когда он наконец указал на обрамленную фотографию посреди старых посеревших бутылочек, и я понял, что изображенный на ней усатый молодой спортсмен вот уже тридцать лет как помер.

Я выпил чашку кофе, горячего и безвкусного, купил гроздь бананов для моей обезьянки и провел еще минут десять в гастрономическом магазине. Прошло всего часа полтора, — и вот крохотный пилигрим Гум-гум появился опять на дороге, ведущей назад к "Каштановому Двору".

Девочка, виденная мной по пути в город, теперь исчезала под грузом белья, помогая убирать кабинки кривому мужлану, чья большая голова и грубые черты напомнили мне так называемого "бертольда", один из типов итальянского балагана. Было на нашем "Каштановом Кряже" с дюжину этих домиков, просторно и приятно расположенных среди обильной зелени. Сейчас, в полдень, большинство из них, под финальный стук своих упругих, самозахлопывающихся дверей, уже отделались от постояльцев. Древняя, совсем высохшая от старости, чета в автомобиле совсем новой конструкции осторожно выползла из одного из смежных с каждым коттеджем маленьких гаражей; из другого такого же гаражика довольно непристойно торчал красный перед спортивной машины; а поближе к нашему коттеджу красивый, крепко сложенный молодой человек с черным коком и синими глазами укладывал в шарабанный автомобиль портативный холодильник. Почему-то он посмотрел на меня с неуверенной ухмылкой. Насупротив, посреди газона, под ветвистой сенью пышных деревьев, уже знакомый мне сенбернар сторожил велосипед своей хозяйки, а рядом молодая женщина, на сносях, посадив оцепеневшего от блаженства младенца на качели, тихо качала его, меж тем как ревнивый ребенок лет двух или трех все мешал ей, стараясь толкнуть или потянуть доску каче-

лей; кончилось тем, что доска сбила его с ног, и он заревел, лежа навзничь на мураве, а мать продолжала нежно улыбаться ни тому ни другому из рожденных уже детей. Я припоминаю так ясно эти мелкие подробности потому, вероятно, что мне пришлось так основательно проверить свои впечатления несколько мгновений спустя; да и кроме того, что-то внутри меня оставалось начеку с самого того ужасного вечера в Бердслее. Я теперь не давал отвлечь себя приятному самочувствию, вызванному прогулкой, — ветерку раннего лета, овевающему мне затылок, пружинистому скрипу сырого гравия под ногой, лакомому кусочку, высосанному наконец из дуплистого зуба и даже комфортабельной тяжести покупок, которые, впрочем, мне не полагалось бы носить ввиду состояния сердца; но даже несчастный этот насос мой работал, казалось, ровно, и я почувствовал себя adolori d'amoureuse langueur, когда наконец добрел до коттеджа, где я оставил мою Долорес.

К удивлению моему я нашел ее одетой. Она сидела на краю постели в синих холщевых брючках и вчерашней майке и глядела на меня, точно не совсем узнавала. Мягкий очерк ее маленьких грудей был откровенно подчеркнут, скорее чем скраден, мятостью трикотажной ткани, и эта откровенность сразу раздражила меня. Она еще не купалась; однако успела покрасить губы, замазав каким-то образом свои широкие передние зубы — они лоснились, как вином облитая слоновая кость или розоватые покерные фишки. И вот, она так сидела, уронив на колени сплетенные руки, вся насыщенная чем-то ярким и дьявольским, не имевшим ровно никакого отношения ко мне.

Я положил на стол свой тяжелый бумажный мешок и несколько секунд стоял, переходя взглядом с ее сандалий и голых лодыжек на блаженно-глупое ее лицо и обратно к этим грешным ножкам.

“Ты выходила”, сказал я (сандалии грязно облипли гравием).

“Я только что встала”, ответила она и добавила (перехватив мой книзу направленный взгляд): “Я на минуточку вышла — хотела посмотреть, идешь ли ты”.

Почуяла бананы и раскрутила тело по направлению к столу.

Мог ли я подозревать что-либо определенное? Конечно, не мог, но — эти мутные, мечтательные глаза, это странное исходившее от нее тепло... Я ничего не сказал, только посмотрел на дорогу, так отчетливо вившуюся в раме окна: всякий, кто захотел бы злоупотребить моим доверием, нашел бы в этом окне отличнейший наблюдательный пункт. С разыгравшимся аппетитом Лолиточка принялась за фрукты. Вдруг мне вспомнилась подобострастная ухмылка типа из соседнего коттеджа. Я выскочил во двор. Все автомобили отбыли, кроме его шарабана; туда влезла его брюхатая молодая жена со своим младенцем и другим, более или менее отменным ребенком.

"В чем дело, куда ты пошел?" закричала Лолита с крыльца.

Я ничего не сказал. Я втолкнул ее, такую мягонькую, обратно в комнату и последовал за ней. Я сорвал с нее майку. Под треск застежки-молнии я содрал остальное. Я мигом разул ее. Неистово я стал преследовать тень ее измены; но горячий след, по которому я несся, слишком был слаб, чтобы можно было его отличить от фантазии сумасшедшего.

17

Толстяк Гастон, будучи полон вычур, любил делать подарки — подарки чуть-чуть тоже вычурные или по крайней мере необыкновенные, на его вычурный вкус. Заметив однажды, что сломался мой ящик с шахматами, он на другое же утро прислал мне, с одним из своих катамитиков, медный ларец: по всей крышке его шел сложный восточный узор, и он весьма надежно запирался на ключ. Мне было достаточно одного взгляда, чтобы узнать в нем дешевую шкатулку для денег, зовущуюся почему-то "луизетта", которую мимоходом покупаешь где-нибудь в Малаге или Алжире и с которой потом не знаешь, что делать. Шкатул-

ка оказалась слишком плоской для моих громоздких шахмат, но я ее сохранил — для совершенно другого назначения.

Желая разорвать сеть судьбы, которая, как я смутно чувствовал, опутывала меня, я решил (несмотря на нескрываемую досаду Лолиты) провести лишнюю ночь в "Каштановых Коттеджах". Окончательно уже проснувшись в четыре часа утра, я удостоверился, что девочка еще спит (раскрыв рот, как будто скучно дивясь нелепой до странности жизни, которую мы все построили кое-как для нее) и что драгоценное содержание "луизетты" в сохранности. Там, уютно закутанный в белый шерстяной шарф, лежал карманный пистолет: калибр — ноль тридцать два, вместимость — восемь патронов, длина — около одной девятой роста Лолиты, рукоятка — ореховая в клетку, стальная отделка — сплошь воронёная. Я его унаследовал от покойного Гарольда Гейза вместе с каталогом, где в одном месте, с беззаботной безграмотностью, объявлялось: "так же хорошо применим в отношении к дому и автомобилю, как и к персоне". Он лежал в ящике, готовый быть немедленно примененным к персоне или персонам; курок был полностью взведен, но "скользящий запор" был на предохранителе во избежание непроизвольного спуска. Не следует забывать, что пистолет есть фрейдистический символ центральной праотцовской конечности.

Меня теперь радовало, что он у меня с собой, — и особенно радовало то, что я научился им пользоваться два года тому назад, в сосновом бору около моего и Шарлоттиного, похожего на песочные часы, озера. Фарло, с которым я ходил по этому глухому лесу, стрелял превосходно: ему удалось попасть из кольта в колибри, хотя нужно сказать, что в смысле трофея осталось от птички немного — всего лишь щепотка радужного пуха. Дородный экс-полицейский, по фамилии Крестовский, который в двадцатых годах ловко застрелил двух беглых арестантов, однажды присоединился к нам и пополнил ягдташ миниатюрным дятлом — кстати, убитым им в такое время года, когда охота совершенно запрещена. По сравнению с этими

заправскими стрелками я, конечно, был новичок и все промахивался, но зато в другой раз, когда я ходил один, мне посчастливилось ранить белку. "Лежи, лежи", шепнул я моему портативно-компактному дружку и выпил за его здоровье глоток джинанаса.

18

Читатель должен теперь забыть Каштаны и Кольты, чтобы последовать за нами дальше на запад. Ближайшие дни были отмечены рядом сильных гроз — или, может быть, одна и та же гроза продвигалась через всю страну грузными лягушечьими скачками, и мы так же неспособны были ее отряхнуть, как сыщика Траппа: ибо именно в эти дни передо мной предстала загадка Ацтеково-Красного Яка с откидным верхом, совершенно заслонившая собой тему Лолитиных любовников.

Любопытно! Я, который ревновал ее к каждому встречному мальчишке, — любопытно, до чего я неверно истолковал указания рока! Возможно, что за зиму мою бдительность усыпило скромное поведение Лолиты; и во всяком случае даже сумасшедший вряд ли был бы так глуп, чтобы предположить, что какой-то Гумберт Второй жадно гонится за Гумбертом Первым и его нимфеткой под аккомпанемент зевесовых потешных огней, через великие и весьма непривлекательные равнины. У меня поэтому явилась догадка, что вишневый Як, пребывавший милю за милей на дискретном расстоянии от нас, управляем был сыщиком, которого какой-то досужий хлопотун нанял с целью установить, что́ именно делает Гумберт Гумберт со своей малолетней падчерицей. Как бывает со мной в периоды электрических волнений в атмосфере и потрескивающих молний, меня томили галлюцинации. Допускаю, что это было нечто посущественнее галлюцинаций. Мне неизвестно, какой дурман однажды положили она или он в мой джин, но он плохо подействовал, и ночью я ясно услышал легкий стук в дверь коттеджа; я распахнул ее и одновременно заметил, что я совершенно гол и что на пороге стоит,

бледно мерцая в пропитанном дождем мраке, человек, державший перед лицом маску, изображающую Чина, гротескного детектива с выдающимся подбородком, приключения которого печатались в комиксах. Он издал глухой хохоток и улепетнул; я же, шатаясь, вернулся к постели и тотчас заснул опять, — и как ни странно, мне до сих пор не ясно, была ли это действительность или дурманом вызванное видение. Впрочем, я с тех пор досконально изучил особый юмор Траппа, и это мне представляется довольно правдоподобным его образцом. О, как это было грубо задумано и вконец безжалостно! Какой-то коммерсант, полагаю, зарабатывал на том, что продавал эти маски ходких чудищ и оболтусов. Ведь заметил же я на другой день, как два мальчугана рылись в мусорном ящике и примеряли личину Чина? Совпадение? Результат метеорологических условий?

Будучи убийцей, наделенным потрясающей, но неровной, норовистой памятью, не могу вам сказать, милостивые государыни и государи, с какого именно дня я уже знал достоверно, что за нами следует вишневый Як с откидным верхом. Зато помню тот первый раз, когда я совсем ясно увидел его водителя. Как-то под вечер я медленно ехал сквозь струившийся ливень, все время видя красный призрак, который расплывался и трепетал от сладострастия у меня в боковом зеркальце. Но вот шумный потоп полегчал, застучал дробно, а там и вовсе пресекся. Прорвавшись сквозь облака, ослепительное солнце прохлестнуло по всему шоссе; мне захотелось купить черные очки, и я остановился у бензозаправочного пункта. То, что происходило, казалось мне болезнью, злокачественной опухолью, против которой ничего нельзя было сделать, а потому я решил попросту игнорировать нашего хладнокровного преследователя, который, в закрытом виде, остановился немного позади нас, у какого-то кафэ или бара с идиотской вывеской: "ТУРНЮРЫ", а пониже: "Протанцуйте тур с Нюрой". Машину мою напоили, и я отправился в контору, чтобы купить очки и заплатить за бензин. Подписывая "путевой" чек, я попытался сообразить, в каком месте нахожусь, и случайно взглянул в окно. Там я увидел нечто ужасное.

Мужчина с широкой спиной, лысоватый, в бежевом спортивном пиджаке и темнокоричневых штанах, слушал, что сообщает ему Лолита, которая, высунувшись из нашего автомобиля, говорила очень скоро и при этом махала вверх и вниз рукой с растопыренными пальцами, как бывало, когда дело шло о чем-то очень серьезном и неотложном. Меня особенно поразила — поразила с мучительной силой — какая-то речистая свобода ее обращения, которую мне трудно описать, но это было так, словно они знали друг дружку давно, — больше месяца, что ли. Затем я увидел, как он почесал щеку, кивнул, повернулся и пошел обратно к своей машине — широкого сложения, довольно коренастый мужчина моих лет, несколько похожий на покойного Густава Траппа, швейцарского кузена моего отца, с таким же, как у дяди Густава, ровно загорелым лицом, более округлым, чем мое, подстриженными темными усиками и дегенеративным ртом в виде розового бутончика. Лолита изучала дорожную карту, когда я вернулся к автомобилю.

"О чем спрашивал тебя этот хам, Лолита?"

"Какой хам? Ах — тот. Ах, да. Ах, не знаю. Спрашивал, есть ли у меня карта. Заблудился, верно".

Мы поехали дальше, и я сказал:

"Теперь послушай, Лолита. Не знаю, лжешь ли ты или нет, и не знаю, сошла ли ты или нет с ума, и мне это все равно в данную минуту; но этот господин ехал за нами весь день, и я вчера видел его машину у нас на постоялом дворе, и я подозреваю, что он полицейский агент. Тебе хорошо известно, что случится и куда пошлют тебя, если полиция пронюхает что-либо. А теперь скажи абсолютно точно, что он сказал, и что ты сказала ему".

Она засмеялась.

"Если он действительно полицейский", ответила она пронзительно крикливо, но довольно разумно, "то глупее всего было бы показать ему, что мы испугались. Игнорируй его, папаша".

"Он спросил тебя, куда мы едем?"

"Ну, уж это он сам знает!" (издевательский ответ).

"Во всяком случае", сказал я, сдаваясь, "я теперь рассмотрел его рожу. Красотой он не отличается. Между про-

чим он удивительно похож на одного моего двоюродного дядю, по фамилии Трапп".

"Может быть, он и есть Трапп. На твоем месте я бы — ах, смотри, все девятки превращаются в следующую тысячу. Когда я была совсем маленькая", неожиданно добавила она, указывая на одометр, "я была уверена, что нули остановятся и превратятся опять в девятки, если мама согласится дать задний ход".

Впервые, кажется, она так непосредственно припоминала свое догумбертское детство; возможно, что сцена научила ее таким репликам. В полном молчании мы продолжали катиться. Погоня исчезла.

Но уже на другой день, как боль рокового недуга, которая возвращается по мере того, как слабеют и морфий и надежда, он опять появился за нами, этот гладкий красный зверь. Проезжих на шоссе было в тот день мало; никто никого не обгонял; и никто не пытался втиснуться между нашей скромной синенькой машиной и ее властительной красной тенью: весельчак чародей, точно заворожил интервал, установив зону, самая точность и устойчивость которой таили в себе нечто хрустальное и почти художественное. Наш преследователь, с этими набитыми ватой плечами и дядюшкиными усиками, напоминал манекен в витрине, его автомобиль двигался, казалось, только потому, что невидимый и неслышный шелковистый канат соединяет его с нашим убогим седанчиком. Мы были во много раз слабее его роскошно-лакированного Яка, так что даже и не старались ускользнуть от него. E lente currite, noctis equi! О тихо бегите, ночные драконы! Мы брали длительно-крутой подъем и катились опять под гору. Мы слушались указаний дозволенной скорости. Мы давали возможность перейти — в следующий класс — детям. Мы плавными мановениями руля воспроизводили черные загогулины на желтых щитах, предупреждающие о повороте; и где бы мы ни проезжали, зачарованный интервал продолжал, не меняясь, скользить за нами математическим миражем, шоссейным дубликатом волшебного ковра. И все время я чувствовал некий маленький индивидуальный пожар справа от меня: ее ликующий глаз, ее пылающую щеку.

Руководивший движением полицейский, в аду так и сяк скрещивающихся улиц, в четыре тридцать дня, у въезда в фабричный город, оказался той дланью судьбы, которая рассеяла наваждение. Он поманил меня, приказывая двинуться, и затем той же рукой отрезал путь моей тени. Длинная череда автомобилей тронулась и поехала по поперечной улице, между Яком и мной. Я далеко вынесся — и затем ловко свернул в боковой переулок. Воробей снизился с большущей крошкой хлеба, был атакован другим и потерял крошку.

Когда после нескольких мрачных остановок и умышленных петель я вернулся на шоссе, моей тени нигде не было видно.

Лолита презрительно фыркнула и сказала: "Если он — сыщик, как было глупо улизнуть от него".

"Мне теперь положение представляется в другом свете", ответил я.

"Ты проверил бы свое... светопредставление... если бы остался в контакте с ним, мой драгоценный папаша", проговорила Лолита, извиваясь в кольцах собственного сарказма. "Какой ты все-таки подлый", добавила она обыкновенным голосом.

Мы провели угрюмую ночь в прегадком мотеле под широкошумным дождем и при прямо-таки допотопных раскатах грома, беспрестанно грохотавшего над нами.

"Я не дама и не люблю молнии", странно выразилась Лолита, прильнувшая ко мне, увы, только потому, что болезненно боялась гроз.

Утренний завтрак мы ели в городе Ана, нас. 1001 чел.

"Судя по единице", заметил я, "наш толстомордик уже тут как тут".

"Твой юмор", сказала Лолита, "положительно уморителен, драгоценный папаша".

К этому времени мы уже доехали до полынной степи, и я был награжден деньком-другим прекрасного умиротворения (дурак, говорил я себе, ведь все хорошо, эта тяжесть зависела просто от застрявших газов); и вскоре прямоугольные возвышенности уступили место настоящим горам, и в должный срок мы въехали в городок Уэйс.

Вот так беда! Какая-то произошла путаница, она в свое время плохо прочла дату в путеводителе, и Пляски в Волшебной Пещере давно кончились! Она, впрочем, приняла это стойко, — и когда оказалось, что в курортноватом Уэйсе имеется летний театр и что гастрольный сезон в разгаре, нас естественно понесло туда — в один прекрасный вечер в середине июня.

Право, не могу рассказать вам сюжет пьесы, которой нас угостили. Что-то весьма пустяковое, с претенциозными световыми эффектами, изображавшими молнию, и посредственной актрисой в главной роли. Единственной понравившейся мне деталью была гирлянда из семи маленьких граций, более или менее застывших на сцене — семь одурманенных, прелестно подкрашенных, голоруких, голоногих девочек школьного возраста, в цветной кисее, которых завербовали на месте (судя по вспышкам пристрастного волнения там и сям в зале): им полагалось изображать живую радугу, которая стояла на протяжении всего последнего действия и, довольно дразнящим образом, понемногу таяла за множеством последовательных вуалей. Я подумал, помню, что эту идею "радуги из детей" Клэр Куильти и Вивиан Дамор-Блок стащили у Джойса, — а также помню, что два цвета этой радуги были представлены мучительно-обаятельными существами: оранжевое не переставая ерзало на озаренной сцене, а изумрудное, через минуту приглядевшись к черной тьме зрительного зала, где мы, косные, сидели, вдруг улыбнулось матери или покровителю.

Как только кончилось, и кругом грянули рукоплескания (звук, невыносимо действующий на мои нервы), я принялся тянуть и толкать Лолиту к выходу, ибо мне не терпелось поскорее разрешить мое вполне понятное любовное возбуждение в надежной тишине нашего неоново-голубого коттеджа под звездами изумленной ночи: я всегда утверждаю, что природу изумляет то, что ей приходится подглядеть в окно. Лолита, однако, замешкалась, в розовом оцепенении сузив довольные глаза; зрение настолько поглотило в ней все другие чувства, что ее безвольные руки едва сходились ладонями, хотя она машинально продолжала аплодировать. Мне и раньше случалось наблюдать у

детей экстаз такого рода, но этот был, черт возьми, совсем особенный ребенок, близоруко направивший сияющий взор на далекую рампу — у которой я мельком заметил обоих авторов пьесы, или вернее только их общие очертания: мужчину в смокинге и необыкновенно высокую брюнетку с обнаженными плечами и ястребиным профилем.

“Ты опять, грубый скот, повредил мне кисть”, проговорила тоненьким голосом Лолита, садясь в автомобиль рядом со мной.

“Ах, прости меня, моя душка — моя ультрафиолетовая душка”, сказал я, тщетно пытаясь схватить ее за локоть: и я добавил, желая переменить разговор — переменить прицел судьбы, Боже мой, Боже мой: “Вивиан — очень интересная дама. Я почти уверен, что мы ее видели вчера, когда обедали в Ананасе”.

“Иногда, ты просто отвратительно туп”, сказала Лолита. “Во-первых, Вивиан — автор; авторша — это Клэр; во-вторых, ей сорок лет, она замужем, и у нее негритянская кровь”.

“А я-то думал” продолжал я, нежно подшучивая над ней, “я-то думал, что Куильти твоя бывшая пассия — помнишь, о нем говорилось в милом Рамздэле, в те дни, когда ты любила меня?”

“Что?”, возразила Лолита, напряженно гримасничая. “Рамздэльский старый дантист? Ты меня, верно, путаешь с какой-нибудь другой легкой на передок штучкой”.

И я подумал про себя, как эти штучки всё, всё забывают, меж тем как мы, старые поклонники их, трясемся над каждым заветным вершком их нимфетства...

19

С Лолитиного ведома и одобрения я перед отъездом велел бердслейскому почтмейстеру посылать наши письма до востребования сначала в Уэйс, а после пятнадцатого июня в Эльфинстон. На другое утро мы посетили Уэйский почтамт, где нам пришлось ждать в коротком, но медленном хвосте. Безмятежная Лолита стала изучать фотографии

мошенников, выставленные в простенке. Красавец Анатолий Брянский, он же Антони Бриан, он же Тони Браун, глаза — карие, цвет лица — бледный, разыскивался полицией по обвинению в похищении дитяти. Faux pas пожилого господина с грустными глазами состояло в том, что он обжулил почтовое ведомство, а кроме того — точно этого не было достаточно, — он страдал неизлечимой деформацией ступней. Насупленный Сулливан подавался с предупреждением: вероятно, вооружен и должен считаться чрезвычайно опасным. Если вы хотите сделать из моей книги фильм, предлагаю такой трюк: пока я рассматриваю эти физиономии, одна из них тихонько превращается в мое лицо. А еще был залапанный снимок Пропавшей Девочки: четырнадцать лет, юбка в клетку и, в рифму, берет, обращаться к шерифу Фишеру, Фишерифу, Фишерифму.

Не помню писем, адресованных ко мне; что же касается Долли, пришел ее школьный отзыв, а кроме того — ей было письмо в очень необычном, очень длинном конверте. Я это письмо без колебаний вскрыл и с ним ознакомился. Заметив, однако, с каким равнодушием девочка отвернулась и двинулась к газетному киоску у выхода, я заключил, что мои действия хорошо ею предусмотрены.

"Долли-Ло! Ну вот — пьеса прошла с огромным успехом. Все три пса лежали спокойно — им, по-видимому, впрыснула кое-чего наша милая докторша. Линда, заменившая тебя, знала роль назубок, играла прекрасно, совмещая живость с выдержкой, но напрасно мы в ней искали бы твою отзывчивость, твое непринужденное воодушевление, прелесть моей — и авторской — Дианы; впрочем, автор на этот раз не пришел аплодировать нам, а невероятная гроза на дворе несколько заглушила наш скромный "гром за сценой". Ах, Боже мой, как летит жизнь! Теперь, когда все кончилось — школа, спектакль, моя история с Роем, беременность мамы (увы, ребеночек долго не прожил), — все это кажется таким давнишним, хотя на самом деле я еще чувствую щекотку грима на лице.

После завтрака меня увозят в Нью-Йорк, и вряд ли мне удастся так устроиться, чтобы не ехать с родителями в

Европу. У меня есть еще худшая новость для тебя, Долли-Ло! Не знаю, вернешься ли ты в Бердслей, но если вернешься, меня, может быть, там не будет. Об одном моем романе ты знаешь, о другом ты только думаешь, что знаешь, — но как бы то ни было, мой отец вмешался и хочет, чтобы я поехала учиться в Париж на один год, пока он сам будет там, благо я удостоилась фульбрайтовской стипендии.

Как и ожидалось, бедный ПОЭТ сбился в третьей сцене, в том месте где я всегда спотыкалась — на этих глупых стихах. Помнишь?

Пусть **скажет** озеро любовнику Химены,

Чтó предпочесть: **тоску иль тишь** и **гладь** измены.

Я тут подчеркнула спотычки. Завидная тишь!

Ну, веди себя хорошо, девчоночка! Твой поэт шлет сердечнейший привет тебе и почтительный привет твоему батюшке.

Твоя Мона.

P. S. Из-за тех дел, которые я наделала и в которые мой отец вмешался, так получилось, что моя корреспонденция строго контролируется. Поэтому подожди с ответом, пока я не напишу тебе из Европы".

Этого она, по-видимому, никогда не сделала. Тем лучше. Ее письмо заключало в себе какие-то мерзкие намеки, в которых теперь мне слишком тягостно разбираться. Я его нашел спустя много времени между страницами одного из наших путеводителей и цитирую его здесь просто в качестве документации. Я его прочитал дважды.

Подняв голову, я намеревался — Вот тебе на — нет Дианы! Пока я пребывал под чарами Моны, Лолита пожала плечами и пропала. "Вы случайно не заметили —" обратился я к горбуну, который подметал пол у выхода. Конечно, заметил. Старый блудник. По его догадке, она кого-то увидела снаружи и выскочила. Я выскочил тоже. Остановился на панели, но ее там не оказалось. Побежал дальше. Опять стал. Итак — стряслось. Исчезла навеки.

В последующие годы я часто спрашивал себя, почему она действительно не исчезла навеки в этот день. Послужил ли удерживающей силой ее новый летний гардероб, находившийся у меня в запертом автомобиле? Или, может быть, не дозрела какая-либо частица общего плана? Или, еще проще: как-никак я мог еще пригодиться для доставки в Эльфинстон (он-то и был тайным конечным пунктом). В ту минуту, однако, я, помнится, не сомневался в том, что она покинула меня навсегда. Уклоняющиеся от ответа лиловатые горы, полукругом охватывающие город, как будто кишели часто дышащими, карабкающимися, спотыкающимися, смеющимися, все чаше дышащими Лолитами, которые растворялись в легком тумане. Громадная начальная буква города, составленная из белых камней на крутом скате, казалась инициалом моего ужаса.

Новое, прекрасное здание почтамта, из которого я только что выбежал, стояло между еще не проснувшимся кинематографом и заговорщицкой группой тополей. Было девять часов утра — по времени горной зоны. Улица называлась Главной. Я шагал по синей ее стороне, вглядываясь в противоположную: ее уже околдовало и украшало одно из тех хрупких утр в начале лета, в которых есть и вспышки стекла там и сям и что-то вроде общего колебания и почти обморочного изнеможения перед перспективой невыносимо знойного полдня. Перейдя улицу, я стал бродить и как бы перелистывать вывески длинного ряда домов: Аптека, Недвижимое Имущество, Моды, Автомобильные части, Кафэ, Спортивные Товары, Недвижимое Имущество, Мебель, Электроприборы, Телеграф, Красильня, Бакалейная. Ах, патрульщик, патрульщик, моя дочка сбежала... Сговорившись с сыщиком! Влюбившись в шантажиста! Воспользовавшись моей полной беспомощностью! Я обсуждал про себя вопрос, не заговорить ли с одним из немногих пешеходов. Отказался от этой мысли. Посидел в запаркованном автомобиле. Пошел осматривать городской сад на теневой стороне. Вернулся к Модам и Автомобильным Частям. Сказал себе, с яростным взрывом сарказма — un ricanement — что надо быть сумасшедшим, чтобы ее в чем-либо подозревать, что она вот-вот появится...

Появилась.

Я круто повернулся и стряхнул с обшлага руку, которую она на него положила с робкой и глупой улыбкой.

"Садись в машину", сказал я.

Послушалась; я же продолжал ходить взад и вперед по тротуару, борясь с невыразимыми мыслями и пытаясь найти какой-нибудь способ подступиться к изменнице.

Немного погодя, она вышла из автомобиля и присоединилась ко мне. Прислушиваясь, сквозь муть, я постепенно настроил приемник Эл-О. По-видимому, она объясняла мне, что повстречала знакомую девочку.

"В самом деле? Кого же именно?"

"Девочку из Бердслея".

"Отлично. Я знаю имена всех твоих одноклассниц. Начнем сначала: Алиса Адамс?"

"Нет — не из моего класса".

"Отлично. У меня есть с собой полный список учениц твоей школы. Имя, пожалуйста".

"Она не училась у нас. Просто жила в городе".

"Отлично. Я захватил и бердслейскую адресную книгу. Мы в ней найдем всех Браунов и Смитов".

"Я знаю только ее первое имя".

"Мари или Дженни?"

"Нет — Долли, как я".

"Значит, тупик (зеркало, о которое разбиваешь нос). Отлично. Попробуем теперь иначе. Ты отсутствовала двадцать восемь минут. Что делали обе Долли?"

"Мы зашли в молочный бар".

"И вы заказали там —?"

"Ах, просто по кока-коле".

"Смотри, Долли! Мы, знаешь, можем это проверить".

"Во всяком случае, она выпила кока-колы, а я — стакан воды!"

"Отлично. Это вон там, что ли?"

"Ну, да".

"Отлично. Пойдем. Мы допросим сифонщика".

"Погоди секундочку. Я не уверена, это, может быть, было чуточку дальше — как раз за углом".

“Все равно, зайдем покамест сюда. Входи, пожалуйста. Теперь посмотрим (я раскрыл телефонную книгу, прикрепленную цепью к пюпитру). Хорошо-с. Благородное похоронное бюро. Нет, рано. Ах, вот: Аптеки и молочные бары: один в Горном Переулке, а другой — вот этот, аптечный магазин Ларкина, и еще два. И это все, что Уэйс, или по крайней мере его торговый квартал, может нам предложить в смысле газированных вод и мороженого. Что же, нам придется посетить их все”.

“Пойди к чорту!”, сказала она.

“Грубость, цыпка, тебе не поможет”.

“Ладно”, сказала она. “Но ты не смеешь меня загонять в ловушку. Ладно — пускай будет по-твоему, мы никуда не заходили. Мы просто беседовали и смотрели на платья в витринах”.

“В каких витринах? Вот в этой?”

“Да, хотя бы в этой”.

“Ах, Лолита! Взгляни-ка поближе”. Зрелище было действительно мало привлекательное. Щеголеватый молодой прикащик чистил пылесосом что-то вроде ковра, на котором стояли две фигуры, имевшие такой вид, будто они только что пострадали от взрыва. Одна из них была совершенно нагая, без парика и без рук. Судя по ее сравнительно небольшой величине и манерно-игривой позе, можно было предположить, что в одетом виде она изображала, и еще будет изображать, девочку Лолитиного роста. В теперешнем виде, однако, она не имела определенного пола. Рядом с нею стояла более высокая фигура — невеста в фате, совершенно законченная и, как говорится, целая, если не считать отсутствия одной руки. На полу, у ног девицы, там, где старательно ползал приказчик со своим инструментом, лежали три тонких голых руки и белокурый парик. Две из этих рук случайно соединились в изогнутом положении, напоминавшем ужасный жест отчаяния и мольбы.

“Гляди, Лолита”, сказал я спокойно. “Гляди хорошенько. Разве это не превосходный символ какой-то невероятной беды? Впрочем (продолжал я, садясь в автомобиль), я принял кое-какие меры предосторожности. Вот здесь у

меня (я открыл отделеньице для перчаток), на этом маленьком блокноте, записан автомобильный номер нашего милого дружка".

Я по глупости не потрудился запечатлеть номер в памяти. Помнил только начальную литеру и конечное число, словно весь ряд недостающих цифр ушел от меня полукругом, оставаясь обращенным вогнутостью ко мне за цветным стеклом, недостаточно прозрачным, чтобы можно было разобрать что-либо из серии, кроме ее крайних знаков, латинского P и шестерки. Мне приходится вдаваться в эти детали (которые сами по себе могут заинтересовать только профессионала-психолога), ибо иначе мой читатель (ах, если бы я мог вообразить его в виде светлобородого эрудита, посасывающего розовыми губами la pomme de sa canne и упивающегося моим манускриптом!) мог бы не оценить полностью всю силу потрясения, которое я испытал, заметив что буква P, словно надев турнюр, превратилась в B, а шестерка оказалась совершенно стертой. Центральная же часть, которую я все равно не помнил, носила следы торопливо прошедшейся карандашной резинки: цифры были замазаны, другие заново написаны детской рукой, так что весь ряд представлял собой какую-то спутанную колючую проволоку, не поддававшуюся логическому толкованию. Единственное, что я знал, было то, что мне говорила запомнившаяся литера: мой враг был из штата, смежного с тем, где находился Бердслей.

Я ничего не сказал. Я сунул блокнот обратно в отделение, захлопнул крышку, и мы выехали из Уэйса. Лолита, меж тем, схватила с заднего сиденья новые комиксы и в белой своей блузке, зыблемой ветром, выставив за окно правый коричневый локоть, углубилась в приключения очередного болвана. Отъехав мили на четыре от Уэйса, я свернул в пеструю тень площадки для пикников, где утро свалило свой солнечный сор на пустой стол; Лолита, оторвав взгляд от журнальчика, посмотрела на меня с полуулыбкой удивления, и ни слова не говоря, я наотмашь дал ей здоровенную плюху, смачно пришедшуюся на ее теплую твердую маленькую скулу.

А затем — раскаяние, пронзительная услада искупительных рыданий, пресмыкание любви, безнадежность чувственного примирения... В бархатной темноте ночи, в мотеле "Мирана" (Мирана!), я целовал желтоватые подошвы ее длиннопалых ножек, — я дошел до последних унижений и жертв... Но это все было ни к чему. Мы оба были обречены. И вскоре мне пришлось перейти в новый круг адских пыток.

Когда мы покидали Уэйс, на одной из крайних улиц... Ах, я могу поклясться, что это не было бредом. На этой крайней улице я — мельком увидел знакомый вишневый Як с откидным верхом или же его тождественный двойник. Вместо Траппа там сидело четверо или пятеро громких, актерского типа, представителей нескольких полов — но я ничего не сказал. После же выезда из Уэйса наметилось нечто совершенно другое. Сначала, в течение одного-двух дней, я наслаждался той внутренней уверенностью, с которой я сам себе говорил, что ни теперь, ни прежде никто за нами не следовал; а затем мне стало отвратительно ясно, что Трапп переменил тактику и продолжает ехать за нами, но уже в других, наемных машинах.

Сущий Протей большой дороги, он с ошеломляющей легкостью перескакивал из одного типа автомобиля в другой. Такой способ передвижения предполагает существование гаражных пунктов, специализирующихся на поставке "перекладных автомобилей", но я никогда не мог точно определить местонахождение этих станций. Сперва он как будто оказывал предпочтение шевролетовой породе — начал с открытой машины цвета "Колледж Крэм", перешел на маленький седан ("Голубой Горизонт"), а потом долинял до таких оттенков, как "Седой Прибой" и "Сплавной Сухостой". Затем он обратился к другим маркам и опять прошел через тусклую радугу коммерческих красок, заставляя меня разбираться, например, в тонком различии между моим "грёзовосиним" Икаром и его "горно-синим" Ольдсмобилем. Серый тон, впрочем, остался его любимым защитным цветом, и в мучительных кошмарах я тщетно, бывало, старался правильно рассортировать такие призрач-

ные оттенки, как "Серый Волк" Крайслера, "Серый Шелк" Шевролета, "Серый Париж" Доджа...

Необходимость постоянно высматривать его усики и открытый ворот — или его плешь и широкие плечи — заставила меня досконально изучить все автомобили, попадавшиеся на дорогах — сзади, спереди, сбоку, встречные, обгонные, — словом, все машины под играющим солнцем: автомобиль степенного отпускника с картонной коробочкой бумажных салфеток "Недотрога" в заднем окне; безрассудно несущийся ветхий Форд бедняка, набитый бледными детьми, с головой лохматой собаки, торчащей в окне, и согнутым в результате столкновения крылом; седанчик холостяка, весь заполненный внутри костюмами на вешалках; огромный, толстый прицеп — целый передвижной дом, невозмутимо равнодушный к веренице разъяренных автомобилей, ползущих за ним; спортивная машина с девкой, любезно расположившейся посредине переднего сиденья, чтобы быть как можно ближе к молодцу за рулем; автомобиль с опрокинутой на крыше лодкой... Серая машина, тормозящая перед нами, серая машина, догоняющая нас.

Однажды, в районе Скалистых Гор, где-то между Сноу и Чампион, мы катились едва заметно под уклон, и тогда-то мне удалось вторично ясно разглядеть Влюбленного Сыщика. Серый призрак за нами потемнел, стал гуще, превратился в компактную Доминионную Синь... Вдруг мой автомобиль, словно отозвавшись на муки моего бедного сердца, начал как-то скатываться и скользить из стороны в сторону, причем из-под него доносилось беспомощное "хляп-хляп-хляп".

"Шина капут, мистер", весело сказала моя добрая девочка.

Я остановился — на краю горной пропасти. Лолита сложила на груди руки и оперлась вытянутой ногой в приборную доску. Я вылез, осмотрел правое заднее колесо. Нижняя половина несчастной шины приняла отвратительно прямоугольную форму. Трапп остановился в пятидесяти ярдах позади нас. На этом расстоянии лицо его было лишь

сальным пятном, но пятно смеялось. Я решил воспользоваться случаем и направился к нему — с блестящей идеей занять у него рычаг, хотя у меня был свой. Он немного попятился. Я больно споткнулся об камень — и создалась атмосфера повального веселья. Тут колоссальный грузовик вырос за машиной Траппа и с громом проехал мимо меня, после чего я услышал, как он судорожно гукнул. Я невольно обернулся — и увидел, что мой автомобиль медленно уползает. Издали я различил головку Лолиты, нелепо сидевшей за рулем, причем мотор работал, хотя я помнил, что выключил его.

За короткий, полный трепета промежуток времени, потребовавшегося мне, чтобы добежать до хлюпающей и наконец остановившейся машины, я успел подумать, что в течение двух лет моя малютка вполне имела возможность набраться элементарных знаний в области управления автомобилем. Яростным рывком я открыл дверцу. Мне было чертовски ясно, что она пустила мотор, чтобы отвлечь меня от господина Траппа. Впрочем, этот фортель оказался ненужным, ибо, пока я догонял ее, Трапп круто повернул посредине дороги и укатил. Я посидел, перевел дух. Лолита спросила, не скажу ли я спасибо ей за то, что она так ловко затормозила, когда автомобиль вдруг поехал под гору. Не получив ответа, она погрузилась в изучение дорожной карты. Я вышел из автомобиля и начал "колесование", как называла эту операцию покойная Шарлотта. Мне казалось, что я теряю рассудок.

Переменив колесо, мы продолжали наше фарсовое путешествие. После унылого и совершенно лишнего спуска дорога стала подниматься петлями все выше и выше. В особенно крутом месте нам пришлось плестись за громадным грузовиком, давеча обогнавшим нас. Он теперь с ужасными стонами полз вверх по извивам дороги, и его невозможно было объехать. Из его кабинки выпорхнул кусочек гладкого серебра — внутренняя обертка жевательной резинки— и, полетев назад, прилип на миг к нашему переднему стеклу. Мне пришло в голову, что, ежели я действительно схожу с ума, может кончиться тем, что я убью

кого-нибудь. На всякий случай (сказал тот Гумберт, который сидел на суше, тому Гумберту, который барахтался Бог знает где) хорошо бы кое-что подготовить — например, перевести пистолет из коробки в карман, — дабы быть готовым воспользоваться свободой безумия, когда оно найдет.

20

Тем, что я разрешил Лолите заниматься театральной игрой, я допустил (влюбленный простак!), чтобы она научилась всем изощрениям обмана. Как теперь выяснялось, дело не ограничивалось готовыми ответами на такие вопросы, как: что представляет собой основной конфликт в "Гедде Габлер"; или: в каких сценах "Любви под Ильмами" предельно нарастает действие; или: в чем состоит преобладающее настроение "Вишневого Сада"; на самом деле ей преподавались разные способы изменять мне. О, с каким негодованием я теперь вспоминал ту задаваемую ей "симуляцию пяти чувств", в которой она так часто упражнялась в нашей бердслейской гостиной! Я устраивался так, чтобы незаметно наблюдать за ней, когда она, двигаясь как субъект под гипнозом или участник мистического ритуала, и как бы давая утонченную версию детской игры, в которой девочки воображают себя дивами, изображала мимикой, что бы она сделала, услыхав стон в темноте, увидав впервые совсем новенькую молодую мачеху, проглотив что-нибудь невкусное, вроде желтоватого желе, понюхав раздавленный сочный пучок травы в плодовом саду или дотронувшись до того или другого несуществующего предмета хитрыми, тонкими пальцами нимфетки. Среди моих бумаг до сих пор сохранился мимеографический список следующих заданий.

"Осязательная тренировка. Представь себе, что берешь и держишь пинг-понговый мячик, яблоко, липкий финик, новый пушисто-фланелевый теннисный мяч, горячую картофелину, ледяной кубик, котенка, подкову, карманный фонарь цилиндрической формы.

Перебирай концами пальцев следующие воображаемые вещи: хлебный мякиш, резинку, ноющий висок близкого человека, образец бархата, розовый лепесток.

Ты — слепая девочка. Ощупай, начиная с лица, следующих людей: Греческого юношу; Сирано-де-Бержерака; Деда Мороза; младенца; хохочущего от щекотки фавна; спящего незнакомца; собственного отца".

Но до чего прелестна бывала она, и при навевании этих нежных чар, и при мечтательном исполнении других волшебных обязанностей! Кроме того, иногда, в особенно предприимчивые бердслейские ночи, я обещал ей какое-нибудь удовольствие или подарок, если она потанцует для меня, и, хотя ее рутинные скачки с раскинутыми ногами не столько напоминали томные и вместе с тем угловатые движения парижских petits rats, сколько прыжки тех голоногих дивчин в коротеньких юбках и толстых свитерах, которые организованными воплями и гимнастическим беснованием поощряют студентов, играющих в американское регби, все же ритмика ее не совсем еще развившихся членов очень нравилась мне. Но все это было ничто, по сравнению с неописуемым зудом наслаждения, который я испытывал от ее теннисной игры: могу только сказать, что это было дразнящее, бредовое ощущение какого-то повисания на самом краю — нет, не бездны, а неземной гармонии, неземной лучезарности.

Несмотря на преклонный возраст, она более чем когда-либо была нимфеткой в своей белой теннисной одежде, с абрикосовым загаром на руках и ногах. Крылатые заседатели! Никакой загробной жизни не принимаю, если в ней не объявится Лолита в таком виде, в каком она была тогда, на колорадском курорте между Сноу и Эльфинстоном — и, пожалуйста, чтобы все было так же *правильно*, как тогда: широкие, белые мальчишеские трусики, узенькая талия, абрикосовая голая поясница, белый грудной платок, ленты которого идут наверх, кругом шеи, кончаясь сзади висячим узлом и оставляя неприкрытой ее до безумия молоденькие и обаятельные лопатки с этим абрикосовым пушком на них, и прелестные нежные косточки и гладкую, книзу суживающуюся спину! Ее кепка была с белым козырьком.

Ее ракета обошлась мне в небольшое состояние. Дубина, стоеросовая дубина! Ведь я мог бы заснять ее на кинопленке! Она бы тогда осталась и посейчас со мной, перед моими глазами, в проекционной камере моего отчаяния!

Перед сервисом, до того как приступить к действию, Лолита как бы делала передышку, выстаивая два-три такта за меловой чертой, и при этом, бывало, разок-другой бросит мяч об землю или носком белой туфельки поскребет по грунту, всегда свободно держась, всегда оставаясь спокойно-веселой — она, которая так редко бывала веселой в ее сумрачной домашней обстановке! По-моему, ее теннисная игра представляла собой высшую точку, до которой молодое существо может довести сценическое искусство, хотя для нее, вероятно, это составляло всего лишь геометрическую сущность основной действительности жизни.

Изящная ясность всех ее движений находила свое слуховое дополнение в чистом, тугом звоне каждого ее удара. Войдя в ауру ее власти, мяч делался белее, его упругость становилась качественно драгоценнее. Прецизионный инструмент, который она употребляла по отношению к нему, казался в миг льнущего соприкосновения необычайно цепким и неторопливым. Скажу больше: ее стиль был совершенно точной имитацией самого что ни на есть первоклассного тенниса, лишенной, однако, в ее руках какихлибо практических результатов. Как мне сказала Электра Гольд, сестра Эдузы, изумительная молодая тренировщица, когда однажды я сидел на твердой скамейке, начинавшей пульсировать подо мной, и смотрел, как Долорес Гейз, как бы шутя, гоняла по всему корту хорошенькую Линду Голль (которая, впрочем, побила ее): "У вашей Долли вделан магнит для мяча в самую середку ракетных жил, но, ей-Богу, зачем быть такой вежливенькой?" Ах, Электра, не все ли равно — при такой грации! Помнится, присутствуя при первой же их игре, я почувствовал, как усвоение этой красоты меня буквально облило едва выносимым содроганием. У моей Лолиты была чудная манера чуть приподымать полусогнутую в колене левую ногу при раскидистом и пружинистом начале сервисного цикла, когда развивалась и на мгновение натягивалась в лучах солнца живая сеть равно-

весия между четырьмя точками — пуантой этой ноги, едва опушенной подмышкой, загорелой рукой и далеко закинутым назад овалом ракеты, меж тем как она обращала блестящий оскал улыбающегося рта вверх к маленькой планете, повисшей так высоко в зените сильного и стройного космоса, который она сотворила с определенной целью — напасть на него звучным хлестком своего золотого кнута. Ее подача отличалась прямотой, красотой, молодостью, классической чистотой траектории, но, невзирая на беговой ее темп, ее было нетрудно вернуть, ибо никакой закорючинки или изюминки не было у длинного, элегантного подскока ее мяча.

Меня заставляет стонать от обиды мысль, что я мог так легко обессмертить все эти волшебные узоры, запечатлев их на целлулоидовой ленте. Насколько они бы превосходили те моментальные снимки, которые я (безумец!) сжег! Ее смэш относился к ее сервису, как относится сектет к октету в сонете, ибо ее натренировали, мою прелесть, немедленно после подачи просеменить к сетке на проворных, ярких, в белой обуви ножках. Никто бы не мог сказать, что лучше у нее выходит — драйв справа или драйв слева: один был зеркальным отображением другого, — у меня в самых чреслах до сих пор покалывает от пистолетной пальбы этих ударов, которым вторили четкое эхо и выкрики Электры. Одной из жемчужин игры Долли был короткий удар с полулёта, которому великий Нед Литам научил ее в Калифорнии.

Она предпочитала сцену плаванию и плавание теннису; все же я утверждаю, что, если бы я не подломил в ней чего-то (в то время я не отдавал себе отчета в этом!), ее идеальный стиль совмещался бы с волей к победе, и она бы развилась в настоящую чемпионку. Долорес, с двумя ракетами под мышкой в Вимбльдоне (1952), Долорес на рекламе папирос "Дромадер" (1960), Долорес, ставшая профессионалкой (1961), Долорес, играющая чемпионку тенниса в кинодраме (1962), Долорес и ее седой, смиренный, притихший муж, бывший ее тренер, престарелый Гумберт (2000).

Никакой не существовало лукавинки в ее манере играть — если, однако, не считать за финту нимфетки веселое равно-

душие к исходу игры. Она, столь жестокая и коварная в обыденной жизни, тут проявляла такую невинность, такую откровенность, такое доброжелательство в смысле пласировки, что даже посредственному, но настойчивому игроку, как бы он коряво и неумело ни играл, удавалось так прихлопывать и подрезывать мяч, чтобы проковырять себе путь к победе. Несмотря на малый рост, она покрывала всю свою половину (1053 квадратных фута) площадки с необыкновенной легкостью, однажды вступив в ритм обмена и покуда могла этим ритмом управлять; но всякая резкая атака, всякая внезапная перемена тактики со стороны противника приводили ее в состояние полной беспомощности. Ей, скажем, недоставало одного пункта, чтобы выиграть партию — тут-то ее второй сервис, который, довольно типично, был даже сильнее и стильнее первого (ибо в ней отсутствовали те внутренние задержки, которые знакомы осторожным игрокам) звучно ударялся об арфовую струну сетки — и отскакивал в аут. Отшлифованная бисерина ее "скатного" удара подхватывалась и возвращалась в угол противником, у которого, казалось, четыре ноги и кривой гребок в руках. Ее драматичные драйвы и восхитительные слётники пренаивно падали к его ногам. Вновь и вновь она мазала легкий мяч — и, смеясь, пародировала досаду тем, что склонялась вперед в балетном изнеможении, с повисшим со лба локоном. До того бесплодными оказывались ее грация и блеск, что она даже не могла побить пыхтящего Гумберта, основной удар которого был старомодный "подъемный" драйв.

Думаю, что я особенно чувствителен к магии игр. В моих шахматных сессиях с Гастоном я видел вместо доски квадратное углубление, полное прозрачной морской воды с редкими раковинами и каверзами, розовато светящимися на ровном мозаичном дне, казавшемся бестолковому партнеру мутным илом и облаком сепии. Первую же теннисную учебу, которой я когда-то мучил Лолиту (до того, как уроки великого калифорнийца явились для нее откровением), я теперь вспоминал как нечто гнетущее и горестное — не только потому, что мою безнадежную ученицу так отвратительно раздражал каждый мой совет, но

еще и потому, что драгоценная симметрия корта, вместо того, чтобы отражать дремавшую в ней гармонию, оказывалась исковерканной вконец неуклюжестью и усталостью ребенка, которого только злила моя педагогическая бездарность. С тех пор все переменилось, и в тот день, в ясной колорадской атмосфере Чампиона, на превосходнейшем корте у подножия крутой каменной лестницы, ведущей к "Отель Чампион", где мы стояли, мне почуялось, что могу отдохнуть от кошмара неведомых измен, окунувшись в чистоту ее стиля, ее души, ее неотъемлемой грации.

День был безветренный. Она лупила крепко и плоско, со свойственным ей вольным махом, возвращая мяч за мячом над самой сеткой в глубь корта, и ритмический распорядок этих ударов был так классически прост, что собственное мое передвижение сводилось, в общем, к плавному прогуливанию туда-сюда — настоящие игроки поймут, что я тут хочу выразить. Резаный, довольно густо скошенный сервис, который я унаследовал от отца (научившегося ему, в свою очередь, от француза Декюжи или бельгийца Бормана — старых его друзей и великих чемпионов) наделал бы моей Лолите немало трудностей, захоти я их причинить. Но кто бы решился смутить такую ясноглазую милочку? Упомянул ли я где-нибудь, что ее голая рука была отмечена прививочной осьмеркой оспы? Что я любил ее безнадежно? Что ей было всего лишь четырнадцать лет?

Любознательная бабочка, нырнув, тихо пролетела между нами.

Вдруг вижу — откуда ни возьмись, появляются двое в теннисных трусиках: рыжий мужчина, лет на восемь моложе меня, с обожженными на солнце малиновыми голенями; и довольно матовая брюнеточка, года на два старше Лолиты, с капризным ртом и жестким взглядом. Как это обыкновенно бывает у добросовестных новичков, их ракеты были в чехлах и рамах, и несли они их не так, как носишь естественные и удобные продления некоторых специализированных мышц, а как если бы это были молотища, мушкетоны, коловороты или мои собственные гнусные, громоздкие грехи. Несколько бесцеремонно усевшись около моего драгоценного в некотором смысле пиджака на

скамейку сбоку от площадки, они принялись весьма громогласно восхищаться чередой ударов, состоявшей из чуть ли не пятидесяти обменов, которые Лолита невинно помогла мне выходить и поддержать, пока перебой в серии не заставил ее издать стон при виде того, как ее смэш ушел за черту, после чего она на мгновение поникла, ослабев от смеха, — золотое мое существо!

Меня разбирала жажда; я направился к фонтанчику питьевой воды. Этим воспользовался рыжий, чтобы подойти ко мне и в скромных выражениях предложить игру вчетвером. "Меня зовут Билль Мид", сказал он, "а это, Фэй Пэйдж, актриска. Ма фиансэ" — добавил он (указывая своей нелепо забронированной ракетой на светскую Фэй, уже болтавшую с Лолитой). Я начал было отвечать: "Спасибо, но" — (ненавижу, когда мою чистокровку впутывают в тяп-да-ляпицу пошлых сапожников), когда меня отвлек поразительно музыкальный оклик: отельный казачок дробно бежал вниз по ступеням к нашей площадке и делал мне знаки. Оказалось, что меня требуют к телефону по экстренному иногороднему вызову, — столь экстренному, что для меня даже "держат линию". "Иду", сказал я, схватил пиджак (тяжесть кольта во внутреннем кармане) и сказал Лолите, что сейчас вернусь. Она как раз подбирала мячик (европейским способом, т. е. соединенным рывком носка ноги и края ракеты, что было одной из немногих хороших вещей, которым я ее научил) и улыбнулась, — она улыбнулась мне!

Некий зловещий штиль дозволял сердцу держаться на плаву, пока я следовал за мальчишкой к отелю. Есть краткая американская фраза, в которой разоблачение, возмездие, застенок, смерть и вечность выражаются путем удивительно отталкивающей формулы "дзис ис ит", — "вот оно!", "это оно и есть!" Я оставил Лолиту в довольно посредственных руках, но все равно. Буду, конечно, бороться. Бешено бороться. Лучше все уничтожить, чем от нее отказаться. Да, действительно, крутоватая лестница.

В бюро гостиницы горбоносый мужчина с очень темным, думаю, прошлым, которое стоило бы расследовать, передал мне сообщение, написанное его рукой. Междуго-

родная линия меня все-таки не дождалась. В записке говорилось: "Мистер Гумберт. Звонила директорша Бурдалейской (так!) школы. Летний номер: Бурдолей 2-82-82. Пожалуйста, позвоните ей не откладывая. Чрезвычайно важное дело".

Я сложил свое длинное тело в телефонную будку, принял таблетку и в продолжении десяти минут воевал с исчадьями призрачного пространства. Постепенно наладился некий квартет; сопрано: такого номера нет в Бердслее; альт: мисс Пратт уехала в Англию; тенор: Бердслейская школа не звонила; бас: звонить она не могла, так как все равно никто не знал, что в этот именно день я буду именно в этой колорадской гостинице. Больно уязвленный мной горбоносый служащий любезно согласился выяснить, вызывали ли меня вообще из "Бурдолея". Оказалось — не вызывали. Вероятно, какой-то местный шалун набрал номер и смылся. Я поблагодарил служащего. Он ответил: ради Бога. Побывав в журчащем писсуаре и зарядившись в баре, я пустился в обратный путь. С первой же терассы я увидел наш корт: он казался величиной с детскую грифельную доску — плохо вытертую. Золотистая Лолита участвовала в игре смешанных пар. Она двигалась как прекрасный итальянский ангел — среди трех отвратительных калек фламандской школы. Один из них, ее партнер, меняясь с ней сторонами, шутовским жестом хлопнул ее по заду ракетой. У него была удивительно круглая голова; его коричневые штаны совершенно не подходили для тенниса. Произошло краткое замешательство — он увидел меня на лестнице и, отбросив ракету — мою ракету! — стал карабкаться по крутому газону, отделявшему теннис от бульвара. Он тряс кистями рук и локтями, нарочито-комически изображая птицу с недоразвитыми крыльями, и долез так, на кривых ногах, до улицы, где его ждал дымчато-серый автомобиль. В следующую минуту и он и серая дымка исчезли. Когда я сошел к корту, оставшаяся тройка уже собирала и рассматривала мячи, сортируя их: я утром купил полдюжины новых; на чужих были домодельные отметины кровавого цвета.

"Скажите, мистер Мид, кто был этот господин?"

Сперва Билль, потом Фэй с очень серьезным видом отрицательно покачали головой.

"Представьте себе", объяснила Фэй, "какой-то нелепый нахал присоединился к нам, чтобы составить вторую пару. Неправда ли, Долли?"

Она уже была для них Долли. Рукоятка моей ракеты все еще была омерзительно теплая на ощупь. Перед тем как подняться в отель, я увел ее в узкую аллейку, наполовину заросшую душистым кустарником в сизых цветах, и уже собрался дать волю назревшим рыданиям, — собрался умолять ее, зачарованную, равнодушную, чтобы она рассеяла как-нибудь, хотя бы ложью, тяжкий ужас обволакивающий меня — как вдруг мы очутились прямо позади странно корчившейся пары, — вроде того как сталкивается чета с четой в идиллической обстановке старых комедий. Билль и Фэй совершенно изнемогали от смеха — мы видимо пришли посреди какой-то их приватной шуточки. Это не имело больше значения.

Таким тоном, как будто это не имело большого значения, как будто жизнь автоматически продолжала катиться по кругу всегдашних забав, Лолита сказала, что пойдет переодеться для купанья, — хотела поваландаться до вечера у бассейна: ведь день был дивный, Лолита!

21

"Ло! Лола! Лолита!" — слышу себя восклицающим с порога в солнечную даль, причем акустика времени, сводчатого времени, придает моему зову и его предательской хриплости так много тревоги, страсти и муки, что право же, будь Лолита мертва, рывком раскрылся бы ее застегнутый на молнию нейлоновый саван. Я, наконец, настиг ее посредине гладкой муравчатой террасы, — она убежала, пока я еще переодевался. Ах, Лолита! Там она играла с собакой — с собакой, а не со мной. Пес (какой-то полутерьер) ронял и снова защелкивал в зубах — да еще как-то пригонял к челюсти — мокрый красный гуттаперчевый мячик; передними лапами брал быстрые аккорды на упругом газоне; и

куда-то ускакивал. Мне только хотелось узнать где она, я все равно не мог купаться из-за ужасного состояния моего сердца, но кому какое было дело, и вот она играла с собакой, а я стоял тут же, в халате, и уже не звал ее; но вдруг что-то в узоре ее движений поразило меня... она кидалась туда-сюда в своих ацтеково-красных плавках и бюстгальтерчике, и было что-то восторженное, чуть ли не безумное в ее резвлении, далеко превосходившее простое веселие. Даже собака казалась озадаченной ее преувеличенным ликованием. Я поглядел кругом и тихо положил руку на грудь. Бирюзовый бассейн за террасой уже был не там, а у меня в грудной клетке, и мои органы плавали в нем, как плавают человеческие испражнения в голубой морской воде вдоль набережной в Ницце. Один из купальщиков отошел от бассейна и, наполовину скрытый павлиньей тенью листвы, замер, держась за концы полотенца, накинутого на него, и янтарным взглядом следя за Лолитой. Так он стоял, закамуфлированный светотенью, искаженный ягуаровыми бликами и замаскированный собственной наготой; влажные черные волосы — вернее, остатки волос — прилипли к его круглому черепу, усики над красной губой казались мокрой кляксой, шерсть на груди ширилась двукрылым трофеем, пульсировал пуп, яркие брызги стекали по косматым ляжкам, тесные, мокрые черные купальные трусики чуть не лопались от здоровой силы там, где выпуклым очерком обозначалась чудовищная мошна, круто подтянутая кверху и толстым щитом находившая на запрокинутую снасть сатира. И пока я глядел на его круглое, орехово-коричневое лицо, меня осенило, что ведь узнал-то я его по отражению в нем образа моей дочери, — это была та же гримаса блаженства, но только превратившаяся в нечто уродливое в переводе на мужеский лад. А кроме того, мне было ясно, что девочка, моя девочка, зная, что он смотрит на нее, наслаждается его похотливым взглядом и напоказ для него скачет и веселится, — мерзкая, обожаемая потаскушка! Кинувшись за мячом и не поймав его, она повалилась на спину, бешено работая в воздухе неприличными, молодыми ногами; со своего места я почуял мускус ее возбуждения; и тут, окаменев от священного отвраще-

ния, я увидел, как мужчина прикрыл глаза, обнажил ровные, противно-маленькие зубы и прислонился к дереву, в листве которого целая стая пятнистых приапов исходила дрожью. Тотчас после этого произошла необыкновенная метаморфоза. Он уже был не сатир, а мой чрезвычайно добродушный и глупый швейцарский дядя — тот Густав Трапп, не раз упомянутый мной, который, бывало, пытался нейтрализовать запой (хлестал пиво, смешанное с молоком, свинюга) тем, что заправским штангистом поднимал тяжести, шатаясь и крякая, на берегу озера, в старомодном купальном костюме, лихо спущенном с одного плеча. Теперешний Трапп заметил меня издали и, растирая затылок натянутым между руками полотенцем, с притворной беспечностью удалился по направлению к бассейну. И, как если бы погасло озарявшее ее игру солнце, Лолита притихла и медленно встала с земли, игнорируя мячик, который терьер удобно положил перед ней. Кто может сказать, какие глубокие обиды мы наносим собаке тем, что прекращаем возню! Я начал говорить что-то, но вдруг сел на траву с совершенно невероятной болью в груди, и меня вырвало потоком каких-то бурых и зеленых веществ, которых, насколько мне помнилось, я не ел.

Я увидел глаза Лолиты: их взгляд мне показался скорее расчетливым, чем испуганным. Я услышал, как она сказала доброй даме, подошедшей к нам, что с ее папой приключился "какой-то припадок". Затем я долгое время лежал на шезлонге и опорожнял рюмочку за рюмочкой. Уже на другое утро я почувствовал себя достаточно окрепшим, чтобы продолжать путешествие (чему доктора, лечившие меня впоследствии, не могли поверить).

22

Двухкомнатный коттедж, вперед задержанный нами, под знаком Серебряной Шпоры, в Эльфинстоне (не дай Бог никому услышать их стон), оказался принадлежащим к лакированной, смугло-сосновой, избяной породе, которая так нравилась Лолите в дни нашей первой беззаботной

поездки. Ах, все теперь изменилось... Я говорю не о Траппе или Траппах... В конце концов... ну, сами понимаете... В конце концов, господа, становилось достаточно ясно, что все эти идентичные детективы в призматически-меняющихся автомобилях были порождением моей мании преследования, повторными видениями, основанными на совпадениях и случайном сходстве. Soyons logiques, кукарекала и петушилась галльская часть моего рассудка, прогоняя всякую мысль, что какой-нибудь очарованный Лолитой коммивояжер или гангстер из кинокомедии и его приспешники травят меня, надувают меня и разными другими уморительными способами пользуются моим странным положением перед законом. Помнится, я что-то напевал, заглушая панику. Мне даже удалось выработать теорию, объясняющую подложный вызов из "Бурдолея"... Но если я мог не думать о Траппе, как я не думал о недавних своих конвульсиях на газоне в Чампионе, я никак не мог поладить с другой мукой: знать, что Лолита так близка и вместе с тем так горестно недостижима, и так любить ее, так любить как раз накануне новой эры, когда по моим волховским исчислениям она бы должна была перестать быть нимфеткой, перестать терзать меня...

В Эльфинстоне судьба подготовила мне добавочную, гнусную и совершенно лишнюю заботу. Моя девочка была какая-то скучная и неразговорчивая в течение последнего перегона — двести миль по горам, неоскверненным ни дымчато-серыми ищейками, ни зигзагообразно снующими гаерами. Она едва взглянула на знаменитую, странного вида, великолепно алеющую скалу, ту самую, которая выступом нависала над горами и послужила трамплином для прыжка в нирвану темпераментной актрисе. Город был недавно отстроен, или перестроен, посреди плоской долины на высоте семи тысяч футов над уровнем моря; мне хотелось, чтобы он скоро надоел Лолите; тогда мы покатили бы в Южную Калифорнию, направляясь к мексиканской границе, к баснословным заливам, к сагуаровым пустыням и фата-морганам. Хозе Лизачовендоа, в известном романе Меримэ, собирался увезти свою Кармен в Etats-Unis. Я представил себе мексиканское теннисное состяза-

ние, в котором Долорес Гейз и разные хорошенькие девочки-чемпионки из Калифорнии участвовали бы, сверкая передо мной. Добрососедские турнэ на этом улыбчивом уровне стирают различие между паспортом и спортом. Почему думалось мне, что мы будем счастливы за границей? Перемена обстановки — традиционное заблуждение, на которое возлагают надежды обреченная любовь и неизлечимая чахотка?

Фамилия хозяйки мотеля произносилась так же, как Гейз (но писалась иначе). Эта бодрая, нарумяненная вдова с кирпичным лицом и голубыми глазами спросила, не швейцарец ли я часом? Сестрица у нее вышла за лыжного инструктора родом из Швейцарии. Я ответил утвердительно, добавив, что моя дочь наполовину ирландка. Я расписался. Миссис Гейз дала мне ключ с искрящейся улыбкой и, продолжая искриться, показала, где поставить машину. Лолита выползла из нее и зябко повела плечами: лучезарный вечерний воздух был действительно прохладноват. Войдя в коттедж, она села на стул у раскладного стола, опустила голову на руку и сказала, что чувствует себя ужасно. Притворяется, подумал я, притворяется, верно, чтобы избежать моих ласк; меня сжигала страсть, но бедняжка принялась очень как-то нудно хныкать, когда я полез к ней. Лолита больна! Лолита умирает! Она вся горела. Я поставил ей градусник, в ротик, затем посмотрел формулу записанную, к счастью, у меня в книжечке, и когда я наконец перевел бессмысленную для меня цифру с Фаренгейтовской шкалы на близкую мне с детства стоградусную, оказалось, что у нее сорок и две десятых, чем по крайней мере объяснилось ее состояние. Я знал, что у истеричных нимфочек температура поднимается до фантастических градусов, — даже выше той точки, при которой обыкновенные люди умирают; и я бы ограничился тем, что дал бы ей глоток горяченького глинтвейна, да две аспиринки, да губами впитал бы жарок без остатка, ежели бы по тщательном осмотре прелестный отросток в глубине мягкого нёба, один из главных кораллов ее тела, не оказался совершенно огненной окраски. Я раздел девочку. Дыхание у нее было горько-сладким. Ее коричневая роза на вкус отзывалась

кровью. Ее трясло с головы до ног. Когда она пожаловалась, что не может повернуть голову от боли в шее, я как всякий американский родитель, подумал о полиомиелите. Бросив всякую надежду на половые сношения, я закутал ребенка в шотландский плед и понес в автомобиль. Добрая миссис Гейз между тем позвонила местному врачу. "Вам повезло, что это случилось именно тут", сказала она, ибо не только доктор Блю считался светилом во всем районе, но Эльфинстоновский госпиталь был оборудован в самом новейшем духе, несмотря на ограниченную вместительность. Словно меня преследовал лесной царь, как в Гётевском "Короле Эльфов" (но на сей раз любитель не мальчиков, а девочек), я с ней поскакал прямо в слепящий закат, пробивавшийся со стороны низменности. Моим проводником была маленькая старушка вроде портативной ведьмы (может быть, одна из кузин Erlkönig'а), которую мне одолжила миссис Гейз и которой я больше никогда в жизни не видал. Я не люблю вас, доктор Блю, а почему вас не люблю, я сам не знаю, доктор Блю. Не сомневаюсь, что его ученость значительно уступала его репутации. Он уверил меня, что у нее "вирусная инфекция", и, когда я упомянул о ее недавней инфлуэнце, сухо сказал, что это другой микроб и что у него уже сорок таких пациентов на руках (все это звучит, конечно, как "горячка" старых беллетристов). Я подумал, не сказать ли этак со смешком, на всякий случай (мало ли что они там могут высмотреть), что не так давно моя пятнадцатилетняя дочь потерпела маленькую аварию, неудачно перелезая через острый частокол вместе с молодым приятелем; но сознавая, что я совершенно пьян, я решил отложить это сообщение до более благоприятного времени. Долорес продолжала расти: неулыбающейся блондинке-секретарше, паршивой суке, я сказал, что моей дочери "в общем, шестнадцать". Пока я не смотрел, девочку мою утащили у меня! Тщетно я настаивал, чтобы мне позволили провести ночь на мате (с надписью "Добро пожаловать") в одном из чуланов их проклятой больницы. Я бегал вверх и вниз по конструктивистским лестницам, пытаясь добраться до моей душеньки, которую надо было предупредить, чтобы она не болтала, особенно если у нее

голова в тумане, как у всех нас. В какой-то момент я здорово нагрубил очень молоденькой и очень наглой сестре с гипертрофией зада и агатовыми глазами — баскского (кс-кс, киска!) происхождения, как я узнал впоследствии: отец ее был одним из тех пастухов, которых ввозят сюда для тренировки овчарок. Наконец я возвратился к запаркованному автомобилю и не знаю, сколько часов просидел в нем, скорчившись в темноте, оглушенный непривычным одиночеством, глядя с разинутым ртом то на тускло освещенный, весьма коробчатый и плоско-кровельный госпиталь, стоявший как бы на карачках посреди своего муравчатого квадрата, то на дымную россыпь звезд и серебристо-зубристые горные высоты, где об эту пору отец Марии, одинокий Жозеф Лор, мечтал о ночлегах в Олороне, Лагоре, Роласе — или совращал овцу. Благоуханные бредни такого рода всегда служили мне утешением в минуты особого душевного напряжения, и только когда я почувствовал, что, невзирая на частое прикладывание к фляжке, дрожу от холода бессонной ночи, решил я поехать обратно в мотель. Проводница-ведьма исчезла, а дорогу я плохо знал. Широкие гравийные улицы пересекали так и сяк призрачные прямоугольники. Я смутно различил нечто вроде силуэта виселицы, но это наверное был просто гимнастический прибор на школьном дворе; а в другом квартале, похожем на пустошь, вырос передо мной в куполообразной тиши бледный храм какой-то местной секты. Наконец я выехал на шоссе и вскоре завидел неоновый знак Серебряной Шпоры с аметистовой надписью "Все Занято", вокруг которой маячили миллионы мотельных мотылей, называемых "мельниками" — не то от "мелькать", не то из-за мучнистого оттенка на свету; и когда, около трех утра, после одного из тех несвоевременных горячих душей, которые, как некий фиксаж, только способствуют закреплению отчаяния и изнеможения в человеке, я лег в постель — в ее постель, пахнувшую каштанами и розами, и мятными леденцами, и теми очень тонкими, очень своеобразными французскими духами, которыми последнее время я позволял ей пользоваться, я никак не мог осмыслить простой факт, что впервые за два года я

разлучился с Лолитой. Внезапно мне подумалось, что ее болезнь не что иное, как странное развитие основной темы, что у этой болезни тот же привкус и тон, как у длинного ряда сцепленных впечатлений, смущавших и мучивших меня в пути; я вообразил, как тайный агент, или тайный любовник, или мерзкий шалун, или создание моих галлюцинаций — все равно кто — рыщет вокруг лечебницы; Аврора едва "согрела руки", как говорят сборщики лаванды у меня на родине, а я уже снова норовил пробиться в эту крепость — стучался в ее зеленые двери, не позавтракав, не имев стула, не видя конца терзаниям.

Это было во вторник, а в среду или четверг, чудно реагируя — душенька моя! — на какую-то "сыворотку" (из спермы спрута или слюны слона), она почти совсем поправилась, и врач сказал, что "денька через два она будет опять скакать".

Я к ней заходил раза два в день — всего, может быть, восемь раз, — но только последнее посещение отчетливо запечатлелось у меня в памяти. В тот день для меня было большим подвигом выйти из дому вообще, ибо я себя уже так чувствовал, точно меня всего вылущил грипп, принявшийся теперь за меня. Никто не узнает, каких усилий мне стоило отнести все это к ней — букет, бремя любви, книги, за которыми я ездил за шестьдесят миль: "Драматические Произведения" Браунинга; "История Танца"; "Клоуны и Коломбины"; "Русский Балет"; "Цветы Скалистых Гор"; "Антология Театральной Гильдии" и "Теннис" Елены Вилльс, которая выиграла свой первый национальный чемпионат в пятнадцать лет. В ту минуту как я, шатаясь под ношей, подходил к двери Лолитиной частной палаты, стоившей мне тринадцать долларов в день, Мария Лор (молодая гадина, служившая сиделкой и с первого дня меня возненавидевшая) как раз выходила оттуда с остатками Лолитиного утреннего завтрака на подносе: она с проворным грохотком поставила поднос на стул в коридоре и, вихляя задом, стрельнула обратно в комнату, — верно, чтобы предупредить бедную маленькую Долорес, что старый тиран подкрадывается на резиновых подошвах, с букинистическим хламом и букетом: последний я составил из ди-

ких цветов и красивых листьев, которые я набрал собственными гантированными руками на горном перевале, при первых лучах солнца (я почти не спал во всю ту роковую неделю).

А как кормят мою Карменситу? Мельком я взглянул на поднос. На запачканной яичным желтком тарелке валялся скомканный конверт. Он прежде содержал нечто, судя по рваному краю, но адреса не было — ничего не было, кроме зеленой, пошло-фальшивой геральдической виньетки с названием мотеля "Пондерозовая Сосна". Тут я произвел маленькое шассэ-круазэ с Марией, которая хлопотливо выбегала опять из Лолитиной комнаты, — удивительно, как они шибко двигаются и мало успевают сделать — эти задастые киски. Она кинула сердитый взгляд на конверт, который я положил обратно на тарелку, предварительно разгладив его.

"Вы бы лучше не трогали", проговорила она с пеленгаторным кивком головы. "Можно и пальцы обжечь".

Возражать? Ниже моего достоинства. Я только сказал: "Je croyais que c'était un 'bill' — pas un billet doux."

Затем, войдя в полную солнца комнату, я обратился к Лолите: "Bonjour, mon petit!"

"Долорес!", воскликнула Мария Лор, входя со мной, мимо меня, сквозь меня — пухлая лахудра — и моргая ресницами и начиная быстренько складывать белое фланелевое одеяло, продолжая моргать: "Долорес, ваш папенька думает, что вы получаете письма от милого дружка. Это я" (постукивая себя с гордым видом, по золоченому крестику), "я получаю их. И мой папенька может парлэ-франсэ не хуже вашего".

Она вышла. Долорес, такая розовая, с золотой рыжинкой, с губами только что ярко накрашенными, с расчесанными до блеска волосами, над которыми она поработала щеткой, как это только умеют американские девочки, лежала, вытянув голые руки на одеяле, и невинно улыбалась — не то мне, не то пустоте. Посреди ночного столика, рядом с бумажной салфеткой и карандашом, горел на солнце ее топазовый перстенек.

“Какие жуткие траурные цветы”, сказала она, принимая букет. “Но все равно — спасибо. Только будь так мил, пожалуйста, обойдись без французского — это только раздражает людей”.

Тут опять вбежала обычным своим аллюром спелая молодая шлюха, воняя мочой и чесноком, с газетой “Дезерет”, которую моя прелестная пациентка жадно схватила, не обращая внимания на роскошно иллюстрированные тома, принесенные мной.

“Моя сестра Анна”, сказала басконка (завершая давешнее сообщение новой мыслью) “работает в Пондерозе”.

Мне всегда жаль Синей Бороды. Эти брутальные братья... Est-ce que tu ne m’aimes plus, ma Carmen? Никогда не любила. Я теперь не только знал, что моя любовь безнадежна, но знал также, что они вдвоем замышляют что-то, сговариваясь, по-баскски или по-земфирски, против моей безнадежной любви. Скажу больше: Лолита вела двойную игру, ибо она дурачила и глупую, сентиментальную Марию, которой поведала, вероятно, что хочет жить у жизнерадостного дядюшки, а не у жестокого, мрачного отца. И другая сиделка, которой я так и не рассмотрел, и юродивый, вкатывавший койки и гроба в лифт, и чета идиотских зеленых попугайчиков, занимавшая клетку в приемной, — все, все они участвовали в подлом заговоре. Мария, верно, думала, что комедийный папаша Профессор Гумбертольди препятствует любовной интриге между Долорес и заместителем отца, толстеньким Ромео (ведь не забудем, что ты был жирноват, Ромка, несмотря на все эти наркотики — “снежок”, “сок радости” и так далее).

У меня побаливало горло; я стоял, переглатывая, у окна и глядел на романтическую скалу, повисшую высоко в смеющемся, заговорщическом небе.

“Моя Кармен”, обратился я к ней (я иногда звал ее этим именем), “мы покинем этот пересохший, воспаленный, свербящий город, как только тебе позволят встать”.

“Кстати — мне нужны мои вещи”, проговорила гитаночка, подняв холмом колени и перейдя на другую страницу газеты.

“Потому что, видишь ли”, продолжал я, “нет смысла сидеть в этом городе”.

“Нет смысла сидеть где бы то ни было”, сказала Лолита.

Я опустился в кретоновое кресло и, раскрыв красивый ботанический атлас, попытался, в жужжащей от жара тишине, найти в нем мои цветы. Это оказалось невозможным. Немного погодя где-то в коридоре раздался музыкальный звоночек.

Я не думаю, чтобы в этом претенциозном госпитале было больше дюжины больных (из них “трое или четверо сумасшедших”, как мне весело заявила раз Лолита); и, конечно, служащие имели слишком много свободного времени. Однако — тоже ради шика — строго соблюдались правила. Сознаюсь, что часто приходил в неуказанные для посещений часы. В порыве мечтательного лукавства склонная к видениям Мария Лор (в следующий раз ей померещится une belle dame toute en bleu, проплывающая по Гремучей Яруге в Нью-Лурде) схватила меня за рукав, намереваясь меня вывести. Я посмотрел на ее руку; она убрала ее. Уходя, — уходя по собственной воле, — я услышал, как Долорес Гейз повторяет мне, чтобы я завтра утром принес ей — не могла вспомнить всего, что ей нужно было в смысле носильных и других вещей: “Принеси мне”, крикнула она (уже вне поля зрения, ибо дверь тронулась, дверь закрывалась, дверь закрылась) — принеси весь новый серый чемодан и мамин, мамин!”; но на следующее утро я дрожал от озоба, и пьян был в дым, и умирал в мотельной постели, где она пролежала всего несколько минут, и все, что я в силах был сделать, ввиду этих кругами расширяющихся обстоятельств, было послать ей оба чемодана с любовником моей вдовушки, могучим и добродушным водителем грузовика. Я ясно представил себе, как моя девочка показывает Марии свои сокровища... Разумеется, я находился в несколько бредовом состоянии, и на другой день я настолько еще был зыбковат и неоформлен, что, когда взглянул в окно ванной на смежный лужок, то увидел прелестный молодой велосипед моей Долли, стоявший там на своей подпорке, причем грациозное переднее колесо

было отвернуто от меня, как всегда, а на седле сидел воробей, — но это был велосипед хозяйки, и, со слабой улыбкой покачивая головой вслед нежной грезе, я насилу добрался до кровати и долго лежал, тих и свят, как сказано — цитирую не совсем точно — у Роберта Браунинга —

Свят? Форсит! Когда Долорес
Смуглая на мураве
Вырезает, раззадорясь,
Вздор о кинобожестве —

— вырезает из пестрых журнальчиков, окружавших Долорес на всех наших стоянках, а в городе меж тем начали справлять великий национальный праздник, судя по мощным хлопушкам — сущим бомбам, — которые все время разрывались, и ровно в час пятьдесят пять дня мне послышалось чье-то посвистывание за полуоткрытой дверью коттеджа и затем — стук.

Это был грузовой шофер Франк — огромный детина: он остался стоять на пороге, держась за дверной косяк и немного подавшись вперед.

"Здрасте. Звонят в мотель из больницы. Сиделка Лор спрашивает, лучше ли мистеру Гумберту и собирается ли он зайти нынче?"

За двадцать шагов, Франк казался румяным здоровяком; в пяти шагах, как сейчас, видно было, что он состоит из румяно-сизой мозаики шрамов: в Италии, во время последней войны, его так ахнуло, что он пролетел сквозь стену; однако, несмотря на неописуемые увечья, Франк способен был править колоссальным грузовиком, баловаться рыболовством, ходить на охоту, пьянствовать и неутомимо пользоваться придорожным бабьём. В этот день — по случаю ли большого праздника или просто из желания позабавить больного человека — он снял перчатку, которую обыкновенно носил на левой руке (эта рука сейчас прижата была к косяку) и являл завороженному страдальцу не только полное отсутствие безымянного пальца и мизинца, но также и голую девку, с киноварными сосками и кобальтовой ижицей, очаровательно нататуированную на тыльной

стороне его искалеченной руки: указательный палец и средний изображали ее ноги, а на кисть приходилась ее голова в венчике из цветов. Ах, просто прелесть... особенно, когда она, как сейчас, прислонялась к брусу, точно хитрая фея.

Я попросил его передать Марии Лор, что я останусь весь день в постели и позвоню моей дочери в течение завтрашнего дня, если только буду себя чувствовать, вероятно, полинизейского происхождения (в мыслях у меня еще попадались опечатки). Тут он заметил направление моего взгляда и сделал так, что правое ее бедрышко блудливо дрыгнуло.

"Оки-доки", пропел великан Франк, ударил по косяку и, посвистывая, ушел с моим поручением, а я продолжал пить, и к утру температура упала, и, хотя я был, как жаба, вял, я надел свой фиолетовый халат поверх кукурузно-желтой пижамы и отправился в мотельную контору, где находился телефон. Все было хорошо. Ясный голос сообщил мне, что: да, все хорошо, моя дочь вчера выписалась из больницы около двух часов дня: ее дядя, мистер Густав, заехал за ней со щенком кокер-спаньелем, и приветом для всех, на черном Кадили Яке; он заплатил по Доллиному счету наличными и попросил мне передать, чтобы я не беспокоился, оставался в теплой постельке, а они, мол, едут к дедушке на ранчо, как было условлено.

Эльфинстон (он у них тонкий, но страшный) был — да и остался таким, надеюсь — премиленький городок. Он напоминал, знаете, макет — своими аккуратными деревцами из зеленой ваты и домиками под красными крышами, планомерно разбросанными по паркету долины, и мне кажется, я уже вскользь говорил о его образцовой школе, и храмине, и просторных прямоугольных жилищных участках, из коих некоторые, впрочем, сводились к довольно своеобразным загонам, где мул или единорог пасся в тумане раннего июльского утра. Забавная штука: на одном крутом, грависто-скрежещущем повороте я боком задел стоявшую у тротуара машину, но сказал себе апатически, а замахавшему руками владельцу — телепатически (в лучшем

случае), что вернусь в свое время, адрес: Бурдская Школа, переулок Бурды, город Кабура; джин, поддерживавший жизнь моего сердца, мутил мозг, и после нескольких пробелов и провалов, свойственных эпизодам в снах, я очутился в приемной больницы, где старался избить доктора и орал на людей, прятавшихся под стулья, и требовал Марии, которая, к счастью для нее, отсутствовала в этот день; грубые руки дергали меня за халат, оторвав, наконец, карман, и каким-то образом я оказался сидящим верхом на принятом мною за доктора Нелюблю пациенте, лысом, смугловатом мужчине, который в конце концов встал с пола и заметил с анекдотическим акцентом: "Ну, кто тут теперь невротик, я вас спрашиваю?"; после чего высокая суровая сестра преподнесла мне семь роскошно иллюстрированных книг в роскошных переплетах и идеально сложенный шотландский плед, причем попросила расписку; и в неожиданной тишине я в передней заметил полицейского, которому мой коллега-автомобилист указывал на меня, и я кротко расписался в получении книг и пледа — символический жест, означавший, что уступаю мою Лолиту всем этим макакам, но что же я мог сделать другого? Одна простая мысль стояла как бы нагишом передо мной: главное — остаться на воле. Соверши я любой опрометчивый шаг, — и мне пришлось бы объяснять все подробности своей преступной жизни. Поэтому я притворился одуревшим от запоя. Коллеге-автомобилисту я заплатил, наплевав на страховку, сколько он счел справедливым. Голубоглазому доктору Блю, который теперь гладил меня по руке, я в слезах поведал о слишком обильных возлияниях, которыми я считал нужным подбодрять ненадежное, но здоровое, не нуждающееся ни в каких осмотрах сердце. Перед всей больницей я извинился с таким фасонистым поклоном, что чуть не упал, добавив впрочем, что состою в неважных отношениях с другими членами Гумбертского клана. Самому себе я шепнул, что пистолет мой в сохранности и что я все еще не лишен свободы, — могу выследить беглянку, могу уничтожить "брата".

23

Расстояние в тысячу миль по шелковисто-гладкому асфальту отделяло Касбим, где, насколько мне было известно, красный бес по сговору объявился впервые, от рокового Эльфинстона, куда мы прибыли за неделю до Дня Независимости. Это путешествие тогда заняло большую часть июня, ибо мы редко проезжали больше ста пятидесяти миль в день, проводя остальное время (до пяти дней однажды) на разных стоянках, — которые, вероятно, были им детально предусмотрены. Тут, значит, и следовало искать след беса; и этому-то я полностью посвятил себя после нескольких неописуемых дней рыскания по безжалостно разветвлявшимся дорогам в окрестностях Эльфинстона.

Вообрази, читатель, меня — такого застенчивого, так не любящего обращать на себя внимание, наделенного таким врожденным чувством благопристойности — вообрази меня, скрывающего безумное горе под дрожащей подобострастной улыбкой и придумывающего предлог, чтобы с притворной небрежностью перелистать гостиничную книгу, в которой записаны фамилии, адреса и автомобильные номера проезжих. "Послушайте", говорил я, "я совершенно уверен, что я здесь уже как-то останавливался — позвольте мне взглянуть на записи за середину июня. Так-с. Нет, все-таки вижу, что ошибся, — на какой смешной улице города живет этот мистер Кук: Ишо 5. Простите за беспокойство". Или же: "Один из моих клиентов стоял у вас — я потерял его адрес, — может быть, вы будете так добры..." И не раз случалось, особенно если директор оказывался определенного типа мрачным мужчиной, что мне отказывалось в собственноручном просмотре.

У меня тут отмечено на листочке: между 5-ым июля и 18-ым ноября, т. е. до моего возвращения на несколько дней в Бердслей, я расписался (далеко не всегда, впрочем, останавливаясь на ночь) в 342 гостиницах и мотелях. Эта цифра включает несколько заведений между Касбимом и Бердслеем, из которых одно подарило мне несомненную тень беса: "Роберт Роберт, Мольберт, Альберта". Мне приходилось очень осторожно распределять свои розыски во

времени и пространстве, дабы не возбуждать подозрений; и было, вероятно, по крайней мере пятьдесят мест, где я просто справлялся, не расписываясь сам, но это ни к чему не приводило, и я предпочитал сооружать платформу правдоподобия и доброжелательства тем, что первым делом платил за ненужную мне комнату. Мой обзор показал, что из трехсот, примерно, книг не менее двадцати содержало им оставленный след: неспешивший бес или останавливался даже чаще нас, или же — на это он был вполне способен — расписался кое-где лишний раз с целью обильно снабдить меня издевательскими намеками. Только раз стоял он там же и тогда же, как и мы, — и спал в нескольких шагах от Лолитиной подушки. В нескольких случаях он ночевал в том же или соседнем квартале; нередко он ждал в засаде в промежуточном пункте между двумя условленными стоянками. Как живо помнил я Лолиту, перед самым отъездом из Бердслея, лежащей ничком на ковре в гостиной с грудой путеводителей и карт, на которых она отмечала этапы и остановки своим губным карандашом!

Я сразу установил, что наш бывший преследователь предвидел мои изыскания и подбросил мне на поживу ряд оскорбительных псевдонимов, каламбуров и прочих вывертов. В первом же мотеле, который я посетил — "Пондерозовая Сосна", — я нашел, среди дюжины явно человеческих адресов, следующую мерзость: Адам Н. Епилинтер, Есноп, Иллиной. Мой острый глаз немедленно разбил это на две хамских фразы, утвердительную и вопросительную. Хозяйка соизволила мне сообщить, что мистер Епилинтер пролежал пять дней в постели с сильным гриппом, что он оставил автомобиль для починок в неизвестном ей гараже и съехал на новой машине — 4-го июля. Да, действительно, девушка по имени Анна Лор тут работала, но это было давно, теперь она замужем за бакалейщиком в Сидар Сити. В одну прекрасную лунную ночь я подкараулил Марию — в белых сиделочных башмаках она шла по пустынной улице; будучи, как многие, автоматом, она собралась было завопить, но мне удалось ее очеловечить довольно простым способом — я пал на колени и со взвизгами, с упоминанием святителей, стал умолять ее мне помочь. Она клялась,

что ничего не знает. Кто он такой, этот Епилинтер? Она как будто заколебалась. Я проворно вынул стодолларовый билет. Она подняла его на свет луны. "Ваш братец", прошептала она наконец. Разразившись французским проклятием, я выхватил билет из ее лунно-холодной руки и убежал. Этот случай научил меня полагаться только на самого себя. Ни один сыщик, конечно, не нашел бы тех пометных ниточек и наводящих зарубок, которые Трапп подгонял к моим именно мозгам, настраивал на мой именно лад. Я не мог, разумеется, ожидать, что мой преследователь где-нибудь оставил мне свое настоящее имя; но я надеялся, что он когда-нибудь поскользнулся на собственной блестящей изощренности, осмелившись ввести более индивидуальную деталь, чем требовалось, или что он выдал слишком много через качество целого, составленного из количественных частей, выдававших слишком мало. В одном он преуспел: ему удалось демонической сетью окончательно опутать меня и мою извивающуюся, бьющуюся тоску. С бесконечным мастерством клоуна-канатоходца он пошатывался и запинался, и непонятным образом возвращался в состояние равновесия, всегда, впрочем, оставляя мне спортивную надежду — если могу так выразиться, когда идет речь об измене, ярости, опустошенности, ужасе и ненависти, — что в следующий раз он наконец переборщит. Этого никогда не случилось, — хотя он чорт знает как рисковал. Мы все восхищаемся акробатом в блестках, с классической грацией и точностью продвигающимся по натянутой под ним струне в тальковом свете прожекторов; но насколько больше тонкого искусства выказывает гротесковый специалист *оседающего* каната, одетый в лохмотья вороньего пугала и пародирующий пьяного! Мне ли этого не оценить...

Если эти оставляемые им пометные шутки и не устанавливали его личности, они зато отражали его характер, — или, вернее, некий однородный и яркий характер. В его "жанре", типе юмора (по крайней мере, в лучших проявлениях этого юмора), в "тоне" ума, я находил нечто сродное мне. Он меня имитировал и высмеивал. Его намеки отличались известной изысканностью. Он был начитан. Он говорил по-французски. Он знал толк в дедалогии и логоман-

тии. Он был любителем эротики. Почерк у него смахивал на женский. Он мог изменить имя, но не мог замаскировать, несмотря на все попытки переодеть их, некоторые буквы, как, например, его очень своеобразные “т” и “у”. Остров Quelquepart было одним из любимейших его местопребываний. Он не пользовался самоструйным пером — верное указание (как подтвердит вам всякий психиатр), что пациент — репрессивный ундинист. Человеколюбие понуждает нас пожелать ему, чтобы оказались русалочки в волнах Стикса.

Главной чертой его было задирательство. Боже мой, как нравилось бедняге дразнить меня! Он подвергал сомнению мою эрудицию. Я в достаточной мере горд тем, что знаю кое-что, чтобы скромно признаться, что не знаю всего. Вероятно, я пропустил некоторые пуанты в этом криптографическом пэпер-чэсе. Какой трепет торжества и гадливости сотрясал хрупкий состав мой, когда, бывало, среди простых, невинных имен в отельном списке тайный смысл его дьявольской головоломки вдруг эякулировал мне в лицо! Я замечал, что, как только ему начинало казаться, что его плутни становятся чересчур заумными, даже для такого эксперта, как я, он меня приманивал опять загадкой полегче. “Арсен Люпэн” был очевиден полуфранцузу, помнившему детективные рассказы, которыми он увлекался в детстве; и едва ли следовало быть знатоком кинематографа, чтобы раскусить пошлую подковырку в адресе: “П. О. Темкин, Одесса, Техас”. В не менее отвратительном вкусе, но по существу выдающем ум культурного человека, а не полицейского, не заурядного бандита, не похабного коммивояжера, были такие вымышленные имена, как “Эрутар Ромб” — явная переделка имени автора “Le Bateau Bleu” — да будет и мне позволено немного позубоскалить, господа! — или “Морис Шметтерлинг”, известный своей пьесой “L'Oiseau Ivre” (что, попался, читатель?). Глупое, но смешное “Д. Оргон, Эльмира, Нью-Йорк” вышло, конечно, из Мольера; и потому что я недавно пытался Лолиту заинтересовать знаменитой комедией восемнадцатого века, я приветствовал старого приятеля — “Гарри Бумпер, Шеридан, Вайоминг”. Из невинных Бермудских Островов он сделал

остроту — каламбур, который пристойность не разрешает мне привести, и всякий хороший фрейдист, с немецкой фамилией и некоторым знанием в области религиозной проституции, поймет немедленно намек в "Др. Китцлер, Эрикс, Мисс." Что ж, все это не плохо. Потеха довольно убогая, но в общем без личных выпадов, а потому безвредная. Не привожу записей, которые меня привлекли своей, так сказать, явной зашифрованностью, но вместе с тем не поддались разгадке, ибо чувствую, что продвигаюсь ощупью сквозь пограничный туман, где словесные оборотни превращаются, может быть, в живых туристов. Что такое, например: "Фратер Гримм, Океан, Келькепар"? Настоящим ли человеком — со случайно одинаковым с ним почерком — был некто "Н. С. Аристофф" родом из "Катагелы"? Где твое жало, Катагела? А что это: "Джемс Мавор Морелл, Каламбург, Англия"? "Аристофан", "Каламбур" — прекрасно, но чего я недопонял?

Одна черта, повторявшаяся в этих подделках, производила во мне особенно болезненный трепет. Такие вещи, как "Г. Трапп, Женева, Нью-Йорк", означали предательство со стороны моей спутницы. Комбинация "О. Бердслей, Лолита, Техас" доказывала, несмотря на существование такого города в Техасе — (и притом яснее, чем исковерканное в Чампионе телефонное сообщение), что следует искать начала всей истории на атлантической стороне Америки. "Лука Пикадор, Мерри Мэй, Мэриланд" содержало ужасный намек на то, что моя маленькая Кармен выдала негодяю жалкий шифр ласковых имен, и своенравных прозваний, которые я ей давал. Три раза повторен был адрес: "Боб Браунинг, Долорес, Колорадо". Безвкусное "Гарольд Гейз, Мавзолей, Мексика" (которое в иное время могло бы меня позабавить) предполагало знакомство с прошлым девочки — и на минуту у меня явилась кошмарная мысль, что "Дональд Отто Ких" из городка "Сьерра" в штате "Невада" — старый друг семьи, бывший, может быть, любовник Шарлотты, бескорыстный, может быть, защитник детей. Но больнее всего пронзила меня кощунственная анаграмма нашего первого незабвенного привала (в 1947-ом году, читатель!), которую я отыскал в

книге касбимского мотеля, где он ночевал рядом с нами: "Ник. Павлыч Хохотов, Вран, Аризона".

Исковерканные автомобильные номера, оставляемые всеми этими Кувшинкиными, Фатаморганами и Траппами, всего лишь указывали на то, что хозяева постоялых дворов плохо проверяют идентификацию машин, даваемую проезжими. Ссылки — неполные или неправильные — на автомобили, которые наш преследователь нанимал для коротких перегонов между Уэйсом и Эльфинстоном, я, разумеется, не мог использовать. Номер, относящийся к его первоначальному, по-видимому собственному, Яку, представлял собой мерцание переменчивых цифр, из которых одни он переставлял, другие переделывал или пропускал; но самые комбинации этих цифр как-то перекликались (например, ВШ 1564 и ВШ 1616 или КУ 6969 и КУКУ 9933), хотя были так хитро составлены, что не поддавались приведению к общему знаменателю.

Мне пришло в голову, что после того, как он передал вишневый Як приспешникам в Уэйсе и перешел на систему "перекладных", преемники его могли оказаться менее осмотрительными и, может быть, оставили в какой-нибудь отельной книге прототип тех взаимно связанных номеров. Но если искать беса на дорогах, по которым он наверняка проехал, было таким сложным, запутанным и безнадежным делом, чего мог я ожидать от попыток напасть на след неизвестных автомобилистов, путешествующих по неизвестным мне маршрутам?

24

К тому времени, как я достиг Бердслея, в порядке той рекапитуляции, о которой я теперь достаточно поговорил, у меня в уме создался довольно полный образ, и этот образ я свел — путем исключения (всегда рискованным) — к тому единственному конкретному первоисточнику, который работа больного мозга и шаткой памяти могла отыскать.

Кроме преподобного Ригор Мортис (как девочки окрестили пастора) и почтенного старца, преподававшего нео-

бязательные немецкий язык и латынь, в Бердслейской гимназии не было постоянных учителей мужского пола. Но два-три раза в течение учебного года (1948—49) приходил с волшебным фонарем искусствовед из Бердслейского Университета показывать гимназисткам цветные снимки французских замков и образцы импрессионистической живописи. Мне хотелось присутствовать при этих проекциях и лекциях, но Долли, как это у нас водилось, попросила меня не ходить, — и баста. Кроме того, я помнил, что Гастон называл этого именно преподавателя блестящим garçon; но это было все; память отказывалась выдать мне имя любителя старинных шато.

В день, назначенный для казни, я прошел по слякоти через университетский двор к одному из указанных мне зданий. Там я узнал, что фамилия искусствоведа Риггс (что несколько напоминало фамилию знакомого нам служителя культа), что он холост, и что через десять минут он выйдет из университетского музея, где сейчас читает лекцию. Я сел на мраморную скамью (дар некой Цецилии Рамбль) у входа в лекционный зал музея. Дожидаясь там, с болезненным ощущением в предстательной железе, подвыпивший, истощенный недостатком сна, сжимая кольт в кулаке, засунутом в карман макинтоша, я вдруг спохватился, что я ведь сошел с ума и готов совершить глупость. Существовал один шанс среди миллионов, что Альберт Риггс, доцент, держит мою Лолиту под замком у себя на дому, 69, улица Линтера — в названии было что-то знакомое... Нет, он никак не мог быть моим губителем. Чепуха. Я терял рассудок и тратил зря время. Он и она сейчас в Калифорнии, а не здесь.

Вскоре, за белыми статуями, украшающими вестибюль, я заметил смутное оживление. Дверь — не та, на которую я жадно уставился, а другая, подальше, — бодро распахнулась, и среди стайки студенток запрыгала, как пробка, лысина щупленького лектора, а затем ко мне стали приближаться его блестящие карие глаза. Я никогда в жизни его не видал, хотя он стал настаивать, что мы как-то познакомились на приеме в саду Бердслейской школы. А как поживает моя очаровательная дочь, теннисистка? У него, к сожалению, еще одна лекция. До скорого!

Другие попытки опознания разрешились не так скоро. Через объявление в одном из журнальчиков, оставшихся мне от Лолиты, я решился войти в сношение с частным сыщиком, бывшим боксером, и просто чтобы дать ему понятие о методе, которым пользовался негодяй, преследовавший нас до Эльфинстона, я ознакомил его с некоторыми образцами имен и адресов, набранных мной на обратном пути. Он потребовал порядочный аванс, и в продолжение двадцати месяцев — двадцати месяцев, читатель! — болван занимался тем, что кропотливо проверял эти явно вымышленные данные! Я уже давно порвал с ним всякие деловые сношения, когда однажды он явился ко мне с победоносным видом и сообщил, что Боб Браунинг действительно живет около поселка Долорес в юго-западном Колорадо и что он оказался краснокожим киностатистом восьмидесяти с лишком лет.

25

Эта книга — о Лолите; теперь, когда дохожу до той части, которую я бы назвал (если бы меня не предупредил другой страдалец, тоже жертва внутреннего сгорания) "Dolorès Disparue", подробное описание последних трех пустых лет, от начала июля 1949 до середины ноября 1952, не имело бы смысла. Хотя и следует отметить кое-какие важные подробности, мне хотелось бы ограничиться общим впечатлением: в жизни, на полном лету, раскрылась с треском боковая дверь и ворвался рев черной вечности, заглушив захлестом ветра крик одинокой гибели.

Странно — я почти никогда не видел и не вижу Лолиту во сне такой, какой помню ее — какой я видел ее наяву, мысленно, с неослабностью душевной болезни, в галлюцинациях дня и бессонницах ночи. Если она и снилась мне, после своего исчезновения, то появлялась она в странных и нелепых образах, в виде Валерии или Шарлотты, или помеси той и другой. Помесное привидение приближалось, бывало, ко мне, скидывая с себя покрышку за покрышкой, в атмосфере великой меланхолии, великого отвращения.

Эта Лже-Лолита (и Лже-Валерия) вяло приглашала меня разделить с ней твердый диванчик, или просто узкую доску, или нечто вроде гинекологического ложа, на котором она раскидывалась, приотворив плоть, как клапан резиновой камеры футбольного мяча. С расколовшимся или безнадежно потерянным зубным протезом я попадал в гнусные меблирашки, где для меня устраивались скучнейшие вечера вивисекции, обыкновенно кончавшиеся тем, что Шарлотта или Валерия рыдала в моих окровавленных объятиях, и я их нежно целовал братскими губами в сонном беспорядке венской дребедени, продаваемой с молотка, жалости, импотенции и коричневых париков трагических старух, которых только что отравили газом.

Однажды я вынул из бедного Икара и уничтожил давно накопившуюся кучу журнальчиков для подростков. Вам известен тип этих изданий: в отношении чувств это — каменный век; в смысле гигиены — эпоха, по крайней мере, микенская. Красивая, но уже очень зрелая актриса, с исполинскими ресницами и пухлой, мясисто-красной нижней губой, рекомендовала новый шампунь. Бедлам реклам. Юным школьницам нравятся сборки на юбках — que c'était loin, tout cela! Когда приглашают с ночевкой, хозяйке полагается приготовить для каждой гостьи халат. Бессвязные детали лишают ваш разговор всякого блеска. Нам всем приходилось встречать на вечеринках для конторских служащих "копунью" — девушку, которая копает ногтями кожу на лице. Только если он очень стар или занимает очень большое положение, пожилому мужчине дозволяется не снимать перчатки, перед тем как пожать руку даме. Привлекай сердца ношением нашего Нового Животикоскрадывателя: ни бочков, ни брюшков. Тристан и три женских стана в кино. Да-с, господа-с: супружество Джо и Дженни возбуждает джуджжание. Превратись в романтическую красавицу быстро и дешево. Книжки-комикс: скверная девчонка (брюнетка), толстяк-отец (с сигарой); хорошая девочка (рыжая), красивый папочка (с подстриженными усами). Или отвратительная серия с гориллообразным верзилой и его женой, гномообразной гнидой. Et moi qui t'offrais mon génie... Я припомнил довольно изящные, чепу-

шиные стишки, которые я для нее писал, когда она была ребенком. "Не чепушиные", говорила она насмешливо, "а просто чепуха":

> Пролетают колибри на аэропланах,
> Проходит змея, держа руки в карманах...

или:

> Так ведет себя странно с крольчихою кролик,
> Что кролиководы смеются до колик.

Иные ее вещи было трудно выбросить. До конца 1949-го года я лелеял, и боготворил, и осквернял поцелуями, слезами и слизью пару ее старых тапочек, ношеную мальчиковую рубашку, потертые ковбойские штаны, смятую школьную кепочку и другие сокровища этого рода, найденные в багажном отделении автомобиля. Когда же я понял, что схожу с ума, я собрал эти вещи, прибавил к ним кое-что оставшееся на складе в Бердслее — ящик с книгами, ее велосипед, старое пальто, ботики — и в пятнадцатый день ее рождения послал все это в виде дара от неизвестного в приют для сироток на ветреном озере у канадской границы.

Не исключаю, что пойди я к хорошему гипнотизеру, он бы мог извлечь из меня и помочь мне разложить логическим узором некоторые случайные воспоминания, которые проступают сквозь ткань моей книги со значительно большей отчетливостью, чем они всплывают у меня в памяти — даже теперь, когда я уже знаю, чтó и кого выискивать в прошлом. В то время я только чувствовал, что теряю контакт с действительностью. Я провел остаток зимы и большую часть весны в санатории около Квебека, где я лечился раньше, после чего решил привести в порядок некоторые свои дела в Нью-Йорке, а затем двинуться в Калифорнию для основательных розысков.

Вот стихотворение, сочиненное мной в санатории:

> Ищут, ищут Долорес Гейз;
> Кудри: русы. Губы: румяны,
> Возраст: пять тысяч триста дней,
> Род занятий: нимфетка экрана?

Где ты таишься, Долорес Гейз?
Что верно и что неверно?
Я в аду, я в бреду: “выйти я не могу”
Повторяет скворец у Стерна.

Где разъезжаешь, Долорес Гейз?
Твой волшебный ковер какой марки?
Кагуар ли кремовый в моде днесь?
Ты в каком запаркована парке?
Кто твой герой, Долорес Гейз?
Супермен в голубой пелерине?
О, дальний мираж, о, пальмовый пляж
О, Кармен в роскошной машине!

Как больно, Долорес, от джаза в ушах!
С кем танцуешь ты, дорогая?
Оба в мятых майках, потертых штанах,
И сижу я в углу, страдая.

Счастлив, счастлив, Мак-Фатум, старик гнилой.
Всюду ездит. Жена — девчонка.
В каждом штате мнет Молли свою, хоть закон
Охраняет даже зайчонка.

Моя боль, моя Долли! Был взор ее сер
И от ласок не делался мглистей.
Есть духи — называются Soleil Vert...
Вы что, из Парижа, мистер?

L’autre soir un air froid d’opéra m’alita:
Son fêlé — bien fol est qui s’y fie!
Il neige, le décor s’écroule, Lolita!
Lolita, qu’ai-je fait de ta vie?

Маюсь, маюсь, Лолита Гейз,
Тут раскаянье, тут и угрозы.
И сжимаю опять волосатый кулак,
И вижу опять твои слезы.

Патрульщик, патрульщик, вон там, под дождем,
Где струится ночь, светофорясь...
Она в белых носках, она — сказка моя,
И зовут ее: Гейз, Долорес.

Патрульщик, патрульщик, вон едут они,
Долорес Гейз и мужчина.
Дай газу, вынь кольт, догоняй, догони,
Вылезай, заходи за машину!

Ищут, ищут Долорес Гейз:
Взор дымчатый тверд. Девяносто
Фунтов всего лишь весит она
При шестидесяти дюймах роста.
Икар мой хромает, Долорес Гейз,
Путь последний тяжел. Уже поздно.
Скоро свалят меня в придорожный бурьян,
А все прочее — ржа и рой звездный.

Психоанализируя это стихотворение, я вижу, что оно не что иное, как шедевр сумасшедшего. Жесткие, угловатые, крикливые рифмы довольно точно соответствуют тем лишенным перспективы ландшафтам и фигурам, и преувеличенным их частям, какие рисуют психопаты во время испытаний, придуманных их хитроумными дрессировщиками. Я много понасочинил других стихов. Я погружался в чужую поэзию. Но мысль о мести ни на минуту не переставала томить меня.

Я был бы плутом, кабы сказал (а читатель — глупцом, кабы поверил), что потрясение, которое я испытал, потеряв Лолиту, навсегда меня излечило от страсти к малолетним девочкам. Лолиту я теперь полюбил другой любовью, это правда, — но проклятая природа моя от этого не может измениться. На площадках для игр, на морских и озерных побережьях мой угрюмый, воровской взгляд искал поневоле, не мелькнут ли голые ноги нимфетки или другие заветные приметы Лолитиных прислужниц и наперсниц с букетами роз. Но одно основное видение выцвело: никогда я теперь не мечтал о возможном счастье с девочкой (обособленной или обобщенной) в каком-нибудь диком и безопасном месте; никогда не воображал я, что буду впиваться в нежную плоть Лолитиных сестричек где-нибудь далеко-далеко, в песчаном убежище между скал пригрезившихся островов. *Это* кончилось — или кончилось, по крайней мере, на некоторое время. С другой же стороны... увы, два года чудовищного потворства похоти приучили меня к из-

вестному укладу половой жизни. Я боялся, как бы пустота, в которой я очутился, не заставила бы меня воспользоваться свободой внезапного безумия и поддаться случайному соблазну при встрече в каком-нибудь проулке с возвращающейся домой школьницей. Одиночество разжигало меня. Я нуждался в обществе и уходе. Мое сердце было истерическим, ненадежным органом. Вот как случилось, что Рита вошла в мою жизнь.

26

Она была вдвое старше Лолиты и на десять лет моложе меня. Представьте себе взрослую брюнетку, очень бледную, очень тоненькую (она весила всего сто пять фунтов), с очаровательно ассиметричными глазами, острым, как бы быстро начерченным профилем и с весьма привлекательной ensellure — седловинкой в гибкой спине: была, кажется, испанского или вавилонского происхождения. Я ее подобрал как-то в мае, в "порочном мае", как говорит Элиот, где-то между Монреалем и Нью-Йорком, или, суживая границы, между Тойлестоном и Блэйком, у смутло горевшего в джунглях ночи бара под знаком Тигровой Бабочки, где она пресимпатично напилась: уверяла меня, что мы учились в одной и той же гимназии, и все клала свою дрожащую ручку на мою орангутановую лапу. Чувственность мою она только очень слегка бередила, но я все-таки решил сделать пробу; проба удалась, и Рита стала моей постоянной подругой. Такая она была добренькая, эта Рита, такая компанейская, что из чистого сострадания могла бы отдаться любому патетическому олицетворению природы — старому сломанному дереву или овдовевшему дикобразу.

Когда мы познакомились (в 1950-ом году), с ней недавно развелся третий ее муж, а еще недавнее ее покинул седьмой по счету официальный любовник. Другие, неофициальные, были слишком многочисленны и мимолетны, чтобы можно было их каталогизировать. Ее брат, политикан с лицом как вымя, носивший подтяжки и крашеный от

руки галстук, был мэром и душой города Грейнбол, известного своими бейзболистами, усердными читателями Библии и зерновыми дельцами. В течение последних лет он платил своей замечательной сестренке семьсот долларов в месяц под абсолютным условием, что она никогда, никогда не приедет в его замечательный городок. Она рассказывала мне, подвывая от недоумения, что почему-то — чорт его знает почему — всякий новый любовник первым делом мчал ее в Грейнбол; Грейнбол приманивал роковым образом; и не успевала она оглянуться, как уже ее всасывала лунная орбита родного города и она ехала под прожекторным освещением кругового бульвара, "вертясь", смешно говорила она, "как проклятая бабочка в колесе".

У нее оказался изящный двухместный автомобильчик, и в нем-то мы ездили в Калифорнию, так как мой маститый Икар нуждался в отдыхе. Правила обыкновенно она — с прирожденной скоростью в девяносто миль в час. Милая Рита! Мы с ней разъезжали в продолжение двух туманных лет с перерывами, и невозможно вообразить другую такую славную, наивную, нежную, совершенно безмозглую Риточку! По сравнению с ней, Валерия была Шлегель, а Шарлотта — Гегель! По правде сказать, нет ровно никакой причины заниматься мне ею на полях этих мрачных мемуаров, но все-таки хочу сказать (алло, Рита — где бы ты ни была, пьяная или трезвая, Рита, алло!), что эта моя самая утешительная, самая понятливая подруга, несомненно, спасла меня от смирительной рубашки. Я объяснил ей, что хочу отыскать сбежавшую возлюбленную и угробить ее кота. Рита с важным видом одобрила этот план — и, предприняв, в окрестностях Сан-Гумбертино, кое-какие собственные расследования (хотя ни черта о деле не знала), сама спуталась с каким-то бандитом; мне стоило адских усилий вызволить ее — в подержанном и подшибленном виде, но вполне бодренькую. А другой раз, найдя мой священный пистолет, она предложила поиграть в "русскую рулетку"; я возразил, что нельзя, в пистолете нет барабана; мы стали за него бороться, и наконец раздался выстрел, причем пуля ушла в стену нашего номера, и оттуда забил

очень тонкий и очень забавный фонтанчик горячей воды; помню, как она стонала от смеха.

До странности детская вогнутость ее спины, рисовая кожа, медленные, томные, голубиные поцелуи, — все это оберегало меня от беды. Не талант художника является вторичным половым признаком, как утверждают иные шаманы и шарлатаны, а наоборот: пол лишь прислужник искусства. Один довольно смутный кутеж наш имел забавные последствия. Я только что прекратил поиски: бес либо находился в Тартаре, или весело горел у меня в можжечке (где греза и горе раздували пламя), но во всяком случае никакого не имел отношения к турниру тенниса, в Сан-Диего, где в женском разряде первый приз взяла шестнадцатилетняя Доротея Гааз, мужеподобная дылда. Как-то, во время обратной поездки на восток, в гнуснейшей гостинице (того сорта, где устраиваются коммерческие съезды и бродят, пошатываясь, ярлыками отмеченные, марципановые толстяки, называющие друг друга Джо или Джим, заключающие сделки и хлещущие виски) милая Рита и я, проснувшись за полдень, увидели, что с нами в номере находится еще один человек, молодой бледный блондин, почти альбинос, с белыми ресницами и большими прозрачными ушами. Ни Рита в ее грустной жизни, ни я в моей никогда его не встречали. Весь потный, в грязном фланелевом комбинезоне, в старых походных сапогах на шнурках, он храпел на одеяле нашей двуспальной постели по другую сторону от моей целомудренной подруги. У него не хватало одного переднего зуба, лоб оброс янтарными прыщами. Риточка облекла свою гибкую наготу в мой макинтош — первое, что попалось ей под руку; я же натянул трусики; после чего мы обследовали положение. На подносе стояло целых пять употребленных стаканов, что в смысле примет только усложняло дело. Дверь была плохо прикрыта. На полу валялись мужской свитер да пара бесформенных военных штанов защитного цвета. Мы долго трясли их владельца; наконец несчастный очнулся. Оказалось, что он совершенно потерял память. Говоря с акцентом, который Рита определила как "чисто бруклинский", он обиженно инсинуировал, что мы (каким образом?) при-

своили его (ничего не стоящую!) личность. Мы его быстрехонько одели и потом оставили в ближайшей больнице, выяснив по дороге, что какие-то уже забытые извилины и повороты привели нас в пресловутый Грейнбол. Полгода спустя, Рита написала тамошнему доктору. Тот ответил, что "Джек Гумбертсон" — как незнакомца безвкусно прозвали — все еще не вошел в сношение со своим прошлым. О, Мнемозина, сладчайшая и задорнейшая из муз!

Я бы не отметил этого случая, если бы с него не начался ход мыслей, в результате коих я напечатал в ученом журнале "Кантрип", что по-шотландски значит "колдовство", этюд, озаглавленный "Мимир и Мнемозина", в котором я наметил теорию (показавшуюся оригинальной и значительной благосклонным читателям этого великолепного ежемесячника) "перцепционального времени", основанную на "чувстве кровообращения" и концепционально зависящую (очень кратко говоря) от особых свойств нашего разума, сознающего не только вещественный мир, но и собственную сущность, отчего устанавливается постоянное взаимоотношение между двумя пунктами: будущим (которое можно складировать) и прошлым (уже отправленным на склад). Одним из последствий появления этой статьи, завершившей ряд прежних моих работ, тоже не прошедших незаметно, было приглашение на один год в Кантрипский Университет, отстоявший на четыреста миль от Нью-Йорка, где мы с Ритой снимали квартирку с видом на глянцевитые тела мальчиков и девочек, игравших под дубами, далеко внизу, в водометной дубраве Центрального Парка. В Кантрипе я прожил, в специальных аппартаментах для поэтов и философов, с октября 1951 года до июня 1952-го, между тем как Рита, которую я предпочитал не показывать, прозябала — кажется, не очень благопристойно — в пришоссейной гостинице, где я ее навещал два раза в неделю. Затем она исчезла, но менее бесчеловечно, чем ее предшественница: через месяц я нашел ее в Кантрипской тюрьме. Она держалась с большим достоинством, лишилась червеобразного отростка в тюремной больнице и поклялась мне довольно убедительно, что дивный голубой мех, который, по словам некоей важной дамы, миссис Мак-Крум, она у

нее украла, был на самом деле подарком, сделанным ей с большой непосредственностью несколько подвыпившим мистером Мак-Крумом. Я смог вытащить ее оттуда без того, чтобы обратиться к ее нервному брату, и вскоре после этого мы вернулись с ней в Нью-Йорк, опять на западную сторону Центрального Парка, заглянув по дороге в Брайсланд, через который, впрочем, Рита и я уже проезжали в предыдущем году.

Меня тогда охватило непреодолимое желание восстановить мое пребывание там с Лолитой. Утратив всякую надежду выследить беглянку и ее похитителя, я вступил в новую фазу существования: я теперь пытался ухватиться за старые декорации и спасти хотя бы гербарий прошлого: souvenir, souvenir, que me veux-tu? Верлэновская осень звенела в воздухе, как бы хрустальном. В ответ на открытку с просьбой резервировать номер с двумя кроватями и ванной профессор Гамбургер немедленно получил учтивый отказ. Все было, мол, занято. Оставалась одна подвальная комната без ванной с четырьмя кроватями, но она вряд ли бы мне подошла. Вот заголовок их почтовой бумаги:

ПРИВАЛ ЗАЧАРОВАННЫХ ОХОТНИКОВ

ВСЕ НАПИТКИ	ЦЕРКВИ	СОБАКИ
(кроме спиртных)	на удобном расстоянии для верующих	не допускаются

Я усомнился в истине первого заявления. Все? Подавался ли там гренадин, например, как в тротуарных кофейнях Европы? Меня также интересовало, не отдал ли бы охотник, зачарованный или нормальный, место в церкви за пса — и тут я вдруг вспомнил, со спазмой боли, сцену, достойную большого художника: Petite Nymphe Accroupie; но этот шелковистый кокер-спаньель был, возможно, крещеный. Нет — я не чувствовал себя в силах выдержать мучительное посещение знакомого холла. В мягком, пыльно-окрашенном, осеннем Брайсланде таились другие возможности воскресить былое. Оставив Риту в ближайшем баре, я отправился в городскую библиотеку. Чирикающая

старая дева с величайшей готовностью помогла мне найти середину августа 1947 года в переплетенном комплекте Брайсландского Вестника, и вот я уже сидел в уединенном углу под голой лампочкой и переворачивал огромные и хрупкие страницы тома, черного, как гроб, и едва ли не крупнее самой Лолиты.

Читатель! Брудер! Каким глупым Гомбургом был этот Гомельбург! Так как его сверхчувствительная природа страшилась действительности, он считал возможным насладиться, по крайней мере, кусочком ее — что напоминает, как десятый или двадцатый Фриц или Иван в терпеливом хвосте насильников прикрывает белое лицо женщины ее же черной шалью, чтобы не видеть ее невозможных глаз, пока наконец добывает свою солдатскую радость в угрюмом, разграбленном поселке. Мне же хотелось добыть в напечатанном виде снимок, случайно запечатлевший мой посторонний образ в ту минуту, когда фотограф от "Брайсландского Вестника" сосредоточивался на Д-ре Браддоке и его группе. Страстно мечталось мне, чтобы сохранился Портрет Неизвестного Изверга. Невинный аппарат, поймавший меня на темном моем пути к ложу Лолиты, — вот тема для Мнемозины! Тщетно пытаюсь объяснить сущность этого позыва. Его можно, пожалуй, сравнить с тем обморочным любопытством, которое заставляет нас вооружиться увеличительным стеклом, чтобы рассмотреть хмурые фигурки (в общем, натюр морт — и всех сейчас вырвет) собравшихся ранним утром у плахи, — но выражение лица пациента все-таки никак не разобрать на снимке. Как бы то ни было, я буквально задыхался, и один угол фолианта рока все бодал меня в брюхо, пока я листал и летал по листам глазами. В воскресенье, 24-го, в одном из двух местных кинематографов шел фильм "Одержимые", а в другом — "Грубая Сила". Мистер Пурдом, независимый табачный аукционист, говорил, что с 1925 года он курит только "Омэн Фаустум". Рослый Росс, футболист, и его миниатюрная невеста были на вечере у миссис Гумберт Перрибой, 58, Эраннис Авеню. Существует паразит, величина которого составляет целую одну шестую часть организма, вместившего его. Дюнкерк был впервые укреплен в деся-

том веке. Белые носки для барышен, 39 центов; спортивные оксфордские башмачки, 3 доллара 98 центов. Вино, вино, вино, изрек автор "Темного Возраста", который не разрешил нашему фотографу снять его, подходит, может быть, персидскому буль-булю, но я всегда говорю, что дождь, дождь, дождь, стучащий по гонтовой крыше, лучший друг роз и вдохновения. Так называемые "ямочки" происходят от прирастания кожи к более глубоко лежащим тканям. Греки отразили сильную партизанскую атаку. Ах, наконец: абрис девочки в белом и пастор Браддок в черном; но, если и касалось мимоходом его дородного корпуса чье-то призрачное плечо, ничего относящегося до меня я узнать тут не мог.

Поразительный паразит пошел за Ритой в бар. С той грустной улыбкой, которая появлялась у нее на лице от избытка алкоголя, она представила меня агрессивно-пьяному старику, говоря, что он — запамятовала вашу фамилию, дорогуша — учился с ней в одной школе. Он дерзко попробовал задержать ее, и в последовавшей потасовке я больно ушиб большой палец об его весьма твердую голову. Затем мне пришлось некоторое время прогуливать и проветривать Риту в раскрашенном осенью парке Зачарованных Охотников. Она всхлипывала и повторяла, что скоро, скоро я брошу ее, как все в жизни ее бросали, и я спел ей вполголоса задумчивую французскую балладу и сочинил альбомный стишок ей в забаву:

Палитра кленов в озере, как рана,
Отражена. Ведет их на убой
В багряном одеянии Диана
Перед гостиницею голубой.

Она спросила: "Но почему голубой, когда она белая? Почему — Господи Боже мой..." — и зарыдала снова. Я решительно повел ее к автомобилю. Мы продолжали наш путь в Нью-Йорк, и там она опять зажила в меру счастливо, прохлаждаясь под дымчатой синевой посреди нашей маленькой террасы на тридцатом этаже. Замечаю, что каким-то образом у меня безнадежно спутались два разных эпизода — мое посещение Брайсландской библиотеки на

обратном пути в Нью-Йорк и прогулка в парке на переднем пути в Кантрип, но подобным смешением смазанных красок не должен брезговать художник-мнемозинист.

27

Почтовый ящичек с моим именем, в вестибюле дома, позволял получателю разглядеть сквозь застекленную щель кое-что из того, что всунул туда почтальон. Уже несколько раз случалось, что арлекинская игра света, упавшего сквозь стекло на чей-нибудь почерк, так искажала его, что получалось сходство с Лолитиной рукой, и это приводило меня в состояние чуть ли не обморока, так что приходилось прислоняться к ближней урне, — едва не оказывавшейся моей. Всякий раз, что это случалось, всякий раз, что на миг привидевшиеся мне любимые, петлистые, детские каракули превращались опять, с отвратительной простотой, в скучный почерк одного из немногих моих или Ритиных корреспондентов, я вспоминал, с болезненной усмешкой, далекое мое, доверчивое, Додолоресовое былое, когда я бывал обманут драгоценно освещенным окном, за которым высматривало мое рыщущее око — неусыпный перископ постыдного порока — полуголую, застывшую, как на кинопленке, нимфетку с длинными волосами Алисы в Стране Чудес (маленькой прелестницы более счастливого собрата), которые она как раз, по-видимому, начинала или кончала расчесывать. От совершенства огненного видения становилось совершенным и мое дикое блаженство — ибо видение находилось вне досягаемости, и потому блаженству не могло помешать сознание запрета, тяготевшее над достижимым. Кто знает, может быть, истинная сущность моего "извращения" зависит не столько от прямого обаяния прозрачной, чистой, юной, запретной, волшебной красоты девочек, сколько от сознания пленительной неуязвимости положения, при котором бесконечные совершенства заполняют пробел между тем немногим, что дарится, и всем тем, что обещается, всем тем, что таится в дивных красках несбыточных бездн. Mes fenêtres! Повисая между закатны-

ми облаками и приливающей ночью, скрежеща зубами, я собирал и притискивал всех демонов моей страсти к перилам уже пульсирующего балкона: еще миг, и он снимется — прямо в абрикосовую мглу влажного веера; он снимался — после чего, бывало, освещенный облик в дальнем окне сдвигался, — и Ева опять превращалась в ребро, которое опять обрастало плотью, и ничего в окне уже не было, кроме наполовину раздетого мужлана, читающего газету.

Так как мне все-таки иногда удавалось выиграть гонку между вымыслом и действительностью, то я готов был примириться с обманом. С чем я отказывался примириться — это с вмешательством мучителя-случая, лишавшего меня предназначенной мне услады. "Savez-vous qu'à dix ans ma petite était folle de vous?"— сказала мне дама, с которой я как-то разговорился на чае в Париже, — а малютка успела выйти замуж и жила где-то за тридевять земель, и я не мог даже припомнить, заметил ли я ее некогда в том саду, на террасе теннисного клуба, около укромного грота. И вот теперь совершенно так же, случай (а также и некоторая перемена в уменьшившемся и как бы поблекшем почерке моей любимой) отказал мне в предварительном взгляде сквозь сияющее стекло щели, в этом предвкушении и обещании — обещании, которое не только так соблазнительно симулировалось, но должно было быть благородно выполненным. Как видите, моя фантазия подвергалась Прустовским пыткам на прокрустовом ложе, — ибо в то утро, 22-го сентября 1952-го года, когда я спустился за почтой, чистенько одетый и весьма желчный швейцар, с которым я был в отвратительных отношениях, начал меня корить за то, что недавно какой-то Ритин собутыльник, провожая ее домой, "заблевал как собака" ступени подъезда. Пока я слушал его и давал ему на чай, а затем слушал вторую, более учтивую версию происшествия, я смутно подумал, что одно из двух писем, пришедших с той благословенной почтой — верно от Ритиной матери, довольно неуравновешенной дамочки, которую мы однажды посетили на Кэйп Коде и которая с тех пор, в частых письмах — пересылаемых с постоянного адреса моей Нью-Йоркской конторы в

различные места моего пребывания — все говорила мне, как удивительно ее дочь и я подходим друг дружке и как чудно было бы, если мы бы женились; другое письмо, которое я вскрыл и быстро просмотрел в лифте, было от Джона Фарло.

Я часто замечал, что мы склонны наделять наших друзей той устойчивостью свойств и судьбы, которую приобретают литературные герои в уме у читателя. Сколько бы раз мы ни открыли "Короля Лира", никогда мы не застанем доброго старца забывшим все горести и подымавшим заздравную чашу на большом семейном пиру со всеми тремя дочерьми и их комнатными собачками. Никогда не уедет с Онегиным в Италию княгиня N. Никогда не поправится Эмма Бовари, спасенная симпатическими солями в своевременной слезе отца автора. Через какую бы эволюцию тот или другой известный персонаж ни прошел между эпиграфом и концом книги, его судьба установлена в наших мыслях о нем; и точно так же мы ожидаем, чтобы наши приятели следовали той или другой логической и общепринятой программе, нами для них предначертанной. Так, Икс никогда не сочинит того бессмертного музыкального произведения, которое так резко противоречило бы посредственным симфониям, к которым он нас приучил. Игрек никогда не совершит убийства. Ни при каких обстоятельствах Зет нас не предаст. У нас все это распределено по графам, и чем реже мы видаемся с данным лицом, тем приятнее убеждаться, при всяком упоминании о нем, в том, как послушно он подчиняется нашему представлению о нем. Всякое отклонение от вырáботанных нами судеб кажется нам не только ненормальным, но и нечестным. Мы бы предпочли никогда прежде не знать соседа — отставного торговца сосисками, — если бы оказалось, что он только что выпустил сборник стихов, не превзойденных никем в этом веке.

Говорю все это, чтобы объяснить, как сбило меня с толку истерическое письмо от Джона Фарло. Я знал о смерти его жены, — но я, конечно, ожидал, что безутешный вдовец останется до конца жизни тем скучноватым, чопорным и положительным человеком, каким он всегда

был. Теперь он мне писал, что после короткого пребывания в Соединенных Штатах он вернулся в Южную Америку и решил передать все дела, которыми он управлял в Рамздэле, одному из тамошних адвокатов, Джеку Виндмюллеру, общему нашему знакомому. Особенно он казалось рад был освободиться от “Гейзовских компликаций”. Он только что женился на испанке. Его вес увеличился на тридцать фунтов с тех пор, как он бросил курить. Совсем молоденькая жена была лыжной чемпионкой. Они собирались провести медовый месяц в Индии. Так как он намеревался посвятить себя, как он выражался, “интенсивному производству семейных единиц”, он не мог уж находить время, чтобы заниматься моими делами, которые он считал “очень странными и довольно раздражительными”. От каких-то людей, любящих всюду совать нос — и образовавших, по-видимому, целый комитет с этой целью, — он получил сообщение о том, что местожительство маленькой Долли Гейз окружено тайной, а что сам я живу “с известной в некоторых кругах разводкой” в Южной Калифорнии. Отец его жены был граф и крупный богач. Семья, нанимавшая в продолжение последних пяти лет Гейзовский дом, теперь желала его купить. Он советовал мне предъявить пропавшую девочку немедленно. Он сломал себе ногу. К письму был приложен цветной снимок Джона, еще целого, и смуглой брюнеточки в белой шерсти. Они сладко улыбались друг дружке среди синих снегов Чили.

Помню, как я вошел к себе в квартиру и вслух подумал: что же, теперь по крайней мере мы выследим — как вдруг второе письмо заговорило со мной деловитым голоском:

Дорогой Папа,

Как поживаешь? Я замужем. Я жду ребенка. Думаю, что он будет огромный. Думаю, что он поспеет как раз к Рождеству. Мне тяжело писать это письмо. Я схожу с ума, оттого что нам не на что разделаться с долгами и выбраться отсюда. Дику обещана чудная служба в Аляске, по его очень узкой специальности в механике, вот все, что я знаю об этом, но перспективы просто замечательные. Прошу про-

щения, что не даю домашнего адреса, но я боюсь, что ты все еще страшно сердишься на меня, а Дик не должен ничего знать. Ну и городок тут. Не видать кретинов из-за копоти. Пожалуйста, пришли нам чек, папа. Мы бы обошлись тремя- или четырьмястами, или даже меньше, за любую сумму спасибо, ты мог бы, например, продать мои старые вещи, потому что, как только доедем до Аляски, деньжата так и посыплются. Напиши мне, пожалуйста. Я узнала много печали и лишений.

Твоя ожидающая,

Долли (Миссис Ричард Ф.Скиллер).

28

Я опять находился в пути, опять сидел за рулем старого синего седана, опять был один. Когда я читал письмо, когда боролся с исполинской мукой, которую оно во мне возбуждало, Рита еще спала мертвым сном. Я взглянул на нее: она улыбалась во сне. Поцеловал ее в мокрый лоб и навсегда покинул: на днях бедняжка хотела меня навестить тут, но я не принимаю выходцев с того (для вас "этого") света. Нежную прощальную записку я прилепил пластырем к ее пупочку — иначе она, пожалуй, не нашла бы ее.

Я написал "один"? Нет, не совсем. При мне состоял черный дружок, и, как только я нашел уединенное место, я без трепета отрепетировал насильственную смерть мистера Ричарда Ф. Скиллера. В багажном отделении автомобиля — неиссякаемом в смысле сокровищ — я нашел свой самый старый и самый грязный свитер, и его-то я повесил на сук, в безответной роще, куда меня привела лесная дорога, отделившаяся от шоссе. Выполнение приговора было подпорчено каким-то затором в действии гашетки. Мало мне понятный предмет у меня в руке, вероятно, нуждался в смазке, но я не хотел терять время. Обратно в автомобиль пошел серый мертвый свитер с добавочными дырками в разных местах; и, снова зарядив теплого еще дружка, я продолжал путешествие.

Письмо было от сентября 18, 1952 года, и адрес, который она давала, был "До востребования, Коулмонт" (не в Виргинии, и не в Пенсильвании, и не в Теннесси — и вообще не "Коулмонт" — я все замаскировал, моя любовь). Выяснилось, что это торговый городишко в восьмистах милях на юг от Нью-Йорка. Я решил было ехать без остановки, но не дотянул и на заре заехал отдохнуть в мотель недалеко от Коулмонта. Я был уверен почему-то, что этот Скиллер в свое время торговал подержанными автомобилями и, может быть, тогда познакомился с моей Лолитой, когда подвез ее в окрестностях Бердслея — в тот день, например, когда у нее лопнула шина по дороге на урок музыки; впоследствии он, видимо, попал в какую-то беду. Труп казненного свитера, лежавший на заднем сидении, все норовил — как бы я ни располагал его складки — обнаружить разные очертания, относившиеся к Траппу-Скиллеру, к вульгарности и похабной добротности его тела, и, с целью нейтрализовать его грубый и порочный вкус, я решил привести себя в особенно изящный вид — проснулся с этой мыслью и успел придавить стерженек будильника, не дав ему взорваться в наставленный час. Затем со строгой и романтической тщательностью человека, собирающегося на дуэль, я проверил, в порядке ли бумаги, выкупался, надушился, побрил лицо и грудь, выбрал шелковую рубашку и чистые подштанники, натянул прозрачно-темные носки и поздравил себя с тем, что захватил в сундуке кое-какие весьма щегольские вещи — например, замшевый жилет с перламутровыми пуговицами и бледный кашемировый галстук.

Мне не удалось, увы, удержать в себе завтрак, но я отнесся хладнокровно к этой пустяковой беде, вытер рот батистовым платочком, вынутым из рукава, по английской моде, и с глыбой синего льда вместо сердца, таблеткой на языке и увесистой смертью в заднем кармане ловко вступил в телефонную будку в Коулмонте (Ах-ах-ах, произнесла складная дверца) и набрал номер единственного Скиллера в потрепанной книжке: Скиллер, Поль, Мебель. Хриплый Поль ответил, что Ричард существует, что это его племян-

ник, а живет он — сейчас посмотрю — Улица Киллера, номер десять (все это, конечно, первые попавшиеся псевдонимы). Ах-ах-ах, проговорила дверца.

Номер десять по Киллеровской улице оказался запущенным многоквартирным домом. Я проинтервьюировал нескольких унылых стариков и двух длинноволосых, розово-русых, невероятно грязных нимфеточек. (Признаюсь, что поглядывал, довольно рассеянно, просто так, — намечая легко одетую девочку, которую бы мог прижать к себе на минуту, когда покончу с убийством и все станет все равно, и никаких запретов уже не будет). Да, действительно, Дик Скиллер жил тут одно время, но съехал, когда женился. Никто не мог дать мне его новый адрес. "Может, в лавке знают", сказал низкий голос из дыры в панели (что-то там чинили) около того места, где я случайно остановился, разговаривая с двумя туманными старухами и скользя взглядом по тонким голым рукам их босоногих внучек. Я попал не в ту лавку, и осторожный седой негр покачал отрицательно головой, даже до того как я спросил что-либо. Перейдя улицу, я вошел в мизерный лабаз, и там вызванный по моей просьбе покупателем дух женщины громко ответил из подвальной бездны (повторившей тему мужского духа в панельной дыре): "Улица Гунтера, последний дом".

Улица Гунтера находилась очень далеко, на совсем уже безнадежной окраине, в мире высоких мусорных куч и глубоких канав, червивых огородиков и кривых лачуг, серой мороси и красной глины, да каких-то фабричных труб, дымившихся в отдалении. Я остановился у "последнего дома" — сколоченной из досок лачуги, за которой, в стороне от дороги, виднелось еще две-три таких же хижины и широкий пустырь, весь в поблеклых сорняках. Из-за домишки доносился стук молотка, и несколько минут я сидел в своей старой машине, сам старый и непрочный, в конце своего долгого пути, у серой цели, finis, друзья, finis, злодеи. Было около двух часов дня. Пульс был то сорок, то сто. Мелкий дождь шелестел об капот Икара. Пистолет переместился в правый карман штанов. Лохматая дворняга

с мокрой от грязи шерстью, висящей с брюха, вышла из-за дома, остановилась в недоумении и затем принялась благодушно гуф-гуфкать на меня, жмурясь и дергая вверх нос; перестала, погуляла кругом да около, да разок опять гуфнула.

29

Я вышел из автомобиля и захлопнул за собой дверцу. Как прозаично, как прямолинейно прозвучал этот хлопок в пустоте бессолнечного дня! "Гуф", почел нужным комментировать пес. Я нажал на кнопку звонка; его вибрация прошла по всему моему составу. Personne: никого. Je resonne, repersonne: звоню вновь, никовновь. Откуда, из каких глубин этот вздор-повтор? "Гуф", вставила собака. Порывистое приближение, шаркание и шум (гуф) распахнувшейся двери.

Выросла дюйма на два. Очки в розоватой оправе. По-новому высоко зачесанные волосы, новые уши. Как просто! Этот миг, эта смерть — все, что я вызывал в воображении свыше трех лет, все вдруг оказалось простым и сухим, как щепка. Она была откровенно и неимоверно брюхата. Лицо ее как будто уменьшилось (всего прошло две секунды, но хочу им придать столько деревянной продолжительности, сколько жизнь может выдержать); побледнели веснушки, впали щеки; обнаженные руки и голени утратили весь свой загар, так что стали заметны на них волоски; она была в коричневом бумажном платье без рукавов и войлочных шлепанцах.

"Господи!" выдохнула она после паузы, со всей полнотой изумления и радушия.

Не вынимая кулака из кармана, я каркнул: "Муж дома?"

Убить *ее*, как некоторые ожидали, я, конечно, не мог. Я, видите ли, любил ее. Это была любовь с первого взгляда, с последнего взгляда, с извечного взгляда.

"Входи", сказала она с веселой силой. Прижавшись к расщепливающемуся мертвому дереву двери, Долли Скиллер попыталась, поскольку могла, распластаться (причем

даже приподнялась на цыпочки), чтобы дать мне пройти, и мгновение так стояла, распятая, глядя вниз, улыбаясь порогу, со впалыми щеками и округлыми скулами, с белыми, как разбавленное молоко, руками, вытянутыми по дереву. Я прошел, не задев выпуклости ее ребенка. Знакомое тепло Долли — с легкой примесью кухни. У меня зубы стучали, как у остолопа. "О нет, ты останешься снаружи" (к собаке). Она затворила дверь и последовала за мной и за своим брюхом в бедную, кукольного образца, комнату.

"Дик вон там", сказала она, указывая невидимой теннисной ракетой и приглашая меня пропутешествовать взглядом через эту комнату, служившую и гостиной и спальней, а затем через кухоньку и сквозь пройму задней двери к тому месту, где, видимый в довольно примитивной перспективе, черноволосый молодой незнакомец в рабочем комбинезоне (казнь его я немедленно отменил) стоял спиной ко мне на лесенке, что-то приколачивая к лачуге соседа, более мясистого, чем он, парня (но с одной только рукой), который смотрел на него снизу.

Эту картину в раме дальней двери она объяснила извинительным вздохом ("мужчины, мол, любят строить") и спросила, позвать ли мужа.

Нет.

Стоя посреди слегка наклонного пола и производя маленькие вопросительные звуки, она проделала знакомые явайские жесты кистями рук и пальцами, предлагая мне этой схемой шутливой учтивости выбрать между качалкой и диваном (их постелью в ночные часы). Говорю "знакомые", ибо однажды она пригласила меня с таким же "танцем рук" в бердслейскую нашу гостиную, когда происходила там ее вечеринка. Мы оба присели на диван. Любопытно: хотя в сущности ее красота увяла, мне стало ясно только теперь — в этот безнадежно поздний час жизненного дня — как она похожа — как всегда была похожа — на рыжеватую Венеру Боттичелли — тот же мягкий нос, та же дымчатая прелесть. В глубине кармана мои пальцы тихонько выпустили, только чуточку подтолкнув его поглубже в платок, в котором он ютился, мой неупотребленный кольт.

"Это не тот, который мне нужен", сказал я.

Расплывчатое выражение радушия ушло из ее глаз. Ее лоб наморщился, как в старые, горькие дни:

"Какой — тот?"

"Где он? Живо!"

"Слушай", сказала она, склонив набок голову и тряся ею в таком положении: "Слушай, ты не будешь начинать все это снова".

"Очень даже буду", сказал я, и в продолжение минуты (как ни странно, это оказалось единственной благостной, приемлемой минутой за все наше свидание) мы смотрели друг на дружку, ощетинившись, словно она все еще была моя.

Как умная девочка, она первая овладела собой.

Из ее последующих слов выяснилось, что Дик ничего не знал обо всей этой истории. Он думал, что она моя дочь. Он думал, что она родилась в знатной семье и убежала из дому ради того, чтобы мыть посуду в трактире. Он всему верил. Зачем осложнять и так трудное положение, зачем разгребать всю эту грязь?

Я возразил, что ей полагается быть благоразумной, полагается быть очень благоразумной девочкой (с этаким голым барабаном под тонкой коричневой материей), ибо, если она рассчитывает на помощь, которую я собирался оказать, то должна понять, что мне нужно знать все.

"Ну-ка, пожалуйста: его имя!"

Как — она думала, что я давно угадал...

Это было *такое* (тут она улыбнулась лукаво и грустно) сенсационное имя, что я просто никогда не поверю. Она сама едва может поверить.

— Имя его, моя осенняя нимфа.

Ах, это было уже так не важно. Лучше оставить этот разговор.

Не хочу ли курить?

— Нет. Его имя.

Покачала головой чрезвычайно решительно. Считала, что уже поздно устраивать скандал — и что все равно я никогда не поверю невероятному, невероятнейшему. —

Я встал, говоря, что мне пора, привет мужу, приятно было повидать ее.

Сказала, что я напрасно настаиваю — никогда она его не назовет... но что с другой стороны... в конце концов...

"Ты действительно хочешь знать, кто это был? Так вот, это был —".

И тихонько, конфиденциально, высоко подняв узкие брови и выпятив запекшиеся губы, она с легкой иронией, но не без нежности, и как бы издавая приглушенный свист, произнесла имя, которое проницательный читатель давно уже угадал.

Уотерпруф, сказала Шарлотта. Почему ничтожное воспоминание о летнем дне на озере мелькнуло у меня в памяти? Я тоже давно угадал это имя, но только подсознательно, не отдавая себе в этом отчета. Теперь я не испытал ни боли, ни удивления. Спокойно произошло слияние, все попало на свое место, и получился, как на составной картине-загадке, тот узор ветвей, который я постепенно складывал с самого начала моей повести с таким расчетом, чтобы в нужный момент упал созревший плод; да, с определенным и порочным расчетом (она еще говорила, но я не слушал, погруженный в золотой покой) выразить свой золотой и чудовищный покой через то логическое удовлетворение, которое мой самый недружелюбный читатель должен теперь испытать.

Она, как я сказал, все еще говорила. Я наконец включился в ее свободно полившуюся речь. Он, оказывается, был единственный мужчина, которого она безумно любила. Позволь — а Дик? Ах, Дик — чудный, полное супружеское счастье и все такое, но она не это имела в виду. А я — я был, конечно, не в счет?

Некоторое время она смотрела на меня, будто только сейчас осознав неслыханный и, пожалуй, довольно нудный, сложный и никому не нужный факт, что сидевший рядом с ней сорокалетний, чуждый всему, худой, нарядный, хрупкий, слабого здоровья джентльмен в бархатном пиджаке когда-то знал и боготворил каждую пору, каждый зачаточный волосок ее детского тела. В ее бледно-серых глазах, за раскосыми стеклами незнакомых очков, наш бедненький роман был на мгновение отражен, взвешен и отвергнут, как скучный вечер в гостях, как в пасмурный

день пикник, на который явились только самые неинтересные люди, как надоевшее упражнение, как корка засохшей грязи, приставшей к ее детству.

Я только-только успел судорожным движеньем убрать колено из радиуса действия схематического тычка — одного из ее новоприобретенных жестов.

Попросила меня не говорить глупостей. Что прошло, то прошло. Признавала, что в общем я был хорошим отцом, — отдавая мне долг хоть в этом. Продолжай, Долли Скиллер.

Знал ли я, например, что он был знаком с ее матерью? Что он даже считался давним другом семьи? Что он приезжал к своему дяде в Рамздэль — ах, очень давно — и выступал с лекцией в клубе у мамы, и вдруг загреб ее и потащил ее, Долли, за голую руку к себе на колени в присутствии всех этих дам, и расцеловал ее, а ей было всего десять лет, и она очень на него рассердилась? Знал ли я, что он заметил меня и ее в той гостинице каких-то охотников, где он писал *ту самую* пьесу — да "зачарованных", — которую она репетировала в Бердслее два года спустя? Что он ей говорил невозможные вещи внизу в холле? Знал ли я, что — Ах, это было так гадко с ее стороны запутать меня и заставить поверить, что Клэр пожилая дама — родственница его, что ли, или бывшая подруга жизни — и, батюшки, как легко было попасться, когда газета в Уэйсе напечатала его портрет!

В Брайсландской газете портрета не было. В самом деле, очень забавно.

— Да (продолжала она), жизнь — серия комических номеров. Если бы романист описал судьбу Долли, никто бы ему не поверил.

Тут донеслись бодрые, домашние звуки со стороны кухни, в которую Дик и Билль ввалились в поисках пива. В открытую дверь они увидели гостя, и Дик вошел в комнату.

"Дик, это мой папа!" крикнула Долли звонким, напряженным голосом, показавшимся мне совершенно диким, и новым, и радостным, и старым, и грустным, ибо молодой человек, ветеран далекой войны, был почти совершенно глух.

Морского цвета глаза, черный ежик, румяные щеки, небритый подбородок. Мы обменялись рукопожатием. Дискретный Билль, — который, видимо, гордился тем, что мог творить чудеса одной рукой, — принес открытые им жестянки пива. Хотел отретироваться. Преувеличенная вежливость пролетария. Его заставили остаться. Семейная картина на рекламе пива. В сущности и я и Скиллеры предпочитали компанию. Я пересел в нервно заходившую качалку. Жадно жуя, беременная Долли угощала меня алтейными лепешками, арахисовыми орешками и картофельным хворостом. Мужчины поглядывали на ее хрупкого, зябкого, миниатюрного, старосветского, моложавого, но болезненного отца в бархатном пиджаке и бежевом жилете: быть может, виконт.

У них создалось впечатление, что я приехал к ним на несколько дней, и Дик, сильно морща лоб, что означало напряженную работу мысли, предложил, что Долли и он могут спать на кухне, разложив там запасной матрац. Я легонько помахал рукой и объяснил Долли (которая передала это дальше посредством особого раската голоса), что я просто заехал на часок по дороге в Лектобург, где меня ожидают друзья и поклонники. Тут мы заметили кровь на одном из немногих больших пальцев, оставшихся у Билля (оказавшегося довольно неудачливым чудотворцем). Как было женственно, никогда раньше мной не виданное в таком преломлении, теневое раздвоение ее бледных грудей, наметившееся в разрезе платья, когда она склонилась над рукой калеки! Она повела его чиниться на кухню (ванной не было). В продолжение трех-четырех малых вечностей, которые прямо-таки набухали от искусственного тепла взаимных чувств, Дик и я оставались одни. Он сидел на стуле, потирая передние конечности и продолжая морщить лоб; у меня явилось праздное желание выжать угри на его потном носу моими длинными блестящими когтями. Мне понравились его хорошие грустные глаза и очень белые зубы. Менее привлекателен был его громадный, волосатый кадык. Почему они не бреются чаще, эти молодые ядреные парни? Он и его Долли имели безудержные половые сношения на этом диване по крайней мере сто восемьдесят раз с тех пор,

как она зачала. А до того — как давно они знали друг друга? Странно — никакого недоброго чувства я к нему не испытывал; ничего, кроме страдания и отвращения. Он теперь тер нос. Я не сомневался, что когда он наконец откроет рот, то скажет (слегка тряся головой из стороны в сторону): "Эх, девчонка у вас первый сорт, мистер Гейз. Это уж верно. И матерью она тоже будет первосортной". Бедняга открыл рот — и отхлебнул пива. Это ему придало уверенности, и он продолжал пить маленькими глотками до пены у рта. Он был, сказала она, чудный. Он в ладони свои заключал ее флорентийские грудки. Ногти у него были черные и подломанные, но фаланги и суставы запястья, сильная, изящная кисть были гораздо, гораздо благороднее, чем у меня. Я слишком много терзал человеческих жертв моими бедными искривленными руками, чтобы гордиться ими: французские фразы, крупные костяшки дорсетского крестьянина, приплюснутые пальцы австрийского портного — вот вам Гумберт Гумберт.

Ладно. Если он хочет молчать, я могу молчать тоже. Вообще говоря, не мешало бы мне отдохнуть в этой притихшей, до смерти испуганной качалке, до того как отправиться искать логовище зверя: там оттяну крайнюю плоть пистолета и упьюсь оргазмом спускового крючка — я всегда был верным последователем венского шамана. Но постепенно меня стала разбирать жалость к бедному Дику, которому, каким-то ужасным, почти гипнотическим способом я мешал произнести единственное замечание, которое он мог придумать ("Девчонка у вас первый сорт...").

"Итак", сказал я, "вы собираетесь в Канаду?"

На кухне Долли смеялась чему-то сказанному или совершенному Биллем.

"Итак", заорал я, "вы собираетесь в Канаду? То есть, не в Канаду", заорал я опять. "Хочу сказать — в Аляску".

Он обхватил ладонями стакан и, с мудрым видом кивая, ответил: "Что же, я так полагаю, что он поранил себя острым краем. Руку-то он потерял в Италии".

Дивные миндали в лиловато-розовом цвету. Оторванная сюрреалистическая рука, повисшая в их пуантилистическом кармине, с маленькой цветочницей, нататуированной

на тыльной стороне кисти. Долли и подклеенный Билль появились снова. Я мельком подумал, что ее двусмысленная красота, ее коричневым оттененная бледность, вероятно, возбуждают калеку. Дик, облегченно осклабясь, встал со стула. Он полагал, что Биллю и ему пора вернуться к работе над проволоками. Он полагал, что у мистера Гейза и Долли есть много о чем покалякать. Он полагал, что еще увидит меня до моего ухода. Почему эти люди так много полагают, и так мало бреются, и так презирают слуховые аппараты?

"Садись", сказала она, звучно ударив себя по бедрам. Я опять опустился в черную качалку.

"Итак, вернемся к делу. Ты, значит, предала меня. Куда вы поехали? Где он сейчас?"

Она взяла с камина глянцевитую вогнутую фоточку. Пожилая женщина в белом, толстая, сияющая, колченогая, в очень коротком платье; и мужчина в жилетке: моржовые усы, цепочка от часов. Родители мужа. Живут с семьей его брата в Джуно.

"Ты уверен, что не хочешь папироску?"

Она закурила. Я впервые видел ее курящей. Строго воспрещалось в царствование Гумберта Грозного. Плавно, в синеватой дымке, Шарлотта Гейз встала из гроба. Я, конечно, найду его без труда, через дядю-дантиста, если не скажет.

"Предала тебя? Нет". Она направила в камин стрелу папиросы, быстро постукивая по ней указательным пальцем, совершенно как это делала ее мать, и совершенно так же, Боже мой, ногтем соскребая частичку папиросной бумаги с нижней губы. Нет. Она меня не предавала. Все произошло по-дружески. Эдуза предупредила ее в свое время, что Ку не равнодушен к маленьким девочкам — его раз чуть ли не в тюрьму посадили, между прочим, и он знал, что она знает. Положив локоть на ладонь, затянулась, улыбнулась, выпустила дым, стрельнула опять в направлении камина. Погрузилась в воспоминания. Дело в том, что он видел насквозь (с улыбкой), всё и всех, потому что он не был как я или она, а был гений. Замечательный человек. И такой весельчак. Катался со смеху, когда она ему при-

зналась в моих с ней отношениях, какое же тут предательство, раз было вполне безопасно ему рассказать?

"Ну, так вот. Ку — его все звали Ку —"

Так назывался, сокращенно, ее летний лагерь (Кувшинка). Забавное совпадение. Он, значит, повез ее на шикарное ранчо в трехстах милях от как его... Элефанта (Эльфинстон). А как называлось ранчо? Ах, очень глупое название: Дук-Дук — ничего не значащее слово (ну, это положим)... но это, вообще, теперь все равно, так как место исчезло, испарилось. А какая была прелесть — я представить себе не могу феноменальную роскошь этого ранчо — там *всё* было, ну, просто *всё* — даже собственный водопад внутри дома! Я, может быть, помнил рыжего типа, с которым мы (*мы*!) как-то играли в теннис? Ранчо принадлежало, собственно, брату рыжего, но он его уступил Ку на лето. Когда Ку с ней приехал, им устроили нечто вроде коронации, а потом взяли и бросили в бассейн, чуть не утопили, как делают при переходе через экватор. Ну, ты знаешь...

Закатила глаза в знак искусственной покорности судьбе.

"Пожалуйста, дальше".

Ну, так вот. Предполагалось, что он повезет ее в сентябре в Холливуд — посмотреть, годится ли она для эпизодической роли в фильме, основанном на его пьесе "Золотые Струны". Она надеялась даже, что ей дадут дублировать одну из знаменитейших актрисочек на клиговым светом ослепительно облитом теннисном корте. Увы, до этого никогда не дошло.

"Где теперь находится негодяй?"

Почему — негодяй? Замечательный человек во многих смыслах. Но там в ранчо жизнь состояла сплошь из пьянства и наркотиков. И, конечно, он был совершенный монстр в половом отношении, и его друзья были его рабами. Я не могу себе представить (я, Гумберт, не могу себе представить!), какими вещами все они занимались в Дук-Дуковом Ранчо. Она наотрез отказалась принимать в этом участие, и он ее прогнал.

"Какие вещи?"

"Ах, странные, поганые, фантастические вещи. Видишь ли, у него там были и девочки, и мальчики, и несколько

взрослых мужчин, и требовалось, чтобы мы Бог знает что проделывали все вместе в голом виде, пока мадам Дамор производила киносъемку". (Жюстине маркиза де Сада было вначале двенадцать лет.)

"Что именно — проделывали?"

"Ах, гадости... Ах я, нет, право же, я..." (Она произнесла это "я" как сдавленный крик, прислушиваясь к источнику тягучей боли, и за неимением слов растопырила все пять пальцев угловато разрезающей воздух руки. Нет — не могла, отказывалась подробнее объяснить в присутствии ребенка, которого несла.

Что ж, ее дело.

"Да и какое это имеет значение теперь", сказала она, кулаком уминая подушку и затем поворачиваясь животом вверх на диване. "Дикие вещи, грязные вещи. Я сказала — нет, ни за что не стану — (она наивно употребила непечатный вульгаризм для обозначения прихоти, хорошо известной нам обоим) твоих мерзких мальчишек, потому что мне нужен только ты. Вот и вышвырнул он меня".

Оставалось немного досказать. В ту зиму (1949—1950), Фэй и она тяжелым трудом зарабатывали на жизнь. В течение двух лет она переходила с места на место, работая в маленьких пришоссейных ресторанах, а потом встретила Дика. Нет, она не знала, где находится тот. Вероятно, где-нибудь в Нью-Йорке. При его знаменитости, она, разумеется, легко бы его нашла, если бы захотела. Фэй попробовала вернуться в ранчо, но оно просто не существовало больше — сгорело дотла, *ничего* не оставалось, только черная куча мусора. Это ей показалось так странно, так странно...

Что ж, у Мак-Ку было тоже похожее имя, и тоже сгорел дом.

Она прикрыла глаза и разинула рот, откинувшись назад на подушку и опустив одну байковую ножку на пол. Пол шел слегка под уклон, стальной шарик докатился бы прямо до кухни. Я знал теперь все, что мне нужно было знать. В мои намерения не входило терзать мою милочку. Где-то за лачугой Билля радио запело после трудового дня о бе-

зумной, обреченной любви, и вот она была передо мной, уже потрепанная, с уже не детскими вспухшими жилами на узких руках, с гусиными пупырышками на бледной коже предплечьев, с неёмкими "обезьяньими" ушами, с небритыми подмышками, вот она полулежала передо мной (моя Лолита!), безнадежно увядшая в семнадцать лет, с этим младенцем в ней, уже мечтающим стать, небось, большим заправилой и выйти в отставку в 2020-ом году, — и я глядел, и не мог наглядеться, и знал — столь же твердо, как то, что умру, — что я люблю ее больше всего, что когда-либо видел или мог вообразить на этом свете, или мечтал увидеть на том. От нее оставалось лишь легчайшее фиалковое веяние, листопадное эхо той нимфетки, на которую я наваливался с такими криками в прошлом; эхо на краю красного оврага, с далеким лесом под белесым небом, с бурыми листьями, запрудившими ручей, с одним последним сверчком в сухом бурьяне... Но, слава Богу, я боготворил не только эхо. Грех, который я, бывало, лелеял в спутанных лозах сердца, mon grand péché radieux, сократился до своей сущности: до бесплодного и эгоистического порока; и его-то я вычеркивал и проклинал. Вы можете глумиться надо мной и грозить очистить зал суда, но, пока мне не вставят кляпа и не придушат меня, я буду вопить о своей бедной правде. Неистово хочу, чтобы весь свет узнал, как я люблю свою Лолиту, *эту* Лолиту, бледную и оскверненную, с чужим ребенком под сердцем, но все еще сероглазую, все еще с сурмянистыми ресницами, все еще русую и миндальную, все еще Карменситу, все еще мою, мою... Changeons de vie, ma Carmen, allons vivre quelque part où nous ne serons jamais séparés. Огайо? Дебри Массачусетса? Мерри Мэй? Все равно, даже если эти ее глаза потускнеют до рыбьей близорукости и сосцы набухнут и потрескаются, а прелестное, молодое, замшевое устьице осквернят и разорвут роды, — даже тогда я все еще буду с ума сходить от нежности при одном виде твоего дорогого, осунувшегося лица, при одном звуке твоего гортанного молодого голоса, моя Лолита.

"Лолита", проговорил я, "это, может быть, бессмысленно и бесполезно, но я должен это сказать. Жизнь весьма

коротка. Отсюда до старого автомобиля, который так хорошо тебе знаком, двадцать, двадцать пять шагов расстояния. Это очень небольшая прогулка. Сделай эти двадцать пять шагов. И будем жить-поживать до скончания века.

Carmen, voulez-vous venir avec moi?

"Ты хочешь сказать", ответила она, открыв глаза и слегка приподнявшись (змея, собирающаяся ударить), "ты хочешь сказать, что дашь нам (нам!) денег, только если я пересплю с тобой в гостинице? Ты *это* хочешь сказать?"

"Нет, нет. Ты меня превратно поняла. Я хочу, чтобы ты покинула своего случайного Дика, и эту страшную дыру и переехала ко мне — жить со мной, умереть со мной, всё, всё со мной" (даю общий смысл моих слов).

"Ты ненормальный", сказала она, по-детски гримасничая.

"Обдумай, Лолита. Никакой разницы не будет. Кроме — одной вещи, но это не важно (отмены казни, я хотел сказать, но не сказал). Во всяком случае, даже если ты откажешься, ты все равно получишь свое... trousseau".

"Ты не шутишь?" спросила Долли.

Я передал ей конверт с четырьмястами долларами и чеком на три тысячи шестьсот.

Неуверенно, с опаской, она приняла mon petit cadeau, и вдруг лоб у нее залился очаровательной розовой краской.

"Погоди-ка", проговорила она с мучительной силой, "ты нам даешь *четыре тысячи* монет?"

Я прикрыл лицо рукой и разразился слезами — самыми горячими из всех пролитых мной. Я чувствовал, как они вьются промеж моих пальцев и стекают по подбородку, и обжигают меня, и нос у меня был заложен, и я не мог перестать рыдать, и тут она прикоснулась к моей кисти.

"Я умру, если тронешь меня", сказал я. "Ты совсем уверена, что не поедешь со мной? Нет ли отдаленной надежды, что поедешь? Только на это ответь мне".

"Нет", сказала она, "нет, душка, нет". Первый раз в жизни она так ко мне обратилась.

"Нет", повторила она. "Об этом не может быть речи. Я бы, скорее, вернулась к Ку. Дело в том, что —"

Ей не хватило, видимо, слов. Я мысленно снабдил ее ими — ("...*он* разбил мое сердце, *ты* всего лишь разбил мою жизнь").

"Это так дивно", продолжала она, — упс! (конверт соскользнул с дивана на пол, она подняла его), "так невероятно дивно с твоей стороны... такую уйму денег! Это разрешает все вопросы. Мы можем выехать хоть на будущей неделе. Перестань плакать, прошу тебя! Ты должен понять. Позволь мне принести тебе еще пива? Ах, не плачь! Мне так жалко, что я так обманывала тебя, но ничего теперь не поделаешь".

Я вытер лицо и пальцы. Она улыбалась глядя на cadeau. Она ликовала. Хотела позвать Дика. Я сказал, что через минуту мне будет пора уезжать и что совсем, совсем не хочу его видеть. Мы попробовали найти тему для разговора. Почему-то я все видел перед собой — образ дрожал и шелковисто поблескивал на влажной сетчатке — яркую девочку двенадцати лет, сидящую на пороге и камушками звонко попадающую в пустую жестянку. Я уже начал говорить — в поисках небрежного замечания: "Интересно, что случилось с маленькой Мак-Ку — поправилась ли она?.." — но остановился вовремя, боясь, что она возразит: "Интересно, что случилось с маленькой Гейз?" В конце концов, пришлось вернуться к денежным вопросам. Переданный ей чек представлял собой чистый доход от сдачи материнского дома. Она удивилась — думала, что он давным-давно продан. Нет еще. (Я, впрочем, действительно это сказал ей в свое время, чтобы порвать всякую связь с Рамздэлем.) Поверенный скоро пришлет ей полный отчет о финансовом положении. Положение — отличное. Дом можно продать за приличную цену. Некоторые из недорогих акций, принадлежавших ее матери, необыкновенно поднялись. Нет, мне правда пора. Пора мне идти, и найти его, и его уничтожить.

Так как я знал, что не переживу прикосновения ее губ, я довольно долго отступал, как бы в жеманном танце, при каждом движении, которое она и ее брюхо делали в моем направлении.

Она и собака проводили меня. Меня удивило (нет, это риторический оборот — совсем не удивило), что вид автомобиля, в котором она так много ездила и ребенком, и нимфеткой, никак на нее не подействовал. Заметила только, что он, мол, кое-где как-то полиловел от старости. Я сказал, что он принадлежит ей, что я могу взять автобус. Попросила меня не говорить глупостей, они отправятся на самолете на Юпитер или Юкон и там купят машину; я сказал, что в таком случае я покупаю у нее старый Икар за пятьсот долларов.

"Таким темпом мы будем скоро миллионерами!", воскликнула она, обращаясь к восторженно дышащей собаке, — которую они с собой не собирались брать.

Carmencita, lui demandais-je...

"Одно последнее слово", сказал я на своем отвратительно правильном английском языке. "Ты ведь вполне уверена, что — ну, хорошо, не завтра и не послезавтра — но когда-нибудь, все равно когда, ты не приедешь ко мне жить? Я сотворю совершенно нового бога и стану благодарить его с пронзительными криками, если только ты подашь мне эту микроскопическую надежду" (общий смысл).

"Нет", ответила она, улыбаясь. "Нет".

"А меж тем это бы кое-что изменило", сказал Гумберт Гумберт.

Затем он вытащил пистолет... то есть, читатель ждет, может быть, от меня дурацкого книжного поступка. Мне же и в голову не могло это прийти.

"Гуд-бай-ай!" пропела она, моя американская, милая, бессмертная, мертвая любовь; ибо она мертва и бессмертна, если вы читаете эти строки (подразумеваю официальное соглашение с так называемыми властями).

Отъезжая, я слышал, как она раскатистым воплем звала своего Дика; собака же пустилась волнистым аллюром толстого дельфина сопровождать автомобиль, но была черес-чур тяжела и стара и вскоре отстала.

День умирал, я уже катил по шоссе под мелким дождиком, и, как бы деятельно ни ездили два близнеца по смотровому стеклу, они не могли справиться с моими слезами.

30

Покинув Коулмонт под вечер (по шоссе Икс — не помню номера), я бы мог доехать до Рамздэля на рассвете, если бы не соблазнился мнимым сокращением пути. Мне нужно было попасть на автостраду Игрек. Карта невозмутимо показывала, что сразу за Вудбайном, до которого я доезжал к ночи, я мог покинуть шоссе Икс и добраться до автострады по немощеной поперечной дороге. Ехать по ней надо было всего около часа (сорок миль). В противном случае пришлось бы продолжать по шоссе Икс еще миль сто и только тогда воспользоваться петлистым, ленивым шоссе Зед, чтобы попасть на нужную мне автостраду.

Немощеная дорога, однако, становилась все хуже, ухабы — все ужаснее, грязь — все гуще, и, когда после десяти миль подслеповатого, чертовского, черепашьего продвижения, я попытался повернуть вспять, мой старый, слабый Икар застрял в глубокой глине. Кругом было темно, все было напитано сыростью и безнадежностью. Мои фары повисали над широкой канавой, полной воды. Окрестность, если и существовала, сводилась к черной пустыне. Сколько я ни пытался высвободиться, мои задние колеса только выли в слякоти и тоске. Проклиная судьбу, я снял щегольской костюм, надел рабочие штаны, галоши, изрешеченный пулями свитер и обратно прошел по грязи мили четыре к придорожной ферме. Пока я шел, дождь полил как из ведра, но у меня не хватило сил вернуться за макинтошем. Подобные происшествия убедили меня, что у меня в сущности здоровое сердце — несмотря на недавние диагнозы. Около полуночи ремонтник вызволил мою машину. Я вернулся кое-как на шоссе Икс и покатил дальше. После часа езды на меня нашло крайнее изнеможение. Я остановился у тротуара в анонимном городишке и во мраке всласть насосался сладкого джина из верной фляги.

Дождь был давно отменен. Чернела теплая аппалачская ночь. Изредка проезжали мимо меня автомобили: удаляющиеся рубины, приближающиеся бриллианты; но городок спал. Не было на тротуарах той веселой толкучки прохлаждающихся граждан, какую видишь у нас по ночам в слад-

кой, спелой, гниющей Европе. Я один наслаждался тут благотворностью невинной ночи и страшными своими думами. Проволочная корзина у панели была чрезвычайно щепетильна насчет принимаемого: "Для Сора и Бумаги, но не для Отбросов" говорила надпись. Хересовые литеры светились над магазином фотоаппаратов. Громадный градусник с названием слабительного прозябал на фронтоне аптеки. Ювелирная лавка Рубинова щеголяла витриной с искусственными самоцветами, отражавшимися в красном зеркале. Фосфористые часы с зелеными стрелками плавали в полотняных глубинах прачешной "Момент". По другой стороне улицы гараж сквозь сон говорил "Автора убили" (на самом деле — "Автомобили"). Самолет, который тот же Рубинов разукрасил камушками, пролетел, с гудением, по бархатным небесам. Как много перевидал я спавших мертвым сном городишек! Этот был еще не последний.

Позвольте мне поболтаться немножко без дела — ведь участь его решена. Ритм неоновых огней, мерцавших по ту сторону улицы, был вдвое медленнее биения моего сердца: очерк большого кофейника над рестораном через каждые две секунды вспыхивал изумрудной жизнью, и, как только он гас, его там же сменяли розовые буквы, провозглашавшие "Отличная Кухня", — но кофейник все еще дразнил глаз латентной тенью перед своим новым изумрудным воскресением из мертвых. Мы делали рентгеновские снимки, это считалось страшно забавным. Рубиново-изумрудный городок находился не очень далеко от "Зачарованных Охотников". Я опять рыдал, пьянея от невозможного прошлого.

31

На этой одинокой остановке между Коулмонтом и Рамздэлем (между невинной Долли Скиллер и жовиальным дядей Айвором) я пересмотрел все обстоятельства моего дела. С предельной простотой и ясностью я видел теперь и себя и свою любовь. По сравнению с этим прежние обзоры такого рода казались вне фокуса. Года два тому назад,

в минуту метафизического любопытства, я обратился к умному, говорящему по-французски духовнику, в руки которого я передал серое безверие протестанта для старомодного папистского курса лечения, надеясь вывести из чувства греха существование Высшего Судии. В те морозные утра, в кружевном от инея Квебеке, добрый аббат работал надо мной с утонченнейшей нежностью и пониманием. Я бесконечно благодарен и ему, и великой организации, которую он представлял. Увы, мне не удалось вознестись над тем простым человеческим фактом, что, какое бы духовное утешение я ни снискал, какая бы литофаническая вечность ни была мне уготована, ничто не могло бы заставить мою Лолиту забыть все то дикое, грязное, к чему мое вожделение принудило ее. Поскольку не доказано мне (мне, каков я есть сейчас, с нынешним моим сердцем, и отпущенной бородой, и начавшимся физическим разложением), что поведение маньяка, лишившего детства североамериканскую малолетнюю девочку, Долорес Гейз, не имеет ни цены ни веса в разрезе вечности — поскольку мне не доказано это (а если можно это доказать, то жизнь — пошлый фарс), я ничего другого не нахожу для смягчения своих страданий, как унылый и очень местный паллиатив словесного искусства. Закончу эту главку цитатой из старого и едва ли существовавшего поэта:

Так *пошлиною нравственности* ты
Обложено в нас, чувство красоты!

32

Помню день, во время нашей первой поездки — нашего первого круга рая, — когда для того, чтобы свободно упиваться своими фантасмагориями, я принял важное решение: не обращать внимания на то (а было это так явно!), что я для нее не возлюбленный, не мужчина с бесконечным шармом, не близкий приятель, даже вообще не человек, а всего только пара глаз да толстый фаллос длиною в фут — причем привожу только удобоприводимое. Помню день,

когда, взяв обратно (чисто-практическое) обещание, из чистого расчета данное ей накануне (насчет чего-то, чего моей смешной девочке страстно хотелось, посетить, например, новый роликовый каток с особенной пластиковой поверхностью или пойти без меня на дневную программу в кино), я мельком заметил из ванной, благодаря случайному сочетанию двух зеркал и приотворенной двери, выражение у нее на лице — трудноописуемое выражение беспомощности столь полной, что оно как бы уже переходило в безмятежность слабоумия — именно потому, что чувство несправедливости и непреодолимости дошло до предела, а меж тем всякий предел предполагает существование чего-то за ним — отсюда и нейтральность освещения; и, принимая во внимание, что эти приподнятые брови и приоткрытые губы принадлежали ребенку, вы еще лучше оцените, какие бездны расчетливой похоти, какое вторично отразившееся отчаяние удержали меня от того, чтобы пасть к ее дорогим ногам и изойти человеческими слезами, — и пожертвовать своей ревностью ради того неведомого мне удовольствия, которое Лолита надеялась извлечь из общения с нечистоплотными и опасными детьми в наружном мире, казавшемся ей настоящим.

Есть у меня и другие полузадушенные воспоминания, которые ныне встают недоразвитыми монстрами и терзают меня. Однажды, на бердслейской улице с закатом в пролете, она обратилась к маленькой Еве Розен (я сопровождал обеих нимфеток на концерт и, подвигаясь за ними, в толпе у кассы держался так близко, что тыкался в них), — и вот слышу, как моя Лолита, в ответ на слова Евы, что "лучше смерть, чем Мильтон Пинский (знакомый гимназист) и его рассуждения о музыке", говорит необыкновенно спокойно и серьезно: "Знаешь, ужасно в смерти то, что человек совсем предоставлен самому себе"; и меня тогда поразило, пока я, как автомат, передвигал ватные ноги, что я ровно ничего не знаю о происходившем у любимой моей в головке и что, может быть, где-то, за невыносимыми подростковыми штампами, в ней есть и цветущий сад, и сумерки, и ворота дворца, — дымчатая обворожительная область, доступ к которой запрещен мне, оскверняющему жалкой спаз-

мой свои отрепья; ибо я часто замечал, что, живя, как мы с ней жили, в обособленном мире абсолютного зла, мы испытывали странное стеснение, когда я пытался заговорить с ней о чем-нибудь отвлеченном (о чем могли бы говорить она и старший друг, она и родитель, она и нормальный возлюбленный, я и Аннабелла, Лолита и сублимированый, вылизанный, анализированный, обожествленный Гарольд Гейз), об искусстве, о поэзии, о точечках на форели Гопкинса или бритой голове Бодлера, о Боге и Шекспире, о любом *настоящем* предмете. Не тут-то было! Она одевала свою уязвимость в броню дешевой наглости и нарочитой скуки, между тем как я, пользуясь для своих несчастных ученых комментариев искусственным тоном, от которого у меня самого ныли последние зубы, вызывал у своей аудитории такие взрывы грубости, что нельзя было продолжать, о, моя бедная, замученная девочка.

Я любил тебя. Я был пятиногим чудовищем, но я любил тебя. Я был жесток, низок, все что угодно, mais je t'aimais, je t'aimais! И бывали минуты, когда я знал, *что* именно ты чувствуешь, и неимоверно страдал от этого, детеныш мой, Лолиточка моя, храбрая Долли Скиллер...

Вспоминаю некоторые такие минуты — назовем их айсбергами в раю, — когда, насытившись ею, ослабев от баснословных, безумных трудов, безвольно лежа под лазоревой полосой, идущей поперек тела, я, бывало, заключал ее в свои объятья с приглушенным стоном человеческой (наконец!) нежности.

Ее кожа лоснилась в неоновом луче, проникавшем из мотельного двора сквозь жалюзи, ее черные, как сажа, ресницы слиплись; ее серые, без улыбки, глаза казались еще безучастнее, чем обычно, — она до смешного напоминала маленькую пациентку, не совсем еще вышедшую из тумана наркоза после очень серьезной операции; и тут нежность моя переходила в стыд и ужас, и я утешал и баюкал сиротливую, легонькую Лолиту, лежавшую на мраморной моей груди, и, урча, зарывал лицо в ее теплые кудри, и поглаживал ее наугад, и, как Лир, просил у нее благословения, и на самой вершине этой страдальческой бескорыстной нежности (в миг, когда моя душа как бы повисала над ее наготой

и готова была раскаяться), внезапно, с мерзостной иронией, желание нарастало снова... "Ах, нет!", говорила Лолита, подняв, со вздохом, глаза к небу, и в следующую минуту и нежность и лазоревый луч — все распадалось.

Современные наши понятия об отношениях между отцом и дочерью сильно испакощены схоластическим вздором и стандартизированными символами психоаналитической лавочки; надеюсь, однако, что нижеследующие строки обращаются к беспристрастным читателям. Как-то раз, когда отец одной из ее подруг (толстенькой Авис Чапман) громким гудком подал с улицы сигнал, что он приехал забрать свою дурнушку, я почувствовал себя обязанным пригласить его в гостиную; он присел на минутку, и, пока мы беседовали, Авис ластилась к нему и в конце концов грузно примостилась у него на коленях. Не помню, между прочим, отметил ли я где-нибудь, что у Лолиты была для чужих совершенно очаровательная улыбка, — мохнатое прищуривание глаз и милое, мечтательное сияние всех черт лица, — улыбка, которая ничего, конечно, не значила, но которая была так прекрасна, так самобытно нежна, что трудно ее объяснить атавизмом, магической геной, непроизвольно озаряющей лицо в знак древнего приветственного обряда (гостеприимной проституции, скажет читатель погрубее). Она стояла поодаль, когда мистер Чапман сел и заговорил, вертя шляпу в руках, а затем — ах, смотрите, как глупо с моей стороны, я опустил главнейшую особенность знаменитой Лолитовой улыбки, а именно: ее сладкая, как нектар, переливающаяся ямочками игра никогда не бывала направлена на гостя, а держалась, так сказать, собственной далекой цветущей пустоты или блуждала с близорукой вкрадчивостью по случайным предметам — и было так сейчас. В ту минуту, как толстая Авис приблизилась и стала мешать своему папе вертеть шляпу, Лолита тихо сияла, разглядывая и потрагивая фруктовый нож, лежавший на краю стола, к которому она прислонялась далеко, далеко от меня. Авис теперь ухватилась за отцовскую шею и ухо, а он, привычной рукой, полуобнял свое неуклюжее и крупное чадо, и вдруг я заметил, как улыбка Лолиты стала гаснуть, превратилась в оцепеневшую тень улыбки, и фрукто-

вый нож соскользнул со стола и серебряным черенком случайно ударил ее в щиколку, да так больно, что она охнула, согнулась вдвое и тотчас потом, прыгая на одной ноге, с лицом, искаженным той ужасной вступительной гримасой, которую ребенок задерживает на растянутых губах перед ревом, Лолита исчезла из комнаты и за ней побежала и стала утешать ее на кухне добренькая Авис, у которой был такой отличный, жирный, розовый отец и маленький щекастый брат, и только что родившаяся сестричка, и домашний уют и две шотландских овчарки, умеющие улыбаться, а у Лолиты ничего не было.

Я заготовил изящное дополнение к этой сценке: мы все еще в Бердслее, Лолита, сидящая с книгой у камина, потягивается, крякает и спрашивает: "Где ее, собственно говоря, похоронили?" — "Кого?" — "Ах, ты знаешь, мою зарезанную мать". — "Ты прекрасно знаешь, где находится ее могила", ответил я, с большой выдержкой, и назвал кладбище — недалеко от Рамздэля, между железной дорогой и холмом, с которого видно озеро. "А кроме того", добавил я, "трагедию ее случайной смерти не следовало бы опошлять такого рода эпитетом, к которому ты находишь нужным прибегать. Ежели ты действительно хочешь победить в себе самой идею смерти —" "Завел шарманку", сказала Лолита и томно покинула комнату. Я долго глядел в огонь сквозь жгучие слезы. Потом поднял с пола ее книгу. Какая-то бездарная чепуха "для юношества". Угрюмая маленькая Мара не ожидала, что ее мачеха окажется веселой, понятливой, рыжеволосой молодой женщиной, которая объяснила Маре, что покойная мать Мары совершила героический подвиг тем, что умышленно не выказывала никакой любви к обожаемой на самом деле дочери. Героическая мать умирала от неизлечимой болезни и не желала, чтобы девочка потом грустила по ней. Другой бы на моем месте с воплями помчался наверх к Лолите; я же всегда выбирал нравственную гигиену невмешательства. Но ныне, извиваясь, как червь, и заклиная былое, я вспоминаю, что в этот раз и в другие разы я взял в привычку не обращать внимания на состояние Лолиты, дабы не расстраивать подлого Гумберта. Когда моя мать в промокшем платье, освещаемом грозой

среди стремительно наплывающего тумана (так я воображал ее смерть), побежала, с трудом дыша, вверх по гребню горы над Молинетто, где ее сразила молния, я был младенцем, и впоследствии мне не удавалось задним числом привить себе никакой общепринятой сиротской тоски, как бы свирепо ни трепали меня психотераписты в позднейшие периоды депрессии. Но признаюсь, что человек со столь мощным воображением, как мое, не может ссылаться на незнание общечеловеческих эмоций. Возможно также, что я слишком положился на ненормальную холодность отношений между Шарлоттой и ее дочерью. Но ужасная сущность всего этого вопроса вот какая. Моя шаблонная Лолита за время нашего с ней неслыханного, безнравственного сожительства постепенно пришла к тому, что даже самая несчастная семейная жизнь предпочтительна пародии кровосмесительства — а лучше этого в конечном счете я ничего и не мог дать моей бездомной девочке.

33

Возвращение в Рамздэль. Я приближался к нему со стороны озера. Солнечный полдень смотрел во все глаза: проезжая мимо в запачканном автомобиле, я различал алмазные искры между отдаленными соснами. Свернул на кладбище, вышел и погулял между разнокалиберными памятниками. Bonjour, Charlotte. На некоторых могилах были воткнуты полупрозрачные национальные флажки, неподвижно опавшие в безветренной тени кипарисов. Эх, Эдя, не повезло же тебе, подумал я, обращаясь мысленно к некоему Эдуарду Граммару, тридцатипятилетнему заведующему конторой в Нью-Йорке, которого недавно арестовали по обвинению в убийстве тридцатилетней жены Доротеи. Мечтая об идеальном преступлении, Эд проломил жене череп и труп посадил за руль автомобиля. Два чиновника дорожной полиции данного района видели издали, как большой новый синий Крайслер, подаренный Граммаром жене на рождение, с шальной скоростью съезжал под гору как раз на границе их юрисдикции. (Да хранит Господь

наших бравых полицейских — и районных и штатных!) Он задел столб, взнесся по насыпи, поросшей остистой травой, земляникой и ползучей лапчаткой, и опрокинулся. Колеса все еще тихо вертелись на солнцепеке, когда патрульщики вытащили тело госпожи Г. Сначала им показалось, что она погибла вследствие обыкновенного крушения. Увы, ранения, вызвавшие ее смерть, не соответствовали очень легким повреждениям, которые потерпел автомобиль. Я удачнее устроился.

Покатил дальше. Со странным чувством узнал тонкую башню белой церкви и огромные ильмы. Забыв, что на американской пригородной улице одинокий пешеход больше выделяется, чем одинокий автомобилист, я оставил машину на бульваре, чтобы спуститься, как бы гуляя, по Лоун Стрит мимо номера 342. Перед предстоящим великим кровопролитием я имел право на небольшую передышку, на очистительную судорогу душевной отрыжки. Белые ставни виллы отставного тряпичника были закрыты, и кто-то подвязал найденную им черную бархатную ленту для волос к белой вывеске "Продается", склонившейся со своего шеста у тротуара. Не было больше пристающей собаки. Садовник никому не телефонировал. Больная старушка Визави не сидела на увитой виноградом веранде, — на которой теперь, к вящей досаде одинокого пешехода, две молодых женщины с понихвостными прическами, в одинаковых передничках в черную горошину, прервали уборку для того, чтобы поглазеть на него. Она, верно, давно умерла, а это были, должно быть, ее племянницы из Филадельфии.

Войти ли в свой бывший дом? Как в Тургеневской повести, поток итальянской музыки лился из растворенного окна — окна гостиной. Какая романтическая душа играла на рояле там, где никакие клавиши не ныряли и не всплескивали в тот заколдованный воскресный день, когда ласкало солнце голые ноги моей девочки? Вдруг я заметил, что с газона, который я некогда стриг, смуглая, темнокудрая нимфетка лет десяти, в белых трусиках, глядит на меня с чем-то диким в завороженном взоре больших черно-синих глаз. Я сказал ей два-три милых слова, совершенно невин-

ных, — старомодный комплимент, вроде "какие у тебя прелестные глаза", но она поспешно попятилась, и музыка оборвалась, и весьма вспыльчивого вида черноволосый мужчина с блестящим от пота лицом выскочил в сад и грубо уставился на меня. Я было хотел представиться, но тут, с тем острым смущением, которое бывает во сне, я увидел, что на мне запачканные глиной синие рабочие брюки и отвратительно грязный дырявый свитер, ощутил щетину на подбородке, почувствовал, как налиты кровью мои глаза, глаза проходимца... Не говоря ни слова, я повернул и поплелся назад к автомобилю. Чахлый цветочек, вроде маленькой астры, рос из памятной мне щели в тротуаре. Преспокойно воскресшую мисс Визави племянницы выкатили на веранду, точно эта веранда была ложей, а я актером. Внутренне умоляя ее не окликнуть меня, я ускорил шаг. Ну и крутая улочка! Я дошел до глубокой тени бульвара. Красный билетик, означающий штраф за незаконное паркование, был засунут полицейским под одну из лапок на ветровом стекле. Билетик этот я тщательно разорвал на две, четыре, восемь частей.

Сердясь на себя, что трачу попусту время, я устремился в гостиницу, — ту самую, в которую заехал с новым чемоданом пять лет тому назад. Взял комнату с ванной, назначил по телефону два свидания — деловое и медицинское, — побрился, выкупался, надел черный костюм и спустился в бар. Там ничего не изменилось. Узкий зал был залит все тем же тусклым, невозможно-гранатовым светом — которым когда-то в Европе отличались притоны, но который здесь просто "создавал настроение" в приличном, "семейном" отеле. Я сел за тот же столик, за которым сидел в самом начале моего пребывания в Рамздэле, в тот день, когда, став жильцом Шарлотты, я нашел нужным отпраздновать новоселье тем, что по-светски с ней распил полбутылки шампанского, — чем роковым образом покорил ее бедное, полное до краев сердце. Как и тогда, лакей с лицом как луна распределял по астральной схеме пятьдесят рюмочек хереса на большом подносе для свадебного приема (Мурфи, этот раз, сочетался браком с Фантазией). Без восьми три. Идя через холл, я должен был обойти группу

дам, которые с mille grâces прощались и расходились после клубного завтрака. Одна из них с приветственным клекотом набросилась на меня. Это была толстая, низенькая женщина, вся в жемчужно-сером, с длинным, серым пером на шляпке. Я узнал в ней миссис Чатфильд. Она напала на меня с приторной улыбкой, вся горя злобным любопытством (не проделал ли я, например, с Долли того, что Франк Ласелль, пятидесятилетний механик, проделал с одиннадцатилетней Салли Горнер в 1948-ом году). Очень скоро я это жадное злорадство совершенно взял под контроль. Она думала, что я живу в Калифорнии. А как поживает — ? С изысканнейшим наслаждением, я сообщил ей, что моя падчерица только что вышла за блестящего молодого инженера-горняка, выполняющего секретное правительственное задание в северо-западном штате. Взятая врасплох, она возразила, что не одобряет таких ранних браков, что никогда бы она не позволила своей Филлис, которой теперь восемнадцать лет —

"Ах, конечно", сказал я спокойно. "Конечно, помню Филлис. Филлис и лагерь Кувшинка. Да, конечно. Кстати, ваша дочурка никогда не рассказывала вам, как Чарли Хольмс развращал там маленьких пансионерок своей гнусной матери?"

"Стыдно!", крикнула миссис Чатфильд, "как вам не стыдно, мистер Гумберт! Бедного мальчика только что убили в Корее".

"В самом деле", сказал я (пользуясь дивной свободою, свойственной сновидениям). "Вот так судьба! Бедный мальчик пробивал нежнейшие, невосстановимейшие перепоночки, прыскал гадючьим ядом — и ничего, жил превесело, да еще получил посмертный орденок. Впрочем, извините меня, мне пора к адвокату".

До конторы Виндмюллера было всего два блока. Рукопожатье его оказалось очень медленным, очень обстоятельным, очень крепким, но как бы вопросительным. Он думал, что я живу в Калифорнии. Не преподавал ли я одно время в Бердслейском университете? Туда только что поступила его дочь. А как поживает —? Я дал полный отчет о миссис Скиллер. Деловой разговор оказался приятней-

шим. Я перевел все свое имущество на ее имя и вышел в сентябрьский зной беззаботным нищим.

Теперь, когда я покончил с делами, я мог посвятить себя главной цели поездки в Рамздэль. До сих пор, придерживаясь той методичности, которой недаром горжусь, я не снимал маски с лица Клэра Куильти; он сидел у меня в подземелье, ожидая моего прихода со служителем культа и брадобреем: “Réveillez-vous, Tropman, il est temps de mourir!” Мне сейчас недосуг заниматься вопросом, как запоминаются физиономии (нахожусь на пути к его дядюшке и иду скорым шагом); но позволю себе отчеркнуть следующее: в спирту мутной памяти я сохранял чье-то жабье лицо. Я видал это лицо мельком несколько раз и заметил в нем некоторое сходство с жизнерадостным и довольно противным родственником моим, жившим и умершим в Швейцарии. Помню его гантели, вонючее трико, толстые волосатые руки, и плешь, и свиноподобную горничную-наложницу, — но в общем этот паршивец был довольно безобидный; слишком безобидный, добавлю, чтобы сойти за мою добычу. В странном состоянии ума, в котором я сейчас находился, я как-то потерял связь с образом Густава Траппа: его полностью поглотило лицо драматурга Клэра Куильти, таким, каким он был представлен, с художественной точностью, на рекламах папирос “Дромадер” и на кабинетной фотографии, стоявшей у его дядюшки на письменном столе.

В свое время, когда я был пациентом другого, бердслейского, зубного врача, симпатичнейшего доктора Мольнара, я подвергся серьезной операции, после которой у меня осталось довольно мало передних зубов. Искусственные зубы, замещающие прорехи, держались при помощи пластиковых пластинок и незаметной проволоки, идущей по верхней десне. В рассуждении удобства, это устройство было шедевром, тем более что боковые зубы остались совершенно здоровыми. Однако, дабы снабдить тайную цель правдоподобным предлогом, я объявил доктору Айвору Куильти, что в надежде облегчить лицевую невралгию я решил удалить все зубы. Во что обойдется аппарат? Сколько это все займет времени, если он назначит мне первый

визит, скажем, в начале ноября? Где сейчас находится его знаменитый племянник? Можно ли будет всё вырвать за один раз?

Доктор Айвор (Ай-да-вор!) Куильти, толстяк в белом балахоне, с седым ежом и обширными плоскими щеками политикана-масона, присел на угол письменного стола, покачивая одной ногой, мечтательно и заманчиво, между тем как он развивал передо мной грандиозный дальнобойный план. Он сказал, что сначала построит мне "предварительный" аппаратик, — я буду его носить, пока не осядут десны. Затем он мне соорудит перманентный протез. Хорошо было бы уже сейчас осмотреть полость рта. Он носил двухцветные башмачки с узором из дырочек на концах. Он не видал "негодяя" с 1946 года, но был уверен, что его можно найти в родовом замке, улица Гримма, на окраине Паркингтона. Мечта художника-дантиста продолжала расти. Нога качалась. Взор блистал вдохновением. Мне это будет стоить около шестисот долларов. Он предлагал, что тут же предпримет необходимые измерения, чтобы заготовить предварительный протез. Мой рот был для него волшебной пещерой, полной бесценных сокровищ, но я туда его не пустил.

"Нет", сказал я. "Я передумал. Мне все это сделает доктор Мольнар. Его цены выше, но как дантист он, конечно, гораздо лучше вас".

Не знаю, доведется ли когда-нибудь моему читателю сказать такую фразу. Я уже испытал это дивное чувство сонной свободы в разговоре с госпожой Чатфильд. Дядюшка моего Клэра остался сидеть на столе, все еще с мечтательным выражением на лице, но нога перестала толкать и качать люльку розового упования. Зато все слышавшая секретарша, бледная, тощая девица, с трагическими глазами непреуспевших блондинок, кинулась за мной, чтобы успеть бахнуть дверью мне вслед.

Вдавите обойму в рукоятку. Нажимайте, пока не услышите или не почувствуете, как захватило защелку. Упоительно плотно. Вместимость: восемь патронов. Вороной отлив. Мучительно готов разрядиться.

34

На первой же бензиновой станции в Паркингтоне мне очень ясно объяснили, как добраться до улицы Гримма. Желая быть уверенным, что застану Куильти, я попытался ему позвонить, но выяснилось, что его телефон недавно разъединили. Значило ли это, что он в отъезде? Я направился туда, — его дом находился в двенадцати милях на север от города. К этому времени ночь убрала большую часть ландшафта, и, когда я поехал по узкому извилистому шоссе, череда призрачно-белых столбиков с рефлекторами стала занимать мой же свет, чтобы указать тот или другой поворот дороги. Можно было смутно различить речную долину с одной стороны и лесистые склоны — с другой; впереди же, как беспризорные снежинки, ночные мотыльки плыли из черного мрака в пытливый свет моих фаров. На двенадцатой миле, как и было предсказано, появился диковинный крытый мост, вермонтского образца, который на меня натянулся, как чехол; за ним справа выросла беленая скала, а еще через несколько саженей я свернул, направо же, по гравийной дороге, которая и была "Улица Гримма". Минуты две-три я ехал по сырому, темному, глухому лесу. Наконец, посреди округлой прогалины, вырос замок ужаса, огромный деревянный домище с башней. Окна горели красным и желтым огнем, и полдюжины автомобилей запрудило подъездную аллею. Остановившись под прикрытием деревьев и потушив фары, я стал спокойно обдумывать следующий ход. Господина Ку, наверное, окружали его приспешники и гетеры. Поневоле я видел внутренность этого празднично освещенного и необыкновенно запущенного шато, сквозь призму "Тревог Отрочества", повести в одном из Лолитиных журнальчиков, о довольно смутных "оргиях", взрослом злодее с приапической сигарой, наркотиках, телохранителях. По крайней мере, Ку был тут. Ничего, вернусь утром, в час сонной неги.

Я не спеша поехал обратно в Паркингтон, в этом своем старом, преданном Икаре, который так спокойно, так бодро работал для меня. Моя Лолита! Еще валялась с 1949-го года одна из ее заколочек в глубине "перчатного" отделения.

Еще текли бледные бабочки, вытягиваемые из ночи сифоном моего света. Еще держались, опираясь на костыли, темные амбары там и сям вдоль шоссе. Еще ездили люди смотреть фильмы. В поисках ночлега я проехал мимо драйвина — кино на вольном воздухе. Сияя лунной белизной, прямо-таки мистической по сравнению с безлунной и бесформенной ночью, гигантский экран косо уходил в сумрак дремотных, ни в чем не повинных полей, и на нем узкий призрак поднимал пистолет, растворяясь, как в мыльной воде, при обострявшемся крене удалявшегося мира, — и уже в следующий миг ряд тополей скрыл бесплотную жестикуляцию.

35

Я покинул Привал Бессонных Ловцов около восьми утра и провел некоторое время в городе. Меня преследовала мысль, что палач я неопытный и могу дать маху. Мне, например, подумалось, что, может быть, патроны в обойме выдохлись за неделю бездеятельности; я заменил их новенькими. Дружка я так основательно выкупал в масле, что теперь не мог избавиться от черной гадости. Я забинтовал его в тряпку, как искалеченный член, и употребил другую тряпку на то, чтобы запаковать горсть запасных пуль.

По дороге меня настигла гроза, но, когда я доехал до зловещего замка, солнце уже горело, как мужественный мученик, и птицы вопили в промокшей, дымящейся листве. Гости разъехались. Затейливый и ветхий дом стоял как в чаду, отражая собственное мое состояние, ибо я невольно почувствовал, коснувшись ногами пружинистой и непрочной земли, что я переборщил в смысле подкрепления.

Звонку моему ответствовала настороженная ироническая тишина. В открытом гараже, однако, по-хозяйски стоял автомобиль — на этот раз черная машина, похожая на лимузин гробовщика. Я попробовал стукнуть дверным кольцом. Никовновь. С нетерпеливым рычанием я толкнул дверь — и о, чудо! Она подалась, как в средневековой сказ-

ке. Тихонько затворив ее за собой, я прошел через просторный и весьма некрасивый вестибюль; кинул взгляд в гостиную справа; заметил там несколько употребленных бокалов, растущих из ковра; решил, что хозяин все еще у себя в спальне.

Что ж, поползем наверх. Моя правая рука сжимала в кармане закутанного в тряпку дружка, левая похлопывала по липкой балюстраде. В последней из трех спален, которые я осмотрел, кто-то явно провел ночь. Была библиотечная, полная цветов. Была какая-то особая комната, почти без мебели, но с просторными и глубокими зеркалами и белыми медвежьими шкурами на скользком паркете. Были и другие покои. Меня осенила счастливая мысль. Если и когда появится хозяин (пошел, может быть, погулять для моциона в парке или сидит в потайной норе), следовало бы ввиду моей общей неустойчивости и того, что процесс истребления может затянуться, помешать милому партнеру запереться в той или другой комнате. Посему, в продолжение пяти минут по крайней мере, я ходил — в ясном помешательстве, безумно-спокойный, зачарованный и вдрызг пьяный охотник, — и поворачивал ключи в замках, свободной рукой суя их в левый карман. Дом, будучи старым, давал больше возможности уединения, чем дают современные элегантные коробки, где супружеской паре приходится прятаться в уборную — единственный запирающийся уголок — для скромных нужд планового детопроизводства.

Кстати, об уборных. Я собрался запереть третью спальню, когда хозяин вышел из соседнего клозета, оставив за собой шум краткого каскада. Загиб коридора не мог скрыть меня полностью. С серым лицом, с мешками под глазами, с растрепанным пухом вокруг плеши, но все же вполне узнаваемый кузен дантиста проплыл мимо меня в фиолетовом халате, весьма похожем на один из моих. Он меня либо не заметил, либо принял за недостойную внимания, безвредную галлюцинацию и, показывая свои волосатые икры, прошествовал сомнамбулической походкой вниз по лестнице. Я последовал за ним в вестибюль. Полуоткрыв и рот и входную дверь, он посмотрел в солнечную щель, как человек, которому показалось, что он слышал неуверенно-

го гостя, позвонившего и потом удалившегося. Засим, продолжая игнорировать привидение в дождевике, остановившееся посреди лестницы, милый хозяин вошел в уютный будуар через холл по другую сторону гостиной. Зная, что он теперь мой, и не желая спешить, я оставил его там и отправился через гостиную и полубар-полукухню, где я брезгливо разбинтовал моего маленького пачкуна, стараясь не наделать масляных пятен на хроме — мне кажется, я употребил не тот продукт, масло было как деготь и ужасно прилипчивое. Со свойственной мне дотошностью я перевел обнаженного дружка в чистую нишу — и прошел через гостиную в холл. Мой шаг был, как я уже отметил, пружинист — может быть, слишком пружинист для успеха дела; но сердце во мне колотилось от хищного веселья, и помню, как хрустнула коктельная рюмка у меня под ногой.

Милый хозяин встретил меня в турецком будуарчике.

"А я все думаю, кто вы такой?", заявил он высоким хриплым голосом, глубоко засунув руки в карманы халата и уставясь в какой-то пункт на северо-восток от моей головы. "Вы случайно не Брюстер?"

Теперь было ясно, что он витает в каком-то тумане и находится всецело в моей власти. Я мог позволить себе поиграть этой мышкой.

"Правильно", отвечал я учтиво. "Je suis Monsieur Brustère. Давайте-ка поболтаем до того, как начать".

Это ему понравилось. Его черные, как клякса, усики дрогнули. Я скинул макинтош. Был я весь в черном — черный костюм, черная рубашка, без галстука. Мы опустились друг против друга в глубокие кресла.

"Знаете", сказал он, громко скребя мясистую, шершавую, серую щеку и показывая в кривой усмешке свои мелкие жемчужные зубы, "вы не так уж похожи на Джека Брюстера. Я хочу сказать, что сходство отнюдь не разительное. Кто-то мне говорил, что у него есть брат, который служит в той же телефонной компании".

Затравить его наконец, после всех этих лет раскаяния и ярости... Видеть черные волоски на его пухлых руках... Скользить всею сотней глаз по его лиловым шелкам и кос-

матой груди, предвкушая пробоины и руду, и музыку мук... Знать, что держу его, этого полуодушевленного, получеловеческого шута, этого злодея, содомским способом насладившегося моей душенькой — о, моя душенька, это было нестерпимой отрадой!

"Нет, к сожалению, я не брат Брюстера, — и даже не сам Брюстер".

Он наклонил набок голову с еще более довольным видом.

"Ну-ка, гадай дальше, шут".

"Прекрасно", сказал шут, "значит, вы не пришли от телефонной компании мне надоедать этими неоплаченными фантастическими разговорами?"

"А вы что, никогда не звоните?"

"Виноват?"

Я сказал, что мне показалось, что он сказал, что он никогда...

"Нет, я говорю о других — о людях вообще. Я не обвиняю именно вас, Брюстер, но, право же, ужасно глупая манера у людей входить в этот дурацкий дом без стука. Они пользуются сортиром, они пользуются кухней, они пользуются телефоном. Антон звонит в Бостон, Мария в Рио. Я отказываюсь платить. У вас странный акцент, синьор".

"Куильти", сказал я, "помните ли вы маленькую девочку по имени Долорес Гейз? Долли Гейз? Долорес в Колорадо? Гейзер в Вайоминге?"

"Да, да, вполне возможно, что это она звонила во все эти места. Но не все ли равно?"

"Мне не все равно, Куильти. Дело в том, что я ее отец".

"Вздор. Никакой вы не отец. Вы иностранный литературный агент. Один француз перевел мое "Живое мясо" как "La Vie de la Chair". Какое идиотство!"

"Она была моим ребенком, Куильти".

В том состоянии, в котором он находился, его невозможно было по-настоящему смутить, но его наскакивающая манера уже становилась менее уверенной. Какая-то тень настороженного разумения затлелась в его глазах, придав им подобие жизни. Впрочем, они сразу опять потускнели.

“Я сам люблю ребятишек”, сказал он, “и у меня много друзей среди отцов”.

Он отвернулся, ища чего-то. Стал бить себя по карманам. Попытался привстать.

“Куш!”, сказал я — по-видимому, гораздо громче, чем хотел.

“Незачем орать на меня”, пожаловался он странным бабьим голосом. “Просто ищу папирос. До смерти хочется курить”.

“Вам и так недалеко до смерти”.

“Эх, бросьте”, сказал он. “Мне это начинает надоедать. Чего вам надо? Вы француз, мистер? Вулэ-ву-буар? Перейдемте в барчик и хлопнем —”

Он увидел маленький черный пистолет, лежавший у меня на ладони, словно я его предлагал ему.

“Э — э!”, протянул он (подражая теперь типу “глупого гангстера” в кино), “какой у вас шикарный пистолетик. За сколько продаете?”

Я шлепнул его по протянутой руке, и каким-то образом он сбил шкатулку с низкого столика подле своего кресла. Шкатулка извергла десяток папирос.

“Вот они!”, произнес он весело. “Помните, как сказано у Киплинга: “Une femme est une femme, mais un Caporal est une cigarette”. Теперь нам нужны спички”.

“Куильти”, сказал я. “Попробуйте сосредоточиться. Через минуту вы умрете. Загробная жизнь может оказаться, как знать, вечным состоянием мучительнейшего безумия. Вы выкурили вашу последнюю папиросу вчера. Сосредоточьтесь. Постарайтесь понять, что с вами происходит”.

Он, меж тем, рвал на части папиросу Дромадер и жевал кусочки.

“Я готов постараться”, проговорил он. “Вы либо австралиец, либо немецкий беженец. Как это вообще случилось что вы со мной разговариваете? Это дом — арийский, имейте в виду. Вы бы лучше уходили. И прошу вас перестать размахивать этим кольтом. Между прочим, у меня есть старый наган в соседнем зальце”.

Я направил дружка на носок его ночной туфли и нажал на гашетку. Осечка. Он посмотрел себе на ногу, на писто-

лет, опять на ногу. Я сделал новое ужасное усилие, и с нелепо слабым и каким-то детским звуком пистолет выстрелил. Пуля вошла в толстый розоватый ковер: я обомлел, вообразив почему-то, что она только скатилась туда и может выскочить обратно.

"Ну, кто был прав?", сказал Куильти. "Вам бы следовало быть осторожнее. Дайте-ка мне эту вещь, чорт возьми".

Он потянулся за кольтом. Я пихнул шута обратно в кресло. Густая отрада редела. Пора, пора было уничтожить его, но я хотел, чтобы он предварительно понял, почему подвергается уничтожению. Я заразился его состоянием. Оружие в моей руке казалось вялым и неуклюжим.

"Сосредоточьтесь", сказал я, "на мысли о Долли Гейз, которую вы похитили — "

"Неправда!" крикнул он. "Вы чушь порете. Я спас ее от извращенного негодяя. Покажите мне вашу бляху, если вы сыщик, вместо того, чтобы палить мне в ногу, скотина! Где бляха? Я не отвечаю за чужие растления. Чушь какая! Эта увеселительная поездка была, признаюсь, глупой шуткой, но вы ведь получили девчонку обратно? Довольно — пойдемте, хлопнем по рюмочке".

Я спросил, желает ли он быть казненным сидя или стоя.

"Это я должен обдумать", ответил он. "Вопрос серьезный. Между прочим — я допустил ошибку. О которой весьма сожалею. Я, видите ли, не получил никакого удовольствия от вашей Долли. Как ни грустно, но я, знаете ли, импотент. А кроме того, я ведь устроил ей великолепные каникулы. Она познакомилась в Техасе с замечательными людьми. Вы слыхали, например — "

И, неожиданно подавшись вперед, он навалился на меня, причем мой пистолет полетел под комод. К счастью, он был более порывист, нежели могуч, и я без труда пихнул его обратно в кресло.

Отдышавшись, он сложил руки на груди и сказал:

"Ну вот, доигрались. Vous voilà dans de beaux draps, mon vieux".

Я наклонился. Он не двинулся. Я наклонился ниже.

"Дорогой сэр", сказал он, "перестаньте жонглировать жизнью и смертью. Я драматург. Я написал много трагедий,

комедий, фантазий. Я сделал в частном порядке фильмы из "Жюстины" Сада и других эскапакостей восемнадцатого века. Я автор пятидесяти двух удачных сценариев. Я знаю все ходы и выходы. Дайте мне взяться за это. В другой комнате есть, кажется, кочерга, позвольте мне ее принести, и с ее помощью мы добудем ваше имущество".

Суетливо, деловито, лукаво, он встал снова, пока говорил. Я пошарил под комодом, стараясь одновременно не спускать с него глаз. Вдруг я заметил, что дружок торчит из-под радиатора близ комода. Мы опять вступили в борьбу. Мы катались по всему ковру, в обнимку, как двое огромных беспомощных детей. Он был наг под халатом, от нéго мерзко несло козлом, и я задыхался, когда он перекатывался через меня. Я перекатывался через него. Мы перекатывались через меня. Они перекатывались через него. Мы перекатывались через себя.

В напечатанном виде эта книга читается, думаю, только в начале двадцать первого века (прибавляю к 1935-ти девяносто лет, живи долго, моя любовь); и пожилые читатели, наверное, вспомнят в этом месте "обязательную" сцену в ковбойских фильмах, которые они видели в раннем детстве. Нашей потасовке, впрочем, недоставало кулачных ударов, могущих сокрушить быка, и летающей мебели. Он и я были двумя крупными куклами, набитыми грязной ватой и тряпками. Все сводилось к безмолвной, бесформенной возне двух литераторов, из которых один разваливался от наркотиков, а другой страдал неврозом сердца и к тому же был пьян. Когда, наконец, мне удалось овладеть своим драгоценным оружием и усадить опять сценариста в его глубокое кресло, мы оба пыхтели, как королю коров и барону баранов никогда не случается пыхтеть после схватки.

Я решил осмотреть пистолет — наш пот мог, чего доброго, в нем что-нибудь испортить — и отдышаться, до того как перейти к главному номеру программы. С целью заполнить паузу, я предложил ему прочитать собственный приговор — в той ямбической форме, которую я ему придал. Термин "поэтическое возмездие" особенно удачен в дан-

ном контексте. Я передал ему аккуратно написанный на машинке листок.

"Ладно", сказал он. "Прекрасная мысль. Пойду за очками" (он попытался встать).

"Нет".

"Как хотите. Читать вслух?"

"Да".

"Поехали. Ага, это в стихах":

За то, что ты взял грешника врасплох,
За то, что взял врасплох,
За то, что взял,
За то, что взял врасплох мою оплошность...

"Ну, это, знаете, хорошо. Чертовски хорошо!"

...Когда нагим Адамом я стоял
Перед законом федеральным
И всеми жалящими звездами его —

"Прямо великолепно!"

За то, что ты воспользовался этим
Грехом моим, когда
Беспомощно линял я, влажный, нежный,
Надеясь на благую перемену,
Воображая брак в гористом штате,
И целый выводок Лолит...

"Ну, это я не совсем понял".

За то, что ты воспользовался этой
Основою невинности моей,
За то, что ты обманом —

"Чуточку повторяетесь, а? Где я остановился?.. Да".

За то, что ты обманом отнял
Возможность искупленья у меня,
За то, что взял ее
В том возрасте, когда мальчишки
Играют пушечкой своей...

"Так-с, первая сальность".

Она пушистой девочкой была,
Еще носила маковый венок,

Из фунтика еще любила есть
Поджаренные зерна кукурузы
В цветистом мраке, где с коней за деньги
Оранжевые падали индейцы,
За то, что ты ее украл
У покровителя ее,
— А был он величав, с челом как воск —
Но ты — ему ты плюнул
В глаз под тяжелым веком, изорвал
Его шафрановую тогу,
И на заре оставил кабана
Валяться на земле в недуге новом,
Средь ужаса фиалок и любви,
Раскаянья, отчаянья, а ты
Наскучившую куклу взял
И, на кусочки растащив ее,

Прочь бросил голову. За это,
За все, что сделал ты,
За все, чего не сделал я,
— Ты должен умереть!"

"Ну что ж, сэр, скажу без обиняков, дивное стихотворение! Ваше лучшее произведение, насколько могу судить".

Он сложил листок и отдал мне его.

Я спросил его, хочет ли он сказать что-нибудь для него важное перед смертью. Кольт был опять "применим в отношении к персоне". Он посмотрел на него. Он глубоко вздохнул.

"Послушайте, дядя", сказал он. "Вы пьяны, а я больной человек. Давайте отложим это дело. Я нуждаюсь в покое. Я должен пестовать свою импотентность. Сегодня заходят друзья, чтобы везти меня на большой матч. Этот фарс с пальбой из пистолета становится страшно скучным. Мы с вами светские люди во всем — в эротических вкусах, белых стихах, меткой стрельбе. Если вы считаете, что я вас обидел, я готов на необычайные компенсации. Не исключен даже старомодный поединок, на саблях или пистолетах, в Бразилии или другом удобном месте. Моя память и мое красноречие не на высоте нынче, но, право же, мой доро-

гой господин Гумберт, вы были далеко не идеальным отчимом, и я отнюдь не заставлял вашу маленькую протеже присоединиться ко мне. Это она заставила меня перевезти ее в более веселое прибежище. Сей дом не столь хорошо оборудован, как ранчо, которое мы делили с дорогими друзьями; все же он просторен, прохладен и летом и зимой — словом, комфортабелен, а потому — ввиду того, что я собираюсь навсегда уехать на покой в Англию или Флоренцию, — я предлагаю вам поселиться тут. Дом — ваш, бесплатно. При условии, что вы перестанете направлять на меня этот (он отвратительно выругался) пистолет. Между прочим, — не знаю, любите ли вы диковинки, но если любите, могу вам предложить, тоже бесплатно, в качестве домашнего зверька, довольно волнующего маленького монстра, девицу с тремя грудками, одна из которых — прелесть, и вообще — это редкое и очаровательное чудо природы. А теперь — soyons raisonnables. Вы меня только гнусно раните и потом будете гнить в тюрьме, меж тем как я буду поправляться в тропической обстановке. Обещаю вам, Брюстер, что вы заживете здесь счастливо, пользуясь великолепным погребом и всем доходом с моей следующей пьесы, — у меня сейчас маловато в банке, но ничего, буду жить долгами, как жил его отец, по словам поэта. Тут есть еще одно преимущество, а именно — чрезвычайно надежная и подкупная уборщица, миссис Вибрисса — интересное имя, — которая приходит из деревни два раза в неделю — увы, не сегодня, — у нее есть внуки и внучки, и я кое-что такое знаю о главе местной полиции, что могу им распоряжаться как рабом. Я драматург. Меня прозвали американским Метерлинком. Отвечаю на это: Метерлинк — шметтерлинг. Довольно. Все это очень унизительно, и я не уверен, что поступаю правильно. Избегайте употреблять геркуланиту с ромом. А теперь будьте благоразумным и уберите пистолет. Я как-то познакомился с вашей незабвенной супругой. Весь мой гардероб в вашем распоряжении. Ах, еще кое-что. Это вам понравится. У меня есть наверху исключительно ценная коллекция эротики. Назову хотя бы роскошный фолиант “Остров Багратиона” извест-

ной путешественницы и психоаналистки Мелании Вейсс — поразительная женщина, поразительный труд — уберите пистолет — со снимками свыше восьмисот мужских органов, которые она осмотрела и измерила в 1932-ом году на острове в Бардинском Море, и весьма поучительными диаграммами, вычерченными с большой любовью под благосклонными небесами — уберите пистолет, — а кроме того, я могу вам устроить присутствие при казнях, не всякий знает, что электрический стул покрашен в желтый —"

Я выстрелил. На этот раз пуля попала во что-то твердое, а именно в спинку черной качалки, стоявшей в углу (и несколько похожей на скиллеровскую), причем она тотчас пришла в действие, закачавшись так шибко и бодро, что человек, который вошел бы в комнату, был бы изумлен двойным чудом: движением одинокой качалки, ходуном ходящей в углу, и зияющей пустотой кресла, в котором только что находилась моя фиолетовая мишень. Перебирая пальцами поднятых рук, молниеносно крутя крупом, он мелькнул в соседнее зальце, и в следующее мгновение мы с двух сторон тянули друг у друга, тяжело дыша, дверь, ключ от которой я проглядел. Я опять победил, и с еще большей прытью Кларий Новус сел за рояль и взял несколько уродливо-сильных, в сущности истерических, громовых аккордов: его брыла вздрагивали, его растопыренные руки напряженно ухали, а ноздри испускали тот судорожный храп, которого не было на звуковой дорожке нашей кинодраки. Продолжая мучительно напевать в нос, он сделал тщетную попытку открыть ногой морского вида сундучок, подле рояля. Следующая моя пуля угодила ему в бок, и он стал подыматься с табурета все выше и выше, как в сумасшедшем доме старик Нижинский, как "Верный Гейзер" в Вайоминге, как какой-то давний кошмар мой, на феноменальную высоту, или так казалось, и, разрывая воздух, еще сотрясаясь от темной сочной музыки, откинув голову, с воем, он одну руку прижал ко лбу, а другой схватился за подмышку, как будто его ужалил шершень; после чего спустился опять на землю и опять, приняв образ толстого мужчины в халате, улепетнул в холл.

Вижу, как я последовал за ним через холл, где с каким-то двойным, тройным, кенгуровым прыжком, оставаясь стойком на прямых ногах при каждом скачке, сперва за ним следом, потом между ним и парадной дверью, я исполнил напряженно-упругий танец, чтобы помешать ему выйти, ибо дверь, как во сне, была неплотно затворена.

Опять преобразившись, став теперь величественным и несколько мрачным, он начал подниматься по широкой лестнице — и, переменив позицию, но не подступая близко, я произвел один за другим три-четыре выстрела, нанося ему каждым рану, и всякий раз, что я это с ним делал, делал эти ужасные вещи, его лицо нелепо дергалось, словно он клоунской ужимкой преувеличивал боль; он замедлял шаг, он закатывал полузакрытые глаза, он испускал женское “ах” и отзывался вздрагиванием на каждое попадание, как если бы я щекотал его, и, пока мои неуклюжие, слепые пули проникали в него, культурный Ку говорил вполголоса, с нарочито британским произношением, — все время ужасно дергаясь, дрожа, ухмыляясь, но вместе с тем как бы с отвлеченным, и даже любезным, видом: “Ах, это очень больно, сэр, не надо больше... Ах, это просто невыносимо больно, мой дорогой сэр. Прошу вас, воздержитесь. Ах, до чего больно... Боже мой! Ух! Отвратительно... Знаете, вы не должны были бы —”. Его голос замер, когда он долез до площадки, но он продолжал идти необыкновенно уверенным шагом, несмотря на количество свинца, всаженное в его пухлое тело, и я вдруг понял, с чувством безнадежной растерянности, что не только мне не удалось прикончить его, но что я заряжал беднягу новой энергией, точно эти пули были капсюлями, в которых играл эликсир молодости.

Я снова зарядил пустой кольт — черными и обагренными руками, — тронул что-то, умащенное его густой кровью. Затем я поспешил присоединиться к нему на верхнем этаже.

Он шагал по галерее, окровавленный и важный, выискивая открытое окно, качал головой и все еще старался уговорить меня не совершать убийства. Я попытался по-

пасть ему в висок. Он отступил в свою спальню с пурпурным месивом вместо уха.

“Вон, вон отсюда”; проговорил он, кашляя и плюя; и с бредовым изумлением я увидел, как этот забрызганный кровью, но все еще подвижный человек влезает в постель и заворачивается в хаос простынь и одеял. Я выстрелил в него почти в упор, и тогда он откинулся назад, и большой розовый пузырь, чем-то напоминавший детство, образовался на его губах, дорос до величины игрушечного воздушного шара и лопнул.

Возможно, что в течение двух-трех секунд я потерял связь с действительностью, но это отнюдь не походило на то потемнение рассудка, на которое норовят сослаться обыкновенные преступники; напротив, хочу подчеркнуть, что я ответствен за каждую пролитую каплю его пузырчатой крови; произошел, однако, некий временной сдвиг: я сидел в супружеской спальне, где в постели лежала больная Шарлотта. Куильти умирал. Вместо пистолета (на котором я сидел) я держал в руках его туфлю. Я очнулся, устроился удобнее в кресле и взглянул на наручные часы. Стекло пропало, но они шли. Вся эта грустная история заняла больше часа. Он наконец затих. Никакого облегчения я не испытывал; наоборот, меня тяготило еще более томительное бремя, чем то, от которого я надеялся избавиться. Я не мог заставить себя путем прикосновения убедиться в его смерти. Во всяком случае, на вид он был мертв: недоставало доброй четверти его лица, и уже спустились с потолка две мухи, едва веря своему небывалому счастью. Руки у меня были не в лучшем виде, чем у него. Я умылся кое-как в смежной ванной. Теперь мне можно было отбыть. Когда я вышел на площадку лестницы, меня ожидал сюрприз: живое жужжание, которое я уже и прежде слышал и принимал за звон в ушах, оказалось смесью голосов и граммофонной музыки, исходившей из нижней гостиной.

Я нашел там группу только что, видимо, прибывших людей, которые беззаботно распивали хозяйскую водку. В кресле развалился огромный толстяк; две черноволосых, бледных молодых красотки, несомненно сестры, одна по-

больше, другая (почти ребенок) поменьше, скромно сидели рядышком на краю тахты. Краснощекий тип с ярко-голубыми глазами как раз принес им два стакана с чем-то из кухни-бара, где две-три женщины болтали меж собой и звякали кусочками льда. Я остановился в дверях и сказал: "Господа, я только что убил Клэра Куильти". "И отлично сделали", проговорил краснощекий тип, предлагая при этом напиток старшей из двух красоток. "Кто-нибудь давно бы должен был его укокошить", заметил толстяк. "Что он говорит, Тони?", спросила увядшая блондинка из-под арки бара. "Он говорит", ответил ей краснощекий, "что он убил Ку". "Что ж", произнес еще другой господин, приподнявшись с корточек в углу гостиной, где он перебирал граммофонные пластинки. "Что ж, мы все в один прекрасный день должны бы собраться и это сделать". "Как бы то ни было", сказал Тони, "ему пора бы спуститься. Мы не можем долго ждать, если хотим попасть к началу игры". "Дайте этому человеку чего-нибудь выпить", сказал толстяк. "Хотите пива?", спросила женщина в штанах, показывая мне издали кружку.

Только красотки на тахте, обе в черном, молчали; младшая всё потрагивала медальон на белой шейке, но обе молчали, такие молоденькие, такие доступные. Музыка на мгновение остановилась для перемены пластинки, и тут донесся глухой шум со стороны лестницы. Тони и я поспешили в холл. Куильти, которого я совершенно не ждал, выполз каким-то образом на верхнюю площадку и там тяжело возился, хлопая плавниками; но вскоре, упав фиолетовой кучей, застыл — теперь уже навсегда.

"Поторопись, Ку", смеясь крикнул Тони, и со словами: "По-видимому, после вчерашнего — не так-то скоро...", он вернулся в гостиную, где музыка заглушила остальную часть его фразы.

Вот это (подумал я) — конец хитроумного спектакля, поставленного для меня Клэром Куильти. С тяжелым сердцем я покинул этот деревянный замок и пошел сквозь петлистый огонь солнца к своему Икару. Две другие машины были тесно запаркованы с обеих сторон от него, и мне не сразу удалось выбраться.

36

Все, что за этим следует, — довольно плоско и бледно. Я медленно поехал под гору и через некоторое время спохватился, что это вовсе не дорога в Паркингтон. Макинтош я оставил в будуаре, а дружка в ванной. Нет, это не был тот дом, в котором мне хотелось бы жить. Мелькнула досужая мысль, что, может быть, гениальный хирург изменит собственную карьеру и вместе с нею — как знать — всю судьбу человечества, тем, что воскресит Курилкуильти, Клэра-Дромадера. Мне, в общем, было, все равно; хотелось забыть всю эту мерзость, — и, когда я впоследствии узнал, что он не ожил, я только одному обрадовался — не придется, значит, мысленно следить много месяцев за мучительным и отталкивающим процессом его выздоровления, прерываемого всякими неудобосказуемыми ухудшениями и операциями и увенчанного, может быть, моим визитом к нему с целью перевести его воочию в реальность телесности из положения призрака. Апостол Фома был не так глуп. Но не странно ли, что чувство осязания, которое бесконечно менее ценится человеком, чем зрение, не только теряется реже всего, но становится в критические минуты нашим главным, если не единственным, критерием действительности. Я был весь пропитан несчастным Куильти — весь проникнут ощущением нашей борьбы перед кровопролитием.

Шоссе теперь тянулось среди полей. Мне пришло в голову (не в знак какого-нибудь протеста, не в виде символа или чего-либо в этом роде, а просто как возможность нового переживания), что, раз я нарушил человеческий закон, почему бы не нарушить и кодекс дорожного движения? Итак, я перебрался на левую сторону шоссе и проверил — каково? Оказалось, очень неплохо. Этакое приятное таяние под ложечкой со щекоткой "распространенного осязания" плюс мысль, что нет ничего ближе к опровержению основных законов физики, чем умышленная езда не по той стороне. В общем, испытываемый мной прекрасный зуд был очень возвышенного порядка. Тихо, задумчиво, не быстрее двадцати миль в час, я углублялся в странный,

зеркальный мир. Движения на шоссе было мало. Редкие автомобили, проезжавшие по им предоставленной мною стороне, оглушительно гудели на меня. Автомобили же, попадавшиеся навстречу, виляли, шарахались и кричали со страху. Вскоре я стал приближаться к более населенным местам. Проезд сквозь красный свет напомнил мне запретный глоток бургундского вина из времен моего детства. Между тем возникали осложнения. За мной следовали, мне сопутствовали. Затем, впереди меня, две патрульных машины расположились таким способом, чтобы совершенно преградить мне дорогу. Плавным движением я свернул с шоссе и, сильно подскочив два-три раза, взъехал вверх по травянистому склону, среди удивленных коров, и там, тихонько покачиваясь, остановился. Нечто вроде заботливого гегельянского синтеза соединяет тут двух покойников.

Меня сейчас должны были вынуть из автомобиля (прощай, Икар, спасибо за все, старина!), и я предвкушал удовольствие отдаться в многочисленные руки и ничем не содействовать им, пока они будут нести меня, спокойного, удобно раскинувшегося, лениво всему поддающегося, как пациент, и извлекающего диковинную усладу из собственной вялости и абсолютно надежной поддержки со стороны полицейских и представителей скорой помощи. И покуда я ждал, чтобы они взбежали ко мне на высокий скат, я вызвал в воображении последний мираж, образ, полный изумления и безнадежности. Как-то раз, вскоре после ее исчезновения, приступ отвратительной тошноты заставил меня оставить машину на старой, полузаросшей горной дороге, которая то сопровождала, то пересекала новенькое шоссе и вся пестрела от диких астр, купавшихся в разбавленном тепле бледно-голубого дня в конце лета. После судорог рвоты, вывернувшей меня наизнанку, я сел отдохнуть на валун, а затем, думая, что свежий горный воздух мне пойдет впрок, прошел несколько шагов по направлению к низкому каменному парапету на стремнинной стороне шоссе. Мелкие кузнечики прыскали из сухого придорожного бурьяна. Легчайшее облако как бы раскрывало объятия, постепенно близясь к более основательной туче, принадлежавшей к другой, косной, лазурью полузатопленной

системе. Когда я подошел к ласковой пропасти, до меня донеслось оттуда мелодическое сочетание звуков, поднимавшееся, как пар, над горнопромышленным городком, который лежал у моих ног в складке долины. Можно было разглядеть геометрию улиц между квадратами красных и серых крыш, и зеленые дымки деревьев, и змеистую речку, и драгоценный блеск городской свалки, и, за городком, скрещение дорог, разделяющих темные и светлые заплаты полей, а за этим всем — лесистые громады гор. Но даже ярче, чем эти встречные, безмолвно радовавшиеся краски — ибо есть цвета и оттенки, которые с умилением празднуют свои встречи, — ярче и мечтательнее на слух, чем они для глаза, было воздушное трепетание сборных звуков, не умолкавших ни на минуту при восхождении своем к гранитной полке, на которой я стоял, вытирая мерзостный рот. И вдруг я понял, что все эти звуки принадлежат к одному роду и что никаких других звуков, кроме них, не поднимается с улиц прозрачного городка. Читатель! Мелодия, которую я слышал, составлялась из звуков играющих детей, только из них, и столь хрустален был воздух, что в мреющем слиянии голосов, и величественных и миниатюрных, отрешенных и вместе с тем волшебно близких, прямодушных и дивно загадочных, слух иногда различал как бы высвободившийся, почти членораздельный взрыв светлого смеха, или бряк лапты, или грохоток игрушечной тележки, но все находилось слишком далеко внизу, чтобы глаз мог заметить какое-либо движение на тонко вытравленных по меди улицах. Стоя на высоком скате, я не мог наслушаться этой музыкальной вибрации, этих вспышек отдельных возгласов на фоне ровного рокотания, и тогда-то мне стало ясно, что пронзительно-безнадежный ужас состоит не в том, что Лолиты нет рядом со мной, а в том, что голоса ее нет в этом хоре.

Итак, вот моя повесть. Я перечел ее. К ней пристали кусочки костного мозга, на ней запеклась кровь, на нее садятся красивые ярко-изумрудные мухи. На том или другом завороте я чувствую, как мое склизкое “я” ускользает от меня, уходя в такие глубокие и темные воды, что не хочется туда соваться. Я закамуфлировал то, что могло бы

уязвить кого-либо из живых. И сам я перебрал немало псевдонимов, пока не придумал особенно подходящего мне. В моих заметках есть и "Отто Отто", и "Месмер Месмер", и "Герман Герман"... но почему-то мне кажется, что мною выбранное имя всего лучше выражает требуемую гнусность.

Когда я начал, пятьдесят шесть дней тому назад, писать "Лолиту", — сначала в лечебнице для психопатов, где проверяли мой рассудок, а затем в сей хорошо отопленной, хоть и порядком похожей на могилу, темнице, — я предполагал, что употреблю полностью мои записки на суде, чтобы спасти, не голову мою, конечно, а душу. Посредине работы, однако, я увидел, что не могу выставить напоказ живую Лолиту. Я, может быть, воспользуюсь кое-чем из моей повести на закрытых заседаниях, но ее напечатание приходится отложить.

По причинам, которые могут показаться более очевидными, чем они есть на самом деле, я против смертной казни; к этому мнению присоединятся, надеюсь, мои судьи. Если бы я предстал как подсудимый перед самим собой, я бы приговорил себя к тридцати пяти годам тюрьмы за растление и оправдал бы себя в остальном. Но даже так Долли Скиллер, вероятно, переживет меня на много лет. Нижеследующее решение принимается мной со всей законной силой и поддержкой подписанного завещания: я желаю, чтобы эти записки были опубликованы только после смерти Лолиты.

Таким образом, ни тебя, ни меня уже не будет в живых к тому времени, когда читатель развернет эту книгу. Но покуда у меня кровь играет еще в пишущей руке, ты остаешься столь же неотъемлемой, как я, частью благословенной материи мира, и я в состоянии сноситься с тобой, хотя я в Нью-Йорке, а ты в Аляске. Будь верна своему Дику. Не давай другим мужчинам прикасаться к тебе. Не разговаривай с чужими. Надеюсь, что ты будешь любить своего ребеночка. Надеюсь, что он будет мальчик. Надеюсь, что муж твой будет всегда хорошо с тобой обходиться, ибо в противном случае мой призрак его настигнет, как черный дым, как обезумелый колосс, и растащит его на части, нерв

за нервом. И не жалей К. К. Пришлось выбрать между ним и Г. Г., и хотелось дать Г. Г. продержаться месяца на два дольше, чтобы он мог заставить тебя жить в сознании будущих поколений. Говорю я о турах и ангелах, о тайне прочных пигментов, о предсказании в сонете, о спасении в искусстве. И это — единственное бессмертие, которое мы можем с тобой разделить, моя Лолита.

— *Конец* —

О КНИГЕ, ОЗАГЛАВЛЕННОЙ "ЛОЛИТА"
(Послесловие к американскому изданию 1958-го года)

После моего выступления в роли приятного во всех отношениях Джона Рэя — того персонажа в "Лолите", который пишет к ней "предисловие" — любой предложенный от моего имени комментарий может показаться читателю — может даже показаться и мне самому — подражанием Владимиру Набокову, разбирающему свою книгу. Некоторые мелочи, однако, необходимо обсудить, и автобиографический прием может помочь мимикрирующему организму слиться со своей моделью.

Профессора литературы склонны придумывать такие проблемы, как: "К чему стремится автор?" или еще гаже: "Что хочет книга сказать?" Я же принадлежу к тем писателям, которые, задумав книгу, не имеют другой цели, чем отделаться от нее, и которым, когда их просят объяснить ее зарождение и развитие, приходится прибегать к таким устаревшим терминам, как Взаимодействие между Вдохновением и Комбинационным Искусством — что звучит, признаюсь, так, как если бы фокусник стал объяснять один трюк при помощи другого.

Первая маленькая пульсация "Лолиты" пробежала во мне в конце 1939-го или в начале 1940-го года, в Париже, на рю Буало, в то время, как меня пригвоздил к постели серьезный приступ межреберной невралгии. Насколько помню, начальный озноб вдохновения был каким-то образом связан с газетной статейкой об обезьяне в парижском зоопарке, которая, после многих недель улещиванья со стороны какого-то ученого, набросала углем первый рисунок, когда-либо исполненный животным: набросок изображал решетку клетки, в которой бедный зверь был заклю-

чен. Толчок не связан был тематически с последующим ходом мыслей, результатом которого, однако, явился прототип настоящей книги: рассказ, озаглавленный "Волшебник", в тридцать, что ли, страниц. Я написал его по-русски, т. е. на том языке, на котором я писал романы с 1924-го года (все они запрещены по политическим причинам в России). Героя звали Артур, он был среднеевропеец, безымянная нимфетка была француженка, и дело происходило в Париже и Провансе. Он у меня женился на больной матери девочки, скоро овдовел и, после неудачной попытки приласкаться к сиротке в отельном номере, бросился под колеса грузовика. В одну из тех военного времени ночей, когда парижане затемняли свет ламп синей бумагой, я прочел мой рассказ маленькой группе друзей. Моими слушателями были М. А. Алданов, И. И. Фондаминский, В. М. Зензинов и женщина-врач Коган-Бернштейн; но вещицей я был недоволен и уничтожил ее после переезда в Америку, в 1940-ом году.

Девять лет спустя, в университетском городе Итака (в штате Нью-Йорк), где я преподавал русскую литературу, пульсация, которая никогда не прекращалась совсем, начала опять преследовать меня. Новая комбинация присоединилась к вдохновению и вовлекла меня в новую обработку темы; но я избрал для нее английский язык — язык моей первой петербургской гувернантки (больше шестидесяти лет тому назад), мисс Рэчель Оум. Несмотря на смесь немецкой и ирландской крови вместо одной французской, нимфетка осталась той же, и тема женитьбы на матери — в основе своей — тоже не изменилась; но в других смыслах вещь приняла совершенно новый вид; у нее втайне выросли когти и крылья романа.

Книга подвигалась медленно, со многими перебоями. Когда-то у меня ушло около сорока лет на то, чтобы выдумать Россию и Западную Европу, а теперь мне следовало выдумать Америку. Добывание местных ингредиентов, которые позволили бы мне подлить небольшое количество средней "реальности" (странное слово, которое ничего не значит без кавычек) в раствор моей личной фантазии, оказалось в пятьдесят лет значительно более трудным, чем это

было в Европе моей юности, когда действовал с наибольшей точностью механизм восприимчивости и запоминания. Мешала и работа над другими книгами. Раза два я чуть было не сжег недописанного черновика, и помню, как я уже донес мою Жуаниту Дарк почти до вечерней тени мусоросжигалки, криво стоявшей на газоне двора, когда меня остановила мысль, что дух казненной книги будет блуждать по моим картотекам до конца моих дней.

Каждое лето мы с женой ездим ловить бабочек. Собранные экземпляры идут в научные институты, как, например, Американский Музей Естественной Истории в Нью-Йорке, или Музей Сравнительной Зоологии при Гарвардском Университете, или Энтомологический Музей Корнельского Университета. На булавку с бабочкой накалывается снизу этикетка с указанием места поимки, даты и имени ловца; эти мои этикетки чрезвычайно пригодятся в двадцать первом веке иному исследователю литературы, заинтересовавшемуся моей малоизвестной биографией. И вот на этих-то местах ловли, или “станциях”, в Теллюриде (Колорадо), в Афтоне (Вайоминг), в Портале (Аризона), в Аштоне (Орегон), я опять принялся за “Лолиту”, занимаясь ею по вечерам или в дождливые дни. Гумберт Гумберт написал ее в тридцать раз быстрее меня. Я перебелил ее только весною 1954-го года в Итаке, жена перестукала ее на машинке в трех экземплярах, и я тотчас стал искать издателя.

Сначала, кротко следуя совету осторожного друга, я думал выпустить роман анонимно. Анаграмма моего имени и фамилии в имени и фамилии одного из моих персонажей — памятник этого скрытого авторства. Вряд ли когда-либо пожалею, что, вскоре поняв, как легко может маска повредить моей же правде, я решил подписать “Лолиту” своим настоящим именем. Четыре американских издателя, Акс, Якс, Экс и Икс, которым по очереди я предложил книгу и чтецы которых кинули на нее взгляд, были возмущены “Лолитой” в гораздо большей мере, чем предполагал мой старый друг. В конце концов я ее отправил литературному агентству в Париж; оно передало “Лолиту” совершенно мне неизвестному издательству “Олимпия Пресс”, выпускавшему по-английски книги, почему-либо запре-

щенные в Англии или Америке, и оно-то издало ее осенью 1955-то года.

Хотя не подлежит сомнению, что в старину, и до конца восемнадцатого века (примеры из французской литературы напрашиваются сами собой), откровенная похабщина не исключала комедийных блесток и метких сатирических стрел или даже красочной мощи поэта, поддавшегося легкомысленному настроению, не менее справедливо будет сказать, что в наши дни выражение "порнография" означает бездарность, коммерческую прыть и строгое соблюдение клише. Непристойность должна соединяться с банальщиной, ибо всякую эстетическую усладу следует полностью заменить простой половой стимуляцией, требующей применения общепринятых фраз для прямого воздействия на пациента. Порнограф должен строго придерживаться старых испытанных правил, дабы окружить пациента надежной атмосферой удовлетворения, атмосферой, знакомой и любителям детективных рассказов — в которых, если недосмотреть, настоящим убийцей может оказаться, к великому негодованию любителя, художественное своенравие автора (кому нужен, например, детективный рассказ без единого диалога?). Таким образом, в порнографических романах действие сводится к совокуплению шаблонов. Слог, структура, образность — ничто не должно отвлекать читателя от его уютного вожделения. Такой роман состоит из чередования эротических сцен. Промежуточные же места должны представлять собой лишь смысловые швы, логические мостики простейшей конструкции, краткие параграфы, посвященные изложению и разъяснению, которые читатель, вероятно, пропустит, но в присутствии которых он должен быть уверен, чтобы не почувствовать себя обманутым (образ мыслей, проистекающий из рутины "всамделишних" сказок, которых мы требуем в детстве). Кроме того, сексуальные сцены в книге непременно должны развиваться крещендо, все с новыми вариациями, в новых комбинациях, с новыми влагалищами и орудиями, и постоянно увеличивающимся числом участников (в известной пьесе Сада напоследок вызывают из сада садовника), а потому конец

книги должен быть наполнен эротическим бытом гуще, чем ее начало.

Некоторые приемы в первых главках "Лолиты" (дневник Гумберта, например) заставили иных моих первых читателей-туристов ошибочно подумать, что перед ними скабрезный роман. Они ждали нарастающей серии эротических сцен; когда серия прекратилась, чтение прекратилось тоже, и бедный читатель почувствовал скуку и разочарование. Подозреваю, что тут кроется причина того, что не все четыре издательства прочли мой машинописный текст до конца. Меня мало занимает вопрос, нашли ли они или не нашли вещь слишком неприличной. Но интересно то, что их отказ был основан не на обработке темы, а на самой теме, ибо в Америке было тогда целых три неприемлемых для издателя темы. Две других — это черно-белый брак, преисполненный безоблачного счастья, с кучей детей и внуков; и судьба абсолютного атеиста, который, после счастливой и полезной жизни, умирает во сне в возрасте ста шести лет.

Некоторые из издательских отзывов меня очень позабавили. Один чтец предложил компромисс, при котором его фирма согласится, может быть, на издание моего романа: мне предлагалось превратить Лолиту в двенадцатилетнего мальчика, которого Гумберт, теннесийский фермер, соблазняет в амбаре, среди мрачных и чахлых равнин, с полувнутренними монологами, состоящими из коротких, сильных, "реалистических" фраз. ("Он парень шалый", "Мы все, я думаю, шалые", "Я думаю, сам Господь Бог — шалый" и тому подобное.) Несмотря на то, что давно известна моя ненависть ко всяким символам и аллегориям (ненависть, основанная отчасти на старой моей вражде к шаманству фрейдизма и отчасти на отвращении к обобщениям, придуманным литературными мифоманами и социологами), один во всех других смыслах умный читатель, перелистав первую часть "Лолиты", определил ее тему так: "Старая Европа, развращающая молодую Америку", — между тем как другой чтец увидел в книге "Молодую Америку, развращающую старую Европу". Издатель Якс, чьим советникам Гумберт так осточертел, что они прочли только

половину книги, имел наивность мне написать, что вторая часть слишком длинна. Издатель Экс выразил сожаление, что в романе нет ни одного хорошего человека. Издатель Икс сказал, что, если он напечатает “Лолиту”, мы оба с ним угодим в тюрьму.

В свободной стране ни один настоящий писатель не должен, конечно, заботиться о проведении пограничной черты там, где кончается чувство и начинается чувственность. Поистине комическое задание! Я могу дивиться, но не могу подражать точности глаза фотографов, так снимающих хорошеньких молодых млекопитающих для журнальных картинок, что граница декольте приходится как раз достаточно низко, чтобы осклабился филистер, и как раз достаточно высоко, чтобы не нахмурился почтмейстер. Полагаю, что существуют читатели, которые разгораются от одного вида заборных слов в одном из тех огромных, безнадежно пошлых романов, которые выстукиваются на машинке тупым первым пальцем бездарнейшего молодца и которые болван рецензент приветствует ходульной хвалой. Найдутся, я знаю, светлые личности, которые признают “Лолиту” книгой бессмысленной, потому что она не поучительна. Я не читаю и не произвожу дидактической беллетристики, и, чего бы ни плел милый Джон Рэй, “Лолита” вовсе не буксир, тащащий за собой барку морали. Для меня рассказ или роман существует, только поскольку он доставляет мне то, что попросту назову эстетическим наслаждением, а это, в свой черед, я понимаю как особое состояние, при котором чувствуешь себя — как-то, где-то, чем-то — связанным с другими формами бытия, где искусство (т. е. любознательность, нежность, доброта, стройность, восторг) есть норма. Все остальное — это либо журналистическая дребедень, либо, так сказать, Литература Больших Идей, которая, впрочем, часто ничем не отличается от дребедени обычной, но зато подается в виде громадных гипсовых кубов, которые со всеми предосторожностями переносятся из века в век, пока не явится смельчак с молотком и хорошенько не трахнет по Бальзаку, Горькому, Томасу Манну.

Обвиняли “Лолиту” и в антиамериканизме. Это меня огорчает гораздо больше, чем идиотский упрек в безнрав-

ственности. Движимый техническими соображениями, заботами о воздушной глубине и перспективе (тут пригородный газон, там горная поляна), я соорудил некоторое количество североамериканских декораций. Мне необходима была вдохновительная обстановка. Нет ничего на свете вдохновительнее мещанской вульгарности. Но в смысле мещанской вульгарности нет никакой коренной разницы между бытом Старого Света и бытом Нового. Любой пролетарий из Чикаго может быть так же буржуазен (во Флоберовом смысле), как любой английский лорд. Я выбрал американские "мотели" вместо швейцарских гостиниц или французских харчевен только потому, что стараюсь быть американским писателем и намерен пользоваться правами, которыми пользуются американские писатели. С другой стороны, мною изобретенный Гумберт — иностранец и анархист; и я с ним расхожусь во многом — не только в вопросе нимфеток. А кроме того, как знают мои эмигрантские читатели, некогда мною построенные площади и балконы — русские, английские, немецкие, французские — столь же прихотливы и субъективны, как мой новый макет.

Не хочу, чтобы вышесказанное звучало как отголосок каких-то обид, и спешу добавить, что, кроме овечек, читавших "Лолиту" в типоскрипте или в издании "Олимпии" и вопрошавших, "почему, собственно, он это написал?" или "почему мы должны читать о маниаке?", было немало людей разумных, отзывчивых и стойких, понявших внутреннее устройство моей книги значительно лучше, чем сам я могу ее объяснить.

Мне кажется, что всякий настоящий писатель продолжает ощущать связь с напечатанной книгой в виде постоянного успокоительного ее присутствия. Она ровно горит, как вспомогательный огонек газа где-то в подвале, и малейшее прикосновение к тайному нашему термостату немедленно производит маленький глухой взрыв знакомого тепла. Это присутствие книги, светящейся в неизменно доступном отдалении, удивительно задушевное чувство, и чем точнее совпала книга с ее умозрительными очертаньями и красками, тем полнее и ровнее ее свет. Но как бы книга ни удалась в целом, есть у автора, там и сям, люби-

мые места, заветные закоулочки, которые он вспоминает живее и которыми задним числом наслаждается с большей нежностью, чем остальными частями книги. Я не перечитывал "Лолиты" с тех пор, как держал корректуру первого издания, почти два года тому назад, но ее очарование все присутствует, как бы окружая дом утренней скромной дымкой, за которой чувствуется игра летнего дня. И когда я вспоминаю "Лолиту", я всегда почему-то выбираю для особого своего услаждения такие образы, как учтивый Таксович, или классный список учеников Рамздэльской школы, или Шарлотта, произносящая "уотерпруф", или Лолита, как на замедленной пленке подступающая к подаркам Гумберта, или фотографии, украшающие стилизованную мансарду Гастона Годэна, или Касбимский парикмахер (обошедшийся мне в месяц труда), или Лолита, лупящая в теннис, или госпиталь в Эльфинстоне, или бледная, брюхатая, невозвратимая Долли Скиллер и ее смерть в Грэй Стар, "серой звезде", столице книги, или, наконец, соборный звон из городка, глубоко в долине, доходящий вверх до горной тропы (а именно в Теллуриде, где я поймал неоткрытую еще тогда самку мной же описанной по самцам голубянки Lycaeides sublivens Nabokov).

Вот нервная система книги. Вот тайные точки, подсознательные координаты ее начертания — хотя, с другой стороны, я вполне отдаю себе отчет в том, что и эти и другие места лишь бегло просмотрит, или пропустит, или никогда их не достигнет, тот читатель, который приступит к моей книге, думая, что это нечто вроде "Мемуаров Куртизанки" или "Любовных приключений Кулебякина". Мой роман содержит немало ссылок на физиологические позывы извращенного человека — это отрицать не могу. Но в конце концов мы не дети, не безграмотные малолетние преступники и не питомцы английского закрытого среднеучебного заведения, которые после ночи гомосексуальных утех должны мириться с парадоксальным обычаем разбирать древних поэтов в "очищенных" изданиях.

Только очень темный читатель изучает беллетристическое произведение для того, чтобы набраться сведений о данной стране, социальном классе или личности автора.

Однако один из моих немногих близких друзей, прочитав “Лолиту”, был искренно обеспокоен тем, что я (я!) живу “среди таких нудных людей”, меж тем как единственное неудобство, которое я действительно испытываю, происходит от того, что живу в мастерской, среди неподошедших конечностей и недоделанных торсов.

Другой американский критик недавно выразил мысль, что “Лолита” представляет собою отчет о моем “романе с романтическим романом”. Замена последних слов словами “с английским языком” уточнила бы эту изящную формулу. Но тут чувствую, как вкрадывается в мой голос слишком крикливая нотка. Никто из моих американских друзей не читал моих русских книг, а потому всякая оценка, основанная на моей английской беллетристике, не может не быть приблизительной. Личная моя трагедия — которая не может и не должна кого-либо касаться — это то, что мне пришлось отказаться от природной речи, от моего ничем не стесненного, богатого, бесконечно послушного мне русского слога ради второстепенного сорта английского языка, лишенного в моем случае всей той аппаратуры — каверзного зеркала, черно-бархатного задника, подразумеваемых ассоциаций и традиций, — которыми туземный фокусник с развевающимися фалдами может так волшебно воспользоваться, чтобы преодолеть по-своему наследие отцов.

12-го ноября, 1956-го года,
Корнельский Университет,
Итака, США.

ПОСТСКРИПТУМ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Научная добросовестность побудила меня сохранить в русском тексте последний параграф вышеприведенного американского послесловия, несмотря на то, что он может только ввести в заблуждение русского читателя, не помнящего, или не понимавшего, или вообще никогда не читавшего книг "В. Сирина", которые выходили заграницей в двадцатых и тридцатых годах. Американскому читателю я так страстно твержу о превосходстве моего русского слога над моим слогом английским, что иной славист может и впрямь подумать, что мой перевод "Лолиты" во сто раз лучше оригинала. Меня же только мутит ныне от дребезжания моих ржавых русских струн. История этого перевода — история разочарования. Увы, тот "дивный русский язык", который, сдавалось мне, все ждет меня где-то, цветет, как верная весна за наглухо запертыми воротами, от которых столько лет хранился у меня ключ, оказался несуществующим, и за воротами нет ничего, кроме обугленных пней и осенней безнадежной дали, а ключ в руке скорее похож на отмычку.

Утешаюсь, во-первых, тем, что в неуклюжести предлагаемого перевода повинен не только отвыкнувший от родной речи переводчик, но и дух языка, на который перевод делается. За полгода работы над русской "Лолитой" я не только убедился в пропаже многих личных безделушек и невосстановимых языковых навыков и сокровищ, но пришел и к некоторым общим заключениям по поводу взаимной переводимости двух изумительных языков.

Телодвижения, ужимки, ландшафты, томление деревьев, запахи, дожди, тающие и переливчатые оттенки природы, все нежно-человеческое (как ни странно!), а также все

мужицкое, грубое, сочно-похабное, выходит по-русски не хуже, если не лучше, чем по-английски; но столь свойственные английскому тонкие недоговоренности, поэзия мысли, мгновенная перекличка между отвлеченнейшими понятиями, роение односложных эпитетов — все это, а также все относящееся к технике, модам, спорту, естественным наукам и противоестественным страстям — становится по-русски топорным, многословным и часто отвратительным в смысле стиля и ритма. Эта неувязка отражает основную разницу в историческом плане между зеленым русским литературным языком и зрелым, как лопающаяся по швам смоква, языком английским: между гениальным, но еще недостаточно образованным, а иногда довольно безвкусным юношей, и маститым гением, соединяющим в себе запасы пестрого знания с полной свободой духа. Свобода духа! Все дыхание человечества в этом сочетании слов.

Библиографические сведения, приведенные в послесловии к американскому изданию (Путнам, 1958), можно теперь пополнить. Первое издание с обильными опечатками, вышедшее в двух томиках в Париже (Олимпия Пресс, 1955), покупалось довольно вяло английскими туристами, пока не попалось на глаза Грэхаму Грину, отозвавшемуся о книге с похвалой в одной лондонской газете. На него и на "Лолиту" обрушился в другой лондонской газете реакционный фельетонист, некто Джон Гордон, и его-то добродетельный ужас привлек к "Лолите" всеобщее внимание. Что же касается ее судьбы в Соединенных Штатах, то следует отметить, что она там никогда не была запрещена (как до сих пор запрещена в некоторых странах). Первые экземпляры парижского издания Лолиты", выписанные частными лицами, были задержаны и прочтены на американской таможне, но неизвестный друг-читатель, служивший там, признал мою "Лолиту" легальной литературой, и экземпляры были отправлены по адресам. Это разрешило сомнения осторожных американских издателей, и я уже мог выбирать между ними наиболее мне подходящего. Успех путнамского издания (1958) превзошел, как говорится, все ожидания. Парадоксальным образом, однако, первое английское изда-

ние, вышедшее в Париже еще в 1955 году, вдруг оказалось под запретом. Я часто спрашиваю себя, как поступил бы я в те дни, когда начались переговоры с "Олимпия Пресс", если бы мне тогда стало известно, что наряду с печатанием талантливых, хотя и вольных, произведений главный свой доход издатель получал от им заказываемых продажным ничтожествам пошлых книжонок совершенно того же сорта, как предлагаемые на темных углах снимки монашки с сенбернаром или матроса с матросом. Как бы то ни было, английские таможенники давно уже отнимали, в суровом и трезвом тумане возвращений с каникул, эту порнографическую дрянь — в таких же травянистого цвета обложках, как моя "Лолита". Теперь же английский министр внутренних дел попросил своего французского коллегу, столь же невежественного, сколь услужливого, запретить в продаже весь список изданий "Олимпии", и в течение некоторого времени "Лолита" в Париже разделяла судьбу заборных изданий "Олимпии".

Между тем нашелся лондонский издатель, пожелавший напечатать ее. Дело совпало с обсуждением нового закона о цензуре (1958-59 г.), причем "Лолита" служила аргументом и для либералов и для консерваторов. Парламент выписал из Америки некоторое количество экземпляров, и члены ознакомились с книгой. Закон был принят, и "Лолита" вышла в Лондоне, в издательстве Вайденфельда и Никольсона, в 1959-ом году. Одновременно Галлимар в Париже подготовил ее издание на французском языке, — и незадачливое первое английское издание "Олимпия Пресс", деловито и возмущенно оправляясь, опять появилось в киосках.

С тех пор "Лолита" переводилась на многие языки: она вышла отдельными изданиями в арабских странах, Аргентине, Бразилии, Германии, Голландии, Греции, Дании, Израиле, Индии, Италии, Китае, Мексике, Норвегии, Турции, Уругвае, Финляндии, Франции, Швеции и Японии. Продажу ее только что разрешили в Австралии, но она все еще запрещена в Испании и Южно-Африканской Республике. Не появлялась она и в пуританских странах за железным занавесом. Из всех этих переводов я отвечаю, в смысле

точности и полноты, только за французский, который я сам проверил до напечатания. Воображаю, что сделали с бедняжкой египтяне и китайцы, а еще яснее воображаю, что сделала бы с ней, если бы я допустил это, "перемещенная дама", недавно научившаяся английскому языку, или американец, который "брал" русский язык в университете. Вопрос же — для кого, собственно, "Лолита" переводится — относится к области метафизики и юмора. Мне трудно представить себе режим, либеральный ли или тоталитарный, в чопорной моей отчизне, при котором цензура пропустила бы "Лолиту". Кстати, не знаю, кого сейчас особенно чтят в России — кажется, Гемингвея, современного заместителя Майн-Рида, да ничтожных Фолкнера и Сартра, этих баловней западной буржуазии. Зарубежные же русские запоем читают советские романы, увлекаясь картонными тихими донцами на картонных же хвостах-подставках или тем лирическим доктором с лубочно-мистическими позывами, мещанскими оборотами речи и чаровницей из Чарской, который принес советскому правительству столько добротной иностранной валюты.

Издавая "Лолиту" по-русски, я преследую очень простую цель: хочу, чтобы моя лучшая английская книга — или, скажем еще скромнее, одна из лучших моих английских книг — была правильно переведена на мой родной язык. Это — прихоть библиофила, не более. Как писатель, я слишком привык к тому, что вот уже скоро полвека чернеет слепое пятно на востоке моего сознания — какие уж тут советские издания "Лолиты"! Как переводчик я не тщеславен, равнодушен к поправкам знатоков и лишь тем горжусь, что железной рукой сдерживал демонов, подбивавших на пропуски и дополнения. Как читатель я умею размножаться бесконечно и легко могу набить огромный отзывчивый зал своими двойниками, представителями, статистами и теми наемными господами, которые, ни секунды не колеблясь, выходят на сцену из разных рядов, как только волшебник предлагает публике убедиться в отсутствии обмана. Но что мне сказать насчет других, нормальных читателей? В моем магическом кристалле играют радуги, косо отражаются мои очки, намечается миниатюрная ил-

люминация — но он мало кого мне показывает: несколько старых друзей, группу эмигрантов (в общем предпочитающих Лескова), гастролера-поэта из советской страны, гримера путешествующей труппы, трех польских или сербских делегатов в многозеркальном кафе, а совсем в глубине — начало смутного движения, признаки энтузиазма, приближающиеся фигуры молодых людей, размахивающих руками... но это просто меня просят посторониться — сейчас будут снимать приезд какого-то президента в Москву.

Владимир Набоков
7-го ноября 1965 г.
Палермо

LAUGHTER
IN THE DARK

BY

VLADIMIR NABOKOFF

LAUGHTER
IN
THE DARK

Vladimir Nabokoff

Смех в темноте

Реконструкция Александра Люксембурга

РОМАН

1938

1

В Берлине, столице Германии, жил да был человек по имени Альбинус. Он был богат, добропорядочен и счастлив, в один прекрасный день он бросил жену ради юной любовницы; он любил, но не был любим, и жизнь его завершилась катастрофой.

Вот суть нашей истории, и на этом можно было бы поставить точку, да одно мешает: рассказав ее, мы извлечем определенную пользу и испытаем немалое удовольствие; пусть на могильной плите достаточно места для оплетенной мхом краткой версии человеческой жизни, дополнительные детали никогда не помешают.

Так уж вышло, что однажды вечером Альбинуса посетила прелестная идея. По правде говоря, она не вполне принадлежала ему и была подсказана одним местом у Конрада (не того знаменитого поляка, а Удо Конрада, автора "Мемуаров растяпы" и еще одной вещицы о пожилом фокуснике, испытавшем наслаждение от своего прощального выступления). Как бы там ни было, Альбинус воспринял эту идею как свою собственную, потому что влюбился в нее, играл с нею, потом с нею свыкся, а что еще нужно, чтобы обрести законную собственность в свободной сфере духа. Будучи художественным критиком и знатоком живописи, он часто развлекался, представляя под пейзажами и лицами, которые сам он, Альбинус, встречал в реальной жизни, подпись того или иного Старого Мастера, и тогда получалось, что жизнь его — картинная галерея, все экспонаты которой — очаровательные подделки. И вот как-то

вечером, когда Альбинус надумал дать отдохнуть своему ученому уму и написать небольшое эссе (не Бог весть какое блестящее, так как человек он был умеренно даровитый) о кинематографическом искусстве, ему в голову пришла прелестная мысль.

Связана она была с цветной мультипликацией, которая только-только заявляла о себе в те годы. Как заманчиво, подумалось ему, использовать этот метод и, взяв какую-нибудь хорошо известную картину фламандской школы, сперва воспроизвести ее на экране во всем буйстве красок, а затем оживить — и тогда движения и жесты, запечатленные на полотне в статическом состоянии, разовьются в полном соответствии с законами гармонии; допустим, мы видим таверну, где мелкие людишки жадно пьют за деревянными столами, и кусочек солнечного двора, где ждут оседланные лошади, — и тут все вдруг оживает, одетый в красное старичок опускает кружку, девушка с подносом вырывается из чьих-то пытающихся ее обнять рук, а курица начинает клевать. А ведь картину можно и развивать, выведя маленькие человеческие фигурки на природу, — ландшафт кисти того же мастера, где, вероятно, как всегда, коричневое небо, и замерзший канал, и люди на причудливых коньках, которыми пользовались в те стародавние времена, выписывающие старомодные восьмерки, подсказанные полотном; или же мокрая дорога в дымке тумана и пара всадников: они возвращаются в ту же таверну и постепенно приводят за собой все фигурки и все краски, и те занимают одна за другой положения, в которых находились прежде, всадники водворяют их, так сказать, по своим местам, после чего с первой картиной можно расстаться. А потом можно было бы так же испробовать итальянцев: на расстоянии виднеется голубой конус горы, вьется излучистая бело-восковая тропинка, и маленькие пилигримы взбираются вверх по ней Можно взять и религиозные сюжеты, хотя только такие, где много мелких фигурок. Художник-постановщик должен не только обладать основательными знаниями о данном живописце и его эпохе, но и способностью избегать противоречий между теми действиями, которые будут представлены в фильме, и теми,

что зафиксированы старым мастером. О да, сделать подобное вполне возможно. А цвета... они должны быть несопоставимо более замысловатыми, чем в обычной мультипликации. Какую повесть можно поведать, повесть об особом видении художника, о счастливом странствии глаза и кисти, можно создать мир, соответствующий манере мастера, насыщенный тонами, которые нашел он сам!

Некоторое время спустя Альбинусу случилось переговорить об этом с одним кинорежиссером, но последнего его идея не взволновала: он сказал, что она потребует исключительно тонкой работы, придется заниматься усовершенствованием метода мультипликации и на все, вместе взятое, уйдет прорва денег; по его словам, подобная фильма, учитывая исключительную трудоемкость ее исполнения, едва ли получится особо длинной, будет идти считанные минуты, — но и за такой краткий срок успеет до смерти утомить большинство зрителей и вызвать всеобщее разочарование.

Как-то потом Альбинус обсудил ту же проблему с другим кинематографистом, и тот тоже отнесся к ней насмешливо.

— Мы могли бы начать с чего-нибудь попроще, — сказал Альбинус, — с оживающего витража, герба, пары святых.

— Боюсь, ничего не выйдет, — возразил собеседник. — Мы не можем себе позволить рисковать с экстравагантными фильмами.

Но Альбинус все никак не хотел расставаться со своей идеей. И вот однажды кто-то рассказал ему об умном парне, Акселе Рексе, который блестяще воплощает любые чудачества, — так, например, он сделал декорации для персидской сказки, которые привели в восторг парижских интеллектуалов, но разорили продюсера, финансировавшего постановку. Альбинус постарался разыскать Рекса, но выяснилось, что тот только что вернулся в Соединенные Штаты, где рисовал карикатуры для иллюстрированной газеты. Некоторое время спустя он все-таки нашел Рекса, и тот, похоже, заинтересовался.

Как-то в марте Альбинус получил от него пространное письмо, но его поступление совпало с внезапным кризисом в личной (даже чрезвычайно личной) жизни Альбинуса, так что прелестная идея, которая при иных обстоятельствах продолжала бы тлеть, а то вдруг, возможно, нашла бы для себя благоприятную почву, где пустияа бы корни и расцвела, странным образом увяла и засохла за какую-нибудь одну неделю.

В своем письме Рекс утверждал, что надеяться заинтересовать Холливудскую публику — дело абсолютно безнадежное, и недвусмысленно предлагал, чтобы Альбинус, будучи человеком состоятельным, сам взялся финансировать свое начинание; и если таковое возможно, то он, Рекс, за соответствующую плату (далее была проставлена фантастическая сумма), при условии, что половину денег он получит авансом, берется подготовить все необходимые рисунки к одной из фильм. Почему бы не попробовать Брейгеля — скажем, его "Пословицы", а впрочем, он готов оживить и любой другой холст, если Альбинус остановит на нем свой выбор.

— На твоем месте, — заметил Поль, шурин Альбинуса, добрейший, тучный человек, у которого из нагрудного кармана торчали застежки четы карандашей и четы самоструйных перьев, — я бы рискнул. Обычные фильмы, то есть такие, где воюют и рушатся здания, стоят куда больше.

— Но если тратиться на такую фильму, то потом все окупается с лихвой, а я не получу ничего.

— Мне кажется, что я припоминаю, — сказал Поль, пыхтя сигарой (ужин тем временем подходил к концу), — что ты готов был на гораздо большие расходы — во всяком случае, не меньше того гонорара, который запросил Рекс, Так в чем же тогда дело? Почему-то не вижу у тебя того же энтузиазма, что был прежде. Может быть, ты решил дать отбой?

— Конечно же, нет. Просто меня беспокоит практическая сторона дела; во всем остальном оно мне по-прежнему симпатично.

— Какое дело? — спросила Элизабет.

Эта ее привычка задавать зря вопросы о предметах, не раз в ее присутствии обсуждавшихся, была следствием скорее нервности мысли, чем глупости или непонимания. Часто, задав вопрос, она, еще говоря, еще на разгоне слова, понимала уже, что давно сама знает ответ. Муж хорошо изучил эту привычку, и нисколько прежде она не сердила его, а лишь умиляла и смешила. И он спокойно продолжал разговор, хорошо зная (и ожидание обычно оправдывалось), что жена почти сразу отвечала сама на свой вопрос. Но теперь, в этот именно мартовский день, Альбинус, трепещущий от раздражения, смущения, неприкаянности, почувствовал, что нервы его сдают.

— Что ты, с луны, что ли, свалилась? — спросил он грубо.

Жена бросила взгляд на ногти и примирительно сказала:

— Ах да, я уже вспомнила. Не так быстро, мое дитя, не так быстро, — тут же обратилась она к дочке, восьмилетней Ирме, которая измазалась, пожирая свою порцию шоколадного крема.

— Мне кажется, что всякое новое изобретение... — начал Поль, пыхтя сигарой.

Альбинус, ощущая, как странные чувства овладевают им, подумал: "Какое мне дело до этого Рекса, до этого дурацкого разговора, до шоколадного крема?.. Я схожу с ума, и никто не замечает. Надо затормозить, но это невозможно, и завтра я снова пойду в кинематограф и, как дурак, буду сидеть в темноте... Невероятно".

Было это и впрямь невероятно — особенно невероятно потому, что все девять лет брачной жизни он держал себя в руках, никогда, никогда... "Собственно говоря, — подумал он, — следовало бы Элизабет все сказать, или ничего не сказать, но уехать с ней на время куда-нибудь, или пойти к психоаналисту, или, наконец..."

Нет, нельзя же, в самом деле, взять браунинг и застрелить незнакомку только потому, что она приглянулась тебе.

2

Альбинус был неудачлив в любви. Несмотря на привлекательную наружность, он почему-то не извлекал никакой практической пользы из того благоприятного впечатления, которое оказывала на женщин его непритязательная воспитанность, — а ведь было же нечто несомненно привлекательное в его милой улыбке и кротких синих глазах, становившихся слегка выпуклыми, когда он крепко над чем-то задумывался (а так как был он тугодумом, подобное случалось чаще, чем хотелось бы). Был он хорошим собеседником, хотя иной раз мог чуть запнуться, с намеком на заикание, придающим шарм самому банальному высказыванию. И наконец, последнее, но не менее важное (ведь жил он в самодовольном немецком мирке): Альбинус унаследовал от отца солидное состояние; казалось бы, что еще нужно, но все романтические истории увядали почему-то сами собой, раньше, чем он успевал ощутить к ним вкус.

В студенческие годы у него была утомительная связь с пожилой дамой, тяжело обожавшей его и потом, во время войны, посылавшей ему на фронт пурпурные носки, колючие шерстяные фуфайки и длинные, страстные, неразборчивые письма на пергаментной бумаге. Затем была история с женой герра профессора, с которой он познакомился на берегу Рейна; она была довольно хороша собой, если разглядывать ее под определенным углом и при определенном освещении, но столь холодная и робкая, что ему пришлось с нею расстаться. Наконец, в Берлине, незадолго до того как он надумал жениться, была тощая, тусклая женщина с тоскливым лицом, которая приходила к нему ночевать по субботам и рассказывала подробно и длительно все свое прошлое, без конца возвращаясь к одному и тому же, скучно вздыхая в его объятиях и повторяя при этом единственное французское словцо, которое она знала: “C’est la vie”. Ошибки, промашки, разочарования; прислуживавший ему Амур, похоже, был левшой, отличался безвольным подбородком и отсутствием воображения. Между этими довольно вялыми романами и во время них были сотни женщин,

о которых он мечтал, с которыми не удавалось как-то познакомиться; они проскальзывали мимо, оставив на день, а то и на два то самое ощущение невыносимой утраты, которое и позволяет оценить красоту: одиноко застывшее дерево на фоне золотого неба; блики света на изогнутом теле моста; нечто такое, чего не ухватишь.

Он женился, не то чтобы не любя Элизабет, но не испытывая при виде нее той пульсации, тосковать о которой уже даже устал. Это была дочь хорошо известного театрального антрепренера, тонкая, томная, бледноволосая барышня с бесцветными глазами и маленькими, вызывающими жалость прыщиками прямо над крохотным носиком того типа, который английские романистки любят именовать "retrousée" (отметим эту вторую букву "е", добавленную для пущей надежности). Кожа у нее была так нежна, что от малейшего прикосновения оставались на ней розовые отпечатки, долго потом не проходившие.

Он женился на ней потому, что как-то так вышло. Поездка в горы с нею, ее толстяком-братом и с какой-то необычайно атлетической родственницей, которая, слава Богу, сломала себе ногу в Понтрезине, во многом подсобила их союзу. Что-то такое милое, легкое было в Элизабет, так она добродушно смеялась. Они повенчались в Мюнхене, чтобы избежать наплыва берлинских знакомых. Цвели каштаны. Лелеемый портсигар был оставлен в каком-то неведомом саду. Один из лакеев в гостинице умел говорить на семи языках. У Элизабет оказался нежный маленький шрам — след аппендицита.

Она была привязчива, послушна и покойна. Любовь ее была лилейного толка, но изредка вспыхивала ярким пламенем, и тогда Альбинусу удавалось даже поверить, что -никакой другой подруги ему не надобно.

Когда же она забеременела, в глазах ее появилось безучастно-удовлетворенное выражение, и казалось, будто она присматривается к тому новому миру, что скрывался в ней самой. Вместо того чтобы, как прежде, небрежно шагать, она теперь старательно заходила вразвалку, пристрастилась к снегу, который жадно ела пригоршнями, быстро сгребая

его, когда никто не смотрел. Альбинус из кожи вон лез и присматривал за ней, выводил на затяжные, неспешные прогулки, следил, чтоб она ложилась рано и чтоб шкапы, столы и стулья не пихали ее своими острыми краями, когда она проходила мимо; но по ночам ему снилось, как он идет по знойному пустынному пляжу и видит юную девушку, растянувшуюся на песке, и в этом же сне он испытывал внезапный приступ страха, что жена застигнет его. По утрам Элизабет рассматривала в зеркале шифоньера свой конусообразный живот, удовлетворенно и таинственно улыбаясь. Наконец ее увезли в родильный дом, и Альбинус три недели жил один. Он не знал, что делать с собой. Хлестал коньяк, шалея от двух мрачных мыслей, разной степени черноты, — от того, что жена может умереть, и от того, что будь он чуть посмелее, то нашел бы где-нибудь покладистую девчонку и привел бы ее в свою пустую спальню.

Родится ли когда-нибудь это дитя? Альбинус ходил вверх и вниз по ступенькам длинной, частично побеленной, частично выкрашенной белой эмалью лестницы, где на самом верху в горшке росла безумная пальма. Он ненавидел ее, эту безнадежную белизну больницы, и снующих медсестер с белыми крылышками чепцов, которые все пытались выпроводить его. Наконец из ее палаты вышел ассистент и угрюмо сказал; "Все кончено". У Альбинуса перед глазами появился мелкий черный дождь, вроде мерцания очень старой кинематографической ленты (1910, похоронная процессия ползет рывками, неестественно быстро движущиеся ноги). Он ринулся в палату. Оказалось, что Элизабет благополучно разрешилась от бремени и родила дочку.

Девочка была сперва красненькая и сморщенная, как воздушный шарик, когда он выдыхается. Скоро, однако, ее лицо обтянулось, а через год она начала говорить. Теперь, спустя восемь лет, она говорила гораздо меньше, ибо унаследовала приглушенный нрав матери. И веселость у нее была тоже материнская — особая, ненавязчивая веселость, когда человек словно радуется самому себе, тихо дивится

собственному существованию, ощущая его комизм. Да, воистину в этом-то его смысл — в смертельной веселости.

И в продолжение всех этих лет Альбинус оставался жене верен, дивясь двойственности своих чувств. Он чувствовал, что, поскольку может любить человека, он любит жену по-настоящему крепко и нежно, и во всех вещах был с ней откровенен — кроме одной: видения о сокровенной, бессмысленной жажде обладания, прожигавшей огненную дыру во всей его жизни. Она читала все его письма, получаемые или отправляемые, любила расспрашивать о подробностях его дел — в особенности связанных с продажей старых темных картин, на которых среди трещин краски с трудом удавалось различить белый круп лошади или сумрачную улыбку. Были и очаровательные поездки за границу, были и прекрасные, нежные вечера, когда Альбинус сидел с женой на балконе, высоко вознесенный над голубыми улицами с их путаницей проводов и дымовых труб, нарисованных тушью на фоне заката, и думал о том, как незаслуженно счастлив.

Как-то вечером (за неделю до разговора об Акселе Рексе), направляясь пешком в кафе, где должен был встретиться с деловым знакомым, Альбинус заметил, что часы у него непостижимым образом спешат (кстати, не впервые) и что у него остается добрый час, нежданный подарок, которым хорошо бы как-то воспользоваться. Возвращаться домой на другой конец города было, конечно, бессмысленно, но сидеть и ждать также нимало его не прельщало: наблюдать за другими мужчинами и их любовницами всегда было ему мучительно неприятно. Он бесцельно бродил по улице и натолкнулся на маленький кинематограф: красные лампочки его вывески обливали сладким малиновым отблеском Снег. Он мельком взглянул на афишу (мужчина, задравший кверху голову, разглядывает окно, в котором виднеется ребенок в ночной рубашке) и, поколебавшись, взял билет.

Как только он вошел в бархатный сумрак зальца, к нему быстро скользнул круглый свет электрического фонарика (как и бывает обычно) и столь же быстро и плавно повел его вниз по темному пологому проходу. Но в ту же минуту,

когда фонарик направился на билет в руке, Альбинус заметил склоненное лицо девушки и, пока он шел за ней, смутно различил ее фигуру и даже быстроту ее бесстрастных движений. Садясь на свое место, он еще раз взглянул на нее и увидел опять прозрачный блеск ее случайно освещенного глаза и очерк щеки, нежный, тающий, как на темных фонах у очень больших мастеров. Во всем этом не было ничего из ряда вон выходящего: подобное случалось с Альбинусом прежде, и он знал, что не стоит придавать мелочам излишне большое значение. Она, отступив, смешалась с темнотой, и Альбинуса охватили вдруг скука и грусть. Когда он вошел в зал, фильма уже заканчивалась, какая-то женщина пятилась, переступая через опрокинутую мебель, а мужчина в маске с пистолетом в руке надвигался на нее. Глядеть на экран было совершенно неинтересно — все равно это было непонятное разрешение каких-то событий, начала которых он еще не видел.

В перерыве между сеансами, когда в зальце рассвело, он опять ее увидел: она стояла у выхода, еще касаясь уродливой пурпурной портьеры, которую только что отдернула, и мимо нее, теснясь, проходили люди. Одну руку она держала в кармане короткого узорного передника, а черное платье до ужаса шло к ее лицу. Оно было тусклое, мрачное и мучительно стягивало руки и грудь. Он взглянул на ее прелестное лицо и подумал, что с виду ей лет восемнадцать.

Затем, когда зальце почти опустело и начался прилив свежих людей, она несколько раз проходила совсем рядом; но он отворачивался, так как было слишком тягостно длить взгляд, направленный на нее, и он невольно вспомнил, сколько раз красота — или то, что он считал красотой, — проходила мимо него и пропадала бесследно.

Еще с полчаса он просидел в темноте, выпученными глазами уставившись на экран, потом встал и пошел к выходу. Она приподняла для него портьеру, которая, слегка постукивая деревянными колечками, отъехала в сторону.

“Ох, взгляну все же разок”, — подумал Альбинус с отчаянием.

Ему показалось, что губы у нее легонько дрогнули. Она отпустила портьеру.

Альбинус вышел и вступил в кроваво-красную лужу — снег таял, ночь была сырая, и фривольные краски уличных фонарей растекались и растворялись. “Аргус” — милое название для кинематографа.

Больше трех дней он не смог терпеть воспоминание о ней. Испытывая какой-то смутно рокочущий восторг, он отправился вновь в кинематограф — и опять попал к концу сеанса. Все было как в первый раз: скользящий луч фонарика, продолговатые луиниевские глаза, быстрые шаги в темноте, очаровательное движение руки в черном рукаве, откидывающей рывком портьеру. “Всякий нормальный мужчина знал бы, как поступить”, — подумал Альбинус. На экране автомобиль несся по гладкой дороге, извивающейся между скалами на краю пропасти.

Уходя, он попытался поймать ее взгляд, но не вышло. Шел назойливый моросящий дождь, блестел красный асфальт.

Если б он не пошел туда второй раз, то, быть может, сумел бы забыть о призраке приключения, но теперь уже было поздно. В третье свое посещение он твердо решил улыбнуться ей — и, случись добиться успеха, как ужасающе плотоядно он бы взглянул на нее. Однако так забилось сердце, что он промахнулся.

На другой день был к обеду Поль, они говорили как раз о деле Рекса, Ирма с жадностью пожирала шоколадный крем, жена, как обычно, ставила вопросы невпопад.

— Что ты, с луны, что ли, свалилась? — сказал он и запоздалой улыбкой попытался смягчить высказанное раздражение.

После обеда он сидел с женой рядом на широком диване, мелкими поцелуями мешал ей рассматривать халаты и нижнее белье в дамском журнале и глухо про себя думал. “Какая чепуха... Ведь я счастлив. Чего же мне еще? Что мне эта девчонка, скользящая в темноте?.. Вот бы вцепиться ей в шейку. Что же, будем считать, что она уже мертва, ведь больше я туда не пойду”.

3

Ее звали Марго Петерс. Ее отец, промышлявший швейцарским делом, контуженный на войне, постоянно дергал седой головой, как будто стремился подтвердить, что ему есть на что пожаловаться, и впадал по пустякам в ярость Мать, еще довольно молодая, но рыхлая женщина холодного и грубого нрава, с красноватой ладонью, всегда полной потенциальных оплеух, обычно ходила в тугом платочке, чтобы при работе не пылились волосы, но после большой субботней уборки (производимой главным образом пылесосом, который остроумно совокуплялся с лифтом) наряжалась и отправлялась в гости. Жильцы недолюбливали ее за надменность, за злобную манеру требовать у входящих вытирать ноги о мат. Лестница была ее кумиром — не столько символом победоносного восхождения, сколько объектом, который постоянно нуждается в заботе и уходе, и потому по ночам (объевшись картошки с кислой капустой) она часто видела мучительный сон, в котором на белых ступеньках появлялся черный подошвенный отпечаток — правый, левый, снова правый и так далее, до самой верхней площадки. Бедняга, отнюдь не объект для насмешек.

Отто, брат Марго, был старше сестры на три года, работал на велосипедной фабрике, презрительно относился к беззубому республиканству отца и, сидя в ближайшем кабаке, рассуждал о политике, опускал с громогласным стуком кулак на стол, восклицая: "Человек первым делом должен жрать, да!" — Такова была главная его аксиома — сама по себе довольно правильная.

Марго в детстве ходила в школу, и там ей было легче, чем дома: меньше били. Котенок, чтобы спастись, обычно в прыжке срывается с места; для нее же оборонительный подъем левого локтя, прикрывавшего лицо, был самым обычным жестом. Это, впрочем, не мешало ей расти бойкой и веселой девчонкой. Когда ей было лет восемь, она любила участвовать в крикливой и бурной футбольной игре, которую затевали мальчишки посреди мостовой,

гоняя резиновый мяч размером с апельсин. Десяти лет она научилась ездить на велосипеде брата и, голорукая, со взлетающими черными косичками, мчалась взад и вперед по улице, а потом останавливалась, уперевшись одной ногой в край панели и о чем-то раздумывая. В двенадцать лет она немного угомонилась, и любимым ее занятием сделалось стоять у двери, шептаться с дочкой угольщика о женщинах, шлявшихся к одному из жильцов, или обсуждать проходящие мимо шляпы. Как-то она нашла на лестнице потрепанную сумочку, а в сумочке миндальное мыльце с приставшим вьющимся волоском и полдюжины непристойных открыток. Другой раз ее поцеловал в затылок мальчишка с рыже-красными волосами, который всегда норовил сбить ее с ног во время игры. А однажды, среди ночи, с ней случилась истерика, и ее облили холодной водой, а потом драли.

Через год она уже была чрезвычайно мила собой, носила короткое ярко-красное платьице и была без ума от кинематографа. Впоследствии она вспоминала это время жизни с томительным и странным чувством — эти светлые, теплые, мирные вечера, треск запираемых на ночь лавок, отец сидит верхом на стуле и курит трубку, поминутно дергая головой, мать стоит, уперев руки в бока, сиреневый куст, навалившийся на ограду, госпожа фон Брок возвращается домой с покупками в зеленой сетке, горничная Марта собирается перейти улицу с левреткой и двумя жесткошерстными фоксами... Вечереет. Вот брат с двумя-тремя товарищами-здоровяками обступают ее, немного теснят, хватают за голые руки. У одного из них глаза как у фильмового актера Файта. Улица, на которой верхние этажи домов еще купаются в желтом солнечном свете, затихает совсем. Только напротив двое лысых играют на балконе в карты — и слышен каждый звук.

Ей было едва шестнадцать лет, когда, подружившись с приказчицей из писчебумажной лавки на углу, Марго узнала, что у этой приказчицы есть сестра натурщица — совсем молоденькая девочка, а уже недурно зарабатывающая. У Марго появилась мечта стать натурщицей, а потом —

и фильмовой звездой. Путь этот показался ей очень коротким: вот оно, небо, готовое принять звезду. В то же приблизительно время она научилась танцевать и несколько раз посещала с подругой "Парадиз", танцевальный зал, где под цимбалы и улюлюканье джаза пожилые мужчины делали ей весьма откровенные предложения.

Однажды она стояла на углу своей улицы; к панели, резко затормозив, пристал несколько раз уже виденный парень на красном мотоцикле и предложил ее покатать. Его бледные волосы были зачесаны назад, а рубашка надулась пузырем на спине от прихваченного попутного ветра. Марго улыбнулась, села сзади верхом, поправила юбку и в следующее мгновение уже стремительно, на головокружительной скорости неслась вперед, а его галстук полоскал по ее лицу. Он повез ее за город и там остановился. Был солнечный вечер, толкалась мошкара. Кругом было очень тихо: спокойные сосны да вереск. Мотоциклист слез и сел рядом с ней на краю дороги. Он рассказал ей, что ездил в прошлом году, вот так как есть, в Испанию. Затем он ее обнял, стал тискать и очень мучительно целовать, так что на смену неловкости, владевшей ею в течение всего дня, пришло какое-то странное головокружение. "Целуй меня, если хочешь, — сказала она сквозь слезы, — только, пожалуйста, не тормоши". Парень пожал плечами, пустил мотор, разбежался, вспрыгнул на мотоцикл и был таков; а Марго осталась сидеть на придорожном камне. Домой она вернулась пешком. Отто, видевший, как она уезжала, треснул ее кулаком по шее да еще пнул сапогом так, что она упала и больно стукнулась о швейную машинку.

Зимой сестра приказчицы познакомила ее с фрау Левандовской, пожилой, важной на вид дамой с аристократическими замашками, слегка подпорченными ее склонностью к смачным выражениям и большим малиновым пятном во всю щеку. Последнее она объясняла тем, что мать ее, вынашивая свое дитя, страшно перепугалась пожара. У этой Левандовской Марго и поселилась в комнате для прислуги. Родители были довольны, что от нее освободились, тем более что находили, что всякий труд, приносящий доход,

честен; к счастью, и брат, который, бывало, поговаривал не без угроз о капиталистах, покупающих дочерей бедняков, временно уехал работать в Бреслау.

Она позировала сперва в классной комнате какой-то женской школы, а потом в настоящем ателье, где рисовали ее не только женщины, но и мужчины, в основном совсем молодые. Темноголовая, элегантно стриженная, совершенно голая, она сидела на коврике, подогнув под себя ноги, опираясь на выпрямленную руку с бирюзовыми венками, чуть склонив худенький стан (так что виднелся прелестный пушок в ложбинке между плечами, одно из которых касалось ее рдеющей щечки), в позе задумчивого изнеможения и смотрела исподлобья, как рисовальщики поднимают и опускают глаза, и слушала легкий шорох карандашной штриховки, пытающейся запечатлеть тот или иной изгиб ее тела. От скуки она выискивала самого привлекательного из художников и смотрела на него томным влажным взором всякий раз, когда он, с полуоткрытым от прилежания ртом, поднимал лицо. Ей никогда не удавалось смутить его, и это ее немножко сердило. Когда она прежде думала о том, как вот будет сидеть, ярко освещенная, голая, под сходящимися взорами многих глаз, ей сдавалось, что будет довольно приятно. Оказалось, что это утомительно и только. Тогда она стала для развлечения накладывать грим на лицо, мазала свои сухие горячие губы, подводила свои и так подведенные тенью глаза и раз даже чуть-чуть оживила кармином соски. Ей за это сильно влетело от Левандовской.

Так проходил день за днем, и Марго лишь смутно понимала, чего именно добивается, хотя перед ее глазами всегда маячил далеко-далеко образ фильмовой дивы в шикарных мехах, которой шикарный отельный швейцар, держащий громадный зонтик, помогает выбраться из шикарного автомобиля. Она была погружена в грезы об этом блестящем бриллиантовом мире, когда вдруг фрау Левандовская впервые упомянула о влюбленном молодом провинциале.

— Нельзя тебе жить без друга, — спокойно сказала Левандовская, попивая кофе. — Ты — бойкое дитя, ты — попрыгунья, ты без друга пропадешь. Он скромный чело-

век, и ему нужна тоже скромная подруга в этом городе соблазнов и скверны.

Марго держала на коленях собаку Левандовской — толстую желтую таксу. Она потянула вверх шелковистые уши собаки, так что кончики их сошлись над нежной собачьей головой (их внутренняя сторона сильно смахивала на темно-розовую, многократно использованную промокашку), и, не поднимая глаз, ответила:

— Ах, это успеется. Мне только шестнадцать. И зачем? Все это будет так — зря, я знаю этих господ.

— Ты дура, — сказала Левандовская спокойно, — я тебе рассказываю не о шалопае, а о щедром человеке, который видел тебя на улице и с тех пор только тобой и бредит.

— Какой-нибудь старичок, — сказала Марго, целуя бородавку на собачьей щеке.

— Дура, — повторила фрау Левандовская. — Ему тридцать лет, он бритый, шикарный — шелковый галстук, золотой мундштук.

— Гулять, гулять, — сказала Марго собаке, и та сползла на пол и потом, в коридоре, затрусила, держа тело бочком.

Между тем господин, на которого ссылалась фрау Левандовская, отнюдь не был скромным молодым провинциалом. С Левандовской он познакомился через двух темпераментных коммивояжеров, с которыми играл в покер в поезде по дороге из Бремена в Берлин. О цене сначала не упоминалось: сводня просто показала фотографию улыбающейся девочки с солнечными бликами в глазах и собакой на руках, и Миллер (фамилия, под которой он представился) одобрительно кивнул. В назначенный день Левандовская накупила пирожных и наварила много кофе. Она в категоричной форме посоветовала Марго надеть старое красное платьице. Около шести раздался жданный звонок.

“Чем я рискую, — подумала Марго. — Если он мне будет противен, то я ей так и скажу, а если нет, то я еще успею решить”.

К сожалению, нельзя было так просто установить, дурен ли или хорош Миллер. Странное, своеобразное лицо. Матово-черные волосы, небрежно зачесанные назад, казались

слишком длинными и неестественно сухими, и, хотя на нем, конечно же, не было парика, прическа необычайно его напоминала. Его щеки воспринимались как впалые из-за резко выпирающих скул, обтянутых матово-белой кожей, как будто на нее лег тонкий слой рисовой пудры. Внимательные блестящие рысьи глаза и треугольные ноздри ни на минуту не оставались спокойными, между тем как массивная нижняя часть лица с двумя застывшими складками по бокам рта была неподвижна. В его одежде было что-то чужестранное — ив замечательной голубой рубашке, и в ярко-голубом галстуке, и в сине-вороном костюме с широченными панталонами. Это был высокий и стройный мужчина, и он великолепно двигался, поводя крепкими квадратными плечами, среди плюшевой мебели фрау Левандовской. Марго ждала совсем не такого, и, сидя со скрещенными руками, она чувствовала себя потерянной и несчастной, а Миллер тем временем потрошил ее взглядом. Вдруг он спросил ее резким, звенящим голосом, как ее зовут. Она сказала.

— А я малыш Аксель, — произнес он с коротким смешком и, так же внезапно освободив ее от напора своего взгляда, продолжил свой разговор с фрау Левандовской. Они степенно рассуждали о берлинских достопримечательностях, причем в его обращении к хозяйке дома чувствовалась замаскированная вежливостью издевка.

Погодя он внезапно замолк, закурил и, отдирая прилипший к полной, очень красной губе кусочек папиросной бумаги (куда задевался золотой мундштук?), сказал:

— Идея, сударыня. Вот билет в партер на Вагнера, уверен, опера вам понравится. Так что надевайте шляпку и поезжайте. Возьмите на мой счет такси.

Левандовская поблагодарила, степенно возразив, что предпочитает остаться дома.

— Можно вам сказать два слова? — проговорил Миллер, явно недовольный, и встал со стула.

— Выпейте еще чашку, — спокойно предложила хозяйка.

Миллер облизнулся и снова присел. Вдруг он просиял улыбкой и в какой-то новой, добродушной манере принялся рассказывать смешную историю о каком-то своем при-

ятеле, оперном певце, который в “Лоэнгрине”, будучи под мухой, не успел сесть на лебедя и решил ждать следующего. Марго кусала губы и вдруг наклонила голову и затряслась от истерического девичьего смеха. Фрау Левандовская тоже похохатывала, и ее массивный бюст уютно трясся.

“Что же, — подумал Миллер, — раз старая стерва желает, чтобы я разыгрывал роль влюбленного дурака, я ее ублажу, да так, что она сама рада не будет. Сделаю это гораздо старательнее и успешнее, чем она ожидает”.

И назавтра он пришел снова, а потом зачастил в дом. Фрау Левандовская, получившая только небольшой задаток и рассчитывавшая на остальное, не отходила от парочки ни на шаг. Иногда, когда Марго поздно вечером выводила собаку, Миллер внезапно вырастал из сумерек и шел рядом с нею, и ее это так волновало, что она невольно ускоряла шаг, и забытая такса отставала, ковыляя бочком. Фрау Левандовская вскоре почуяла эти тайные встречи и стала выводить собаку сама.

Так прошло больше недели со дня знакомства. Однажды Миллер решил перейти к действиям. Платить огромную сумму нелепо, раз дело вот-вот выйдет само собою без помощи сводни. Придя вечером, он рассказал хозяйке и Марго еще три смешнейших истории — ничего более смешного те и не слыхивали, — выпил три чашки кофе, затем, подойдя к фрау Левандовской, обхватил ее, быстрой, мелкой рысцой понес в ванную и, ловко переставив ключ, запер дверь снаружи. Бедняга была так поражена, что в течение по меньшей мере пяти секунд не могла вымолвить ни звука, зато потом — о Боже, чего только она не кричала!..

— Забирай вещи и айда, — обратился он к Марго, которая стояла среди гостиной, держась за голову.

Он отвез ее в маленькую квартирку, снятую им накануне, и, едва переступив порог, Марго с охотой, с жаром предалась судьбе, осаждавшей ее так давно.

Миллер нравился ей чрезвычайно. Что-то в хваткости его рук, сжимавших ее, в прикосновении толстых губ доставляло совершенно особенное удовлетворение. Он мало с ней разговаривал, но часто сидел, держа ее у себя на коле-

нях, посмеиваясь и о чем-то думая. Ей никак не удавалось отгадать, какие у него дела в Берлине, кто он и в какой гостинице останавливается; как-то она попыталась исследовать содержимое его карманов, но он так треснул ее по костяшкам пальцев, что ничего не оставалось, как отложить это занятие до другого раза, но после данного эпизода он постоянно был начеку. Каждый раз, когда он уходил, Марго боялась, что он не вернется. Если не считать этой боязни, она была баснословно счастлива и мечтала, что их совместное житье-бытье будет длиться всегда. Время от времени он кое-что ей дарил — шелковые чулки, пуховку, — но избегал дорогих подарков, зато водил ее в хорошие рестораны и в кинематографы, а после сеанса шел с ней в кафе, и, когда однажды у нее рот открылся от изумления, потому что знаменитый фильмовый актер оказался за одним из соседних столиков, Рекс взглянул на того, и они поздоровались — после этого ее ротик открылся еще шире.

Он, в свою очередь, так пристрастился к Марго, что часто, уже собираясь уходить, вдруг бросал шляпу в угол (кстати, исследовав подкладку, она обнаружила, что он бывал в Нью-Йорке) и оставался. Все это продолжалось ровно месяц. А потом как-то утром он встал раньше обыкновенного и сказал, что должен уехать. Она спросила, надолго ли. Он уставился на нее, потом заходил по комнате в своей малиново-лазурной пижаме, потирая руки, словно намыливая их.

— Навсегда, наверное, — сказал он вдруг и, не глядя на нее, стал одеваться. Она подумала, что он, может быть, шутит, откинула одеяло, так как было очень жарко в комнате, и повернулась к стенке.

— Жаль, что у меня нет твоей фотографии, — проговорил он, со стуком надевая башмаки.

Потом она услышала, как он возится со своим чемоданчиком, в котором принес в квартирку всякие мелочи, защелкивая его. Еще через несколько минут:

— Не двигайся, — сказал он, — и не оборачивайся.

Марго не шелохнулась. Что он делал? Она чуть двинула голым плечом.

— Не двигайся, — повторил он.

Тишина продолжалась несколько минут. В этой тишине бродил какой-то маленький шуршащий звук, который казался ей знакомым.

— Можешь повернуться, — проговорил он. Но Марго лежала неподвижно. Он подошел, поцеловал ее в ухо и быстро вышел. Ещё долго ей казалось, что она слышит этот поцелуй. Она пролежала в постели весь день. Он не вернулся.

На другое утро она получила телеграмму из Бремена: "Комната оплачена до июля прощай милое демоническое существо".

— Господи, как я буду жить без него? — проговорила Марго вслух. Она подбежала к окну, мигом распахнула его, решив одним прыжком с собою покончить. Но тут как раз к дому напротив, громко хрюкая, подъехал красно-золотой пожарный автомобиль. Собралась толпа, клубы дыма валили из верхних окон, и ветер разносил какие-то черные бумажки. Она так заинтересовалась пожаром, что позабыла о своем намерении.

У нее оставалось очень мало денег; с горя, как покинутые девицы в фильмах, она пошла шататься по танцевальным залам. Вскоре к ней подкатились два вальяжных японца, и, будучи навеселе от явно лишних коктейлей, она согласилась провести с ними ночь; утром она попросила двести марок, но вальяжные японцы дали ей три с полтиной мелочью и вытолкали вон, — после чего она решила быть осмотрительнее.

Однажды к ней подсел в баре толстый старый человек с носом как гнилая груша, положил свою морщинистую лапу на ее шелковистую коленку и сказал мечтательно:

— Приятно опять встретиться с тобой, Дора. Помнишь, как мы резвились прошлым летом?

Она, смеясь, ответила, что он ошибается. Старик, вздохнув, спросил, что она желает пить. Потом он поехал ее провожать и в темноте таксомотора сделался так гадок, что она выскочила. Старик вышел тоже и, чуть не плача, умолял о свидании. Она дала ему номер своего телефона. Когда он ей оплатил комнату до ноября да еще дал денег на

котиковое пальто, она позволила ему остаться у нее на ночь. Терпеть его в своей постели оказалось очень удобно, потому что, сделав свое мокрое дельце, он тут же засыпал. Потом неожиданно он пропустил назначенное свидание, через несколько дней она позвонила ему в контору и узнала, что он скончался.

Продав шубу, она дотянула до весны. Накануне этой продажи ей страстно захотелось показаться родителям во всем блеске, и она проехала мимо их дома в таксомоторе. День был субботний, мать полировала ручку входной двери. Увидев дочь, она так и замерла.

— Боже мой! — воскликнула она с чувством.

Марго молча улыбнулась, села снова в таксомотор и уже в заднее окно увидела брата, который выбежал из дому. Он кричал ей что-то вслед и потрясал кулаком.

Она переехала в комнату подешевле; полураздетая, сбросив туфли со своих маленьких ножек, она неподвижно сидела на краю кушетки в нарастающей темноте и выкуривала папиросу за папиросой. Хозяйка заглядывала к ней, сердобольно ее расспрашивала и как-то рассказала Марго, что у ее родственника маленький кинематограф, приносящий неплохой доход. Зима выдалась холоднее, чем обычно; Марго ломала себе голову, что бы заложить — вечернюю зарю, разве что.

"Что же будет дальше?" — думала она.

Как-то в промозглый унылый день, почувствовав прилив отваги, она ярко накрасилась и, выбрав звучную по названию кинематографическую контору, добилась того, что директор ее принял. Он оказался пожилым господином с черной повязкой на правом глазу и с пронзительным блеском в левом. Марго начала с того, что, дескать, уже много играла — и имела успех.

— В какой же фильме? — спросил директор, ласково глядя на ее возбужденное лицо

Она нахально назвала какую-то фирму, какую-то фильму. Тогда он зажмурил левый глаз (и будь у него виден другой, то, должно быть, подмигнул бы ей) и сказал:

— А знаете, ведь вам повезло, что вы попали именно ко мне. Другой на моем месте соблазнился бы вашей... как бы

это сказать... молодостью, наобещал бы вам горы добра, и идти бы вам тогда, милочка, как говорится, путем всякой плоти и не быть вам никогда серебряным духом романтической истории — по крайней мере, романтической истории того типа, на котором мы специализируемся. Я, как вы сами видите, человек немолодой, много видевший — в том числе и такого, чего бы видеть и не следовало. У меня дочка, вероятно, старше вас, — и вот позвольте вам сказать, милое дитя: вы никогда актрисой не были и, вероятно, не будете. Пойдите домой, подумайте хорошенько, посоветуйтесь с вашими родителями, если находите с ними общий язык, в чем я, по правде говоря, сомневаюсь...

Марго хлестнула перчаткой по краю стола, встала и с искаженным от злости лицом вышла вон.

В том же доме была еще одна фирма, но там ее просто не приняли. Она вернулась домой в бешенстве. Хозяйка сварила ей два яйца, гладила ее по плечу, пока Марго жадно и сердито ела, потом принесла бутылку коньяка, две рюмки и, налив их до краев трясущейся рукой, тщательно закупорила бутылку и унесла ее.

— Ваше здоровье, — сказала она, опять садясь за рахитичный стол. — Все будет благополучно. Я как раз завтра увижу родственника и с ним переговорю.

Разговор вышел удачный, и первое время Марго забавляла новая должность, хотя, правда, было немного обидно начинать кинематографическую карьеру в таком амплуа. Через три дня ей уже казалось, что она всю жизнь только и делала, что указывала людям места. В пятницу, впрочем, была перемена программы, и это ее оживило. Стоя в темноте, прислонясь к стенке, она смотрела на Грету Гарбо. Но вскоре ей стало опять нестерпимо скучно. Прошла еще неделя. Какой-то посетитель, замешкав в дверях, странно посмотрел на нее — застенчивым и жалким взглядом. Через два-три вечера он появился опять. Он был отлично одет, косил на нее жадным голубым глазом.)

“Человек очень приличный, но размазня”, — подумала Марго.

Когда же он появился в четвертый или пятый раз — явно не ради фильмы, которую уже раз видел, — она почувствовала слабый укол приятного возбуждения.

Но каким робким был, однако, этот малый! Выйдя както из кинематографа, чтобы отправиться домой, Марго увидела его неподвижно стоящим на той стороне улицы. Она засеменила, не оглядываясь, но изо всех сил кося глазками (они буквально загибались назад, словно кроличьи уши), рассчитывая, что он последует за ней. Этого, однако, не случилось: он просто исчез. Когда через два дня он опять пришел в “Аргус”, был у него какой-то больной, затравленный, очень интересный вид. Отработав свое, Марго вышла, остановилась, раскрыла зонтик. Разумеется, он стоял по-прежнему на противоположной панели, и Марго хладнокровно перешла к нему, на ту сторону, но он тут же двинулся, уходя от нее, как только заметил ее приближение.

Он сам не понимал, что происходит; кружилась голова. Он чувствовал, как она идет сзади, и боялся ускорить шаг, чтобы не потерять ее, и боялся шаг замедлить, чтобы она не обогнала его. Но, дойдя до перекрестка, Альбинус принужден был остановиться: проезжали гуськом автомобили. Тут она его перегнала, чуть не попала под автомобиль и, отскочив, натолкнулась на него. Он вцепился в ее худенькую ручку, и они перешли вместе.

“Началось”, — подумал Альбинус, неловко пытаясь подстроиться под ее шаг — никогда еще не доводилось ему идти бок о бок со столь миниатюрной женщиной.

— Вы совершенно мокрый, — сказала она с улыбкой.

Он взял из ее руки зонтик, и она еще теснее прижалась к нему. Одно мгновение он побоялся, что лопнет сердце, — но вдруг восхитительно полегчало, он как бы разом уловил мотив овладевшего им восторга, влажного восторга, все барабанившего и барабанившего по туго натянутому шелку зонтика над головой. Теперь слова свободно, сами собой срывались с языка, и он упивался даваемым ими новообретенным облегчением.

Дождь перестал, но они все шли под зонтиком. У ее подъезда остановились: зонтик — мокрый, блестящий, красивый — был закрыт и отдан ей.

— Не уходите еще, — взмолился он (и, держа руку в кармане, попробовал большим пальцем снять с безымянного обручальное кольцо). — Не уходите, — повторил он (и снял).

— Уже поздно, — сказала она, — моя тетя будет сердиться.

Он взял ее за кисти и с неистовством робости попытался поцеловать, но она увернулась, и его губы ткнулись в ее бархатную шапочку.

— Оставьте, — пробормотала она, наклоняя голову. — Сами знаете, это нехорошо.

— Но вы еще не уйдете, у меня никого нет в мире, кроме вас, — воскликнул он.

— Нельзя, нельзя, — ответила она, вертя ключом в замке и напирая на огромную дверь своим миниатюрным плечиком.

— Завтра я буду опять ждать, — сказал Альбинус.

Она улыбнулась ему сквозь стекло и, нырнув в сумрачный проход, скрылась во дворе.

Он глубоко вздохнул, вытащил из кармана носовой платок, высморкался, аккуратно застегнул и опять расстегнул пуговицы на пальто и, почувствовав вдруг легкость и наготу руки, поспешно надел кольцо — еще совсем теплое.

4

Дома ничего не изменилось, и это было странно. Элизабет, Ирма, Поль принадлежали точно другой эпохе, светлой и мирной, как пейзажи ранних итальянцев. Поль, весь день работавший в своей конторе, любил спокойно провести вечер у сестры. Он с нежным уважением относился к Альбинусу, его учености и вкусу, прелестным вещам, окружавшим его, — к шпинатному гобелену в столовой: охота в лесу.

Альбинус, отпирая дверь своей квартиры, с замиранием, со сквозняком в животе, думал о том, что сейчас встретится с женой: не почует ли она по выражению его лица измену? (Ибо эта прогулка под дождем уже являлась изменой — все прежнее было только вымыслом и снами.) Быть может, из-за кошмарного невезения, его заметили и о его действиях ей сообщили. Вдруг от него пахнет ее дешевыми духами? И, отпирая дверь в прихожую, он торопливо мысленно сочинял историю, которая может в случае чего пойти в ход: о молодой художнице, о бедности и таланте ее, о том, как он попытался ей помочь. Но ничто не изменилось — ни белизна двери в глубине коридора, за которой спала дочка, ни просторное пальто шурина, висевшее на вешалке (совершенно необыкновенной вешалке, обернутой в красный шелк) и такое же спокойное и добропорядочное, как всегда.

Он пошел в гостиную. Здесь собрались все: Элизабет в своем привычном твидовом платье в клетку, Поль с сигарой да еще старая знакомая, вдова барона, обедневшая во время инфляции и теперь подрабатывавшая понемногу на торговле коврами и картинами... Неважно, что они говорили: ритм повседневности действовал так успокаивающе, что он почувствовал спазму радости: ничего здесь о нем не знают.

И потом, лежа рядом с женой в мирно освещенной, неброско обставленной спальне, видя в зеркале, как обычно, часть радиатора центрального отопления (выкрашенного в белый цвет), Альбинус дивился своей двойственности: нежность к Элизабет по-прежнему была прочна и ненарушима, но в то же время ум жгла мысль, что, быть может, уже завтра, да, конечно же, завтра...

Но все это оказалось не так просто. Во второе свидание Марго искусно избегала поцелуев, и помыслить было невозможно о том, чтобы отвести ее в какой-нибудь отель. Рассказывала она о себе немного — только то, что сирота, дочь художника (курьезное, однако, совпадение), живет у тетки, очень нуждается, хотела бы переменить свою утомительную службу.

Альбинус назвался на скорую руку придуманным именем Шиффермиллера, и Марго с раздражением подумала: “Везет же мне на мельников”, — а затем: “Ой, врешь”.

Март был дождливый, ночные прогулки под зонтиком мучили Альбинуса, и он вскоре предложил ей зайти в кафе. Кафе он выбрал маленькое, мизерное, зато безопасное, так как знакомых в таком не встретишь.

У него была манера, когда он усаживался за столиком, сразу выкладывать портсигар и зажигалку. На портсигаре Марго заметила его инициалы. Она ничего не сказала, но, немного подумав, попросила его принести телефонную книгу. Пока он своей несколько мешковатой, разгильдяйской походкой шел к телефону, она, схватив со стула его шляпу, быстро посмотрела на ее шелковое дно и прочла его имя и фамилию (необходимая мера против рассеянности художников при шапочном разборе).

А тем временем Альбинус, нежно улыбаясь, принес телефонный справочник, держа его почтительно, словно Библию, и, пользуясь тем, что он смотрит на ее длинные опущенные ресницы, Марго живо нашла его адрес и телефон и, ничего не сказав, спокойно захлопнула размякший голубой том.

— Сними пальто, — тихо сказал Альбинус, впервые обратившись к ней на “ты”.

Она, не вставая, принялась вылезать из рукавов, наклоняя свою прелестную шейку и поводя то правым, то левым плечом, и на Альбинуса веяло фиалковым жаром, пока он помогал ей освободиться от пальто и глядел, как ходят ее лопатки, как собираются и вновь расходятся складки смугловатой кожи на позвонках. Она сняла и шляпку, посмотрелась в зеркало и, послюнявив палец, пригладила на висках черные акрошкеры.

Альбинус сел рядом с ней, не спуская глаз с этого лица, в котором все было прелестно: и жаркий цвет щек, и блестящие от шерри губы, и детское выражение удлиненных карих глаз, и чуть заметное пушистое пятнышко на нежном изгибе левой скулы.

“Если бы мне сказали, что за это меня завтра повесят, — подумал он, — я все равно бы на нее смотрел”.

Даже легкая вульгарность, берлинский перелив ее речи перенимали особое очарование у звучности ее голоса, у блеска белозубого рта. Смеясь, она сладко жмурилась, и ямочка пускалась в пляс на ее щеке. Он хотел взять ее руку, но она ее тут же отдернула.

— Ты сведешь меня с ума, — пробормотал Альбинус.

Марго хлопнула его по кисти и сказала, тоже на "ты":

— Веди себя хорошо, будь послушным.

Первой мыслью Альбинуса на другое утро было: "Так дальше невозможно, просто невозможно. Следует взять для нее комнату — к черту тетку. Мы будем одни, мы будем одни. Обучать арсу аморису. Она еще так молода... так чиста, так сводит меня с ума..."

— Ты спишь? — тихо спросила Элизабет.

Он притворно зевнул и открыл глаза. Элизабет, в голубой ночной сорочке, сидела на краю постели и читала письма.

— Что-нибудь интересное? — спросил Альбинус, чуть удивленно глядя на ее пресно-белое предплечье.

— Он просит у тебя опять денег. Говорит, что жена и теща больны, что против него интригуют. Говорит, что даже на краски денег не хватает. Мне кажется, ему нужно помочь.

— Да-да, непременно, — отвечал Альбинус, необычайно живо представив себе покойного отца Марго — тоже, вероятно, старого, малодаровитого, разжеванного жизнью художника.

— А это — приглашение в "Палитру", придется пойти. А это — из Америки.

— Прочти вслух, — попросил он.

— "Дорогой сэр. Боюсь, у меня не так много накопилось пока новостей, о которых необходимо вам сообщить, но кое-что мне все же хотелось добавить к написанному вам ранее пространному письму, на которое вы, к слову сказать, пока не ответили. Поскольку я предполагаю приехать осенью..."

Тут затрещал телефон на ночном столике. Элизабет цокнула языком и взяла трубку. Альбинус, растерянно

глядя на ее нежные пальцы, сжимающие белую трубку, вчуже слышал микроскопический голос, говоривший с другого конца.

— А, здравствуйте, — воскликнула Элизабет и сделала мужу ту определенную гримасу, по которой он всегда знал, что звонит баронесса, большая телефонница.

Он потянулся за письмом из Америки и посмотрел на дату. Странно, что он до сих пор не удосужился ответить на предыдущее. Вошла Ирма, всегда приходившая по утрам здороваться с родителями. Она молча поцеловала отца, затем — мать, которая слушала телефонное повествование с закрытыми глазами и то невпопад бормотала нечто, что могло быть истолковано как признак согласия, то изображала притворное изумление.

— Чтобы никаких сюрпризов няне сегодня не было, — тихо сказал Альбинус дочке. Ирма улыбнулась и, разжав кулачок, показала, что он полон стеклянных шариков.

Она была некрасивая; веснушки густо обсыпали ее бледный, набыченный лобик, ресницы также были белесыми, а излишне длинный нос был словно приставлен к маленькому личику.

— Спасибо, непременно, — облегченно проговорила Элизабет и повесила трубку.

Альбинус готов был вновь вернуться к чтению письма. Элизабет держала дочь за руки и что-то забавное ей говорила, смеясь, целуя ее и слегка подергивая после каждой фразы. Ирма сдержанно улыбалась и скребла ногой по полу. Опять затрещал телефон. На этот раз Альбинус приложил трубку к уху.

— Здравствуй, милый Альберт, — сказал женский голос.

— Кто говорит? — спросил Альбинус и вдруг почувствовал слабое головокружение, словно спускается на очень быстром лифте.

— Нехорошо было меня обманывать, — продолжал голос, — но я тебя прощаю. Я хотела только тебе сказать, что...

— Вы ошиблись номером, — хрипло сказал Альбинус и разъединил, в то же время с ужасом подумав, что как он

давеча слышал голос баронессы, просачивавшийся с того конца, так и Элизабет могла сейчас что-то слышать.

— Что это было? — с любопытством спросила она. — Отчего ты такой красный?

— Какая-то дичь! Ирма, уходи, нечего тебе тут валандаться. Совершенная дичь. Уже десятый раз за два дня попадают ко мне по ошибке. Он пишет, что, вероятно, приедет к концу года. Буду рад с ним познакомиться.

— Кто пишет?

— Ах, господи, никогда ничего сразу не понимаешь. Этот самый американец, Рекс.

— Какой Рекс? — уютно спросила Элизабет.

5

Вечерняя встреча выдалась довольно бурная. Весь день Альбинус пробыл дома, боясь, что Марго позвонит опять. Когда она вышла из "Аргуса", он прямо с того начал:

— Послушай, крошка, я запрещаю тебе звонить ко мне. Это черт знает что такое. Если я не сообщил тебе моей фамилии, значит, были к тому основания.

— Что ж, между нами все кончено, — спокойно сказала Марго и пошла не оглядываясь.

Он стоял, беспомощно глядя ей вслед. Какой промах — надо было смолчать, она в самом деле подумала бы, что ошиблась... Тихонько обогнав ее, Альбинус пошел рядом.

— Прости меня, — сказал он. — Не нужно на меня сердиться, Марго. Я без тебя не могу. Вот я все думал: брось службу. Я богат. У тебя будет своя комната, квартира, все что хочешь.

— Ты лжец, трус и дурак, — проговорила Марго (давая ему довольно точную оценку). — И потом, ты женат — вот почему все прячешь кольцо в кармане пальто. Да, конечно же, женат, иначе ты не был бы со мной так груб по телефону.

— А если я женат, — спросил Альбинус, — ты со мной больше не будешь встречаться?

— Мне какое дело? Надувай ее, ей, должно быть, полезно.

— Марго, не надо, — взмолился Альбинус.

— А ты меня не учи.

— Марго, послушай, это правда — у меня есть семья, но я прошу тебя, эти насмешки лишние... Ах, погоди, Марго! — добавил он, попытавшись поймать ее, промахнувшись, сумев уцепиться лишь за ее потрепанную сумочку.

— Поди ты к дьяволу! — крикнула она и захлопнула ему дверь в лицо.

6

— Погадайте мне, — сказала Марго хозяйке, и та вынула из-за пустых бутылок от пива колоду карт, столь затертых, что у них отвалились почти все уголки и они казались совершенно круглыми. Появился богатый брюнет, потом хлопоты, какая-то пирушка, долгое путешествие...

“Надо посмотреть, как он живет, — думала Марго, облокотясь на стол. — Может, он все-таки шантрапа и не стоит связываться. Или рискнуть?”

На следующее утро в то же самое время она позвонила снова. Элизабет была в ванной. Альбинус заговорил почти шепотом, посматривая на дверь. Несмотря на тошнотворный страх, он испытывал безумное счастье оттого, что Марго его простила.

— Моя любовь, — тихо бормотал он, — моя любовь.

— Слушай, когда твоей женушки сегодня не будет дома? — спросила она со смехом.

— Не знаю, — отвечал он, похолодев, — а что?

— Я хочу к тебе прийти на минутку.

Он промолчал. Где-то стукнула дверь.

— Я боюсь дольше говорить, — пробормотал Альбинус.

— Если я приду к тебе, то поцелую.

— Сегодня не знаю. Нет, не выйдет, — сказал он через силу. — Если я сейчас повешу трубку, не удивляйся, вечером тебя увижу, мы тогда... — Он повесил трубку и некоторое время сидел неподвижно, слушая гром сердца.

“Я действительно трус, — подумал он. — Она в ванной еще провозится с полчаса...”

— У меня маленькая просьба, — сказал он Марго при встрече. — Сядем в такси.

— В открытое, — вставила Марго.

— Нет, это слишком опасно. Обещаю тебе хорошо себя вести, — добавил он, любуясь ее по-детски поднятым к нему лицом, очень белым при свете уличного фонаря.

— Вот что, — заговорил он, когда они очутились в таксомоторе, — во-первых, я на тебя, конечно, не в претензии за то, что ты мне звонишь, но я прошу и даже умоляю тебя больше этого не делать, моя прелесть, мое сокровище. (“Давно бы так”, — подумала Марго.) А во-вторых, объясни мне, как ты узнала мою фамилию?

Она без всякой надобности солгала, что его, дескать, знает в лицо одна ее знакомая, которая их видела вместе на улице.

— Кто такая? — спросил с ужасом Альбинус.

— Ах, простая женщина, родня, кажется, кухарки или горничной, служившей у тебя когда-то.

Альбинус мучительно напряг память.

— Я, впрочем, сказала ей, что она обозналась, — я умная девочка.

В автомобиле переливались пятнистые потемки, и четвертинки, половинки и целые квадраты пепельного света пронзали его насквозь, вносясь в одно окно и вылетая из другого. Марго сидела до одури близко, от нее шло какое-то блаженное, животное тепло. “Я умру, если не буду ею обладать, или свихнусь”, — подумал Альбинус.

— В-третьих, — сказал он вслух, — найди себе квартирку в две-три комнаты с кухней — с условием, что ты позволишь мне к тебе заглядывать.

— Ты, кажется, забыл, Альберт, наш утренний разговор.

— Но это так опасно, — простонал Альбинус. — Вот, например, завтра я буду один приблизительно с четырех до шести. Но мало ли что может случиться... — И он представил себе, как жена ненароком воротится с дороги за чем-то, что забыла прихватить с собой.

— Но я же тебя поцелую, — тихо сказала Марго. — И знаешь, все в жизни всегда можно объяснить.

На следующий день Элизабет с Ирмой ушли в гости, а служанку Фриду он отослал с поручением — отнести пару книг на другой конец города. По счастью, у кухарки был выходной.

Сейчас он был один. Наручные часы остановились несколько минут назад, но большие часы в столовой шли точно, а высунувшись из окна, он мог разглядеть и циферблат на здании церкви. Четверть пятого. Ясный ветреный день в середине апреля. По залитой солнечным светом стене дома напротив диагонально струилась стойкая тень дыма из теневой трубы. Заплешины высохшего после недавнего дождя асфальта торчат среди непросохших луж, образующих гротескные черные скелеты, как будто кем-то нарисованные поперек дороги.

Половина пятого. Она может объявиться в любую минуту.

Всякая мысль о Марго, о ее тонком отроческом сложении и шелковистой коже, о касании ее забавных, неухоженных ручонок всегда вызывала у него приступ болезненно-пронзительного желания. Представление об обещанном поцелуе наполняло его таким блаженством, что, казалось, дальше некуда. Однако за этим еще открывалась длинная череда зеркал, а в них — смутные белые очертания еще недосягаемой фигуры, той самой фигуры, которую еще недавно множество молодых живописцев так добросовестно и так плохо рисовали. Но об этих скучных часах в студии Альбинус ровно ничего не знал, хотя, благодаря причудливому капризу судьбы, он нечаянно уже увидел на днях ее обнаженную фигуру: старый доктор Ламперт показывал ему рисунки углем, сделанные два года назад его сыном, и среди них был портрет девочки с коротко остриженными волосами, сидевшей, подобрав под себя ноги, на мате, опершись на вытянутую руку и прижавшись щекой к плечу.

— Нет, горбун, на мой взгляд, вышел лучше, — сказал Альбинус, вернувшись к другому листу, где был изображен

бородатый урод. — Как жаль, что он бросил занятия живописью, — добавил он, захлопнув папку.

Без десяти пять. Она уже опоздала на двадцать минут.

— Подожду до пяти и спущусь на улицу, — прошептал он.

В это мгновение он завидел ее — она переходила улицу, без пальто, без шляпы, словно жила поблизости.

— "Есть еще время сбежать, не пустить", — подумал он, но вместо этого на цыпочках вышел в прихожую и, когда услышал ее по-детски легкий шаг на лестнице, бесшумно открыл дверь.

Марго, в коротком красном платье, с открытыми руками, улыбаясь взглянула в зеркало, потом повернулась на одной ноге, приглаживая затылок.

— Ты роскошно живешь, — сказала она, сияющими глазами окидывая широкую прихожую с большими дорогими картинами, фарфоровой вазой в углу и кремовым кретоном вместо обоев. — Сюда? — спросила она, толкнув дверь, — и охнула.

Он, замирая, взял ее одной рукой за талию и вместе с ней глядел на хрустальную люстру, словно и сам был чужой здесь, — но видел, впрочем, только расплывающийся туман. Она стояла не двигаясь, слегка покачиваясь, скрестив ноги, стреляя по сторонам глазами.

— Однако, я не знала, что ты так богат, — сказала она, перейдя в следующую комнату. — Боже, какие ковры!

Буфет в столовой так на нее подействовал, что Альбинусу удалось незаметно нащупать ее ребра и — повыше — горячую, нежную мышцу.

— Дальше, — сказала она нетерпеливо.

Зеркало отразило бледного, серьезного господина, идущего рядом со школьницей в выходном платье. Он осторожно погладил ее по голой руке — зеркало затуманилось...

— Дальше, — сказала Марго.

Он жаждал поскорее прийссти ее в кабинет. Вернись жена раньше, чем он рассчитывал, все было бы просто: юная художница, нуждающаяся в помощи.

— А там что? — спросила она.

— Там детская. Ты все уже осмотрела, пойдем в кабинет.

— Пусти, — сказала она, заиграв ключицами.

Он всей грудью вздохнул, словно не дышал все то время, пока держал её, идя с нею рядом.

— Там детская, моя милая. Всего лишь детская — ничего интересного.

Но она и туда вошла. У него было странное желание вдруг крикнуть ей: пожалуйста, ничего не трогай. Но она уже держала в руках пурпурного плюшевого слона. Он взял это из ее рук и бросил в угол. Марго засмеялась.

— Хорошо живется твоей девочке, — сказала она и открыла следующую дверь.

— Марго, полно, — сказал с мольбой Альбинус. — Мы слишком далеко ушли от прихожей, и отсюда не слышно звонка. Все это страшно рискованно.

Но она, как взбалмошный ребенок, увернулась, через коридор вошла в спальню. Там она села у зеркала (сегодня зеркала трудились отчаянно), повертела в руках щетку с серебряной спиной, понюхала горлышко флакона с серебряной крышечкой.

— Пожалуйста, оставь, — сказал Альбинус.

Тогда она проскользнула мимо него, отбежала к двуспальной кровати и села на край, по-детски натягивая спустившийся чулок, поправляя подвязку и показывая кончик языка.

"...А потом застрелюсь", — подумал Альбинус, мгновенно теряя голову.

Он бросился к ней, раскинув руки, но она, увильнув, с ликующим криком выбежала из комнаты. Он кинулся за ней, но опоздал. Марго захлопнула дверь и, громко дыша и смеясь, повернула снаружи ключ (ах, как билась о дверь та бедная толстуха, как колотила и визжала!).

— Марго, отопри немедленно, — тихо сказал Альбинус.

Он услышал ее быстро, с пританцовыванием удаляющиеся шаги.

— Отопри, — повторил он громче.

Тишина.

“Опасное существо, — подумал он. — Какое, однако, фарсовое положение”.

Он испытывал страх. Было жарко. Он не привык носиться по комнатам. Жгло мучительное чувство обманутой жажды. Неужели она ушла? Нет, кто-то ходил по квартире. Он перепробовал все ключи, что нашел в кармане. Затем, уже теряя терпение, бешено затряс дверь.

— Отопри немедленно! Слышишь?

Шаги приблизились. Это была не Марго.

— Эй, что случилось? — раздался неожиданный голос — Поля! — Ты заперт? Выпустить тебя?

Дверь открылась. Поль выглядел взволнованным.

— Что случилось, старина? — повторил он свой вопрос и с изумлением уставился на лежащую на полу расческу.

— Глупейшая история... Я сейчас тебе расскажу... Пойдем в кабинет, выпьем по рюмке.

— Ты чертовски меня напугал, —- сказал Поль. — Я думал, Бог знает что случилось. Хорошо, знаешь, что я зашел. Элизабет мне говорила, что будет дома к шести. Хорошо, что я пришел раньше. Кто тебя запер? Надеюсь, горничная не сошла с ума?

Альбинус стоял к нему спиной, доставая бутылку коньяка из шкапа.

— Ты никого не встретил на лестнице? — спросил он, стараясь говорить внятно.

— Я поднялся на лифте, — сказал Поль.

“Пронесло”, — подумал Альбинус, и настроение у него резко пошло на поправку. (Какой все же опасный идиотизм забыть, что и у Поля был ключ от квартиры!)

— Понимаешь, какая штука, — сказал он, пригубив коньяк, — был вор. Этого не следует, конечно, сообщать Элизабет. Понимаешь, он думал, очевидно, что никого нет дома. Вдруг слышу: что-то творится с входной дверью. Выхожу из кабинета и хочу посмотреть, что только что щелкнуло, и вижу: в спальню прокрадывается какой-то человек. Я за ним. Хотел его схватить, но он оказался ловчее и запер меня. Жаль, что ему удалось улизнуть. Я думал, что ты его встретил.

— Ты шутишь, — сказал Поль с испугом.

— Отнюдь нет. Я был в кабинете, вдруг слышу, входная дверь щелкнула. Тогда я выхожу, чтобы посмотреть...

— Но ведь он, вероятно, успел что-то стащить. Нужно проверить. Нужно заявить в полицию.

— Ах, он не успел, — сказал Альбинус. — Все это произошло мгновенно, я его спугнул.

— А как он выглядел?

— Обыкновенно, просто парень в кепке. Здоровенный. И, похоже, недюжинно сильный.

— Так ведь он мог изувечить тебя! Какое неприятное происшествие. Пойдем, надо все осмотреть.

Они прошли по всем комнатам, проверили замки. Все было чинно и сохранно. Уже к концу их исследования, когда они проходили через библиотечную, у Альбинуса вдруг от ужаса потемнело в глазах: между шкапами, из-за вертучей этажерки, выглядывал уголок ярко-красного платья. Каким-то чудом Поль ничего не заметил, хотя добросовестно рыскал глазами по сторонам. В соседней комнате располагалась коллекция миниатюр, и там он согнулся над наклонным стеклом.

— Оставь, Поль, довольно, — сказал Альбинус хрипло. — Нет смысла продолжать. И так ясно, что он ничего не взял.

— Какой у тебя вид, — воскликнул Поль, когда они вернулись в кабинет. — Бедный! Знаешь, надо все же сменить замок или всегда запирать дверь на задвижку. А как быть с полицией? Может быть, ты хочешь, чтобы я...

— Тсс! — прошипел Альбинус.

Донеслись звуки приближающихся голосов. Явились: Элизабет, Ирма с бонной и подружкой — толстой, с неподвижным кротким лицом, но аховой озорницей. Альбинусу казалось, что тянется страшный сон. Присутствие Марго в доме было чудовищно, невыносимо... Вернулась горничная, принеся обратно книги; не удивительно, что не нашла по данному адресу того, кому они предназначались! Кошмарный сон между тем сгущался. Он предложил всем отправиться в театр, но Элизабет сказала, что утомлена.

За ужином он напрягал слух, чтобы не упустить какой-нибудь подозрительный шорох, и не замечал, что ест (ел, кстати, холодную говядину с соленым огурцом). Поль все посматривал по сторонам, то покашливая, то что-то тихонько напевая — только бы этот беспокойный олух, думал Альбинус, сидел на месте, только бы не разгуливал. Была ужасная возможность: дети начнут резвиться по всем комнатам, но у него не хватало решимости пойти и запереть дверь библиотечной. А ведь могли возникнуть невообразимые осложнения. К счастью, подруга Ирмы скоро ушла, и Ирму уложили спать. Ему казалось, что все они — и Элизабет, и Поль, и прислуга, и он сам — беспрестанно как-то расползаются по всей квартире, вместо того чтобы, как следовало, держаться компактно, и не дают Марго возможности выскользнуть, — если вообще она собирается это сделать.

В десять Поль наконец ушел. Фрида, как всегда, замкнула за ним дверь на цепочку, задвинула стальной засов. Теперь уж Марго не выбраться!

— Ужасающе хочется спать, — сказал Альбинус жене, нервно зевая, и зазевал не переставая. Они легли. Все было тихо в доме. Вот Элизабет собралась потушить свет.

— Ты спи, — сказал он, — а я еще пойду почитаю.

Она дремотно улыбнулась, не заметив его непоследовательности.

— Только потом не буди меня, — пробормотала она.

Все было тихо, неестественно тихо. Казалось, что тишина накапливается, накапливается, а потом вдруг перельется через край и рассмеется. Он соскользнул с кровати и в пижаме и в мягких туфлях бесшумно пошел по коридору. Странно сказать: страх рассеялся. Кошмар теперь перешел в то несколько бредовое, но блаженное состояние абсолютной свободы, присущее грешным сновидениям.

Альбинус на ходу расстегнул ворот пижамы. Все в нем содрогнулось. “Ты сейчас, вот сейчас будешь моей”, — подумал он, тихо открыл дверь библиотечной и включил приглушенный свет.

— Марго, сумасшедшая, — сказал он жарким шепотом.

Но это была всего лишь красная шелковая подушка, которую он сам же на днях принес, чтобы, удобно устроившись, просматривать “Историю искусства” Нонненмахера (10 томов, ин-фолио).

7

Марго сообщила хозяйке, что скоро переезжает. Все складывалось чудесно. В воздухе жилья своего поклонника она почувствовала добротность и основательность его богатства. Жена, судя по фотографии на ночном столике, нимало не походила на даму, которую Марго представляла себе, — пышнотелую, высокомерную, с мрачным выражением и железной хваткой; напротив, это, видно, была смирная, нехваткая женщина, которую можно отстранить без труда.

Сам Альбинус даже нравился ей: у него была благородная наружность, от него веяло душистым тальком и хорошим табаком. Разумеется, густое счастье ее первой любви было неповторимо. Она запрещала себе вспоминать Миллера, меловую бледность его впалых щек, неопрятные черные волосы, длинные, всепонимающие руки.

Альбинус мог успокоить ее, утолить жар, — как те холодные листья подорожника, которые так приятно прикладывать к воспаленному месту. А кроме всего — Альбинус был не только прочно богат, он еще принадлежал к тому миру, где свободен доступ к сцене, к кинематографу. Нередко, заперев дверь, Марго делала перед зеркалом страшные глаза или расслабленно улыбалась, а не то прижимала к виску подразумеваемый револьвер. И ей сдавалось, что ухмылочки и улыбочки у нее выходили не менее ушлые, чем у любой фильмовой актрисы.

После вдумчивых и основательных поисков она нашла в отличном районе неплохую квартиру. Альбинус так растерялся и обмяк после ее визита, что она пожалела его и без лишних церемоний взяла у него пухлую пачку купюр, которые он ей сунул в сумочку во время вечерней прогулки.

Более того, в подъезде она позволила поцеловать себя. Пламя этого поцелуя осталось при нем и вокруг него, будто цветной ореол, в котором он вернулся домой и который он не мог оставить в передней, как свою черную фетровую шляпу, и, войдя в спальню, он недоумевал, неужто жена не видит этого ореола.

Но Элизабет, тридцатипятилетняя, мирная Элизабет, ни разу не подумала о том, что муж может ей изменить. Она знала, что у Альбинуса были до женитьбы мелкие увлечения, она помнила, что и сама, девочкой, была тайно влюблена в старого актера, который приходил в гости к отцу и смешно изображал за столом, как мычат коровы. Она слышала и читала о том, что мужья и жены вечно изменяют друг другу, — об этом были и сплетни, и романтические поэмы, и забавные анекдоты, и знаменитые оперы. Но она была совершенно просто и непоколебимо убеждена, что ее брак — особенный, чудесный и чистый, что ему ничего не может грозить.

Вечера, проводимые Альбинусом вне дома, как он утверждал, с какими-то художниками, заинтересовавшимися его кинематографической идеей, ни разу не вызвали у Элизабет ни малейшего подозрения. Раздражительность и нервность мужа она объясняла погодой — май выдался необыкновенно странный: то жарко, то ледяные дожди с градом, который отскакивал от подоконников, словно крошечные теннисные мячики.

— Не поехать ли нам куда-нибудь? — вскользь предложила она как-то. — В Тироль, скажем, или в Рим?

— Поезжай, если хочешь, — ответил Альбинус. — У меня дела по горло, ты отлично знаешь.

— Да нет, я просто так, — сказала Элизабет и отправилась с Ирмой смотреть в Зоологическом саду слоненка, у которого, как выяснилось, почти что не было хобота и короткая пушистая бахрома топорщилась вдоль всего хребта.

Другое дело Поль. История с запертой дверью оставила в нем неприятный осадок. Альбинус не только не заявил в полицию, но даже как будто рассердился, когда Поль

об этом опять заговорил. Поль невольно задумался — старался вспомнить, не заметил ли он все-таки кого-нибудь подозрительного, когда входил в дом, направляясь к лифту. Ведь он был очень наблюдателен — он заметил, например, кошку, которая выпрыгнула откуда-то и проскользнула между металлическими прутьями ограды палисадника, девочку в красном платье, для которой придержал дверь, приглушенный смех и пение, доносившиеся из швейцарской, где, как обычно, играло радио. Очевидно, взломщик сбежал вниз, пока он поднимался на лифте. Но откуда все-таки это неприятное чувство?

Супружеское счастье сестры было для него чем-то пленительно святым. Когда, через несколько дней после истории со взломщиком, его соединили по телефону с Альбинусом, пока тот говорил с кем-то другим (классический метод Парки — подслушивать), он чуть не проглотил кусочек спички, которой копал в зубах, услышав такие слова:

— Не спрашивай, а покупай что хочешь.

— Но ты не понимаешь, Альберт, — привередливо проговорил вульгарный женский голос.

Тут Поль повесил трубку, судорожным движением, словно нечаянно схватил змею.

Вечером, сидя с сестрой и зятем, он не знал, как держаться, о чем говорить. Он просто сидел, смущенно и суетливо тер подбородок, мельтешил своими толстыми ногами, норовя закинуть одну поверх другой, вытаскивал из жилетного кармана часы и, поглядев на них, совал безликое, безрукое чудище обратно. Он был из тех впечатлительных людей, которые краснеют до слез от чужой неловкости.

Неужели человек, которого он любил и почитал, способен обманывать Элизабет? "Нет, нет, это ошибка, это глупое недоразумение, — уговаривал он себя, глядя на спокойное лицо Альбинуса, читавшего книгу, на тщательность, с которой он, покашливая время от времени, чтобы прочистить горло, разрезал страницы ножом из слоновой кости... — Не может быть... Меня навела на эти мысли

запертая дверь. Подслушанные слова объясняются как-нибудь очень просто. И как же можно обманывать Элизабет?" Она сидела в углу дивана и неторопливо, добросовестно рассказывала содержание пьесы, которую недавно видела. Ее светлые глаза, окаймленные веснушками, были такими же искренними, как и у ее матери, а ненапудренный нос трогательно лоснился. Поль кивал и улыбался. Он, впрочем, не понимал ни слова, точно она говорила по-русски. Тут внезапно, на секунду, он перехватил взгляд Альбинуса, поверх книги брошенный на него.

8

Между тем Марго сняла квартиру и накупила немало хозяйственных вещей, начиная с холодильника. Невзирая на то что Альбинус щедро — и даже с каким-то умилением — раскошелился, платил-то он, собственно, вслепую, ибо не только не видал снятой квартиры, но даже не знал адреса. Марго уговорила его, что будет гораздо забавнее, если он придет к ней лишь тогда, когда все будет готово.

Прошла неделя; предполагалось, что она позвонит в субботу, и он весь день сторожил телефон. Но телефон блестел и безмолвствовал. В понедельник он решил, что Марго надула его и навсегда исчезла. Под вечер явился Поль (эти посещения были теперь адом для них обоих). Как назло, Элизабет не было дома. Поль сел в кабинете против Альбинуса, курил и смотрел на кончик своей сигары. За последнее время он даже похудел. "Он все знает, — с минутным содроганием подумал Альбинус. — Ну и пускай. Он мужчина, должен понять".

Вошла Ирма, и Поль оживился, посадил ее к себе на колени, смешно екнул, когда она, усаживаясь поудобней, нечаянно въехала кулачком в его живот.

Элизабет вернулась. Альбинусу вдруг показатась невыносимой перспектива ужина, длинного вечера. Он объявил, что не ужинает дома, жена лишь добродушно спросила, почему он раньше не предупредил.

Им владело одно желание: во что бы то ни стало, сейчас же разыскать Марго. Судьба не имела права, посулив такое блаженство, притвориться, что ничего не обещано. Его охватило такое отчаяние, что он решился на довольно опасный шаг. Он знал, где находилась ее прежняя комната, он знал также, что она там жила со своей теткой. Туда-то он и направился. Проходя через двор, он увидел какую-то горничную, стелившую в одной из нижних комнат у открытого окна постель, и обратился к ней.

— Фрейлейн Петере? — переспросила она, не выпуская из рук подушку, которую выбивала. — Кажется, съехала. Впрочем, посмотрите сами. Пятый этаж, левая дверь.

Альбинусу открыла растрепанная женщина с красными глазами, но цепочки не сняла, говорила с ним через щелку. Она спросила, что ему нужно.

— Я хочу узнать новый адрес фрейлейн Петере. Она тут жила со своей теткой.

— С теткой? — не без интереса произнесла женщина и только тогда сняла цепочку. Она его ввела в крохотную комнату, где все дрожало и звякало от малейшего движения и где на клеенчатой скатерти, покрытой коричневыми круглыми пятнами, стояли тарелка с картофельным пюре, соль в прорванном мешочке, три пустые бутылки из-под пива, и, как-то загадочно улыбаясь, предложила ему сесть.

— Если бы я была ее теткой, — сказала она, подмигнув, — то, вероятно, я не знала бы ее адреса. Тетки, — добавила она с определенной горячностью, — никакой, собственно, у нее нет.

“Пьяна”, — подумал устало Альбинус.

— Послушайте, — проговорил он, — я вас прошу сказать мне, куда она переехала.

— Она у меня снимала комнату, — задумчиво сказала та, с горечью размышляя о неблагодарности Марго, скрывшей и богатого друга, и новый свой адрес, который, впрочем, оказалось нетрудно вынюхать.

— Как же быть? — воскликнул Альбинус. — Где же я могу узнать?

Да, все-таки она неблагодарная. А ведь она ей так помогала; поди знай, удовольствие или неприятность доставит она Марго (а она-то уж предпочла бы доставить неприятность) тем, что даст этому крупному, взволнованному, синеглазому господину, на которого так грустно смотреть, нужную ему справку. И она, вздохнув, дала.

— И за мной раньше охотились, и за мной, — бормотала она, провожая его, — да, и за мной...

Было полвосьмого вечера. Фонари уже зажглись, и нежные оранжевые огни казались прелестными на бледном фоне сумерек. Небо было еще совсем голубое, и лишь одно-единственное оранжево-розовое облачко застыло где-то в отдаленье, и от ощущения шаткости равновесия между светом и тенью у Альбинуса кружилась голова.

"Сейчас будет рай", — думал он, летя в таксомоторе по шуршащему асфальту.

Перед большим кирпичным домом, где она жила, росли три тополя. Новехонькая медная табличка с ее именем красовалась на двери. Угрюмая бабища с красными, как сырое мясо, руками, пошла о нем доложить. "Уже кухарку завела", — подумал Альбинус с любовью.

— Входите, — сказала вернувшаяся тем временем кухарка. Он пригладил свои жидковатые волосы и вошел.

Марго лежала в кимоно на уродливой цветистой кушетке, заломив руки за голову; на животе у нее покоилась корешком вверх открытая книга.

— Какой ты шустрый, — сказала она, лениво протягивая руку.

— Ты как будто знала, что я сегодня приду, — прошептал он едва слышно. — Спроси, как я вынюхал твой адрес.

— Я же тебе написала адрес, — сказала она и, вздохнув, приподняла кверху локотки.

— Нет, это было уморительно, — продолжал Альбинус, не слушая ее и с нарастающим чувством наслаждения глядя на эти накрашенные губы, которые он сейчас... — Уморительно — особенно этот твой кунштюк с воображаемой теткой, при помощи которой ты мне все баки забивала.

— Зачем ты ходил туда? — произнесла Марго, внезапно рассвирепев. — Ведь я же написала тебе мой адрес. Справа наверху, совершенно отчетливо.

— Наверху? Отчетливо? — повторил Альбинус, недоуменно насупившись. — О чем ты?

Она захлопнула книгу и привстала. — Да ведь письмо ты получил?

— Какое письмо? — спросил Альбинус — вдруг приложил ладонь ко рту, и глаза его расширились.

— Я сегодня утром послала тебе письмо, — сказала Марго, вновь улегшись и глядя на него с любопытством. — Я так и рассчитала, что ты с вечерней почтой получишь его и сразу ко мне придешь.

— Не может быть! — крикнул Альбинус.

— Еще как может. Ах, я готова тебе пересказать, слово в слово: “Дорогой Альберт, гнездышко свито, и птичка ждет тебя. Только не целуй слишком крепко, а то у твоей девочки может закружиться голова”. Все.

— Марго, — хрипло прошептал он, — Марго, что ты наделала... Ведь я ушел раньше. Ведь почта приходит в без четверти восемь. Ведь...

— Ну знаешь, в этом моей вины нет, — сказала она. — Знаешь, тебе непросто угодить. Я ему так мило пишу, а он...

Она дернула плечами, взяла книгу и повернулась на бок. На правой странице была фотография Греты Гарбо.

Альбинус мельком подумал: “Как странно, случается катастрофа, а человек замечает какую-то картинку”. Без двадцати восемь. Марго лежала, изогнутая и неподвижная, как ящерица.

— Ты же меня... Ты меня... — начал он, чуть ли не крича во весь голос, но не закончил и выбежал из комнаты, загремел вниз по лестнице, вскочил в проезжавший таксомотор и, сидя на краешке, подавшись вперед (как бы выигрывая несколько дополнительных дюймов), глядел на спину шофера, но спина эта не внушала надежды.

Приехав, он выпрыгнул из машины и расплатился, как платят таксистам герои кинофильмов, — слепо сунул моне-

ту. Близ палисадника он заприметил знакомую фигуру — долговязого, расставившего ноги хером почтальона, говорящего с толстяком швейцаром.

— Мне есть письма? — задыхаясь, спросил Альбинус.

— Только что отнес к вам наверх, — ответил почтальон с дружелюбной улыбкой.

Альбинус поднял глаза. Окна его квартиры были ярко освещены — все без исключения, и это выглядело необычно. С колоссальным трудом он заставил себя войти в дом и начал подниматься. Одна площадка. Вторая. “Позволь мне объяснить... Молодая художница, очень нуждающаяся... У нее с головой не все в порядке, пишет любовные письма незнакомым людям”. Чушь — игра сыграна.

Не дойдя до своей двери, он вдруг повернул и побежал вниз. Мелькнула кошка, гибко скользнула сквозь решетку.

Через десять минут он опять вошел в ту комнату, в которую недавно входил таким веселым. Марго лежала на диване все в той же позе — застывшей ящерицы. Книга была открыта на той же странице. Альбинус сел поодаль и принялся трещать суставами пальцев.

— Перестань, — сказала Марго, не поднимая головы.

Он подчинился, но тут же затрещал снова.

— Ну что же, письмо пришло?

— Ах, Марго, — произнес он и несколько раз прочистил горло. — Поздно, поздно! — вдруг вскричал он петушиным голосом.

Он встал, прошелся по комнате, высморкался и сел снова на то же место.

— Она читает все мои письма, — проговорил он, глядя сквозь дрожащий туман на носок своего башмака и легонько топая им по расплывчатому узору на ковре.

— Ты бы ей запретил.

— Ах, Марго, что ты понимаешь в этом... Так было всегда — это привычка, удовольствие. Могла даже сунуть какое-нибудь письмо невесть куда, прежде чем я его успевал прочитать. Были всякие смешные письма... Как ты могла? Я просто не знаю, что она сделает теперь. Разве что чудо... хоть этот раз, хоть этот, — была бы занята другим... или... Нет, бессмысленно!

— Ты только не выходи в прихожую, когда она прикатит, я одна к ней выйду.

— Кто? Когда? — спросил он, смутно припоминая давешнюю полупьяную ведьму; как давно это было.

— Когда? Вероятно, сейчас. У нее ведь теперь мой адрес.

Альбинус все не понимал.

— Ах, ты вот о чем, — пробормотал он наконец. — Какая же ты глупая, Марго! Поверь, что как раз это никак не может случиться. Все — но только не это.

“Тем лучше”, — подумала Марго, и ей стало вдруг чрезвычайно весело. Посылая письмо, она рассчитывала на гораздо более банальный результат: муж не показывает, жена злится, топает ногой, бьется в истерике. Первая брешь сомнения была бы пробита, и это облегчило бы Альбинусу дальнейший путь. Теперь же случай помог, все разрешилось одним махом. Она выпустила книгу, тут же соскользнувшую на пол, и посмотрела с улыбкой на его опущенное дрожащее лицо. “Самое время вступать в игру”, — подумала она.

Марго вытянулась, почувствовав в своем стройном теле вполне приятное предвкушение, и сказала, глядя в потолок:

— Пойди сюда.

Он подошел; сокрушенно мотая головой, сел на край кушетки.

— Поцелуй же меня, — произнесла она, жмурясь. — Я тебя утешу.

9

Западный Берлин, майское утро. Люди в белых кепи метут улицы. Кто они — владельцы старых кожаных ботинок, брошенных в сточную канаву? В плюще егозят воробьи. Автомобиль, развозящий молоко, шелестит толстыми шинами, словно по шелку; в слуховом окошке на скате зеленой черепичной крыши отблеск солнца. Воздух еще не

привык к звонкам и гудкам далекого транспорта и ласково принимает и носит эти звуки как нечто ломкое, дорогое. В палисадниках цветет персидская сирень; белые бабочки, несмотря на утренний холодок, летают там и сям, будто в деревенском саду. Все это окружило Альбинуса, когда он вышел из дома, где провел ночь.

Он чувствовал мертвую зыбь во всем теле: хотелось есть, он не побрился и не помылся, неуютное прикосновение вчерашней рубашки к коже раздражало. Не диво, что был он так опустошен: эта ночь явилась той, о которой он только и думал с маниакальной силою всю жизнь. Уже по одному тому, как она сводила лопатки и мурлыкала, когда он только еще щекотал губами ее опущенную спину, он понял, что получил именно то, к чему стремился. А ведь стремился он отнюдь не к холодной поволоке невинности. Как и в самых его распущенных снах, все оказалось дозволенным; пуританская любовь, дотошная сдержанность были столь же вероятны в пределах этого новоприобретенного мира свободы, как белые медведи в Гонолулу.

Нагота Марго была столь естественна, словно она давно привыкла бегать раздетой по взморью его снов. В постели у нее появлялись какие-то очаровательные акробатические наклонности. А потом она подпрыгивала и начинала носиться по комнате, виляя отроческими бедрами и грызя сухую, оставшуюся с утра булочку.

Заснула она как-то вдруг — будто замолкла на полуслове — уже тогда, когда в комнате умирающее, точно в камере смертника, электричество стало оранжевым, а окно призрачно-синим. Альбинус направился в ванную комнату, но, добыв из крана только несколько капель ржавой воды, вздохнул, двумя пальцами вынул из ванны мочалку, осторожности ради бросил ее, изучил липкое розовое мыло и подумал, что прежде всего следует научить Марго чистоте. Стуча зубами, он оделся, прикрыл сладко спавшую Марго периной, поцеловал ее теплые растрепанные волосы и, положив на столике карандашом написанную записку, тихо вышел.

И теперь, шагая в слабых еще, ранних лучах солнца, он понимал, что начинается расплата. Когда он вновь увидел дом, где прожил с Элизабет так долго, когда тронулся и пополз вверх лифт, в котором восемь лет назад поднялись кормилица с ребенком на руках и очень бледная, очень счастливая Элизабет, когда он остановился перед дверью, на которой степенно золотилась его авторитетная в мире науки фамилия, Альбинус почти готов был отказаться от повторения этой ночи, — только бы случилось чудо. Он был уверен, что, если все-таки Элизабет письмо не прочла, ночное свое отсутствие он объяснит как-нибудь — скажет, например, что в шутку попробовал покурить опиум на квартире у одного художника-японца, приходившего к ним когда-то обедать... Что же, вполне достоверное объяснение.

Однако следовало отпереть вот эту дверь, и войти, и увидеть... Что увидеть? Может быть, лучше не войти вовсе — оставить все так, как есть, уехать, зарыться?

Вдруг он вспомнил, как на войне он через силу заставлял себя не слишком низко пригибаться, покидая укрытие.

В прихожей он замер, прислушиваясь. Тишина. Обычно в этот утренний час квартира бывала уже полна звуков — шумела где-то вода, бонна громко говорила с Ирмой, в столовой звякала посудой горничная... Тишина. В углу стоял женин зонтик. Он попытался найти в этом хоть какое-то утешение. Внезапно появилась Фрида — почему-то без передничка — и, сверля его взглядом, сказала с отчаянием:

— Госпожа с маленькой барышней еще вчера вечером уехали.

— Куда? — спросил Альбинус, не глядя на нее.

Фрида все объяснила, говоря скоро и необычно крикливо, а потом разрыдалась и, рыдая, взяла из его рук шляпу и трость.

— Вы будете пить кофе? — спросила она сквозь слезы.

В спальне был многозначительный беспорядок. Халаты жены лежали на постели. Один из ящиков комода был выдвинут. Со стола исчез маленький портретик покойного тестя. Завернулся угол ковра.

Альбинус поправил ковер и тихо пошел в кабинет. Там, на письменном столе, лежало несколько распечатанных писем. А вот и оно, то самое — какой детский почерк! И орфография кошмарная, просто кошмарная. Драйеры приглашают зайти. Очень мило. Письмецо от Рекса. Счет от дантиста. Очаровательно.

Часа через два явился Поль. Вижу, он неудачно побрился: на толстой щеке черный крест пластыря.

— Я приехал за ее вещами, — сказал он на ходу.

Альбинус пошел за ним следом и молча смотрел, звеня монетами в кармане штанов, как он и Фрида торопливо, словно спеша на поезд, наполняют сундук.

— Не забудьте зонтик, — проговорил Альбинус вяло.

Потом он побрел за ними дальше, и в детской повторилось то же самое. В комнате бонны уже стоял запертый чемодан — взяли и его.

— Поль, на два слова, — пробормотал Альбинус и, кашлянув, пошел в кабинет. Поль последовал за ним и стал у окна.

— Это катастрофа, — сказал Альбинус.

— Одно могу вам сообщить, — произнес наконец Поль, глядя в окно. — Дай Бог, чтобы Элизабет перенесла такое потрясение. Она... — Он осекся, и черный крест на его щеке несколько раз подпрыгнул. — Она все равно что мертвая. Вы ее... Вы с ней... Собственно говоря, вы такой подлец, каких мало.

— Ты очень груб, — сказал Альбинус и попробовал улыбнуться.

— Но ведь это же чудовищно! — вдруг крикнул Поль, впервые с минуты прихода посмотрев на него. — Где ты подцепил ее? Почему эта паскудница смеет тебе писать?

— Но-но, потише, — произнес Альбинус, облизывая губы.

— Я тебя ударю, честное слово, ударю! — продолжил еще громче Поль.

— Постыдись Фриды, — пробормотал Альбинус. — Она ведь все услышит.

— Ты мне ответишь? — И Поль хотел его схватить за лацкан, но Альбинус, чуть улыбнувшись, шлепнул его по руке.

— Не желаю допроса, — прошептал он. — Все это крайне болезненно. Может быть, это странное недоразумение. Может быть...

— Ты лжешь! — заорал Поль и стукнул об пол стулом. — Подлец! Я только что у нее был. Продажная девчонка, которую следует отдать в исправительный дом. Я знал, что ты будешь лгать. Как ты мог! Это ведь даже не разврат, это...

— Довольно, — задыхающимся голосом перебил его Альбинус.

Проехал грузовик, задрожали стекла окон.

— Эх, Альберт, — сказал Поль с неожиданным спокойствием и грустью. — Кто мог подумать...

Он вышел. Фрида всхлипывала за кулисами. Кто-то выносил сундуки. Потом все стихло.

10

В полдень Альбинус сложил чемодан и переехал к Марго. Фриду оказалось нелегко уговорить остаться в пустой квартире. Она наконец согласилась, когда он предложил, чтобы в бывшую комнату бонны вселился бравый вахмистр, Фридин жених. На все телефонные звонки она должна была отвечать, что Альбинус с семьей неожиданно отбыл в Италию.

Марго встретила его холодно. Утром ее разбудил бешеный толстяк, который искал Альбинуса и обзывал ее последними словами. Кухарка, женщина недюжинных сил, слава Богу, вытолкала его вон.

— Эта квартира, собственно говоря, рассчитана на одного человека, — сказала она, взглянув на чемодан Альбинуса.

— Пожалуйста, я прошу тебя, — взмолился он.

— Вообще, нам придется еще о многом поговорить, я не намерена выслушивать грубости от твоих идиотов родственников, — продолжала она, расхаживая по комнате в красном шелковом халатике, сунув правую руку под левую мышку, энергично дымя папиросой. Темные волосы налезали на лоб, это придавало ей нечто цыганское.

После обеда она поехала покупать граммофон. Почему граммофон? Почему именно в этот день? Разбитый, с сильной головной болью, Альбинус остался лежать на кушетке в безобразной гостиной и думал: "Вот случилось что-то неслыханное, а я довольно спокоен. У Элизабет обморок длился двадцать минут, и потом она кричала — вероятно, это было невыносимо слушать, — а я спокоен. Она все-таки моя жена, и я люблю ее, и я, конечно, застрелюсь, если она умрет из-за меня. Интересно, как объяснили Ирме переезд на квартиру Поля, спешку, бестолочь? Как противно Фрида говорила об этом: "И госпожа кричала, и госпожа кричала" — с ударением на "и". Странно, ведь Элизабет никогда в жизни не повышала голоса".

На следующий день, пользуясь отсутствием Марго, которая отправилась накупить пластинок, он написал длинное письмо. В нем он убеждал жену совершенно искренне, но, может быть, слишком красноречиво, что ценит ее так же высоко, как прежде, — несмотря на свое приключеньице, "разом разбившее наше семейное счастье подобно тому, как нож маньяка рассекает холст". Он плакал, и прислушивался, не идет ли Марго, и продолжал писать, плача и шепча. Он молил жену о прощении, однако из письма не было видно, готов ли он отказаться от своей любовницы.

Ответа он не получил.

Тогда он понял, что, если не хочет мучиться, должен вымарать образ семьи из памяти и всецело отдаться неистовой, почти болезненной страсти, которую возбуждала в нем веселая красота Марго. Она же была всегда готова откликнуться на его любовные ласки, это только освежало ее; она была резва и беспечна, — благо врач еще два года назад объяснил ей, что забеременеть она неспособна,

и она восприняла это как безусловную и баснословную благодать.

Альбинус научил ее ежедневно принимать ванну, вместо того чтобы только мыть руки и шею, как она делала раньше. Ногти у нее были теперь всегда чистые, и не только на руках, но и на ногах отливали бриллиантово-красным лаком.

Он открывал в ней все новые очарования — трогательные мелочи, которые в другой показались бы ему вульгарными и грубыми. Полудетский очерк ее тела, бесстыдство, медленное погасание ее глаз (словно невидимые осветители постепенно гасили их, как прожекторы в театральной зале) доводили его до такого безумия, что он вконец утрачивал ту сдержанность, которой отличались его объятия со стыдливой и робкой женой.

Он почти не выходил из дому, боясь встретить знакомых. Марго он отпускал от себя скрепя сердце, и то лишь утром — на увлекательную охоту за чулками и шелковым бельем. Его удивляло в ней отсутствие любознательности — она не спрашивала ничего из его прежней жизни. Он старался иногда занять ее своим прошлым, говорил о детстве, о матери, которую помнил лишь смутно, и об отце, жизнелюбивом помещике, любившем своих лошадей и собак, дубы и пшеницу своего имения и умершем внезапно — от сочного смеха, которым разразился в бильярдной, где один из гостей выкрякивал сальный анекдот.

— Какой? Расскажи, — попросила Марго, но он забыл какой.

Он говорил далее о ранней своей страсти к живописи, о работах своих, о ценных находках; он рассказывал ей, как чистят картину — чесноком и толченой смолой, которые обращают старый лак в пыль, — как под фланелевой тряпкой, смоченной скипидаром, исчезает черная тень или же верхний слой грубой мазни, и вот расцветает изначальная красота.

Марго занимала главным образом рыночная стоимость такой картины.

Когда же он говорил о войне, о ледяной окопной грязи, она удивлялась, почему он, ежели богат, не устроился в тылу.

— Какая ты смешная! — восклицал он, лаская ее.

По вечерам ей часто бывало скучно — ее влекли кинематограф, нарядные кабаки, негритянская музыка.

— Все будет, все будет, — говорил он. — Ты только дай мне отдышаться. У меня всякие планы... Мы махнем к морю.

Он оглядывал гостиную, и его поражало, что он, гордившийся своей неспособностью терпеть безвкусие в вещах, мог выносить эту палату ужасов. Похоже, все оживляла его страсть.

— Мы очень мило устроились, правда, любимая?

Она снисходительно соглашалась. Она знала, что все это только временно: воспоминание о богатой квартире Альбинуса зафиксировалось в ее памяти, но, конечно, не следовало спешить.

Как-то в июле Марго пешком шла от модистки и уже приближалась к дому, когда кто-то сзади схватил ее за руку, повыше локтя. Она обернулась. Это был ее брат Отто. Он неприятно ухмылялся. Немного поодаль, тоже ухмыляясь, стояли двое его товарищей.

— Здравствуй, сестричка, — сказал он. — Нехорошо забывать родных.

— Отпусти, — тихо произнесла Марго, опустив ресницы.

Отто подбоченился.

— Как ты мило одета, — проговорил он, оглядывая ее с головы до ног. — Прямо, можно сказать, дамочка.

Марго повернулась и пошла. Но он опять схватил ее за локоть и сделал ей больно.

— Ау-уа! — тихо вскрикнула она, как бывало в детстве.

— Ну-ка, ты, — сказал Отто. — Я уже третий день наблюдаю за тобой. Знаю, как ты живешь. Однако мы лучше отойдем.

— Пусти, — прошептала Марго, стараясь отлепить его пальцы. Какой-то прохожий остановился, предчувствуя

скандал. Дом был совсем-близко. Альбинус мог случайно выглянуть в окно. Это было бы плохо.

Она поддалась его нажиму. Отто повел ее за угол. Подошли, осклабясь и болтая руками, другие двое — Каспар и Курт.

— Что тебе нужно от меня? — спросила Марго, с ненавистью глядя на засаленную кепку брата, на папиросу за ухом.

Он мотнул головой:

— Пойдем вот туда — в бар.

— Отвяжись! — крикнула она, но двое других подступили совсем близко и, урча, затеснили ее, подталкивая к дверям. Ей сделалось страшно.

У стойки бара несколько людей хрипло и громко рассуждали о предстоящих выборах.

— Сядем сюда, в угол, — сказал Отто.

Сели. Марго живо вспомнила — не без удивления, — как они все вместе ездили за город купаться: она, брат и эти загорелые молодцы. Они учили ее плавать и цапали под водой за голые ляжки. У Курта на кисти был вытатуирован якорь, а на груди — дракон. Валялись на берегу, осыпая друг друга жирным бархатным песком. Они хлопали ее по мокрым купальным трусикам, как только она ложилась ничком. Как чудесно было все это: веселая толпа, повсюду горы бумажного мусора, а мускулистый светловолосый Каспар выбегал на берег, тряся руками, будто с холоду, и приговаривая: "Вода мокрая, мокрая!" Плавая, держа рот под поверхностью, он умел издавать громкие тюленьи звуки. Выйдя из воды, он прежде всего зачесывал волосы назад и осторожно надевал кепку. Помнится, играли в мяч, а потом она легла, и они ее облепили песком, оставив только лицо открытым и камешками выложив сверху крест.

— Вот что, — сказал Отто, когда на столе появились четыре кружки светлого пива с золотой каемочкой. — Ты не должна стыдиться своей семьи только потому, что у тебя есть богатый друг. Напротив, ты должна о нас заботиться. — Он отпил пива, отпили и его товарищи. Они оба глядели на Марго презрительно и недружелюбно.

— Ты все это говоришь наобум, — с достоинством произнесла она. — Дело обстоит иначе, чем ты думаешь. Мы жених и невеста, вот что.

Все трое разразились хохотом. Марго почувствовала к ним такую неприязнь, что отвела глаза и стала щелкать затвором сумки. Отто взял сумку из ее рук, открыл, нашел там только пудреницу, ключи, крохотный носовой платочек и три марки с полтиной — последние он реквизировал.

— Хоть на пиво хватит, — заявил он, после чего с поклоном положил сумку перед ней на стол.

Заказали еще пива. Марго тоже глотнула, через силу — она пиво не терпела, — но иначе они бы и это выпили.

— Мне можно теперь идти? — спросила она, приглаживая акрошкеры.

— Как? Разве не приятно посидеть с братом и его друзьями? — притворно удивился Отто. — Ты, милочка, очень изменилась. Но главное — мы еще не поговорили о нашем деле.

— Ты меня обокрал, и теперь я ухожу.

Опять все заурчали, как давеча на улице, и опять ей стало страшно.

— О краже не может быть и речи, — злобно сказал Отто. — Эти деньги не твои, а деньги, полученные от кого то, кто высосал их из рабочего класса. Ты эти фокусы оставь — насчет кражи. Ты... — Он сдержал себя и заговорил тише: — Вот что, Марго. Изволь сегодня же взять у твоего друга немного денег для нас, для семьи. Марок пятьдесят. Поняла?

— А если я этого не сделаю?

— Тогда будет месть, — ответил Отто спокойно. — О, мы все знаем про тебя. Невеста — скажите, пожалуйста!

Марго вдруг улыбнулась и прошептала, опустив ресницы:

— Хорошо, я достану. Теперь все? Я могу идти?

— Да ты просто умница! Постой же, постой, куда ты так торопишься? И вообще, знаешь, надо видаться, мы поедем как-нибудь на озеро, правда? — обратился он к друзьям. — Ведь бывало так славно. И чего это она надумала зазнаваться?

Но Марго уже встала — допивала стоя свое пиво.

— Завтра в полдень на том же углу, — сказал Отто, — а потом уедем вместе на весь день. Ладно?

— Ладно, — сказала Марго с улыбкой. Она по очереди пожала руку каждому и вышла.

Она вернулась домой, и, когда Альбинус, отложив газету, подошел к ней, Марго зашаталась, притворяясь, что лишается чувств. Роль была сыграна посредственно, но она достигла желаемой цели. Он всерьез испугался, уложил ее на кушетку, принес воды.

— Что случилось? Скажи же, — спрашивал он, гладя ее по волосам.

— Ты меня бросишь, — простонала Марго.

Он переглотнул и мгновенно вообразил самое страшное: измену.

“Что ж? Застрелю”, — мелькнула быстрая мысль; но вслух он уже совсем спокойно повторил:

— Что случилось, Марго? Скажи мне.

— Я обманула тебя, — простонала она.

“Ей суждено умереть”, — подумал Альбинус.

— Ужасный обман, Альберт. Во-первых, мой отец не художник; раньше он был слесарем, а теперь служит швейцаром; моя мать натирает до блеска перила лестницы, а мой брат — обыкновенный рабочий. У меня было трудное-претрудное детство. Меня пороли, мучили...

На Альбинуса накатила волна беспредельного облегчения, а за ней вторая волна — жалости.

— Нет, не целуй меня. Ты должен знать все. Я бежала из дому. Я зарабатывала деньги тем, что служила натурщицей. Меня эксплуатировала одна страшная старуха. Затем у меня была любовь — он был женат, как вот ты, и жена не давала ему развода, и тогда я его бросила, потому что нестерпимо было оставаться всего лишь его любовницей — и только, хотя безумно его любила. Затем меня преследовал старик банкир. Он предлагал мне все свое состояние, но, конечно же, я ему отказала. Он умер от разрыва сердца. А потом я начала служить в “Аргусе”.

— О мой бедный-пребедный затравленный звереныш, — бормотал Альбинус (который, кстати, давно уже не верил в то, что был ее первым любовником).

— Неужели ты не презираешь меня? — спросила она, стараясь улыбнуться сквозь слезы, что было очень трудно, ибо слез-то не было. — Это хорошо, что ты меня не презираешь. Но теперь слушай самое страшное: брат меня выследил, я встретила его сегодня, и он требует у меня денег — пытается меня шантажировать, потому что полагает, что ты не знаешь — о моем прошлом. Ты понимаешь, когда я увидела его, то подумала: какой позор иметь такого брата и еще — мой бедный, доверчивый заяц не знает, какая у меня семья; мне стало так стыдно за них, а потом уже стыдно и от другого — от того, что я не сказала всей правды, — так стыдно...

Он обнял ее и стал баюкать; если бы он знал какую-нибудь колыбельную, то и ее был бы готов напеть сейчас вполголоса. Она стала тихо смеяться.

— Как же быть? — спросил он. — Я теперь боюсь выпускать тебя одну. Ведь не обращаться же к полиции?

— Нет, только не это, — необыкновенно решительно воскликнула Марго.

11

Утром она впервые вышла в сопровождении Альбинуса. Надо было накупить уйму легких летних вещей, купальные костюмы и тьму-тьмущую кремов, чтобы хорошо взялся бронзовый загар. Сольфи, адриатический курорт, намеченный Альбинусом для их первой совместной поездки, считался местом жарким и сияюще-роскошным. Садясь в таксомотор, она заметила брата, стоящего на другой стороне улицы, но Альбинусу не показала его.

Появляться с Марго было для него сопряжено с неотступной тревогой: он еще не мог привыкнуть к своему новому положению. Когда они вернулись домой, Отто уже куда-то сгинул. Марго обоснованно предположила, что

брат смертельно обиделся и способен теперь на необдуманные поступки.

За два дня до отъезда Альбинус сидел за почему-то особенно неуютным столом и писал деловые письма, а Марго тем временем в соседней комнате уже укладывала вещи в новый, сверкающий, черный сундук; он слышал шуршание оберточной бумаги и песенку, которую она, с закрытым ртом, без слов, не переставала напевать.

"Как все это странно, — думал Альбинус. — Если бы кто-нибудь предсказал бы мне под Новый год, что через несколько месяцев моя жизнь так круто изменится..."

Марго что-то уронила в соседней комнате, песенка оборвалась, потом опять возобновилась.

"Ведь полгода назад я был примерным мужем в безмаргошном мире. Как быстро судьба все переменила! Другие люди способны совмещать семейное счастье с легкими удовольствиями, а у меня почему-то все сразу рухнуло. Почему? И вот сейчас я сижу и как будто рассуждаю здраво и ясно, а на самом деле земля уходит из-под ног, как при землетрясении, и все летит кувырком Бог знает куда..."

Вдруг — звонок. Из трех разных дверей выбежали одновременно в прихожую Альбинус, Марго и кухарка.

— Альберт, — сказала Марго шепотом, — будь осторожен. Я уверена, что это Отто.

— Иди к себе, — прошептал он в ответ. — Я уж с ним справлюсь.

Он открыл дверь. Оказалось, что пришла девушка, принесшая обновки от модистки. Не успела она уйти, как позвонили вновь. Он опять открыл дверь. На пороге стоял юноша с грубоватым неумным лицом — и все же удивительно похожий на Марго: те же темные глаза, те же прилизанные волосы, тот же прямой нос, не лишенный, впрочем, если взглянуть на самый его кончик, намека на загибчик. На нем был приличный костюм воскресного вида, а конец галстука уходил под рубашку между пуговицами.

— Что вам угодно? — спросил Альбинус.

Отто кашлянул и проговорил с доверительной хрипотцой:

— Мне нужно с вами потолковать о моей сестре. Я — брат Марго.

— А почему, позвольте мне спросить, именно со мной?

— Вы ведь герр?.. — вопросительно начал Отто, — герр?..

— Шиффермиллер, — подсказал Альбинус с изрядным облегчением оттого, что юноша явно не знал его настоящего имени.

— Ну так вот, герр Шиффермиллер, я вас видел с моей сестрой и подумал, что вам будет любопытно, если я... если мы...

— Очень любопытно, — только что же вы стоите в дверях? Входите, пожалуйста.

Тот вошел и снова кашлянул.

— Я вот что, герр Шиффермиллер, у меня сестра молодая и неопытная. Моя мать ночей не спит с тех пор, как наша малышка Марго ушла из дому. Ведь ей только шестнадцать — вы не верьте, если она говорит, что больше. Что же это такое, сударь, в самом деле, мы — честные, отец — старый солдат. Очень, очень нехорошо выходит. Я не знаю, как это можно исправить...

Отто все больше взвинчивал себя и начинал почти что верить в то, что говорит.

— Не знаю, как быть, — продолжал он, все более возбуждаясь. — Представьте себе, герр Шиффермиллер, что у вас есть любимая невинная сестра, которую купил...

— Послушайте, мой друг, — перебил его Альбинус. — Тут какое-то недоразумение. Моя невеста мне рассказывала, что ее семья была только рада от нее отделаться.

— О, нет, — проговорил Отто, щурясь. — Неужто вы хотите меня уверить, что вы на ней женитесь. Ведь когда на честной девушке женятся, то перво-наперво идут посоветоваться к родителям ее или там к брату. Побольше внимания, поменьше гордости, герр Шиффермиллер.

Альбинус с некоторым любопытством смотрел на Отто и думал про себя, что этот юный скот, в конце концов,

говорит резон и столько же имеет права печься о Марго, сколько Поль о своей сестре. Вообще же в этой беседе ощущался некий пародийный привкус, особенно очевидный в сравнении с тем ужасным разговором, который состоялся у него с Полем два месяца назад. Сейчас хоть в одном он находил удовольствие — в том, что способен твердо стоять на своем, будь Отто хоть трижды ее братом, — и извлечь явную выгоду из того, что тот всего лишь шантажист и шалопай.

— Стоп, стоп, — прервал его Альбинус решительно и хладнокровно (ни дать ни взять — истинный патриций). — Я отлично понимаю, как обстоит дело. Все это не ваша забота. Уходите, пожалуйста.

— Ах, вот как, — сказал Отто, насупившись. — Ну хорошо.

Он помолчал, теребя кепку и глядя в пол. Пораздумав, он начал с другого конца:

— Вы, может быть, дорого за это поплатитесь, герр Шиффермиллер. Моя сестренка совсем не такая, как вам кажется. Я из братских побуждений назвал ее невинной. Но, герр Шиффермиллер, вы слишком доверчивы, — очень даже странно и смешно, что вы ее зовете невестой. Обхохочешься. Я уж, так и быть, вам кое-что о ней порасскажу.

— Не стоит, — покраснев, ответил Альбинус. — Она сама мне все рассказала. Несчастная девочка, которую семья не смогла уберечь. Пожалуйста, уходите. — И Альбинус приоткрыл дверь.

— Вы пожалеете, — неловко проговорил Отто.

— Уходите, не то придется вас вышвырнуть, — сказал Альбинус (добавляя к одержанной победе последний, так сказать, сладостный штрих).

Отто очень медленно двинулся с места.

Альбинус с пустоватой сентиментальностью, свойственной привычной ему зажиточной среде (привыкнув получать все на серебряном подносе), вдруг представил себе картину бедного и грубого существования этого юноши. И потом, все-таки слишком уж сильно он походил на Марго — в особенности на дующуюся Марго. Прежде чем

закрыть дверь, он быстро вынул десятимарковую купюру и сунул в руку Отто.

Дверь захлопнулась. Отто постоял на лестничной площадке, посмотрел на ассигнацию, задумался, потом позвонил.

— Как, вы опять? — воскликнул Альбинус.

Отто протянул руку с билетом.

— Я не желаю подачек, — пробормотал он злобно. — Отдайте эти деньги безработному, коли вы не нуждаетесь в них, — вон их сколько вокруг!

— Да что вы, берите, — сказал Альбинус смущенно.

Отто двинул плечами.

— Я не принимаю подачек от бар. У бедняка есть своя гордость. Я...

— Но я просто думал... — начал Альбинус.

Отто потоптался, хмуро положил деньги в карман и, бормоча что-то про себя, ушел. Социальная потребность была удовлетворена, теперь можно было позволить себе идти удовлетворять потребности человеческие.

“Маловато, — подумал он, — да уж ладно. И потом — ведь он меня боится, этот глупый пучеглазый заика”.

12

С той минуты, когда Элизабет прочла письмо Марго, жизнь ее превратилась в неразрешимую гротескную загадку, какую может задать лишь призрачный учитель в дымчатом кошмаре болезненного бреда. Сперва ей все казалось, что муж умер, а ей лгут, желая успокоить, будто он лишь изменил.

Ей помнилось, что она поцеловала его в лоб перед уходом — в тот далекий уже вечер, а потом он сказал: “Нужно будет все-таки завтра об этом спросить доктора Ламперта. А то она все чешется”.

Это были его последние слова в этой жизни, простые, обыденные слова — о легкой сыпи, появившейся у Ирмы на шее, — и после этого он исчез.

Через несколько дней сыпь от цинковой мази прошла, — но не было на свете такой мази, от которой бы смягчилось, стерлось воспоминание — его большой матовый лоб, легкое похлопывание пальцев по карману в тот момент, когда он подходит к двери.

Она так первые дни плакала, что прямо удивлялась, как это слезные железы не иссякнут, — и знают ли физиологи, что человек может из своих глаз выпустить столько соленой воды? Тогда приходило на память, как она с мужем купала маленькую дочку в ванночке с морской водой однажды летом, проведенном на итальянском побережье, — и вдруг показалось, что можно наплакать как раз такую ванночку и выкупать в ней даже сопротивляющегося великана.

То, что он бросил Ирму, казалось ей еще чудовищнее, чем то, что он ушел от нее самой. А не попытается ли он похитить дочь? Правильно ли они сделали, послав Ирму с бонной в деревню? Поль отвечал, что правильно, и уговаривал ее тоже туда поехать, но она и слышать не хотела. Хотя она и чувствовала, что никогда не сможет простить (не потому, что он унизил ее, — она была слишком горда, чтобы такое могло ее задеть, — а потому, что унизился сам), Элизабет ждала изо дня в день, что откроется дверь и войдет ее муж — бледный, как Лазарь, с опухшими и влажными голубыми глазами, в превратившейся в лохмотья одежде, с протянутыми руками.

Большую часть дня она проводила в какой-нибудь случайной комнате — иногда даже в прихожей — в любом месте, где ее настигал густой туман задумчивости, — и тупо вспоминала ту или иную подробность супружеской жизни. И вот уже ей казалось, что муж изменял ей всегда. Она припоминала и понимала (как человек, выучивший новый язык, может вдруг внезапно вспомнить, что видел когда-то, когда еще не знал его, книгу, на нем написанную) смысл алых пятен — липкие следы алых поцелуев, — увиденных как-то на носовом платке мужа.

Поль старался отвлечь Элизабет, как умел, от ее мыслей. Он никогда не упоминал Альбинуса. Он даже пожертвовал своими излюбленными привычками — например, перестал

проводить воскресное утро в турецких банях. Он приносил ей журналы и романы, вспоминал с нею детство, покойных родителей и светловолосого брата, убитого на Сомме, музыканта и мечтателя.

Однажды, в жаркий летний день, он повез ее в парк, и там они смотрели на обезьянку, которая, улизнув от гулявшего с ней господина, забралась в самую гущу высокого вяза. Ее маленькая черная мордочка, окаймленная серым пушком, выглядывала из зеленой листвы, а потом пропала, и вдруг ветка, находящаяся несколькими метрами выше, заскрипела и затряслась. Хозяин тщетно старался сманить ее вниз то тихим свистом, то желтизной большого банана, то сверканием карманного зеркальца.

— Не вернется, это безнадежно, никогда не вернется, — сказала чуть слышно Элизабет и внезапно разрыдалась.

13

Сдвинув вытянутые ноги, Марго лежала навзничь на платиновом песке; над головой — одно лишь темно-синее небо; ее руки и ноги отливали медовой коричневостью, а белый резиновый поясок четко выделялся на фоне черного трико: идеальный пляжный рекламный плакат. Лежа рядом с ней и облокотясь на песок, Альбинус неотрывно с восхищением смотрел на гладкий лаковый блеск ее зажмуренных глаз и только что накрашенный рот. Ее мокрые темные волосы были откинуты со лба, раковины маленьких ушей мерцали песчинками. Стоило присмотреться вблизи, и оказывалось, что вокруг ямок на ее шоколадных лоснящихся плечах заметно какое-то особое сияние. Туго сидящий, придававший ей сходство с тюленем черный костюм был ей слишком короток и держался, как говорится, на честном слове.

Альбинус высыпал из ладони горсть легкого песка, который медленно, словно из колбы песочных часов, падал на ее втянутый живот. Марго открыла глаза, замигала от серебристо-голубого сияния, улыбнулась и зажмурилась снова.

Погодя она приподнялась и замерла в сидячем положении, обхватив колени. Теперь он видел ее голую спину, блеск приставших к хребту песчинок. Он осторожно смахнул их. Кожа у нее была горячая, шелковистая.

— Боже, — проговорила Марго, — какое сегодня голубое море!

Оно было действительно очень голубое: пурпурно-синее издалека, переливчато-синее, если подойдешь к нему ближе, алмазно-синее на блестящей крутизне волны. Она поднималась, пенясь, стремительно неслась к берегу, вдруг приостанавливалась и, отступая, оставляла за собой гладкое зеркало на мокром песке, на которое тут же набегала уже следующая волна. Волосатый мужчина в оранжевых трусах стоял у самой воды и протирал очки. Маленький мальчик взвизгнул от восторга, когда пена заполнила стены возведенной им крепости. Веселые пляжные зонтики и полосатые тенты стремились, казалось, выразить в цвете ту же гамму настроений, что крики купальщиков сообщали прислушивающемуся уху. Откуда ни возьмись прилетел большой, разноцветный мяч и со звоном заскакал по песку. Марго ухватила его, встала и бросила его кому-то.

Теперь Альбинус видел ее фигуру, обрамленную веселым узором пляжа; узор этот он едва ли мог различить, настолько пристально сосредоточил свой взгляд на Марго. Стройная, солнечно-шоколадная, с темной прядью вдоль уха, с вытянутой после броска рукой в сверкающей браслетке, она виделась ему как некая изысканно раскрашенная виньетка, открывающая первую главу его новой жизни.

Она близилась, он лежал ничком (розовые, обгоревшие до волдырей плечи накрыты полотенцем) и наблюдал, как передвигаются ее маленькие ступни. Марго нагнулась над ним и, весело крякнув, игривым берлинским жестом хватила его по хорошо набитым трусам.

— Вода мокрая, мокрая! — крикнула она и побежала вперед, навстречу прибою, вихляя бедрами и раскинув руки, проталкиваясь сквозь едва доходящую до колен воду, а потом опустилась на четвереньки, попробовала плыть, но захлебнулась и быстро встала, пошла дальше, погрузив-

шись уже по живот в пену. Альбинус с плеском устремился за ней. Она со смехом обернулась к нему, плюясь и отводя мокрые волосы с глаз. Он попытался утянуть ее под воду, ухватил за лодыжку, и она стала визжать и лягаться.

Англичанка, лениво развалившаяся в шезлонге под розовато-лиловым тентом и читавшая “Панч”, обратившись к мужу, сидевшему на корточках на песке, краснолицему человеку в белой шляпе, сказала:

— Взгляни на того немца, что возится с дочерью. Не ленись, Уильям, пойди поплавай с детьми.

14

Потом, в цветистых халатах, они поднимались кремнистой тропой, наполовину затянутой утесником и дроком. Небольшая, но за крупные деньги нанятая вилла белела, как сахарная, сквозь черноту кипарисов. Через гравий перемахивали крупные красивые кузнечики. Марго старалась их поймать; присев на корточки, она осторожно приближала пальцы, но углами поднятые лапки кузнечика вдруг вздрагивали, и, выпустив веерные голубые крылья, насекомое перелетало на три сажени дальше и, приземлившись, тут же исчезало бесследно.

В прохладной комнате, где пол был устлан красной плиткой, а решетчатые отражения жалюзи, вызвав рябь в глазах, ложились ровными разноцветными линиями у ваших ног, Марго, как змея, высвобождалась из темной чешуи купального костюма и ходила по комнате в одних туфлях на высоких каблуках, смачно поедая сочащийся соком персик, и солнечные полоски от жалюзи проходили по ее телу.

Вечерами были танцы и казино. Море казалось бледным на фоне раскрасневшегося неба, и празднично светили огни проплывавшего мимо парохода. Неловкий мотылек вертелся вокруг розового абажура, а Альбинус танцевал с Марго. Ее гладко причесанная голова едва доходила до его плеча.

Очень скоро по приезде возникли новые знакомства. Альбинус сразу чувствовал гнетущую унизительную ревность, наблюдая за тем, как тесно Марго прижимается к партнеру, и зная, что у нее под тонким платьем ровно ничего не надето, даже подвязок: замечательный загар заменял ей чулки. Иногда Альбинус терял ее из виду и тогда вставал и, стуча папиросой о крышку портсигара, шел наугад, попадал в какую-то залу, где играли в карты, на террасу, а потом снова в залу, уже с отвратительной уверенностью, что она ему где-то изменяет. Вдруг она появлялась неизвестно откуда и садилась возле него в своем нарядном переливчатом платье и щедро отхлебывала из бокала вино, и он, умолчав о своих опасениях, судорожно гладил ее под столом по голым коленкам, стукавшимся друг о дружку, когда она, слегка откинув стан (чуть-чуть истерично, думал он), хохотала над смешными (но не слишком) замечаниями своего последнего по счету партнера.

К чести Марго следует сказать, что она прилагала все усилия, чтобы оставаться Альбинусу совершенно и безусловно верной. Вместе с тем, как бы нежно и изощренно он ее ни ласкал, Марго постоянно чувствовала какой-то недочет, зная, что, будучи с ним, она может рассчитывать лишь на любовь минус нечто, в то время как малейшее прикосновение ее первого любовника воспринималось ею как все плюс бесконечность. К несчастью, молодой австриец, лучший танцор в Сольфи и первоклассный игрок в пинг-понг в придачу, был чем-то похож на Миллера — прикосновением сильных пальцев, пристальным, слегка насмешливым взглядом, постоянно напоминавшим ей о том, что она предпочла бы позабыть.

Однажды душной ночью между двумя танцами она оказалась рядом с ним в темном углу сада. От росшей рядом смоковницы воздух пропитался сладковатым ароматом, и была та очень банальная смесь лунных лучей и далекой музыки, которая так действует на простые души.

— Ах нет, — прошептала Марго, чувствуя, как его губы гуляют по ее шее и по щеке, а умные руки крадутся вдоль ног.

— Не надо, — еле выдохнула она, и тут же закинула голову, жадно отвечая на его поцелуй, и он при этом так пронырливо ее ласкал, что она почуяла, что последние силы ее покидают, — однако вовремя вырвалась и побежала к ярко освещенной террасе.

Этого больше не повторилось. Марго так влюбилась в тот образ жизни, который мог дать ей Альбинус, — жизни, полной роскоши первоклассных фильм, с колышимыми ветром пальмами и подрагивающими розами (ведь в Фильмландии почему-то всегда ветрено), — и она так боялась все это мигом утратить, что не смела рисковать и даже как будто лишилась на время главного, может быть, свойства своего — самоуверенности. Самоуверенность, впрочем, сразу вернулась к ней, как только они осенью оказались опять в Берлине.

— Да, это, конечно, превосходно, — сухо сказала она, окидывая взглядом отличный номер в отличной гостинице, — но ты понимаешь, Альберт, что это не может так продолжаться.

Альбинус, одевавшийся, чтобы спуститься обедать, поспешил ответить, что уже принял меры к снятию квартиры.

"Что он меня, дурой, что ли, считает?" — думала она с чувством сильнейшей к нему неприязни.

— Альберт, — сказала она вслух. — Ты, похоже, не понимаешь. — Она глубоко вздохнула и закрыла лицо руками. — Ты стыдишься меня, — сказала она, глядя сквозь пальцы на Альбинуса.

Он хотел весело обнять ее.

— Не тронь! — крикнула она, энергично отталкивая его локтем. — Мне прекрасно известно, как ты боишься быть увиденным со мной на улице. Если ты меня стыдишься, можешь меня бросить и вернуться к своей Лиззи, пожалуйста, пожалуйста...

— Перестань, любимая, — беспомощно молил Альбинус.

Она бросилась на диван, и ей удалось зарыдать.

Альбинус, подтянув штанины, опустился на колени и пытался осторожно касаться ее плеча, которым она дергала всякий раз, как он приближал пальцы.

— Чего же ты хочешь? — спросил он тихо. — А, Марго?

— Я хочу жить открыто, у тебя, у тебя, — произнесла она, захлебываясь. — На твоей собственной квартире — и видеть людей...

— Хорошо, — сказал он, вставая и отряхивая колени.

("А через год ты на мне женишься, — подумала Марго, продолжая уютно всхлипывать. — Женишься, если, конечно, я к тому времени не буду уже в Холливуде — тогда я тебя к черту пошлю".)

— Умоляю тебя больше не плакать! — воскликнул Альбинус. — А то я сам зареву.

Марго села и жалобно улыбнулась. Слезы на редкость красили ее. Лицо пылало, глаза лучились, на щеке дрожала чудесная слеза: он никогда прежде не видел таких больших и блестящих слез.

15

Точно так же, как он теперь никогда не говорил ей об искусстве, в котором Марго не понимала ни аза, Альбинус не открыл ей мучительных чувств, которые ему довелось испытать в первые дни жизни с ней в комнатах, где он провел с женой десять лет. Всюду были вещи, напоминавшие ему Элизабет, ее подарки ему, его подарки ей. В глазах у Фриды он прочел хмурое осуждение, а через неделю, презрительно выслушав во второй или третий раз крикливую брань Марго, она тотчас съехала.

Спальня и детская укоризненно, трогательно и чисто глядели в глаза Альбинусу — особенно спальня, ибо из детской Марго живо сделала голую комнату для пинг-понга. Но спальня... В первую ночь там Альбинусу все казалось, что он чует легкий запах жениного одеколона, и это втайне смущало и связывало его, и Марго в ту ночь издевалась над его неожиданной расслабленностью.

Первый телефонный звонок был невыносим. Звонил старый знакомый, спрашивал, весело ли было в Италии,

хорошо ли поживает Элизабет, не склонна ли она пойти в воскресенье утром на концерт с его женой?

— Между прочим, мы временно живем отдельно, — с трудом проговорил Альбинус. («Временно», — насмешливо подумала Марго, вертясь перед зеркалом и пытаясь осмотреть в нем свою спину, которая, отгорая, из шоколадной стала золотистой.)

Слух о перемене в его жизни распространился очень быстро, хотя он наивно полагал, будто никто не знает, что его любовница живет вместе с ним; он принимал обычные меры предосторожности, когда они стали приглашать к себе гостей, и Марго уходила вместе со всеми, — но через каких-нибудь десять минут возвращалась.

Ему доставляло невеселое развлечение наблюдать, как постепенно из вопросов знакомых исчезало упоминание о его жене, как иные переставали у него бывать, в то время как другие, немногочисленные, но последовательные любители взять взаймы, оставались на удивление любезны и сердечны, как богемная публика старалась делать вид, точно ничего не случилось; были, наконец, и такие — преимущественно коллеги-ученые, — которые по-прежнему охотно навещали его, но бывали они у него неизменно без своих жен, среди которых распространилась странная эпидемия головной боли.

Он скоро освоился с присутствием Марго в этих полных воспоминаний комнатах. Стоило ей переменить извечное положение любого незаметнейшего предмета, как данная комната сразу лишалась знакомой души, воспоминание испарялось навсегда, все упиралось лишь в то, сколько у нее уйдет времени, чтобы прикоснуться ко всему, но, поскольку пальцы у нее были шустрые, через пару месяцев его прошлое вымерло вовсе в этих двенадцати комнатах, — и квартира была, может быть, очень хороша, но уже ничего общего не имела с той, в которой он жил с женой.

Однажды, когда в поздний час после бала он Марго купал, она, стоя в наполненной водой ванне, развлекалась, наступая ногой на огромную губку (причем пузыри поднимались вверх, словно в бокале с шампанским), и тут она

неожиданно спросила, не думает ли он, что из нее вышла бы фильмовая актриса. Он засмеялся, ничего не соображая, настолько его мысли были заняты иными, приятными ожиданиями, и сказал:

— Конечно, а почему бы и нет?

Через несколько дней она опять вернулась к этой теме, причем выбрала минуту, когда у Альбинуса ясней работала голова. Он порадовался ее любви к кинематографу и стал развивать перед ней некоторые излюбленные свои теории о преимуществах и недостатках фильмы немой и фильмы-говоруньи.

— Звук, — заявил он, — погубит кинематограф.

— Как снимаются? — спросила она, перебив его на полуслове.

Он предложил как-нибудь ее повести в ателье, все показать, все объяснить. Дальше события стали развиваться очень быстро.

“Что я делаю, стоп, стоп, — как-то утром сказал себе Альбинус, вспомнив, что накануне обещал финансировать фильму, затеянную режиссером средней руки, при условии, что Марго дана будет вторая женская роль, роль покинутой невесты. — Нехорошо, — продолжал он мысленно. — Там всякие матовые актеры, всякое женолюбивое хамье, и выйдет глупо, если я буду ходить за ней по пятам. А с другой стороны, — утешал он себя, — ей необходима какая-нибудь забава, и меньше будет ночных шатаний по танцам, если ей придется вставать спозаранку”.

Контракт был заключен, и скоро начались репетиции. Марго жаловалась, что ее заставляют повторять одно и то же движение по сто раз, что режиссер на нее орет, что она слепнет от света огромных ламп. Ее утешало только одно: исполнительница (довольно известная) главной роли Дорианна Каренина относится к ней очаровательно, хвалит ее, предсказывает чудеса. (“Дурной знак”, — подумал Альбинус.)

Она потребовала, чтобы он не присутствовал на съемках, что, мол, стесняет ее, да и сюрприза не выйдет, если

все будет известно заранее, — а Марго нравилось удивлять окружающих сюрпризами. Зато дома он не раз подсматривал, чрезвычайно умиляясь, как она перед трюмо принимает трагические позы; скрипучая половица как-то выдала его, и она запустила в него красной подушкой, и пришлось клясться, что он ничего не видел.

Он отвозил ее в ателье, потом за ней заезжал. Однажды ему сказали, что это продолжится еще два часа, и он отправился погулять и невзначай попал в район, где жил Поль. Внезапно ему страстно захотелось увидеть свою бледную, некрасивую дочку — в это время она обычно возвращалась из школы. Когда он заворачивал за угол, ему вдруг показалось, что вон там она идет с бонной, он почувствовал страх и быстро ушел.

В тот день Марго вышла из ателье розовая, смеющаяся: она играла прелестно, просто прелестно, — и съемки подходили к концу.

— Знаешь что? — сказал Альбинус. — Я Дорианну приглашаю на ужин. Да, большой ужин, интересные гости. Вчера мне звонил один художник, вернее, карикатурист, который, знаешь, рисует всякую всячину — и очень смешно. Он только что приехал из Нью-Йорка, и говорят, что он гений своего дела. Я и его приглашу.

— Только я буду сидеть рядом с тобой, — сказала Марго.

— Хорошо, но помни, мое сокровище, я не хочу, чтобы все знали, что ты у меня живешь.

— Ах, это все знают, глупый, — сказала Марго и вдруг нахмурилась.

— Ты пойми, это ведь тебе неловко, а не мне, — разъяснял ей Альбинус. — Мне-то, конечно, все равно, но для себя же, сделай, пожалуйста, опять как прошлый раз.

— Но это глупо... И главное, вообще этих неприятностей можно было бы избежать.

— То есть как — избежать?

— Если ты не понимаешь... — начала она. («Когда же, собственно, он наконец заговорит о разводе?» — подумала она.)

— Будь благоразумна, — сказал Альбинус примирительно. — Я делаю все, что ты хочешь. Ты же прекрасно знаешь, киска...

К этому времени у него уже скопился небольшой зверинец из ласкательных прозвищ.

16

Все было как следует. На лакированном подносе в прихожей лежало некоторое число предусмотрительно подготовленных записок, на которых имена ожидаемых гостей объединялись в пары, чтобы каждый знал, с кем сядет рядом за ужином: доктор Ламперт — Соня Гирш, Аксель Рекс — Марго Петере, Борис фон Иванов — Ольга Вальдгейм и т.д. Представительный буфетчик (недавно поступивший) с лицом английского лорда (так, по крайней мере, находила Марго, иногда останавливавшая на нем взгляд, не лишенный некоторой симпатии) величаво встречал гостей. Через каждые несколько минут раздавался звонок. В гостиной было уже пять человек, не считая Марго. Вот явился Иванов — "фон" Иванов, ибо он полагал, что достоин, чтобы к нему именно так обращались. Он был худощав, лицом чем-то напоминал хорька, отличался гнилыми зубами и носил монокль. Вот явился писатель Баум, толстый, румяный, суетливый человек с сильными прокоммунистическими симпатиями и солидным доходом, с женою, стареющей, хорошо сложенной дамой, плававшей, в дни мутной юности своей, в стеклянном бассейне среди дрессированных тюленей.

Разговор в гостиной был уже довольно живой. Ольга Вальдгейм, белорукая полногрудая певица с волосами цвета апельсинового конфитюра и конфетной мелодичностью модуляций в голосе, рассказывала, как обычно, комичные истории о своих персидских кошках, которых у нее было полдюжины. Альбинус стоял, посмеиваясь, и, через белый бобрик старого Ламперта (прекрасного ларинголога и посредственного скрипача), посматривал на Марго: черное с

тюлем платье с бархатно-оранжевой георгиной на груди очень ей, милой душке, шло. Сдержанная и туманная улыбка застыла на ее ярко накрашенных губах: похоже, она не вполне понимала, не морочит ли собеседник ей голову, — а в глазах у нее было особое ланье выражение, означавшее — и Альбинус прекрасно это знал, — что она ни слова не понимает из того, что ей рассказывает Ламперт: в данный момент тот развивал свои соображения о музыке Гиндемита.

Вдруг Альбинус заметил, что она жарко покраснела и встала. "Какая глупенькая... Зачем так вскакивать?" — подумал он. Входило сразу несколько человек: Дорианна Каренина, Аксель Рекс и двое малоизвестных поэтов.

Дорианна обняла и расцеловала Марго, у которой замечательно блестели глаза, как бывало во время плача. "Какая глупенькая, — подумал он опять. — Почему она так преклоняется перед этой бездарной актриской?"

Дорианна, впрочем, славилась своими плечами, Джиокондовой улыбкой и хриплым гренадерским голосом.

Альбинус шагнул к Рексу, который, видимо, не знал, кто здесь хозяин, и потирал руки, как будто их намыливал.

— Я очень рад вас видеть у себя, — сказал Альбинус. — Знаете, я вас представлял совсем не таким — полным коротышкой в роговых очках, хотя, с другой стороны, ваше имя всегда напоминало мне о секире. Дамы и господа, перед вами человек, рассмешивший два континента. Давайте же надеяться, что он возвратился в Германию навсегда.

Рекс, перемигивая, стоял и делал маленькие кивки, продолжая намыливать ладони. Он щеголял роскошным костюмом, который казался как бы не в масть среди дурно скроенных немецких смокингов.

— Садитесь, пожалуйста, — сказал Альбинус.

— Не встречалась ли я где-нибудь с вашей сестрой? — спросила Дорианна своим милым баском.

— Моя сестра, увы, на небесах, — ответил Рекс мрачновато.

— Ах, извините меня, — еле выговорила Дорианна.

— Она еще не родилась, — добавил тот, берясь за стул рядом с Марго.

Взгляд довольно посмеивающегося Альбинуса опять вернулся к ней. Она как-то по-детски наклонилась к соседке — некрасивой, по-матерински заботливой художнице-кубистке Соне Гирш — и, слегка сгорбившись, со слезами на глазах, часто-часто моргая, говорила что-то. Он сверху видел ее маленькое пурпурное ухо, жилку на шее, нежную раздвоенную тень на груди. Лихорадочно и торопливо Марго несла совершенную околесицу и все прижимала ладонь к пылающей щеке.

— Мужская прислуга меньше ворует, — лепетала она. — Конечно, большую картину так просто не унесешь. Я прежде очень любила картины со всадниками, но когда видишь слишком много картин...

— Фрейлейн Петере, — обратился к ней Альбинуе, пытаясь отвлечь и успокоить, — познакомьтесь с человеком, рассмешившим два...

Марго судорожно обернулась и сказала:

— Ах, здравствуйте!

Рекс поклонился и, обратившись к Альбинусу, спокойно сказал:

— На борту парохода я читал вашу превосходную статью о Себастьяно дель Пиомбо. Вы напрасно только не привели его сонетов.

— Они прескверные, — ответил Альбинуе.

— Вот именно, — согласился Рекс, — но как раз это и пикантно.

Марго стремительно вскочила со стула и бросилась навстречу последней гостье — длинноногой, засушенной особе, напоминавшей общипанную орлицу. Марго брала у нее уроки красноречия.

На ее место пересела Соня Гирш и обратилась к Рексу:

— Как вы оцениваете работы Кумминга? Я имею в виду его последнюю серию, виселицы и фабрики, знаете?

— Дрянь, — сказал Рекс.

Раскрылась дверь в столовую. Мужчины стали глазами искать своих дам. Рекс немного отстал. Альбинуе, уже взяв

под руку Дорианну, посмотрел, ища Марго. Она мелькнула далеко впереди, среди плывущих в столовую пар.

“Нынче она не в ударе”, — подумал он обеспокоенно и передал свою даму Рексу.

Уже за омаром разговор в том конце стола, где сидели (этот ряд имен лучше всего разместился бы в круглых скобках) Дорианна, Рекс, Марго, Альбинус, Соня Гирш и Баум, сделался громким, но каким-то разнобоким. Марго одним глотком опорожнила третий бокал вина и теперь сидела очень прямо, сияющими глазами глядя перед собой. Рекс, не обращая внимания ни на нее, ни на Дорианну, имя которой его раздражало, спорил наискосок через стол с писателем Баумом о приемах художественной изобразительности. Он говорил:

— Беллетрист толкует, например, об Индии, где вот я никогда не бывал, и только от него и слышно, что о баядерках, охоте на тигров, факирах, бетеле, змеях: Тайна Востока. Но что же получается? Ничего. Получается то, что никакой Индии я перед собой не вижу, а только чувствую воспаление надкостницы от всех этих восточных сладостей. Но есть и другая возможность — другой беллетрист, к примеру, пишет: “Я выставил на ночь мокрые сапоги, а утром на них уже вырос голубой лес” (— Плесень, сударыня, — объяснил он Дорианне, которая поднимала одну бровь), — и сразу Индия для меня как живая, — остальное я уж сам соображу.

— А вот йоги делают удивительные вещи, — сказала Дорианна. — Они умеют так дышать, что...

— Но позвольте, милостивый сударь, — взволнованно кричал Баум, ибо он только что написал пятисотстраничный роман, действие коего протекало на Цейлоне, где он только что провел аж две недели в солнцезащитном шлеме, — нужно же осветить всесторонне, основательно, чтобы всякий читатель понял. Важно не то, какую книгу пишешь, а какая проблема в ней ставится — и решается. Если уж я взялся описывать тропики, то обязан, конечно, подойти с самой важной стороны, то есть... со стороны

эксплуатации, жестокости белого колониста. Если вам не безразличны судьбы многих и многих миллионов...

— Мне они безразличны... — сказал Рекс.

Марго, глядя прямо перед собой, коротко рассмеялась, — и смех ее, как почему-то казалось, не имел ничего общего с разговором. Альбинус, углубившийся в обсуждение последней выставки с по-матерински заботливой кубисткой, искоса взглянул на свою юную любовницу. Да, больно уж много она выпила. Как раз в тот момент, когда он на нее посмотрел, она хлебнула из его бокала. "Какая-то она сегодня особенно детская", — подумал он и под столом коснулся ее колена. Марго некстати засмеялась и швырнула через стол алой гвоздикой в старичка Ламперта.

— Я не знаю, господа, как вы относитесь к Удо Конраду, — сказал Альбинус, проникая в грозивший столкновением разговор. — Мне кажется, что писатель такого типа, для которого характерны исключительное видение и божественный стиль, мог бы прийтись вам по вкусу, герр Рекс, и пусть он не великий писатель, он все же — в данном пункте я солидаризируюсь с вами, герр Баум, — с презрением относится к социальным проблемам, которые, в наш век общественной нестабильности, выглядят постыдными и — позвольте мне даже добавить — греховными. Я часто встречался с ним в студенческие года — мы оба тогда учились в Гейдельберге, — да и потом мы виделись от случая к случаю. На мой взгляд, лучшая его книга — "Трюк исчезновения", первую главу которой он, кстати сказать, прочел здесь, за этим столом... то есть я хочу сказать, за похожим столом, и, знаете ли...

После ужина сидели развалясь, в креслах, курили и пили ликеры. Марго появлялась то тут, то там, и за ней, как преданный пудель, покорно плелся один из малоизвестных поэтов. Она спросила, выдержит ли он, если прожигать ему папиросой дырку в ладони, и тут же принялась за дело, и поэт, покрывшись испариной, лишь улыбался, чтобы никто не усомнился в его героизме. Рекс, в конечном счете разошедшийся и поссорившийся с Баумом в углу библиотечной, подсел к Альбинусу, принялся ему описы-

вать Берлин, да так хорошо, что тот в его описании обрел черты волшебного живописного города; Альбинус даже обещал в его обществе побывать на какой-то аллее, взглянуть на какой-то мост и причудливо окрашенную стену.

— Очень сожалею, — сказал он, — но нам пока не удастся приступить к совместной разработке моей кинематографической идеи. Не сомневаюсь, что вы смогли бы сотворить чудеса, но, честно говоря, мне такая роскошь не по карману — во всяком случае, сейчас.

Наконец прошла по гостям та волна — сначала легкая, журчащая, затем колыхающаяся все шире, которая, взметнувшись пенистым вихрем прощальных приветствий, вмиг очистила от них дом.

Альбинус остался совершенно один. Воздух был мутно-сиреневый от сигарного дыма. Кто-то что-то пролил на турецкий столик, ставший совершенно клейким. Солидный, хотя и слегка утративший твердость в ногах буфетчик ("Если еще раз напьется, тут же его рассчитаю.") распахнул окно, и хлынула черная морозная ночь.

"Не очень удачный вечер", — подумал Альбинус и, зевая, снял смокинг.

17

— Некогда один человек, — сказал Рекс, когда они с Марго завернули за угол, — потерял бриллиантовую запонку в бескрайних просторах синего моря, и вот проходит двадцать лет, и в тот же самый день — предположим, в пятницу — он ест большую рыбу, но, увы, никакого бриллианта в ней не обнаруживает. Вот какие совпадения мне нравятся.

Марго семенила рядом, плотно запахнувшись в котиковое пальто. Рекс взял ее под локоть и заставил остановиться.

— Думал, никогда тебя больше не встречу. Как ты попала туда? Я прямо глазам своим не поверил, как любил говорить один слепой. Посмотри же на меня. Не уверен,

что ты стала большой красавицей, но мне ты все равно нравишься.

Марго вдруг всхлипнула и отвернулась. Он потянул ее за рукав — она отвернулась еще круче. Они закружились на месте.

— Ради Бога, ответь мне что-нибудь! Как тебе удобнее — ко мне или к тебе? Да что же, право, с тобой?

Она вырвалась и быстро пошла назад, к углу. Рекс последовал за ней.

— Да что же, в конце концов, с тобой? — повторил он недоуменно.

Марго ускорила шаг. Он снова настиг ее.

— Пойдем же ко мне, дура, — сказал Рекс. — Вот смотри, у меня здесь кое-что найдется... — Он вынул бумажник.

Марго ловко ударила его тыльной стороной руки по лицу.

— Кольцо у тебя колючее, — проговорил он спокойно и продолжал за ней идти следом, торопливо роясь в бумажнике.

Марго добежала до подъезда, начала отпирать дверь. Рекс попытался что-то сунуть ей в руку, но вдруг посмотрел на нее.

— Ах, вот оно что, — проговорил он, с удивлением узнав подъезд, из которого они только что вышли.

Марго, не оглядываясь, толкала дверь.

— Возьми же, — сказал он грубо и, так как она не брала, сунул ей то, что держал, за меховой воротник. Дверь бухнула бы ему в лицо, не будь она из числа строптивых, снабженных пневматическими устройствами. Он постоял, взял в кулак нижнюю губу, задумчиво ее потянул и погодя пошел прочь.

Марго в темноте добралась до первой площадки, но вдруг ослабела. Она опустилась на ступеньку и так зарыдала, как, пожалуй, еще не рыдала никогда, — даже тогда, когда он ее покинул. Что-то колючее касалось ее шеи, и, закинув руку, она нащупала шероховатую бумажку. Она нажала кнопку, ударил свет, и Марго увидела, что у нее в руке не деньги, а карандашный рисунок — девочка, видная

со спины, с голыми плечами и ногами, лежащая боком на постели, лицом к стене. А под рисунком стояла дата, изначально карандашная, но впоследствии обведенная чернилами, — это был тот день, месяц и год, когда он покинул ее. Недаром он велел ей не оглядываться: оказывается, он ее рисовал! Неужто прошло с тех пор всего только два года!

Тут со стуком потух свет, и Марго, прислонясь к решетке лифта, зарыдала снова. Она плакала о том, что он тогда ее бросил, о том, что он утаил от нее свое имя и свою известность в мире искусства, о том, что могла бы все это время быть с ним счастливой, если б тогда не ушел, — она плакала о том, что, останься он с ней, она избежала бы японцев, старика, Альбинуса. И еще она плакала о том, что давеча за ужином Рекс трогал ее за правое колено, а Альбинус — за левое, словно справа был рай, а слева — ад.

Она высморкалась в рукав, пошарила в темноте, опять нажала на кнопку. Свет ее немного успокоил. Она еще раз посмотрела на рисунок, подумала, решила, что, как он ни дорог ей, хранить его опасно, и, разорвав бумажку на клочки, бросила их сквозь решетку в лифтовый колодец. Это почему-то напомнило ей раннее детство. Затем она вынула зеркальце, напудрила быстрым кругообразным движением лицо, сильно натянув верхнюю губу, и, решительно хрустнув замком сумки, побежала наверх.

— Отчего так долго? — спросил Альбинус.

Он уже был в пижаме.

Затаив дыхание, она стала объяснять, что никак не могла избавиться от фон Иванова, который непременно хотел ее усадить в автомобиль и подвезти.

— Как у моей красавицы глаза блестят, — бормотал он. — Какая она у меня усталая, пышущая. Моя красавица сегодня много выпила.

— Нет, сегодня ничего не будет, — тихо возразила Марго.

— Но, крольчонок, прошу тебя, — молил Альбинус. — Я так этого ждал.

— Еще немножко подождешь. Сперва я хочу кое о чем тебя спросить. Скажи, ты уже начал хлопотать о разводе?

— О разводе? — повторил он, застигнутый врасплох.

— Я иногда не понимаю тебя, Альберт. Ведь нужно это все должным образом оформить. Или ты, может быть, думаешь через некоторое время бросить меня и вернуться к Лиззи?

— Бросить тебя?

— Что ты за мной, идиот, все повторяешь? Нет, пожалуйста, прежде чем лезть ко мне, объясни толком.

— Хорошо, хорошо, — сказал он. — Я в понедельник поговорю с моим поверенным.

— Наверное? Ты обещаешь?

18

Аксель Рекс был рад, что возвратился в свое прелестное отечество. В последнее время дела его шли вкривь и вкось. Как-то так вышло, что петли, на которых была повешена дверь, ведущая к удаче, заели, — и он махнул на нее рукой и бросил, как бросают в грязи сломавшийся автомобиль. Взять хотя бы размолвку с издателем, не сумевшим оценить его последнюю шутку, пусть та, конечно, и не предназначалась для того, чтобы ее воспроизводили. Вообще, вокруг него стала сгущаться обстановка скандала. К ней каким-то образом примешалась и некая богатая старая дева, и весьма сомнительная ("пусть и чрезвычайно забавная", подумал Рекс) денежная операция, и несколько пристрастная с ним беседа в инстанциях на тему о нежелательных иностранцах. Люди, подумалось ему, стали вести себя с ним крайне нелюбезно, но он готов был бы охотно им это простить. Смешно, что они готовы восторгаться его рисунками и тут же, буквально в следующую минуту, пытаются (в паре случаев подобные попытки оказались достаточно успешными) заехать ему кулаком в лицо.

Хуже всего было то, что его финансовое положение пошатнулось. Слава — отнюдь, конечно, не мирового масштаба, как утверждал вчера этот слабохарактерный олух, — но все же слава, приносила дивиденды, и деньги шли одно

время самотеком. Так что и сейчас, в Берлине, даже оказавшись без определенных занятий и плохо представляя себе, как строить дальше свою карьеру карикатуриста здесь, где люди пребывают еще на стадии острот о теще, у него водились бы деньги — пусть небольшие, — не будь он человеком азартным.

Не удивительно, что, будучи большим мастером по части блефа, он из всех карточных игр ставил выше всего покер и играл в него всякий раз, как находил себе партнеров, играл в него даже во сне — то ли с каким-нибудь историческим персонажем, то ли с дальним родственником, давно скончавшимся, о роли которого в своей реальной жизни он практически ничего не припоминал, и даже с людьми, которые — опять-таки в реальной жизни — наверное, недвусмысленно бы отказались находиться с ним в одной комнате. В этом же сне он видел, как собирает в пачечку сданные ему пять карт, смотрит первую — шут в колпаке и с бубенчиками; затем осторожным давлением большого пальца обнажает верхний край следующей, а затем еще одной и постепенно убеждается, что на руках у него пять джокеров. "Восхитительно", — думает он, нисколько не удивляясь тому, что их много, и делает первую ставку, которую Генрих Восьмой (с картины Гольбейна), у которого на руках четыре дамы, тут же удваивает. И тут он проснулся с покерным, невозмутимым лицом.

Утро было туманно-сумрачное, так что пришлось включить лампу на прикроватном столике. Застилавшая окно тюлевая дымка выглядела грязной. За такую плату (пусть и не факт, подумал он, что хоть что-то будет заплачено) могли бы дать номер и получше. Вдруг он ощутил приятный укол воспоминания о возбуждающей любопытство вчерашней встрече.

Любовные свои приключения Рекс, как правило, вспоминал без неги. Марго оказывалась исключением. За эти последние два года он часто ловил себя на том, что вспоминает о ней; и он часто с чувствительной грустью посматривал на сохраненный им быстрый карандашный эскиз;

это было странное для него чувство, потому что Аксель Рекс был, мягко говоря, циником.

Стремительно уехав из Германии юношей (накануне войны, очень удачно избегнутой), он оставил нищую, полоумную мать, которая на другой же день после его отъезда в Монтевидео упала в пролет лестницы и убилась насмерть. В детстве он обливал керосином и поджигал живых мышей, которые, горя, еще бегали, как метеоры. А уж в то, что он вытворял с кошками, лучше даже стараться не вникать. В зрелые же годы, когда развились его артистические дарования, Рекс находил более изощренные способы удовлетворения своего любопытства — не нездорового, болезненного, для которого предусмотрен соответствующий медицинский термин (ничего подобного и в помине не было), а просто бесстрастного, широкоглазого любопытства к тем рисункам на полях, которые жизнь поставляла его искусству. Ему нравилось помогать жизни обретать глуповатые очертания и беспомощно окарикатуриваться. Он терпеть не мог разыгрывать по отношению к окружающим злые шутки, он предпочитал, чтобы те происходили случайно и чтобы от него требовалось лишь чуть-чуть подтолкнуть колесо, а дальше бы события стремительно раскручивались сами собой. Обманывать окружающих доставляло ему удовольствие, — и чем меньше для этого требовалось усилий, тем более привлекательной выглядела шуточка. Но при всем при том этот опасный человек с карандашом в руке был очень тонким художником.

Дядя, оставшийся дома присмотреть за детьми, заявляет, что сейчас переоденется и развеселит их. Дети ждут и ждут, а дядюшки все нет. Тогда они спускаются вниз и видят человека в маске, прячущего в мешок столовое серебро. “Ах, дядя”, — кричат восхищенные дети. “Ну как, удачно я загримировался?” — спрашивает дядя, снимая маску. Так срабатывает относящийся к юмору гегелевский силлогизм. Тезис: дядя гримируется под взломщика (дети смеются); антитеза: это настоящий взломщик (читатель смеется); синтез: дядя оказывается настоящим (читатель обманут). Подобный сверхъюмор Рекс любил вводить в

свои произведения, и в этом, настаивал он, была принципиальная их новизна.

Великий мастер, стремясь лучше рассмотреть только что законченную фреску, пятится, отступая к самому краю лесов. Еще один шаг назад, и он рухнет вниз; кричать опасно, и тогда ученик, сохранивший присутствие духа, обливает из ведра шедевр. Ужасающе смешно! Но насколько смешнее дать увлеченному мастеру допятиться — и упасть в никуда, в то время как зрители ожидают спасительного вмешательства ведра. Искусство карикатуры, в понимании Рекса, основано (помимо его синтетической, строящейся на повторном обмане природы) на контрасте между жестокостью, с одной стороны, и доверчивостью, с другой. И если в реальной жизни Рекс бездейственно глядел, как слепой нищий, весело постукивающий своей палкой, собирается сесть на свежевыкрашенную скамейку, то он лишь набирался вдохновения для создания следующего своего рисунка.

Все это не относилось к чувствам, возбужденным в нем Марго. В ее случае, даже в смысле артистическом, художник в Рексе торжествовал над зубоскалом. Он даже слегка стыдился той радости, которую испытал, вновь найдя ее; собственно говоря, бросил-то он Марго лишь потому, что боялся слишком к ней привязаться.

Теперь прежде всего следовало установить, действительно ли она живет с Альбинусом. Он посмотрел на часы. Полдень. Он посмотрел в бумажник. Пусто. Рекс оделся и пешком направился к дому, где провел вчерашний вечер. Нежные снежинки падали размеренно и ровно.

Сам Альбинус открыл ему дверь и не сразу узнал вчерашнего гостя в этом убеленном снегом человеке. Но когда Рекс, вытерев ноги о мат, поднял лицо, Альбинус обрадовался чрезвычайно. Ему вчера понравились не только мастерская находчивость и непринужденность манер Рекса, но и его неподобная наружность: бледные впалые щеки, толстые губы и чудные черные волосы — урод уродом, но чем-то притягивающий к себе. Вместе с тем было приятно вспомнить, что Марго, обсуждая вчерашний ужин, сказала:

"У этого твоего дружка-художника отталкивающая морда — вот кого я ни за какие шиши не согласилась бы поцеловать". Любопытно было и то, что сказала о нем Дорианна. Рекс извинился, что явился незваный, и Альбинус в ответ добродушно засмеялся.

— Должен признаться, — сказал Рекс, — что вы один из немногих людей в Берлине, с которым мне хочется поближе познакомиться. В Америке мужчины дружатся легче и веселее, чем здесь, — я там привык не стесняться. Простите, если я вас шокирую, — но неужели вы считаете, что стоит терпеть эту аккуратненькую тряпичную куклу на вашем диване, если над ним висит полотно Рейсдейля? Кстати, вы разрешите посмотреть поближе ваши картины? Вон та, кажется, просто восхитительна.

Альбинус повел его по комнатам. В каждой из них — среди явных подделок — было какое-нибудь замечательное полотно. Рекс все восхищенно разглядывал. Интересно, подумал он, подлинное ли полотно Лоренцо Лотто с Иоанном в розовато-лиловом одеянии и плачущей Богоматерью. В его богатой приключениями жизни был период, когда он сам занимался подделкой картин и сумел сотворить кое-что примечательное в этом жанре. Семнадцатый век — вот его эпоха. Вчера вечером он разглядел среди картин, висящих в гостиной, старую подружку и сейчас вновь разглядывал ее с беспредельным удовольствием. Первоклассный Боген: мандолина поперек шахматной доски, рубиновое вино в бокале и белая гвоздика.

— Не находите ли, что смотрится изрядно современно? В ней есть, пожалуй, что-то сюрреалистическое, — сказал Альбинус, и в голосе его прозвучали любовные нотки.

— Вот именно, — сказал Рекс, глядя на картину и держа себя за кисть. Она действительно была современная: ведь он ее нарисовал всего каких-нибудь восемь лет назад.

Они прошли через коридор, где висел прекрасный Линар — цветы, на которые присела бабочка с глазчатыми крыльями. В это мгновение из ванной выскочила в ярко-желтом халате Марго. Она побежала в глубь коридора и чуть не потеряла туфлю.

— Сюда, — сказал Альбинус, смущенно посмеиваясь. Рекс последовал за ним в библиотечную.

— Если я не ошибаюсь, — сказал он с улыбкой, — это была фрейлейн Петере, — она ваша родственница?

“Чего тут дурака валять?” — быстро подумал Альбинус. Такого остроглазого человека не проведешь, — да и потом, разве нет в этом чего-то дерзкого, чуточку богемного?

— Моя любовница, — ответил он вслух.

Он предложил Рексу пообедать, и тот бодро согласился. Марго вышла к столу томная, но спокойная — возбуждение, с которым она вчера едва справилась, нынче смягчилось и засквозило чем-то похожим на счастье. Сидя между двух этих мужчин, между которыми делилась ее жизнь, она чувствовала себя исполнительницей главной роли в таинственной и страстной фильмовой драме и старалась вести себя подобающим образом: рассеянно улыбаясь, опускала ресницы, нежно клала ладони Альбинусу на рукав, прося его передать ей фрукты, и скользящим, “безразличным” взглядом окидывала прежнего своего любовника.

“Нет, теперь уж я его не отпущу”, — вдруг подумала она, и прелестная, давно уже не испытываемая дрожь пробежала по всему ее становому хребту.

Рекс говорил много, даже очень много. Среди рассказанных им забавных анекдотов была история с подвыпившим Лоэнгрином, который не успел сесть на лебедя и терпеливо ждал следующего. Альбинус расхохотался, но Рекс знал (и в этом была приватная пуанта его шутки), что тот понимает лишь одну ее половину, тогда как из-за второй ее половины Марго тем временем кусает губы. Рассказывая, он почти на нее не смотрел. А когда все же поглядывал, то она опускала взгляд, машинально проверяя глазом и даже легким движением пальцев то место, которое на миг затронул его взгляд.

— А мы скоро увидим кое-кого на экране, — сказал Альбинус, подмигнув.

Марго надула губы и слегка хлопнула его по руке.

— Вы актриса? — спросил Рекс. — Вот как. Где же вы снимаетесь?

Она объяснила, не глядя на него и испытывая большую гордость. Он известный художник, а она — кинозвезда, значит, оба как бы стоят теперь на одном уровне.

Рекс ушел сразу после обеда, прикинул мысленно, чем заняться, и отправился в игорный клуб. Флэш-рояль (какого у него уже давно не бывало) несколько его взбодрил. На следующий день он позвонил Альбинусу, и они вместе побывали на выставке архисовременных картин. Еще через день он у Альбинуса ужинал, а затем как-то забежал ненароком, но Марго не было дома, и ему пришлось вытерпеть длинную интеллектуальную беседу с Альбинусом, который проникался к нему все большей и большей симпатией. Рекс начинал изрядно сердиться. Наконец судьба над ним сжалилась и в качестве приятного подарка преподнесла матч хоккея в Спорт-Паласе.

Когда они втроем пробирались к ложе, Альбинус заметил плечи Поля и белобрысую косичку Ирмы. Нечто подобное могло произойти в любой день, но, пусть он постоянно был начеку и ждал такого, он в первое мгновение совершенно потерялся и, неловко повернувшись, сильно толкнул боком Марго.

— Полегче! — сказала она довольно резко.

— Вот что, — проговорил Альбинус, — вы садитесь, закажите кофе, а я должен... хм... пойти позвонить по телефону, — совсем вылетело из головы.

— Пожалуйста, не уходи, — сказала Марго и встала.

— Нет, дело срочное, — настаивал он, сутулясь, стараясь сделаться как можно меньше (Ирма меня видела или нет?). — Если меня задержат, не волнуйся. Извините, пожалуйста, Рекс.

— Я прошу тебя остаться, — тихо повторила Марго.

Но он не обратил внимания ни на ее странный взгляд, ни на румянец, ни на подергивание губ. Еще больше сгорбившись, он поспешно протискался к выходу.

Наступило минутное молчание, и Рекс глубоко вздохнул.

— Enfin seuis, — сказал он торжественно.

Они сидели рядом в своей дорогой ложе за чисто накрытым столиком. Внизу, сразу за барьером, ширилась огромная ледяная арена. Оркестр играл бьющий по ушам цирковой марш. Пустынный еще лед отливал маслянисто-сизым блеском. Воздух был одновременно и горячим, и холодным.

— Теперь ты понимаешь? — вдруг спросила Марго, сама едва зная, что спрашивает.

Рекс хотел было ответить, но тут вся исполинская зала затрещала рукоплесканиями. Он завладел под столиком ее маленькой горячей рукой. Марго почувствовала, что на глаза наворачиваются слезы, но руки не отняла.

На лед вылетела девушка в белом трико и короткой серебристой юбке, подол которой был украшен пухом, пробежала на носочках коньков и, разогнавшись, описала прелестную кривую, сделала пируэт, а затем, развернувшись, укатила прочь.

Ее блестящие коньки скользили молниеносно и резали лед с мучительным звуком.

— Ты меня бросил, — начала Марго.

— Да, но я же вернулся. Не реви, крошка. Ты давно с ним?

Марго попыталась заговорить, но в зале опять поднялся гул; она облокотилась на стол, придавив пальцами виски.

Под гогот, гам и гул голосов игроки неторопливо выезжали на лед: сперва шведы, затем немцы. Вратарь гостей, в ярком свитере и с огромными кожаными щитами на голенях, плавно полз к своим крохотным воротам.

— ...он собирается с ней разводиться. Ты понимаешь, как ты появился некстати...

— Какая чушь. Неужели ты думаешь, что он женится на тебе?

— А ты вот помешай, тогда не женится.

— Нет, Марго, он этого никогда не сделает.

— А я тебе говорю, что сделает.

Они неслышно шевелили губами, но так было кругом шумно, что в человеческом лае потонула их внезапная ссора. Толпа ревела от возбуждения, а там, на льду, ловкие

клюшки преследовали шайбу, били по ней, подцепляли ее или передавали друг дружке, а то и упускали и сцеплялись во время внезапного столкновения. Голкипер, охранявший свой пост, упруго ездил на месте, сжавши так ноги, что щиты сливались в одну поверхность.

— ...это ужасно, что ты вернулся. Ты же по сравнению с ним нищий. Боже мой, теперь я знаю, что все будет испорчено.

— Пустяки, пустяки, мы будем крайне осторожны!

— Я с ума схожу, — сказала Марго, — увези меня отсюда, из этого гула. Он, видно, уже не вернется, а если вернется, черт с ним.

— Пойдем ко мне. Ты должна пойти, не будь дурой. Ненадолго. Через час будешь уже дома.

— Замолчи. Я рисковать не намерена. Я обрабатываю его столько месяцев, а он только сейчас дозрел. Неужели ты всерьез ожидаешь, что я сейчас все просто так брошу?

— Он не женится, — сказал Рекс убежденно.

— Ты меня отвезешь домой или нет? — спросила она, едва не сорвавшись на крик, а в мыслях мелькнуло: “В таксомоторе дам ему себя поцеловать”.

— Господи, как это ты вынюхала, что у меня в кармане пусто?

— Ах, это видно по твоим глазам, — сказала она и прижала к ушам ладони, так как шум поднялся нестерпимый, — забили гол. Шведский вратарь лежал на льду, выбитая палка, тихо крутясь, скользила в сторону, словно потерянное весло.

— Знаешь, я тебе вот что скажу: не откладывай, Марго, не теряй даром времени. Это случится неизбежно — рано или поздно. Пойдем. Из моего окна открывается отличный вид, когда штора опущена.

— Еще одно слово, и я уеду домой одна.

Когда они протискивались мимо лож, обходя их сзади, Марго вдруг вздрогнула и сдвинула брови. На нее смотрел толстый господин в роговых очках — взгляд его выражал отвращение. Рядом с ним сидела девочка и, уставившись в огромный бинокль, следила за игрой.

— Обернись, — сказала Марго своему спутнику. — Видишь этого толстяка и девочку? Это его шурин и дочка. Понимаю, почему мой трус улизнул. Жалко, что я не заметила их раньше. Толстяк мне раз изрядно нагрубил, и если б ему кто-нибудь всыпал...

— А ты еще говоришь о браке, — прокомментировал Рекс, идя за ней вниз по лестнице. — Никогда он не женится. А теперь слушай, милочка. Хочу сделать тебе новое предложение. Последнее и окончательное.

— Что же ты предлагаешь? — спросила Марго недоверчиво.

— Я тебя, так уж и быть, отвезу домой, только за таксомотор, милочка, придется тебе заплатить.

19

Поль проводил ее взглядом, и складки жира у него на затылке стали при этом свекольно-красными. Добродушный от природы человек, он без колебаний проделал бы с Марго ту самую операцию, которой она готова была подвергнуть его самого. Он подивился, кто ее спутник и где Альбинус; он чувствовал, что тот где-то поблизости, и мысль о том, что девочка может внезапно его увидеть, была для него непереносима. Свисток судьи, означавший окончание игры, был большим облегчением; теперь можно было сбежать, прихватив с собой Ирму.

Когда приехали домой, Ирма выглядела усталой — только кивала на вопросы о матче и лучилась той особенной, слегка таинственной улыбкой, которая принадлежала к самым очаровательным ее свойствам.

— Самое удивительное, как они не устают так бегать по льду, — сказал Поль.

Элизабет задумчиво взглянула на него. Потом обратилась к дочке.

— Спать, спать, — сказала она.

— Ах, нет, — сонно возразила Ирма.

— Что ты, полночь. Как же можно?

— Скажи, Поль, — спросила Элизабет, когда девочку наконец удалось уложить, — у меня почему-то чувство, что произошло там что-то, мне было так беспокойно дома. Поль, скажи мне!

— Мне нечего сказать, — ответил он, покрывшись вдруг ярким румянцем.

— Никаких встреч? — настаивала она. — Наверное?

— Откуда ты взяла? — пробормотал он, основательно смущенный прямо какой-то телепатической впечатлительностью, которая развилась у Элизабет после расставания с мужем.

— Я всегда этого боюсь, — прошептала она тихо, склонив голову.

На другое утро Элизабет проснулась оттого, что бонна вошла в комнату, держа в руках градусник.

— Ирма больна, сударыня, — лихо объявила она. — Вот — тридцать восемь и пять.

— Тридцать восемь и пять, — повторила Элизабет, а в мыслях мелькнуло: “Ну вот, недаром я вчера беспокоилась”.

Она выскочила из постели и поспешила в детскую. Ирма лежала навзничь и блестящими глазами глядела в потолок.

— Там рыбак и лодка, — сказала она, показывая на потолок, где лучи лампы образовали какие-то узоры (было еще очень рано, и шел снег).

— Горлышко болит, моя лапочка? — спросила Элизабет, которой все никак не удавалось справиться со своим халатом. Потом она с беспокойством наклонилась к остренькому лицу дочери.

— Боже мой, какой лоб горячий! — воскликнула она, откидывая со лба Ирмы легкие, бледные волосы.

— И еще тростинки — одна, две, три, четыре тростинки, — тихо проговорила Ирма, по-прежнему глядя вверх.

— Надо позвонить доктору, — сказала Элизабет.

— Ах, сударыня, нет нужды, — возразила бонна. — Я дам ей горячего чаю с лимоном и аспирину. Все сейчас больны гриппом.

Элизабет постучала к Полю. Тот как раз брился, и так, с намыленными щеками, он вошел к Ирме. Поль постоянно умудрялся порезаться — даже безопасной бритвой, — и сейчас у него на подбородке расплылось сквозь пену ярко-красное пятно.

— Земляника со взбитыми сливками, — тихо произнесла Ирма, когда он нагнулся над ней.

Доктор явился под вечер, сел на край Ирминой постели и, глядя в угол, стал считать ее пульс. Ирма рассматривала белые волоски во впадине его мудрено устроенного уха и извилистую жилу на розовом виске.

— Так-с, — произнес доктор, посмотрев на нее поверх очков. Он велел ей сесть, и Элизабет помогла снять рубашку. Ирма была очень беленькая и худенькая, у нее сильно выпирали лопатки. Доктор приложил ей к спине стетоскоп, тяжело дыша и прося её дышать тоже.

— Так-с, — сказал он опять.

Потом он стал трамбовать ей стетоскопом грудь и щупать ледяными пальцами живот. Наконец он разогнулся, потрепал ее по головке, помыл руки, поправил засученные рукава рубашки, и Элизабет повела его в кабинет, где он, уютно усевшись, отвинтил колпачок своего самоструйного пера и стал писать рецепты.

— Да, грипп, — сказал он. — Повсеместно. Вчера даже отменили концерт. Заболела и певица, и ее аккомпаниатор.

На другое утро температура заметно понизилась. Зато Поль чувствовал себя скверно, хрипел и поминутно сморкался, однако отказался лечь и даже поехал, как обычно, в свою контору. Бонна тоже чихала.

Вечером, когда Элизабет вынула теплую стеклянную трубочку из-под мышки у дочери, она с радостью увидела, что ртуть едва перешла через красную черточку жара. Ирма прищурилась от света и потом повернулась к стенке. В комнате потемнело. Было тепло, уютно и немножко сумбурно. Она вскоре заснула, но проснулась среди ночи от ужасно неприятного сна. Хотелось пить. Ирма нащупала на столике рядом липкий стакан с лимонадом, выпила и

поставила обратно, почти без звона, тихо причмокивая губами.

В спальне было как будто темнее, чем обыкновенно. За стеной надрывно и как-то восторженно храпела бонна. Ирма послушала этот храп, а потом стала ждать дружеского рокота электрического поезда, который как раз вылезал из-под земли неподалеку от дома. Но рокота все не было. Вероятно, было слишком поздно, и поезда уже не шли. Она лежала с открытыми глазами, и вдруг донесся с улицы знакомый свист на четырех нотах. Так свистел ее отец, когда вечером возвращался домой, — просто предупреждая, что сейчас он и сам появится и можно велеть подавать ужин. Ирма отлично знала, что это сейчас свищет не отец, а человек, который вот уже недели две, как повадился ходить в гости к даме, жившей на четвертом этаже, — Ирме поведала об этом дочка швейцара и показала ей язык, когда Ирма резонно заметила, что глупо приходить так поздно. Она знала также, что не нужно распространяться об отце, который поселился отдельно со своей маленькой подругой, — это Ирма узнала из разговора двух дам, спускавшихся по лестнице впереди нее.

Свист под окном повторился. Ирма подумала: "Кто знает? Может быть, это все-таки отец? И его никто не впускает, и говорят нарочно, что это чужой".

Она откинула одеяло и на цыпочках подошла к окну. По дороге она толкнула стул, и что-то мягкое (ее слоник) с грохотом и писком упало, но бонна продолжала трубить как ни в чем не бывало. Когда она открыла окно, пахнуло чудесным морозным воздухом. На мостовой, в темноте, стоял человек и глядел вверх. Она довольно долго смотрела на него — к ее большому разочарованию, это не был отец. Человек все стоял и стоял. Потом он повернулся и ушел. Ирме стало жалко его. Она так закоченела, что едва хватило сил запереть окно. Вернувшись в постель, она никак не могла согреться. Наконец она уснула, и ей приснилось, что она играет с отцом в хоккей. Он улыбнулся, поскользнулся . и с размаху сел на лед, и с головы его свалился цилиндр, и тогда она тоже упала. Лед ужасно колол, а встать невоз-

можно, и к тому же ее клюшка, изогнувшись, словно гусеница, куда-то уползла.

Утром у нее было сорок и три десятых, лицо стало синевато-серым, и она жаловалась на боль в боку. Доктора вызвали немедленно.

У больной был пульс сто двадцать, грудь, выстукиваемая пальцем там, где было больно, издавала глухой звук, а стетоскоп обнаружил сухие хрипы. Доктор велел немедленно облечь ее в тугой компресс, назначил фенацетин и успокоительное. Элизабет вдруг почувствовала, что сходит с ума, что после всего происшедшего судьба просто не имеет права так ее мучить. С большим трудом она взяла себя в руки, когда прощалась с доктором. Перед уходом он еще раз заглянул к бонне, которая прямо сгорала от жара, но у этой здоровенной женщины ничего не было серьезного.

Поль проводил доктора до прихожей и простуженным голосом, стараясь говорить шепотом, спросил, грозит ли жизни Ирмы опасность.

— Я еще сегодня заеду, — ответил доктор, взвешивая слова.

"Все то же самое, — думал старик Ламперт, сходя по лестнице. — Те же вопросы, те же умоляющие взгляды". Он посмотрел в записную книжку и сел в автомобиль, громко захлопнув дверцу. Минут через пять он уже входил в другую комнату.

Альбинус встретил его в теплой шелковой куртке, которую он имел обыкновение надевать, работая в кабинете.

— Она со вчерашнего дня какая-то кислая, — сказал он озабоченно. — Жалуется, что все болит.

— Жар есть? — спросил Ламперт, думая о том, сказать ли этому обеспокоенному любовнику, что у его дочери пневмония.

— Нет, температуры как будто нет, — сказал Альбинус с тревогой в голосе. — Но я слышал, что грипп без температуры особенно опасен.

("К чему, собственно, рассказывать? — подумал Ламперт. — Семью он бросил без колебаний. Захотят — известят сами. Нечего мне соваться в это".)

— Ну, ну, — сказал Ламперт, вздыхая, — покажите мне нашу милую больную.

Марго лежала на кушетке, вся в шелковых кружевах, злая и розовая. Рядом сидел, скрестив ноги, Рекс и карандашом рисовал на исподе папиросной коробки ее прелестную голову.

("Прелестная, слов нет, — подумал Ламперт. — А все-таки в ней есть что-то змеиное".)

Рекс, посвистывая, ушел в соседнюю комнату, и Ламперт приступил к осмотру больной. Маленькая простуда — больше ничего.

— Посидите дома два-три дня, — сказал Ламперт. — Как у вас с кинематографом? Кончили сниматься?

— Ох, слава Богу, кончила! — ответила Марго, томно запахиваясь. — Но в следующем месяце будут нам фильму показывать, я непременно должна быть к тому времени здорова.

("С другой же стороны, — беспричинно подумал Ламперт, — он с этой шлюшкой погибнет".)

Когда врач ушел, Рекс вернулся к лежащей Марго и продолжал небрежно рисовать, посвистывая сквозь зубы. Альбинус стоял рядом, вскинув голову, и смотрел на ритмический ход его костистой белой руки. Потом он пошел к себе в кабинет дописывать статью о нашумевшей выставке.

— Приятная роль — быть другом дома, — сказал Рекс и усмехнулся.

Марго посмотрела на него и сердито проговорила:

— Да, я люблю тебя, такого урода, — но ничего не поделаешь, сам знаешь...

Он смял коробку, потом бросил ее на стол.

— Послушай, милочка, тебе ведь все-таки когда-нибудь придется ко мне прийти, это совершенно ясно. Мои визиты сюда, конечно, очень веселы и все такое, но таким весельем я уже сыт по горло.

— Во-первых, пожалуйста, говори тише, во-вторых, я вижу, ты будешь доволен только тогда, когда мы сделаем что-то дурацки неосторожное, а ведь он, если хоть что-то

заподозрит, меня убьет или выгонит из дому, и будем мы с тобой без гроша.

— Убьет... — усмехнулся Рекс. — Ну и богатая же у тебя фантазия!

— Ах, подожди немножко, я прошу тебя. Ты понимаешь, — когда он на мне женится, мне будет как-то спокойнее, свободнее. Из дома жену так легко не выгонишь. Кроме того, имеется кинематограф, — всякие у меня планы.

— Кинематограф, — усмехнулся Рекс снова.

— Да, вот увидишь. Я уверена, что фильма вышла чудная. Надо ждать. Мне так же невтерпеж, как и тебе, любимый.

Он пересел на край кушетки и обнял ее за плечо.

— Нет, нет, — сказала она, дрожа и жмурясь.

— Только один крохотный поцелуй.

— Самый-самый наикрохотный, — сказала она глухо.

Он нагнулся к ней, но вдруг стукнула дальняя дверь и послышались шаги Альбинуса — по ковру, по паркету, по ковру и снова по паркету.

Рекс хотел выпрямиться, но в тот же миг заметил, что шелковое кружево на плече у Марго захватило пуговицу на его обшлаге. Марго попыталась быстро распутать, Рекс рванул руку, кружево, однако, было плотно. Марго испуганно зашипела, теребя острыми ослепительными ногтями узел, — и тут вошел Альбинус.

— Нет, я не обнимаю фрейлейн Петерс, — невозмутимо сказал Рекс. — Я только хотел поправить подушку и, как видите, запутался.

Марго продолжала теребить кружево, не поднимая ресниц. Положение было чрезвычайно фарсовое, и Рекс наслаждался им до крайности.

Альбинус молча вынул толстый перочинный нож с дюжиной лезвий и приспособлений и открыл одно из них: это оказалась пилочка. Он открыл другое, сломав себе ноготь. Пародия прелестно продолжалась.

— Ради Бога, не зарежьте ее, — восторженно сказал Рекс.

— Пусти, — сказал Альбинус, но Марго крикнула:

— Не смей резать кружево, лучше отпороть пуговицу.

— Стоп, это ведь моя пуговица! — радостно завизжал Рекс.

Был миг, когда оба мужчины как бы навалились на нее. Рекс на всякий случай дернул опять, что-то треснуло, он освободился.

— Пойдемте ко мне в кабинет, — злобно сказал Альбинус.

"Ну-с, надо держать ухо востро", — подумал Рекс и вспомнил прием, который уже однажды помог ему обдурить соперника.

— Садитесь, пожалуйста, — нахмурившись, сказал Альбинус. — То, что я хочу сказать вам, очень важно. Это связано с выставкой "Белая ворона". Я хотел попросить вас мне помочь, видите ли, я заканчиваю довольно сложную и — гм — тонкую статью, и несколько выставившихся художников разношу в пух и прах.

("Эге,— подумал Рекс. — Так вот отчего ты такой хмурый! Мрачность мудрого ума? Муки вдохновения? Какая прелесть!")

— Мне хотелось бы, — продолжал Альбинус, — чтобы вы сделали иллюстрации к моей статье, нарисовали несколько карикатур, подчеркнув то, что я критикую, высмеяв цвет и композицию, — так же, как вы обошлись с Барцело.

— Я к вашим услугам, — сказал Рекс. — Но у меня тоже есть небольшая просьба. Видите ли, я жду гонорара из нескольких мест, но... сейчас приходится туговато. Вы могли бы выдать мне аванс? Пустяк — скажем, пятьсот марок?

— Ах, конечно, конечно. И больше, если хотите. И само собой разумеется, что вы должны назначить мне цену на иллюстрации.

— Это каталог? — спросил Рекс. — Можно посмотреть? Все женщины, женщины, — с нарочитой брезгливостью произнес он, разглядывая репродукции. — Женщины прямые, косые и даже с элефантиазисом...

— А с чего это вдруг женщины вас раздражают? — лукаво спросил Альбинус.

Рекс простодушно объяснил.

— Ну это, полагаю, дело вкуса, — сказал Альбинус, который гордился широтой своих взглядов. — Конечно, я не осуждаю вас. Это, знаете ли, часто встречается среди людей искусства. В лавочнике меня бы это покоробило, но живописец — другое дело, это, пожалуй, даже привлекательно, романтично. Романтические романские романы — чем не каламбур! Впрочем, должен вас заверить: вы очень много теряете.

— Благодарю покорно, для меня женщина — только безобидное млекопитающее и лишь иногда — милая компаньонка.

Альбинус рассмеялся:

— Ну, раз вы уж так разоткровенничались, и я должен вам кое в чем признаться. Эта актриса, Каренина, как увидела вас, сразу сказала, что вы к женскому полу равнодушны.

(“Неужто действительно так и сказала?” — подумал Рекс.)

20

Прошло несколько дней. Марго все еще покашливала и, будучи чрезвычайно мнительной, не выходила и, не имея какого-либо занятия — к чтению ее никогда не тянуло, — развлекалась тем, чему ее как-то научил Рекс: удобно расположившись среди павлиньего хаоса подушек, она листала телефонную книгу и звонила незнакомым людям, магазинам, фирмам. Она заказывала детские коляски, букеты лилий, радиоприемники, которые велела посылать по выбранным наугад адресам, дурачила добропорядочных граждан и советовала их женам быть чуточку менее доверчивыми, десять раз подряд звонила по одному и тому же номеру, доводя тем до исступления господ Траума, Баума и Кезебира. Ей довелось выслушать восхитительные

любовные признания и не менее восхитительные проклятья. Вошел Альбинус, остановился, глядя на нее с улыбкой и любовью и слушая, как она заказывает гроб для некой фрау Кирхгоф. Кимоно на груди распахнулось, она сучила ножками от озорной радости, а длинные глаза беспокойно бегали с предмета на предмет. Альбинус сейчас испытывал к ней страстную нежность и тихо стоял поодаль, боясь испортить ей забаву.

Теперь она рассказывала какому-то профессору Гримму вымышленную историю своей жизни и умоляла, чтобы он встретил ее в полночь, — профессор же на другом конце провода тягостно и тяжелодумно решал про себя, мистификация ли это или дань его славе ихтиолога.

Ввиду этих телефонных утех не удивительно, что Полю, вот уже полчаса, не удавалось добиться телефонного соединения с квартирой Альбинуса. Он пробовал вновь и вновь, и всякий раз — безжалостное жужжание.

Наконец он встал, почувствовал головокружение и тяжело сел опять: последние две ночи он не спал вовсе, чувствовал, что болен, что горе душит его; но не все ль равно, сейчас нужно исполнить свой долг, и поступить иначе невозможно. Судьба невозмутимым жужжанием как будто препятствовала его намерению, но Поль был настойчив: если не так, то иначе.

Он на цыпочках прошел в детскую, где было темновато и — несмотря на присутствие нескольких людей — очень тихо, глянул на склоненный затылок сестры, на гребень в ее волосах, на ее пуховый платок, — и вдруг, решившись, повернулся, вышел в прихожую, напялил пальто (мыча и задыхаясь от слез) и поехал звать Альбинуса.

— Подождите, — сказал он шоферу, сойдя на панель перед знакомым домом.

Он уже напирал на парадную дверь, когда сзади подоспел Рекс, и они вошли вместе. На лестнице они взглянули друг на друга, и в памяти пронеслось: влетающая в ворота шведов шайба и крики восторга.

— Вы к господину Альбинусу? — спросил Поль угрюмо.

Рекс улыбнулся и кивнул.

— Так вот что: сейчас ему будет не до гостей, я — брат его жены, я к нему с очень скверной вестью.

— Давайте передам? — гладким голосом предложил Рекс.

Поль страдал одышкой; он на первой же площадке остановился, исподлобья, по-бычьи, глядя на Рекса. Тот выжидательно замер, с любопытством рассматривая опухшее, заплаканное лицо своего спутника.

— Я советую вам отложить ваше посещение, — сказал Поль, сильно дыша. — У моего зятя умирает дочь. — Он двинулся дальше, и Рекс спокойно за ним последовал.

Слыша за собой нахальные шаги, Поль чувствовал, что его начинает душить мутная злоба, но он боялся, что астма помешает ему дойти, и потому сдерживался. Когда они добрались до двери квартиры, он повернулся к Рексу и сказал:

— Я не знаю, кто вы и что вы, — но я вашу настойчивость отказываюсь понимать.

— Меня зовут Аксель Рекс, и я — друг дома, — ласково ответил Рекс и, вытянув длинный белый указательный палец, позвонил.

“Ударить его?” — подумал Поль, и тут же мелькнула мысль: “Ах, не все ли равно... Только бы быстрей с этим покончить”.

Открыл невысокого роста седоватый слуга (английского лорда уже успели уволить).

— Доложите, — сказал Рекс со вздохом, — вот этот господин хочет видеть...

— Потрудитесь не вмешиваться! — перебил Поль и, стоя посреди прихожей, во всю силу легких позвал: — Альберт! — и еще раз: — Альберт!

Альбинус, увидя шурина, его перекошенное лицо, с разбегу поскользнулся и круто стал.

— Ирма опасно больна, — сказал Поль, стукнув об пол тростью. — Советую тотчас поехать.

Короткое молчание. Рекс жадно смотрел на обоих. Вдруг из гостиной звонко раздался голос Марго:

— Альберт, на минутку.

— Мы сейчас поедем, — сказал Альбинус, заикаясь, и рванулся в гостиную.

Марго стояла, скрестив руки на груди.

— Моя дочь опасно больна, — сказал Альбинус. — Я туда еду.

— Это вранье, — проговорила она злобно. — Тебя хотят заманить в ловушку.

— Опомнись, Марго... Ради Бога.

Она схватила его руку:

— А если я поеду с тобой вместе?

— Марго, пожалуйста! Ну пойми... Где моя зажигалка? Куда запропастилась зажигалка? Куда она запропастилась? Она меня ждет.

— Тебя хотят околпачить. Я тебя не отпущу...

— Меня ждут, ждут, — бормотал Альбинус, заикаясь и пуча глаза.

— Если ты посмеешь...

Поль стоял в передней в той же позе, продолжая стучать тростью. Рекс вынул крошечную эмалированную коробочку. В гостиной послышался взрыв возбужденных голосов. Рекс предложил Полю ментоловые конфетки от кашля. Поль, не глядя, отпихнул коробочку локтем, и конфеты рассыпались. Рекс рассмеялся. Опять — взрыв голосов.

— О, какая мерзость, — пробормотал Поль и, с трясущимися щеками, вышел на лестницу и быстро спустился.

— Ну что? — шепотом спросила бонна, когда он вернулся.

— Нет, не приедет, — ответил Поль. Он закрыл на минуту ладонью глаза, потом прочистил горло и опять, как давеча, на цыпочках, прошел в детскую.

Там было все по-прежнему. Ирма тихо, ритмично мотала из стороны в сторону головой, полураскрытые глаза как будто не отражали света. Время от времени она тихонько икала. Элизабет поглаживала одеяло: механический жест, лишенный смысла. Со стола упала ложечка — и этот нежный звон долго оставался у всех в ушах.

Сестра милосердия стала считать пульс, моргнула и потом осторожно, словно боясь повредить, опустила ручонку на одеяло.

— Она, может быть, хочет пить? — прошептала Элизабет.

Сестра покачала головой. Кто-то в комнате очень тихо кашлянул. Ирма продолжала мотаться, затем принялась медленно поднимать и выпрямлять под одеялом колено.

Скрипнула дверь, и вошла бонна, сказала что-то на ухо Полю. Тот кивнул, и она вышла. Дверь опять скрипула, Элизабет не повернула головы...

Вошедший остановился в двух шагах от постели. Он едва различал в дымке светлые кудри жены и ее пуховый платок, зато с потрясающей ясностью видел лицо дочери — ее маленькие черные ноздри и желтоватый лоск на круглом лбу. Так он простоял довольно долго, потом широко разинул рот — кто-то (какой-то дальний родственник) подоспел и взял его под локоть.

Вдруг он понял, что сидит у Поля в кабинете. В углу сидели две дамы, чьи имена он никак не мог вспомнить, и тихо о чем-то говорили; у него возникло странное чувство, что, если он сейчас вспомнит, все будет хорошо. Скрючившись в кресле, рыдала Ирмина бонна. Осанистый старик с могучим лысым черепом стоял у окна и курил, то поднимаясь на носки, то опускаясь на пятки. На столе блестела хрустальная ваза с апельсинами.

— Почему меня не позвали раньше? — тихо сказал Альбинус, подняв брови и неизвестно к кому обращаясь. Он хмурился, качал головой, потом стал трещать пальцами.

Все молчали. На каминной доске тикали часы. Из детской появился Ламперт.

— Ну что? — тихо спросил Альбинус.

Ламперт обратился к осанистому старику, тот пожал плечами, и они вместе скрылись в комнате больной.

Протекло неопределенное количество времени. За окнами было темно; никто не удосужился задернуть шторы. Альбинус взял апельсин и принялся медленно его чистить.

Шел снег, с улицы доносились редкие, ватные звуки. По временам что-то стучало в паровом отоплении. Кто-то на улице свистнул на четырех нотах (“Зигфрид”) — и опять тишина. Альбинус медленно ел апельсин. Апельсин был очень кислый. Вдруг вошел Поль и, ни на кого не глядя, развел руками.

В детской Альбинус увидел спину жены, неподвижно и напряженно склонившейся над кроватью, с призрачным подразумеваемым стаканом в руке, — сестра милосердия взяла ее за плечи и отвела в полутьму. Альбинус подошел к кровати. На миг ясно проплыло маленькое мертвое лицо, короткая бледная губа, обнаженные передние зубы, одного — молочного — не хватало. Потом все опять затуманилось, он повернулся, стараясь никого не толкнуть и ни на что не налететь, и вышел. Внизу дверь оказалась заперта, но погодя сошла какая-то ярко накрашенная дама в испанской шали и впустила оснеженного человека. Альбинус посмотрел на часы. Было за полночь. Неужели он пробыл там пять часов?

Он пошел по белой, мягкой, хрустящей панели и все никак не мог освоить, что случилось. Он удивительно живо вообразил Ирму влезающей к Полю на колени или бросающей о стену мяч; меж тем как ни в чем не бывало трубили таксомоторы, рождественский снег сверкал в свете фонарей, небо было черно, и только там, далеко, за черной массой крыш, в стороне Гадехтнискирхе, где находились большие кинематографы, чернота переходила в теплый коричнево-румяный тон. Вдруг он вспомнил, как звали сидевших на диване дам: Бланш и Роза фон Нахт.

Наконец он добрался до дому. Марго лежала на кушетке и жадно курила. Альбинус мельком вспомнил, что мерзко поссорился с ней, но это было сейчас неважно. Она молча проследила за ним глазами, как он тихо бродит по комнате, вытирая мокрое от снегу лицо. Она чувствовала сейчас лишь одно — восхитительное удовлетворение. Недавно ушел Рекс, тоже вполне удовлетворенный.

21

Впервые, может быть, за этот год сожительства с Марго Альбинус отчетливо осознавал тот легкий липкий налет гнусности, который осел на его жизнь. Ныне судьба заставила его опомниться, он слышал ее громовой окрик и понимал, что ему дается редкая возможность круто втащить жизнь на прежнюю высоту. Он понимал — со всей ясностью, какую дает только горе, — и что, если сейчас вернется к жене, невозможное в иной, повседневной обстановке сближение произойдет почти само собою.

Некоторые воспоминания той ночи не давали ему покоя — он вспоминал, как Поль вдруг посмотрел на него влажным просящим взглядом и потом, отвернувшись, чуть сжал ему руку повыше локтя. И вспоминал, как в зеркале уловил необъяснимое выражение на лице жены — жалостное, затравленное и все-таки сродни человеческой улыбке.

Обо всем этом он думал мучительно и глубоко. Да, сейчас поехать на похороны — значит остаться с женой навсегда.

Позвонив Полю, он узнал от прислуги место и час похорон. Утром он встал, пока Марго еще спала, и велел слуге приготовить ему черное пальто и цилиндр. Поспешно допив кофе, он пошел в бывшую детскую Ирмы, где теперь стоял большой стол с зеленой сеткой для пинг-понга. И тут, вяло подбрасывая на ладони целлулоидный шарик, он никак не мог направить мысль на детство Ирмы, потому что перед его глазами стоял образ другой девочки, живой, стройной и распутной, которая склонялась над столом, вскинув ногу, протянув пинг-понговую лопатку, и смеялась.

Надо было ехать. Еще несколько минут, и он возьмет Элизабет под руку, когда они будут стоять у края могилы. Он бросил шарик на стол и быстро пошел в спальню поглядеть в последний раз, как Марго спит. И, остановившись у постели, впиваясь глазами в это детское лицо с розовыми, нежными губами и бархатным румянцем во всю щеку,

Альбинус вспомнил свою первую ночь, проведенную с ней, и с ужасом подумал о завтрашней жизни с выцветшей, серолицей женой, и эта жизнь ему представилась в виде тускло освещенного, длинного и пыльного коридора, где стоит заколоченный ящик или детская коляска (пустая).

С трудом оторвав взгляд от спящей девочки и нервно покусывая ноготь большого пальца, он подошел к окну. Была оттепель. Яркие машины расплескивали лужи; на углу какой-то бродяга в лохмотьях продавал фиалки; предприимчивая овчарка настойчиво преследовала крошечного пекинеса, рычавшего, рвавшегося и юлившего на конце поводка; огромный блестящий ломоть интенсивно-голубого неба отражался в стекле окна, которое энергично мыла голорукая горничная с закатанными рукавами.

— Как ты рано встал. Ты уходишь куда-нибудь? — протянул, переваливаясь через зевок, голос Марго.

— Нет, — не оборачиваясь, сказал он.

22

— Приободрись, котик, — говорила она ему пару недель спустя. — Я понимаю, что все это очень грустно, но ведь они тебе все немножко чужие, согласись, ты сам это чувствуешь, и, конечно, твоей дочке внушена была к тебе ненависть. Ты не думай, я очень тебе соболезную, хотя, знаешь, если у меня мог бы родиться ребенок, то я хотела бы мальчика.

— Ты сама ребенок, — сказал Альбинус, гладя ее по волосам.

— Особенно сегодня нужно быть бодрым, — продолжала Марго. — Особенно сегодня! Подумай, ведь это начало моей карьеры. Я буду знаменита.

— Ах да, я и забыл. Это когда же? Сегодня разве?

Явился Рекс. Он заходил последнее время каждый день, и Альбинус несколько раз поговорил с ним по душам, сказал ему все то, что Марго он сказать не смел и не мог. Рекс

так хорошо слушал, высказывал такие мудрые мысли и с такой вдумчивостью сочувствовал ему, что недавность их знакомства казалась Альбинусу чем-то совершенно условным, никак не связанным с внутренним, душевным временем, за которое развилась и созрела их дружба.

— Нельзя строить свою жизнь на песке несчастья, — говорил ему Рекс. — Это грех против жизни. У меня был знакомый — скульптор, — который обладал сверхъестественной способностью безошибочно оценивать форму. И тут он вдруг взял да и женился из жалости на пожилой, безобразной горбунье. Не знаю в точности, что случилось у них, но как-то, вскоре после свадьбы, они сложили вещички в пару чемоданчиков и пошли пешком в ближайший желтый дом. Художник, по моему мнению, должен руководствоваться только чувством прекрасного — оно никогда не обманывает.

— Смерть, — сказал он как-то еще, — представляется мне просто дурной привычкой, которую природа теперь уже не может в себе искоренить. У меня был приятель — прекрасный юноша, полный жизни, с лицом ангела и мускулами пантеры. Он порезался, откупоривая жестянку с консервированными персиками — огромными, нежными, скользкими, которые, сами знаете, лопаются и буквально тают во рту. А через несколько дней он умер от заражения крови. Глупо, не правда ли? Но вместе с тем... вместе с тем, — да, странно сказать, но это так: если рассматривать его жизнь как произведение искусства, было бы менее художественно, доживи он до старости. Изюминка, пуанта жизни заключается иногда именно в смерти.

Рекс в такие минуты говорил не останавливаясь — плавно выдумывая случаи с никогда не существовавшими знакомыми, подбирая мысли, не слишком глубокие для ума слушателя, придавая словам сомнительное изящество. Образование было у него пестрое, ум — хваткий и проницательный, а тяга к разыгрыванию ближних граничила с гениальностью. Единственное, быть может, подлинное в нем была врожденная вера в то, что все созданное людьми в

сфере искусства, науки и чувства — только более или менее остроумный фокус. О каком бы важном предмете ни заходила речь, он был одинаково способен сказать о нем нечто смешное или пошловатое в зависимости от того, чего требовало восприятие или настроение слушателя, хотя, впрочем, он мог быть до наглости груб или нахален, если собеседник его раздражал. Даже когда он говорил совсем серьезно о книге или картине, у Рекса было приятное чувство, что он — участник заговора, сообщник того или иного гениального гаера — создателя картины, автора книги.

Жадно следя за страданиями Альбинуса (человека, по его мнению, тяжеловатого, недалекого, с простыми страстями и добротными, слишком добротными познаниями в области живописи), за тем, как он, бедняга, уверовал, что дошел до самых вершин человеческого страдания, Рекс — с приятным удовольствием — предвкушал, что это еще не все, далеко не все, а только первый номер в программе превосходного мюзик-холла, в котором ему, Рексу, предоставлено место в персональной ложе режиссера. Постановщиком этого спектакля не были ни Бог, ни дьявол. Первый был слишком дряхл, мастит и старомоден, второй же, обожравшийся чужими грехами, был нестерпимо скучен — и самому себе, и другим, скучен как дождь. (Представим себе, скажем, тюремный двор на рассвете, идет дождь, а тем временем заканчиваются приготовления к смертной казни нервно зевающего кретина, зарезавшего собственную бабушку.) Режиссер, которого имел в виду Рекс, был существом трудноуловимым, двойственным, тройственным, отражающимся в самом себе — переливчатым волшебником Протеем, призраком, тенью разноцветных стеклянных шаров, летающих по кривой, тенью жонглера на мерцающем занавесе... Так, по крайней мере, полагал Рекс в редкие минуты философских раздумий.

Он легко относился к жизни, и единственным человеческим чувством, когда-либо им испытанным, было острое пристрастие к Марго, которое он старался объяснить ее физическими свойствами, чем-то таким в запахе кожи, в

особенной эпителии губ, в температуре тела. Но все это было не совсем так. Взаимная их страсть была основана на глубоком родстве душ — даром что Марго была вульгарной берлинской девчонкой, а он — художником-космополитом. Явившись к ним в этот — особенный — день, он успел ей сказать (подавая ей пальто), что снял комнату, где они смогут спокойно встречаться. Она ответила ему злым взглядом, ибо Альбинус стоял в десяти шагах от них. Рекс рассмеялся и добавил, почти не понижая голоса, что будет каждый день там ждать ее между таким-то и таким-то часом.

— Я приглашаю Марго на свидание, а она не хочет, — сказал он Альбинусу, пока они спускались вниз.

— Попробуй она у меня захотеть, — улыбнулся Альбинус и нежно ущипнул Марго за щеку. — Посмотрим, посмотрим, как ты играешь, — продолжал он, натягивая перчатки.

— Завтра в пять, Марго, — сказал Рекс.

— Завтра маленькая поедет одна выбирать автомобиль, — проговорил Альбинус. — Так что никаких свиданий.

— Так у нее все утро свободно, чтобы выбрать. Тебе пять подходит, Марго? Или пусть лучше будет шесть, и на этом порешим?

Марго вдруг обиделась.

— Какая дурацкая шутка, — процедила она сквозь зубы.

Мужчины рассмеялись и, довольные, переглянулись.

Швейцар, разговаривавший с почтальоном, посмотрел на них с любопытством.

— Прямо не верится, — сказал швейцар, когда те прошли, — прямо не верится, что у него недавно умерла дочка.

— А кто второй? — спросил почтальон.

— Почем я знаю. Завела молодца ему в подмогу, вот и все. Мне, знаете, стыдно, что другие жильцы все это видят. А ведь приличный господин, сам-то, и богат. Я всегда говорил: если уж взбрело в голову завести любовницу, так почему не выбрать поосанистее, покрупнее.

— Любовь слепа, — задумчиво произнес почтальон.

23

В небольшой зале, где фильму показывали десятку актеров и гостей, по спине у Марго прошел тревожный и приятный холодок. Недалеко от себя она заметила того режиссера, в чьей конторе некогда почувствовала себя выставленной на посмешище. Он подошел к Альбинусу. На правом глазу у него был крупный желтый ячмень.

Марго рассердилась, что он сразу же ее не узнал.

— Мы с вами как-то, пару лет назад, беседовали, — сказала она злорадно.

— А, сударыня, — ответил он с учтивой улыбкой, — я помню, помню. (На самом деле он не помнил ничего.)

Как только погас свет, Рекс, сидевший между нею и Альбинусом, нащупал и взял ее руку. Спереди сидела Дорианна Каренина, кутаясь в свою роскошную меховую шубу, хотя в зале было жарко; ее соседями были продюсер и режиссер с ячменем, а Дорианна за ним ухаживала.

Робко дрожа, сменяли друг друга надписи: название, имена исполнителей. Тихо и ровно, вроде пылесоса, жужжал аппарат. Музыки не было.

Марго появилась на экране почти сразу; она читала книгу, потом бросила ее и подбежала к окну: подъехал верхом ее жених.

Ее охватил такой ужас, что она вырвала руку из руки Рекса. Откуда только взялось это кошмарное создание? Угловатая, неказистая, с припухшим, странно изменившимся ртом, черным как пиявка, с неправильными бровями и непредвиденными складками на платье, невеста на экране дико взглянула перед собой, а затем, изогнувшись под острым углом, легла грудью на подоконник, задом к публике.

Марго оттолкнула блуждающую руку Рекса. Ей вдруг захотелось кого-то укусить или броситься на пол и забиться.

Неуклюжее чудовище на экране ничего общего с ней не имело — эта девица была ужасна, просто ужасна! Она была похожа на ее мать-швейцариху на свадебной фотографии.

“Может быть, дальше лучше будет?” — подумала она в отчаянии.

Альбинус перегнулся к ней, по дороге полуобняв Рекса, и нежно прошелестел:

— Очаровательно, чудесно, я не ожидал...

Он действительно был очарован: ему почему-то вспомнился кинематограф “Аргус”, где они познакомились, его трогало, что Марго так невозможно плохо играет, — и вместе с тем в ней была какая-то прелестная, детская старательность, как у подростка, читающего поздравительные стихи.

Рекс тоже ликовал: он не сомневался, что Марго выйдет на экране неудачно, но знал, что за это попадет Альбинусу. А завтра, в виде реакции, она придет. Ровно в пять. Все это было очень забавно. Он принялся опять бродить рукой по ее ногам и платью, и она вдруг сильно ущипнула его.

Через некоторое время невеста появилась снова: она шла крадучись вдоль стен домов и все время оглядывалась назад (хотя, как ни странно, прохожие этому совершенно не удивлялись), а затем тайком зашла в кафе, где, как предупредила ее светлая личность, друг семьи, она может найти своего жениха в обществе женщины из породы вампиров (Дорианна Каренина). Когда она кралась в кафе, спина у нее почему-то вышла толстенькая и неуклюжая.

“Я сейчас закричу”, — подумала Марго.

К счастью, экран перемигнул, появился столик в кафе, шампанское в ведре со льдом, герой, дающий прикурить Дорианне. (Очевидно, с точки зрения любого режиссера, этот жест должен восприниматься как символ нарождающейся интимности.) Дорианна откидывала голову, выпускала дым и улыбалась одним уголком рта.

Кто-то в зале захлопал, другие подхватили. Вошла Марго, рукоплескания умолкли. Она открыла рот, как никогда не открывала его в реальной жизни, и, понурив голову, всплеснув руками, ушла прочь.

Дорианна, настоящая Дорианна, сидевшая спереди, обернулась, и глаза ее ласково блеснули в полутьме.

— Молодец, девочка, — сказала она хрипло, и Марго захотелось полоснуть ее по лицу ногтями.

Теперь уже она так боялась каждого своего появления, что вся ослабела и не могла, как прежде, отталкивать и щипать назойливую руку Рекса. Она дохнула ему в ухо горячим шепотом: "Пожалуйста, перестань, или я пересяду". Он похлопал ее по колену, и рука его успокоилась.

Брошенная невеста появлялась вновь и вновь, и каждое ее движение терзало Марго. Она была как душа в аду, которой бесы показывают земные ее прегрешения. Простоватость, корявость, стесненность движений... На этом одутловатом лице она улавливала почему-то выражение своей матери, когда та старалась быть вежливой с влиятельным жильцом.

— Очень удачная сцена, — прошептал Альбинус, опять нагнувшись к ней.

Рексу сильно надоело сидеть в темноте, смотреть на скверную фильму и к тому же терпеть, что этот верзила постоянно наваливается на него. Он закрыл глаза, вспомнил маленькие цветные карикатуры, которые давеча нарисовал по заказу Альбинуса, и стал размышлять о привлекательной, хотя и предельно простой проблеме — как вытянуть из него еще денег.

Драма подходила к концу. Герой, покинутый вампиром, шел под сильным кинематографическим дождем в аптеку покупать яд, но вспомнил о старушке матери и в последний момент отправился в свою родную деревню. Там, окруженная курами и свиньями, невеста играла с его незаконным ребенком. (Судя по тому, как герой смотрел на них из-за забора, ему не долго еще придется оставаться незаконным.) Это была самая удачная сцена с участием Марго. Но когда младенец стал к ней ластиться, она почему-то провела тылом руки по платью (совершенно непредусмотренное движение), словно вытирала руку, а младенец глядел исподлобья. По зале прошел смешок. Марго не выдержала и стала тихо плакать.

Как только зажегся свет, она встала и быстро пошла к выходу.

С озабоченным выражением лица Альбинус стремительно за ней последовал.

Рекс выпрямился, расправляя плечи. Дорианна тронула его за рукав. Рядом стоял господин с ячменем на глазу и позевывал.

— Провал, — сказала Дорианна, подмигнув. — Бедная девочка.

— А вы довольны собой? — спросил Рекс с любопытством.

Дорианна усмехнулась:

— Раскрою вам тайну: настоящая актриса никогда не бывает довольна.

— Подчас и публика не бывает довольна, — сказал Рекс хладнокровно. — Кстати, милочка, как вы придумали свой псевдоним? Меня аж распирает от любопытства.

— Ох, это длинная история, — ответила она задумчиво. — Если заглянете ко мне как-нибудь на чай, я, возможно, смогу рассказать об этом подробнее. Юноша, подсказавший мне это имя, покончил с собой.

— Что ж — в этом нет ничего удивительного. Но я, собственно, о другом... Скажите, вы Толстого читали?

— "То ли с тою"? — переспросила Дорианна Каренина. — Нет, не помню. Такого романа я не читала. А почему вас это интересует?

24

Дома были буря, рыдания, стоны, истерика. Она бросалась то на кушетку, то на постель, то на пол. Глаза ее яростно и прекрасно блистали, один чулок сполз. Весь мир был мокр от слез.

Утешая ее, Альбинус бессознательно употреблял те же слова, которые говорил некогда дочери, целуя синяк, — слова, которые теперь как бы освободились после смерти Ирмы.

Сперва Марго излила весь свой гнев на него, потом страшными эпитетами выругала Дорианну, потом обруши-

лась на режиссера (заодно попало совершенно непричастному Гроссману, старику с ячменем).

— Хорошо, — сказал Альбинус наконец. — Я приму исключительные меры, чтобы моей душке было хорошо. Только заметь, я вовсе не считаю, что это провал, — напротив, ты местами очень мило играла, — там, например, в первой сцене, — знаешь, когда ты...

— Замолчи! — крикнула Марго и швырнула в него апельсином.

— Да выслушай же меня, моя лапочка. Я же готов все сделать, только бы моя девочка была счастлива. А теперь возьмем чистый платочек и вытрем слезки. Я знаешь что сделаю? Ведь фильма-то моя, я платил за эту ерунду... То есть за ту ерунду, которую сделал из нее Шварц. Вот я не пущу ее никуда, а оставлю ее себе на память.

— Нет, сожги, — прорыдала Марго.

— Хорошо, сожгу. И Дорианне, поверь, это будет не очень приятно. Ну что, мы довольны?

Она продолжала всхлипывать, но уже тише.

— Красавица ты моя, так не плачь же. Завтра ты пойдешь и кое-что выберешь. А знаешь что? Такой большой-большой, с четырьмя колесами. Или ты забыла? Разве это не радость? А потом мне его покажешь, и я, может быть (он улыбнулся и поднял брови на лукаво растянутом слове "может быть"), его куплю. Мы поедем далеко-далеко, ты увидишь весну на юге... А, Марго?

— Не это главное, — сказала она ужимчиво.

— Главное, чтобы ты была счастлива. И ты будешь со мною счастлива. Куда это запропастился платочек? Осенью вернемся, будешь ходить на кинематографические курсы, и я найду для тебя талантливого режиссера... вот, например, Гроссмана.

— Нет, только не Гроссмана, — зарычала Марго содрогаясь.

— Ну другого. Будь хорошей девочкой, вытри слезки, пора ехать ужинать. Пожалуйста, моя крошка.

— Я только тогда буду счастлива, — сказала она, тяжело вздохнув, — когда ты с ней разведешься. Но я боюсь, что

ты теперь увидел, как у меня ничего там не вышло, в этой мерзкой фильме, и бросишь меня. Другой мужчина на твоем месте набил бы им физиономии за то, каким чудищем меня представили! Нет, постой, не надо меня целовать. Скажи, ты ведешь какие-нибудь переговоры или все это заглохло?

— Понимаешь ли... Видишь ли, — запнулся Альбинус. — Ты... Мы... Ох, Марго, ведь сейчас... То есть я хочу сказать, что она сейчас... Одним словом, горе, мне как-то сейчас просто не очень удобно...

— Что ты хочешь сказать? — спросила Марго, привстав. — Разве она до сих пор не знает, что ты хочешь развода?

— Нет, не в том дело, — переглотнул и замялся Альбинус. — Конечно, она... это чувствует... то есть знает... А точнее будет сказать, что...

Марго медленно вытягивалась кверху, как разворачивающаяся змея.

— Вот что — она не дает мне развода, — выговорил в конце концов Альбинус, впервые в своей жизни оболгав Элизабет.

— И не даст? — спросила Марго, приближаясь к нему.

"Сейчас будет драться", — подумал Альбинус устало.

Марго подошла к нему вплотную и медленно обвила его шею руками.

— Я больше не могу быть только твоей любовницей, — сказала она, скользя щекой по его галстуку. — Я не могу. Сделай что-нибудь. Завтра же скажи себе: я это сделаю для моей девочки! Ведь есть же адвокаты. Всего можно добиться.

— Я обещаю тебе. Осенью все устроится, — сказал он.

Она слегка вздохнула и отошла к зеркалу, томно разглядывая свое отражение.

"Развод? — подумал Альбинус. — Нет, нет, это немыслимо".

25

Комнату, снятую им для свиданий с Марго, Рекс обратил в мастерскую, и всякий раз, когда Марго являлась, она

заставала его за работой. Он издавал музыкальный, богатый мотивами свист, пока рисовал.

Марго глядела на меловой оттенок его щек, на толстые, пунцовые губы, округленные свистом, и чувствовала, что в этом человеке смысл ее жизни. На нем была шелковая рубашка с открытым воротом и старые фланелевые штаны. Он творил чудеса при помощи туши.

Так они виделись почти ежедневно; Марго оттягивала отъезд, хотя автомобиль был куплен и начиналась весна.

— Позвольте вам дать совет, — как-то сказал Рекс Альбинусу. — Зачем вам брать шофера? Автомобиль у меня делается шелковым.

— Очень это мило с вашей стороны, — сказал Альбинус нерешительно. — Но, право, я не знаю... я боюсь оторвать вас от работы. Мы собираемся довольно далеко закатиться...

— Обо мне не беспокойтесь. Я и так собирался отдохнуть. А тут... ослепительное солнце... старинные традиции... площадки для игры в гольф... путешествия...

— В таком случае будем очень рады, — сказал Альбинус, с тревогой думая о том, как отнесется к этому Марго. Марго, однако, помявшись, согласилась.

— Пусть едет, — сказала она. — Мне он очень нравится, но в последнее время начинает мне надоедать: поверяет мне свои сердечные дела и об этом говорит с такими вздохами, словно влюблен в женщину. А на самом деле...

Был канун отъезда. По дороге домой из магазинов Марго забежала к Рексу. Присутствие ящика с красками, карандашей и пыльный сноп солнца через комнату напоминали ей, как она позировала обнаженной.

— Чего ты спешишь? — спросил Рекс лениво, когда она накрашивала губы. — Подумай, нынче последний раз. Неизвестно, как будем устраиваться во время путешествия.

— На то мы с тобой и умные, — ответила она с гортанным смехом.

Она выскочила на улицу, выглядывая таксомотор, но солнечная улица была пуста. Дошла до площади — и, как

всегда, возвращаясь от Рекса, подумала: “А не взять ли направо, потом через сквер, потом опять направо?”

Там была улица, где она в детстве жила.

(Прошлое было надежно упаковано. Отчего, в самом деле, не взглянуть?)

Улица не изменилась. Вот булочная на углу, вот мясная — с золотой бычьей головой на вывеске и привязанным к решетке бульдогом майорской вдовы из пятнадцатого номера. А вот магазин канцелярских товаров превратился в парикмахерскую. Та же старушка продает газеты в киоске. А вот пивная, в которую любил захаживать Отто. А вот наискосок — дом, где она родилась: судя по строительным лесам, его ремонтировали. Подойти ближе ей не захотелось.

Она повернулась и пошла назад, и тут ее окликнул знакомый голос.

Каспар, братнин товарищ. Он вел за седло велосипед с фиолетовой рамой и с корзиной перед рулем.

— Здравствуй, Марго, — сказал он, чуть смущенно улыбаясь, и пошел с ней рядом вдоль панели.

В последний раз, когда она видела его, он был очень неприветлив. Это была группа, организация, почти шайка. Теперь же, один, он был просто старый знакомый.

— Ну, как дела, Марго?

— Прекрасно, — сказала она и засмеялась. — А у тебя как?

— Ничего, живем. А знаешь, ведь твои съехали. Они теперь живут в Северном Берлине. Ты бы как-нибудь их навестила, Марго. Твой отец долго не протянет.

— А где мой милый братец? — спросила она.

— Ох, он уехал. В Билефельде, кажется, работает.

— Ты сам знаешь, — сказала она, нахмурившись, опустив глаза, разглядывая собственные ноги, вышагивающие по краю панели, — как меня дома любили. И разве они потом старались узнать, что со мной, где я, не погибла ли я?

Каспар кашлянул и сказал:

— Но это, как-никак, твоя семья, Марго. Ведь твою мать выжили отсюда, и на новом месте ей не сладко.

— А что обо мне тут говорят? — спросила она, глядя на него.

— Ах, ерунду всякую. Судачат. Это понятно. Я же всегда считаю, что женщина вправе распоряжаться своей жизнью. Ты как — с твоим другом ладишь?

— Ничего, лажу. Он скоро на мне женится.

— Это хорошо, — сказал Каспар. — Я очень рад за тебя. Только жаль, что нельзя с тобой повозиться, как раньше. Это очень, знаешь, жалко.

— А у тебя есть подружка? — спросила она улыбаясь.

— Нет, сейчас никого. Трудно все-таки жить иногда, Марго. Я теперь служу в кондитерской. Я бы хотел иметь свою собственную кондитерскую, — но когда это еще будет.

— Да, жизнь — штука сложная, — задумчиво произнесла Марго и немного погодя подозвала таксомотор.

— Может быть, мы как-нибудь... — начал Каспар; но нет — никогда больше не будут они вместе купаться в озере.

"Погибнет девочка, — подумал он, глядя, как она садится в автомобиль. — Ей бы выйти за простого человека. Я б на ней, правда, не женился — вертушка, ни минуты покоя..."

Он вскочил на велосипед и до следующего угла быстро ехал за автомобилем. Марго ему помахала рукой, он плавно повернул и стал удаляться по боковой улице.

26

Шоссейные дороги, обсаженные яблонями, шоссейные дороги, обсаженные сливами, гладко подливали под передние шины, — и не было им конца. Погода была великолепная. К вечеру стальные соты радиатора бывали битком набиты мертвыми пчелами, стрекозами и жуками. Рекс действительно правил превосходно: лениво полулежа на

очень низком сиденье, он мечтательно и ласково орудовал рулем. Сзади, в окошечке, висела плюшевая обезьянка и глядела на убегающий вспять север.

Во Франции пошли вдоль дороги тополя, в гостиницах горничные не понимали Марго, и это ее раздражало. Весну было решено провести на Ривьере, а затем перебраться на Итальянские озера. На последней до побережья остановке они очутились в городке Ружинар.

Приехали туда на закате. Над окрестными горами, на фоне бледно-зеленого неба линяли лохматые апельсиновые тучи, кофейни исподлобья сверкали огнями, платаны бульвара были уже по-ночному сумрачны.

Марго, как всегда к ночи, казалась усталой и сердитой. Со дня отъезда, то есть почти уже три недели (они ехали не торопясь, останавливаясь в живописных городках, где всегда была та же самая старинная церковь и та же самая старинная площадь), она ни разу не побывала наедине с Рексом. Поэтому, когда они въехали в Ружинар и Альбинус стал восхищаться силуэтами пурпурно-закатных гор, Марго произнесла сквозь зубы: “Восторгайся, восторгайся”, — едва сдерживая слезы. Они подъехали к большой гостинице, и Альбинус пошел справиться насчет комнат.

— С ума сойду, если так будет продолжаться, — сказала Марго, не глядя на Рекса.

— Всыпь ему снотворного, — предложил Рекс. — Я достану в аптеке.

— Пробовала, — ответила Марго. — Не действует.

Альбинус вернулся к ним, с виду несколько озабоченный.

— Все полно, — сказал он. — Это очень досадно. Извини, моя маленькая.

Они подъехали к трем гостиницам, и нигде комнат не оказалось. Марго категорически отказалась ехать в другой город, так как от поворотов по петлистой дороге, утверждала она, у нее кружится голова. Она была в столь скверном настроении, что Альбинус боялся на нее смотреть. Наконец в пятой гостинице им предложили войти в лифт — подняться и посмотреть единственную пару

комнат, оказавшихся свободными. Смуглый мальчишка, поднимавший их, стоял к ним в профиль.

— Смотрите, что за красота, какие ресницы, — сказал Рекс, слегка подтолкнув Альбинуса.

— Перестаньте паясничать! — вдруг воскликнула Марго.

Номер с двухспальной кроватью был вовсе не плохой, но Марго стала мелко стучать каблуком об пол, тихо и неприятно повторяя:

— Я здесь не останусь, я здесь не останусь.

— Но позволь, это превосходная комната, — сказал Альбинус увещевающе.

Мальчик открыл внутреннюю дверь — там оказалась ванная, вошел в нее, открыл другую дверь — вот те на: вторая спальня!

Рекс и Марго вдруг переглянулись.

— Я не знаю, Рекс, насколько вам это удобно — общая ванная, — проговорил Альбинус. — Ведь Марго купается, как утка.

— Ничего, ничего, — засмеялся Рекс. — Я как-нибудь сбоку припека.

— Может быть, у вас все же найдется другой одноместный номер? — обратился Альбинус к мальчику, но тут поспешно вмешалась Марго.

— Глупости, — сказала она. — И так сойдет. Надоело бродить.

Она подошла к окну, пока вносили чемоданы. На сливово-синем небе горела одна-единственная яркая звезда, черные купы деревьев застыли, стрекотали кузнечики... Но она ничего не видела и не слышала.

Альбинус стал выкладывать умывальные принадлежности.

— Я первая войду в ванную, — сказала она, торопливо раздеваясь.

— Ладно, — ответил он добродушно. — Я тут сперва побреюсь. Только торопись, надо идти ужинать.

В зеркале он видел, как мимо стремительно пролетели джемпер, юбка, что-то светлое, еще что-то светлое, один чулок, другой.

— Вот неряха, — буркнул он, намыливая подбородок.

Он слышал, как закрылась дверь, как трахнула задвижка, как шумно потекла вода.

— Нечего запираться, я все равно тебя выгонять не собираюсь, — крикнул он со смехом и принялся оттягивать пальцем щеку.

За дверью вода продолжала литься громко и непрерывно. Альбинус осторожно скреб щеку бритвой “Жиллетт”. Интересно, подумал он, можно ли здесь заказать омаров à l’Américaine.

А вода лилась, причем шум ее становился громче и громче. Он преодолел, так сказать, кульминационный момент и собирался возвратиться к кадыку, где еще виднелись остатки упрямой щетины, когда внезапно испытал шок, заметив, что из-под двери ванной выползает струйка воды, меж тем как шум воды обрел уже торжествующее звучание.

— Не дай Бог, она утонула, — пробормотал он и подскочил к двери, постучал.

— Милая, с тобой все в порядке? Ты затопила всю комнату!

Никакого ответа.

— Марго, Марго! — кричал он, тарахтя дверной ручкой (и совершенно не замечая, какую странную роль двери играют в его и ее жизни).

Марго между тем проскользнула в ванную: комната была полна пара и воды. Она проворно закрыла краны.

— Я заснула в ванне, — крикнула она жалобно через дверь.

— Сумасшедшая, — сказал Альбинус. — Как ты меня напугала!

Растекавшиеся по белесому ковру темные струйки остановились. Альбинус вернулся к зеркалу и снова намылил шею.

Через несколько минут Марго явилась из ванной бодрая, сияющая и стала осыпаться тальком. Альбинус в свою очередь пошел купаться — там все было очень мокро. Оттуда он постучал Рексу.

— Я вас не задержу, — сказал он через дверь. — Сейчас будет свободно.

— Валяйте, валяйте, — чрезвычайно весело проорал в ответ Рекс.

За ужином Марго была прелестно оживлена. Они сидели на террасе. Белый мотылек колесил вокруг лампы и упал на скатерть.

— Мы останемся тут долго, долго, — сказала Марго. — Мне здесь страшно нравится.

27

Прошла неделя, вторая. Дни были безоблачные. Изобилие цветов и иностранцев. Какой-нибудь час езды — и попадешь на ослепительно прелестный песчаный пляж — красивая картинка, окаймленная темно-красными камнями на фоне темно-синего моря. Одетые в сосновый наряд горы со всех сторон окружали гостиницу, ничуть не уступающую множеству подобных, построенную в тошнотворно-мавританском стиле, от которого у Альбинуса по коже забегали бы мурашки, не будь он сейчас столь счастлив. Марго тоже была счастлива, как, впрочем, и Рекс.

Все ею изрядно восхищались: фабрикант шелка из Лиона, тихий англичанин, собиравший жуков, юнцы, игравшие с нею в теннис. Но, кто бы на нее ни глядел, кто бы с ней ни танцевал, Альбинус ревности не чувствовал. И, вспоминая муки ревности, испытанные в Сольфи, он дивился: в чем разница, почему тогда все нервило и тревожило его, а сейчас при виде ее — уверенность, спокойствие? Он не замечал одной крохотной мелочи: не было в ней теперь желания нравиться другим, — ей нужен был только один человек — Рекс. А Рекс был — тень Альбинуса.

Однажды они втроем отправились на длинную прогулку в горы, заблудились и наконец спустились по крутой каменистой тропинке. Марго, не привыкшая к таким переходам, сильно натерла ногу, и мужчины поочередно несли ее на руках, причем оба, не будучи здоровяками, едва

справлялись со своей ношей. Примерно к двум часам дня они добрались до залитой солнцем деревушки и обнаружили на вымощенной булыжником площади, где несколько человек играли в шары, автобус, который отправлялся в Ружинар. Марго и Рекс тут же заняли места, а Альбинус собирался последовать за ними, но, заметив, что шофера еще нет и долго не будет, так как тот взялся помогать старику фермеру грузить пару огромных корзин, он постучал по полуоткрытому окну, у которого сидела Марго, и сказал, что сбегает выпить стакан пива. Он стремительно пересек площадь и зашел в бар на углу. В тот момент, когда Альбинус потянулся за своим пивом, он задел щуплого господина, который торопливо платил. Они поглядели друг на друга.

— Удо, голубчик! — воскликнул Альбинус. — Вот неожиданно!

— Воистину неожиданно, — подтвердил Удо Конрад. — А ты лысеешь, старина. Ты здесь с семьей?

— Нет, впрочем... Знаешь, я остановился в Ружинаре и...

— Вот и отлично, — сказал Конрад. — Я тоже живу в Ружинаре. Боже, автобус отправляется. Надо торопиться.

— Я с тобой, — воскликнул Альбинус и одним глотком осушил стакан.

Конрад побежал к автобусу и успел вскочить в него. Раздался гудок. А Альбинус все суетливо подыскивал непослушные французские монеты.

— Не спешите, — сказал бармен, меланхоличный человек с черными обвислыми усами. — Автобус сперва объедет всю деревню, а потом снова остановится на этом углу и только после этого поедет дальше.

— Удачно, — сказал Альбинус. — Раз так, я могу выпить еще стакан.

Через ярко освещенную дверь он видел, как длинный, приземистый желтый автобус стремительно мчится прочь, продираясь сквозь пятнистый узор платановой тени, на глазах смешиваясь и буквально растворяясь в ней.

“Как забавно, что я встретил Удо, — размышлял Альбинус. — Он, кстати, отрастил светлую бородку, словно

решил компенсировать мою плешь. Когда мы с ним в последний раз виделись? Лет шесть назад. Рад ли я сегодняшней встрече? Едва ли. Мне казалось, что он живет в Сан-Ремо. Чудаковатый, болезненный, чуть мрачноватый и не особенно счастливый человек. Холостяк, терпеть не может кошек и тиканья часов. К тому же страдает сенной лихорадкой. На хороший писатель. Великолепный писатель. Курьезно, что он понятия не имеет, насколько изменилась моя жизнь. Курьезно, что я стою в этом жарком, нагоняющем сон заведении, где никогда не бывал до сих пор и куда, вероятно, никогда не попаду снова. Интересно, что сейчас делает Элизабет? На ней черное платье, праздные руки не знают, чем заняться. Лучше об этом не думать".

— Сколько времени требуется автобусу, чтобы объехать всю деревню? — спросил он, медленно, осторожно выговаривая французские слова.

— Пару минут, — сказал бармен печально.

"Не ясно, что они делают с этими деревянными шарами. Деревянными? А может, они металлические? Сперва шар зажимают в ладони, потом бросают вперед... он катится, наконец останавливается. Нехорошо, если по дороге он разговорится с девочкой, а та ему все выболтает, до того как я сам объясню. А она может выболтать? Вполне. Не так, правда, вероятно, что они ввяжутся в беседу. Бедное, несчастное дитя, будет сидеть тихо как мышка".

— Судя по тому, как долго автобус объезжает деревню, она очень большая, — заметил Альбинус.

— А он ее вовсе не объезжает, — сказал старик с глиняной трубкой, сидевший за столиком позади него.

— Объезжает, — сказал мрачный бармен.

— Объезжал до прошлой субботы, — сказал старик. — А теперь едет прямо в Ружинар.

— Ну, я тут совершенно ни при чем, — сказал бармен.

— Что же мне теперь делать? — воскликнул Альбинус в растерянности.

— Сядете на следующий, — сказал старик рассудительно.

Когда Альбинус наконец добрался домой, он обнаружил Марго в шезлонге на террасе, где она ела вишни, в то время

как Рекс сидел на белом парапете в купальных трусах, повернувшись своей загорелой мохнатой спиной к солнцу. Картина тихого счастья.

— Я пропустил этот проклятый автобус, — сказал Альбинус улыбаясь.

— Это в твоем духе, — сказала Марго.

— Скажи-ка, ты не заметила маленького человечка в белом с золотистой бородкой?

— Я его заметил, — сказал Рекс. — Сидел прямо за нами. А кто он такой?

— Да так... Просто я когда-то был с ним знаком.

28

Утром Альбинус добросовестно справился в туристическом бюро, а затем и в немецком пансионе, но никто не мог назвать ему адрес Удо Конрада. “Что ж, у нас с ним не так уж много общих тем, — подумал он. — Я, возможно, еще где-нибудь с ним встречусь, если мы здесь задержимся. А если нет, то не так уж это важно”.

Как-то, через несколько дней, он проснулся раньше обычного, распахнул ставни, улыбнулся нежно-голубому небу и мягко-зеленым склонам, набухающим солнцем, но еще дымчатым, словно многокрасочный фронтиспис, прикрытый папиросной бумагой, и ему захотелось долго ходить, куда-то взбираться, вдыхать запах тмина.

Марго проснулась.

— Еще так рано, — сказала она сонно.

Он предложил быстрехонько одеться и, знаешь, вдвоем, вдвоем, на весь день...

— Отправляйся один, — пробормотала она, повернувшись на другой бок.

— Ах ты, соня, — сказал Альбинус с грустью.

Было около восьми. Идя шагом, он выбрался из узких улочек, разрезанных наискось игрой утренней тени и солнечного света, и стал подниматься в гору.

Проходя мимо крошечной виллы, выкрашенной в нежно-розовый цвет, он услышал щелканье секатора и увидел Удо Конрада, подрезающего какое-то растение в своем маленьком каменистом саду. Да, у него всегда была слабость к земле.

— Наконец я тебя нашел, — сказал Альбинус весело. Конрад взглянул в его сторону, однако не улыбнулся в ответ.

— А я полагал, что мы больше не увидимся, — сказал он сухо.

Одиночество развило в нем такую повышенную чувствительность, какая бывает обычно у старых дев, и сейчас он получал болезненное удовольствие, оттого что испытывал обиду.

— Только без глупостей, Удо, — сказал Альбинус, идя к нему навстречу и осторожно раздвигая перистую листву мимозы, ревниво загораживавшую ему дорогу. — Ты отлично знаешь, что я не нарочно пропустил автобус. Я думал, что он объедет деревню и вернется обратно.

Конрад слегка смягчился.

— Пустяки, — сказал он, — просто часто бывает так: встретишься с человеком после долгого перерыва и вдруг испытываешь паническое и страстное желание от него улизнуть. Я решил, что тебя не порадовала перспектива болтать о старых временах в автобусной темнице на колесах и ты от нее ловко увернулся.

— По правде говоря, я повсюду искал тебя в последние дни, — сказал Альбинус, рассмеявшись. — Но оказалось, что никто не знает, где ты живешь.

— Не удивительно: я снял этот домик всего пару дней назад. А ты где остановился?

— В “Британии”. Поверь, я чертовски рад, что увидел тебя, Удо. Ты непременно должен мне все о себе рассказать.

— Может быть, немного погуляем? — предложил Конрад, хотя в его голосе чувствовалась нотка сомнения. — Что же, договорились. Вот только ботинки переодену.

Через минуту он вернулся, и они пошли по прохладной тенистой дорожке, поднимающейся в гору и петляющей

меж спрятавшихся под виноградным покровом каменных склонов, на асфальт которой почти не попадали лучи жаркого утреннего солнца.

— Как твоя семья? — спросил Конрад.

Альбинус, поколебавшись, сказал:

— Лучше не спрашивай, Удо. У меня было много несчастий в последнее время. Год назад мы с Элизабет расстались. А уже потом малышка Ирма умерла от пневмонии. Если ты не возражаешь, я предпочел бы не обсуждать все это.

— Как печально, — сказал Конрад.

Оба замолчали; Альбинус размышлял о том, как заманчиво и занятно было бы рассказать старому другу, знавшему его как совершенно не предприимчивого скромника, о своем страстном романе, но потом он решил малость повременить. Конрад же между тем успел уже пожалеть, что предложил эту прогулку: он предпочитал, чтобы люди, согласившиеся составить ему компанию, были беззаботны и счастливы.

— Я понятия не имел, что ты во Франции, — сказал Альбинус. — Мне казалось, будто ты обосновался на родине Муссолини.

— А кто такой Муссолини? — спросил Конрад, удивленно нахмурившись.

— Ах, ты все такой же, — сказал Альбинус, рассмеявшись. — Не волнуйся, я не стану говорить о политике. Расскажи мне, пожалуйста, о своей работе. Твой последний роман просто великолепен.

— Боюсь, — сказал Удо, — что наше отечество не достигло еще такого уровня, чтобы ценить мои сочинения. Я бы охотно писал по-французски, но жаль все же расставаться с опытом и богатством родного языка, накопленным мною.

— Не говори, не говори, — возразил Альбинус. — Есть немало людей, которые любят твои книги.

— Но они не любят их так, как люблю я сам, — сказал Конрад. — Пройдет много времени — может быть, даже целое столетие, — прежде чем меня оценят в полной мере.

Впрочем, лишь в том случае, если до тех пор искусство писать и читать не будет полностью утрачено. Боюсь, что в Германии за последние полвека это уже во многом свершившийся факт.

— Что ты имеешь в виду? — спросил Альбинус.

— Видишь ли, если литература озабочена только проблемами жизни или историями жизни отдельных людей, это означает, что она умирает. Я невысоко ставлю и фрейдистские романы, и романы об идиллическом сельском быте. Ты можешь возразить, что основная масса литературных сочинений не имеет никакого значения, что ценность представляют два-три настоящих писателя, стоящие особняком, не замеченные своими влиятельными, напыщенными современниками. И тем не менее иногда от всего этого портится настроение. Меня приводит в ярость, когда я вижу, какие книги принимают сегодня всерьез.

— Я не вполне с тобой согласен, — сказал Альбинус. — Если в нашу эпоху социальные проблемы вызывают интерес, то почему бы талантливым авторам не попытаться помочь их разрешить. Война, послевоенная нестабильность...

— Не надо, — тихо простонал Конрад.

Они снова замолчали. Петляющая дорожка привела их в сосновую рощу, где цикады трещали, трещали, как заводные игрушки, у которых никогда не кончается завод. По плоским камням струился ручеек; когда по поверхности воды пробегала дрожь, то казалось, что дрожат сами камни. Они уселись на сухом, пряно пахнущем дерне.

— Но разве ты не чувствуешь себя изгоем, постоянно живя за границей? — спросил Альбинус и загляделся на верхушки сосен, похожие на плавающие в синей воде морские водоросли. — Ты не тоскуешь по звучанию немецкой речи?

— Ах, знаешь, я регулярно то тут, то там встречаю соотечественников, и порой это оказывается довольно-таки занятно. Я, например, заметил, что немецкие туристы имеют обыкновение думать, будто никто не понимает их языка.

— Я бы не смог постоянно жить за границей, — сказал Альбинус, лежа на спине и задумчиво следя глазами за очертаниями голубых заливов, лагун и бухт меж зеленых ветвей.

— В тот день, когда мы с тобой встретились, — сказал Конрад, тоже ложась навзничь и подперев голову руками, — у меня произошел забавный случай в автобусе с твоими друзьями. Ведь ты знаешь эту парочку, не правда ли?

— Да, слегка, — сказал Альбинус, чуть усмехнувшись.

— Я так и подумал, услышав, как они веселятся из-за того, что ты отстал.

(“Какая вредная девочка, — подумал Альбинус с нежностью. — Может быть, рассказать ему о ней все? Нет, не стоит”.)

— У меня появилась возможность долго слушать их беседу. И почему-то она отнюдь не вызвала у меня тоски по родине. Странное дело: чем больше я размышляю на эту тему, тем большую уверенность испытываю, что в жизни художника, как правило, наступает момент, когда ему уже не нужно отечество. Он похож в этом на тех животных, которые сперва обитают в водной среде, а потом — на суше.

— А вот во мне жила бы какая-то тоска по водяной прохладе, — сказал Альбинус медлительно-задумчиво. — Кстати, я обнаружил очень милый пассаж в новой книге Баума “Открытие Тапробаны”. Оказывается, некий путешественник-китаец много веков назад пересек пустыню Гоби и добрался до Индии, а потом он оказался перед огромной нефритовой статуей Будды, стоящей в храме на вершине горы на острове Цейлон, и увидел торговца, продававшего подлинное китайское изделие — шелковый веер, и тут...

— ...и тут, — прервал его Конрад, — “внезапная тоска, вызванная долгой разлукой с родиной, охватила путешественника”. Я знаю, как обычно пишут на эту тему, пусть я и не читал последнее сочинение этого занудного олуха к никогда читать не буду. Кстати, торговцам, которых мне

приходилось видеть здесь, едва ли удастся вызвать у меня ностальгию.

Оба снова замолчали. Обоим стало очень скучно. Поразглядывав еще несколько минут сосны и небо, Конрад сел и сказал:

— Знаешь, старина, извини, но ты ведь не станешь возражать, если мы сейчас вернемся? Я хочу еще немного пописать до полудня.

— Нисколько, — сказал Альбинус, также привстав. — И мне пора домой.

Они молча спустились вниз по тропинке и перед входом в дом Конрада пожали друг другу руки, изо всех сил демонстрируя сердечность.

"Что ж, с этим покончено, — подумал Альбинус, чувствуя изрядное облегчение, — Теперь уж ничто не заставит меня заглянуть к нему снова".

29

По пути домой он решил зайти в табачную лавку, чтобы купить папирос. Отодвигая рукой колышущуюся, звенящую занавеску из бусинок и камыша, он столкнулся с отставным французским полковником, который вот уже два или три дня был их соседом по столовой. Альбинус отступил на шаг, давая полковнику пройти.

— Извините, — сказал полковник (добродушный малый). — Неплохая сегодня погодка?

— Отличная, — согласился с ним Альбинус.

— А где сегодня наши любовники? — поинтересовался полковник.

— Что вы имеете в виду? — спросил Альбинус.

— А как по-иному можно назвать тех, кто обнимается по углам (qui se pelotent dans tous les coins)? — сказал полковник, и в его фарфорово-синих, налитых кровью глазах появилось выражение, для которого у французов есть словечко goguenard. — Мне не нравится лишь то, что они этим

занимаются в саду, прямо под моим окном. Пожилой человек, знаете ли, и позавидовать может.

— Что вы имеете в виду? — повторил Альбинус.

— Не уверен, что мне удастся все это еще раз рассказать по-немецки, — сказал полковник смеясь. — Всего доброго, сударь.

И на этом он ушел. А Альбинус вошел в лавку.

— Какая чушь! — воскликнул он, пристально глядя на женщину, сидевшую на табуретке за прилавком.

— Comment, Monsieur? — спросила она.

— Какая законченная чушь! — повторил он и застыл в углу да так и остался стоять там, морщась и путаясь под ногами у проходящих мимо людей. У Альбинуса возникло какое-то смутное ощущение, будто все его окружающее стало вдруг перевернутым, как в зеркале, и, чтобы понять смысл вещей, теперь как бы нужно читать текст в обратном порядке.

Ощущение это совершенно не сопрягалось ни с болью, ни с удивлением. Просто на него накатило нечто темное, смутное и к тому же обволакивающе-бездонное, и он застыл в некоем подобии дымчато-беспомощного оцепенения, не пытаясь даже уклониться от обрушивающегося на него призрачного удара, словно до тех пор, пока подобное оцепенение длилось, это удивительное явление не способно было причинить ему никакого вреда.

— Невозможно, — сказал он вдруг — и тут в голове летучей мышью стрельнула странно-рваная мысль: он попытался проследить за ее фатальным расхлябанным полетом, словно имел дело с неким феноменом, который предстояло изучить и бояться которого попросту не имело смысла. Потом он повернулся, чуть не сбив с ног девочку в черном переднике, и поспешил туда, откуда только что пришел.

Конрад, долго писавший в саду, тем временем перешел в кабинет первого этажа, чтобы поискать срочно потребовавшуюся ему записную книжку, и как раз был поглощен поисками ее на стоявшем близ окна письменном столе, когда внезапно заметил лицо Альбинуса, разглядывавшего

его через стекло. (“Черт бы его подрал! — мелькнуло тут же у него в голове! — Неужели он меня так и не оставит в покое? Взялся вдруг неведомо откуда”.)

— Послушай, Удо, — произнес Альбинус странным, сдавленным голосом. — Я совсем позабыл кое о чем тебя спросить. О чем они разговаривали в автобусе?

— Что ты говоришь? — сказал Конрад.

— О чем разговаривали те двое в автобусе? Ты сказал, что это был забавный случай.

— Какой такой случай? — переспросил Конрад. — Ах, да, теперь я понял. Да, это действительно было в некотором смысле забавно. Точно. Я ведь, кажется, собирался привести пример того, как ведут себя немцы, когда думают, будто никто не понимает, о чем они говорят? Тебя это интересует?

Альбинус кивнул.

— Что ж, — сказал Конрад, — их разговор представлял собой низкопробно-крикливую, мерзкую любовную болтовню, гаже которой мне ничего в жизни не доводилось слышать. Твои друзья так свободно изъяснялись о своей любви, словно они одни, вдвоем в раю — кстати, довольно-таки скотском раю, должен тебе сказать.

— Удо, — сказал Альбинус, — ты можешь поклясться, что то, о чем ты сейчас сказал, верно?

— Что ты говоришь?

— Ты совершенно, совершенно уверен в том, что рассказал?

— Ах, да. А почему ты спрашиваешь? Погоди минутку, я сейчас спущусь в сад. Не слышу через окно ни единого слова.

Он нашел записную книжку и вышел из дому.

— Эй, где ты? — позвал он. Но Альбинус исчез. Конрад вышел на улицу. Нет — человек пропал.

— Эх, старикашка, — пробормотал Конрад вполголоса, — не допустил ли ты какой-нибудь промашки? (...какая гнусная рифма! Не допустил ли, старикашка — ой-ля-ля — промашки? Тьфу, мерзость!)

30

Альбинус спустился в город, не ускоряя шага, пересек бульвар и добрался до гостиницы. Он поднялся наверх и вошел в номер. В комнате никого не было, постель осталась незастеленной. На белом коврике у постели был пролит кофе, блестела упавшая ложечка. Он исподлобья посмотрел на яркое пятно. В это мгновение раздался из сада звонкий смех Марго.

Он высунулся в окно. Она шла с юнцом в белых шортах и разговаривала с ним, помахивая ракетой, казавшейся золотой от солнца. Партнер увидел Альбинуса в окне третьего этажа. Марго посмотрела вверх и остановилась. Альбинус взмахнул рукой, словно пытаясь прижать что-то к груди. Жест этот означал "поднимись", и Марго поняла его. Она кивнула и ленивым шагом пошла по гравиевой дорожке к кустам олеандра, росшим по обе стороны от входа.

Он отошел от окна и, присев на корточки, отпер чемодан, но, вспомнив, что искомое не там, пошел к шкапу и сунул руку в карман своего желтого пальто из верблюжьей шерсти. Найдя то, что искал, он быстро проверил, вдвинута ли обойма, — затем встал у двери.

Сразу, как только она откроет дверь, он ее застрелит. К чему задавать вопросы? Все ясно, как смерть, и каждая деталь чудовищно четко укладывается в логическую схему вещей. Они обманывали его — постоянно, коварно, артистично. Убить надо сразу.

Ожидая у двери, он мысленно следил за ее движениями. Вот теперь она вошла в гостиницу. Вот теперь поднимается на лифте. Вот сейчас донесется стук каблуков по коридору. Но воображение обгоняло, опережало ее. Все было тихо, надо начать сначала. Он держал браунинг, и было чувство, словно оружие — естественное продолжение его руки, напряженной, жаждущей облегчения. Мысль о том, что он нажмет эту вогнутую гашетку, была почти сродни чувственному удовольствию.

Он едва не выстрелил в белую, еще закрытую дверь в тот миг, когда вдруг послышался из коридора ее легкий резиновый шаг, — да, конечно, она была в теннисных туфлях, — каблуки ни при чем. Сейчас, сейчас... Но тут он услышал и другие шаги.

— Позвольте, сударыня, мне зайти за подносом, — сказал по-французски голос за дверью. Марго вошла вместе с горничной. Он машинально сунул браунинг в карман.

— В чем дело? — спросила Марго. — Ты мог бы и сам спуститься. Зачем ты меня так грубо заставляешь бегать наверх?

Он, не отвечая, глядел исподлобья на то, как горничная ставит на поднос посуду, поднимает ложечку с пола. Вот она все взяла, поклонилась, уходит. Вот и дверь уже закрылась за ней.

— Альберт, что случилось?

Он опустил руку в карман. Марго поморщилась от боли, села на стул, стоявший близ кровати, и, склонив загорелую шейку, стала быстро расшнуровывать туфлю. Он видел ее глянцево-черные волосы, синеватую тень на затылке, оставленную бритвой. Невозможно стрелять, пока она снимает башмачок. На пятке была ранка, кровь просочилась сквозь белый носок.

— Это ужас, как я всякий раз натираю, — проговорила она и подняла голову. Она увидела черный пистолет в его руке.

— Дурак, — сказала она чрезвычайно спокойно. — Не играй с этой штукой.

— Встань! Слышишь? — как-то зашушукал Альбинус и схватил ее за кисть.

— Я не встану, — ответила Марго, свободной рукой снимая носок. — И вообще, отстань. Смотри, у меня все присохло.

Он тряхнул ее так, что затрещал стул. Она схватилась за решетку кровати и стала смеяться.

— Пожалуйста, пожалуйста, убей, — сказала она. — Но это будет то же самое, как эта пьеса, которую мы видели,

с чернокожим и подушкой, а я такая же ни в чем не виновная, как и она.

— Ты лжешь, — зашептал Альбинус. — Ты с этим негодяем... Вы меня обманывали, над-ду-дували, и... — Верхняя губа дергалась, он заикался и не мог попасть на слово.

— Пожалуйста, убери. Я тебе ничего не скажу, пока ты не уберешь. Я не знаю, что случилось, и знать не хочу. Но я знаю одно — я тебе верна, я тебе верна...

— Хорошо, — проговорил Альбинус сипло. — Да-да, дам тебе высказаться, а потом застрелю.

— Не нужно меня убивать, уверяю тебя, не нужно, милый.

— Дальше. Говори дальше.

("...Если я сейчас брошусь к двери, — подумала она, — то успею выбежать в коридор. Потом я начну орать, и сбегутся люди. Но тогда все пойдет насмарку, все...")

— Я не могу говорить, пока у тебя в руках эта штука. Пожалуйста, спрячь ее.

("...А если выбить у него из руки?..")

— Нет, — сказал Альбинус. — Сперва ты мне признаешься... Мне донесли. Я все знаю... Я все знаю... — продолжал он срывающимся голосом, шагая по комнате и ударяя краем ладони по мебели. — Я все знаю. Он сидел позади вас в автобусе, и вы вели себя как любовники. Нет, я тебя, конечно, убью.

— Да, я так и думала, — сказала Марго. — Я знала, что ты не поймешь. Ради Бога, убери эту штуку, Альберт!

— Что тут понимать? — крикнул Альбинус. — Что тут можно объяснить?

— Во-первых, Альберт, ты отлично знаешь, что он к женщинам равнодушен...

— Молчать! — заорал Альбинус. — Это с самого начала — пошлая ложь, шулерское изощрение!

("Ну, если он кричит, опасность миновала", — подумала Марго.)

— Нет, это именно так, — сказала она. — Но однажды — в шутку — я ему предложила: "Знаете что? Давайте попробуем, может быть, я сумею заставить вас забыть ваших

мальчиков". Ах, мы оба знали, что- это все пустое. Вот и все, вот и все, милый.

— Пакостное вранье. Я не верю. Конрад видел вас. Этот французский полковник видел вас. Только я был слеп.

— Ах, я часто так его дразнила, — сказана Марго хладнокровно. — Выходило очень смешно. Но я больше не буду, раз тебя это огорчает.

— Так ты, может быть, и обманывала меня только в шутку? Пакость какая!

— Конечно, нет, я тебя не обманывала! Как ты смеешь?.. Он бы не сумел помочь мне обмануть тебя. Мы с ним даже не целовались: это уже было бы нам обоим противно.

— А если я спрошу его об этом? — без тебя, конечно, без тебя.

— Ах, пожалуйста! Он тебе скажет то же самое. Только, знаешь, ты себя выставишь дураком.

В этом духе они говорили битый час. Марго постепенно брала верх. Но в конечном счете она не выдержала, и с ней сделалась истерика. Она бросилась на постель в своем белом теннисном платье, босая на одну ногу, и, постепенно успокаиваясь, плакала в подушку.

Альбинус сидел в кресле у окна, за которым было солнце, веселые английские голоса с тенниса. Он мысленно перебирал все мелочи с самого начала знакомства с Рексом, и среди них вспомнились ему и такие, которые теперь освещены были мертвенным светом, каким нынче озарилась вся его жизнь. Что-то оборвалось и погибло навсегда, — и как бы правдоподобно ни доказывала ему Марго, что она ему верна, всегда отныне будет ядовитый привкус сомнения.

Наконец он встал, подошел к постели, посмотрел на ее сморщенную розовую пятку с черным квадратом пластыря, — когда она успела наклеить? — посмотрел на золотистую кожу нетолстой, но крепкой икры и подумал, что может убить ее, но расстаться с нею не в силах.

— Хорошо, Марго, — сказал он угрюмо. — Я тебе верю. Но только ты сейчас встанешь, переоденешься, мы уложим

вещи и уедем отсюда. Я сейчас физически не могу встретиться с ним — я за себя не ручаюсь. Нет, не потому, что я думаю, что ты мне изменила с ним, не потому, но, одним словом, я не могу, — слишком я живо успел вообразить, и... Впрочем, неважно... Ну, вставай...

— Поцелуй меня, — тихо сказала Марго.

— Нет, не сейчас. Я хочу поскорее отсюда уехать... Я тебя чуть не убил в этой комнате, и, наверное, убью, если мы сейчас, сейчас же не начнем собирать вещи.

— Как тебе угодно, — сказала Марго. — Только не забудь, что ты самым мерзким образом оскорбил меня и мою любовь к тебе. Мне кажется, что потом ты это поймешь.

Молча и быстро, не глядя друг на друга, они наполнили чемоданы. А потом швейцар пришел за багажом.

Рекс играл в покер с двумя американцами и русским на террасе, под тенью огромного эвкалипта. Ему сегодня очень не везло. Он как раз раздумывал, не смошенничать ли слегка при следующей сдаче или, может быть, поглядеть за картами партнеров при помощи зеркальца, имевшегося в крышке его портсигара (подобные жульнические приемчики он не любил и прибегал к ним, лишь имея дело с новичками), как вдруг сквозь листья магнолии, на дороге около гаража, он увидел автомобиль Альбинуса. Автомобиль неуклюже взял поворот и скрылся.

— В чем дело? — пробормотал Рекс. — Кто сейчас за рулем?

Расплатившись, он пошел искать Марго. На теннисе ее не оказалось, в саду — тоже. Он поднялся наверх. Дверь в номер Альбинуса была открыта.

Комната была мертва, в приоткрытом шкапу пусто, даже стеклянная полочка над умывальником опустела. Порванный и скомканный газетный лист валялся на полу.

Рекс потянул нижнюю губу двумя пальцами и прошел в свою комнату. Он подумал — где-то в глубине мелькнула мысль, — что найдет там записку с объяснением. Записки никакой, конечно, не было. Он цокнул языком и спустился в холл — выяснить, заплатили ли они по крайней мере за его комнату.

31

Есть множество людей, которые, не обладая специальными знаниями, умеют, однако, и воскресить электричество после таинственного события, называемого "коротким замыканием", и починить ножиком механизм остановившихся часов, и, если нужно, нажарить котлет. Альбинус к их числу не принадлежал. Он не способен был ни завязать галстук, ни остричь ногти на правой руке, ни запаковать пакет; откупоривая бутылку, он неизменно превращал половину пробки в мелкие крошки, в то время как вторая ее половина проваливалась и плавала в вине. В детстве он ничего не мастерил, как другие ребята. В юности он ни разу не разобрал своего велосипеда и способен был разве что кататься на нем, а когда лопалась шина, он катил хромую, пищащую, как дырявая галоша, машину в ближайшее ремонтное заведение. Позже, изучая реставрацию картин, он сам боялся к холсту прикоснуться. Во время войны единственное, в чем ему удалось отличиться, так это в удивительной неспособности сделать хоть что-нибудь собственными руками. Вот почему удивительно было скорее не то, что он оказался прескверным шофером, а то, что он вообще умел управлять автомобилем.

Медленно и не без труда (после сложного спора с полицейским на перекрестке, причем суть этого спора он так и не понял) Альбинус выбрался из Ружинара, после чего чуть прибавил ходу.

— Не соблаговолишь ли ты сказать, куда мы, собственно, едем? — кисло спросила Марго.

Он пожал плечами, глядя вперед, на блестящую синевато-черную дорогу. Теперь, когда они выехали из Ружинара, где узкие улочки были полны народа и автомобилей, где приходилось трубить, судорожно запинаться, косолапо вилять, теперь, когда они уже свободно катили по шоссе, Альбинус беспорядочно и угрюмо думал о разных вещах: о том, что дорога все выше и выше карабкается в гору и, вероятно, скоро начнутся опасные повороты, о том, как

Рекс запутался пуговицей в кружевах Марго, о том, что еще никогда не было у него так тяжко и смутно на душе.

— Мне все равно куда, — сказала Марго, — но я хотела бы знать. И, пожалуйста, держись правой стороны. Если ты не умеешь управлять, то давай лучше сядем на поезд или наймем шофера в ближайшем гараже.

Он резко затормозил, потому что невдалеке появился автобус.

— Что ты делаешь, Альберт? Просто держись правее.

Автобус с туристами прогремел мимо. Альбинус отпустил тормоз. Дорога уже вилась по склону горы.

"Не все ли равно куда? — думал он. — Куда ни поедешь, от этой муки не избавишься. "Низкопробно-крикливая, мерзкая, любовная..." Я схожу с ума..."

— Я тебя ни о чем не буду больше спрашивать, — сказала Марго, — только, ради Бога, не виляй перед поворотами. Это странно выглядит. Зачем ты виляешь? Если б ты знал, как у меня болит голова. Я хочу куда-нибудь доехать, наконец.

— Ты мне клянешься, что ничего не было? — проговорил Альбинус чуть слышно и сразу почувствовал, как слезы горячей мутью застилают зрение. Он переморгнул, дорога опять забелела.

— Клянусь, — сказала Марго. — Я устала клясться. Убей меня, но больше не мучь. И знаешь, мне жарко, я сниму пальто.

Он затормозил, остановились. Марго засмеялась:

— Почему для этого, собственно говоря, нужно останавливаться? Ах, Альберт...

Он помог ей освободиться от пальто, причем с необычайной живостью вспомнил, как — давным-давно — в дрянном кафе он в первый раз увидел, как она двигает плечами, сгибает прелестную шею, вылезая из рукавов пальто.

Теперь у него слезы лились по щекам неудержимо. Марго обняла его за шею и прижалась щекой к его склоненной голове.

Автомобиль стоял у самого парапета, толстого каменного парапета в полметра высотой, за которым был крутой обрыв, поросший ежевикой. Было слышно, как где-то далеко внизу бежит и плещется вода в быстром ручейке. С левой стороны поднимался красноватый скалистый склон с соснами на верхушке. Палило солнце. Немного впереди человек в темных очках, сидя при дороге, бил камни.

— Я тебя так люблю, — всхлипывая, говорил Альбинус. — Я тебя так люблю.

Он судорожно мял ей руки, гладил ее по спине. Она тихо — и удовлетворенно — посмеивалась.

— Дай мне теперь самой управлять, — взмолилась Марго. — Ты же ведь знаешь, что у меня это выходит лучше.

— Нет, у меня теперь тоже лучше получается, — сказал он улыбаясь, затем сглотнул и высморкался. — И знаешь, я, по правде, не знаю, куда мы едем. Багаж я как будто отослал в Сан-Ремо, но я не очень в этом уверен.

Он пустил мотор, тронулись снова. Ему показалось, что теперь машина идет свободнее и послушнее, и он стал держать руль не так напряженно. Излучины дороги все учащались. С одной стороны отвесно поднималась скалистая стена, с другой был обрыв. Солнце било в глаза. Стрелка скорости вздрагивала и поднималась.

Приближался крутой вираж, и Альбинус решил взять его особенно лихо. Наверху, высоко над дорогой, старуха собирала ароматные травы и видела, как справа от скалы мчался к повороту этот маленький синий автомобиль, а за поворотом, слева, на неизвестную еще встречу, летели двое сгорбленных велосипедистов.

32

Старуха, собиравшая на пригорке ароматные травы, видела, как с разных сторон близятся к быстрому виражу автомобиль и двое велосипедистов. Из кабины почтового самолета, летящего по ослепительно голубому небу к морю, летчик видел петлистое шоссе, тень крыльев, скользящую по солнечным склонам, и две деревни, отстоящие друг от

друга на двадцать километров. Быть может, поднявшись еще выше, можно было бы увидеть зараз провансальские холмы и далекий город в другой стране — скажем, Берлин, — где тоже было жарко, — вся эта щека земли, от Гибралтара до Стокгольма, окрасилась в тот день солнечным солнечным светом.

Берлин, в частности, успешно торговал мороженым. Ирма, бывало, шалела, жадно преисполняясь предвкушением счастья, когда уличный торговец намазывал на тонкую вафлю толстый, сливочного оттенка слой, от которого начинал танцевать язык и сладко ныли передние зубы. Элизабет, выйдя утром на балкон, заметила как раз такого мороженщика, и странно было, что он — весь в белом, а она — вся в черном.

В это утро она проснулась с чувством сильнейшего беспокойства и теперь спохватилась, что впервые вышла из состояния матового оцепенения, к которому за последнее время привыкла, но сама не могла понять, чем нынче так странно взволнована. Стоя на балконе, она вспомнила вчерашний день, совершенно обыкновенный — деловую поездку на кладбище, пчел, садившихся на цветы, которые она привезла, влажное поблескивание ограды вокруг могилы, тишину, мокрую землю.

“Так в чем же дело? — спросила она себя. — Почему мне сегодня не по себе?”

С балкона был виден мороженщик в белом колпаке. Балкон, казалось, взмывал все выше и выше. Солнце ярко освещало крыши — в Берлине, Брюсселе, Париже и дальше, на юге. Почтовый самолет летел в Сент-Кассьен. Старуха собирала над обрывом ароматные травы. Потом по меньшей мере год она будет рассказывать, как она увидела... такое увидела...

33

Альбинусу было неясно, когда и как он узнал, распределил, осмыслил все эти сведения: время, прошедшее от беспечно начатого виража до сих пор (несколько недель),

место его теперешнего пребывания (больница в Грассе), операция, которой он подвергся (трепанация черепа), причина долгого беспамятства (кровоизлияние в мозг). Настала, однако, определенная минута, когда все эти сведения оказались собраны воедино, — он был жив, отчетливо мыслил, знал, что поблизости Марго и сиделка. Он знал, что последнее время приятно дремал и что сейчас проснулся. А вот который час — неизвестно, вероятно, раннее утро.

Лоб и глаза еще покрывала плотная повязка, мягкая на ощупь. Темя уже было открыто, и странно было трогать частые колючки отрастающих волос. В памяти у него, в стеклянной памяти, глянцевито переливалась картина, напоминающая цветной фотографический снимок: загиб блестящей голубой дороги, рыже-зеленая скала слева, справа — белый парапет, впереди — вылетевшие навстречу велосипедисты — две пыльные обезьяны в апельсинового цвета фуфайках. Резкий поворот руля, чтобы не задеть их, — автомобиль взвился по блестящему скату щебня справа, и вдруг, на одну долю мгновения, перед лобовым стеклом вырос телеграфный столб. Растопыренная рука Марго наискось легла поперек картины — и волшебный фонарь мгновенно потух.

Дополнялось это воспоминание тем, что вчера ли, позавчера ли или еще раньше рассказала ему Марго — вернее, ее голос. Почему только голос? Почему он ее так давно не видел по-настоящему? Да, повязка, скоро, вероятно, можно будет снять... Что же голос Марго рассказывал?

— ...Если бы не телеграфный столб, мы бы, знаешь, бух через парапет в пропасть. Было очень страшно. У меня весь бок в синяках до сих пор. Автомобиль перевернулся — разбит вдребезги. Он стоил... auto... mille... beaucoup mille marks (это сообщение предназначалось, очевидно, сиделке). Альберт, как по-французски двадцать тысяч?

— Ах, не все ли равно... Ты жива, ты цела!

— Велосипедисты оказались очень милыми, помогли собрать все вещи. А ракеты так и пропали.

Теннисные ракеты? Отблеск солнца на теннисной ракете. Отчего так неприятно? Да, этот ужас в Ружинаре. Он —

с браунингом в руке, она входит — в теннисных туфлях... Глупости — все разъяснилось, все хорошо... Который час? Когда можно будет снять повязку? Когда позволят вставать с постели? Это было в газетах — немецких газетах?

Он повертел головой, досадуя на то, что завязаны глаза. И потом — какое несоответствие между различными видами чувствования. Слуховых впечатлений было набрано за это время сколько угодно, а зрительных — никаких: не известно, как выглядит палата, какое лицо у сиделки, у доктора. Который час? Утро? Он долго, сладко спал. Окно, верно, открыто, ибо вот слышно, как процокали неторопливо копыта, а вот — шум воды, звон ведра; там, должно быть, двор, колодец, утренняя свежая тень платанов.

Он полежал некоторое время неподвижно, стараясь превращать невнятные звуки в соответствующие очертания и цвета. Это занятие было прямой противоположностью попытке представить себе, как могли звучать голоса ангелов Боттичелли. Тут он услышал, как засмеялась Марго, а вслед за ней — и сиделка. Они находились в соседней, вероятно, комнате. Сиделка учила Марго правильно произносить.

— Зоисоире, воисоире, — повторила Марго несколько раз, и они обе тихо рассмеялись.

Чувствуя, что он делает что-то противозаконное, Альбинус осторожно поднял на брови повязку и принялся подглядывать. Но в комнате оставалось по-прежнему совершенно темно. Он не смог разглядеть даже голубоватого мерцания окна, те едва заметные отблески света, которые сохраняются стенами в ночные часы. Значит, все-таки ночь, а не утро и даже не предрассветные сумерки. Черная, безлунная ночь. Вот как обманывают звуки. Или шторы (щоры?) столь неимоверно плотны?

Весело звякнуло по соседству блюдце.

— Café aimé toujours, thé nicht toujours.

Альбинус стал щупать стенку над прикроватным столиком, пока не наткнулся на электрическую лампочку, щелкнул выключателем — раз, еще раз, — но темнота не сдвинулась с места, словно была слишком тяжелой и потому

несдвигаемой. Вероятно, штепсель не был вставлен. Тогда он поискал пальцами, нет ли спичек, — и действительно нашел коробок. В нем была всего одна спичка, он чиркнул ею, раздался звук, похожий на вспышку, но огонька не появилось. Он ее отбросил и почувствовал слабый запах серы. Странное явление.

— Марго! — позвал он вдруг. — Марго!

Звук шагов и отворяющейся двери. Но ничто не изменилось. Почему за дверью темно: ведь они пьют там кофе?

— Зажги свет, — сказал он сердито. — Пожалуйста, зажги свет.

— Какой скверный мальчик, — сказал голос Марго. Он слышал, как она стремительно и уверенно приближается в беспросветном мраке. — Ведь доктор сказал, что ты не должен трогать повязку.

— Как? Как, ты меня видишь? — спросил он заикаясь. — Почему ты меня видишь? Моментально зажги свет! Слышишь? Моментально.

— Calmez-vous. Не волнуйтесь, — заговорил по-французски голос сиделки.

Эти звуки, эти шаги, эти голоса, похоже, двигались в каком-то совершенно другом измерении. Он находился здесь, а они — где-то еще, хотя и необъяснимо близко. Между ними и той темнотой, в которой он пребывал, существовала какая-то плотная преграда. Он тер веки, вертел головой так и сяк, рвался куда-то, но не было никакой возможности проткнуть эту цельную темноту, являвшуюся как бы частью его самого.

— Не может быть, — сказал Альбинус с силой, даваемой отчаянием. — Я сойду с ума. Открой окно, сделай что-нибудь!

— Окно открыто, — сказала она тихо.

— Может быть, солнца нет... Марго, может быть, когда будет ярко светить солнце, я хоть что-нибудь увижу. Хотя бы мерцание. Может быть, в очках.

— Лежи спокойно, милый. Дело не в солнце. Тут светло, чудное утро. Альберт, ты мне делаешь больно.

— Я... Я... — судорожно набирая воздух, начал Альбинус, и ему почудилось, будто его грудь, распухая, превращается в гигантский чудовищный шар, начиненный вращающимся водоворотом вопля, который алчно и равномерно рвался на свободу. Но, не успев вырваться, тут же стал накапливаться вновь.

34

Раны и ссадины зажили, волосы отросли, но адовое ощущение плотной черной преграды оставалось неизменным. После припадка смертельного ужаса, после криков и метаний, после тщетных попыток сдернуть, сорвать что-то с глаз он впадал в полуобморочное состояние, а потом снова начинало нарастать что-то паническое, нестерпимое, сравнимое только с легендарным смятением человека, проснувшегося в могиле.

Мало-помалу, однако, эти припадки стали реже. Он часами неподвижно лежал на спине, молчал, прислушиваясь к дневным звукам, которые, увлекшись общением друг с другом, вели себя так, будто отвернулись от него раз и навсегда. Вдруг он вспоминал утро в Ружинаре, с которого, собственно говоря, все и началось, и тогда принимался снова стонать. Он зримо представлял себе небо, синие просторы, игру света и тени, ярко-зеленые холмы, обсыпанные крошечными точками розовых домиков, очаровательные сказочные ландшафты, на которые он так мало, так мало смотрел...

Еще в больнице Марго прочла ему вслух письмо от Рекса такого содержания:

"Я не знаю, дорогой Альбинус, чем я больше ужален — тем ли оскорблением, которое Вы мне нанесли Вашим беспричинным и крайне неучтивым отъездом, или бедой, приключившейся с Вами. Несмотря на обиду, я всей душой сочувствую Вам в Вашем несчастье, особенно когда вспоминаю Вашу любовь к живописи, к красоте красок и

контуров, благодаря которой зрение и является королем всех чувств.

Сегодня я из Парижа уезжаю в Англию, а оттуда в Нью-Йорк и вряд ли скоро повидаю Германию. Передайте, пожалуйста, мой дружеский привет Вашей спутнице, от капризного нрава и испорченности которой, быть может, зависела Ваша, Альбинус, измена мне. Увы, ее нрав отличается постоянством лишь по отношению к собственным прихотям, зато в натуре у нее есть свойство — очень, впрочем, обыкновенное у женщин — невольно требовать поклонения и невольно проникаться чувством смутной неприязни к мужчине, равнодушному к женским чарам, даже если этот мужчина простосердечностью своей, уродливой наружностью и любовными вкусами смешон и противен ей.

Поверьте, Альбинус, Вы нравились мне куда больше, чем я показывал. Но если бы Вы, пожелав отделаться от моего присутствия, сказали мне это без обиняков, я только оценил бы Вашу прямоту, и тогда прекрасные воспоминания наших бесед о живописи, дискуссий о мире красок не были бы так печально омрачены тенью Вашего предательского бегства".

— Да, это письмо гомосексуалиста, — сказал Альбинус. — Все равно я рад, что он отбыл. Может быть, Бог меня наказал, Марго, за то, что я тебя заподозрил, но горе тебе, если...

— Если что, Альберт? Пожалуйста, пожалуйста, договаривай...

— Нет, ничего. Я верю тебе. Ах, я верю тебе.

Он помолчал и вдруг стал издавать тот глухой звук — полустон, полумычание, — которым у него всегда начинался приступ ужаса перед стеной темноты.

— Король всех чувств, — повторил он несколько раз дрожащим голосом. — Да, да, король...

Когда он успокоился, Марго сказала, что поедет в бюро путешествий. Поцеловав его в щеку, она быстро засеменила по теневой стороне улицы.

Она вошла в маленький прохладный ресторан и села рядом с Рексом. Тот пил белое вино.

— Ну, что сказал бедняга, прочитав письмо? — спросил он. — Правда, составлено великолепно?

— Да, все хорошо. В среду мы едем в Цюрих к специалисту. Ты купи, пожалуйста, билеты. Только себе ты возьми в другом вагоне — как-никак, безопаснее.

— Даром не дадут, — небрежно процедил Рекс.

Марго нежно усмехнулась и вынула пачку денег из своей сумочки.

— В принципе, — сказал Рекс, — было бы куда проще, если бы впредь кассиром был я.

35

Хотя Альбинус уже несколько раз (глубокой ночью, пользовавшейся светлыми звуками дневных разговоров) выходил на прогулку — жалкую, нерешительную прогулку—по хрустящим гравиевым дорожкам сада госпиталя, к путешествию в Цюрих он оказался малоподготовленным. На вокзале у него закружилась голова — и ничего нет страшнее и безвыходнее, чем когда у слепого головокружение. Он шалел от множества звуков вокруг него, шагов, голосов, колес, злонамеренных острых и твердых предметов, которые, казалось, бросались на него, так что каждая секунда разбухала от мучительной боязни натолкнуться на что-нибудь, даром что вела его Марго.

В поезде он почувствовал, как к горлу подступает тошнота оттого, что он никак не мог мысленно отождествить вагонную тряску с поступательным движением экспресса, — как бы упорно ни напрягал воображение, чтобы представить себе ландшафт, который, конечно же, пробегал мимо. А затем в Цюрихе снова приходилось куда-то двигаться среди невидимых людей и предметов — препятствий и углов, которые затаивали дыхание, прежде чем нанести удар.

— Не бойся, не бойся, — говорила Марго с раздражением. — Я тебя веду. Вот теперь стоп. Сейчас сядем в авто-

мобиль. Подними ногу. Будь чуточку посмелее. В самом деле — прямо как маленький.

Профессор, знаменитый окулист, тщательно исследовал глаза Альбинуса. Судя по тихому елейному его голосу, Альбинус представил его себе старичком с гладковыбритым лицом священника, хотя в действительности он был моложав и носил колючие усы. Он повторил то, что Альбинус по большей части уже знал, — что произошло повреждение глазных нервов как раз там, где они скрещиваются в мозгу. Может быть, сдавление глазных нервов пройдет, а может быть, наступит полная их атрофия — вероятность того или другого исхода непредсказуемо одинакова. Но во всяком случае общее состояние больного таково, что сейчас наиболее важным является совершенный для него покой. Санаторий в горах будет для него идеальным местом.

— А затем, — сказал профессор, — будет видно.

— Будет видно? — повторил Альбинус с меланхолической усмешкой.

Идея санатория не прельщала Марго. Пожилая ирландская чета, с которой они познакомились в гостинице, предложила сдать им небольшой шале на горе чуть выше модного высокогорного курорта. Она посоветовалась с Рексом и (оставив Албинуса с нанятой сиделкой) отправилась с ним вместе посмотреть на сдаваемый дом. Он оказался весьма симпатичным: двухэтажная дачка с чистыми комнатками и чашечками для святой воды, приделанными ко всем дверям.

Рекс оценил ее расположение — на юру, среди густого ельника, всего в четверти часа ходьбы от деревни и гостиницы. Он наметил себе самую солнечную комнату на втором этаже. Затем в деревне они наняли кухарку. Рекс с ней поговорил очень внушительно.

— Высокое жалованье, которое вам предлагается, — сказал он, — объясняется тем, что вы будете служить у человека, страдающего слепотой на почве душевного расстройства. Я — врач, приставленный к нему, — но, ввиду тяжелого его состояния, он, разумеется, не должен знать, что, кроме его племянницы, живет при нем доктор. Посе-

му, тетушка, если вы прямо или косвенно, хотя бы нежнейшим шепотком упомянете вслух о моем пребывании в доме — например, обратитесь ко мне в то время, как пациент, находясь поблизости, сможет такое услышать, вы будете ответственны перед законом за нарушение образа лечения, установленного врачом, — это карается в Швейцарии довольно, кажется, строго. Вдобавок я не советую вам подходить близко к моему пациенту или вообще вести с ним какие-либо разговоры: на него находят припадки бешенства. Возможно, вам будет интересно узнать, что он уже одну старушку совершенно замял и расквасил ей лицо (очень, кстати, похожую на вас, но не столь привлекательную). Я бы не желал, чтобы это повторилось. А главное — когда станете болтать в деревне, помните, что, если, вследствие разбуженного вами любопытства, к нам станут шляться местные обыватели, мой пациент, при нынешнем его состоянии, может разнести дом, начав с вашей головы. Поняли?

Старуху он так запугал, что она едва не отказалась от чрезвычайно выгодного места и согласилась только тогда, когда Рекс заверил ее, что слепого безумца она видеть не будет, поскольку за ним ухаживает племянница, и что он тих, если его не раздражать. Он также условился с ней, что ни приказчик из мясной лавки, ни уборщица никогда не переступят порога дома. Когда все было устроено, Марго поехала за Альбинусом, а Рекс тем временем въехал в дом. Он перевез весь багаж, определил, кто где будет жить, распорядился вынести ненужные ломкие вещи. Затем он поднялся к себе в комнату и, музыкально посвистывая, стал прибивать кнопками к стене какие-то рисунки пером довольно непристойного свойства.

Около пяти он увидел в бинокль, как подъехал далеко внизу наемный автомобиль, оттуда, в ярко-красном джемпере, выскочила Марго, помогла выйти Альбинусу. Он стоял сгорбившись, был в темных очках и походил на сову. Автомобиль развернулся и скрылся за лесистым поворотом.

Марго взяла своего смиренного, неуклюжего спутника за руку, и он, водя перед собой палкой, двинулся вверх по

тропинке. На некоторое время их скрыла еловая хвоя, вот мелькнули опять, опять скрылись и вот наконец появились на площадке сада, где мрачная (но уже, кстати, всей душой преданная Рексу) служанка опасливо вышла к ним навстречу и, стараясь не глядеть на безумца, взяла из руки Марго несессер.

Рекс между тем, свесившись из окна, делал Марго смешные знаки приветствия, прижимая ладонь к груди и деревянно раскидывая руки, — превосходная имитация Петрушки. Все это проделывалось, конечно, совершенно безмолвно, хотя, будь обстоятельства более благоприятными, он способен был бы к тому же великолепно запищать. Марго снизу улыбнулась ему и, под руку с Альбинусом, вошла в дом.

— Поведи меня по всем комнатам и все рассказывай, — произнес Альбинус. Ему было все равно, но он думал этим доставить ей удовольствие — она любила новоселье.

— Маленькая столовая, маленькая гостиная, маленький кабинет, — объясняла Марго, водя его по комнатам нижнего этажа. Альбинус трогал мебель, похлопывал предметы, словно это были головы незнакомых ему детей, старался ориентироваться.

— Окно, значит, там, — говорил он, доверчиво показывая пальцем на сплошную стену. Он больно ударился о край стола и сделал вид, что это он нарочно, — забродил ладонями по столу, будто устанавливая его размер.

Потом они вдвоем пошли вверх по деревянной скрипучей лестнице, и наверху, на последней ступеньке, сидел Рекс и тихо трясся от беззвучного смеха. Марго пригрозила ему пальцем, он осторожно встал и отступил на цыпочках. Ненужная мера, ибо лестница оглушительно стреляла под тяжелыми шагами слепца.

Вышли в коридор. Рекс, стоя в глубине у своей двери, несколько раз присел, зажимая рот ладонью. Марго сердито тряхнула головой — опасные игры, он на радостях паясничал, как мальчишка.

— Вот твоя спальня, а вот — моя, — сказала она.

— Почему не вместе? — с грустью спросил Альбинус.

— Ах, Альберт, — вздохнула она, — ты же знаешь, что сказал доктор.

После того как они всюду побывали (кроме, разумеется, комнаты Рекса), Альбинус захотел опять, уже без ее помощи, обойти дом, чтобы доказать ей, как она ясно все объяснила, как он все ясно усвоил. Однако он сразу запутался, тыкался в стены, виновато улыбался, чуть не разбил умывальную чашку. Ткнулся он и в угловую комнату (где устроился Рекс и куда войти можно было только из коридора), но он уже совершенно заплутал и думал, что выходит из ванной.

— Осторожно, тут чулан, — сказала Марго. — Ты, ради Бога, запомни, а то голову разобьешь. А теперь повернись и постарайся идти прямо к постели. Ты не думай, что я позволю тебе всегда путешествовать так, — это только сегодня.

Впрочем, он сам чувствовал уже изнеможение. Марго уложила его и принесла ужин. Когда он уснул, она перешла к Рексу. Еще не изучив акустики дома, они говорили шепотом, но могли бы говорить громко: оттуда до спальни Альбинуса было достаточно далеко.

36

Плотный бархатный мешок, в котором Альбинус теперь существовал, давал некий строгий, даже благородный строй его мыслям и чувствам. Покровом тьмы он был отделен от недавней жизни, погасшей на головокружительном вираже. Вспоминаемые одна за другой сцены составляли картинную галерею памяти: Марго в узорном переднике, приподнимающая пурпурную портьеру (как он тосковал теперь по ее тусклому цвету!), Марго под блестящим зонтиком, проходящая по малиновым лужам, Марго, стоящая голою перед зеркалом и грызущая желтую булочку. Марго в блестящем купальнике, бросающая мяч, Марго в переливчатом бальном платье, с загорелыми плечами.

Затем он думал о жене, и вся эта пора жизни с ней была, казалось, пропитана нежным бледным светом, и только изредка в этом молочном тумане что-то вспыхивало на миг — белокурая прядь волос при свете лампы, блик на раме картины, стеклянные шарики, которыми играла Ирма (и радуга в каждом из них), — и снова туман, а в нем — тихие, как бы плавательные движения Элизабет.

Все, даже самое грустное и самое стыдное в прошлой жизни, было прикрыто обманчивой прелестью красок. Он с ужасом замечал теперь, как мало успел воспользоваться даром острого зрения: ведь все эти краски свободно растекались по фону, и границы между ними выглядели до удивления размытыми. Вообразив, скажем, пейзаж, среди которого однажды пожил, он не мог назвать ни одного растения, кроме дуба и розы, ни одной птицы, кроме воробья и вороны, и даже они более походили на элементы геральдики, чем природы. Альбинус теперь понимал, что он, в сущности, ничем не отличался от тех узких специалистов, которых некогда презирал, от рабочего, знающего только свои инструменты, или от виртуоза, ставшего лишь облеченным в плоть придатком к своей скрипке. Специальностью Альбинуса было, в конце концов, живописное любострастие. Лучшей его находкой была Марго. А теперь от нее остались только голос, да шелест, да запах духов — она как бы вернулась в темноту маленького кинематографа, из которой он ее когда-то извлек.

Не всегда, впрочем, Альбинус мог утешаться эстетическими или нравственными рассуждениями, не всегда удавалось ему себя убедить, что физическая слепота есть в некотором смысле духовное прозрение. Напрасно он обманывал себя тем, что ныне его жизнь с Марго счастливее, глубже и чище, напрасно сосредоточивал мысли на ее трогательной преданности. Конечно, это было трогательно, конечно, она была лучше самой верной жены, эта незримая Марго, этот ангельский холодок, этот голос, уговаривающий его не волноваться. Но как только он ловил в кромешной тьме ее руку, как только старался выразить свою

благодарность, в нем сразу просыпалась такая жажда ее узреть, что все прежнее собственное морализирование летело к черту.

Рекс очень любил сидеть с ним в одной комнате и наблюдать за его движениями. Марго упиралась слепому в грудь, прижималась к его плечу и поднимала глаза к потолку с комической резиньяцией или показывала Альбинусу язык, что было особенно, конечно, смешно по сравнению с выражением безысходной нежности на лице слепого. Затем Марго ловким поворотом вырывалась и отходила к Рексу, который сидел на подоконнике, в белых штанах, выставив длиннопалые босые ноги, по пояс голый, — ему нравилось жарить спину на солнце. Альбинус полулежал в кресле, одетый в пижаму и халат. Его лицо обросло жестким курчавым волосом, и ярко розовел на виске шрам, — он походил на бородатого арестанта.

— Марго, вернись, — умоляюще говорил он, протягивая руку.

Порою Рекс, любивший риск, подходил к Альбинусу босиком на цыпочках и очень легко дотрагивался до него. Альбинус издавал мурлыкающий звук, хотел обнять мнимую Марго, но Рекс, беззвучно отойдя, уже опять сидел на подоконнике, как птичка на своем любимом насесте.

— Мое счастье, умоляю, — задыхался Альбинус и вставал с кресла и шел на нее. Рекс на подоконнике поджимал ноги, а Марго кричала на Альбинуса, кричала, что тотчас же уедет, препоручив его заботам сиделки, если он не будет слушаться, и он, с виноватой усмешкой, пробирался обратно к своему креслу.

— Ладно, ладно, — вздыхал он. — Почитай мне что-нибудь — газету, что ли.

Она опять поднимала глаза к потолку.

Рекс осторожно пересаживался на диван, брал Марго к себе на колени. Она разворачивала газету и, разгладив и изучив ее, читала вслух. И Альбинус сокрушенно кивал, медленно поедая невидимые вишни, выплевывая в ладонь невидимые косточки. Рекс смешил Марго, вытягивая и опять вбирая губы в подражание ее манере читать, или

делал вид, что сейчас уронит ее, — у нее срывался голос, и приходилось мучительно искать конец оборванной фразы.

“Да, может быть, все это к лучшему, — думал Альбинус. — Наша любовь теперь чище и одухотвореннее. Если она не бросает меня, значит, действительно любит. Это хорошо, это хорошо”. И вдруг ни с того ни с сего он начинал громко рыдать, рвал мрак руками, умолял, чтобы его повезли к другому профессору, к третьему, к четвертому, только бы прозреть, все, что угодно, операцию, пытку, прозреть...

Рекс, беззвучно позевывая, брал из вазы на столе пригоршню вишен и отправлялся в сад.

В первое время совместного житья Рекс и Марго были очень осмотрительны, хотя и позволяли себе всякие невинные шутки. Перед дверью своей комнаты, в коридоре, Рекс на всякий случай устроил баррикаду из ящиков и сундуков, через которую Марго по ночам перелезала. Альбинус, впрочем, после первого обхода дома перестал интересоваться его топографией, зато спальню свою и кабинет изучил досконально.

Марго описала ему все краски там — синие обои, желтые шторы, — но, по наущению Рекса, нарочно все цвета изменила. Рексу казалось весело, что слепой будет представлять себе свой мирок в тех красках, которые он, Рекс, продиктует.

В своих комнатах у Альбинуса почти было ощущение, что он видит мебель и предметы, и он чувствовал сохранность, безопасность. Когда же он сиживал в саду, то кругом была неведомая бездна, ибо все было слишком велико, воздушно и многошумно, чтобы можно было сложить это в единую картину. Он старался научиться жить слухом, угадывать движения по звукам. Вскоре Рексу стало затруднительно незаметно входить и выходить. Как бы беззвучно ни открывалась дверь, Альбинус сразу поворачивал голову в ту сторону и спрашивал: “Это ты, милая?” — а затем сердился на нерасторопность своего слуха, когда Марго отвечала ему из другого угла.

Проходили дни, и чем острее он напрягал слух, тем неосторожнее становились Рекс и Марго, привыкая к

надежности завесы слепоты. Вместо того чтобы, как прежде, обедать на кухне под обожающим взглядом старой Эмилии, Рекс преспокойно садился за стол с Марго и Альбинусом. Он ел с виртуозной беззвучностью, не прикасаясь металлом к фарфору и жуя, как актер в немой фильме, идеально синхронизируя ритм движений своих челюстей с ритмом Альбинуса и музыкальным рисунком нарочито громкого разговора Марго, на фоне которого делалось не слышно, как жуют и глотают мужчины. Однажды он поперхнулся. Альбинус, над которым наклонялась Марго, наливая ему чашку кофе, вдруг услышал в конце стола странный хлюпающе-хрюкающий звук. Марго спешно затараторила, но он прервал ее, взмахнув рукой:

— Что это было? Что это было?

Рекс меж тем взял свою тарелку и на цыпочках удалился, прикрывая рот салфеткой. Однако, проходя крадучись в полуоткрытую дверь, он уронил вилку.

Альбинус резко повернулся на стуле.

— Что это такое? Кто там? — повторил он.

— Ах, это Эмилия. Чего ты волнуешься?

— Но ведь она сюда никогда не входит.

— А сегодня вошла.

— Я думал, что у меня начинаются слуховые галлюцинации, — сказал Альбинус. — Вчера, например, у меня возникло совершенно твердое впечатление, что кто-то осторожно ступает босиком по коридору.

— Так можно и с ума сойти, — сухо произнесла Марго.

Днем, когда Альбинус обычно ложился вздремнуть, она подчас уходила гулять вместе с Рексом. Шли на почтамт за письмами и газетами или поднимались к водопаду, а пару раз заглянули в кафе в симпатичном городке, расположенном ниже по склону. Как-то они возвращались домой, взбирались уже по крутой тропинке, ведущей к шале, и Рекс сказал:

— Я советую тебе не приставать к нему с браком. Очень опасаюсь, что, бросив жену, он тем самым причислил ее к лику святых и чтит, как изображение на церковном

витраже. И едва ли его вдохновит предложение разбить вдребезги именно этот витраж. Гораздо проще и милее выйдет, если тебе удастся постепенно забрать в свои руки его состояние.

— Мы и так, кажется, забрали солидную его часть.

— Надо, чтобы ты попыталась убедить его продать те земли, которыми он владеет в Померании, и картины, — продолжал Рекс, — или хотя бы один из его домов в Берлине. Если будем действовать с умом, то своего добьемся. С чеками у нас пока все выходит отлично. Он подписывает, как машина, — но на его банковском счету скоро ничего не останется. Да и потом, нам надо торопиться. Дай Бог, к зиме можно будет бросить его. Перед тем купим ему собаку — маленький знак внимания.

— Тише ты, — сказала Марго. — Вот уже камень.

Этот камень, большой серый камень, поросший с краю вьюном и похожий на овцу, отмечал тот предел, после которого опасно было разговаривать. Они пошли молча и через несколько минут уже подходили к садовым воротам. Марго вдруг засмеялась, указывая на белку. Рекс швырнул в нее камнем, но не попал.

— Ах, убей ее, — они, говорят, страшно портят деревья, — сказала Марго тихо.

— Кто портит деревья? — громко спросил голос Альбинуса.

Он стоял — слегка покачиваясь, среди кустов сирени на каменных ступеньках, там, где тропинка переходила в садовую площадку.

— Марго, с кем ты говоришь? — продолжал он и вдруг оступился и тяжело осел, выронив трость.

— Как ты смеешь так далеко заходить? — воскликнула она и грубовато помогла ему подняться. Зернышки гравия впились ему в ладони, он топырил пальцы и пытался соскрести с них гравий, как обычно делают дети.

— Я старалась поймать белку, — заявила Марго, суя ему в руку трость. — А ты что думал?

— Мне казалось... — начал Альбинус. — Кто тут? — вдруг отрывисто крикнул он и, чуть опять не потеряв

равновесие, повернулся в сторону Рекса, который осторожно шел по траве.

— Никого нет, — сказала Марго. — Я одна. Чего ты бесишься? — Она чувствовала, что ее терпение на пределе.

— Поведи меня домой, — сказал он чуть не плача. — Здесь слишком много звуков. Деревья, ветер, белка, множество вещей, опознать которые я не могу. Я не знаю, что кругом происходит. Так шумно.

— Я буду теперь запирать тебя, — сказала она и потянула за собой в дом.

Потом, как обычно, солнце зашло за соседнюю седловину. Марго и Рекс, как обычно, сидели рядышком на диване и курили, а в двух саженях от них сидел в кожаном кресле Альбинус, уставившись на них неподвижными мутно-голубыми глазами. Марго, по его просьбе, рассказывала ему свое детство. Это занятие доставляло ей удовольствие. Он рано пошел спать, долго поднимался по лестнице, стараясь установить подошвой и тростью индивидуальность каждой ступени.

Среди ночи он проснулся, нащупал на голом циферблате будильника стрелки: была половина второго. Странное беспокойство. Что-то все мешало ему последнее время сосредоточить ум на тех важных, хороших мыслях, которые одни помогали бороться с ужасом слепоты.

Он лежал и думал: “В чем дело? Элизабет? Нет, она далеко, на самой глубине его слепоты. Милая, бледная, грустная тень, которую нельзя тревожить. Марго? И это не то. Мы с ней сейчас живем как брат с сестрой, но ведь это временно. В чем же дело?”

Не зная толком, в чем дело, он сполз с постели и ощупью добрался до двери Марго (лишь через нее можно было выйти из его комнаты). Марго всегда запирала эту дверь на ночь. Вот и сейчас она была заперта.

“Какая она у меня умница”, — подумал он нежно и приложил ухо к замочной скважине, чтобы послушать, как она дышит во сне. Но ничего не услышал.

— Тихая как мышка, — прошептал он. — Вот бы сейчас погладить ее по голове и сразу уйти. Может быть, она забыла запереться.

Без особой надежды он нажал. Нет, она не забыла.

Он вдруг вспомил, как прыщавым отроком в душную летнюю ночь, в чьей-то усадьбе на Рейне, он перелез по карнизу в комнату горничной (которая, впрочем, как оказалось, спала не одна). Но тогда он был легок и ловок, а кроме того — зряч.

"А почему бы не попробовать? — подумал он с меланхолическим озорством. — Ну разобьюсь. Не все ли равно?"

Он нашел свою трость и, высунувшись в окно, повел ею влево вдоль карниза к соседнему окну. Оно было открыто, и стекло звякнуло, когда трость задела его.

"Как она крепко спит! — подумал он. — Устает за день, возится со мной".

Втягивая обратно трость, он зацепил за что-то. Трость выскользнула из его рук и с мягким стуком упала.

Держась за подоконник, он перелез на карниз, нащупал рядом нечто — предположительно водосточную трубу, — переступил через ее холодное железное колено и сразу ухватился за следующий подоконник.

"Как просто!" — подумал он не без гордости и, тихо сказав: "Ку-ку, Марго!" — попытался вползти в открытое окно. Он поскользнулся и чуть не упал в подразумеваемый сад. Сильно забилось сердце. Перевалив через подоконник, он сбил какой-то тяжелый предмет, который бухнул на пол.

Альбинус остановился, капли пота щекотали лицо. К ладони пристало что-то липкое (сосновая смола, выступившая из досок: дом-то ведь сосновый).

— Марго, милая, — сказал он бодро. Тишина. Он нашел постель, она была девственно прикрыта чем-то кружевным.

Альбинус сел на постель и стал соображать. Если постель была бы открытая и теплая, то тогда понятно, она сейчас вернется.

Погодя он вышел в коридор (испытывая большие затруднения из-за отсутствия трости) и прислушался. Ему показалось, что где-то раздался тихий ноющий звук — не то скрип, не то шорох. Ему стало почему-то страшно. Он громко крикнул:

— Марго, где ты?

По-прежнему тишина. Потом где-то открылась дверь.

— Марго, Марго! — повторил он и двинулся по коридору.

— Да-да, я здесь, — раздался ее спокойный голос.

— Что случилось, Марго? Почему ты до сих пор не легла?

Она столкнулась с ним — в коридоре было темно, — и, на мгновение коснувшись ее, он почувствовал, что она голая.

— Я лежала на солнце, — сказала она. — Как всегда по утрам.

— Но сейчас ночь, — воскликнул он, тяжело дыша. — Я не понимаю. Тут что-то не то. Я знаю, потому что нащупал стрелки часов. Сейчас половина второго.

— Глупости, сейчас половина седьмого и чудное солнечное утро. Будильник твой испорчен. Слишком часто трогаешь стрелки. Но позволь, как ты выбрался сюда?

— Марго, это правда, что утро? Ты говоришь правду?

Она вдруг подошла к нему вплотную, встала на цыпочки и обвила, как встарь, его шею.

— Хотя и утро, — сказала она тихо, — но если ты хочешь, если ты хочешь, милый... В виде большого исключения...

Это был для нее трудный шаг, но единственный правильный. Альбинус не успел обратить внимания на сырость воздуха, на то, что птицы еще не поют. Было только одно — буйное баснословное блаженство, после которого он сразу уснул и спал до полудня. Когда он проснулся, Марго выругала его за героический переход из окна в окно, еще пуще рассердилась, увидя его грустную улыбку, и ударила его по щеке.

Весь день он просидел в гостиной и вспоминал, какое это было счастье утром, и гадал, через сколько дней оно повторится. Вдруг, совершенно явственно, он услышал, как кто-то коротко откашлялся. Это не могла быть Марго. Он знал, что она на кухне.

— Кто тут? — спросил он.

Никто не ответил.

“Опять галлюцинация”, — устало подумал Альбинус и вдруг понял, что именно его тревожило ночью, — да-да, вот эти странные звуки, которые он иногда слышит.

— Скажи, Марго, — обратился он к ней, когда она вернулась, — тут никого не бывает в доме, кроме Эмилии? Ты уверена?

— Дурак! — ответила она лаконично.

Но однажды возникшее подозрение уже не давало ему покоя. Он сидел весь день на одном месте, мрачно прислушиваясь.

Рекса это забавляло чрезвычайно, и, несмотря на то что Марго умоляла его быть осторожным, он не обращал на ее призывы никакого внимания. Раз, например, сидя в полуметре от Альбинуса, он стал искусно насвистывать, как иволга. Марго принуждена была Альбинусу объяснить, что птичка села на подоконник и поет.

— Прогони ее, — хмуро сказал Альбинус.

— Кыш, кыш, — сказала она, прикладывая ладонь к выпученным губам Рекса.

— Знаешь что, — через несколько дней сказал Альбинус, — мне бы хотелось как-нибудь покалякать с этой Эмилией. Мне нравятся ее пудинги.

— Совершенно исключено, — ответила Марго, — она глуха как пень и страшно боится тебя.

Минуты две Альбинус о чем-то напряженно думал.

— Не может быть, — проговорил он тихо и раздельно.

— Что, Альберт, не может быть?

— Ах, пустые мысли, — ответил он угрюмо, — пустые мысли.

— Вот что, Марго, — проговорил он минуту спустя. — Я ужасно оброс. Вели парикмахеру прийти из деревни.

— Лишнее, — сказала Марго. — Тебе очень идет борода.

Альбинусу показалось, что кто-то — не Марго, а как бы около Марго — тихо хихикнул.

37

Кто-то из сослуживцев показал Полю в конторе номер "Берлинер цайтунг" с кратким описанием несчастного случая, и он тут же поехал домой, опасаясь, как бы Элизабет о нем не прочитала. Она, однако, газету не читала, хотя, как ни удивительно, именно данный номер газеты (которую они, как правило, не покупали) случайно оказался в доме. В тот же день Поль позвонил в полицейский участок Грасса и, приложив некоторые усилия, соединился с госпитальным доктором, который сообщил, что, хотя жизни Альбинуса не угрожает опасность, в результате аварии он ослеп. Как можно осторожнее Поль рассказал Элизабет об этом.

Простое обстоятельство помогло установить, по какому адресу Альбинус проживает в Швейцарии. Поль и его зять были клиентами одного и того же банка. Управляющий, давнишний его деловой партнер, показал чеки, с регулярной стремительностью поступавшие оттуда, и Поля поразило, какие несоразмерные суммы расходует Альбинус. Подпись его была подлинная, но какая-то неуверенная — в особенности в завитках букв, — и она жалостливо съезжала вниз, зато цифры были проставлены другой рукой — нахальной мужской рукой, обладавшей, похоже, напористостью и энергией. Во всей этой истории чувствовался какой-то слабый привкус мошенничества. Поль подумал, что такое странное впечатление возникает, наверное, оттого, что слепой подписывал чеки, зная суммы лишь с чужих слов, но не видя их. Странно было и то, сколь огромные суммы он запрашивал, — как будто то ли он, то ли кто-то еще безумно спешил выбрать как можно больше денег. А однажды поступил чек, оплачивать который уже было нечем.

"Здесь какое-то мошенничество, — подумал Поль. — Я чую это нутром. Но какое именно?"

И он представил себе Альбинуса, оставшегося один на один со своей опасной любовницей, полностью от нее зависящего, запертого в черном чертоге слепоты.

Прошло несколько дней. Полю было ужасно тревожно. Дело даже не в том, что человек подписывал чеки, не видя их (как-никак, а деньги принадлежали ему, он волен был тратить их с умом или без такового, — тем более что Элизабет в деньгах не нуждалась, да и об интересах Ирмы заботиться уже не приходилось), а в том, что человек этот был совершенно беспомощен перед лицом безумного мира, жизнь в котором выбрал сам.

Как-то вечером, вернувшись домой, Поль обнаружил, что Элизабет складывает вещи в чемодан. Удивительно было то, что она сегодня выглядела куда счастливее, чем на протяжении многих предшествующих месяцев.

— Что происходит? — спросил он. — Ты куда-то едешь?

— Ты едешь, — ответила она спокойно.

38

На следующий день Поль выехал в Швейцарию. В Бриго он сел в автомобиль и через час с небольшим оказался в городке, невдалеке от которого жил Альбинус. Он остановился у почтамта, и служащая — молодая, очень словоохотливая девица — объяснила, как доехать до шале, и добавила, что Альбинус живет вместе с племянницей и доктором. Поль немедленно покатил дальше. Он понимал, что это за племянница. А вот присутствие доктора его удивило. Это как будто доказывало, что Альбинус окружен некоторой заботой.

“Может быть, я зря еду, — подумал Поль, почувствовав неловкость. — Может быть, он вполне доволен. Нет, раз уж я тут... Поеду, поговорю с этим доктором — несчастный человек, погибшая жизнь... Кто мог предвидеть...”

Марго в то утро вместе с Эмилией была в деревне. Автомобиль Поля она проглядела, но зато, зайдя на почтамт, узнала, что только что полный господин справлялся об Альбинусе и поехал к нему.

В это время в маленькой гостиной, освещенной солнцем через стеклянную дверь на веранду, сидели друг против

друга Альбинус и Рекс. Рекс сидел на складном стульчике, совершенно голый. От ежедневных солнечных ванн его худощавое, но сильное тело, с черной шерстью в форме распростертого орла на груди, было кофейного цвета. В красных выпученных губах он держал длинный стебелек травы, и, скрестив мохнатые ноги и подперев подбородок рукой (в позе роденовского “Мыслителя”), он не спускал глаз с лица Альбинуса, который тоже, казалось, пристально смотрит на него.

На слепом был широкий мышиного цвета халат, бородатое лицо выражало мучительное напряжение. Он прислушивался — в последнее время он только и делал, что прислушивался. Рекс это знал и внимательно наблюдал, как мысли слепого отражаются на его лице, как в одном гигантском глазе, заместившем его незрячие глаза. Несколько скромных экспериментов усиливали удовольствие. Так, Рекс легонько шлепнул себя по колену, и Альбинус, который как раз поднимал руку к нахмуренному своему челу, замер с приподнятой рукою. Тогда, медленно подавшись вперед, Рекс тронул это чело пушистым концом длинной былинки, которую только что сосал. Альбинус странно вздохнул и отогнал подразумеваемую муху. Рекс пощекотал ему губы — снова отгоняющий жест. Это было весьма смешно.

Вдруг слепой резко двинулся, насторожился. Рекс тоже повернул голову и увидел сквозь стеклянную дверь краснолицего толстяка в клетчатой кепке, которого тут же узнал: он стоял на веранде, остолбенев от изумления.

Рекс, глядя на него, приложил палец к губам и хотел еще показать, что сейчас к нему выйдет. Но тот рванул дверь и вступил в гостиную.

— Конечно, я вас знаю. Ваша фамилия Рекс, — сказал Поль, тяжело дыша и смотря в упор на голого человека, который все ухмылялся и прикладывал палец к губам.

Альбинус меж тем встал, розовая краска шрама словно разлилась по всему его лбу. Он стал вдруг кричать, кричать совершенно бессмысленно, и только постепенно из этой мешанины грудных звуков стали складываться слова.

— Поль, я тут один, — кричал он. — Поль, скажи, что я один. Рекс в Америке. Его здесь нет. Поль, я умоляю. Я ведь совершенно слеп.

— Жаль, что вы все испортили, — сказал Рекс и побежал к двери, ведущей на лестницу.

Поль схватил трость Альбинуса, догнал Рекса — тот обернулся, выставив ладони, — и Поль, добрейший Поль, который в своей жизни не ударил живого существа, со всей силы треснул Рекса палкой по голове. Тот отскочил, продолжая усмехаться, — и вдруг произошла замечательная вещь: словно Адам после грехопадения, Рекс, стоя у стены и осклабясь, пятерней прикрыл свою наготу.

Поль кинулся на него снова, но голый увильнул и взбежал по лестнице.

В это мгновение что-то навалилось сзади на Поля. Это был Альбинус — он кричал, держа в руке мраморное пресс-папье.

— Поль, — захлебывался он. — Поль! Я все понимаю. Дай мне пальто, дай мне скорее пальто! Оно тут, в шкапу!

— Желтое? — спросил Поль, борясь с одышкой.

Альбинус сразу нащупал в кармане то, что ему было нужно, и перестал кричать.

— Я немедленно везу тебя прочь отсюда, — сказал Поль. — Снимай халат и надевай пальто. Оставь это пресс-папье. Дай я тебе помогу... Вот... Бери мою кепку. Ничего, что ты в ночных туфлях. Пойдем, пойдем, Альберт, у меня там, внизу автомобиль. Главное — скорее убраться из этого застенка!

— Нет, погоди, — сказал Альбинус. — Я сперва должен с ней поговорить. Она вот-вот вернется. Я должен, Поль. Это продолжится одну минуту.

Но Поль вытолкнул его в сад, затем заорал и замахал, призывая шофера.

— Я должен поговорить с ней, — повторял Альбинус. — Только чтобы она подошла ко мне совсем близко. Ради Бога, скажи, Поль, может быть, она уже здесь? Может быть, она уже вернулась?

— Нет, успокойся. Идем, пожалуйста. Никого нет. Только этот голый смотрит из окна. Пойдем, Альберт, пойдем!

— Я пойду, — сказал Альбинус. — Но только ты скажи мне, если ее увидишь. Мы ее можем встретить. Тогда я должен буду поговорить с ней. Только чтобы она подошла совсем близко, совсем близко.

Они стали спускаться по тропинке, но через несколько шагов Альбинус вдруг повалился навзничь в глубоком обмороке. Подоспел запыхавшийся шофер. Он и Поль понесли Альбинуса в автомобиль. Одна из ночных туфель осталась лежать на тропинке.

В это время подъехала таратайка, из нее выскочила Марго. Она подбежала, крикнула что-то, но автомобиль попятился, чуть ее не задавил и сразу ринулся вперед и скрылся за поворотом.

39

Элизабет получила телеграмму во вторник, а в среду, около восьми вечера, услышала в прихожей голос Поля и стук трости. Дверь открылась, Поль ввел ее мужа.

Он был чисто выбрит, в темных очках, на бледном лбу был шрам. Незнакомый лиловато-коричневый костюм (подобный оттенок он никогда бы не выбрал сам) казался слишком просторным.

— Привез, — спокойно сказал Поль.

Элизабет заплакала, прижимая платок ко рту. Альбинус тихо поклонился по направлению невнятного плача.

— Пойдем помыть руки, — сказал Поль, медленно ведя его через комнату.

Потом сидели втроем в столовой, ужинали. Элизабет все не могла привыкнуть смотреть на мужа. Ей казалось, что он все-таки чувствует ее взгляд. Печальная торжественность его замедленных движений доводила ее до какого-то тихого исступления жалости. Поль говорил с ним как с ребенком и разрезал ветчину на его тарелке на мелкие кусочки.

Его поместили в бывшую комнату Ирмы — Элизабет сама удивилась тому, как легко ей было нарушить сон священной комнатки ради этого нечаянного, большого, безмолвного жильца, переменить, переставить, приноровить ее к потребностям слепца.

Альбинус молчал. Правда, сначала — в Швейцарии — он не переставая, с тяжелой, бредовой настойчивостью упрашивал Поля вызвать Марго на свидание — он клялся, что эта последняя встреча продлится не более минуты. (И действительно, долго ли нужно в привычной темноте щупать, чтобы, крепко схватив одной рукой, сразу ткнуть стволом браунинга в бок и нашпиговать ее пулями?) Поль упорно отказывался просьбу его уважить, и тогда-то Альбинус замолчал. Он молчал по пути в Берлин, молча прибыл в дом, да и три последующих дня он промолчал, — так что Элизабет так и не услышала его голоса (не считая, возможно, одного-единственного случая), — словно бы он не только ослеп, но и онемел.

Черная увесистая вещь, сокровищница с семью компактно сжатыми смертями, лежала в укромных глубинах кармана пальто, завернутая в шелковистое кашне. Приехав, он переместил ее в комод рядом с кроватью. Он хранил ключ в кармане пиджака, а ночью клал под подушку. Пару раз Поль и Элизабет замечали, что он роется в кармане и сжимает что-то в кулаке, но не сказали ничего по этому поводу. Прикосновение ключа к ладони, ощущение того, что он слегка оттягивает карман, давали уверенность, что существует — а Альбинус не сомневался в этом — некий Сезам, который в один прекрасный день откроется, и тут же распахнется мрак его слепоты.

И он продолжал молчать. Присутствие Элизабет в доме, ее шаги, ее шепот (она почему-то теперь говорила с прислугой и с Полем шепотом, словно в доме находился тяжелый больной) были, в конце концов, столь же условны и призрачны, как его воспоминания о ней. Да, шелестящее, слабо пахнущее одеколоном воспоминание, — больше ничего. Подлинная жизнь, жестокая, увертливая, мускулистая, как анаконда, жизнь, которую следовало пресечь

немедля, находилась где-то в другом месте, — где? Неизвестно. С необычной ясностью он представил себе картину: Марго и Рекс, оба гибкие, проворные, со страшными глазами навыкате и длинными податливыми членами, собирают вещи после его отъезда, Марго льнет к Рексу и ласкает его, извиваясь среди открытых сундуков, и наконец они уезжают — но куда? Ни проблеска света в сплошном мраке. Но он чувствовал, как в глубине его существа горит, словно выжженная огнем, избранная ими извилистая тропа, — чувство сродни тому, какое испытываешь, когда к твоей коже случайно прикасается пролетающее пернатое или проползающее пресмыкающееся.

Прошло три немых дня. На четвертый, рано утром, так случилось, что Альбинус остался без надзора. Поль только что уехал в полицию (надлежало кое в чем разобраться), прислуга была в своей комнате, а Элизабет, не спавшая всю ночь, еще не выходила из спальни. Альбинус, в мучительной жажде немедленного действия, пошел ходить по квартире, ощупывая мебель и косяки. Уже некоторое время звонил в кабинете телефон, и это напомнило о том, что есть возможность что-то узнать: кто-нибудь, несомненно, сможет сказать, вернулся ли художник Рекс в Берлин. Но он не помнил ни одного телефонного номера и, более того, чувствовал, что не сумеет выговорить этого имени, хоть оно и такое короткое. Звон телефона между тем становился все настойчивее. Альбинус ощупью добрался до стола, снял незримую трубку...

Смутно знакомый голос спрашивал господина Гогенварта, то есть Поля.

— Нет дома, — ответил Альбинус.

Голос замялся и вдруг бодро сказал:

— Это вы, господин Альбинус?

— Да, да, а вы кто?

— Шиффермиллер. Я только что звонил в контору к господину Гогенварту, но его еще не было. Я думал, что успею застать его дома. Как удачно, что вы тут, господин Альбинус.

— А в чем дело? — спросил Альбинус.

— Видите ли, вероятно, все в порядке, но, как-никак, я почел своим долгом... Дело в том, что сейчас заехала сюда фрейлейн Петерс за своими вещами. Я ее пустил в вашу квартиру, но я не знаю... может быть, какие-нибудь распоряжения...

— Все в порядке, — сказал Альбинус, с трудом двигая губами (они одеревенели, как от кокаина).

— Что вы говорите, господин Альбинус?

Альбинусу стоило большого труда заставить себя повторить более четко: "Все в порядке", после чего дрожащей рукой он повесил трубку.

Он пробрался обратно в свою комнату, открыл священный комод, затем ощупью вышел в переднюю, хотел было отыскать трость и шляпу, но это выходило слишком долго, и он решил обойтись без них. Поспешно поглаживая края ступеней подошвой, скользя ладонью по перилам и бешено бормоча что-то, он спустился и вот оказался на улице. Что-то холодное, колкое закапало на лоб: дождь. Он вцепился в железо палисадника, отчаянно мечтая услышать гудение таксомотора. Вот — неторопливый и влажный шелест шин. Он крикнул, но звук, не обращая на него никакого внимания, ускользнул прочь.

— Хотите, я помогу вам перейти? — предложил приятный женский голос.

— Ради Бога, автомобиль, — взмолился Альбинус.

Снова приблизился звук шин. Кто-то помог ему влезть и захлопнул дверцу. (На четвертом этаже отворили окно, но было уже слишком поздно.)

— Прямо, прямо, — тихо произнес Альбинус, а когда уже автомобиль тронулся, он постучал пальцем по стеклу и сообщил адрес.

"Буду считать повороты, — подумал Альбинус. — Первый — это, вероятно, Моцштрассе". Слева заскрежетал и звякнул трамвай. Альбинус повел рукой вокруг себя, ощупывая сиденье, переднюю стенку, пол, пораженный внезапной мыслью, что, быть может, кто-нибудь сел вместе с ним. Опять поворот — это, должно быть, Виктория-Луизеплац. Или Прагер-плац? Сейчас будет Кайзер-аллее.

Таксомотор остановился. Неужели приехали? Не может быть. Просто перекресток. Еще по крайней мере пять минут езды до... Но дверца открылась.

— Пятьдесят шестой номер, — сказал голос шофера.

Альбинус вышел на панель. Перед ним в воздухе, радостно приближаясь, появилось полное издание того голоса, который только что звучал в телефоне. Шифермиллер, швейцар дома, сказал:

— Так неожиданно, так приятно, господин Альбинус. Фрейлейн Петере у вас наверху, она...

— Тише, тише, — пробормотал Альбинус. — Заплатите тут. У меня с глазами...

Он наткнулся коленом на что-то звонкое и как будто валкое — детский велосипед, может быть.

— Проведите меня в дом, — сказал он. — Дайте мне ключ от моей квартиры. Скорее же. Теперь введите меня в лифт. Нет, нет, оставайтесь внизу. Я один поднимусь. Я сам нажму кнопку.

Лифт мягко застонал, голова слегка закружилась, потом ударило под пятки войлочных туфель. Доехал.

Он вышел, шагнул вперед и сошел одной ногой в бездну — нет не в бездну, а просто вниз, на следующую ступеньку лестницы. Пришлось минутку постоять — так била дрожь.

— Правее, гораздо правее, — прошептал он и, вытянув руку вперед, добрался до площадки. Наконец он нашел скважину, сунул в нее ключ, повернул.

Ах, вот он — звук, услышать который он столь страстно мечтал вот уже столько дней, — слева, в небольшой гостиной, шуршала бумага, затем что-то легко, легко хрустнуло, как будто суставы приседающего на корточки человека.

— Вы сейчас мне будете нужны, господин Шифермиллер, — сказал слегка неестественно звучащий голос Марго. — Вы должны мне будете помочь — все это...

Он услышал, как слева, в гостиной, щелкнула крышка запираемого чемодана. Марго удовлетворенно крякнула — ведь все-таки наконец закрылся — и певуче продолжала:

— ...все это снести вниз. Или лучше позовите...

Тут голос ее как бы обернулся на слове "позовите", и последовала тишина.

Альбинус, держа в правой руке готовый выстрелить браунинг, нащупал левой косяк открытой двери, вошел, захлопнул дверь за собой и спиной прислонился к ней.

Тишина продолжалась. Он знал, что он с Марго одни в этой комнате, откуда только один выход — тот, который он заслонял. Комнату он словно видел воочию: слева — полосатый диванчик, у правой стены — столик и на нем фарфоровая балерина, в углу у окна — шкапчик с драгоценными миниатюрами, посредине — еще один, колоссальных размеров, стол, ярко блестящий и гладкий.

Выпрямив руку, он стал водить браунингом перед собой, стараясь вынудить какой-нибудь уяснительный звук. Чутьем, впрочем, он знал, что Марго где-то около миниатюр, — оттуда шло как бы легчайшее ядовито-душистое тепло, к которому примешивался аромат духов "L'heure bleu"; в том углу что-то дрожало, как дрожит воздух над песком в зной. Он начал суживать дугу, по которой водил стволом, и вдруг раздался тихий скрип. Выстрелить? Нет, еще рано. Нужно подойти ближе. Он ударился о стол и остановился. Он чувствовал, что Марго сдвигалась куда-то вбок, но звука перехода он не уловил за громом и треском собственных шагов. Да, теперь она была левее, у самого окна. Если она сейчас потеряет голову, станет открывать его, закричит, это будет просто божественно — идеальная мишень. Но что, если, когда он пойдет вперед, она выскользнет с другой стороны стола? "Лучше запереть за собой дверь", — подумал он. Ключа не оказалось. (Двери почему-то всегда оказывались не на его стороне.) Тогда он взялся одной рукой за край стола и, отступая, потянул его к двери, чтобы стол прикрывал его сзади. Опять тепло, которое он чуял, передвинулось, сузилось, уменьшилось. Он заставил дверь, почувствовал себя свободнее, и стал опять водить перед собой браунингом, и опять нашел во мраке живую дрожащую точку.

Теперь он двигался вперед как можно медленнее, чтобы не мешать слуху уловить каждый звук. Однажды кто-то

зимней ночью, вдали от шума городского, слепец стремительный смертельный нанес удар... Он наткнулся на твердое и, держа под прицелом диагональ комнаты, исследовал препятствие рукой. Небольшой сундук. Он отодвинул его коленом и пошел дальше, загоняя невидимую добычу в подразумеваемый угол. Ее молчание сперва раздражало его, но теперь он отлично чуял ее. Это был не звук дыхания и не биение сердца, а некое сборное впечатление, звучание самой жизни, которое сейчас, вот сейчас будет прекращено. И тогда — покой, ясность, свет.

Но он почувствовал внезапно какое-то полегчание в том углу. Он повел пистолетом опять в сторону, и угол опять наполнился теплым присутствием. Затем оно, это присутствие, как бы стало понижаться, словно сбитое сквозняком пламя, оно опускалось, опускалось, вот поползло, вот стелется по полу. Альбинус не выдержал и, застонав, нажал собачку.

Выстрел расколол тьму, и тотчас после этого что-то ударило его по ногам, повалило. Он упал, запутавшись в стуле, брошенном в него. Падая, он выронил браунинг, мгновенно нащупал его, но одновременно почувствовал громкое дыхание, его ноздри уловили запах духов и пота, и холодная, проворная рука попыталась выхватить у него пистолет. Альбинус вцепился во что-то живое, и это живое существо ужасающе-истошно закричало, словно рожденное кошмаром чудовище, корчащееся от щекотки по вине другого такого же — своего двойника. Рука, в которую он вцепился, все же вырвала пистолет, и он почувствовал, как ствол вонзился в бок; и одновременно со слабым хлопком, раздавшимся, похоже, где-то в неимоверной дали, в ином мире, что-то укололо под ребро, от чего перед глазами возникло ослепительное сияние.

"Конец, — подумал он неспешно, как думает человек, нежащийся в постели. — Пока не нужно шевелиться, а потом потихоньку пойти по песку боли — к синей, синей волне. Какое блаженство видеть голубизну. Я никогда не представлял себе, что такое настоящий, истинно голубой цвет. Как можно запутать свою жизнь. Теперь я знаю все.

Она накатывает, накатывает, и вот сейчас я утону. Вот она. Как это больно. Я задыхаюсь".

Он сидел на полу, опустив голову, и потом вяло наклонился вперед и криво упал на бок, словно большая мягкая кукла.

Заметки режиссера к последней немой сцене. Дверь — широко открыта. Стол — отодвинут в сторону от нее. Ковер — выпятился горбом у ножки стола, как застывшая волна. Стул — валяется рядом с мертвым телом человека в лиловато-коричневом костюме и войлочных комнатных туфлях. Браунинга не видно, он под ним. Шкап, где хранились миниатюры, — пуст. На другом (маленьком) столике, где некогда белела фарфоровая балерина (перешедшая затем в другую комнату), лежит дамская перчатка, черная снаружи, белая изнутри. Около полосатого дивана стоит щегольской сундучок с цветной наклейкой: "Ружинар, отель "Британия". Дверь из прихожей на лестницу тоже осталась широко открытой.

ИЗ ИНТЕРВЬЮ

•

ЛОЛИТА И Г-Н ЖИРОДИА

ИНТЕРВЬЮ ТЕЛЕВИДЕНИЮ БИ-БИ-СИ, 1962 г.

Вы могли бы когда-нибудь вернуться в Россию?

Я никогда не вернусь, по той простой причине, что вся Россия, которая мне нужна, всегда при мне: литература, язык и мое собственное русское детство. Я не вернусь никогда. Я никогда не сдамся. И в любом случае гротескный призрак полицейского государства не рассеется за отпущенное мне время. Сомневаюсь, что там знают мои книги, — о, возможно, какое-то число моих читателей там имеется, хотя бы в секретной службе, но не будем забывать, что Россия стала невероятно провинциальной за эти сорок лет, — оставляя в стороне то обстоятельство, что людям там указывают, что читать и что думать. В Америке я счастливее, чем в любой другой стране. Именно в Америке я нашел своих лучших читателей, тех, чей ум ближе всего к моему. В интеллектуальном отношении я чувствую себя в Америке дома. Это мой второй дом в подлинном смысле слова.

Вы профессиональный лепидоптеролог?

Да, меня интересуют классификации, различия, эволюция, анатомия, распространение, привычки лепидоптеры — звучит очень пышно, но на самом деле я специалист по очень маленькой группе бабочек. Я опубликовал несколько статей о бабочках в различных научных журналах, но хочу повторить, что мой интерес к бабочкам носит исключительно научный характер.

Есть ли тут какая-нибудь связь с вашим творчеством?

В отвлеченном смысле есть, поскольку я думаю, что в произведении искусства происходит как бы слияние двух вещей: точности поэзии и восторга чистой науки.

В вашем новом романе "Бледное пламя" один из персонажей говорит, что реальность не является ни субъектом, ни объектом истинного искусства, которое создает свою собственную реальность. Какова эта реальность?

Реальность — вещь весьма субъективная. Я могу определить ее только как своего рода постепенное накопление сведений и как специализацию. Если мы возьмем, например, лилию или какой-нибудь другой природный объект, то для натуралиста лилия более реальна, чем для обычного человека. Но она куда более реальна для ботаника. А еще одного уровня реальности достигает тот ботаник, который специализируется по лилиям. Можно, так сказать, подбираться к реальности все ближе и ближе; но все будет недостаточно близко, потому что реальность — это бесконечная последовательность ступеней, уровней восприятия, двойных донышек, и потому она неиссякаема и недостижима. Вы можете узнавать все больше о конкретной вещи, но вы никогда не сможете узнать о ней всего: это безнадежно. Стало быть, мы живем в окружении более или менее призрачных предметов — взять хоть вот эту машинку. Для меня это совершенное привидение — я ничего в ней не понимаю и, ну то есть, для меня она — тайна, такая же тайна, какой была бы для лорда Байрона.

Вы говорите, что реальность — это исключительно субъективная вещь, но мне кажется, что в своих книгах вы испытываете почти извращенное удовольствие от литературного обмана.

Ложный ход в шахматной задаче, иллюзия решения или волшебство фокусника: я немного занимался фокусами в детстве. Я любил делать простые трюки — превращать

воду в вино и всякие такие штуки; но, думаю, я попал в хорошую компанию, потому что всякое искусство — обман, так же как и природа; все обман в этом добром мошенничестве — от насекомого, которое притворяется листом, до ходких приманок размножения. Вы знаете, с чего началась поэзия? Мне все кажется, что она началась, когда пещерный мальчик бежал сквозь огромную траву к себе в пещеру, крича на бегу: "Волк, волк", а никакого волка не было. Его бабуинообразные родители, большие ревнители правды, без сомнения, выдрали его, но поэзия уже родилась — небылица родилась в былье.

Вы говорите об играх, основанных на обмане, как шахматы или фокусы. Лично вам они на самом деле нравятся?

Я люблю шахматы, но обман в шахматах, как и в искусстве, — это лишь часть игры; часть комбинации, часть восхитительных возможностей, иллюзий, перспектив мысли, которые могут быть и ложными перспективами. Думаю, хорошая комбинация всегда содержит некоторый элемент обмана.

Вы сказали, что занимались фокусами, когда были ребенком, в России, но, помнится, некоторые самые напряженные места в ваших книгах связаны с воспоминаниями об утраченном детстве. Каково для вас значение памяти?

В сущности, память сама по себе — это орудие, одно из многих орудий, которыми пользуется художник; и некоторые воспоминания, пожалуй, скорее интеллектуальные, чем эмоциональные, очень хрупки и склонны утрачивать вкус реальности, когда романист погружает их в свою книгу, отдает их персонажам.

Вы хотите сказать, что утрачиваете ощущение воспоминания, записав его?

Иногда, но это относится только к определенного типа интеллектуальной памяти. Но вот, например, — о, я не

знаю, свежесть цветов, из которых помощник садовника составляет букет в прохладной гостиной нашего загородного дома, когда я сбегаю с рампеткой по лестнице летним днем полувековой давности: такого рода вещь абсолютно вечна, бессмертна, ей никогда не измениться, сколько бы раз я ни сдавал ее в аренду моим персонажам, она всегда здесь, со мной. Здесь красный песок, белая садовая скамья, черные ели, все, вечная собственность. Думаю, все дело в любви: чем больше любишь воспоминание, тем оно сильнее и удивительнее. Наверное, естественнно, что я более страстно привязан к моим давним воспоминаниям, к воспоминаниям детства, чем к более поздним, так что Кембридж в Англии или Кембридж в Новой Англии менее ярки в моей памяти и во мне самом, чем какой-нибудь закоулок в парке нашего загородного имения в России.

Не думаете ли вы, что исключительная сила памяти, как у вас, подавляет желание что-то выдумывать в ваших книгах?

Нет, не думаю.

Случаи одного и того же рода возникают снова и снова, иногда в слегка отличных формах.

Это зависит от моих персонажей.

Чувствуете ли вы себя все еще русским, прожив столько лет в Америке?

Я чувствую себя русским и думаю, что мои русские произведения, те романы, стихи и рассказы, которые я написал за прошедшие годы, — это своего рода дань России. Я мог бы определить их как волны и зыбь на воде, вызванные потрясением от исчезновения России моего детства. И недавно я отдал ей дань в англоязычной книге о Пушкине.

Почему вы столь неравнодушны к Пушкину?

Все началось с перевода, буквального перевода. Мне он показался очень трудным, и чем становилось труднее, тем больше он меня увлекал. Так что дело не столько в том, что мне нравится Пушкин, — конечно, я нежно люблю его, он величайший из русских поэтов, тут сомневаться не приходится, — сколько в сочетании увлеченности поиском верного решения задачи и определенного подхода к реальности, к реальности Пушкина, через мои собственные переводы. Собственно, все русское волнует меня, я только что закончил редактирование хорошего перевода моего романа "Дар" ("The Gift"), написанного лет тридцать назад. Это самый длинный и, по-моему, лучший, самый ностальгический из моих русских романов. В нем изображены приключения, литературные и любовные, молодого русского эмигранта в Берлине, в 1920-е годы; но он — это не я. Я всегда стараюсь держать моих персонажей вне пределов моей личности. Только о фоне романа можно сказать,что он содержит некоторые биографические штрихи. И еще одно мне в нем нравится: пожалуй, самое любимое мое русское стихотворение — то, которое я отдал главному герою этого романа.

Которое вы сами написали?

Которое я написал сам, естественно; а теперь мне интересно, смогу ли я прочесть его вам по-русски. Сейчас объясню его: участвуют двое, мальчик и девочка, они стоят на мосту над отраженным закатом, мимо над самой водой скользят ласточки, и мальчик поворачивается к девочке и говорит ей: "Скажи, запомнишь ли ты навсегда *эту* ласточку — не любую ласточку, не тех ласточек, там, но именно эту, пролетевшую мимо ласточку?" И она говорит: "Конечно, запомню", и оба начинают плакать.

Однажды мы под вечер оба
Стояли на старом мосту.

Скажи мне, спросил я, до гроба
Запомнишь вон ласточку ту?
И ты отвечала: еще бы!

И как мы заплакали оба,
Как вскрикнула жизнь на лету!
До завтра, навеки, до гроба, —
Однажды на старом мосту...

На каком языке вы думаете?

Я думаю не на каком-либо языке. Я думаю образами. Я не верю, что люди думают на языках. Они не шевелят губами, когда думают. Только неграмотный человек определенной разновидности шевелит губами, когда читает или пережевывает свои мысли. Нет, я думаю образами, и время от времени русская или английская фраза возникает в пене на гребне мозговой волны, но не более того.

Вы начали писать по-русски, а потом перешли на английский, не так ли?

Да, это был очень сложный переход. Личная моя трагедия — которая не может и не должна кого-либо касаться — это то, что мне пришлось отказаться от родного языка, от природной речи, от моего богатого, бесконечно богатого и послушного мне русского слога ради второстепенного сорта английского языка.

Вы написали целую полку книг по-английски, также как и по-русски. И из них широко известна одна "Лолита". Раздражает ли вас то, что вы — мистер Лолита?

Нет, я бы так не сказал, потому что "Лолита" — из моих любимиц. Это была самая трудная для меня книга — книга, в которой рассматривалась тема столь чуждая, далекая от моей собственной эмоциональной жизни, что мне доставило особенное удовольствие использовать весь свой комбинаторный талант, чтобы сделать ее реальной.

Удивил ли вас бешеный успех книги, когда он пришел?

Я был удивлен, что книгу вообще опубликовали.

Были ли у вас какие-нибудь сомнения в том, что "Лолиту" следует публиковать, учитывая ее тему?

Нет; все-таки, когда пишешь книгу, в общем имеешь в виду, что она будет опубликована, в каком-то отдаленном будущем. Но мне было приятно, что ее издали.

Каково происхождение "Лолиты"?

Она родилась давным-давно, году, должно быть, в 1939-м, в Париже; первая маленькая пульсация "Лолиты" пробежала во мне в конце 1939-го или, возможно, в начале 1940 года, в Париже, в то время, как меня пригвоздил к постели серьезный приступ межреберной невралгии, это очень болезненный недуг — похожий на баснословное колотье в адамовом боку. Насколько помню, начальный озноб вдохновения был каким-то довольно загадочным образом связан с газетной статейкой, думаю, из "Paris Soir", об обезьяне в парижском зоопарке, которая после многих месяцев улещивания со стороны ученых наконец набросала углем первый рисунок, когда-либо исполненный животным, и этот рисунок, воспроизведенный в статье, изображал решетку клетки, в которой бедный зверь был заключен.

Был ли какой-то прототип у Гумберта Гумберта, стареющего соблазнителя?

Нет. Это человек, которого я выдумал, человек с навязчивой идеей. По-моему, многим моим персонажам присущи внезапные навязчивые идеи, самые разные; но *он* никогда не существовал. Когда я написал книгу, он появился. Пока я писал книгу, то в разных газетах читал тут и там сообщения о пожилых мужчинах, которые преследовали маленьких девочек: довольно интересное совпадение, но не более того.

Был ли прототип у самой Лолиты?

Нет, у Лолиты не было никакого прототипа. Она родилась в моей голове. Она никогда не существовала. На самом деле я плохо знаю маленьких девочек. Если поразмыслить, я, наверно, не знаю ни одной маленькой девочки. Я встречал их несколько раз в обществе, но Лолита — это плод моего воображения.

Почему вы написали "Лолиту"?

Потому что мне это было интересно. Да в конце концов, почему я написал любую из моих книг? Ради удовольствия, ради сложности. У меня нет социальной цели, нет нравственного учения, нет никаких общих идей, чтобы их рекламировать, я просто люблю составлять задачи с изящными решениями.

Как вы пишете? Каковы ваши методы?

В настоящее время я считаю, что справочные карточки — это, пожалуй, лучший вид бумаги, который можно использовать для этой цели. Я не пишу последовательно от начала до следующей главы и так далее, до самого конца. Я просто заполняю пробелы в картине, в этой вырезной картинке, которую я совершенно ясно себе представляю, выбирая кусочек тут и кусочек там, заполняя часть неба, часть пейзажа, часть... не знаю чего — пирующих охотников.

Другой аспект вашего не совсем обычного мышления — это исключительная важность, которую вы придаете цвету.

Цвет. Думаю, я родился художником — правда! — и до четырнадцати лет я обычно проводил большую часть дня, рисуя карандашом и красками; все полагали, что я в свое время стану художником. Но не думаю, что у меня был к этому настоящий талант. Однако чувство цвета, любовь к

цвету у меня были всю жизнь; и еще у меня есть этот довольно причудливый дар видеть буквы в цвете. Это называется цветным слухом. Возможно, он есть у одного из тысячи. Но психологи говорят, что он есть у большинства детей, а потом они теряют эту способность, когда глупые родители говорят, что это все ерунда, А не черная, а В не коричневая — перестань валять дурака.

Какого цвета ваши инициалы, VN?

V бледноватая, прозрачно-розовая; насколько я помню, у художников этот цвет называется розовым кварцем: это один из самых близких цветов, который я могу связать с V. А N, напротив, серовато-желтоватая, цвета овсянки. Но вот что забавно: у моей жены тоже есть этот дар видеть буквы в цвете, но ее цвета совсем другие. Возможно, две-три буквы у нас совпадают, но в остальном цвета совершенно разные. В один прекрасный день мы обнаружили, что наш сын, тогда еще мальчик, — по-моему, ему было лет десять или одиннадцать — тоже видит буквы в цвете. Иногда он совершенно естественно вдруг говорил: “Нет, это не такой цвет, а вот какой” — и так далее. Потом мы попросили его перечислить его цвета, и оказалось, что одна буква, которую он видит лиловой или, возможно, сиреневой, для меня розовая, а для жены синяя. Это буква М. Так что сочетание розового и синего дает в этом случае лиловый. То есть как будто гены писали акварелью.

Для кого вы пишете? Для какой публики?

Я не думаю, что художнику следует беспокоиться по поводу своей публики. Лучшая его публика — это человек, которого он видит каждое утро в зеркале, пока бреется. Я думаю, что публика, которую воображает художник, когда он воображает подобные вещи, — это комната, полная людей, носящих его маску.

В ваших книгах есть почти чрезмерный интерес к маскам и переодеваниям: как будто вы пытаетесь спрятаться за чем-то, как будто вы себя потеряли.

О, нет. Думаю, я всегда тут; с этим у меня нет никаких затруднений. Конечно, есть определенного толка критики, которые, рецензируя художественное произведение, норовят над каждой I поставить вместо точки голову автора. Недавно один безымянный клоун, писавший о "Бледном пламени" в "New York Book Review", ошибочно принял все утверждения выдуманного комментатора в этой книге за мои собственные. Также верно, что некоторым моим самым ответственным героям выданы мои собственные мысли. Взять хоть Джона Шейда в "Бледном пламени", поэта. Он и в самом деле заимствует некоторые мои мнения. Есть одно место в его поэме, которая является частью книги, где он говорит то, под чем я готов подписаться. Он говорит — позвольте мне процитировать, если сумею вспомнить; да, кажется, сумею: "Мне мерзки: джаз, весь в белом псих, что черного казнит быка в багровых брызгах, пошлый вид искусств абстрактных, лживый примитив, в универмагах музыка в разлив, Фрейд, Маркс, их бред, идейный пень с кастетом, убогий ум и дутые поэты". Вот так.

Очевидно, что и Джон Шейд, и его создатель не очень клубные люди.

Я не принадлежу ни к какому клубу или группе. Я не рыбачу, не стряпаю, не танцую, не ставлю своего знака на книгах, не подписываю коллективные декларации, не ем устриц, не напиваюсь, не хожу в церковь, не хожу к психоаналитикам, а также не участвую в демонстрациях.

Мне иногда кажется, что в ваших романах — в "Смехе в темноте", например — присутствует напряженная извращенность, доходящая до жестокости.

Не знаю. Может быть. Некоторые мои персонажи, без сомнения, люди прегадкие, но мне действительно все рав-

но, они вне моего Я, как мрачные монстры на фасаде собора — демоны, помещенные там, только чтобы показать, что изнутри их выставили. В действительности я тихий пожилой господин, который ненавидит жестокость.

НЬЮ-ЙОРК, 5 ИЮНЯ 1962 г.

Утром 5 июня 1962 года "Королева Елизавета" доставила меня и жену из Шербурна в Нью-Йорк, где предстояла премьера фильма "Лолита". В тот же день трое или четверо журналистов взяли у меня интервью в отеле "Сент-Риджис". В моем карманном дневничке записана горстка имен, но я не уверен, какие из них относятся к этой группе, да и относятся ли вообще. Вопросы и ответы были отпечатаны с моих записей сразу после интервью.

Интервьюеры считают, что с вами нелегко говорить. Почему это так?

Я не без гордости считаю себя человеком, не представляющим интереса для публики. За всю свою жизнь я ни разу не напился. Я никогда не использую скабрезных словечек из школьного жаргона. Я никогда не работал в конторе или в угольной шахте. Я никогда не принадлежал к какому-либо объединению или клубу. Никакое вероисповедание или "направление" не оказало на меня решительно никакого влияния. Ничто не вызывает во мне большей скуки, чем политический роман и литература социальной направленности.

И все же должно быть что-нибудь, что вас задевает, что вы любите или не любите.

Перечислить ненавистные мне вещи нетрудно: глупость, угнетение, преступление, жестокость, легкая музыка. Мои наслаждения — самые острые из ведомых человеку: писательство и ловля бабочек.

Вы пишете от руки, не так ли?

Да. Печатать я не умею.

Не могли бы вы показать нам какой-нибудь ваш черновик?

Боюсь, придется ответить отказом. Только честолюбивые ничтожества и искренние посредственности выставляют свои черновики напоказ. Это то же самое, что раздавать направо-налево пробы своей мокро́ты.

Вы много читаете новых романов? Почему вы засмеялись?

Я засмеялся потому, что добронамеренные издатели то и дело присылают мне — с письмами насчет "надеемся-вам-понравится-не-меньше-чем-нам" — произведения лишь одной разновидности: романы, напичканные непристойностями, вычурными словами и нарочито зловещими происшествиями. Впечатление такое, что все их пишет один и тот же автор, — не похожий даже на тень моей тени.

Каково ваше мнение о так называемом французском "антиромане"?

Меня не интересуют литературные группы, движения, направления и так далее. Меня интересует только отдельный художник. Упомянутого "антиромана" на деле не существует, однако существует один великий французский писатель, Роб-Грийе, — его творчество гротескно имитируется множеством банальных бумагомарак, которым фальшивая бирка помогает продавать их творения.

Я заметил, что вы часто "экаете" и "мекаете". Это признак надвигающейся старости?

Ничуть. Я всегда был жалким оратором. Мой словарь коренится глубоко в моем сознании, и для того, чтобы протиснуться в физическое существование, ему нужна бумага. Спонтанное красноречие мне представляется чудом. Я переписывал — и часто по нескольку раз — каждое из

опубликованных мною слов. Карандаши служат мне дольше, чем их ластики.

А как же телевизионные выступления?

Ну (на телевидении каждая реплика начинается с “ну”), после одного из таких выступлений в Лондоне наивный критик обвинил меня в том, что я все время ерзал и прятался от камеры. Интервью было, разумеется, старательно отрепетировано. Я старательно записал все свои ответы (и большую часть вопросов), и, поскольку я такой беспомощный говорун, все эти записи, сделанные на справочных карточках (потом я их куда-то засунул и никак не могу отыскать), были разложены передо мной и спрятаны за разного рода невинными прикрытиями, вследствие чего я не мог ни глазеть в камеру, ни бросать на интервьюера лукавые взгляды.

Но вы ведь прочли множество лекций...

В 1940 году, перед тем как начать ученую карьеру в Америке, я, по счастью, дал себе труд записать сотню лекций по русской литературе — около 2000 страниц, — а впоследствии еще сотню о великих романистах, от Джейн Остин до Джеймса Джойса. Они-то и помогали мне в Уэльслее и Корнеле в течение двадцати учебных лет. И хотя я развил в себе, специально для лекторской трибуны, тонкое умение двигать глазами вверх-вниз, бдительные студенты никогда не питали сомнений относительно того, читаю я текст или ораторствую.

Когда вы начали писать по-английски?

Я с младенчества владел двумя языками (русским и английским), а в пятилетнем возрасте добавил к ним французский. В раннем отрочестве все мои записи о бабочках, которых я собирал, велись по-английски, разного рода термины я заимствовал из совершенно упоительного журнала “The Entomologist”. Они опубликовали в 1920 году мою

первую статью (о бабочках Крыма). В том же году я напечатал в “Trinity Magazine” в Кембридже, где я учился (1919—1922), английское стихотворение. После, в Берлине и в Париже, я писал мои русские вещи — стихи, рассказы, восемь романов. Они были прочитаны порядочной частью трехмиллионной русской эмиграции и, разумеется, полностью запрещены и проигнорированы в Советской России. В середине тридцатых я перевел для издания в Англии два моих русских романа, “Отчаяние” и “Камеру обскуру” (при издании в Америке он был переименован в “Смех в темноте”). Первым романом, который я написал прямо по-английски, — в Париже, в 1939 году, — был “Подлинная жизнь Себастьяна Найта”. Перебравшись в 1940-м в Америку, я печатал стихотворения и рассказы в “Atlantic” и “New Yorker” и написал четыре романа: “Под знаком незаконнорожденных” (1947), “Лолиту” (1955), “Пнина” (1957) и “Бледное пламя” (1962). Я опубликовал также автобиографию “Память, говори” (1951) и несколько научных статей по систематике бабочек.

Не хотите поговорить о “Лолите”?

Пожалуй, нет. Все, что я хотел сказать об этой книге, сказано мною в “Послесловии”, добавленном к американским и английским изданиям.

Вам трудно было писать сценарий по “Лолите”?

Труднее всего было начать — решиться на выполнение этой задачи. В 1959-м Харрис и Кубрик пригласили меня в Голливуд, однако после нескольких бесед с ними я решил, что не стану этим заниматься. Год спустя в Лугано я получил от них телеграмму с настоятельной просьбой пересмотреть мое решение. Тем временем в моем сознании каким-то образом сформировалось некое подобие сценария, так что этот повторный запрос меня обрадовал. Я снова отправился в Голливуд и там, под джакарандами, шесть месяцев проработал над этой вещью. Превращение своего романа в

сценарий фильма отчасти похоже на писание серии этюдов к картине, давно законченной и даже вставленной в раму. Стараясь сохранить "Лолиту" приемлемой для себя, я сочинял новые сцены и разговоры. Я знал, что, если не напишу сценарий я, это сделает кто-то другой, и знал также, что в таких случаях конечный результат становится не столько сочетанием, сколько столкновением истолкований. Я еще не видел картины. Она может оказаться прелестной утренней дымкой, различаемой сквозь сетку от комаров, или рывками живописной дороги перед глазами горизонтального пассажира машины "скорой помощи". Семь-восемь бесед с Кубриком во время писания сценария оставили у меня впечатление, что я имею дело с художником, — на этом впечатлении я и основываю надежды увидеть 13 июня в Нью-Йорке вполне убедительную "Лолиту".

Над чем вы работаете сейчас?

Читаю гранки моего перевода пушкинского романа в стихах "Евгений Онегин" и огромного комментария к нему — они будут выпущены фондом Боллингена в четырех красивых томах по пятьсот с лишним страниц в каждом.

Вы не могли бы рассказать об этой работе?

В годы преподавания литературы в Корнеле и в других местах я требовал от студентов соединения страстности, присущей науке, с терпением, присущим поэзии. Как художник и как ученый я предпочитаю конкретную подробность обобщению, образы идеям, туманные факты прозрачным символам и случайно найденный дикий плод синтетическому варенью.

И вы решили сварить варенье из такого плода?

Да. В десятилетней работе над "Евгением Онегиным" сказались мои пристрастия и неприязни. При переводе 5500 строк на английский язык пришлось выбирать между рифмой и разумом — я выбрал разум. Единственное мое

устремление состояло в том, чтобы дать дотошный подстрочник, абсолютно буквальный перевод книги с обильными и педантичными примечаниями, объем которых намного превышает размеры текста поэмы. “Легко читаются” только переложения; мой перевод читается нелегко; он честен, неуклюж, тяжеловесен и рабски верен. К каждой строфе имеется по нескольку примечаний (а строф там более четырехсот, считая и варианты). Комментарий посвящен мелодике оригинала и развернутому толкованию текста.

Вы любите давать интервью?

Ну, удовольствие от разговора на одну-единственную тему, — каковой являешься ты сам, — это ощущение, которым не следует пренебрегать. Однако результат порой озадачивает. Недавно парижская газета “Candide” изобразила меня несущим в идиотской обстановке дикую чушь. Впрочем, мне приходилось сталкиваться и с относительно честной игрой. К примеру, журнал “Esquire” напечатал все поправки, сделанные мной к опубликованному интервью, в котором я обнаружил массу ошибок. Вот за репортерами из светской хроники уследить труднее, а они чрезвычайно склонны к неточности. Леонард Лайон изобразил меня объясняющим, почему я предоставил жене вести связанные с фильмом дела, посредством нелепого и безвкусного замечания: “Кто способен договориться с мясником, договорится и с продюсером”.

ИНТЕРВЬЮ В ЖУРНАЛЕ "LIFE" 20 НОЯБРЯ 1964 г.

Какие писатели, люди и места оказали на вас наибольшее влияние?

В отрочестве я был необычайно алчным читателем. К 14—15 годам я прочел и перечел всего Толстого по-русски, всего Шекспира по-английски и всего Флобера по-французски, не считая сотен других книг. Ныне я всегда могу определенно сказать, кого из писателей, которых я любил или терпеть не мог полвека назад, порою напоминает — по складу и интонации — сочиненное мною предложение; не думаю, однако, что какой-то конкретный писатель имел на меня определяющее влияние. Что до влияния мест или людей, то я обязан многими метафорами и чувственными ассоциациями северорусским пейзажам моего отрочества, я сознаю и то, что пронзительным удовольствием, которое с самой ранней поры моей жизни внушали мне великие стихи, я обязан моему отцу.

Приходилось ли вам когда-либо всерьез задумываться об иной, нежели литературная, карьере?

Честно говоря, я никогда не думал о литературе как о карьере. Сочинительство изначально было для меня смесью хандры и веселья, мучения и забавы, — однако я вовсе не ожидал, что оно станет источником дохода. С другой стороны, я нередко грезил о долгой и волнующей карьере неприметного хранителя чешуекрылых в каком-нибудь великом музее.

Какое из ваших сочинений радует вас больше всех остальных?

Я бы сказал, что из всех моих книг “Лолита” оставила наиболее приятное послесвечение — возможно, потому, что она является самой чистой из всех, наиболее отвлеченной и прилежно продуманной. Вероятно, я несу ответственность за тот факт, что, похоже, никто больше не назовет свою дочь Лолитой. Я слышал, что с 1956 года это имя дают пуделихам, но не человеческим существам. Благонамеренные люди пытались перевести “Лолиту” на русский язык, однако результаты получались настолько прискорбными, что я теперь сам занялся переводом. Слово “джинсы”, например, переводится русскими словарями как “широкие, короткие штаны” — определение совершенно неудовлетворительное.

В предисловии к “The Defense” вы касаетесь психиатрии. Не представляется ли вам, что в зависимости пациента от аналитика таится большая опасность?

Не представляю себе, зачем человек в здравом рассудке пойдет к психоаналитику, но, разумеется, если рассудок повредился, то все средства хороши; в конце концов, юродивые и знахари, шаманы и святые, короли и гипнотизеры исцеляли людей — в особенности людей, страдавших истерией. Наши внуки, несомненно, будут взирать на нынешних психоаналитиков с таким же насмешливым презрением, с каким мы взираем на астрологов и френологов. Одним из замечательных образчиков шарлатанской, и сатанинской, чуши, навязываемой легковерной публике, является Фрейдово истолкование сновидений. Я с неподдельной радостью каждое утро опровергаю венского шамана, вспоминая и объясняя свои сны без единой ссылки на сексуальные символы и мифические комплексы. Призываю моих потенциальных пациентов проделывать то же самое.

Как влияют на то, что вы пишете, ваши политические и религиозные взгляды?

Я никогда не состоял ни в какой политической партии,

но всегда с отвращением и презрением относился к диктатурам и полицейским государствам, как и к любой другой разновидности угнетения. То же самое относится к регламентации мышления, правительственной цензуре, расовым или религиозным преследованиям и прочему в этом роде. Влияют ли мои простые убеждения на то, что я пишу, или не влияют, меня не интересует. Полагаю, что мое безразличие к религии имеет ту же природу, что и моя нелюбовь к групповой деятельности в политической или гражданской сфере. В некоторых из моих романов я позволял некоторым из моих персонажей вести жизнь неугомонных вольнодумцев, но, опять-таки, меня нимало не волнует, какую разновидность веры или какого рода неверия могут приписать их творцу мои читатели.

Вам хотелось бы жить в другое, отличное от нашего время?

На мой выбор “когда” повлияло бы “где”. Больше скажу, мне пришлось бы соорудить из пространства и времени мозаику, отвечающую моим желаниям и потребностям. Перечислить все элементы этой комбинации было бы слишком сложно. Однако я отлично знаю, что именно она должна содержать. Она должна содержать теплый климат, ежедневную ванну, отсутствие радиомузыки и дорожного шума, услады древней Персии, исчерпывающую библиотеку микрофильмов и ни с чем не сравнимое, неописуемое упоение приобретения все больших и больших знаний о Луне и планетах. Иными словами, я предпочел бы, чтобы моя голова пребывала в Соединенных Штатах шестидесятых годов нашего века, но был бы не прочь распределить прочие органы и конечности по различным столетиям и странам.

К каким из живущих ныне писателей вы питаете особую симпатию?

Когда мистер N. узнает из интервью, что мистер X., тоже писатель, назвал своими любимцами мистера A., мистера B. и мистера N., подобное сочетание может поставить

в тупик мистера N., считающего сочинения, допустим, мистера A. примитивными и пустыми. Мне не хотелось бы ставить в тупик мистера C., мистера D. и мистера X., каждый из которых мне нравится.

Ожидаете ли вы, что по большинству из ваших произведений будут сняты фильмы? Если отталкиваться от "Лолиты", радует ли вас подобная перспектива?

Фильм "Лолита" очень нравится мне как фильм, однако я сожалею, что не получил возможности принять участие в его съемках. Те, кому нравится мой роман, говорят, что фильм чрезмерно изобилует умолчаниями, что он неполон. Если, однако, все последующие картины, основанные на моих книгах, будут столь же обаятельны, как фильм Кубрика, я, скорее всего, не буду слишком роптать.

Какой из языков, на которых вы говорите, кажется вам самым прекрасным?

Моя голова говорит по-английски, сердце — по-русски, а ухо предпочитает французский.

Почему вы избрали Монтрё в качестве своей "штаб-квартиры"? Скучаете ли вы в какой-либо мере по Америке, которую вы так тонко спародировали в "Лолите"? Не кажется ли вам, что Европа и США начинают удручающе напоминать друг друга?

Мне кажется, я стараюсь развить в себе, попав в эту приятную ссылку, ту же плодотворную ностальгию по Америке, моей новой родине, какую развил, в первые послереволюционные годы своего западно-европейского изгнания, по России, родине старой. Конечно, я скучаю по Америке. Если Европа и Америка начинают все больше и больше напоминать одна другую, — почему это должно меня удручать? Может быть, это забавно и, может быть, не вполне верно, но никак не удручающе — в любом смысле, какой я способен себе представить. Мы с женой очень любим

Монтрё, здешний пейзаж пригодился мне для “Бледного пламени” и теперь снова нужен, уже для другой книги. Для того чтобы жить в этой части Европы, имеются и причины семейного свойства. Сестра моя живет в Женеве, сын — в Милане. Он окончил Гарвард и приехал в Италию, чтобы завершить оперное образование — занятие, которое он совмещает с участием, на итальянской машине, в автогонках и с переводом ранних книг своего отца с русского языка на английский.

Каков ваш прогноз относительно будущего русской литературы?

Простого ответа на этот вопрос не существует. Беда в том, что никакое правительство, сколь бы разумным или гуманным оно ни было, не способно породить великих художников, хотя правительство дурное очень даже способно чинить им помехи, изводить их и подавлять. Следует также помнить, — и это очень важно, — что единственные, кто процветает при всяком режиме, это мещане. Шансы на возникновение великого художника являются при режимах умеренных точь-в-точь такими же малыми, как и в менее счастливые времена отвратительных диктатур. Поэтому я ничего не могу предсказать, хотя определенно надеюсь, что под воздействием Запада, и в особенности Америки, советское полицейское государство постепенно зачахнет. К слову, я сожалею о позиции глупых и нечестных людей, которые смехотворным образом приравнивают Сталина к Маккарти, Аушвиц к атомной бомбе, а бессовестный империализм СССР к честной и бескорыстной помощи, которую США предоставляют попавшим в беду народам.

"ЛОЛИТА" И Г-Н ЖИРОДИА

С начала шестидесятых годов время от времени публиковались — за подписью г-на Жиродиа или то одного, то другого из числа его друзей — ретроспективные заметки, касающиеся публикации "Лолиты" издательством "Олимпия Пресс" и различных фаз наших с ним "натянутых отношений". Эти легковесные воспоминания неизменно содержали фактические ошибки, на которые я старательно указывал в своих кратких ответах, после чего, как я с удовлетворением замечал, наш гибкий мемуарист производил некие волнообразные отступательные движения. Особенно амбициозная статья, содержащая особенно лживые утверждения, к настоящему времени опубликована им дважды — в "Evergreen Review" (№ 37, сентябрь 1965) Барни Россета под заголовком "Лолита, Набоков и я" и в его собственной антологии ("The Olympia Reader", издательство "Grove Press", Нью-Йорк, 1965) под заголовком несколько менее изящным: "Печальная, неприглядная история "Лолиты". Поскольку я набожно сохраняю всю свою переписку с г-ном Жиродиа, я, верится, имею возможность побудить его обратиться в окончательное отступление.

Две статьи имеющегося у меня документа, озаглавленного "Меморандум о договоренности" ("достигнутой в день шестой июня тысяча девятьсот пятьдесят пятого года между мистером Владимиром Набоковым, Корнельский университет, Итака, штат Нью-Йорк, и издательством "Олимпия Пресс", Париж, рю де Несль, 8"), образуют чрезвычайно уместный в данном случае эпиграф. Для удобства читателя привожу их в строфической форме:

8

В случае, если Издатели
Терпят банкротство
Или не предоставляют отчеты и выплаты,
Указанные здесь,
То во всяком из этих случаев настоящая договоренность
Автоматически лишается силы
И все права, ею предоставляемые,
Возвращаются в собственность Автора.

9

Издатели представляют отчет
О числе экземпляров, проданных ими,
на 30 июня и 31 декабря
Каждого года
В течение месяца считая от этих дат
Соответственно
И производят выплаты Автору
Одновременно с предоставленьем таковых отчетов.

В начальных строках восьмой строфы ясно предсказано именно то, чему предстояло случиться с г-ном Жиродиа 14 декабря 1964 года, а последний ее прекрасный, красноречивый, почти сапфически модулированный стих ("Возвращаются в собственность Автора") очень важен для понимания того, что г-н Жиродиа называет "нашим загадочным конфликтом". Следует отметить и то, что, отведя немало места множеству "разочарований", кои он претерпел вследствие моего к нему отношения, он нигде в своей статье не упоминает совершенно очевидной причины, по которой писатель начинает жалеть, что связался с издателем, — а именно того факта, что г-н Жиродиа раз за разом, со своего рода маниакальным упорством нарушал статью 9 нашего договора. Напирая на результаты и утаивая причины, он сообщает своему отчету о наших отношениях комический оттенок, создавая впечатление, будто я на протяже-

нии десяти лет метал громы и молнии в озадаченного благодетеля.

"Лолита" была завершена в начале 1954 года в Итаке (Нью-Йорк). Первые мои попытки издать ее в США принесли лишь разочарование и раздражение. В том же году, 6 августа, я из Таоса (Нью-Мексико) написал о моих горестях мадам Эргаз, работавшей в "Литературном агентстве Клеруан" в Париже. Она готовила французские издания нескольких моих русских и английских книг; на сей раз я попросил ее отыскать в Европе кого-нибудь, кто издаст "Лолиту" на исходном английском. Она ответила, что сможет, как ей кажется, это устроить. Однако месяц спустя, вернувшись в Итаку (где я преподавал в Корнеле русскую литературу), я написал ей, что передумал. Вновь появились надежды на американское издание. Надежды эти истаяли, и следующей весной я снова связался с мадам Эргаз, написав ей (16 февраля), что Сильвия Бич, "если она еще занимается издательской деятельностью, возможно, заинтересуется" этой книгой. 17 апреля мадам Эргаз получила мой типоскрипт. 26 апреля 1955-го — роковая дата — она сообщила, что, похоже, нашла издателя. 13 мая имя его было названо. Вот так г-н Жиродиа и очутился в моем архиве.

В своих заметках г-н Жиродиа особенно подчеркивает безвестность, в которой я пребывал до 1955 года, и то, как он помог мне из этой безвестности выбраться. С другой стороны, и я ничуть не покривлю душой, если скажу, что до того, как мадам Эргаз назвала его имя, я ни малейшего понятия не имел ни о существовании его, ни о занятиях. Он был рекомендован мне как основатель издательства "Олимпия Пресс", которое "среди прочего недавно опубликовало "Историю О" (похвалы этому роману я слышал от людей вполне компетентных), и прежний руководитель "Editions du Chêne", издательства, "выпускавшего книги, с художественной точки зрения превосходные". "Лолита" заинтересовала его не только потому, что она хорошо написана, но и потому, что (как 13 мая 1955-го сообщила мне мадам Эргаз) "он полагал, что эта книга сможет изменить отношение общества к любви того рода, который в ней

описан". Надежда выглядела благой, хоть и очевидно нелепой, однако увлекшимся идеей бизнесменам нередко случается произносить возвышенные плоскости, и никому в голову не приходит возвращать их на землю.

Я не был в Европе с 1940 года, порнографическими книгами не интересовался и потому ничего не знал о непристойных романчиках, которые стряпали, с помощью г-на Жиродиа, о чем он сам упоминает при всяком случае, наемные бездари. Я не раз задавался больным вопросом: согласился бы я столь радостно на публикацию "Лолиты", знай я в мае 1955-го, чем образован гибкий костяк его продукции? Увы, скорее всего, согласился бы, хоть и не столь радостно.

Теперь перейду к разбору многочисленных сомнительных мест и нескольких прискорбных неточностей, имеющихся в статье г-на Жиродиа. По какой-то причине, для усвоения которой я, надо полагать, слишком наивен, он начинает с цитаты из моего старого curriculum vitae, которое, заявляет он, было послано ему моим литературным агентом в апреле 1955-го вместе с машинописным экземпляром "Лолиты". Подобная процедура была бы абсурдной. Мой архив свидетельствует, что лишь много позже, а именно 8 февраля 1957 года, *он попросил меня* прислать "все биографические и библиографические материалы", пригодные для его брошюры "L'affaire *Lolita*" (которую он издал, когда боролся против запрета книги во Франции); 12 февраля я отправил ему фотографии, список изданных произведений и краткое curriculum vitae. С ухмылкой хулигана, увязавшегося за безобидным прохожим, г-н Жиродиа потешается теперь над такими приведенными в нем фактами, как то, что мой отец был "видным политическим деятелем" или что сам я приобрел в эмигрантских кругах "немалую известность". Однако все это он сам напечатал (со множеством собранных где-то прикрас и добавлений) в своей брошюре 1957 года!

С другой стороны, ныне он изрядно сбавил тон своих гордых воспоминаний о том, как он "редактировал" "Лолиту". 22 апреля 1960 года мне пришлось написать издате-

лю "New York Times Book Review" (в котором г-на Жиродиа комически восхвалял некто, мне неизвестный) следующее: "Мистер Попкин в своей недавней статье, посвященной мсье Жиродиа, первому издателю моей "Лолиты", говорит, что я "кое-что переписал по просьбе Жиродиа". Я хочу исправить это нелепое и неверное утверждение. Единственные поправки, робко предложенные Жиродиа, касались нескольких тривиальных французских фраз наподобие "bon", "c'est moi", "mais comment" etc., которые, как он полагал, можно без урона перевести на английский, с чем я и согласился".

Я начал клясть себя за то, что связался с "Олимпия Пресс" не в 1957 году, когда наша договоренность, согласно г-ну Жиродиа, "тяжким грузом" легла на мои "мечты о скором обогащении" в Америке, но еще в 1955-м, то есть едва начав иметь дело с г-ном Жиродиа. С первых же шагов я столкнулся со странной аурой, окружавшей его деловые отношения со мной, — аурой небрежности, уклончивости, затяжек и лжи. Я жаловался на эти странности в большинстве писем к моему агенту, та прилежно передавала ему мои жалобы, но никаких объяснений за десятилетнее наше сотрудничество (1955—1965) я от него так и не услышал.

"Едва я успел получить назад гранки [он получил их в июле 1955-го], — пишет г-н Жиродиа, — как Набоков прислал мне телеграмму [29 августа, то есть после месячного молчания Жиродиа], гласившую: "Когда выйдет "Лолита". Встревожен. Прошу ответить мои письма", — угрозы, которые повторялись столь часто в столь многих телеграммах, посылаемых столь многими авторами столь многим [то есть мудрым, спокойным, великодушным] издателям..." Нарочитое остроумие и легкость последнего замечания вряд ли кого-нибудь одурачат. Г-н Жиродиа намекает здесь на деланно-скромные чувства юного автора, прежде почти не издававшегося. На самом же деле я, за мои пятьдесят шесть лет, имел — с 1925 года — дело, и не раз, по меньшей мере с двумя десятками издателей, но никогда еще не увязал в паутине корыстных маневров и невразумительных увиливаний, коей г-н Жиродиа опутывает свои жертвы (возможно,

не по злому умыслу — похоже, это просто часть его причудливой натуры). В сущности говоря, меня тревожили два вопроса, на которые я так и не добился ответа. Главным был вопрос об авторских правах: книгу следовало зарегистрировать в Вашингтоне на имя автора, а для этой цели мне было необходимо знать точную дату ее выхода в свет, дабы проставить таковую в бланке заявки. 8 октября 1955 года я получил наконец экземпляр уже изданной книги, но лишь 28 ноября, после еще нескольких "угроз", мне удалось выяснить, что "Лолита" вышла 15 сентября 1955 года. Вторым вопросом был вопрос финансовый — он-то и оказался лейтмотивом того, что г-н Жиродиа именует "печальной, неприглядной историей "Лолиты". Мой благодетель согласился выплатить мне аванс в 400.000 "старых" франков (около тысячи долларов) — половину при подписании договора (датированного 6 июня 1955 г.), а другую при выходе книги. Первую половину он выплатил с месячным опозданием. Моя телеграмма не помогла прояснить срок, в который г-н Жиродиа намеревался выплатить вторую. Ему было проще оставить этот вопрос открытым. Я продолжал слать ему напоминания касательно второго чека. Я указал ему (5 октября), что "пишу из удовольствия, печатаю для денег". Он заплатил лишь 27 декабря, под сильным нажимом моего агента и более чем через три месяца после назначенного для второго платежа срока.

Связанные с авторскими правами хлопоты на этом не кончились. "С блаженной беспечностью" (воспользуемся фразой, которую так любит г-н Жиродиа) он добавил к значившемуся на титульном листе книги "Copyright 1955, В. Набоков" слова «и "Олимпия Пресс"». 28 января 1956-го я выяснил в вашингтонском Бюро по авторским правам, что эта компанейская формулировка (на которую я согласия не давал) может привести к осложнениям при переиздании книги в США, если оно произойдет в ближайшие пять лет. Мне посоветовали получить от г-на Жиродиа "переуступку или отказ от прав", и я тут же попросил его выслать мне таковые. Ответа я не получил (подобно тому как "столь многие авторы" не получают ответов от "столь

многих издателей"), написал ему еще раз и еще, и только 20 апреля (то есть три месяца спустя) он прислал мне то, о чем я просил. Догадки о том, как повел бы себя г-н Жиродиа при выходе "нашей" книги в Америке, не будь я достаточно прозорлив, чтобы оградить ее сразу, не лишены интереса.

К началу 1957 года я все еще не получил от "Олимпии" никаких финансовых отчетов за период, начавшийся с выхода книги в свет в сентябре 1955-го. Это упущение позволяло мне аннулировать договор (смотри статью 9), однако я решил немного подождать. Ждать пришлось до 28 марта 1957 года, однако полученный отчет охватывал далеко не весь надлежащий период.

Нарушение порядка отчетности не преминуло повториться. К концу августа 1957-го я опять-таки не получил отчета за первую половину этого года, отчета, причитавшегося мне 31 июля. 2 сентября г-н Жиродиа попросил об отсрочке, и я согласился подождать до 30 сентября, и снова ничего не произошло, и я, устав от этих нелепостей, известил его (5 октября), что все права возвращаются в мое распоряжение. Он тут же заплатил (44.220 "старых" франков), и я смилостивился.

В одном из особенно гадких и глупых пассажей наш мемуарист увязывает мой отказ защищать книгу во Франции от нападок местных магистратов и "мещан-читателей" (как я написал ему 10 марта 1957-го) с моей же просьбой (направленной ему месяцем раньше) избегать упоминания о Корнеле, когда он именует меня в рекламных объявлениях "университетским профессором". Нужно обладать очень извилистым разумом, чтобы вывести отсюда заключение о моей моральной трусости. Подписав "Лолиту" своим именем, я показал, что полностью принимаю на себя любую ответственность, какую только можно возложить на автора; однако до тех пор, пока вокруг моей невинной "Лолиты" бурлил нездоровый скандал, я определенно должен был озаботиться тем, чтобы ни тени ответственности не пало на университет, который предоставил мне невиданную свободу в чтении моих курсов (ни единое из отделений и кафедр,

к которым относились эти курсы, никогда в них не вмешивалось); я не желал также ставить в неловкое положение близкого друга, усилиями которого я оказался здесь и получил подлинную академическую свободу.

Тем не менее г-н Жиродиа продолжал настаивать на том, чтобы я присоединился к нему в его кампании против французской цензуры. "Наши интересы совпадают", — писал он; но нет, они не совпадали. Он хотел, чтобы я защищал "Лолиту", а я не видел, как можно отделить ее от списка его двадцати с чем-то похабных книжонок. Он повторяет в своей статье излюбленный свой аргумент, что и без него-де "Лолита" никогда не была бы издана. Я написал ему 3 августа 1957 года, что питал (и питаю) к нему глубокую благодарность за то, что он эту книгу напечатал. Однако я писал ему также, что он не из тех людей, которым следовало за нее браться; у него недоставало возможностей представить ее должным образом — книгу, в столь полной мере отличную по словарю, структуре и цели (или, вернее, по отсутствию цели) от других его куда более простецких коммерческих затей вроде "Деббиного биде" или "Бодрых бедер". Г-н Жиродиа значительно переоценивает свои силы. Если бы провидение не позаботилось о том, чтобы Грэхам Грин схлестнулся в Лондоне с Джоном Гордоном, "Лолита" — в особенности второй ее том, отпугнувший так называемых "ценителей", — могла закончить свой путь в общей могиле "Фаворитов Пассажира" или как там еще назывались зеленые книжицы "Олимпии".

В 1957 году начался американский период истории "Лолиты", для меня гораздо более важный, чем период "Олимпии". Джейсон Эпштейн, добившись публикации значительной части "Лолиты" в летнем выпуске литературного обозрения "Anchor Review", выходившего под редакцией Мелвина Дж. Ласки (издательство "Doubleday", Нью-Йорк) и профессора Ф. В. Дюпи, и предварив эту часть блестящей статьей, помог сделать приемлемой идею американского издания. Книгой заинтересовались несколько издателей, однако г-н Жиродиа значительно осложнил переговоры с американскими фирмами, что стало для меня еще одной

причиной острого недовольства. 14 сентября 1957 года глава знаменитого американского издательства вылетел в Париж, чтобы обсудить этот вопрос с г-ном Жиродиа. Отчет последнего об их беседе принял в его статье следующий вид: "Один издатель немедля предложил мне 20 процентов отчислений, чтобы получить книгу, но в дальнейшем его, по-видимому, отпугнула позиция Набокова, с которым он затем встретился в Нью-Йорке". Половина этого пассажа неточна, другая попросту лжива: издателя отговорил не я, а его партнер. Неточность же состоит в том, что г-н Жиродиа не сообщает, кому предстояло получить большую часть этих 20 процентов. "Я готов принять это предложение, — написал он мне (видимо, решив, что получил определенное предложение, чего на самом деле не было), — при условии, что моя доля составит 12,5 процентов. Аванс будет разделен в той же пропорции. Примете ли Вы в качестве своей доли 7,5 процента? Я считаю свои притязания оправданными и честными". Мой агент написала мне, что она "outrée de ces prétentions". (Контракт обязывал его выплачивать мне 10 процентов с каждого из первых десяти тысяч проданных экземпляров и 12 процентов со всех остальных.)

Временное лицензионное соглашение устанавливало, что в США может быть ввезено не более 1500 экземпляров книги. Г-на Жиродиа раздражало то обстоятельство, что я внимательно слежу за его бойкими трансатлантическими затеями. Я знал, к примеру, что экземпляры его издания продавались в Нью-Йорке по 12 долларов и дороже. Он уверял меня, что разница в цене присваивается розничными торговцами. 30 ноября 1957 года г-н Жиродиа, пребывая в добродушном настроении, написал мне: "Я допускаю, что в ходе наших отношений бывал не прав..." Он прибавил, что больше не "требует значительной доли доходов" от американского издания и отменяет свой "альтернативный проект" выпустить собственный "американский репринт" — глупая угроза, выполнение которой его бы и уничтожило. Однако уже 16 декабря 1957-го он вновь принялся проказить: в этот день я с изумлением узнал от моего аген-

та, что г-н Жиродиа уверяет, будто за три месяца (с апреля по июнь) он продал в Америке всего *восемь* экземпляров, и, поскольку я думаю, что они продавались по цене более высокой, чем указанная в его отчетах (7,50 долларов), он высылает мне разницу, чек на 50 центов. Он добавил, что отныне считает все наши разногласия улаженными!

Скучно было бы и дальше приводить примеры просроченных и неточных финансовых отчетов, знаменующих поведение г-на Жиродиа в последующие годы, или такие его скверные поступки, как выпуск в Париже переиздания "Лолиты" с его собственным предисловием (на нестерпимо дурном английском) и без моего на то разрешения, — которого, знал он, я никогда ему не дам. Тем, что заставляло меня постоянно сожалеть о нашем сотрудничестве, были вовсе не "мечты о скором обогащении", не моя "ненависть" к нему за то, что он "присвоил часть набоковской собственности", но необходимость сносить его уклончивость, увертливость, отсрочки, обманы, двуличность и совершенную безответственность. Вот почему 28 мая 1959 года, перед тем как отплыть в Европу после ровно 19 лет отсутствия, я написал мадам Эргаз, что не хочу знакомиться с г-ном Жиродиа, когда буду в Париже на представлении французского перевода "Лолиты". Как теперь выяснилось, благодаря статье в "Evergreen", глубинные качества его личности еще менее привлекательны, чем их проявления в нашей с ним переписке. Подозреваю, что своей грубостью статья во многом обязана тому, что он переборщил по части журналистского слога, возможно и опьяняющего своей галльской живостью, но прискорбно лишенного английской точности. Как бы там ни было, я не стану обсуждать здесь дерзкие и пошлые замечания, которые он отпускает в адрес моей жены (идиотски твердя, к примеру, что некоторые редакторские комментарии в журнале "Life International" от 6 июля 1959 года написаны ею, хоть под ними и стоит подпись "Ред.").

Разрешите повторить: я никогда не встречался с г-ном Жиродиа. Его описывали как "обаятельного", "жизнерадостного", "излучающего французский шарм", — вот почти и

все, на что мне приходится полагаться в попытках вообразить его телесный облик (нравственный известен мне достаточно хорошо). Однако через полдюжины лет после начала нашей то и дело прерывавшейся переписки он вдруг объявил в напечатанной в "Playboy" статье ("Порнограф на Олимпе", апрель 1961), что нас на самом-то деле представили друг другу на коктейле, устроенном издательством "Галлимар" 23 октября 1959 года в Париже, — несмотря на посланное мной моему агенту уведомление, что я с ним знакомиться не желаю. Приведенные им подробности столь абсурдны, что я счел себя обязанным разоблачить его обман и сделал это в июльском (1961) номере "Playboy". Взамен огорошенного молчания, которое, как я ожидал, продлится до скончания века, г-н Жиродиа, после четырехлетнего осмысления моей небольшой заметки и собственного воображаемого прошлого, представил в "Evergreen" новую версию случившегося. Расхождения между двумя версиями типичны для того, что ученые называют "ущербным" апокрифом. В "Playboy" нам предлагается классическое описание "членов семьи Галлимар", которые "в ужасе" озираются, пока господин Жиродиа "медленно продвигается к автору через море тел" (превосходный образ — это "море"). В "Evergreen" Галлимары отсутствуют, зато мы находим вместо них Монику Граль, "скрючившуюся в углу от беспомощного веселья", и еще одну даму, Дусю Эргаз, "прячущуюся в углу" (то есть в другом углу) и весьма неубедительно "давящуюся печеньем". В плейбоевском тексте мадам Эргаз описана как "литературный агент и терпеливая помощница" мистера Набокова. В эвергриновских летописях она становится "милым, исстрадавшимся, охваченным ужасом" другом г-на Жиродиа. В "Playboy" мы с ним обмениваемся несколькими "вполне дружелюбными" замечаниями. В "Evergreen" великая встреча протекает без слов: я ограничиваюсь "бессмысленной улыбкой" и тут же отворачиваюсь, чтобы предаться "пылкой" беседе с "чешским репортером" (неожиданный и отчасти зловещий персонаж, о котором хотелось бы побольше узнать от нашего хрониста). Наконец, и это несколько разочаровывает,

то место в "Playboy", в котором описывалась моя своеобразная манера "прядать назад и в сторону с легкой грацией дельфина", заменено ныне фразой о "грациозной легкости циркового тюленя"; под конец всего этого господин Жиродиа "отошел к бару и выпил" (честный "Playboy") или же "отошел, чтобы осушить несколько бокалов шампанского" (вычурный "Evergreen").

Как я указал в моем ответе, даже *если* мне представили г-на Жиродиа (в чем сомневаюсь), я не уловил его имени; но что особенно обесценивает достоверность его отчета, так это фразочка о том, что я "очевиднейшим образом узнал его", пока он медленно подплывал ко мне среди "тел". Очевиднейшим образом я не мог узнать человека, которого в жизни своей не видел; не могу я и оскорблять здравость его рассудка предположением, будто он полагает, что я каким-то образом разжился его портретом (еще в пору знаменитого curriculum vitae) и все эти годы лелеял его, как некую драгоценность.

Я ожидаю от г-на Жиродиа третьей версии нашей мифической встречи. Возможно, он наконец обнаружит, что забрел не на тот прием и разговаривал со словацким поэтом, которого чествовали по соседству.

15 февраля 1966 г.

КОММЕНТАРИИ

ЛОЛИТА
(LOLITA)

Об обстоятельствах написáния и публикации английской версии романа см. “О книге, озаглавленной “Лолита” (Послесловие к американскому изданию 1958-го года)” и “Постскриптум к русскому изданию”, а также набоковскую статью “Лолита” и г-н Жиродиа”.

Работа над романом велась пять лет, с 1949 по 1954 г. Впервые он издан 15 сентября 1955 г. парижским издательством “Olympia Press”, специализировавшемся на публикациях запрещенной в странах английского языка литературы, так как Набоков не смог найти для нее издателя в США. 21 июля 1958 г. роман был опубликован нью-йоркским издательством “G.P.Putnam’s Sons”. Русская версия впервые издана 30 августа 1967 г. нью-йоркским издательством “Phaedra”.

Над русской версией “Лолиты” Набоков работал в 1963—1965 гг., и в ее первоиздании значится: “перевод автора”. “Перевод” этот, впрочем, весьма вольный, и во вторую половину текста писатель внес значительное число мелких изменений, акцентирующих условность повествования.

Американские издания русскоязычной “Лолиты”, с которых до сих пор осуществлялись перепечатки романа в нашей стране, грешат опечатками, ненормативной орфографией и пунктуацией, причем обычному читателю далеко не всегда ясно, были ли эти неправильности внесены Набоковым сознательно. В настоящем издании впервые предпринята попытка приблизить текст к нормам современного русского языка и в то же время не нарушить авторского замысла.

При подготовке комментариев к роману основными нашими источниками были работы А. Аппеля и А. Долинина (в частности в кн. *В. Набоков.* Лолита. М. 1991. С. 356—414), игнорировать которые не может сегодня ни один компетентный знаток набоковских текстов.

Первое русское издание “Лолиты” заканчивается разделом “Перевод иностранных терминов”. В нашем издании, дабы избежать образования в книге двойного комментария, они включены в единый комментарий к тому.

ПРЕДИСЛОВИЕ

С. 11 ...двойное название... — Подзаголовок произведения пародирует названия английских "исповедальных" порнографических романов XVIII в., например широко известную в странах английского языка книгу Джона Клеланда "Фанни Хилл. Мемуары женщины для утех, рассказанные Джоном Клеландом" (1749). Вместе с тем он, возможно, отсылает нас к одному из вероятных аллюзивных подтекстов "Лолиты" — сборнику эссе и рассказов французского поэта-символиста Поля Верлена "Записки вдовца"(1883—1884; русск. пер. 1911). В одном из рассказов поэт с умилением описывает свою 11-летнюю дочь, но в финале выясняется, что его дочь "никогда не существовала и, вероятно, уже никогда не родится". Верлен, как полагает А. Долинин, занимает особое место среди исторических лиц и литературных персонажей, с которыми отождествляет себя Гумберт Гумберт, в силу того, что он представляет собой пример "больного гения": кутила, дебошир, гомосексуалист, пьяница, наркоман и сифилитик, Верлен создал стихи высочайшего класса; к тому же он стрелял в своего "злого гения" Артюра Рембо, отсидел два года в тюрьме, в заключении обратился к христианству и написал цикл покаянных стихов. Обратим внимание на то, что в "Предисловии" и самой "исповеди" сходным образом охарактеризованы обстоятельства, в которых она писалась. А. Аппель также отмечает, что термин "светлокожий вдовец" (white widowed male) встречается в историях болезни пациентов психиатрических клиник.

"Гумберт Гумберт" — Если фамилию Гумберт (Humbert) прочесть на французский манер, то она может восприниматься как омоним слова ombre (тень). Вместе с тем она омонимична испанскому слову hombre (человек). Используемое удвоение — Гумберт Гумберт — может пониматься как "тень человека" (ombre of an hombre), ведь к моменту опубликования своей книги повествователь уже мертв. Кроме того, здесь можно усмотреть намек на мрак наваждения и непонимания истинного положения вещей, в котором пребывает главный герой. Добавим также, что Г. Г., как и любой другой повествователь у Набокова, может рассматриваться как тень автора.

С. 12 Вивиан Дамор-Блок — анаграмма имени и фамилии писателя. Добавленное в русской версии "Дамор — по сцене, Блок — по одному из первых мужей" намекает на роль, которую сыграла поэзия А. Блока в становлении Набокова-поэта. В тексте в дальнейшем обнаруживаются аллюзии на Блока. В английской версии

любовницу Куильти зовут Vivian Darkbloom. Она же "является" автором примечаний к роману Набокова "Ада".

С. 13 ...историческое решение, принятое... судьей Джоном Вульси... — Суд под председательством нью-йоркского судьи Джона М. Вульси вынес решение, снявшее запрет на издание в США романа Джеймса Джойса "Улисс" как произведения будто бы порнографического и оскорбляющего общественную нравственность, что послужило прецедентом для пересмотра законов о печати.

Биянка Шварцман — Контраст черного и белого цветов (от *итал.* bianco — белый и *нем.* schwarz — черный) соответствует представлению писателя о том, что для школы психоанализа, пародирование которой — одна из сквозных тем романа, характерно упрощенное, примитивизированное видение и истолкование мира. В первоиздании имеется два варианта написания этого имени: "Биянка" и "Бианка".

С. 14 Джон Рэй — Это имя появляется не случайно, ибо, как указал еще А. Аппель, его носил английский натуралист (1627—1705), который создал систему классификации насекомых, основанную на принципе метаморфоза.

ЧАСТЬ I

1

С. 17 В некотором княжестве у моря (почти как у По). — Первая аллюзия, связанная с Эдгаром По, историей его любви и его стихотворением "Аннабель Ли" (Annabel Lee, 1849). История любви Г. Г. к Лолите становится в романе синтезом знаменитых любовных сюжетов мировой литературы, и писатель прямо и недвусмысленно указывает на это ("А предшественницы-то у нее были? Как же — были..."). Поскольку намеки на упомянутое стихотворение многократно вводятся в текст дальше, приведем его здесь полностью в переводе К. Бальмонта.

Это было давно, это было давно,
В королевстве приморской земли:
Там жила и цвела та, что звалась всегда,
Называлася Аннабель Ли.
Я любил, был любим, мы любили вдвоем,
Только этим мы жить и могли.

И, любовью дыша, были оба детьми
В королевстве приморской земли,
Но любили мы больше, чем любят в любви, —
Я и нежная Аннабель Ли,
И, взирая на нас, серафимы небес
Той любви нам простить не могли.

Оттого и случилось когда-то давно,
В королевстве приморской земли, —
С неба ветер повеял холодный из туч,
Он повеял на Аннабель Ли;
И родные толпой многознатной сошлись
И ее от меня унесли,
Чтоб навеки ее положить в саркофаг
В королевстве приморской земли.

Половины такого блаженства узнать
Серафимы в раю не могли, —
Оттого и случилось (как ведомо всем
В королевстве приморской земли):
Ветер ночью повеял холодный из туч —
И убил мою Аннабель Ли.

Но, любя, мы любили сильней и полней
Тех, что страсти бремя несли,
Тех, что мудростью нас превзошли, —
И ни ангелы неба, ни демоны тьмы
Разлучить никогда не могли,
Не могли разлучить мою душу с душой
Обольстительной Аннабель Ли.

И всегда луч луны навевает мне сны
О пленительной Аннабель Ли;
И зажжется ль звезда, вижу очи всегда
Обольстительной Аннабель Ли;
И в мерцанье ночей я все с ней, я все с ней,
С незабвенной — с невестой — с любовью моей, —
Рядом с ней распростерт я вдали,
В саркофаге приморской земли.

Это стихотворение написано Эдгаром По на смерть своей жены Вирджинии (1822—1847), на которой поэт женился до достижения ею 14-летнего возраста.

2

С. 18 Сибилла — В Древнем Риме так звали прорицательниц. Это имя носят еще две героини Набокова – Сибил Шейд ("Бледное пламя") и Сибил Вэйн ("Сестры Вэйн").

С. 19 ...гостиница "Мирана Палас"... — Сам Набоков пояснил, что название "Мирана" — контаминация слов "мираж", se mirer (*фр.* смотреться в зеркало, любоваться собой), Мирабелла (*лат.* mirabilis — "чудесный") и "фата-моргана" (название миража, который наблюдался в Мессинском проливе и, как считалось, связан с проделками духов (fairies), пытавшихся заманить к себе моряков). К тому же *Фата Моргана* — это еще и *фея Моргана*, а fatum по-латыни — "судьба". Эта же гостиница фигурирует в первой части "Смотри на арлекинов!".

mon cher petit papa — мой дорогой папочка *(фр.)*.

"Les Misérables" — "Несчастные" *(фр.)*, роман В. Гюго (в России его традиционно называют "Отверженные").

"La Beauté Humaine" — "Человеческая Красота" *(фр.)*.

"Graphic" — "Графика" *(англ.)*, иллюстрированный журнал.

С. 20 Mme de R. — госпожа Р. *(фр.)*.

3

С. 20 ...по фамилии Ли (Leigh)... — Писатель специально указывает, что написание фамилии другое, чем у героини Э. По. Вместе с тем именно так писалась фамилия сводной сестры Байрона Августы, с которой он, по-видимому, состоял в кровосмесительной связи. Следовательно, детская любовь Г. Г. соотносится не только с Э. По, но и с Дж. Г. Байроном (см. его "Стансы к Августе" и "Послание к Августе"), английские инициалы которого тоже G. G. ("Георгий Гордон" называл его Пушкин).

Ванесса ван Несс — Это имя вызывает целый спектр аллюзий, прежде всего на главную страсть самого писателя: оно отсылает к чешуекрылым, к названиям ряда бабочек из семейства нимфалид. Например, фигурирующий у Набокова постоянно "красный адмирал" — это Vanessa atalanta. Вместе с тем Ванессой именовал свою вторую возлюбленную Дж. Свифт, в то время как первую он называл Стеллой, и оба эти имени обыграны в "Лолите". Назван-

ные аллюзии Набоков развивал в ряде последующих произведений, в том числе в "Бледном пламени" и "Аде".

С. 22 chocolat glacé — холодное питье из шоколада *(фр.)*.

...темные очки. — Солнцезащитные очки не только соединяют образы Анабеллы и Лолиты (см. с. 53), но и становятся частью системы зеркальных отражений в тексте романа.

4

С. 24 ...у испанской горничной... — Упоминание об испанском происхождении горничной — первый, подготовительный намек на введение "карменовских" мотивов.

5

С. 25 "Des Deux Magots" — кафе "Две мартышки" *(фр.)* на Левом берегу Сены в Париже, где собирались в 1930-е гг. молодые интеллектуалы и художники.

Пускай фрейляйн фон Кульп... — В пародии Г. Г. собраны отдельные разрозненные строки из стихотворения Т. С. Элиота "Геронтион" (1920). Набоков негативно относился ко многим аспектам мировоззрения поэта и пародировал его тексты также в "Бледном пламени" и "Аде".

"Прустовская тема в письме Китса к Бенджамину Бейли" — В письмах, адресованных английским поэтом-романтиком Джоном Китсом (1795—1821) своему ближайшему другу по Оксфордскому университету Бенджамину Бейли (1791—1853), раскрываются важнейшие аспекты его поэтической теории. Так, в письме от 22 ноября 1817 г. поэт рассуждает о "потусторонности" и сравнивает "предчувствие вечности" с теми переживаниями, которые будит в сознании человека знакомая мелодия, неожиданно услышанная им вновь. "Прустовская тема", как отмечает А. Аппель, — это, несомненно, обозначение специфичной природы времени и памяти. Как известно, именно вокруг этих категорий построен весь текст огромного цикла романов М. Пруста "В поисках утраченного времени", где отрицается линейный характер памяти и внутренний мир человека трактуется как некое единство, внутри которого зрительные, вкусовые, слуховые и прочие впечатления способны соединять далеко отстоящие друг от друга хронологические пласты. К Прусту Набоков тяготел с молодости. Он отдал

дань его технике письма в “Машеньке”, ссылается на него в “Бледном пламени” и “Аде”. Прустовскую манеру он спародировал в “Камере обскуре”, хотя из “Смеха в темноте” исключил весь этот эпизод.

С. 26 нимфетки — Слово “нимфетка” в том специфическом значении, в каком оно используется в романе, — это авторский неологизм, и значение это действительно (в соответствии с предсказанием Джона Рэя) зафиксировано сегодня в словарях. Но необходимо также учесть его связь с используемым энтомологами термином “нимфа” — личинка, куколка, первая стадия развития насекомых.

нимфолепты — набоковский неологизм от др.-греч. “нимфолепсия” — состояние экстаза, в которое, согласно мифам, впадали люди, видевшие нимф.

...от невесомого острова завороженного времени... — Об “островной” теме и “тайне острова Келькепар” см. далее.

С. 27 “Когда я был ребенком и она ребенком была”... — набоковский буквальный перевод первого стиха второй строфы стихотворения Э. По “Аннабель Ли”.

С. 29 Хью Броутон (1549—1612) — английский теолог и публицист-пуританин. Г. Г. ссылается на его книгу “A Consent of Scripture” (1588), где в несколько эксцентричной манере анализируется библейская хронология.

Джемс Первый — английский король (1566—1625), правил с 1603 г. Согласно принятой в России традиции именуется Яков I.

Рахаб (Раав) — иерихонская блудница, укрывшая двух посланцев Иисуса Навина (Нав. II).

Вот Виргилий, который... “нимфетку в тоне пел одном”... перитон мальчика. — Г. Г. допускает здесь ошибку: слово “перитон” (брюшина) он неправильно употребляет в значении “промежность”. К тому же он каламбурно обыгрывает подразумеваемую фамилию английского переводчика Вергилия Роберта Корбета *Синглтона* (1810—1881). Singleton — буквально “единый *тон*” + “пери*тон*” (приставка *пери-* имеет значение “около”). А. Долинин отмечает, что Синглтон действительно употребил слово “нимфетка” в значении “маленькая нимфа”.

Вот две из еще несозревших дочек короля Ахнатена... — У египетского фараона Эхнатона (XIV в. до Р.Х.) и его жены Нефертити было семь дочерей, но на сохранившемся памятнике помеще-

ны изображения только шести (поскольку одна умерла, не достигнув совершеннолетия).

фасциний — изображение фаллоса, выполненное из слоновой кости и использовавшееся в ряде древнеримских эротических ритуалов.

лепчанцы (лепча) — малочисленная народность в Индии (обитает в Сиккиме и Дарджилинге). Г. Г. приводит подлинный факт, заимствованный, по-видимому, из "Психологии пола" (1891) Хавелока Эллиса.

...Данте безумно влюбился в свою Беатриче... — Этот факт рассказчиком сознательно искажается: ведь в момент знакомства Данте едва исполнилось 9 лет, а Беатриче, скорее всего, было 8. Поэтому их встреча не могла вызвать никакой любовной страсти. Потребовалась новая встреча много лет спустя.

Когда же Петрарка безумно влюбился в свою Лаурину... — В данном случае Г. Г. мистифицирует читателей. Когда Петрарка встретил Лауру, героиню его любовной лирики, 6 апреля 1327 г., ему было 23 года. Установить же ее личность исследователям до сих пор не удалось. Следовательно, любые рассуждения о ее возрасте в момент встречи несостоятельны.

...среди прекрасной равнины, видимой с Воклюзских холмов. — Упоминается местность (в настоящее время департамент) на юге Франции с административным центром в Авиньоне. Здесь с 1337 по 1341 г. Петрарка вел уединенную жизнь, возделывал сад и писал свои произведения. Сюда же он удалился после смерти Лауры.

С. 30 "enfant charmante et fourbe" — дитя прелестное и коварное *(фр.)*. Мнимая цитата.

Лилит — Согласно одному из иудейских преданий, Лилит была первой женой Адама. Считалась также злым духом, который наводит порчу на младенцев, изводит их и похищает. Начиная с эпохи Возрождения в европейской литературе утверждается представление о ней как о прекрасной обольстительной женщине (деве) с длинными волосами. Из современников Набокова, с чьими произведениями он мог быть знаком, к легенде о Лилит обращались А. Франс и Ф. Сологуб. Сам Набоков еще в 1930 г. написал стихотворение "Лилит", которое может рассматриваться как первое свидетельство вызревания у него замысла "Лолиты". В стихотворении повествуется о том, как героя, попавшего на тот свет и ошибочно полагающего, что он в раю, соблазняет "девочка нагая с лилией в кудрях".

6

С. 32 tailleur — костюм *(фр.)*.

frétillement — повиливание *(фр.)*.

Cent. — Сто *(фр.)*.

Tant pis. — Ничего не поделаешь *(фр.)*.

petit cadeau — подарочек *(фр.)*.

dixhuit — восемнадцать *(фр.)*.

Oui, ce n'est pas bien. — Да, это нехорошо *(фр.)*.

С. 33 Il était malin, celui qui a inventé ce truc-là. — Хитер был тот, кто изобрел этот фокус *(фр.)*.

Tu es bien gentil de dire ça. — Как мило ты это сказал *(фр.)*.

avant qu'on se couche — перед тем как ляжем *(фр.)*.

Je vais m'acheter des bas! — Куплю себе чулки! *(фр.)*

С. 34 Mlle Edith — мадемуазель Эдита *(фр.)*.

Regardez-moi cette belle brune? — Полюбуйтесь-ка на эту красивую брюнетку *(фр.)*.

С. 35 son argent — свои деньги *(фр.)*.

...к Марии (ибо таково было ее звездное имя)... — В средние века Дева Мария считалась покровительницей мореходов, и потому в латинской молитве ее именовали stella maris (звезда морей). В дальнейшем в тексте романа будет обыгрываться как имя Стелла, так и прилагательное “звездный”. Не исключена и ироническая реминисценция драмы А. Блока “Незнакомка”, где с неба падает звезда, превращается в прекрасную женщину и называет себя Марией. “Пала Мария — звезда”, — возвещает Звездочет.

8

С. 36 pot-au-feu — похлебка *(фр.)*.

С. 37 à la gamine — девчонкой *(фр.)*.

...чувствовал себя Маратом, даром что не было белошеей девочки, чтобы меня заколоть. — Жан-Поль Марат (1743—1793), один из наиболее видных деятелей Великой французской революции, был заколот в ванне Шарлоттой Корде, что отражено на знаменитой картине Жака-Луи Давида. Скорее всего, аллюзия введена

потому, что позднее такая "девочка", мать Лолиты *Шарлотта*, появится и Г. Г. испытает отвращение, взглянув на единственную в доме, "сомнительную" ванну. Шарлотта Корде, по свидетельствам очевидцев, залилась стыдливым румянцем, когда палач перед гильотиной сорвал с ее шеи платок. Шарлотта Гейз также демонстрирует показную стыдливость, которая, однако, сводится на нет ее практической хваткой. История о Марате и Шарлотте Корде затрагивается также в "Бледном пламени" и "Аде".

С. 38 "Paris Soir" — "Вечерняя Парижская газета" *(фр.).*

...умер мой американский дядюшка... — В старых французских мелодрамах смертью американского дядюшки часто мотивировалось чудесное изменение в судьбе героя; по-французски (а в английской версии романа использован именно этот язык) mon oncle américain — это любой дальний родственник, завещавший что-либо; он вовсе не обязательно должен жить в США.

Нансенский паспорт — документ, который выдавался русским эмигрантам для проживания за границей без гражданства. Был учрежден по инициативе знаменитого норвежского исследователя полярных широт и филантропа Фритьофа Нансена (1861—1930). Предмет особой нелюбви Набокова (см. "Пнин", "Память, говори").

С. 39 Mais qui est-ce? — Кто же он? *(фр.)*

С. 40 "Жан Кристоф" — Десятитомный роман-поток Ромена Роллана (1866—1944) "Жан Кристоф" не входит в число любимых книг ни Г. Г., ни самого Набокова. Французский писатель упомянут в ироническом контексте в главе 6 "Пнина". Впрочем, Набоков перевел его повесть "Кола Брюньон" ("Николка Персик").

С. 41 ...же деманд пардон... эске же пуи... — прошу прощения... могу ли я... *(искаж. фр.).*

С. 43 ...роман Агаты Кристи "Объявлено убийство"... — Этот роман опубликован в 1950 г. Аллюзия предвещает убийство Куильти, о котором объявлено на следующей странице (пьеса "Убитый драматург").

..."Бродяга в Италии" Перси Эльфинстона... — Набоков настаивал на том, что такой автор реально существовал и что упомянутая книга попала к нему в руки в больничной библиотеке, но пока никому не удалось ее обнаружить. Фамилия Эльфинстон распространена в странах английского языка, но Набоков, судя по всему, выдумал Перси Эльфинстона, чтобы ввести одну из сквозных тем романа — тему волшебства. Весь текст прослаивают

аллюзии, строящиеся на обыгрывании (часто каламбурном) сюжетов таких известных сказок, как "Гензель и Гретель", "Спящая красавица", "Красавица и чудовище", "Новое платье короля", "Русалочка" и "Синяя Борода". Странствия Г. Г. и Лолиты завершаются в *"городе эльфов" — Эльфинстоне* (причем это вымышленное название в русской версии переосмысливается как *"стон эльфов"*). Лолита родилась в городе Писки (Pisky), название которого походит на английское pixie — синоним к "эльф".

"Who's Who in the Limelight" — "Кто есть Кто в Свете Рампы" *(англ.).*

Пим, Роланд — напоминает о персонаже "Повести о приключениях Артура Гордона Пима" Э. По.

"Странный Гриб" — Прежде всего, обращает на себя внимание то обстоятельство, что Пим играет в пьесе, автором которой, согласно справочнику, является Куильти. Слово "гриб" должно также вызывать эротические ассоциации. А. Аппель приводит такое объяснение, данное писателем: "Где-то, возможно, в сборнике так называемых [психоаналитических] "историй болезни", я обнаружил упоминание о девочке, которая называла половой член своего дяди "грибом".

Куильти, Клэр — Имя и фамилия драматурга — двойника Г. Г. прокомментированы К. Проффером и А. Аппелем. Клэр — от фр. claire — светлый, ясный; Куильти — созвучно англ. guilty — виновен. К тому же в нем как бы слышится французский вопрос: "Qui est-il?" (Кто он?). В романе неоднократно обыгрываются его французские составляющие: qui (кто), il (он), île (остров).

С. 44 "Дама, Любившая Молнию" — Прежде всего, это пьеса, которую Г. Г. и Лолита смотрят в Уэйсе (глава 18, часть II). Обратим внимание на реплику Лолиты, которая прозвучит в связи с этим эпизодом: "Я не дама и не люблю молнии" (там же). Симптоматично, что мать Г. Г. была убита молнией. Впрочем, А. Аппель, ссылаясь на самого Набокова, настаивает на случайности последнего факта.

"Маленькая Нимфа" (1940) выдержала турне в 14.000 миль... — Г. Г. удваивает этот результат, проехав с живой нимфеткой 27.000 миль.

Квайн, Долорес — Фамилия Квайн созвучна фамилии Куильти, что более заметно в английской версии (Quine — Quilty). Чуть далее, в конце главы, возникает рифма *"Квайн-Швайн"*, в которой улавливается осуждение Куильти (*нем.* Schwein — свинья). Тема

"свинства" обыграна в главе 27, часть I. Учтем, что полное имя Лолиты — Долорес.

9

С. 45 ...на Пьеровой Стрелке в Мелвильском Зунде. — Г. Г. явно фантазирует, и его воображение вдохновляется романом Германа Мелвилла (1819—1891) "Пьер, или Двусмысленность"(1852), где в начале книги IX бесстрашный полярный исследователь "лишается поблизости от полюса способности следовать компасу своего рассудка". Впрочем, северный магнитный полюс действительно находится вблизи канадского острова Мелвилл. Слово "зунд" означает "узкий пролив", но оно также созвучно немецкому Sünde (грех). "Двусмысленность" в подзаголовке подразумеваемого романа Мелвилла подталкивает самого Г. Г. к двусмысленным высказываниям.

С. 46 "Reader's Digest" — популярный американский журнал, который специализируется на кратких версиях произведений и статей, которые ранее публиковались в других изданиях.

...друмлины, гремлины, кремлины... — каламбурный ряд, составленный Г. Г. из созвучных слов совершенно различной семантики: "друмлина" (drumlin) — особый вид ледников, "гремлин" — выдуманный американскими летчиками в годы Второй мировой войны вредный гном, портящий авиадвигатели, "кремлин" — английский вариант русского "кремль".

"Annals of Adult Psychophysics" — "Анналы взрослой психофизики" *(англ.).*

С. 47 "Arctic Explorations" — "Полярные исследования" *(англ.).*

...из "перемещенных лиц", или Ди-Пи (от "Деменции Прекокс")... — каламбурное обыгрывание аббревиатуры DP, которая по-английски может означать и "перемещенное лицо" (displaced person), и "шизофрения" (dementia praecox).

10

С. 48 342 — О роли этого числа см. комм. к с. 304.

С. 50 "Арлезианка" (1888) — одна из наиболее известных картин Винсента ван Гога. На отрицательное отношение к ней Набокова, возможно, повлияло то обстоятельство, что в 1950-е гг.

в США ее репродукциями модно было украшать стены в домах, о чем имеется свидетельство в "Пнине".

Марлен(а) Дитрих (1901—1992) — знаменитая киноактриса, переехавшая в США из Германии. В фильме "Голубой ангел" (1930), поставленном Дж. фон Штернбергом по роману Г. Манна "Учитель Гнус", сыграла роль танцовщицы кабаре Лолы, необычайно привлекательной в сексуальном плане вульгарной женщины, сводящей с ума главного героя и порабощающей его; одна из аллюзивных параллелей с фабулой набоковского романа. Не забудем, что Лола — вариант имени Долорес. См. также упоминание о "марленообразной шоферше" на с. 63.

С. 51 ..."Крейцеровой Сонаты" Ренэ Принэ. — На этой картине, написанной в 1902 г. французским художником Р. Ф. К. Принэ (1861—1940), изображена скверно одетая девушка-пианистка, которую возле рояля целует вульгарного вида скрипач. Эта пошлая, с точки зрения Набокова, картина использовалась в 1950-е гг. в рекламе духов "Табу" в журнале "New Yorker", с которым сотрудничал писатель.

С. 53 Herr Doktor — господин доктор *(нем.)*.

nova — новооткрытая звезда *(лат.)*.

С. 54 le fruit vert — незрелый плод *(фр.)*.

11

С. 54 Бланк, Бланктон, Массач. — Города с таким названием не существует. Автор явно шутит по поводу "пробелов" (от *англ.* blank — "незаполненный", ср. также с *рус.* "бланк") в своей памяти и ставит под сомнение достоверность дневника и всего повествования. Упоминание ниже о переписывании дневника "самым бесовским из своих почерков" является автоаллюзией и отсылает нас к роману "Отчаяние", где, с одной стороны, имеется пространное рассуждение о возможности сочетания различных стилистических манер ("почерков") в творчестве писателя, а с другой — дневник характеризуется как низшая форма литературы.

С. 55 Humbert le Bel — Гумберт Красивый *(фр.)*. "Королевское" (княжеское) имя Г. Г. построено по аналогии с Philippe IV le Bel, именем французского короля Филиппа IV Красивого, правившего в 1285—1314 гг., а также Филиппом I Красивым (1478—1506), который был одновременно эрцгерцогом Австрии,

королем Кастилии и князем Нидерландским. Вместе с тем мотивировка имени подкреплена тем, что короли Гумберт I и Гумберт II были правителями Италии соответственно в 1878—1900 гг. и в 1946 г.

С. 57 Приап — в античной мифологии фаллическое божество производительных сил природы.

Delectatio morosa — мрачное наслаждение *(лат.).*

Маленькой Вирджинии еще не стукнуло четырнадцать, когда ею овладел Эдгар. — Г. Г. вводит читателей в заблуждение, так как Эдгар По женился на своей кузине Вирджинии отнюдь не в результате страстной любви, а потому что хотел скрыть свою связь с ее матерью. Поэтому их брак несколько лет оставался фиктивным. Упоминаемые "уроки алгебры" обыграны несколько раз в дальнейшем (пансионат Св. Алгебры).

С. 59 ...нэ муонтрэ па вуа жямб... — не показывайте ляжек *(искаж. фр.).* Эта квазифранцузская реплика должна продемонстрировать неосновательность претензий Шарлотты на образованность. (В русской версии романа в сравнении с английской эта французская фраза еще неправильнее.)

à mes heures — в свое время *(фр.).*

С. 60 ..."Малютка Кармен"... "Карманная Кармен"... — первая интродукция "карменовского" игрового ряда, связанного с новеллой французского писателя Проспера Мериме (1803—1870) "Кармен" (1845). Рассматривая ее как один из самых замечательных примеров безумной любовной страсти в мировой литературе, Набоков строит "Лолиту" на постоянных аналогиях с текстом Мериме. Как и Г. Г., Хосе, брошенный коварной и непостоянной Кармен и убивший ее, рассказывает свою историю, находясь в тюремной камере. А. Аппель указывает на то, что уподобляя развитие событий сюжетной схеме Мериме, Набоков отчасти заманивает читателя в ловушку, так как создает ошибочное представление, будто Г. Г. неминуемо убьет свою неверную возлюбленную. (Аналогичным образом писатель поступает и в опубликованном ранее "Смехе в темноте".) Набоков также обыгрывает в романе латинские значения слова carmen — колдовство (волшебство), поэзия, песня.

С. 61 апарте (*фр.* aparté) — реплика в сторону.

С. 62 le mot juste — точное слово *(фр.).* Поиск "точного слова" ассоциируется у знатоков изящной словесности с именем знаме-

нитого французского писателя XIX в. Гюстава Флобера, который придавал особую значимость изысканному стилю.

...выражение Ронсара насчет "маленькой аленькой щели" или строчки Реми Бэлло... — Г. Г. цитирует здесь эротические стихотворения французских поэтов из группы "Плеяда" Пьера де Ронсара (1524—1585) "Je te salue, o vermeillette fente" и Реми Бэлло (1528—1577) "Impuissance", воспевающие женские гениталии.

..."моей жизни, невесты моей" — буквальный перевод 39-й строки "Аннабель Ли".

менархия — первая менструация.

С. 65 Ces matins gris si doux...! — Эти серенькие, такие мягкие утра...! *(фр.)*

С. 66 тайёр — строгий дамский костюм.

...моей прекрасной автомедонше... — Автомедон — возница Ахилла в "Илиаде" Гомера.

С. 67 Это лирическое произведение я уже знаю наизусть... Поэма, сущая поэма! — Список Лолитиного класса, как и статьи из справочника "Who's Who in the Limelight", выполняет, как выразился А. Аппель, функцию своего рода "волшебного зеркала", "блики" которого различимы в пределах всего текста.

С. 70 Mais allez-y, allez-y! — Продолжайте, продолжайте! *(фр.)*

13

С. 75 ...и стала играть глянцевитым плодом. — Играющая с яблоком Лолита явно соотнесена и с Евой, и с Лилит, и описываемая сцена состоит в определенных связях с библейской темой грехопадения.

С. 78 Корпускулы Крауза — высокочувствительные нервные окончания в слизистой половых органов.

14

С. 81 Филлида — Дочь Чатфильдов Филлис соотнесена с Филлидой, которая в древнегреческом мифе была женой афинского царя Демофонта и умерла от горя, когда муж оставил ее.

15

С. 84 Berthe au Grand Pied — Берта Большая Нога *(фр.)* (ум. 783) была женой короля Франции Пипина Короткого и матерью Карла Великого. Средневековые легенды связывают с ее историей мотив обмана. Перед первой брачной ночью Берту подменили очень похожей на нее девушкой, а саму ее похитили. Найдя позднее приют в избушке лесничего, она несколько лет жила там как простая служанка. Мать Берты, приехавшая в Париж и взглянувшая на ноги лжекоролевы, разоблачила обман, а позднее и Пипин, встретив Берту на охоте, признал ее законной супругой. Отождествление Г. Г. с Бертой формально зафиксировано в каламбурных созвучиях: Гумберт — *Berthe.*

Досужие, сухие сны. — Г. Г. переиначивает английский фразеологизм "wet dreams" (букв. "мокрые сны"), обозначающий эротические сновидения, которые завершаются поллюцией.

mais rien — прямо ничего *(фр.).*

16

С. 86 mon cher, cher Monsieur — мой дорогой, дорогой господин *(искаж. фр.).*

Départez! — Уезжайте! *(искаж. фр.)*

mon chéri — мой милый *(фр.).*

С. 87 mon très, très cher — мой самый, самый дорогой *(искаж. фр.).*

С. 88 Томас Морелл (1703—1784) — английский священник и поэт. Широкую известность получил его гимн, начинающийся словами: "Вот идет он, герой-победитель / Пой, труба, гремите, барабаны", так как он был положен на музыку композитором Г. Генделем и вошел в две его известные оратории. Факт, что фотография со словами Морелла висит над портретом Куильти (имя его не названо, но очевидно), достаточно красноречив и показывает, кому предстоит в конечном счете стать "героем-победителем".

С. 89 ...папиросой "Дромадер". — Набоков обыгрывает тот факт, что на известных американских сигаретах "Кэмел" (двугорбый верблюд) на самом деле изображен дромадер (одногорбый верблюд).

17

С. 89 pavor nocturnus — ночной страх *(лат.).*

peine forte et dure — пытка сильная и тяжелая *(фр.).*

С. 90 Внезапно... я почуял, что... усмешечка из Достоевского брезжит, как далекая и ужасная заря. — Достоевского как писателя Набоков не жаловал, и во многих произведениях (в особенности в "Отчаянии") обнаруживаются резкие суждения в его адрес. Здесь же внешняя фабула "Лолиты" соотнесена с не вошедшей в окончательный текст "Бесов" главой "У Тихона", где герой романа Ставрогин признается в изнасиловании двенадцатилетней девочки.

"Легко и осторожно на коленях..." — "Начитанный Гумберт" цитирует III песню поэмы Байрона "Паломничество Чайльд Гарольда". В финале этой песни поэт прямо обращается к своей дочери Аде, которую, покинув Англию, он никогда больше не видел.

...вообразил Шарлотту как подругу жизни. — Этим высказыванием повествователя имя Шарлотты соотносится с героиней знаменитого романа Гете "Страдания молодого Вертера", из-за которой кончает с собой заглавный герой (после того, как она выходит замуж за другого). Другой "вертеровский" отзвук — "Лоттелита! Лолитхен!". "Вертеровская" Лотта (Шарлотта) и Лолита сливаются здесь воедино.

помплимус (*фр.* pamplimousse) — грейпфрут.

...кое-что "показать" (quel mot!)... — При помощи помещенного в скобки франкоязычного выражения "ну и словечко!" Набоков обращает внимание читателя на двусмысленность закавыченного глагола.

С. 93 Une petite attention. — Небольшое внимание *(фр.).*

18

С. 95 chéri — дружок *(фр.).*

20

С. 105 Бердслей Колледж — Название этого вымышленного учебного заведения вызывает ассоциацию с английским художни-

ком и писателем Обри (в набоковской транскрипции Обрэем) Бердслеем (1872—1898), который был видной фигурой в английском эстетизме конца XIX в. и творчество которого (в особенности эротические рисунки) воспринималось современниками как весьма фривольное. Когда позднее Лолита действительно попадает туда на обучение, претензии колледжа на "прогрессивное", предельно практичное (в духе педагогических идей Джона Дьюи) образование будут создавать комико-иронический диссонанс с "бердслеевским" ассоциативным фоном.

С. 106 c'est moi qui décide — решать буду я *(фр.)*.

С. 109 ...заведующий звуковыми эффектами не сговорился с пупенмейстером... — Пупенмейстер (от *нем.* Puppenmeister) — кукольник, режиссер кукольного театра.

...ундиной... — В английской версии романа Набоков не применяет это слово, которое ввел в обиход автор одноименной сказки немецкий писатель-романтик Фридрих де ла Мотт Фуке (1777—1843). Элементы фабулы этой сказки могут быть обнаружены в "Лолите".

С. 112 ...с Петром Крестовским. — Несколько загадочное в данном контексте упоминание о Крестовском дополняется повторным — в главе 17 части II, где тот оказывается "дородным экс-полицейским", охотившимся вместе с Г. Г. и Фарло. По-видимому, можно согласиться, что есть определенная связь между этим персонажем и писателем Всеволодом Крестовским (1840—1895). Впрочем, не вполне очевидно, действительно ли Набоков имеет в виду различного рода скандальные его произведения — эротические стихи, где упоминаются различного рода извращения (некрофильский половой акт с утопленницей и т. п.). Более вероятно, что это аллюзия на его пошловатые романы из жизни городского дна.

С. 113 ...к Мелампию и Кавалле... — Клички собак значимы, хотя первая из них едва ли может быть понята однозначно. Мелампий происходит от Мелампа, персонажа древнегреческого мифа. Трактовку его в поэме Вяч. Иванова "Сон Мелампа" мог учитывать Набоков. Этот прорицатель и врач научился понимать язык животных и предсказывать будущее. Однако, возможно, следует также иметь в виду, что в постгомеровской традиции Меламп считался основателем культа Диониса и фаллических шествий. Кавалла — собака короля Артура.

21

С. 115 ...на этих малиновых гвардейцев, Бобровых Мясоедов, или как их там еще. — Имеются в виду лейб-гвардейцы при английском королевском дворе, которые именуются Beefeaters (т. е. "едоки мяса") и носят бобровые шапки и малиновые мундиры.

22

С. 122 Но никакой Шарлотты в гостиной не было. — Очень важная фраза. Если мы сопоставим ее с последним предложением "Защиты Лужина" ("Но никакого Александра Ивановича не было"), показывающим, что набоковский персонаж существует лишь до тех пор, пока его история развивается в сознании его творца-писателя, то сразу же станет очевидно, насколько условна и сомнительна "реальность" гумбертовского повествования.

25

С. 132 Et bien, pas du tout. — Не тут-то было *(фр.).*

27

С. 139 aux yeux battus — с синяками под глазами *(фр.).*

С. 140 ...веселого городка Лепингвиля, где в начале девятнадцатого века жил знаменитый поэт... — Города с таким названием, разумеется, не существует. Как пояснил сам автор, это название образовано им от неологизма leping (его соответствием в русском лексиконе писателя является "ловитва") со значением "ловля бабочек".

С. 142 деликвенточка (от *англ.* delinquent) — правонарушительница, преступница (набоковский неологизм).

С. 143 ensuite — затем *(фр.).*

C'est bien tout? — C'est. — Это наконец — все? — Да. *(фр.)*

С. 146 ...платье, застрявшее между щечками персика — перефразирую Роберта Браунинга. — Аллюзия на драму в стихах английского поэта Роберта Браунинга (1812—1889) "Пиппа проходит" (1842), где есть такая строчка: "From a cleft rose-peach the

whole Dryad sprang", что означает "Из расщепленного розового персика выпрыгнула целая дриада" (в древнегреческой мифологии так именовалась нимфа, рождавшаяся вместе с деревом, жившая в его листве и умиравшая вместе с ним). Драма Браунинга состоит из нескольких, не связанных друг с другом сцен, которые формально объединены образом простодушной и невинной девочки Пиппы, которая выступает в роли доброй феи, и, проходя мимо тех или иных персонажей в кульминационный момент разворачивающихся в их жизни драматических событий, она своей безыскусной песенкой способствует пробуждению в их душах доброго начала и подталкивает их к правильному нравственному выбору. Таким образом, роль "феи" Пиппы в драме примерно такая же, как у воплощения судьбы Мак-Фатума в набоковском романе. Проходящая мимо Пиппа упомянута позднее.

С. 148 Швайн (*нем.* Schwein — свинья) состоит в каламбурных взаимоотношениях с фамилией другого служителя отеля Свуна (*англ.* swoon — обморок).

Доктор Эдгар Г. Гумберт с дочерью, 342, Лоун стрит... — Эдгар — разумеется, аллюзия из "эдгаровского" ряда. О роли числа 342 см. комм. к с. 304.

спальмировать — (от *англ.* palm — "ладонь") набоковский неологизм, означающий "спрятать в кулаке".

С. 149 Enfin seuls — штамп из французских любовных романов XIX в., означающий "наконец одни". Включение его в текст подчеркивает пародийный характер повествования. Та же реплика — и в тех же целях — использована и в "Смехе в темноте".

С. 150 Seva ascendes... nihil quidquam — мультиязычный каламбур-загадка, строящийся с использованием элементов латыни, английского, французского, испанского и итальянского языков и пародирующий многоязычный поток сознания "Поминок по Финнегану"(1939) Дж. Джойса. Общий смысл этого места таков: "Влага поднимается, пульсирует, жжет, возбуждает, сводит с ума. Лифт лязгает, пауза, лязгает, люди в коридоре. Ничто, кроме смерти, не отнимет у меня ее! Нежная девочка, подумал я ласково, ничего не заметила". В этом тексте следует выделить два дополнительных момента: глагол, образованный от нем. Kitzler (клитор), которое повторно обыгрывается в тексте на с. 308, и словосочетание juncea puelulla (нежная девочка), фонетически созвучное имени и фамилии Уэн, Лулл из списка одноклассников Лолиты.

С. 152 ...джентльмена франко-ирландского происхождения... — соотнесение Гумберта с Тристаном. Учтем и упомянутое чуть выше "зелье" (соответствующее любовному напитку).

28

С. 153 le grand moment — великий момент *(фр.)*.

Sicher ist sicher — наверняка так уж наверняка *(нем.)*.

С. 154 Жан-Жак Гумберт — Повествователь соотносит себя с Жан-Жаком Руссо по двум признакам: во-первых, он выступает в роли "воспитателя" нимфетки (Руссо — автор философско-педагогического романа "Эмиль, или О воспитании" (1762), а в списке одноклассников Лолиты присутствует *Эмиль* Розато), а во-вторых, подобно французскому философу, пишет *исповедь*, причем гораздо более откровенную.

С. 156 comme on dit — как говорится *(фр.)*.

ресептакль (*фр.* receptacle) — вместилище (в данном случае "урна"). Использование слова высокого стиля в весьма сниженном значении создает комический эффект.

отесса — французский вариант использованного в оригинале слова hostess; здесь — "официантка".

С. 157 антифония — используемое в христианской литургии пение двух чередующихся и противостоящих друг другу хоров. Здесь этот термин следует понимать метафорически как "отголосок".

С. 158 ...дамы патронессы с... неизбежными орхидеями... — Как отметил А. Долинин, в кругу русских символистов начала XX в. орхидея воспринималась как "знак греха", как цветок "порочной красоты" и была предметом поклонения.

29

С. 159 entre nous soit dit — между нами говоря *(фр.)*.

С. 160 La Petite Dormeuse ou l'Amant Ridicule — "Спящая красотка, или Смешной кавалер" *(фр.)*. Название гравюры.

С. 162 Ветерок из Страны Чудес... — аллюзия на один из любимых текстов Набокова — "Алису в Стране Чудес" (1865) Льюиса Кэрролла (1832—1898), который писатель в начале 1920-х гг.

перевел на русский язык. Соотнесенность с Кэрроллом углубляется тем обстоятельством, что тот, как и Г. Г., испытывал пристрастие к "нимфеткам" и любил фотографировать их нагими и полуодетыми. В списке одноклассников Лолиты фигурирует имя Алиса.

30

С. 166 ...отставной профессор, у которого отрок служит в чтецах! — повторное обыгрывание образа из стихотворения Т. С. Элиота "Геронтион".

31

С. 167 Пятнадцатилетний же возраст допускается законом везде. — Г. Г. весьма вольно и неточно толкует факты — в том числе и потому, что в 19 штатах США возрастной ценз для вступления в брак для девушек колеблется от 16 до 18 лет.

32

С. 168 die Kleine — малютка *(нем.).*

moue — гримаска *(фр.).*

С. 169 ...помогал нести байдарку из Оникса в Эрикс... — Что касается названий озер Оникс, Эрикс и Клаймакс, то их скрытый сексуальный смысл раскрыл К. Проффер: в одной из своих эротических фантазий, пародирующей стереотипы психоанализа, Г. Г. представляет себя султаном, помогающим "маленькой невольнице взобраться по *ониксовому* столбу"; на горе Эрикс на острове Сицилия находился храм Венеры, жрицы которого были проститутками.

С. 172 ...в аптекарском магазине Шваба. — В 1920—1930-х гг. в Голливуде компания "Шваб" владела сетью аптек-закусочных американского типа, за которыми закрепилась репутация мест, благоприятствующих знакомствам начинающих актеров с кинознаменитостями, продюсерами и режиссерами.

С. 172 le découvert — случайное обнажение *(фр.).*

ЧАСТЬ II

1

С. 179 ...nous connûtes, если воспользоваться флоберовской интонацией. — Набоков имитирует в этой главе использованис Флобером в романе "Госпожа Бовари" форм passé simple (простого прошедшего времени), малоупотребительного в современной литературе, в частности глагола connaître (знать, узнавать).

...под громадными шатобриановскими деревьями... — Аллюзия Набокова отсылает нас к повести французского писателя-романтика Ф. Р. де Шатобриана (1768—1848) "Атала" (1801), действие которой происходит на фоне условно-экзотических девственных американских лесов. "Атала" и Шатобриан играют определенную роль и в "Аде".

С. 180 ...не Лаодикийской склонностью... — ироническая новозаветная аллюзия. Обратившись к "Откровению Св. Иоанна Богослова", мы обнаруживаем следующую характеристику ангела Лаодикийской церкви: "Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих" (III, 15—16). А. Долинин обращает внимание на то, что это же место цитируется и у Достоевского в "Исповеди Ставрогина" (см. ком. к с. 90).

С. 181 Инн (*англ.* inn) — гостиница.

С. 182 А помнишь ли, помнишь, Миранда (как говорится в известной элегии)... — Имеется в виду стихотворение "Тарантелла" (1923) английского поэта Илэра Беллока (1870—1953), где несколько раз повторяется строка, содержащая призыв, обращенный к Миранде, вспомнить о сыгравшей в ее жизни решающую роль гостинице: "Do you remember an Inn?/ Miranda?/ Do you remember an Inn?"

С. 183 Дункан Гайнс (1880—1959) — реальный автор популярных в США книг на гастрономические темы.

С. 185 Ma chère Dolores — Моя дорогая Долорес *(фр.).*

comme vous le savez trop bien, ma gentille — как вы слишком хорошо знаете, моя прекрасная *(фр.).*

..."неуловимого" хорошо сказано, клянусь тенью Полония!.. — отсылка к сцене III первого акта "Гамлета", в которой Полоний учит Офелию не доверять мужчинам.

С. 186 ...закон, проведенный Манном... гульфиками. — Американский конгрессмен от штата Иллинойс Джеймс Р. Манн (1856—1922) был автором принятого в 1910 г. закона (Акта), который запрещает перевозить женщин из одного штата в другой "с аморальными намерениями и целями". "Скверный каламбур", о котором говорит здесь Г. Г., обусловлен тем, что название закона — Mann Act — может быть прочитано как man act (что по-английски означает "половой акт").

С. 187 c'est tout — вот и все *(фр.).*

...точным воспроизведением Лурдского Грота в Луизиане... — Французский город Лурд, расположенный в предгорьях Пиренеев, стал со второй половины XIX в. местом паломничества католиков. Здесь 11 февраля 1858 г. 14-летняя пастушка увидела в гроте Деву Марию в белом одеянии с синим поясом. Согласно легенде, в этом месте забил родник, воде которого приписываются чудодейственные свойства.

С. 188 ...облака Клода Лоррэна... — Характерный элемент полотен французского художника Клода Лоррэна (1600—1682) — высокое небо, покрытое легкими кучевыми облаками.

С. 190 ce qu'on appelle 'Dixieland' — что называется "Диксиланд" *(фр.).* "Диксиланд" — собирательное название южных штатов.

2

С. 191 partie de plaisir — увеселительная прогулка *(фр.).*

raison d'être — причина существования *(фр.).*

парк Магнолий — находится в окрестностях города Чарльтона, штат Южная Каролина.

Джон Галсворти (Голсуорси, 1867—1933) — этот широко известный в России английский писатель действительно совершил несколько путешествий по США, но Набоков, видимо, ссылается на него здесь только ради желания упомянуть о своем неприятии его традиционно-реалистической манеры.

Бэдекер — путеводитель (по имени Карла Бедекера (1801—1859), наладившего издание подробных путеводителей на всех основных европейских языках).

С. 192 ...в память баталии под Блю-Ликс... — Речь идет, по-видимому, об одном из сражений войны за независимость США, которое произошло в долине реки Ликинг, штат Кентукки.

...избу, где родился Линкольн... — Семья президента США Авраама Линкольна (1809—1865) долгое время жила в деревянной хижине на осваивавшихся тогда территориях Кентукки. В 80 км от города Луисвилля, на предполагаемом месте его рождения, устроен мемориальный музей.

...в память автора стихотворения "Деревья"... — Это сентиментальное стихотворение написал в 1913 г. американский поэт Джойс Килмер (1886—1918).

Колония Миллионеров — находится у побережья Джорджии на острове Джекил.

С. 193 Меннингерский Институт — психиатрическая клиника и исследовательский центр, основанные американскими психоаналитиками братьями Карлом и Уильямом Меннингерами; расположен в городе Топека, штат Канзас.

Орегонский Путь — тропа, которая вела в XIX в. на неосвоенные земли в долине реки Колумбия; проходила через Канзас, Колорадо и Орегон.

Абилин, Канзас — известный скотоводческий центр, где ежегодно проходят родео в честь героя американского фронтира, легендарного шерифа Д. Б. Хикока по прозвищу Дикий Билл (1837—1876).

блазированная — пресыщенная, равнодушная (от *фр.* blasé) — набоковский неологизм.

С. 194 ...множество сумеречных существ вроде сереньких колибри... — Г. Г., не обладающий, в отличие от автора, глубокими познаниями в энтомологии, допускает очевидную ошибку и путает колибри (*англ.* humming-bird) с сумеречной бабочкой (*англ.* humming-bird hawkmoth), которая способна зависать над цветком, нектар которого пьет.

Шекспир, вымерший город в Новой Мексике... — Такой город действительно существовал на рубеже XIX—XX вв.

С. 195 Долина Смерти — глубокая безводная впадина в Калифорнии (85 м ниже уровня моря), которая с 1933 г. является национальным заповедником.

Замок Скотти — огромное здание в псевдоготическом стиле, строительство которого начал в 1920-х гг. в Долине Смерти раз-

богатевший ковбой Уолтер Скотт (тезка знаменитого романиста); осталось незавершенным из-за дефицита средств у владельца.

След ноги... писателя Р. Л. Стивенсона на потухшем вулкане. — Английский писатель Роберт Луис Стивенсон (1850—1894) жил в Калифорнии в 1879—1880 гг. Однако остальные детали Г. Г. излагает весьма неточно. На горе Св. Елены, которая ошибочно считается потухшим вулканом, он провел медовый месяц, но никаких отпечатков его ноги не существует. Зато имеется реальная калифорнийская достопримечательность — отпечатки ног кинозвезд в Голливуде.

Миссия Долорес — церковь испанских миссионеров в Сан-Франциско, названная в честь Девы Марии Скорби.

...в штатном парке Русской Теснины (Russian Gulch State Park) — парк в городе Сонома, штат Калифорния, основанный в XIX в. русскими поселенцами.

Кратерное Озеро — главная достопримечательность одноименного национального парка в штате Орегон.

Еллостон Парк — старейший национальный парк в США, располагающийся на территории трех штатов — Вайоминга, Монтаны и Айдахо (Идаго); знаменит скоплениями гейзеров, горячими источниками и грязевыми вулканами. Общепринятое написание его названия — Йеллоустоун.

...гигантские головы президентов, вырубленные в граните реющей вершины. — На горе Рашмор в скале вырублены огромные барельефы Вашингтона, Джефферсона, Линкольна и Т. Рузвельта.

С. 196 Дом Линкольна — находится в городе Спрингфилде, столице штата Иллинойс.

à propos de rien — ни с того ни с сего *(фр.)*.

...в мичиганском городе, носящем его, его имя. — Он — это, конечно же, Куильти, так как имеется в виду город Клэр в штате Мичиган.

"Гитчгайкер" (*англ.* hitchhiker) — человек, путешествующий автостопом, на попутных машинах. Homo pollex — букв. "человек большого пальца" *(лат.)*. В США принято "голосовать" на шоссе, поднимая вверх большой палец.

С. 197 face à claques — лицо, сделанное для пощечин *(фр.)*.

coulant un regard — искоса (исподтишка, потихоньку) поглядывая *(фр.)*.

С. 200 mais je divague — но я предаюсь бредням *(фр.).*

les yeux perdus — с томными глазами *(фр.).*

...un brun adolescent... думал я, о Бодлер!.. — Г. Г. отсылает читателя к стихотворению Ш. Бодлера "Le Crépuscule du matin" ("Предрассветные сумерки") из сборника "Цветы зла", где, в частности, есть такие слова: "Это был час, когда от роя дурных снов корчатся на подушках темноволосые подростки". Далее фигурирует тот же, что и у Бодлера, глагол se tordre — "корчиться", "извиваться".

...у знаменитого бывшего чемпиона... с целым гаремом мячиковых мальчиков. — Не назван по имени, но имеется в виду реальный и очень известный американский теннисист Уильям Татем Тилден (1893—1953), многократный чемпион США и троекратный победитель Уимблдонского турнира.

С. 201 Гобер (Gobbert) Андре — чемпион Франции по теннису в 1910-е гг.

ange gauche — неловкий ангел *(фр.).*

С. 202 ...на... тротуарах и парапетах древней Европы. — Явная реминисценция из стихотворения А. Рембо "Пьяный корабль" (1871). Название стихотворения будет обыграно позднее (см. комм. к с. 307). Перевод "Пьяного корабля" на русский язык Набоков опубликовал 16 декабря 1928 г. в газете "Руль", и в нем мы находим такую строчку: "...О Европа, / твой древний парапет запомнил я навек!"

С. 204 ...хорошо нарисованная неряха-девчонка в белых носочках... — Этот образ соотносится с серией комиксов, созданных американским художником Гарри Хенигсеном в 1940-е гг.

3

С. 205 ...в лиловую и черную Гумбрию... — С учетом семантики имени Гумберт название страны может быть истолковано как "царство теней". Вместе с тем оно созвучно древнему названию итальянской провинции Умбрия (в английской версии эта игровая соотнесенность другая: Гумберленд — Нортумберленд).

С. 206 "Ледяная Королева"... "А ты — моя ледяная принцесса". — А. Аппель отмечает, что Набоков использовал здесь реально встреченное им название бара. Однако оно одновременно (в рам-

ках сказочных параллелей) служит аллюзией на сказку Г. Х. Андерсена “Снежная королева”. Слово “принцесса” отсылает к “Аннабель Ли” Э. По. Эпитет “ледяная” (в английской версии frigid) эквивалентен сексологическому понятию “фригидность”.

“гратификация” — удовлетворение; психоаналитический термин, как всегда у Набокова, поставлен в иронический контекст.

С. 209 пушбол — большой тяжелый мяч 6 футов в диаметре, который каждая из двух участвующих в игре команд пытается затолкнуть на чужую сторону поля.

С. 210 un monsieur très bien — весьма приличного вида господин *(фр.).*

С. 214 “Маленькие женщины” (1869) — популярный сентиментальный роман для девочек американской писательницы Луизы Мэй Олкотт (1832—1888).

ганглий (биол.) — скопление нервных клеток, нервный узел.

dans la force de l’âge — в полном соку *(фр.).*

un vieillard encore vert — еще бодрый старец *(фр.).*

...в “искусстве быть дедом”, воспетом Виктором Гюго. — В конце жизни В. Гюго издал поэтический сборник “Искусство быть дедом” (1877), посвященный внукам Жоржу и Жанне. Имя В. Гюго в английской “Лолите” не упомянуто.

С. 215 casé — иметь определенное жилище и занятие *(фр.).*

4

С. 218 Корморант (*англ.* cormorant) — баклан.

5

С. 221 Mägdelein — девчонка *(нем.).*

С. 222 voyeur — любитель непристойных зрелищ *(фр.).*

6

С. 222 mes goûts — мои вкусы *(фр.).*

С. 223 ...покрыл косую стенку... большими фотографиями... — Портреты, висящие в доме Гастона Годэна, отражают его при-

страстия, поскольку в его домашней галерее представлены самые знаменитые гомосексуалисты в новейшей мировой культуре. Среди них: Андре Жид (1869—1951) — французский писатель, автор ряда сложных в структурном отношении романов (самый знаменитый из которых “Фальшивомонетчики”, 1925); в них, как и в прозе самого Набокова, довольно сложными оказываются взаимоотношения между персонажами и автором; Норман Дуглас (1868—1952) английский писатель, чей самый известный роман “Южный ветер” (1917) становится пародируемой основой одного из произведений героя-писателя в набоковской “Подлинной жизни Себастьяна Найта”; Вацлав Нижинский (1890—1950) — знаменитый танцовщик из труппы Дягилева. Имена двух английских писателей остались неназванными, видимо, потому, что они еще были живы на момент издания “Лолиты”. А. Аппель сообщает, что Набоков говорил ему, что речь здесь идет о писателе У. Сомерсете Моэме (1874—1965) и поэте Уистене Хью Одене (1907—1973).

Oui, ils sont gentils — да, они миленькие *(фр.)*.

С. 224 Prenez donc... peux savourer. — Возьмите-ка одну из этих груш. Их мне дает моя добрая соседка, живущая напротив, в таком количестве, что я не могу всеми ими полакомиться *(фр.)*.

Mississe Taille Lore... j'exècre — Миссис Тэйлор только что подарила мне эти георгины — красивые цветы, которых я не терплю *(фр.)*.

Au roi! — Шах королю! *(фр.)*

С. 225 Et toutes vos fillettes elles vont bien? — А все ваши дочки — они хорошо поживают? *(фр.)*

dans une sale histoire — в грязной истории *(фр.)*.

...в Неаполе, как на зло! — Намек на использованный Набоковым при работе над “Лолитой” источник: откровенную автобиографию русского помещика-педофила Виктора X., которая была напечатана в качестве приложения во французском издании “Этюдов по сексуальной психологии” английского психолога Хавелока Эллиса (1859—1939). Это история о том, как в 32 года автор исповеди попал в Неаполь, где вступил в связь с двумя несовершеннолетними проститутками, после чего потерял интерес к зрелым женщинам. Виктор X. стал, возможно, прототипом Гумберта (см.: Рейфилд Д. Исповедь Виктора X. — русского педофила: Заметки о прототипе героя “Лолиты”. // Время и мы. Москва — Нью-Йорк, 1990. С. 268—282).

7

С. 225 ...моя гимназистка-нимфетка держала... в волшебном плену. — А. Аппель и А. Долинин видят здесь реминисценцию баллады Джона Китса “La Belle Dame Sans Merci” (*фр.* Прекрасная дама, не знающая жалости), в которой повествуется о рыцаре, очарованном, завлеченном в “пещеру эльфов” и усыпленном там прекрасной волшебницей. Набоковский перевод этой баллады вошел в сборник “Горний путь”. Сама баллада образовала один из сквозных мотивов “Подлинной жизни Себастьяна Найта”.

С. 227 ...за репродукцией Уистлеровой “Матери”. — Картина англо-американского художника Джеймса Мак-Нила Уистлера (1834—1903) “Комбинация в серо-черных тонах № 1” известна также как “Портрет матери”. Композиционная выверенность произведения и строгость выражения лица изображенной на ней пожилой женщины контрастируют со скрывающимся за ней тайником.

8

С. 230 Риггер — Преподобный Риггер заимствован Г. Г, видимо, из довольно скабрезного лимерика или же из джойсовского “Улисса”, где его цитирует Леопольд Блум.

С. 232 ne montrez pas vos zhambes — не показывайте ляжек *(искаж. фр.)*.

11

С. 240 ...Мисс Зелва... Мисс Дутен... — Фамилии этих учительниц Лолита “выворачивает задом наперед”. Нетрудно заметить, что при их обратном прочтении возникает ироническая реплика: “Не туда влез”.

С. 243 “Годы Невинности” — картина английского художника Джошуа Рейнольдса (1723—1792), на которой изображена одинокая маленькая девочка, сидящая под деревом.

...в “Драматической Технике” Бэкера... — Это учебное пособие написано известным американским театроведом Джорджем Пирсом Бейкером (Бэкером; 1866—1935), который руководил театральной студией в Гарвардском университете, где под его началом

работали многие известные впоследствии писатели и драматурги: Ю. О'Нил, Дж. Дос Пассос, Т. Вулф и др.

12

С. 244 Биянка Лестер — своего рода намек для недогадливых, кто еще не разобрался в сути сексуальных пристрастий мисс Лестер и мисс Фабиан (лес + биян).

Ильза Тристрамсон — комбинация имен Тристана (Тристрама) и Изольды.

Venus febriculosa! — Псевдомедицинский термин "Венера лихорадки" может быть увязан с аллюзиями на "Венеру" С. Боттичелли.

С. 246 ...фермера, дремлющего после полдника на сене... — Имя художницы — Дорида Ли (1905—1983) — кажется комбинацией Долорес Гейз и Аннабеллы Ли. Упоминаемые художники относятся к традиционно-реалистическому направлению, которое вышло из моды к моменту опубликования романа. В их числе Грант Вуд (1892—1942), чья сатирическая картина "Американская готика"(1930), изображающая фермерскую чету со Среднего Запада, известна каждому американцу; тематика творчества Питера Гурда (Херд; 1904—1984) связана в основном с Юго-Западным регионом; Реджинальд Марш (1898—1954) создавал урбанистические полотна о нью-йоркской жизни; Фредерик Уо (Во; 1861—1940) — маринист.

13

С. 247 Ленорман, Анри Рене (1882—1951) — Упоминание Ленормана может быть мотивировано несколькими причинами: его драмы построены на ситуациях с психопатологической основой и имеют психоаналитический подтекст; в одной из них в число персонажей входит девушка по имени Лолита; некоторые из его произведений соотносятся с темами и мотивами романа: "В тени зла", "Пожиратель снов", "Человек и его призраки".

С. 248 ...узкие флорентийские ладони... — еще одна аллюзия на полотна С. Боттичелли.

14

С. 249 ...уроки рояля с мисс Лемперер (как мы, знатоки Флобера, можем ее для удобства назвать)... — В романе Флобера “Госпожа Бовари” Эмма объясняет свои отъезды в Руан на свидания с любовником тем, что берет уроки музыки у некоей мадемуазель Лампepep. Этот обман впоследствии раскрывается, но Эмме удается убедить доверчивого мужа Шарля, что произошло недоразумение.

...mon pauvre ami... vous saluent. — Мой бедный друг, мне уж не доведется когда-либо вас увидеть опять; вряд ли вы прочтете мою книгу, но все-таки разрешите сказать вам, что я очень крепко жму вашу руку и что все мои дочки кланяются вам *(фр.).*

С. 250 d'un petit air faussement contrit — с фальшиво-покаянной ужимочкой *(фр.).*

С. 253 С персонажами в кинофильмах я, по-видимому, разделяю зависимость от всесильной machina telephonica... — автоаллюзия: Парка переплетает телефонные нити, соединяя абонентов по своей прихоти, и в “Смехе в темноте”.

Как изверг в стивенсоновской сказке... — Повесть Р. Л. Стивенсона “Странная история с доктором Джекиллом и мистером Хайдом” (1886), одна из любимых книг Набокова, анализ ее писатель включил в “Лекции по литературе”. В одном из эпизодов повести главный герой в обличье мистера Хайда сбивает с ног десятилетнюю девочку и топчет ее.

С. 254 Мистер Пим (проходящий мимо в известной трагикомедии)... — персонаж пьесы известного английского драматурга и детского писателя Артура Александра Милна (1882—1956). Не забудем и об Артуре Гордоне Пиме из повести Э. По.

...Пиппа (проходящая мимо у Браунинга)... — См. комм. к с. 146.

J'ai toujours admiré l'oeuvre ormonde du sublime Dublinois. — Я всегда восхищался ормондским шедевром великого дублинца *(фр.).* Имеется в виду “Улисс” Д. Джойса. В эпизоде “Сирены” этого романа действие происходит в гостинице “Ормонд”, название которой Набоков трансформирует во франкоязычный каламбур: hors [de ce] monde, т. е. “за пределами этого мира”, подчеркивая тем самым, что события “Лолиты” разворачиваются вне нашей реальности.

С. 255 C'est entendu? — Сговорено? *(фр.)*

Entendu. — Сговорено *(фр.).*

...гоп-гоп-гоп, Ленора... — Г. Г. цитирует знаменитую балладу немецкого поэта Готфрида Августа Бюргера “Ленора” (1773), три разных перевода которой выполнил Жуковский. За героиней этой баллады приезжает мертвый жених и увозит ее на вороном коне. Их скачка передана в оригинале звукоподражанием “Und hurre, hurre, hop, hop, hop!..” (И мчатся, мчатся, гоп-гоп-гоп!..). Имя Ленора стало нарицательным у поэтов-романтиков, и его несколько раз использовал Э. По, связывая с образом умершей юной красавицы (“Ленора”, “Ворон”).

qui prenait son temps — которая не спешила *(фр.)*.

15

С. 257 Эдуза Гольд — золотистая Эдуза (Colias Edusa), европейская бабочка из семейства белянок. См. комм. к с. 284.

16

С. 258 ...le montagnard émigré — “Горец-эмигрант” *(фр.)* — нарицательный псевдоним писателя Шатобриана, подпись к его портрету; происходит от названия его одноименной баллады, которая позднее включена в повесть “История последнего из Абенсарагов” (1826) о любви мавра к испанке. Шатобриан эмигрировал из Франции, спасаясь от эксцессов Великой французской революции.

Felis tigris Goldsmithi — имитация латинского термина (Felis — род кошек; tigris — тигр, однако на самом деле он относится к роду panthera). Набоков намекает на ошибку, допущенную английским писателем-сентименталистом Оливером Голдсмитом (1728—1774) в стихотворении “Покинутая деревня” (1770), где тот, описывая флору и фауну экзотической, с точки зрения европейца XVIII в., Северной Америки, упомянул о тигре, имея в виду, очевидно, кугуара или пантеру (тигры в Северной Америке не водятся).

катальпа — род растений семейства бигнониевых; невысокое дерево, распространенное в Америке.

...три штата, начинающихся на “И”... — Индиана, Иллинойс и Айова (Iowa).

...ах, это первое дуновение Запада! — Во время, когда писался роман, был популярен лозунг штата Небраска: "У нас начинается Запад!"

С. 259 ...наводящие мелочи были напечатаны курсивом... — Набоков имеет в виду одно из произведений французского писателя Мориса Леблана (1864—1941).

...у бензиновой станции под знаком Пегаса... — Крылатый конь Пегас — фирменный знак американской нефтяной компании "Мобил Ойл".

С. 260 Крестословица — набоковский неологизм, изобретенный им вместо английского "кроссворд" в 1920-е гг., когда он сам составлял "крестословицы" для издававшейся в Берлине газеты "Руль".

...под знаком Раковины. — Знак конкурирующей с "Мобил Ойл" компании "Шелл". В древнегреческой мифологии в раковину трубит, повелевая волнами, Тритон, сын Посейдона и Амфитриты.

С. 261 ...вроде тех паломников... маленькими красными людьми. — Автоаллюзия, парафраз обобщенного описания классических итальянских картин из главы 1 "Смеха в темноте".

С. 262 ...напомнили мне так называемого "бертольда"... — подразумевается герой итальянских новеллистических циклов Д. Ч. Кроче (1567—1634) "Бертольдо" и "Бертольдино" (опубл. в 1620 г.). Бертольдо — коротышка с огромной головой, ослиными ушами и кривым ртом, хитрый и острый на язык простолюдин, плут, типичный герой низовой комической литературы.

С. 263 ...adolori d'amoureuse langueur... — разомлевший от любовной истомы *(фр.)*. Два последних слова Г. Г. заимствует из "Любовных стихов" (1552—1553) П. Ронсара (см. комм. к с. 62), первое же, каламбурно измененное Dolores, является его добавлением.

17

С. 264 катамитик — мальчик-любовник при однополой любви (от *лат.* Catamitus — искаженное имя Ганимеда).

луизетта — придуманное слово, образованное от "луидора"(louis d'or), французской золотой монеты, выпуск которой был

прекращен в 1795 г. (впрочем, это слово может иметь и значение “пистолет”).

С. 265 Крестовский — См. комм. к с. 112.

18

С. 266 ...как сыщика Траппа... — trap по-английски “ловушка”, “западня”, а кроме того, зафиксировано и сленговое значение “сыщик”.

С. 267 ...маску, изображающую Чина... — т. е. персонажа популярной серии комиксов американского художника Честера Чина (1900—1985), созданной в 1931 г.

С. 269 E lente currite, noctis equi! — О тише бегите вы, кони ночи! *(лат.)* К. Проффер установил, что эта строка взята из трагедии К. Марло (1564—1593) “Трагическая история жизни и смерти доктора Фауста” (1589?). Фауст, у которого в запасе остается всего час по договору с сатаной, этими словами заклинает время остановиться. А. Долинин указывает на то, что Марло в свою очередь цитирует строку из “Любовных элегий” Овидия.

С. 270 Я не дама и не люблю молнии... — См. комм. к с. 44.

С. 271 ...идею “радуги из детей” Клэр Куильти и Вивиан Дамор-Блок стащили у Джойса... — Мотив семи цветов радуги заимствован из романа Дж. Джойса “Поминки по Финнегану” (1939), где это символ разнообразия мира. В этой связи там обыгрывается детский стишок о человеке, имевшем семь жен.

19

С. 273 faux pas — промах *(фр.)*.

С. 274 Пусть скажет озеро любовнику Химены... — пародия на “Сида” Пьера Корнеля; во второй строке зашифрован совет Моны, адресованный Лолите, предпочесть Гумберту автора пьесы Куильти.

С. 275 un ricanement — саркастический смех *(фр.)*.

С. 276 ...настроил приемник Эл-О. — Обыгрывается первый слог имени Лолиты, который по-английски может быть понят как аббревиатура в значении “гетеродин” (т. е. “настройка на частоту” — то ли Лолиты, то ли радиостанции).

С. 278 la pomme de sa canne — набалдашник трости *(фр.).*

С. 279 Протей — в древнегреческой мифологии скользкое и постоянно меняющее свой облик морское божество. В “Улиссе” Дж. Джойса эпизод 3 известен под названием “Протей”, и сходство с ним обнаруживает в себе герой — поэт Стивен Дедалус.

20

С. 282 “Гедда Габлер” (1890) — пьеса Генрика Ибсена; в основе фабулы пьесы — история адюльтера.

“Любовь под ильмами” (“Любовь под вязами”, 1925) — трагедия Ю. О’Нила, содержание которой также малоутешительно для Г. Г., поскольку и здесь рассказывается история измены.

С. 283 Сирано-де-Бержерак (1619—1655) — французский писатель, образ которого стал легендарным; за ним закрепилась репутация чрезвычайно остроумного человека, наделенного, однако, непривлекательной внешностью (чрезмерно большим носом). Однако Набоков имеет в виду не столько реального Сирано, сколько его воплощение в знаменитой романтической пьесе (1897) Эдмона Ростана (1868—1918), где акцент сделан на великой неразделенной любви и страданиях этого необычайно умного, но не оцененного вовремя любимой женщиной человека.

petits rats (фр.) — балерины-ученицы “нимфеточного” возраста (от 9 до 14 лет) в Парижской опере.

С. 284 Электра Гольд, сестра Эдузы — См. комм. к с. 257; кроме того, название вида бабочки — золотистая электра.

С. 285 Нед Литам — анаграмма фамилии и последних букв имени теннисиста Уильяма Тилдена.

С. 287 ...от француза Декюжи или бельгийца Бормана... — Макс Декюжи в 1911 г. стал победителем Уимблдонского турнира в парном разряде вместе с Гобером (см. комм. к с. 200); Поль де Борман был в начале XX в. неоднократным чемпионом Бельгии по теннису.

С. 289 ...трех отвратительных калек фламандской школы. — Имеется в виду одна из картин Иеронима Босха (ок. 1460—1516), художника, для которого характерны предельно гротескные и гипертрофированные образы. Его имя фигурирует в английской версии.

22

С. 293 Soyons logiques — будем рассуждать логично *(фр.).*

...кукарекала и петушилась галльская часть моего рассудка... — обыгрывается геральдический символ Франции (в прошлом Галлии) — петушок.

...к сагуаровым пустыням... — Сагуаро — растение из семейства кактусовых высотой 10—12 м, распространено в пустынях Мексики и штатах американского Юго-Запада.

Хозэ Лизачовендоа, в известном романе Мериме, собирается увезти свою Кармен в Etats-Unis. — Хосе в новелле "Кармен" действительно предлагает разлюбившей его цыганке уехать с ним за океан и начать жизнь сначала, но та отказывается. *Etats-Unis* — Соединенные Штаты *(фр.).*

С. 295 Блю — Blue по-английски буквально "синий", "голубой", но также "скабрезный", "непристойный" или "унылый", "наводящий уныние".

...лесной царь, как в гетевском "Короле Эльфов"... — Эльфинстонский госпиталь наводит Г. Г. на неуютные мысли и рождает ассоциации с известной балладой Гете "Erlkönig" (букв. "Король эльфов"), где это воплощение сил зла похищает мальчика у отца ночью в лесной чаще. Та же ассоциация возникает в "Под знаком незаконнорожденных" и "Бледном пламени".

"Я не люблю вас, доктор Блю"... — каламбурный перифраз (отсутствующий в английской версии) английского детского стишка "I don't like thee, Doctor Fell...".

С. 296 ...баскского... происхождения... — В "Кармен" Мериме Хосе родом из Страны Басков; за его землячку сначала выдает себя Кармен.

...отец Марии, одинокий Жозеф Лор, мечтал о ночлегах в Олороне, Лагоре, Ролaсе... — Манипуляции со словом: Жозеф (Joseph) — французский аналог испанского имени Хосе (Jose), его фамилия Лор варьируется в цепочке предполагаемых мест его пребывания (названия населенных пунктов, кстати, как указывает А. Аппель, вполне реальны). Фамилия Лор наводит на мысли об англ. lore (знание), и, соответственно, отец Марии Лор выглядит пародийным носителем такового. А. Долинин усматривает здесь и травестию христианского мифа.

С. 297 "Клоуны и Коломбины" — единственное вымышленное название из всего списка книг. Скорее всего, оно введено для

того, чтобы соотнести треугольник Куильти—Гумберт—Лолита с персонажами-масками итальянской народной комедии дель арте Арлекином, Пьеро и Коломбиной.

С. 298 гантированный (от *фр.* gant — перчатка) — часто используемый Набоковым неологизм (еще в рассказе "Лебеда", например), означающий "в перчатках".

"Пондерозовая Сосна" (*англ.* ponderosa pine) — северо-американский вид сосен с корой желто-коричневого цвета; символ штата Монтана.

шассэ-круазэ (*фр.* chassé-croisé) — фигура в танце.

Je croyais que c'était un 'bill' — pas un billet doux. — Я принял это за счет, а не за любовную записку *(фр.)*. Двуязычный каламбур: bill по-английски "счет", billet doux по-французски "любовная записка".

Bonjour, mon petit! — Здравствуй, малютка! *(фр.)*

С. 299 Моя сестра Анна... Мне всегда жаль Синей Бороды. Эти брутальные братья... — Отсылка к сказке Ш. Перро "Синяя Борода". В финале седьмая жена герцога, которую тот также решил умертвить, взывает к своей сестре Анне, поднявшейся на высокую башню: "Анна, моя сестра Анна, видишь ли ты что-нибудь?" В конечном счете ворвавшиеся в замок "брутальные братья" несчастной убивают злодея.

Est-ce que tu ne m'aimes plus, ma Carmen? — цитата из "Кармен" ("Ты меня не любишь больше, моя Кармен?"). Хосе отвечает этими словами на следующий монолог Кармен: "Я всегда думала, что ты убьешь меня... А сегодня ночью, когда мы выехали из Кордовы, ты ничего не заметил? Заяц перебежал нам дорогу как раз перед копытами твоего коня. От судьбы не уйдешь". "Дурная примета", названная Кармен, имеет соответствие в "Лолите" в конце главы 32 части I, где Г. Г. чуть не переехал "маленькое живо́тное — не белку, — перебегавшее шоссе с поднятым трубой хвостом". Учтем, что фамилия Лолиты — по-английски Haze — близка по написанию к немецкому слову Hase — "заяц".

...по-баскски или по-земфирски... — Набоков соединяет здесь двух литературных героинь-цыганок, Кармен и Земфиру (из пушкинских "Цыган").

...профессор Гумбертольди... заместителем отца, толстеньким Ромео... Ромка... — Цепочка намеков: в Гумбертольди — на Бертольдо, персонажа итальянских фарсов (см. комм. к с. 262), и Бертольду, героиню "Ундины" Ф. де ла Мотт Фуке; поставленное

в иронический контекст "заместитель отца" направлено против Фрейда, Ромео отсылает к Шекспиру, а сниженный вариант этого имени — скорее к набоковскому роману "Приглашение на казнь". Стоит иметь в виду, что в текст "Кармен" Мериме вводит такие цыганские слова, как "рома" (цыгане), "ром" (муж) и "роми" (жена).

гитаночка — (от *исп.* gitana, *фр.* gitane) — цыганочка.

С. 300 ...une belle dame toute en bleu... — прекрасная дама вся в синем *(фр.)*.

...по Гремучей Яруге в Нью-Лурде... — Здесь Г. Г. вспоминает об имитации Лурдского грота, в котором побывал с Лолитой во время их путешествия по Америке (яруга — "овраг, росточь, глубокая водороина, крутобокая лощина" (Даль), древнерусское слово; "ручей, родник" — значения уже вторичные), а также и о самом лурдском чуде — явлении Девы Марии (см. комм. к с. 187). Кроме того, упоминание о belle dame (Прекрасной Даме) содержит и отсылку к другим литературным источникам, в частности к балладе Китса (см. комм. к с. 225) и "Стихам о Прекрасной Даме" А. Блока.

С. 301 Свят? Форсит! Когда Долорес... — Г. Г. пародийно перефразирует первую половину четвертой строфы "Монолога в испанском монастыре" (1841) Р. Браунинга: "Saint, forsooth! While brown Dolores..." Пародия на первую половину строфы присутствует лишь в английском тексте, в русском осталась пародия только на первую строку.

...начали справлять великий национальный праздник... — Злая ирония "Мак-Фатума" (и Набокова) в том, что Лолита освобождается из гумбертовского плена в День Независимости — национальный праздник США.

С. 302 ...на черном Кадили Яке... — игровое переосмысление марки автомобиля "кадиллак".

23

С. 304 ...в 342 гостиницах и мотелях. — "Мак-Фатум" распорядился так, чтобы число 342 встречалось в романе трижды: ранее этот номер носили дом Гейзов на Лоун Стрит и комната в "Привале Зачарованных Охотников".

С. 306 дедалогия — то же, что "логодедалия" *(лат.)*, иначе говоря "словесное мастерство", "словесные хитросплетения".

Гумберту также принадлежит новое слово "логомантия" — гадание на словах.

С. 307 Quelquepart — Где-то, где-нибудь *(фр.).* Остров Келькепар несколько раз фигурирует в романе как в русском, так и во французском написаниях. О "тайне острова Келькепар" см. комм. к с. 340.

Ундинист — Хавелок Эллис использовал этот термин для обозначения психопатов, которых сексуально возбуждает наблюдение за женщинами во время мочеиспускания, но в повествовании Г. Г. это слово используется в специфическом значении "любитель русалок", "ундинолюб".

Пэпер-чэс (*англ.* paper chase) — набоковский неологизм, образованный по аналогии со "стипль-чезом" (*англ.* steeplechase — разновидность скачек с преодолением искусственных препятствий), который можно перевести как "бумажные обгонялки".

Арсен Люпэн — герой детективных романов французского писателя Мориса Леблана — изобретательный, предприимчивый и неуловимый преступник, который постоянно меняет обличья, маски. В романах о Люпэне сильны элементы пародии.

"П.О.Темкин, Одесса, Техас". — В штате Техас существует вполне реальный город Одесса.

"Эрутар Ромб" — анаграмма имени французского поэта-символиста Артюра Рембо. Далее название его стихотворения "Пьяный корабль", комбинируется с названием пьесы М. Метерлинка "Синяя птица". Фамилия драматурга, имевшего пристрастие к энтомологии (он написал, например, "Жизнь пчел", 1901, и "Жизнь термитов", 1926), преобразована в Шметтерлинг (*нем.* Schmetterling — бабочка).

"Le Bateau Bleu" — "Синий корабль"*(фр.).*

"L'Oiseau Ivre" — "Пьяная птица" *(фр.).*

"Д. Оргон, Эльмира, Нью-Йорк"... — В комедии Ж. Б. Мольера (1622—1673) "Тартюф" (1664) *Оргон* — муж *Эльмиры*, которую пытается соблазнить завоевавший доверие семьи проходимец. Эльмира — город в штате Нью-Йорк.

"Гарри Бумпер, Шеридан, Вайоминг". — *Гарри Бумпер* — второстепенный персонаж комедии "Школа злословия" (1780) английского драматурга Ричарда Бринсли Шеридана (1751—1816). Этот пьяница поет песню, начинающуюся словами: "Выпьем за девиц стыдливых пятнадцати лет..." *Шеридан* — город в штате Вайо-

минг. Следует, видимо, также учитывать сленговые значения глагола bump — "убить", "обрюхатить" — и существительного bumper — "стриптизерша".

С. 308 "Др. Китцлер, Эрикс, Мисс." — О первых двух словах и их обыгрывании в тексте см. комм. к сс. 150 и 169. *Мисс.* — не только сокращение от Миссисипи, но и обращение к незамужней женщине.

"Н. С. Аристофф" родом из "Катагелы". — *Катагела* — название города в комедии Аристофана "Ахарняне". *Где твое жало, Катагела?* — иронически перефразированная цитата из "Первого Послания к коринфянам св. апостола Павла": "Смерть! Где твое жало? ад! где твоя победа?" (XV, 55).

"Джемс Мавор Морелл, Каламбург, Англия" — аллюзия на пьесу Дж. Б. Шоу "Кандида" (1897), в которой за любовь "простодушной" героини (ее имя восходит к повести Вольтера "Кандид"; от *фр.* candide — "простодушный") борются ее муж, проповедник Джемс Мавор Морелл, и поэт Марчбэнкс.

О. Бердслей — см. комм. к с. 105.

"Лука Пикадор, Мерри Мэй, Мэриланд" — Роковая встреча Лолиты с Куильти пришлась на "веселый месяц май" — merry May — Мерри Мей, что, в свою очередь, является графически видоизмененной фамилией Мериме (Mérimée) автора "Кармен". Кармен изменяет Хосе с Лукасом (Лука); правда, он не пикадор, а матадор. Название штата Мэриланд (буквально означает "Земля Марии") появилось в русской версии (в английской версии фигурирует штат Пенсильвания) и образует игровую связь с именем Марии Лор и ее родиной — Страной Басков (см. комм. к с. 296).

"Боб Браунинг, Долорес, Колорадо". — Здесь прежде всего присутствует скрытое передразнивание пародийного четверостишья Г. Г., построенного на перефразированном четверостишьи из "Монолога в испанском монастыре" Р. Браунинга (см. комм. к с. 301; "Долорес смуглая" = "brown(ing) Dolores"). Город Долорес действительно существует в штате Колорадо, и поблизости от него Набоков занимался ловлей бабочек.

"Дональд Отто Ких" из городка "Сьерра" в штате "Невада". — Здесь присутствуют Дон Кихот (анаграмматически представленный как Дональд Отто Ких), "Заснеженные Горы" (перевод с испанского названия Сьерра-Невада — такие горные хребты есть как в Испании, так и в США) и название вполне реального штата Невада.

С. 309 ВШ 1564 и ВШ 1616 — *инициалы* и годы жизни Вильяма Шекспира.

24

С. 309 Ригор Мортис (*лат.* rigor mortis) — "трупное окоченение, начинается через полчаса после смерти" (словарь "Медицинская терминология").

С. 310 garçon — парень *(фр.)*.

...напоминало фамилию знакомого нам служителя культа. — См. комм. к с. 230.

...69, улица Линтера — в названии было что-то знакомое... — Линтер — часть анаграммы "Адам не пи*л. Интере*сно, пил ли Ной".

25

С. 311 ...я бы назвал (если бы меня не предупредил другой страдалец...) "Dolorés Disparue"... — Очевидный намек на М. Пруста: после его смерти предпоследний том "Поисков утраченного времени" вышел под названием "Albertine Disparue" ("Исчезнувшая Альбертина"), но позднее он получил название "Беглянка".

Dolorés Disparue — исчезнувшая Долорес *(фр.)*.

...трех пустых лет, от начала июля 1949 до середины ноября 1952... — Это уточнение внесено в русскую версию романа — и, вероятно, целенаправленно. Внутренняя хронология событий перестает сходиться, из чего можно сделать вывод, что все события в последних главах романа — плод воображения Г. Г. Если, конечно, не считать, что таковыми — на самом деле — являются все без исключения события романа.

С. 312 que c'etati loin, tout cela! — как это все было далеко! *(фр.)*

*et moi, qui t'effrais mon génie — а я, предлага*вший тебе свой *гений (фр.)*.

С. 313 Возраст: пять тысяч триста дней... — Г. Г. называет точный (до дня) возраст Лолиты на 5 июля 1949 г., когда, придя в эльфинстонскую больницу, он обнаружил факт ее исчезновения. Очевидно, время для Г. Г. остановилось.

С. 314 ..."выйти я не могу"/ Повторяет скворец у Стерна... — Важное признание, отражающее "бессилие" персонажа перед "произволом" автора. Набоков напоминает читателям об эпизоде из "Сентиментального путешествия по Франции и Италии" (1768) Л. Стерна, когда Йорик слышит жалобный крик говорящего скворца в клетке. Клетка закрыта так хитроумно, что выпустить птицу на свободу не удается ни ему, ни последующим ее владельцам. Свободу скворцу предоставляет только повествователь — и то не в реальности, а в своего рода творческом акте, поместив изображение (без клетки) на свой герб.

Soleil Vert — зеленое солнце *(фр.)*.

L'autre soir un air froid d'opera m'alita... bien fol est qui s'y fie!... de ta vie? — Намедни вечером от стужи оперной арии она слегла: / Надтреснутый звук — "как тот глуп кто ей вверится"/ Идет снег, декорация валится, Лолита! / Лолита, что сделал я с твоей жизнью? *(фр.)*. Пародия на различные жанры французской поэзии, насыщенная различными аллюзиями. Прежде всего, здесь обыграна известная ария из оперы Дж. Верди "Риголетто" (1851), известная у нас как "Сердце красавицы склонно к измене..." Г. Г. приводит здесь строчку из французской версии песенки герцога, отталкиваясь от литературного первоисточника оперы — пьесы В. Гюго "Король забавляется" (1832). Шут Трибуле — романтический герой, с которым отждествляет себя Гумберт, — замышляет убийство короля, но обнаруживает в мешке тело своей любимой 16-летней дочери. В словах "le décor s'écroule" ("декорация валится") — намек на восприятие самим рассказчиком происходящего с ним как спектакля, пьесы. Предлагая читателям заведомо неточный перевод первой строчки, Набоков сознательно отвлекает внимание читателя от содержащегося в ней каламбура: air froid — это не только "стужа" (холодный воздух), но и "ария", охлаждающая (т. е. отрезвляющая) героя.

26

С. 316 ..."в порочном мае", как говорит Элиот... — очередная цитата из стихотворения Т. С. Элиота "Геронтион".

...или, суживая границы, между Тойлестоном и Блэйком... — Намек на то, что вся история с Ритой нереальна и она была "подобрана" Г. Г. в английской поэзии. За географическими названиями угадывается вполне реальный поэтический ориентир —

Уильям Блейк (1757—1827); вымышленный Тойлестон (Toylestown) — это каламбурное переосмысление словосочетания "toil's town" (град тяжкого труда), отсылающее читателя к стихотворению Блейка "Лондон" (1794).

...политикан с лицом как вымя... — Аллюзия в комбинации с автоаллюзией: как и мистер Гудмэн в "Подлинной жизни Себастьяна Найта", брат Риты наделяется внешностью, вдохновленной стихотворением Н. Гумилева "Заблудившийся трамвай".

С. 319 Мимир — в скандинавской мифологии таинственный хозяин медового источника мудрости, находящегося у корней мирового дерева Иггдрасиль.

С. 320 ...souvenir, souvenir, que me veux-tu? Вэрленовская осень звенела в воздухе, как бы хрустальном. — Воспоминание, воспоминание, чего ты хочешь от меня *(фр.).* Здесь соединены две цитаты — из стихотворения П. Верлена "Nevermore" (*англ.* nevermore — никогда — у французского поэта восходит к "Ворону" Э. По, где оно многократно повторяется и служит рефреном, а это значимо для "Эдгаровского" игрового ряда) и из стихотворения Тютчева "Есть в осени первоначальной...", где есть такая строка: "...Весь день стоит как бы хрустальный..." Ту же строчку из Верлена Набоков цитировал в рассказе "Адмиралтейская игла".

ЦЕРКВИ на удобном расстоянии для верующих. — В 1950-е гг. в США эта эвфемистическая формула использовалась в гостиницах, администрации которых был свойствен антисемитизм. Именно поэтому "профессора Гамбургера", которого принимают за еврея, ждет "учтивый отказ".

Petite Nymphe Accroupie — "Маленькая нимфа, присевшая на корточки" — название гравюры.

С. 321 Читатель! Брудер! (*нем.* Bruder — брат) — Это обращение к читателю создает перекличку с тем, которым открывается книга Ш. Бодлера "Цветы зла": "Скажи, читатель-лжец, мой брат и мой двойник, / Ты знал чудовище утонченное это?" (перев. Эллиса).

В воскресенье, 24-го... шел фильм "Одержимые", а в другом — "Грубая сила". — Такие фильмы действительно вышли на экраны США в 1947 г. "Грубая сила" (режиссер Жюль Дассен) повествует о побеге из тюрьмы, "Одержимые" (режиссер Кертис Бернхардт) — о безответной страсти женщины, которая в конце концов сходит с ума. Английское название последнего (Possessed) совпадает с английской же версией названия романа Достоевского "Бесы".

Впрочем, Набоков мог иметь в виду и фильм режиссера Витторио Де Сика "Одержимость", снятый в Италии в 1942 г. по мотивам романа Д. Кэйна "Почтальон всегда звонит дважды" и ставший известным в США только после окончания Второй мировой войны. В этой уголовной драме акцент сделан на шутках судьбы, которые ведут к непредусмотренной повторяемости событий, что концептуально близко Набокову.

"Омэн Фаустум" (*лат.* "счастливое предзнаменование") — шутливый перевод названия американских сигарет "Lucky Strike". Возможно, писатель учитывал и возможность других прочтений, например "Знак Фауста".

С. 322 Вино, вино, вино, изрек автор "Темного Возраста"... дождь, дождь, дождь... лучший друг роз и вдохновения. — Автор "Темного Возраста" — это, как помнит читатель, Клэр Куильти. Здесь он цитирует Омара Хайяма.

27

С. 323 Mes fenktres! — Название "Мои окна" следует, скорее всего, рассматривать как пародийное, имитирующее сложившиеся в автобиографической прозе штампы.

С. 324 Savez-vous qu'a dix ans ma petite ütait folle de vous? — Знаете, моя малютка в десять лет была от вас без ума? *(фр.)*

С. 325 Никогда не уедет с Онегиным в Италию княгиня N. — Эта фраза добавлена Набоковым в русскую версию романа. Пушкинская Татьяна, как известно, выходит замуж за князя N., и здесь к ней как бы применена судьба Анны Карениной, последовавшей в Италию за Вронским.

С. 326 Никогда не поправится Эмма Бовари, спасенная симпатическими солями в своевременной слезе отца автора. — В романе Г. Флобера "Госпожа Бовари" к умирающей от яда героине приезжает врач Ларивьер; этот опытный врач сразу понимает, что она обречена, и у него даже скатилась из глаза "непрошеная слеза". Отец Флобера был врачом, и именно этот факт обыгрывает писатель.

С. 327 Ричард Ф. Скиллер — Фамилия мужа Лолиты в английской версии романа пишется Schiller, т. е. точно так же, как и фамилия Фридриха Шиллера (обратим внимание на инициал "Ф"). О драме Шиллера "Коварство и любовь" напоминает в

списке одноклассников Лолиты Луиза Виндмюллер (у Шиллера — Луиза Миллер). Впрочем, не исключено, что шиллеровская аллюзия выполняет преимущественно маскировочные цели и скрывает тот факт, что в фамилии "прячется" слово killer (по-английски убийца). Обратим внимание в этой связи на улицу Киллера на с. 329 и на улицу Гунтера (от англ. hunter — охотник) там же.

29

С. 335 Лектобург — Это вымышленное название происходит от латинского lector — читатель (в английской версии — Readsburg) и означает "Град читателей". Все это опять-таки подтверждает фантазийный характер описываемых событий. Г. Г. явно не заезжал к Лолите.

С. 336 ...с маленькой цветочницей, нататуированной на тыльной стороне кисти. — Безумный рассказчик отождествляет Билля с шофером Фрэнком из Эльфинстона.

С. 338 ...Дук-Дук — ничего не значащее слово (ну это положим)... — Примечание, помещенное в скобках, показывает, что, в отличие от Лолиты, эрудит Г. Г. прекрасно знает, что искаженное персидское Duk-duk в значении "совокупляться" было использовано в переводе арабского эротического трактата "Сад Благоуханный Шейха аль-Нефсафи" (XVI в.), выполненном английским востоковедом Ричардом Бертоном (1821—1890).

...клиговым светом... — т. е. светом дуговых киноосветительных приборов, названных по имени изобретателя, американского инженера Джона Клигла (1869—1959).

С. 339 ...Жюстине маркиза де Сада было вначале двенадцать лет. — В романе "Жюстина, или Несчастья добродетели" (1791) французского писателя Д. А. Ф. де Сада (1740—1814) героиня, невинная, добродетельная девушка Жюстина, становится жертвой извращенных сладострастников, и в романе подробно описаны все виды насильственных действий, которым она подвергается.

Что ж, у Мак-Ку было тоже похожее имя, и тоже сгорел дом. — Эта фраза, добавленная в русской версии, выявляет параллелизм "приемов судьбы" и, кроме того, усугубляет недостоверность гумбертовского повествования.

С. 340 ...mon grand péché radieux... — мой великий, лучезарный грех *(фр.)*. Цитата из стихотворения П. Верлена "Луны".

Changeons de vie, ma Carmen, allons vivre quelque part où nous ne serons jamais séparés... Мерри Мэй? — Переменим жизнь, моя Кармен, заживем где-нибудь, где никогда не разлучимся *(фр.)*. Точная цитата из "Кармен". Кармен отвечает на это с улыбкой: "Сначала я, потом ты. Знаю, так суждено". Однако данная цитата особенно существенна потому, что именно в ней раскрывается наконец "тайна острова Келькепар" (Quelquepart). Как помнит читатель, только на "невесомом острове завороженного времени" обитают волшебные нимфетки Гумберта. Теперь становится ясно, почему столь много островов встречалось в тексте романа. Бессмысленно называть в связи с этим ирреальным миром остров Quelpart, расположенный около берегов Канады. Остров Келькепар — это "чисто литературный продукт", который художественное воображение повествователя присмотрело в недрах "Кармен" писателя "Мерри Мэй" (Мериме).

С. 341 Carmen, voulez-vous venir avec moi? — Кармен, хочешь уехать со мной? *(фр.)*

trousseau — приданое *(фр.)*.

mon petit cadeau — мой маленький подарок *(фр.)*.

С. 343 Carmencita, lui demandais-je... — Карменсита, спросил я ее *(фр.)*. Еще одна точная цитата из Мериме.

31

С. 346 ...литофаническая вечность... — "Литофанический" относится к способности фарфорового изделия при просвечивании обнаруживать невидимые при обычном освещении скрытые рисунки.

32

С. 348 ...о точечках на форели Гопкинса... — Обыгрывание цитаты из изданной посмертно книги "Многоцветная красота" (1918) английского поэта Джерарда Мэнли Хопкинса (Гопкинса; 1844—1889), где, в числе прочих удивительных творений Бога, упоминается "пятнистая форель, усеянная розовыми родинками".

...бритой голове Бодлера... — На фотографиях и известном автопортрете (1860) у поэта редкие всклокоченные волосы и большие залысины.

...mais je t'aimais, je t'aimais! — но я любил тебя, любил тебя! *(фр.)*

...как Лир просил у нее благословенья... — Король Лир в трагедии Шекспира уговаривает свою дочь Корделию отправиться с ним в темницу.

33

С. 351 Bonjour, Charlotte. — Здравствуй, Шарлотта *(фр.)*.

...к некоему Эдуарду Граммару... — Реальный преступник, суд над которым открылся в Нью-Йорке в конце сентября 1952 г.

С. 352 Как в тургеневской повести, поток итальянской музыки лился из растворенного окна... — В фантастической повести И. С. Тургенева "Призраки" (1864) герою по ночам является женщина-призрак Эллис, и с ней он переносится во времени и пространстве, попадая — в том числе — на остров Изола-Белла в Италии, где рассказчик слышит "сильные чистые звуки", которые льются из "настежь раскрытых окон" дворца.

С. 353 ...Мурфи, этот раз, сочетался браком с Фантазией... — Стелла (*лат.* звезда) Фантазия фигурирует в списке одноклассников Лолиты. Бракосочетание Стеллы Фантазии с Мурфи может быть воспринято в контексте набоковского романа как метафорическое описание единства фантазийного творческого замысла, вымысла и вдохновения и их художественного воплощения в форме (*греч.* morphē).

С. 354 mille grâces — тысяча ужимок *(фр.)*.

...что Франк Лассель... проделал с одиннадцатилетней Салли Горнер... — реальный маньяк и его малолетняя жертва.

С. 355 "Reveillez-vous, Tropman, il est temps de mourir!" — Проснитесь! Пора умирать *(фр.)*. Псевдоцитата, формально отсылающая нас к очерку И. С. Тургенева "Казнь Тропмана" (1870), в котором подробно описывается, как убийцу подготавливают к совершению смертной казни. Но, скорее всего, фамилия Тропман в контексте может пониматься как "мастер словесной игры, метафорист, человек тропов".

34

С. 357 Паркингтон — вымышленное название.

35

С. 360 Je suis Monsieur Brusture. — Я господин Брюстер *(фр.)*.

С. 361 "La Vie de la Chair" — "Жизнь плоти" *(фр.)*.

С. 362 Вулэ-ву-буар? — Хотите выпить? *(фр.)*

"Une femme... une cigarette". — Куильти перефразировал известные строки из стихотворения Р. Киплинга "Обрученные": "And a woman is only a woman, but a good cigar is a smoke" (Женщина — это всего лишь женщина, а хорошая сигара — повод всласть покурить). Название французских сигарет "Капрал" по ассоциации соотносится с балладами Киплинга о солдатской жизни.

С. 363 Vous voila dans de beaux draps, mon vieux — В хорошеньком вы теперь положении, старина *(фр.)*.

С. 365 За то, что ты взял грешника врасплох... — Начало стихотворения Г. Г. пародирует начало поэмы Т. С. Элиота "Пепельная среда" (Ash Wednesday, 1930).

С. 367 soyons raisonnables — будем разумны *(фр.)*.

Вы меня только гнусно раните и потом будете гнить в тюрьме, меж тем как я буду поправляться в тропической обстановке. — Здесь можно усмотреть намек на кризис во взаимоотношениях "проклятых поэтов" П. Верлена и А. Рембо. Верлен выстрелил в своего друга, после чего провел два года в тюрьме, а Рембо уехал в Африку.

...буду жить долгами, как жил его отец по словам поэта. — Изменение, внесенное в русскую версию романа. Аллюзия на пушкинского "Евгения Онегина", где есть такие строки: "Служив отлично-благородно, долгами жил его отец..." (I, III, 1—2). В английской версии этому соответствует исковерканная шекспировская цитата.

Вибрисса — Имя образовано от термина "вибриссы", обозначающего жесткие волоски у некоторых млекопитающих, которые воспринимают малейшие колебания окружающей среды (например, кошачьи усы).

Геркуланита — южноамериканская разновидность героина.

"Остров Багратиона". — Остров этот вымышленный и к князю Багратиону, герою Бородина, по-видимому, никакого отношения не имеет.

С. 368 Мелания Вейсс — своего рода “сиамский близнец” Бианки Шварцман; ее имя также означает “черно-белая” (от *греч.* melanos и *нем.* weiss).

Бардинское Море — Исходя из контекста название этого вымышленного моря следует счесть производным от русского “бардак”.

Кларий Новус (*лат.* Clarius Novus) — Новый Аполлон (Храм и оракул Аполлона находились в городе Кларосе).

...как в сумасшедшем доме старик Нижинский... — Рассказчик имеет в виду позднюю фотографию знаменитого танцора В. Нижинского, сделанную через двадцать лет после того, как тот сошел с ума. На ней безумный старик пытается повторить свое прославленное антраша.

С. 369 Он шагал по галерее... — Набоков исправил неточность, допущенную в английской версии. Там говорилось: “Он переходил из комнаты в комнату...”, что было невозможно, так как Г. Г. закрывал все двери на ключ. Впрочем, как объяснил писатель А. Аппелю, он не стал исправлять данное противоречие в “английской” “Лолите”, исходя из того, что в сновидении все возможно.

36

С. 372 Апостол Фома был не так глуп. — Как сказано в Новом Завете, апостол Фома, когда ему сказали, что видели воскресшего Господа, ответил: “...если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в рану от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю” (Иоан., XX, 25).

С. 375 “Месмер Месмер” — по имени Фридриха Антона Месмера (1734—1815), создателя учения о “животном магнетизме”. Месмер был убежден, что человек, владеющей этим учением, способен с помощью “магнетической силы” подчинять себе других людей и излечивать болезни. Возможно, следует учесть новеллу Э. По “Месмерическое откровение”.

“Герман Герман” — автоаллюзия. Рассказчик отсылает нас к роману “Отчаяние”, где главного героя и повествователя (убийцу и лжехудожника) зовут Герман. В предисловии к английской версии романа “Отчаяние” Набоков писал: “Герман и Гумберт сходны лишь в той мере, в какой два дракона, нарисованные одним

художником в разные периоды его жизни, походят друг на друга. Оба они — негодяи и невротики, но все же в Раю есть зеленая аллея, где Гумберту дозволяется раз в году побродить в сумерках; Германа же Ад не выпустит под подписку никогда".

...пятьдесят шесть дней тому назад... — Следовательно, работа Г. Г. над текстом началась 22 сентября 1952 г. — в тот день, когда он получил письмо от Лолиты.

...хотя я в Нью-Йорке... — По мнению А. Долинина, это уточнение, внесенное в русскую версию "Лолиты", ставит под сомнение весь рассказ об убийстве Куильти и тюремном заключении. Ведь Г. Г. был арестован в одном из восточных штатов, но отнюдь не в Нью-Йорке; вот почему (по действующему в США законодательству) он никак не мог бы оказаться в нью-йоркской тюрьме.

О КНИГЕ, ОЗАГЛАВЛЕННОЙ "ЛОЛИТА"

Это послесловие было написано для публикации фрагментов "Лолиты" в журнале "The Anchor Review". Перепечатано затем в первом американском издании романа. Переведено автором.

С. 377 ...связан с газетной статейкой об обезьяне... — Похоже на мистификацию, так как никому из исследователей такую заметку обнаружить не удалось.

С. 378 ...рассказ, озаглавленный "Волшебник"... — Вопреки этому высказыванию Набокова, рукопись "Волшебника" была найдена и опубликована.

...писал романы с 1924-го года... — Первый роман Набокова "Машенька" написан в Берлине осенью 1925 г.

Алданов Марк Александрович (псевдоним; наст. фам. Ландау, 1889—1957) — русский писатель-эмигрант, писавший в основном исторические романы. Набоков поддерживал с ним многолетние дружеские отношения.

Фондаминский Илья Исидорович (псевдоним И. Бунаков, 1880—1942) — публицист, религиозный писатель, один из редакторов журнала "Современные записки", активный деятель партии эсеров. Взгляды Фондаминского были чужды Набокову, но он относился к тому с уважением.

Зензинов Владимир Михайлович (1880—1953) — соредактор "Современных записок", близкий друг И. Фондаминского.

Коган-Бернштейн — женщина-врач, которая лечила Набокова.

...в университетском городе Итака... — В этом городе находится Корнельский университет, где Набоков вел занятия по русской и мировой литературе с 1948 по 1959 г.

С. 379 Анаграмма моего имени и фамилии... — Вивиан Дамор-Блок.

С. 383 типоскрипт — машинописная копия.

С. 384 ...в Теллуриде, где я поймал не открытую тогда самку... голубянки Lycaeides sublivens Nabokov. — Об этой своей находке Набоков написал специальную энтомологическую работу (1952). Эта бабочка была поймана им рядом с городом Лолита, штат Колорадо.

ПОСТСКРИПТУМ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

С. 387 ...Грэхаму Грину... в одной лондонской газете. — Грэм Грин назвал набоковскую “Лолиту” в газете “The Sunday Times” одной из трех лучших книг года.

...некто Джон Гордон... — редактор газеты “The Sunday Express”, на страницах которой он подверг суровой критике с морализаторских позиций и Набокова, и Грэма Грина.

С. 389 ...картонными тихими донцами на картонных же хвостах-подставках. — Это сказано, разумеется, о “Тихом Доне” М. Шолохова.

...лирическим доктором с лубочно-мистическими позывами... — Набоков невысоко ценил роман Б. Пастернака “Доктор Живаго” и считал его неуклюжим и мелодраматическим сочинением.

...в моем магическом кристалле... — отсылка к последним строкам “Евгения Онегина”: “...И даль свободного романа / Я сквозь магический кристалл / Еще не ясно различал”.

СМЕХ В ТЕМНОТЕ
(LAUGHTER IN THE DARK)

Первая, русская версия романа была опубликована в декабре 1933 г. под названием "Камера обскура" издательствами "Современные записки" и "Парабола" (Берлин—Париж).

Первый английский перевод выполнен У. Роем и под названием "Camera Obscura" выпущен в свет лондонским издательством John Long в январе 1936 г. Впоследствии самим Набоковым была сделана новая, сильно переработанная английская версия романа, получившая название "Laughter in the Dark". Она вышла в американском издательстве New Directions 6 мая 1938 г. 10 ноября 1960 г. тем же издательством выпущена новая редакция "Laughter in the Dark", в которой предыдущий текст подвергся незначительной правке.

Предлагаемый перевод является первой попыткой русской реконструкции романа по редакции 1960 г. Впервые напечатан издательством "МП Книга" в Ростове-на-Дону в 1994 г. В настоящем издании в него внесен ряд уточнений. Перевод выполнен по изданию: *Nabokov V.* Laughter in the Dark. N.Y.: New Directions, 1960.

"Камеру обскуру" Набоков написал быстрее остальных своих романов: от возникновения замысла до завершения работы над текстом прошло всего шесть месяцев. В отдельных эпизодах этой версии, выходившей частями в журнале "Современные записки" в 1932—1933 гг., можно заметить следы спешки. Сделанный в 1936 г. Уинфредом Роем перевод, за исключением мелких деталей, не отличается от русской версии и создавался практически без контроля со стороны автора.

Желание Набокова переработать текст обусловливалось тем, что он не был удовлетворен его эстетическим потенциалом. Внесенные изменения имели концептуальный характер, и вторая версия радикально отличается от первой. Набоков поменял целые сюжетные линии, внес коррективы в стилистику текста, изменил даже имена персонажей.

Главного героя Бруно Кречмара Набоков переименовал в Альберта Альбинуса и начал заново написанную первую главу с его развернутой характеристики, а не с психологического портрета Горна (ставшего Акселем Рексом), что логичнее с точки зрения структуры произведения. Имя Альбинус (белый) выражает наивность, доверчивость и моральную слепоту героя, и это позволяет писателю построить цветовой контраст "белый — черный" в финальной части произведения, где персонаж наконец прозревает, но, увы, в условиях беспросветной темноты, слепоты физиче-

ской. Наивный, "белый" Альбинус соотнесен с незамысловатым белым мотыльком, противопоставленным "переливчатым" бабочкам. Мотив "белой бабочки" вводится мимоходом в главе 9, а затем в главе 14 мы обнаруживаем такую контрастную фразу: "Неловкий мотылек вертелся вокруг розового абажура, а Альбинус танцевал с Марго". В главе 27 мелькает фраза: "Белый мотылек колесил вокруг лампы и упал на скатерть". Она предвещает близящийся крах Альбинуса, ничего не подозревающего об опасности.

Радикальному пересмотру подверглось все то, что в "Камере обскуре" связано с писателем Зегелькранцем, который превратился в Удо Конрада. Фамилию Конрад носил знаменитый писатель, поляк по происхождению, писавший по-английски, что сразу нацеливает на сопоставление с двуязычным Набоковым, а книги, приписываемые Удо Конраду, вызывают ассоциации с набоковскими романами "Машенька" и "Король, дама, валет". Суждения Удо Конрада о литературе и роли писателя, которые мы обнаруживаем в заново написанной главе 28, отражают авторскую позицию. Кроме того, автор находит емкие и психологически достоверные мотивировки для объяснения способа и степени влияния писателя Конрада (в сопоставлении с Зегелькранцем) на ход событий, что правомерно позволяет ему опустить явно неудачную и избыточную главу 34 "Камеры обскуры".

Набоков также заметно акцентировал игровой характер текста. Перед нами спектакль в спектакле, где все действие подчинено воле двух режиссеров. Первым, более заметным, оказывается Аксель Рекс, который в главе 22 прямо именуется *режиссером, постановщиком* разыгрывающегося трагического спектакля. Этот мотив неоднократно возникает в диалогах, например в главе 19, где Рекс заявляет: "Приятная *роль* — быть другом дома", но ему и самому невдомек, кто написал для него эту роль. Ролевое мышление обнаруживают и остальные главные герои в самых разных ситуациях.

Но, конечно, главный постановщик — сам автор, и об этом говорит ремарка на заключительной странице романа: "Заметки режиссера к последней немой сцене", преображающая не только стилистику финала, но и всю концепцию текста.

Текст романа насыщен и другими нюансами, говорящими о том, что набоковские персонажи — только марионетки, подчиняющиеся опытному кукловоду, который направляет их действия и ни на миг не упускает их из поля своего зрения. Особенно ощутимо авторское присутствие в главе 19, где описана начинающаяся болезнь Ирмы: "Часа через два явился Поль. *Вижу*, он

неудачно побрился. На толстой щеке черный крест пластыря". Этот неожиданный и единственный в романе переход на первое лицо — не описка, а сознательно проведенный Набоковым-режиссером игровой прием.

Писатель не просто имитирует киномелодрамы 1920—1930-х гг., нагнетая все новые и новые "фильмовые" детали, но и постоянно пародирует их. "Какое, однако, фарсовое положение", — думает Альбинус (глава 6). В его беседе с Отто "ощущался некий *пародийный* привкус" (глава 11).

Не только с кино и театром, но и с живописью соотносит Набоков в "Смехе в темноте" происходящее с его персонажами. Мир Набокова — это мир отражений. Хорошо известна роль зеркал в его прозе, сильна она и в данном романе. Произведения искусства — и кинофильмы, и полотна художников — оказываются способными гораздо точнее выразить реальную действительность, чем прямое ее отображение. К тому же связанная с изобразительным искусством профессиональная деятельность Альбинуса достаточно весомо аргументирует идущие от живописи приемы изобразительности. Практически ни один пейзаж не дается сам по себе, а оказывается частью нарисованного "художником-постановщиком" фона: "Альбинус сидел с женой на балконе, высоко вознесенный над голубыми улицами с их путаницей проводов и дымовых труб, *нарисованных тушью на фоне заката...*" (глава 2). Или: "Заплешины <...> *луж, как будто кем-то нарисованные* поперек дороги" (глава 6). Страсть к Марго разбивает семейную жизнь Альбинуса, "как нож маньяка *рассекает холст*" (глава 9).

Прибегая к этим приемам, в "Смехе в темноте" Набоков усиливает условность происходящего, подчеркивая искусственность создаваемого им мира.

Готовя русский текст "Смеха в темноте", лучше всего было опереться на опыт самого Набокова. Его мемуары существуют в трех вариантах, двух английских и одном русском. В нашем случае русскоязычный роман "Камера обскура", выпущенный позднее Набоковым по-английски под названием "Смех в темноте", следовало бы представить в третьей — вновь русскоязычной — версии.

"Смех в темноте" тщательно сверялся с "Камерой обскурой", и все набоковские нововведения переносились в финальный вариант, и наоборот, все то, что писатель по тем или иным причинам исключил, столь же последовательно из текста произведения удалялось. При этом все время приходилось учитывать, что некоторые мелкие изменения во второй версии обусловлены разли-

чиями английского и русского языков, и потому копировать их нецелесообразно. Особого тщания потребовала реконструкция глав 1, 28, 29, 37, фактически исполненных писателем заново. Последовательно сохранялись и принципы характерной для прозы Набокова пунктуации, подчас расходящиеся с общепринятой и зафиксированной справочниками нормой.

В комментариях не ставилась задача описать все расхождения между "Камерой обскурой" (далее по тексту — КО) и "Смехом в темноте"(СТ), но основные из них отмечены и объяснены.

1

С. 395 В Берлине, в столице Германии... — Все начало главы 1 до слов "Какое дело?", произнесенных Элизабет, написано Набоковым заново. Русская версия романа начиналась с подробного описания истории выдвижения карикатуриста Роберта Горна (Рекса) и персонажа его нашумевшей серии рисунков, морской свинки Чипи. Горн набрел на идею благодаря ученому-физиологу, противнику опытов над животными. Это придуманное существо стало тиражироваться в киномультипликациях и многочисленных детских игрушках. Упоминались имя киноактрисы Дорианны Карениной, снявшейся в рекламном ролике, где был обыгран образ Чипи, и судебный иск Горна к снявшей его фирме. Кречмар (Альбинус) появлялся в качестве эксперта, которому следовало дать заключение о том, кто является главным персонажем фильма — актриса или морская свинка.

Такое начало, видимо, показалось Набокову неудачным. Во-первых, оно было слишком затянутым, во-вторых, фокусировало читательское внимание на второстепенных персонажах вместо того, чтобы направить его на предшественника Альбинуса — Кречмара. Набоков исключил отсюда упоминания о Дорианне Карениной, зато ввел писателя Удо Конрада, которому суждено сыграть решающую роль в развитии событий. Кроме того, во второй версии уже в главе 1 кое-что говорится о складе характера и личных качествах Альбинуса, претендующего на роль эксперта и ценителя искусства, но демонстрирующего удивительную эстетическую слепоту, соответствующую его назревающей слепой страсти и предстоящей слепоте физической.

Устранение Чипи как из начала, так и из всего текста произведения вызвано, скорее всего, противоречиями, которые морская свинка вызывала в читательском восприятии характера Рекса (Горна). Как создатель Чипи художник-карикатурист мог показаться комической фигурой, тогда как по сути своей он жестокий садист.

Конрад — См. вступительный комм. к роману.

Альбинус — Переименование Бруно Кречмара в Альберта Альбинуса изменило "цветовую окраску" имени (Бруно означает "темный", а Альбинус — "белый"). Как признается писатель в "Память, говори", фамилия Кречмар принадлежала реально существовавшему немецкому ученому-энтомологу, открывшему бабочку, которую, как мнилось в десятилетнем возрасте Набокову, открыл он сам. Ошибка эта вскоре прояснилась. Впрочем, в КО Набоков сквитался с первооткрывателем ночницы. В англоязычной же версии романа, изменив фамилию персонажа, Набоков соотнес его с белым мотыльком.

С. 397 Аксель Рекс — Фамилия художника вызывает "королевские" ассоциации (*лат.* rex — король) и соотносится с набоковским представлением о художнике как "одиноком короле". В имени Аксель (Axel) скрывается намек на жестокость его носителя (axe по-английски "топор"), его способность бесстрастно, даже садистически обходиться с ближними. Этот скрытый "топор" обыгрывается позднее. Не исключено, что Набоков мог переименовать Роберта Горна в Акселя Рекса, прочитав нашумевшую книгу "Замок Акселя" (Axel's Castle, 1931) критика и литературоведа Эдмунда Уилсона, который "на примере творчества У. Б. Йейтса, Дж. Джойса, Т. С. Элиота, Г. Стайн, М. Пруста и П. Валери одним из первых в западном литературоведении проследил взаимосвязь между натурализмом, а также символизмом последней трети XIX в., с одной стороны, и модернизмом 1920-х гг. — с другой. Символизм воспринимается Уилсоном в качестве культурологической реакции на новое столкновение между "классикой" (универсальным функционализмом позитивизма с его пафосом беспристрастной научности) и "романтикой" (ассоциативность, "музыкальность", мимолетность лично подсмотренного мгновения)" (Писатели США. М., 1990. С. 481). Как отмечает С.Карлински в предисловии к тому переписки Набокова и Уилсона, после опубликования "Замка Акселя" Америка не могла уже игнорировать "скучную" прозу Пруста, "порнографические" писания Джойса или "нелепые" тексты Стайн.

Еще один смысловой оттенок имени Аксель, возможно, связан с ролью "режиссера" того страшного спектакля, который разыгрывается "в постановке" Рекса на глазах у читателя. Он выступает в роли того *стержня*, той *оси* (*англ.* axis), вокруг которой вращаются все события.

С. 398 Брейгель, Петер старший (1525?—1569) — один из наиболее выдающихся художников фламандской школы, в чьих по-

лотнах соединились воедино реалистические и фантастические элементы.

С. 399 Надо затормозить... — Начало фразы предвещает автокатастрофу в главе 32.

...нельзя же, в самом деле, взять браунинг... — Начиная с этого момента писатель применяет тот же обманный ход, что и в “Лолите”, где постоянно намекается на якобы предстоящее (в соответствии с имитируемой фабулой новеллы П. Мериме) убийство Гумбертом нимфетки. Стратегия Набокова-повествователя предусматривает подобное пародирование традиционных для литературы решений. Суть обмана раскрывается лишь в последней главе.

2

С. 400 Затем была история... — Набоков добавил в СТ фразу о жене герра профессора, зато исключил упоминания о двух других связях. В обеих версиях текста автор подчеркивает неискушенность Альбинуса (Кречмара) в любви, но детали комического толка в СТ смягчаются.

“C'est la vie” — Такова жизнь *(фр.)*.

С. 401 retroussée — вздернутый *(фр.)*.

Понтрезина — спортивный комплекс для занятий зимними видами спорта в Швейцарии.

С. 402 ...мерцания очень старой кинематографической ленты... — добавленная в скобках вставка свидетельствует об усилении в английской версии романа кинематографических мотивов. Хотя в главе 1 Альбинус мечтал о перенесении на киноэкран оживших холстов старых мастеров, его собственная история развивается скорее в рамках традиций европейских и голливудских мелодрам.

С. 403 ...кинематограф: красные лампочки его вывески обливали сладким малиновым отблеском снег. — Цветовая гамма наделяет здесь киномир, в который Альбинусу предстоит погрузиться, той окраской страстей, которой недоставало его сосуществованию с пресной и блеклой Элизабет. В первой версии упомянутый далее рисунок на афише — “(пожарный, несущий желтоволосую женщину)” — не получал дальнейшего развития в тексте (этот мотив разработан в “Прозрачных вещах”). Новая же версия предвосхищает трагический эпизод с Ирмой в главе 19.

...взял билет. — Далее сделана купюра, из которой родилась основная идея новой версии главы 1: “К кинематографу он вооб-

ще относился серьезно и даже сам собирался кое-что сделать в этой области — создать, например, фильму исключительно в рембрандтовских или гойевских тонах".

С. 404 ...какая-то женщина пятилась... — Набоков уточняет здесь содержание фильма, предвосхищающего развитие событий в финальной главе. Не говоря до конца о сюжете картины, он поддерживает у нас те иллюзии, о которых сказано в комм. к с. 399.

...лет восемнадцать. — Марго в СТ несколько "стареет" в сопоставлении с Магдой, которой было "лет пятнадцать-шестнадцать".

С. 405 "Аргус" — милое название для кинематографа. — Название действительно "милое": в древнегреческой мифологии это страж-великан, тело которого покрывало бесчисленное множество глаз, причем спали одновременно только два из них. Спастись от него кому-либо было невозможно. Аргуса убил Гермес, усыпив игрой на свирели. Возможно, Набоков также обыгрывает название города Аргоса, где развернулась отраженная в классических трагедиях кровавая история мести Ореста отцеубийцам.

...луиниевские глаза... — Бернардино Луини (ок. 1480—1532) — итальянский художник, ученик Леонардо да Винчи, автор прославленных фресок.

На экране автомобиль несся по гладкой дороге... — Важное добавление, предвещающее аварию в главе 32.

3

С. 407 ...госпожа фон Брок... — В КО она просто Брок, а вообще-то это явная "родственница" Ван Бока из интервью А. Аппелю — одно из воплощений авторского присутствия в тексте.

...фильмового актера Файта. — Конрад Фейдт (Вейдт), немецкий киноактер (1893—1943), снимался во многих известных, в том числе "страшных" фильмах немого кино, таких, как "Кабинет доктора Калигари" (1919), "Двуликий Янус" (1920), "Руки Орлака" (1924), "Кабинет восковых фигур" (1925), "Человек, который смеется" (1928) и др.

С. 410 Миллер — См. комм. к с. 420.

С. 412 "Лоэнгрин" (1848) — опера немецкого композитора Рихарда Вагнера (1813—1883).

С. 416 ...на Грету Гарбо. — Сама Марго соотнесена в романе с героинями фильмов Греты Гарбо (1905—1990), американской киноактрисы, выступавшей в амплуа загадочной, "роковой" женщины. Среди фильмов с участием Гарбо, на которые мог ориентироваться Набоков, такие, как "Плоть и дьявол" (1927), "Коро-

лева Кристина" (1934), "Анна Каренина" (1935; более ранняя немая версия — конец 1920 гг.), "Дама с камелиями" (1937). Образ Марго является карикатурой (как бы написанной Рексом) на тот, который создала Гарбо.

4

С. 420 "Везет мне на мельников..." — Цепочка совпадений, организованная "главным режиссером" спектакля (или "фильмы"), сложнее, чем кажется Марго. Прежде всего, не только Рекс назвался Миллером (miller по-английски "мельник"), а Альбинус — Шиффермиллером; в финале романа (глава 39) возникает и подлинный Шиффермиллер. Набоков также имел в виду и другое значение слова miller — так называются бабочки семейства Noctuidae — "совки", или "ночницы", крылышки у которых присыпаны белой пыльцой. С белым мотыльком соотнесен далее, в начале главы 14, Альбинус. Этот энтомологический аспект подтверждается в тексте "Лолиты".

...на Альбинуса веяло фиалковым жаром... — Фиалковый (фиолетовый) и лиловый цвета для Альбинуса (как, впрочем, и для Гумберта) — цвета страсти.

5

С. 423 Ты лжец, трус и дурак... — Этой реплики в КО нет, как и данного в скобках комментария к ней. Существенное добавление, призванное (в числе прочих) снизить уровень читательских симпатий к главному герою.

6

С. 431 ...присущее грешным сновидениям. — Набоков обрывает на этом фразу, хотя в КО далее следовало: "...ибо жизнь есть сон". Купюра не меняет смысла сказанного и, скорее всего, мотивирована тем, что эта авторская установка была хорошо известна читателям Набокова и литературным критикам. Так, русский критик-эмигрант П. Бицилли в 1936 г. отметил в журнале "Современные записки" (в связи с романом "Приглашение на казнь") особую значимость в творчестве Набокова темы "жизнь есть сон". Сон, как писал П. Бицилли, издавна считается родным братом Смерти, а раз так, то жизнь и есть смерть: "...Бывают у каждого человека моменты, когда его охватывает то чувство нереальности, бессмысленности жизни, которое у Сирина служит доминантой его творчества, — удивление, смешанное с ужасом перед тем,

что обычно воспринимается как нечто само собой разумеющееся, и смутное видение чего-то, лежащего за всем этим, сущего. В этом — сиринская правда".

С. 432 ..."Историю искусства" Нонненмахера (10 томов, ин-фолио). — Эта книга в КО не упоминается. Как отметила Л. Токер, книга по истории искусства для Альбинуса не просто источник информации, а ценное приобретение, обладание которым ему приятно ("10 томов, ин-фолио" — это описание того типа, которое принято в каталогах на аукционах). Ему бы хотелось, чтобы и Марго (как и красота, которой его воображение наделяет ее) стала находящимся в его владении имуществом. Имя автора, согласно Л. Токер, может быть понято как "the maker of nonnons", т. е. "творец (*англ.* maker, нем. Macher) неточек (*англ.* nonnons)". "Неточка" — введенное Набоковым в "Приглашении на казнь" слово; так называются там гротескные предметы, которые лишь особое зеркало способно преобразовать в понятную картину. Помимо того, Nonne по-немецки означает "монахиня". Упоминание о "творце монахинь" иронично: монашеские качества Марго явно не присущи.

7

С. 434 ...классический метод Парки... — Парки в римской мифологии — богини судьбы.

8

С. 437 Было полвосьмого вечера. — Описание сумерек по сравнению с КО более развернуто с целью придания действию "картинного фона".

С. 438 ...фотография Греты Гарбо. — Автор посылает своему герою "сигнал", который тот не в силах понять.

...и расплатился, как платят таксистам герои кинофильмов, — слепо сунул монету... игра сыграна. — Отсутствующие в КО детали, связанные с темой кинематографа и предвосхищающие последнюю поездку уже слепого Альбинуса к Марго в главе 39.

9

С. 443 Драйеры приглашают зайти. — Автоаллюзия. Курт и Марта Драйеры — персонажи романа Набокова "Король, дама, валет", где также иронически переосмысливается ситуация "любовного треугольника".

Вижу... — См. вступительный комм. к роману.

10

С. 449 ...и три марки с полтиной... — Ту же сумму Марго получила от трех японцев в главе 3. Этим подчеркивается тождество безнравственных устоев Марго и Отто.

С. 450 Роль была сыграна посредственно... — См. комм. к с. 416.

"Что ж?.. Ей суждено умереть..." — См. комм. к с. 399.

11

С. 452 "Я уж с ним справлюсь". — В КО отсутствует упоминание об обновках, принесенных от модистки. Во второй версии романа писатель несколько раз использует повторы в развитии ситуации, и персонажи, как актеры во время репетиции, дважды подряд проигрывают одну и ту же сцену.

С. 454 Вообще же в этой беседе ощущался некий пародийный привкус... — Не только весь роман в целом пародирует классические произведения XIX в. и вульгаризированные подделки под них в киноискусстве 1920—1930-х гг., но и одни его эпизоды в пародийном и гротескном ключе воспроизводят другие.

12

С. 456 Лазарь — брат Марфы и Марии, воскрешенный Иисусом на четвертый день после смерти (Иоан., XI). На этот сюжет было написано немало известных картин (например, Рембрандтом), и какую-то из них представляет себе Элизабет, в сознании которой образ мужа неотделим от произведений живописи.

14

С. 459 Неловкий мотылек вертелся вокруг розового абажура... — См. комм. к с. 420.

15

С. 464 ...она слепнет от света... — обманный ход: ведь физически ослепнуть предстоит отнюдь не Марго, нравственная же слепота присуща ей с ранних лет.

Дорианна Каренина — комбинация имен Дориана Грея из романа О. Уайльда "Портрет Дориана Грея" (1891) и Анны Карениной из одноименного романа Л. Н. Толстого.

16

С. 466 ...доктор Ламперт... — Перед нами некий зверинец: Соня Гирш — олень, лань (*нем.* Hirsch), фамилия Рекс ассоциируется с собачьей кличкой, фамилия Ольги Вальдгейм (*нем.* Waldheim) напоминает о чаще леса, а сама она рассуждает о персидских кошках, которыми изобилует ее дом, жена писателя Баума (*нем.* Baum — дерево, соответственно, эта фамилия соотнесена с чащей) "в дни мутной юности своей" плавала в бассейне среди дрессированных тюленей, Борис "фон" Иванов чем-то напоминает хорька, и даже у Марго появляется обманчивое "ланье" выражение в глазах. В целом же этот эпизод пародийно соотнесен с эпизодом в парке в главе 12. Из этой компании выпадает доктор Ламперт, но его фамилия похожа на фамилию мнимой учительницы музыки, к которой уезжала брать уроки флоберовская Эмма Бовари и которая обыграна в "Лолите". Ламперт также приобщен к музыке и характеризуется как посредственный скрипач.

С. 467 Гиндемит — Хиндемит, Пауль (1895—1963) — немецкий композитор, одна из видных фигур музыкального авангарда начала XX в.

...ваше имя всегда напоминало мне о секире. — См. комм. к с. 397.

С. 468 Себастьяно дель Пиомбо (1485—1547) — итальянский художник, особо ценимый за яркость используемых им красок.

С. 469 Беллетрист толкует, например, об Индии... — Набоков высмеивает здесь так называемое "социально значимое искусство".

С. 470 "Трюк исчезновения" — О романах Удо Конрада и о нем самом см. с. 520.

17

С. 471 Некогда один человек... — Вся эта история, определяющая специфику мышления Рекса, в КО отсутствовала.

18

С. 475 ...Генрих Восьмой (с картины Гольбейна)... — Ганс Гольбейн Младший (1497—1543) — немецкий художник, долгое время живший и работавший при дворе английского короля Генриха Восьмого (1491—1547, правил в 1509—1547). Гольбейном создан знаменитый портрет монарха. Избыток дам во сне Рекса обуслов-

лен скандальной репутацией короля, сменившего шесть жен. Тот же самый портрет упоминается в “Подлинной жизни Себастьяна Найта” и “Университетской поэме”.

С. 476 Дядя, оставшийся дома... их новизна. — Важное добавление. Набоков обыгрывает гегелевскую триаду, интерес к которой обозначен в книге “Память, говори”, и раскрывает технику обмана, используемую не только Рексом, но и стоящим за ним “главным режиссером спектакля”.

С. 478 Рейсдейль, Якоб Исаак ван (1628—1682) — голландский художник-пейзажист. Его пейзажи отличаются точностью деталей, красотой ландшафтов и мрачноватой строгостью колорита.

Лотто, Лоренцо (1480—1556) — итальянский художник, родился в Венеции, но жил и работал в основном в Бергамо. Наиболее знамениты его отмеченные глубоким психологизмом портреты.

Боген, Любэн (1610—1683) — французский художник, писавший в основном натюрморты и полотна на религиозные сюжеты.

С. 479 ...она чувствовала себя исполнительницей главной роли... — Здесь Марго представлена вжившейся в образ Греты Гарбо.

С. 480 Enfin seuls. — Наконец одни (*фр.*). См. также комм. к с. 149.

С. 481 Вратарь гостей... — У. У. Роу в книге “Nabokov's Deceptive World” (N.Y., 1971) усмотрел здесь выраженную сексуальную символику: в течение всей игры Рекс пытается убедить Марго уйти и переспать с ним, а описание игры откровенно двусмысленно. Бросается в глаза, что, пока Рексу не удается добиться своей цели, в игре отсутствует результат, а именно в тот момент, когда шум толпы достигает апогея и становится нестерпимым, добившийся своей цели и сумевший подчинить себе Марго Рекс уходит вместе с ней. Особое внимание обращает здесь на себя описание действий вратаря. Книга У. У. Роу вызвала гнев Набокова, написавшего на нее резко отрицательную рецензию.

19

С. 490 “Белая ворона” — Возможно, имеется в виду группа художников-абстракционистов “Голубой всадник” (Der Blaue Reiter), созданная в Мюнхене в 1911 г., членами которой были (в числе прочих) В. Кандинский и П. Клее.

20

С. 496 Вдруг он вспомнил... Бланш и Роза фон Нахт. — Добавление, сделанное в английской версии. Имена дам Альбинус вспоминает, глядя в сторону Gedächtniskirche (*нем.* Церковь памяти). Бело-розовый спектр этих имен (*фр.* blanche — белая, rose — розовая) соотнесен с открывающимся его взору ночным пейзажем (*нем.* von Nacht — ночной).

26

С. 513 a l'Américaine — по-американски *(фр.).*

27

С. 514 Прошла неделя, вторая. — Главы 27—29 СТ заменили главы 26—27 КО. В русской версии текста писатель Зегелькранц случайно подслушивает разговор между любовниками, сидя позади них в вагоне поезда, на который опаздывает жертва обмана. Услышанное дает ему импульс для создания пространного фрагмента романа, над которым Зегелькранц работает и который он читает вслух случайно пришедшему Кречмару. Попутно Набоков пародирует издержки прустовской манеры.

Изменения, сделанные автором, направлены на то, чтобы придать ситуации большую естественность и достоверность, поэтому он заменяет поезд автобусом и четче мотивирует опоздание Альбинуса. Пародия на Пруста удалена, зато писатель Конрад, заменивший Зегелькранца, высказывает теперь в новой главе 28 суждения о жизни литератора-эмигранта и о задачах искусства, которые более чем близки к набоковским. Правда, в отличие от Набокова, Конрад не готов “расставаться с опытом и богатством родного языка”.

29

С. 522 goguenard — насмешливое *(фр.).*

С. 523 Comment, Monsieur? — Что вы сказали, мсье? *(фр.)*

32

С. 533 Потом по меньшей мере год она будет рассказывать... — Не очевидно, чьи мысли здесь переданы: то ли старухи, собирающей травы, то ли Элизабет, обладающей даром предвидения.

33

С. 534 auto... mille... beaucoup mille marks — авто... тысяча... много тысяч марок *(искаж. фр.)*.

С. 535 Soucoupe, soucoupe. — Блюдце, блюдце *(фр.)*.

Café aimé toujours, thé nicht toujours. — Кофе люблю всегда, чай не всегда (*искаж. фр.*, *нем*).

35

С. 543 ...достаточно далеко. — Далее в КО следовала глава 34, удаленная писателем из СТ. В ней рассказывалось о том, как, расставшись с Кречмаром, Зегелькранц почувствовал беспокойство за его дальнейшую судьбу и решил отправиться в Берлин, чтобы разобраться в происходящем. Необходимость в данной главе отпала, так как Набоков изъял своего героя-писателя из дальнейшего хода событий.

36

С. 547 ...как актер в немой фильме... — Это место в КО отсутствует.

37

С. 553 Кто-то из сослуживцев... — Глава 36 КО начинается с большого фрагмента, посвященного встрече Зегелькранца с Максом (Полем), которая проясняет для последнего суть происходящего обмана. Набоков нашел более убедительную мотивировку, вследствие чего необходимость во фрагменте отпала. В результате в СТ появилась новая глава 37, а вторая половина главы 36 КО составила главу 38.

39

С. 562 "L'heure bleu" — "Синий час" *(фр.)*.

Двери почему-то всегда оказывались не на его стороне. — Новое добавление.

С. 564 Заметки режиссера к последней немой сцене. — Это предложение добавлено, а весь абзац переделан писателем, чтобы усилить сходство со стилистикой киносценария. Последняя фраза особенно значима: смерть Альбинуса влияет и на поведение дверей.

А. Люксембург

ИНТЕРВЬЮ ТЕЛЕВИДЕНИЮ БИ-БИ-СИ, 1962 г. *

Интервью, данное корреспондентам телевидения Би-Би-Си П. Дюваль-Смиту и К. Берсталу в июле 1962 г. Текст интервью опубликован в журнале "The Listener" 22 ноября 1962 г. Впоследствии включено в сборник набоковских интервью и статей "Strong Opinions" (1973).

Перевод этого интервью (в иной редакции) впервые опубликован в книге "Набоков. Pro et Contra". Изд-во РХГИ. СПб, 1997.

С. 567 лепидоптеролог — энтомолог, специалист по чешуекрылым (бабочкам). Lepidopterae *(лат.)* — бабочки.

С. 568 В вашем новом романе... — Роман "Бледное пламя" вышел в свет незадолго до этого интервью, в апреле 1962 г.

С. 570 ...недавно я отдал ей дань в англоязычной книге о Пушкине... — Имеется в виду четырехтомный "Евгений Онегин", подготовленный Набоковым: перевод и огромный комментарий. Опубликован в 1964 г.

С. 571 ...перевода моего романа "Дар" ("The Gift")... — Английский перевод романа "Дар" вышел в свет 27 мая 1963 г. Перевод М. Скэммела. Далее цитируется стихотворение из романа (по русскому оригиналу).

С. 572 Личная моя трагедия... первая маленькая пульсация... — Набоков почти точно цитирует свое "Послесловие к американскому изданию 1958-го года" "Лолиты".

С. 576 "Paris Soir" — Парижская вечерняя газета.

С. 576 New York Book Review — "Нью-Йоркское книжное обозрение".

НЬЮ-ЙОРК, 5 ИЮНЯ 1962 г.

Сведений о публикации этого интервью в периодике не имеется. Текст интервью впервые опубликован в сборнике набоков-

---

* Комментарии к интервью и статье "Лолита" и г-н Жиродиа" подготовлены редактором.

ских интервью и статей “Strong Opinions” в 1973 г. с сохранившихся у В. Набокова записей.

С. 579 “антироман” (“новый роман”) — экспериментальное направление во французской литературе 1950—1960 гг. *Ален Роб-Грийе* — писатель, крупнейший представитель этого направления, впоследствии все более от него отходивший.

С. 580 “The Entomologist” — “Энтомолог”.

С. 581 “Память, говори” (1951) — Так называлось британское переиздание (ноябрь 1951 г.) автобиографии Набокова, опубликованной в США в феврале 1951 г. под названием “Conclusive Evidence” (“Убедительное доказательство”). Впоследствии, название “Память, говори” получил основательно переработанный автором вариант этой книги, вышедший в свет в январе 1967 г.

Харрис и Кубрик — Джеймс Б. Харрис — продюсер фильма “Лолита”, Стэнли Кубрик — режиссер его же.

...под джакарандами... — Джакаранды — палисандровые деревья (сем. бигнониевые).

ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ “ЛАЙФ”, 1964 г.

Интервью взято репортером Джейн Говард в Монтре (Швейцария) 18 августа 1964 г. Опубликовано в журнале “Life” 20 ноября 1964 г.

В “Strong Opinions” приводится также записка, приложенная Набоковым к своим ответам: “Дорогая мисс Говард, позвольте мне добавить следующие три пункта: 1) Мои ответы должны публиковаться точно и полно: дословно, если они берутся в кавычки, в верном пересказе, если нет. 2) Я должен буду просмотреть гранки интервью — окончательные или почти окончательные. 3) Я сохраняю за собой право исправлять в них все фактические ошибки и неточности (“Мистер Набоков — низкорослый человек с длинными волосами”, etc.)”.

С. 585 “The Defense” — название английского перевода “Защиты Лужина”. Перевод М. Скэммела. Вышел в свет незадолго до интервью, 24 сентября 1964 г.

С. 588 Маккарти, Джозеф (1908—1957) — сенатор США, основатель “Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности” (1953).

Аушвиц — немецкое название Освенцима.

"ЛОЛИТА" И Г-Н ЖИРОДИА"

Статья опубликована в журнале "Evergreen Review" (XLV) в феврале 1967 г.

С. 589 "The Olympia Reader" — хрестоматия произведений, опубликованных издательством "Олимпия", содержащая избранные отрывки и сопроводительные заметки составителя.

С. 592 ...знай я в мае 1955-го, чем образован гибкий костяк его продукции... — Список изданий "Олимпии" действительно эклектичен, однако, кроме "Лолиты", в нем числятся первые издания У. Берроуза, Дж. П. Донливи, С. Беккета и т. д.

curriculum vitae — жизнеописание *(лат.).*

"L'affaire Lolita" — "Дело 'Лолиты'" *(фр.).*

С. 594 пишу для удовольствия, печатаю для денег — вероятно, перефразированная цитата из Пушкина "На это скажут мне с улыбкою неверной..." (1835):

> Зачем же пишете? — Я? для себя. — За что же
> Печатаете вы? — Для денег. — Ах, мой Боже!
> Как стыдно! — Почему ж?..

С. 597 ...outrée de ces prétentions — возмущена этими претензиями *(фр.).*

ПРОПУЩЕННЫЙ АБЗАЦ В «ЛОЛИТЕ»

При переводе «Лолиты» на русский язык В. В. Набоков по неизвестной причине пропустил в третьей главе второй части романа одиннадцатый абзац.

Приводим его в переводе Александра Свирилина, обнаружившего в 2003 году этот пропуск:

Еще одна встряска, помнится, была связана с городком, который мы проезжали ночью, на обратном пути. Миль за двадцать до того я сказал ей, что школа, в которой она будет учиться в Бердслее — довольно высокого ранга заведение без совместного обучения и современного вздора, после чего Ло разразилась одной из тех свойственных ей возмущенных речей, где мольба и оскорбления, самоутверждение и лицемерие, злостная вульгарность и детское отчаяние сплетались в раздражительное подобие логики, толкавшее меня на подобие объяснения. Опутанный ее дикими словами (болтай сколько влезет... я была бы дурочкой, если бы приняла твое мнение всерьез... гнусный тип... ты не можешь командовать мной... я презираю тебя... и так далее), я ехал через спящий город со скоростью в пятьдесят миль в час, не прерывая ровного шоссейного хода, и тут двое патрульщиков направили свой прожектор на машину и приказали мне съехать на обочину. Я шикнул на Ло, которая автоматически продолжала бушевать. Мужчины всмотрелись в нас с недоброжелательным любопытством. Вдруг вся переливаясь ямочками, она улыбнулась им так сладко, как никогда не улыбалась моей орхидейной мужественности; ибо в некотором смысле моя Ло боялась закона еще больше, чем я — и когда добрые патрульщики простили нас, и мы подобострастно поползли дальше, ее веки опустились и затрепетали — она изображала полное изнеможение.

СОДЕРЖАНИЕ

Набоков В. В.

Н 14 Собрание сочинений в 5 томах: Пер. с англ./Сост. С. Ильина, А. Кононова. Комментарии А. Люксембурга. — СПб.: “Симпозиум”, 2008. — 672 стр. (Т. 2).

ISBN 978-5-89091-379-1
ISBN 978-5-89091-380-7 (т. 2)

Собрание сочинений англоязычной художественной прозы Владимира Набокова (1899—1977) предпринимается в России впервые.

В этот том вошли знаменитый роман “Лолита” (1955, рус. версия 1967) со всеми авторскими послесловиями и практически неизвестный русскому читателю роман “Смех в темноте” (1938, с изменениями 1960), созданный В. Набоковым по-английски на основе своего раннего русского романа “Камера обскура”. Впервые публикуется статья Набокова об обстоятельствах первого издания “Лолиты”, а также несколько интервью с писателем. Произведения сопровождаются подробными комментариями.

Владимир Набоков
Американский период
Собрание сочинений в 5 томах
Том II

Составление
С. Б. Ильина и А. К. Кононова

Ответственный редактор *М. В. Горшков*
Редактор *М. Б. Новикас*
Художник *М. Г. Занько*
Технический редактор *Е. И. Каплунова*
Верстка *И. В. Петровой*
Корректоры *Е. Д. Дмитриева*
Е. Э. Байер, Л. В. Томутова

Издательство «СИМПОЗИУМ».
190000, Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, 47.
Тел./факс +7 (812) 571-45-02.
E-mail: symposium@online.ru

Подписано в печать 20.11.07.
Формат 84×108/32. Усл. печ. л. 35,28.
Тираж 1200 экз. Заказ № 8031.

Отпечатано по технологии CtP
в ОАО «Печатный двор» им. А. М. Горького
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СИМПОЗИУМ»

SYMPOSIUM

Драма подходила к концу. Герой, покинутый вампиром, шел под сильным кинематографическим дождем в аптеку покупать яд, но вспомнил о старушке-матери и в последний момент отправился в свою родную деревню. Там, окруженная курами и свиньями, невеста играла с его незаконным ребенком (это была самая удачная сцена с участием Марго). По зале прошел смешок. Марго не выдержала и стала тихо плакать. Зажегся свет...

Лолита, свет моей жизни, огонь моих чресел. Грех мой, душа моя. Ло-ли-та: кончик языка совершает путь в три шажка вниз по нёбу, чтобы на третьем толкнуться о зубы. Ло. Ли. Та.

Она была Ло, просто Ло, по утрам, ростом в пять футов (без двух вершков и в одном носке). Она была Лола в длинных штанах. Она была Долорес на пунктире бланков. Но в моих объятиях она была всегда: Лолита.

А предшественницы-то у нее были? Как же — были... Больше скажу: и Лолиты бы не оказалось никакой, если бы я не полюбил в одно далекое лето одну изначальную девочку. В некотором княжестве у моря.

Когда же это было, а?

Приблизительно за столько же лет до рождения Лолиты, сколько мне было в то лето. Можете всегда положиться на убийцу в отношении затейливости прозы...

ISBN 978-5-89091-380-7

9 785890 913807